Г. Троепольский

Содержание

В третий том Собрания сочинений Г. Н. Троепольского вошли повести «В камышах» и «Белый Бим Черное ухо». Публицистическое и драматургическое творчество писателя представлено очерком «О реках, почвах и прочем», пьесой «Постояльцы». В том включен также киносценарий «Земля и люди».

- Гавриил Троепольский
  -
  - В КАМЫШАХ
  - БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО
  - О РЕКАХ, ПОЧВАХ И ПРОЧЕМ
  - ПОСТОЯЛЬЦЫ
  - ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
  - Примечания

Гавриил Троепольский
Собрание сочинений в трех томах.
Том 3

Повести, очерк, пьеса, киносценарий

В КАМЫШАХ

Охота зело добрая потеха, ее же не одолеют печали и кручины всякие.

«Урядник соколъничья пути»

Повесть

1. МОЕ ДАЛЕКОЕ

Это было в юности. Из старинной одноствольной шомполки я выстрелил в чирка и, конечно же, промазал. Но с тех пор уже никогда не расстаюсь с ружьем.

Годы летели и летели. Жизнь почти прошла, я по ней — всегда скороходом, всегда работы по горло. Но мне не забыть первого выстрела из той старушки шомполки, перевязанной проволокой у колодки.

Сотни анкет заполнил за свою жизнь, отвечая на разные там вопросы. В каждой из них обязательно значилось: «Фамилия — Перегудов, имя и отчество — Тихон Иванович, пол — мужской, профессия — агроном, за границей не был»… Но ни в одной анкете не было вопросов: «Занимался ли охотой? С какого времени? И в каких местах?» А жаль. Ей-же-ей, тогда было бы видно человека насквозь, даже и по анкете.

Я, например, с первого выстрела охотился только на Тихой Ольхе, в тех самых камышах, где бороздили на долбленках мой отец, деды и прадеды. Но предки мои ничего не оставили после себя, кроме устных рассказов. Я же исписал десять тетрадей. И в них — все об охоте, о камышах, о Далеком, о Тихой Ольхе.

А какие у нас камыши! Таких камышей, как в Далеком, нигде нет. Да и речка хороша.

Вы выезжаете на челноке вниз по течению. Жужжит потихоньку моторчик «Чайка». Камыши наклоняются к вам и иногда ласково

скользят листьями по плечу. Еще раз осматриваете, правильно ли лежит «хозяйство»: ружье, патронташ, корзинка с кряковыми утками, плащ, корзинка с продуктами, бачок с бензином; и если осенью, то еще привязана ли к краю лодки суховилка — такой длинный, метров семь, тонкий и прочный шест с рогаткой на конце. Без нее, без суховилки, в Далеком не проехать — такие там густые камыши и сплошной резак. Но до Далекого вы едете моторкой — километров двадцать от Камышевца.

Сначала, прямо от села, широкий плес, потом купальня, и вдруг русло становится узким, в пять — десять метров, вода здесь быстрая, как в горной речке. Это место и называется Быстряк. Потом течение все медленнее и медленнее, вы подъезжаете под мост, что против кирпичного завода. Река все шире и шире, и наконец неожиданно открывается взору водная гладь полкилометра шириной — это и будет Сазанка.

Спокойна здесь Тихая Ольха. Камыши отражаются как в зеркале, высокой стеной: вверху камыши, внизу камыши. Заглушите моторчик, послушайте реку вечером и смотрите на воду. Месяц трепещет в ней, как большая серебряная плотва: то он дрожит, то бьется. Плеснет рыба, оставив круги. Они все шире и шире — так и кажется, вот-вот они зазвучат. А месяц, шалун, уже бросился в тот круг и притворяется себе, будто попался, запутался, — играет. Так охотники и говорят: «Месяц играет».

Осторожно, чтобы не спугнуть тишину, крякнет в камышах дикая утка, то ли подзывая утят, то ли собираясь отлететь на ночную кормежку… И больше ни звука, ни движения, ни вздоха. Одна за другой осыпаются в водную гладь звезды: появляются внизу и там остаются, вздрагивая от вечерней свежести, то пропадая, то блестками объявляясь вновь. И вдруг где-то далеко-далеко слышится тихая песня девчат, чуть тоскливая, плавная, широкая, как родные просторы… Слов не разобрать. И кажется, что поет река — тихая, спокойная… Хороша, очень хороша река Тихая Ольха!

А дальше вы едете совсем уже по другим местам, каждому из которых свое название. Перед челноком вдруг вырастает на средине реки забор из камыша, но он только для тех, кто не знает: это всего-навсего Перерост. Проскочите в прогалину — и откроется река, уже новая, совсем не похожая на то, что вы видели: причудливо

извилистая, с омутами и неожиданными коленами. Потом вновь узкий проход, течение быстрее, и вдруг… водопад! Челнок прямо-таки ныряет мимо кривой ветлы. Здесь — ухо востро! Малейшая ошибка — и вы в воде. Это место называется Кайдан.

Потом река узкая, потом широкая. Вновь извилины и крутоверти — вы едете то вперед, то поворачиваете назад и снова на курс.

За Лещевом камышей уже больше. Километр за километром не увидите берега, кроме пятачков или больших кочек, — вода, вода и вода, а с обеих сторон камыши, камыши и камыши. И чем дальше, тем они выше и выше, в пять-шесть метров.

Но вот справа неожиданно прервалась стена камышей. Поворачиваете в затон, к лесу. Это и есть остров Далекое, окруженный водой с камышами, поросший разнолесьем, с вечной прохладной свежестью, с зелеными лужайками, тысячами соловьев, весной наполненный крупными, необычной красоты ландышами, подснежниками, фиалками, а к сроку — ежевикой, земляникой и разной благодатью земли.

Все озера, протоки, топи и необозримые пространства камышей — тоже все вместе называется Далекое. Это огромный массив, нетронутый пока, потому что сама природа устроила так, что человек не смог ее здесь испортить — не проедешь, не пройдешь. Не каждому доступны дебри Далекого. Все здесь стоит таким же, как и тысячу лет назад.

Нигде в мире нет такого места, как остров Далекое.

Даже зимой, когда смотрю на охотничье ружье, что висит на стене, то и в комнате чудится мне шелест камышей.

И я жду весны. Жду солнца.

2. В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

И вот она снова пришла, весна! Каждый по-своему встречает ее. Булькают капли с крыш. Они торопливо и настойчиво вразнобой, как расстроенный пульс, отстукивают последние минуты жизни зимы: кажется, капают они не потому, что снег тает и расползается во все стороны, а сам старик снег тает оттого, что капли продолбили его рыхлое и уже немощное тело. Каждая капля спешит в ручей.

Неистово чирикают воробьи, размахивая полами пиджачков и наскакивая друг на друга задиристо и безрассудно, упоенные любовью и оглушенные ревностью, потерявшие всякий воробьиный облик в этой вакханалии. Еще недавно он, такой доверчивый и смирный попрошайка-воробышек, сидел на форточке при последней поземке и ныл: «Чик-чирик! Подайте Христа ради! Чик-чирик! На бедность и погорельцев — чик-чирик!» Теперь тот же самый воробьишка наскакивает на соперника, хотя у самого уже общипан хвост и изодрана прическа. Потом он, паршивец, отлупив врага, распушится, растолстеет и надрывается, орет благим матом как оглашенный и, кажется, вот-вот лопнет от спеси, от любви, от ревности, от неимоверного эгоизма. Надо же!

А воробьиха, которой будто и безразлично, что там у них, у мужчин, происходит, неожиданно для всей бесшабашной публики выбирает именно этого обтрепанного эгоиста — ласкает его, и жмется, и кокетничает, шельма. И тогда становится абсолютно ясно: раз уж воробьишка-пострел вообразил себя пупом земли — то весна пришла!

Серые вороны, у которых и сам бог не различит по одежде, кто из них она и кто он, как торговки на базаре, нахально обзывают друг друга разными непотребными вороньими словами. Топчутся у мусорного ящика и спорят — кто сильнее. Эти не дерутся, эти соперничают только в том, кто у кого кусок вырвет. Но вдруг одна из них, завладев лакомством, отлетает в сторону, где сидит другая ворона — поджарая, нервная, по-вороньи красивая, и отдает ей кусок. И та клюет. Понятно, он принес ей что-то такое несравнимо вкусное. Так началась любовь: улетели они вдвоем. Остальные же, переругавшись окончательно, поднялись вслед за теми счастливцами.

И ворона ищет счастья! Значит, весна пришла.

Но вот залетели к нам и грачи — милые, черные, умные и такие родные, российские птицы, спутники хлебопашца во все века — от деревянного сучка вместо сохи до современного трактора. Серьезные, сосредоточенные, работящие однолюбы, но живущие всегда все вместе. Они уже хлопочут над парком, голосисто перекликаясь и перепутав номера летних квартир. Кто их поймет: может быть, они уже теперь знают, где поля отстающих колхозов, куда они ежегодно весной слетаются собирать не заделанную в рядки кукурузу, а по осени, до самого снега, лакомятся подсолнечником и такими вкусными

початками; может быть, потому они стали отлетать так поздно, уже по морозам. Но весной раньше времени не прилетишь. Если уж грач пришел, то весна настоящая! Тут уж дудки! Не обманешь.

А по ночам легкие заморозки еще чуть-чуть приглушают капель. Еще нет-нет, да и зашуршит опадающий, прозрачный от луны гребешочек, оставшийся от бывшего сугроба-великана. В открытое окно уже слышен требовательный шум реки, доселе молчаливой и покорной. Ночью все звучит, все поет.

И я уже не могу усидеть дома.

Тогда на столе появляется заветный ящик с охотничьими припасами. Гильза за гильзой встают солдатиками. Сначала вставляешь только пистоны, потом каждому «солдатику» по норме пороха, потом войлочные пыжи, на них — дробь и еще пыжи картонные, под закрутку. При каждой такой операции «солдатики» перестанавливаются то вправо от тебя, то влево. Заряжаешь и дрожишь: весна!

Еще несколько дней до открытия охоты, а все уже собрано, все приготовлено и упаковано в рюкзак. Еще за неделю-две приучаешь к холодной воде кряковых уток и подкармливаешь добро. Иначе нельзя. Брось утку в ледяную воду прямо на охоте, без подготовки — ничего не выйдет. Может, и покричит она полчасика и того меньше, а потом замокнет — раскиснет, распушится и начнет тонуть.

Все чаще и чаще берешь в руки ружье и тренируешься на вскидках по разным точкам в комнате, «набиваешь руку».

Собака моя, Лада, волнуется и не старается этого скрывать. Она знает, что весной на селезней ее не беру, и — тоскует: то подойдет к столу, положит морду на мое колено и так стоит; она очень долго может так стоять не шевелясь; то она становится лапами на подоконник и смотрит на мир, что-то вспоминая.

Между делом я разговариваю с собакой. Она слушает внимательно. И понимает: люблю. Важно, чтобы она это понимала.

День за днем приближается открытие весенней охоты. Уже по ночам слышен гогот гусей и свист утиных крыльев. Мы с Ладой выходим слушать весну. Хорошо!

В один из таких беспокойных дней рано утром я проснулся оттого, что Лада тихонько дергала за уголок одеяла. Она уже третий день так делает, как и на охоте: не дает проспать. Она не знает

календаря, но точно знает по всему моему поведению, что в какой-то из этих дней я обязан ехать. Именно в это утро я и поехал искать охотничье счастье.

Лада виляла хвостом, подходила ко мне, потом к двери и ждала. Тоже ждала счастья — побыть со мной в Далеком. Я погладил ее, потрепал по шее и… не взял. Она отошла, села и уныло опустила голову. Я приблизился и посмотрел ей в глаза, печальные и влажные, со слезинкой. Лада плакала… Вы можете мне не верить, люди, пожалуйста. Но у меня была такая собака.

А в тот день была весна. И все было хорошо вокруг.

Кому и какое дело до того, что где-то какая-то собака плачет!

…В шесть утра я уже сидел в кузове попутного грузовика, направляясь в Камышевец (в тот год мне пришлось работать в одном из колхозов, в пятидесяти километрах от этого села, но — только год, потом снова переехал в Камышевец).

Утро было ясным. Впереди охота, а это уже начало счастья. Так всегда кажется.

Перед Доном произошла задержка: понтонный мост еще не навели, а катерок перевозит только людей. Баржа на той стороне с привалившимся к ней катерком-тягачом, как мне сказали, переправляет автомашины вечером, когда подвезут из колхоза молоко. Положение весьма неприятное: завтра утром открытие охоты, а я и к ночи не попаду в Камышевец. Надо что-то придумывать.

С очередным рейсом пассажирского катерка еду на тот берег и по сходням взбираюсь на баржу.

Там живописно расположились три молодых парня: один лежал на весеннем припеке и, задрав рубаху, видимо, грел живот; второй, закрыв от солнца козырьком глаза и подвернув ноги калачиком, сидел рядом и грустно-лениво смотрел на воду; третий (как оказалось потом, старший баржи), лежа на спине и мечтательно смотря в небо, играл на балалайке «Светит месяц».

Никто из них и не пошевелился, когда я вскарабкался на палубу. Кажется, я мог бы походить-походить, вернуться обратно на берег, но они не обратили бы внимания.

— Здравствуйте, — говорю.

Грустный парень — тот, что сидел, — сдвинул козырек на затылок и лениво ответил за всех:

— Привет из Крыма. — Не глядя на меня, сказал: — Гля-ка, Кирюха… Рыба идет… по-над берегом.

Кирюхой оказался тот, что грел живот. Он встал на колени, глянул за борт, сказал будто спросонья:

— Рыба. — И снова лег. Теперь он запахнул полы пиджака и засунул руки в рукава. — Потеплело — она и пошла… Запрет на нее.

— Какой запрет? — вновь попытался я пробить броню невнимания.

Но Кирюха промолчал (пусть другие скажут, если это так уж важно).

Ответил старший:

— На рыбу запрет. Весной нельзя.

— Ну и что же: не ловите?

— А мы ее никогда не ловим. Мы не рыбаки.

— Ну, речники, — говорю.

— Колхозники… Эта посудина своя, колхозная… Когда нам заниматься рыбой-то… День при дне на работе.

— И сегодня на работе?

— А как же? — Старший встал, потянулся, глянул на реку, потом на небо и подытожил обзор окрестности: — Погода изменится.

— А чем же вы занимаетесь? — спрашиваю.

Старший ухмыльнулся и покачал головой: дескать, какой непонятливый.

— Перевозим, — ответил теперь Кирюха.

— Кого?

— Молоко.

— Как молоко?

— А так: молоко. Утром подвезут — переправим четыре машины, молоковозы. Вечером подвезут, в сумерках, доставим на тот берег.

— И все?

— А что же еще? Каждый день колхоз к сводке попадает. От нас все зависит: попадет или не попадет.

— А днем?

— Днем плохо. Скушно.

— А как платят?

— Хорошо платят. По два трудодня.

— Вы-то довольны?

Кирюха становился разговорчивей:

— А чего нам? По двадцать копеек на трудодень — итого сорок монет… Скушно только. А так ничего.

Старший тоже навострил уши:

— А вы что: издалека, что ничего не знаете? Да мы каждую весну так, пока понтон наведут. Месяц целый тут опухаем.

— Еду на попутной, — уклонился я от ответа. — Вон стоит на том берегу. Видишь?

Никто из них не повернул головы «на тот берег». Но Кирюха сказал:

— До вечера будет стоять.

— Почему так?

— Молоко повезем — захватим и вашу… ежли председатель разрешит.

— А где он?

— Там, — ответил теперь старший, указав на село. — Сходи к нему, попроси. Тут недалеко — километров пять.

— А без председателя не получится? — спросил я.

И опять никто не ответил. Все трое снова стали до удивления скучными, безразличными и, казалось, равнодушными.

На том берегу появился еще один грузовик. Он почти воткнулся носом в воду да так и замер в полной безнадежности; затем из проема дверцы высунулись ноги: шофер расположился спать в ожидании своего череда.

— Ну, так как же? — спрашивал я, обращаясь ко всем троим сразу.

Кирюха глянул на меня изучающим взглядом и задал вопрос старшему:

— Ты как, Степан?

— Никак, — ответил тот. — Сказано «никого», кроме молоковозов, — и крышка… На этой посудине чужие машины переправлять опасно.

— Свои-то перевозите?

— Своя утопнет — один ответ, в суд никто не подаст. А чужая булькнет — не расхлебаешь… Нет… нельзя.

— Уж пожалуйста, — не отставал я.

— А ну-ка да случись что, а мы молоко сорвем. Нельзя. Молоко — это тебе не собачий… хвост.

К чему такое противопоставление, я так и не удостоился узнать и бросил последний козырь:

— Заплачу хорошо.

— Сколько? — спросил Степан.

— Не знаю. Сами скажете. Не возьмете же лишнего.

Все трое сошлись на другом конце баржишки, тихо обсуждая несколько минут мое предложение.

Потом подошел один Степан. Теперь я увидел его во весь рост — широкоплечий русоволосый русский богатырь! Он сказал коротко:

— Три рубля.

— Давай, — говорю.

Нет! Мне не приходилось в жизни наблюдать такого необыкновенного перевоплощения. Степан махнул рукой, как командир эскадры. Кирюха подскочил к причалу, а третий, доселе молчавший и оказавшийся Ленькой, вскочил в катерок, прилепившийся к барже, как подсосный поросенок к свиноматке. Потребовалось не более пяти минут, чтобы мотор катера заревел, изрыгая струю воды, а сходни были сняты, — и маленькая баржишка заскрипела, отчаливая.

Оказалось, все трое вовсе и не лентяи, а им просто-напросто нечего делать. Только тогда я и понял, что значит «целый месяц опухаем»: тоже нужна привычка. На средине реки я высказал эту мысль Степану. Он как-то виновато улыбнулся, стал совсем-совсем другим (наверно, тем самым настоящим, чем он и был в жизни, дома в семье, с товарищами).

— И не говори… Тоска смертная. А тут весна! — воскликнул Степан, — Кто выдержит! Никто. Мы только… Я вот охотник, и ружье есть. Душа трещит! — Он положил на грудь могучую ладонь. — Места не нахожу: завтра открытие!.. Трудно.

Передо мной раскрылся человек, пребывающий в героическом безделье. И такая печаль лежала у него на лице, что мне стало не по себе.

Потом спустили вместо сходней две широкие доски, нашитые на пару бревнышек. По ним и надо было, как в цирке, взобраться автомобилю на баржу. За нашим въехал второй грузовик. Шофер-

эквилибрист вползал черепахой, тихо, осторожно. А взобравшись, спросил:

— Бесплатно за этот плавучий цирк?

— Рупь, — ответил Кирюха.

— Заткнись! — прикрикнул на него Степан и ответил шоферу: — Бесплатно… Лезет не в свое дело, — заворчал он на Кирюху.

Я не понял такой неожиданной перемены в отношениях между товарищами. Но Кирюха притих, а шофер больше не повторил вопроса. Видимо, они знали Степана хорошо.

На другом берегу, когда уже закрепили баржу к причалу и стали спускать автомобили, Степан увидел мое ружье.

— Охотник?! — восхищенно спросил он.

— Он самый.

— На охоту?

— Да.

Он отвел мою протянутую руку с трояком, коснувшись ее шершавым пальцем, и грустно сказал:

— К чему? Не полагается. — И отвернулся.

— А как же ты-то, на охоту?

Этот вопрос, казалось, переполнил чашу терпения, и Степан почти вскрикнул:

— Убегу! Если не отпустит, убегу все равно.

Когда я отъезжал, то оглянулся и увидел: Кирюха стоял, смотря на воду; молчаливый Ленька сел верхом на бочку, Степан провожал меня в гору взглядом. А может быть, он смотрел в небо, в простор, туда, где вылезали темно-сизые облака — явный признак ухудшения погоды.

К середине дня в Камышевце я хлопотал с Алешей у Тихой Ольхи, спуская на воду челноки.

Алеша — это тракторист из совхоза, что в пяти километрах от Камышевца. Он ежедневно ездит на работу на велосипеде или ходит пешком: каждый день десять километров пути и десять — двенадцать часов работы. Так изо дня в день, из года в год. Он прекрасный тракторист, я знаю его этак лет двадцать подряд. И, кроме того, у него челнок — и у меня челнок, у него мотор — и у меня мотор, у него ружье — и у меня ружье. Одним словом, Алеша Русый — мой друг, прямой и всегда со мной откровенный. Не одну ночь скоротали мы с

ним в камышах, не одну зорю отметили в Далеком, и много-много раз наши челноки стояли рядом под спокойным месяцем, окропленные росой или припудренные инеем, а мы по душам разговаривали или молчали, понимая друг друга. Всяко бывало — и дожди мочили, и солнце сушило.

А в тот беспокойный и хлопотный весенний день, перед открытием охоты, мы с ним выезжали из Камышевца на двух моторных челноках. Все было уложено по-хозяйски, закурена на земле последняя папироска, поставлены в нос лодки садки с кряковыми. Взревели моторы. Мы пошли по разливу, держась русла и взяв курс на Далекое.

Кругом вода, вода и вода. Вдали на пригорке — крохотный хуторок из карточных домиков. Верхушки старого затопленного камыша, высунувшись из воды, беспрестанно трепетали оттого, что вода, напирая, все толкала их и толкала. Вот он, кажется, уже утонул насовсем — нет его, но неожиданно снова выскакивал, вздрагивая и отряхиваясь. Даже мертвый стебель не сдается! Не сломай его силой, он истлеет на месте, но погибнет стоя, дожидаясь молодого, которого еще не видно, но который отрастает от его же корня.

Через час мы были уже около дамбы — через нее надо перетаскивать челноки волоком. Все хозяйство выгрузили и вдвоем переволокли сначала один, потом второй челнок. Работа эта трудная, потная, по мы не унывали.

На другой стороне дамбы снова все уложили и присели отдохнуть. Алеша вытер пот со лба рукавом. Прядь русых волос прилипла к виску да так и осталась, а он сдвинул треух на сторону и проговорил:

— Отдохнем, пожалуй.

Я знаю: ему не надо бы никакого отдыха сейчас. Он просто захотел послушать реку.

А река шумела особенным, весенним шумом. Всплески воды, набегающей на дамбу, и шорох старых камышей, и бульканье водоворота у моста, почти залитого до краев, и кряканье утки где-то

неподалеку, и ответное шавканье селезня, и смех скворца, заржавшего чистым жеребеночком, и далекие человеческие голоса где-то там, за ветлами, — все это трепетало и жило в общем шуме.

Алеша неожиданно воскликнул:

— Смотри-ка! Лягушка! — Он указал пальцем на сухое пятно земли.

Лягушка смотрела на нас с наивным и спросонья ленивым любопытством.

— Проснулась, тварь? — спросил у нее Алеша. — Подумать, как рано… Так редко бывает… Весна будет теплая. Примета такая. — Он потрогал лягушку кончиком хворостинки, — Надо же! Ничуть не боится. Всему миру доверяет… А тварь обыкновенная… Весна!

Алеша живет бесхитростно, с открытой душой нараспашку. Если чем недоволен — скажет не держа в рукаве; начальству смотрит в глаза прямо и не замедлит высказать любому высокому лицу свое возражение, если к тому есть причины. Все рабочие и трактористы уважают его. С семнадцати лет и до сорока он работает на тракторе.

Когда подходит срок охоты, Алеша становится беспокойным, непохоже на него торопливым. Он идет прямо к директору совхоза, минуя мелкое начальство, и говорит:

— Уж пожалуйста… На два дня.

Тот сначала посмотрит на него, потом накричит («Может, завтра пахать! А ты со своей охотой!»), а все-таки отпустит. Знает, что Алеше без охоты невозможно — уйдет все равно.

И только после того, как Алеша выезжал на челноке, посматривая на лежащее перед ним ружье, он снова становился спокойным и веселым. Так случилось и на этот раз.

Мы просидели на дамбе минут десять. Вставая, Алеша сказал:

— Небо заволокло. Ветер потянул… Поболтает нас с тобой, Тихон Иваныч, за милую душу.

И правда, камыши заныли, вода покрылась рябью даже и здесь в затишке, — погода изменилась. Мы тщательно укрыли вещи брезентом, подоткнули его поглубже, завели моторы и двинулись дальше: Алеша впереди, я за ним.

Сразу же за поворотом реки, на выходе на простор, на нас повалили волны, но ветер тут был встречным, челноки шли бодро, хотя штормовка на мне стала влажной от брызг.

Кто видел охотничий челнок на волнах, издали, тот знает, что он похож на утлую скорлупку, которую вот-вот захлестнет и скроет под водой. То он появится, то нырнет, то закроется фонтаном, и видно лишь корму да маленького на ней человечка.

Но так кажется со стороны. Камышевецкий челнок, длиной в шесть метров и шириной не более метра, на ходу довольно-таки устойчив: только неумеха может опрокинуться. Веками охотники приспосабливали это суденышко к Тихой Ольхе. (Еще жив один из великолепных мастеров этого дела, семидесятипятилетний охотник, по прозвищу Беда.) Такой челнок иглой пройдет по дремучим камышам, его не так-то уж трудно одному вытащить волоком на берег, но в нем можно жить на воде во время охоты неделями: сверху палатка, внутри душистое сено — сиди себе или лежи, вытянувшись во весь рост.

На таком-то челноке я и ехал. Его сделал сам Беда! Поэтому волна в полметра высотой, встретившая нас на Сазанке, — сущий пустячок. Вот если большая волна да прихватит поперек хода, тогда, конечно, трудно.

Но ветер все крепчал. К вечеру он стал плотным и напористым. И, как часто бывает ранней весной, с ветром пришел колючий, секущий дождь. Сначала он накрапывал несмело, хотя и хлестко, а потом забарабанил вовсю.

Когда мы миновали Сазанку и вошли в более узкое место, где волна спокойнее, Алеша замедлил ход, сбавив газ почти до отказа, и дал знак рукой. Я выровнялся с ним и тихонько подошел борт к борту. Алеша отвернул капюшон плаща и сказал весело:

— Дождик-то обнаглел совсем. Не переждать ли?

— Уже вечер, — говорю. — Скоро смеркаться начнет, а по темноте-то хуже будет.

— Ночью нам так и так ехать. Но под Лещевом теперь волна страшенная — надо бы миновать завидно. Видишь, буря-то какая нахальная. Ты как?

— Поехали.

— Поехали! — воскликнул Алеша, а лицо его озарилось этакой удалью и веселостью, будто он пошел в перепляс. — Поше-ел!

Моторы заревели. Мы теперь шли по крутым поворотам, то врываясь в волну, то выходя в затишек у края берега.

Но вот уже подходим и к Лещеву. Здесь река образует огромный затон длиной около двух километров. Ветер бьет вдоль затона, а волны, нарастая в нем, выкатываются на простор реки и, уже могучие, с белыми гребешками, бьют поперек течения прямо в берег.

Итак, нам надо пройти вдоль течения, но… поперек волны. Это сделать невозможно! Воткнувшись в протоку, мы посоветовались. Решили: ехать обязательно — завтра открытие.

У Алеши мотор стационарный, а управляет он веслом. У меня подвесной: веслом не управишь, а только винтом. Из протоки надо рывком выйти на волну и поставить челнок по ветру. Только так. В любом другом положении волна накроет немедленно.

А дождь! Обнаглел окончательно. А буря! По-настоящему нахальная.

Первым выскочил Алеша. На полном газу он прижался челноком к камышам протоки, рванулся на простор, взвился на гребень волны и ударил веслом. Брызги беспорядочным фонтаном скрыли челнок… В следующую секунду Алеша вынырнул носом по ветру и пошел в затон, то опускаясь в провал волны, то поднимаясь на гребень.

Я во всем точно подражаю Алеше. Выхожу из протоки вплотную к камышам с подветренной стороны, там разворачиваю вполветра — пока волна еще не так сильна — и… полный газ!.. Вровень со мной, на уровне глаз, — вода! Еще доля секунды… Кажется, ошибка! Но… Челнок задрал нос вверх… Еще доля секунды — и он провалился носом, а я вверху. Порядок! Иду на ветер точно, как по нитке.

Вдали Алешин челнок ныряет и выныривает.

В конце затона в затишке мы разворачиваемся и идем обратно уже под ветер. Так и входим в русло другим берегом затона.

Чтобы обмануть бурю и миновать пятьсот метров поперечной волны, мы сделали крюк в три-четыре километра. Иначе нельзя. Алеша знает дело.

В спокойном месте мы причалили к берегу, отчерпали воду из челноков и присели на борт Алешиного челнока, покуривая из-под капюшонов. Дождь барабанил по брезентовой одежде.

Алеша сказал:

— Ночь будет холодная.

— На остров съедем — и в землянку.

— Захар Макарыч Пушкарь тоже там. Он раньше нас ушел часа на три.

— Веселей будет.

— А что я хочу сказать, — заговорил вновь Алеша. — Что, если бы в такую чертокопытную погодушку тебе бы сказали: поезжай вот так за двадцать пять километров и там ты получишь пятьдесят рублей. Ведь не поехал бы?

— Ни за что. За сто рублей не поехал бы.

— Я тоже. А на охоту едем — мокнем, рискуем, а едем. Чудное все-таки творение — человек. Страсть! Охота! Весной-то еще туда-сюда: две недели — и охота кончилась. А вот как наступит осенняя, то ведь ни единого воскресенья дома не бываю. Моя Ася уже привыкла: в такую пору все выходные мы врозь. Ничего. Ладим. Понимает… Охота! — повторил он еще раз.

И я рассказал ему про тоску Степана с баржи. На это Алеша вымолвил:

— На охоту не пускают — страдалец!

И вот мы вновь уселись в свои суденышки. «Чертокопытная погодушка» не унималась. Начало смеркаться.

Вдруг издали:

— О-о!!! Спа-аси-ите-е!

Ветер донес жуткий крик. Алеша вскочил, отбросил капюшон и весь превратился в слух.

Слышу теперь четко:

— Спа-аси-те-е! Е-е-е!.. Спа-а!..

— Человек тонет! — крикнул Алеша мне, как глухому.

Он выбросил из моего челнока рюкзак, я — корзину с кряковыми и ружье. Он столкнул пустой челнок в воду и сел на дно. Я — за руль.

— Прямо — на ветер! — скомандовал Алеша. — Левее!.. Правее! Так держать!.. В затоне он!

Он властно выкрикивал во весь голос. Мне оставалось только выполнять приказания. Вот он махнул рукой на берег, приложил ладонь к уху, и я понял: «К берегу». Он дополнил:

— Заглушить мотор! Слушать!

С трудом подошли к берегу. Но неожиданно Алеша встал на колени и рявкнул:

— Вот он!

В наступающих сумерках и в пелене дождя теперь и мне было видно метрах в ста от нас перевернутую вверх дном лодку, которую уже прибило к камышам, тоже залитым водой.

— Разворачивай!

Это на такой-то волне! Но моей воли уже не было ни капли. Была только воля Алеши.

Лодку, конечно, захлестнуло, залило водой чуть ли не наполовину. Алеша схватил черпак и, как машина, заработал им, отливая воду. Потом он сбросил плащ… Сбросил и пиджак… Метрах в двадцати от нас мы увидели, как человек, держась за нос перевернувшейся лодки, боролся за жизнь. Он уже выбился из сил. Он не видел нас.

Алеша скинул сапоги… Крикнул мне:

— Подходи бортом! — Утопающему заорал во все легкие: — Держи-ись!!!

Тот услышал. Метрах в десяти от нас он бросил свой челнок и кинулся, бедняга, к нам в ужасе и беспамятстве.

— Что ты делаешь, мать твою!.. — заорал Алеша неистово.

Человек схватился обеими руками за средину борта. Но окоченевшие руки соскользнули, а челнок наш пронесся мимо, снова зачерпнув воды. Казалось, все кончено — у утопающего не было даже щепки, чтобы за нее ухватиться. А я просто отупел, что ли, и поэтому не заметил, борясь с волной, как все случилось.

Алеша в ту же секунду, как соскользнули руки человека, бросился в реку и обхватил его под мышки со спины.

Секунда. Другая. Третья. Вечность!

Позади меня, метрах в десяти, Алеша вынырнул из воды и крикнул дико:

— Це-епь!!!

Я понял. Но как подойти?! Врезаюсь в камыши, точнее — в их торчащие из воды верхушки. Глушу мотор. Выхожу на весле по ветру к Алеше, выбрасываю причальную цепь в воду. Алеша одной рукой схватился за нее, другой держал человека.

— Мото-ор!!! — рявкнул Алеша.

Рванул мотор.

Челнок шел вдоль затона, под ветер, к берегу реки.

Спереди видна только красная, окоченевшая рука Алеши.

Глушу мотор, чтобы не разбить голову Алеши о берег.

Хватаюсь за весло. Но Алеша уже оттолкнулся от лодки и выбирался на берег.

В ледяной воде он пробыл не меньше десяти минут.

Человек оказался не кем иным, как Недолиным Петром, или, как его прозвали охотники, Петька Плакун — тоже охотник, но вечный неудачник. Он был в полубессознании, ворочал белками, кашлял и кричал одни и те же слова:

— Ружье! Пропало ружье! Пипер! Пропал Пипер!

Мы бежали к старой скирде камыша, что стояла на берегу, на курганчике. На бегу Алеша ругал Петьку Плакуна на чем свет стоит.

— Корова ты, а не охотник, Плакун чертов… Ружье ему жалко стало…

— А то не жалко, — возражал тот, уже всхлипывая.

У скирды Алеша приказал:

— Берите камыш. Давай сюда… Кругом, кругом его! Шире круг! Да не так, черт вас дери!.. Быстро — пока дождь перестал!

За три-четыре минуты образовалось два полукруглых валка из камыша метров пять-шесть в диаметре, с двумя проходами. Мои спички в кожаном чехольчике оказались-таки годными. Камыш подожгли со всех сторон. И вот уже Алеша стоит голый в средине круга. От его тела идет пар. С явным удовольствием он пошлепывает себя ладонями. При этом играет каждый мускул — весь он сильный, сухой, точеный. А рядом с Алешей стоял жалкий, тщедушный Петька Плакун и держал над огнем одежду, от которой пар валил столбом.

Я подкладывал камыши в пламя так, чтобы в кругу было тепло, но не жгло.

Буря постепенно утихала.

Алеша обратился непосредственно к небу:

— Так, так, чертова непогодь! Нельзя же издеваться над человеком. Давай, давай затихай, пожалуйста… Давай мирное сосуществование.

Когда же образовался валик золы высотой в полметра, Алеша скомандовал:

— Хватит подкладывать! Баста! — И сел в кругу на корточки, разложив одежду.

Остальное я сделал уже по своей собственной воле: сбегал к тому месту, где остался Алешин челнок и мои вещи, притащил рюкзак,

вошел с ним в теплый круг, достал поллитровку.

— Сразу видно — человек! — восхитился Алеша. — И соображенье есть!

С этой секунды его командирство прекратилось, мне уже можно было не подчиняться беспрекословно, как прежде.

Они оба выпили по стакану водки. Из рюкзака я вытащил запасную пару теплого белья и подал Алеше. Он взял ее в руку, подержал чуть и подал Петьке со словами:

— На, надень… Загибнешь ведь, сухарь чертов…

— Ты что лаешь?! Что лаешь! — вскипятился тот. Но белье надел. — Человек ружья лишился, а он…

— Присохни, Петька, — перебил его Алеша.

Петька Плакун «присох»: замолчал и стал приплясывать.

Мои высокие охотничьи сапоги с ботфортами, конечно, не пропустили ни капли воды, а штормовка, хотя и стояла колом, не промокла. Поэтому я разделся, снял белье, отдал Алеше (у нас с ним одинаковый пятьдесят четвертый размер), а сам остался в теплых ватных брюках. Мой ватник надел Алеша.

Теперь мы сидели, окруженные теплом. Сверху начали выпрыгивать из облаков звезды. Потом и серп луны поехал по облакам лодочкой, то скрываясь, то появляясь вновь и будто проверяя, что же случилось на земле во время бури за его отсутствие… Почему-то мне опять вспомнился Степан с баржи.

— Как же ты опрокинулся, чучело? — спросил Алеша спокойно.

— Как… Очень просто… Надо бы до конца затона ехать, а мне показалось, можно разворачиваться… Ну, и…

— Кукла ты — больше никто, — беззлобно утвердил Алеша. — Лень тебе проехать пятьсот метров лишних… И всегда ты выкинешь какую-нибудь кадрель. Охота — это тебе не игрушки. А ты…

— Ну уж… — попытался возразить Петька.

Но Алеша его перебил:

— Ты мне не возражай! Кто своего собственного кобеля поймал на удочку? Ты. Кто сам себя поймал за ухо щучьим тройником? Ты. Кто наступил в лодке на голову кряковой утке, своей личной утке? Опять же ты. Кто прострелил дно в собственном челноке? Ты! Да что там! — Алеша безнадежно махнул рукой.

— Ну, было. Ну, было… Дак то ж случайно, — все еще пытался отговориться Плакун.

Но Алеша его давил:

— Сидел бы ты в своей артели да делал горшки, раз у тебя к тому талант есть.

Мне даже стало жаль Петьку. Я ведь хорошо знаю, какие чистые, блестящие, идеально гладкие, а иногда и расписные горшки он выдает из своих рук.

Наконец все обсохли и все просохло. Алеша надел свои кальсоны и рубашку, потом верхнюю одежду. Плакун тоже. Так мы потеряли не меньше полутора часов. Была уже ночь.

Петьку мы высадили на противоположном берегу. Он вылез из челнока, постоял-постоял немного и сказал в абсолютной безнадежности:

— Пойду в Лещево. Ночую.

А когда скрылся в темноте, Алеша проговорил:

— Ну и фигура! Завтра будет весь день болтаться по затону, ловить челнок да искать ружье. Придет в Лещево к рыбакам и заканючит: «Пи-ипер поги-иб!» Ну, и… найдут ему.

— Думаешь, найдут?

— Найдут. Жалко вот уток. У него две кряковых — теперь потопли.

— А может быть, не потопли?

— Потопли. Он ведь их в фанерном ящике возит, чудо преестественное. Жалко уток.

Иногда весной бывает так: налетит буря, погуляет часа два-три и так же неожиданно затихнет, как началась. Река присмирела. Лишь мелкая волна похлестывала о берег. Просвистела стая уток.

Мы подъехали к своей первой стоянке, снова все уложили, привели в порядок хозяйство и тронулись дальше.

До самого Далекого мы уже ни разу не остановились и не перекинулись ни единым словом. Под журчанье мотора, напряженно всматриваясь вперед, я вспомнил Степана: как-то они перенесли буран?.. Наверно, как раз молоко перевозили…

А челнок бежал и бежал. И урчал. Хороши — очень хороши! — вот такие урчащие ночи после бури. Ты — и ночь. Ты — и вода. И больше ничего. Ненастье где-то уже далеко позади.

Часов в двенадцать мы высадились на острове Далеком, вытащили челноки, захватили ружья и рюкзаки и пошли в землянку за триста — четыреста метров от берега, на бугре.

Лес тихонько шумел тем особенным весенним шумом, когда ветерок пронизывает насквозь еще голые ветки: то он звучит басовой струной, то взвизгнет со свистом, то — как шмель, то будто кто-то дует на листы плотной бумаги, а то вдруг все эти звуки смешиваются в общий гул, беспокойный, нетерпеливый, требовательный при порыве ветра. Потом снова затихнет, и тогда скрипнет старая осина, наверно, уже сухая, но ее тут же заглушит настойчивый весенний шум. Голос гнилой осины никогда не может пересилить шум молодого леса.

Из землянки, как только мы открыли дверцу, на нас пахнуло теплом. У жарко растопленной печки сидел Захар Макарыч Пушкарь и подкладывал дрова. Он обернулся к нам, вскочил и отчеканил, вытянувшись во фронт:

— Докладываю: караульное помещение натоплено, чай готов! Лось подходил к землянке! Никаких происшествий не случилось.

— Вольно! — ответил Алеша и так же шутливо спросил: — Оружие при себе?

Я рассмеялся, а Захар Макарыч выпалил:

— Так точно! — Но вдруг, спохватившись, с ноткой обиды проговорил: — Ты, Алеша, не тово… Кто старое вспомянет, тому глаз вон.

Только мы втроем знаем, о чем шла речь. Было однажды так, что Захар Макарыч приехал на охоту… без ружья. Забыл дома. Это могло случиться только с ним — ни с кем больше. Однако даже такой случай не умаляет достоинств нашего друга.

Потом мы под карманный фонарик пили чай. Макарыч сидел против меня. Лицо у него широкое, скуластое, с большими губами, изрезано крупными редкими морщинами. Если кто-либо встретит его в камышах или в лесу впервые, то он, пожалуй, может показаться страшным. Но стоит ему заговорить или засмеяться, как перед вами уже совсем-совсем другое лицо: так плавен и мягок у него голос и так чист и искренен смех. И тогда вы обязательно посмотрите ему в глаза, потому что они сами смотрят открыто и просто. Ему уже шестьдесят пять — он на пенсии, — но дать больше пятидесяти невозможно.

Роста он ниже среднего, коренастый, с короткой мускулистой шеей. В его больших руках кружка с чаем кажется маленькой чашечкой.

Захар Макарыч пил чай с удовольствием. Сначала он откусывал большой кусок хлеба и отправлял его за щеку, затем с хрустом прямо-таки отрубал зубами кусочек сахару и шумно отхлебывал чай до тех пор, пока шишка, образовавшаяся на щеке от хлеба, не исчезала. И тогда все повторялось снова в том же порядке. Уж до того аппетитно!

— Покачало вас? — спросил он во время чаепития.

— Малость, — ответил Алеша.

— Не то чтобы малость, а средне, — уточнил я, не желая явного преуменьшения.

— А ты как доехал? — спросил Алеша.

— Я-то? Я хорошо доехал. Буря меня почти не захватила.

— А мы Плакуна вытащили, — сказал Алеша так, будто он вытащил из воды жука, не больше.

— Опять тонул! — воскликнул Захар Макарыч.

— Опять. Лодка перевернулась. Ружье утопил. Пошел в Лещево. — Алеша говорил это в раздумье, как бы мимоходом, и все только что происшедшее, казалось, уже далеко и не заслуживает серьезного внимания. Он так и заключил: — А ну его, чучело…

Так-таки я не мог понять, почему неприязненно отзывается о нем Алеша. И спросил:

— Отчего ты так поносишь Петьку? Ты же его спас, а сам кроешь с первой же минуты.

Алеша ответил, смеясь:

— Воспитываю. Агитатором к нему закрепился. — Потом серьезно: — Его хоть сто раз вытащи из воды — все равно опять тонуть будет.

— Пока не утопнет совсем, — добавил Захар Макарыч.

— «Утопнет…» Есть такие люди: тысячу раз помирает, а до ста лет живет. — Так Алеша вновь обошел мой вопрос.

Захар Макарыч относился к Плакуну тоже явно недоброжелательно. Он сказал, вытирая губы:

— Плакун и есть Плакун. Ему при каждом несчастье люди помогают, а он — никому. Леший с ним… Давайте-ка поговорим про охоту. — Лицо его подобрело. — Вот вопрос: какая заря будет? Пошли подумаем.

Мы вышли из землянки.

На небе вызвездило, но ветерок пока еще гудел в ветвях и шумел в камышах. После теплой землянки мне показалось сначала холодно и даже сиверко, но погода явно улучшалась.

— Заря будет холодная, — определил Алеша.

— Зато тихая, — с надеждой сказал я.

Все согласились иметь тихую зарю и с этим настроением вернулись в землянку, захватив из челноков кряковых. Они энергично загалдели между собой, но вскоре, договорившись, умолкли, успокоились.

Мы постелили на полу сена, заготовленного хозяйственным Макарычем, развесили над печуркой на жерди одежду и улеглись, погасив фонарик. Я — в середине, слева — Алеша, справа, прямо у жерла печурки, — Захар Макарыч. Он сам пожелал лечь поближе к теплу, предварительно подбросил еще дров на ночь и растянулся в полном блаженстве.

— Вот она, настоящая жизнь-то, где! И чего тебе еще, Захар, надо? Ничего не надо, — спрашивал и отвечал сам себе Захар Макарыч.

— А хорошую зорю? — спросил я.

— И еще хорошую зорю завтра. А больше ничегошеньки.

— А две пары селезней? — докучал я.

— Ага. И еще две пары селезней… Тьфу, пропасть! Никак человеку не угодишь, — спохватился вдруг Захар Макарыч. — Все ему мало, человеку. Уж вот, кажись, все-все хорошо и все есть, а, поди ж ты, опять не хватает чего-нибудь… Может ли человек быть счастливым? — спросил он.

— Сам же сказал: «Опять не хватает чего-нибудь»… Человеку все мало, — ответил Алеша. — Только умом все довольны и всем хватает до отказа. Только умом все довольны… Ни один идиот не жалуется на нехватку ума. А всего прочего всегда мало.

Захар Макарыч приподнялся на локоть, и его мягкий голос зазвучал совсем близко от меня:

— Что я скажу, Тихон Иваныч, про эту самую жар-птицу, счастье. Мы, брат, сами не знаем, когда счастливы, не замечаем… А когда несчастны, то понимаем все…

— Пожалуй, загибаешь, — проговорил Алеша.

— Подожди. Слушай. Я двадцать шесть лет проработал на комбайне. Сколько труда, неприятностей, пыли, грязи! Сколько я, прости бог, матерков навешал на хедер сушить… И-их! Вспомнишь, аж совестно… и муть на душе. А как пошел на пенсию… как стал сдавать комбайн, тут и… — Голос его чуть-чуть задрожал. Он снова лег. — Что ж ты думаешь: вспомнил и утречко в поле, и хлеба… много хлебов. Я их убрал — счету нету… Сдал комбайн — сердце заболело. И думаю: да неужто же так я больше и не буду на комбайне-то? — Он откашлялся. — И показался я себе тогда несчастным человеком… А раньше не замечал, что хорошо-то.

Он замолчал. В землянке стало тихо. Алеша заснул крепким богатырским сном, откинув на меня руку. Захар Макарыч некоторое время ворочался с боку на бок, потом тоже уснул. А мне что-то не спалось.

И припомнился июль 1956 года.

Директор и механик стоят на штурвальном мостике комбайна Захара Макарыча Пушкаря. Он вывел его на первый круг. Объехал раз… другой. Всю зиму и весну он готовил комбайн, как на парад: не было той гайки, чтобы он не подержал в руках. Это был прощальный ремонт. Захар Макарыч был молчалив: никому ни слова. Рядом с ним стоял Сережка, молодой парень лет двадцати трех, новый комбайнер. Ему-то и должен был сдать комбайн Захар Макарыч, уходя на пенсию.

Вот уже проехали и третий круг. Директор сказал:

— Ну что ж, Захар Макарыч… наверно… надо. Пора.

— Пора, — глухо произнес старый комбайнер.

Они сошли на стерню. Это значило, что сейчас комбайн будет передан другому.

Захар Макарыч обходил вокруг машины — такой знакомой, послушной и безотказной, гладил ладонью железо и деревянные планки хедера. Взобрался на мостик, глянул на поле и, опустив голову, махнул безнадежно рукой. Потом сошел вниз. Губы у него задрожали, суровое и грубо выточенное лицо в тот миг было — ей-богу — нежным. Он подал руку Сереже и сказал:

— Бери… Сережа… Работай лучше меня… И это…

Захар Макарыч не мог договорить. Отвернувшись от нас, он прижался лбом к стенке под выгрузным шнеком.

В то лето он выходил к комбайну каждое утро, как и много лет подряд. Иной день он заменял Сережу.

Засыпая, я очень желал счастья Захару Макарычу Пушкарю, знаменитому когда-то в районе комбайнеру.

Кто-то стукнул дверцей. Я лежал с закрытыми глазами, уже проснувшись. Не хотелось даже шевелиться — так овладел мной покой. Дверца скрипнула еще раз, и Захар Макарыч рявкнул:

— Подъе-ем!

Заря приближалась! Сборы были короткими. Мы вышли в затон на веслах. Там разъехались в разные стороны. Алеша — на Квочку, я — в Голову, Захар Макарыч — на Голубую. Это все названия плесов и озер, окруженных камышами.

Теперь я совсем один: вода, камыши и я.

Ветер не шелохнет… Тишина. Ее не хочется нарушать даже всплесками весла. Бесшумно опускаешь весло в воду и так же тихо гребешь. Слышно лишь, как стекают капли, когда весло на минуту оказывается над водой. Старые, прошлогодние камыши темнеют стеной, а лес на фоне предутреннего неба совсем черный.

Зоревой, полусонный и бледный, как кусок матового стекла, месяц уперся рогом в край земли, кажется, задумался: ложиться на отдых или подождать еще маленько, пока погаснет последняя звезда.

В полутьме я виляю на челноке по протоке, ведущей в Голову. От тишины шумит в ушах.

По тому, как от нечаянного удара веслом начали брызгаться на меня камыши, замечаю: ложится роса — предвестник ясного утра.

Еще несколько минут — и я на озере, в Голове.

Потом утро серой пеленой повисло над водой с легким, чуть-чуть заметным туманом-дымкой. В этот час камыши на краю озера кажутся далеко от тебя, но на самом деле они всего в двадцати — тридцати метрах. Это еще не утро — это конец ночи, такой бурной в начале и такой смирной и тихой в конце. Вчера, сразу же с вечера, она сердилась, бурлила, неистовствовала, а теперь вот до того покорна и спокойна, что нежная светло-алая полоска на востоке без труда отсекла горизонт от ночи, затолкала за лес бледный серп месяца, так долго раздумывающий и нерешительный, и уже занимает небо все выше и

выше, все шире и шире. Заря именно занимает небо. Как все-таки точно русский человек выбрал слова: «Заря занимается».

Получилось, что я не заметил, как встал со скамейки и снял треушник. Да так и стоял, боясь стронуться и спугнуть тишину.

И вдруг… Я вздрогнул! Тихо каркнула цапля. Этот звук настолько неожиданно ворвался в тишину, что, казалось, он рассек пополам озеро. В раздумье я и прозевал начало охотничьей зари. О чем жалеть!

И вот, уже торопясь, въехал в заводь озера. Неподалеку от берега островком торчала прошлогодняя куга. Она густа и лежит в одну сторону, как расчесанная гребнем. Осенью она была высока — около двух метров, — а теперь лежит пластом. Лучшего места для засидка не найти, и никакого шалаша не надо строить. Мы его сделаем в два счета!

Вы переходите в нос челнока, подъезжаете к островку наполовину затопленной куги, кладете весло в лодку. Затем, поднимая перед собой шалашиком кугу, постепенно въезжаете в нее, пригнувшись. Когда лодка войдет вся в этот шалашик, подвязываете изнутри с каждой стороны по одной хворостине, заготовленной тут же у куста, что рядом с вами. Засидок готов! Он ни для кого не заметен — вы спрятались от острого глаза птиц. Теперь остается выпустить кряковую утку. Для этого осторожно выезжаете из шалашика и на бечеве (с грузилом) выпускаете утку и вновь возвращаетесь в готовый засидок. Вот и все. И ждите счастья.

Теперь мир сузился до предела: в отверстие видна только крякуха и немного воды. Где-то сначала нерешительно, а потом смелее закричала дикая утка. В ответ ей прожавкал селезень. Он, кажется, у того края озера. Моя Аленка, услышав его голос, забила любовную тревогу в частуху, надрывно, со страстью, чуть пришлепывая крыльями.

Все! Весь мир заслонили эти крики. Внутри дрожь. Пальцы сжимают шейку приклада. Сердце бьется часто-часто…

Свистят крылья селезня. Он делает первый круг «с голосом», второй молча и, не выдержав призыва, плюхается в трех-четырех метрах от Аленки. В полумраке еще не очень четко видно любовника. Он то покажется силуэтом, то сольется с кочкой — стрелять нельзя. И вот сначала слышу, а потом уж вижу: он рядом с Аленкой. Она ласково

и так часто-часто щебечет ему: ка-ка-ка-ка! Она приседает, чуть откинув крылья. Потом…

Они полюбили друг друга.

Теперь вижу его отчетливо: красавец, с галстуком! Он отплыл от Аленки метров на пять. Потом на десять. Он зовет ее, зовет с собой, на волю, в воздух, приглашает к взлету в небо. Он соблюдает веками установленный этикет — не подниматься в брачный облет раньше самки. Аленка рвется на бечеве, она бьет крыльями, стремясь к супругу, но что можно сделать!.. Он уже перестал ее звать и смотрит удивленно, озираясь по сторонам, почуяв что-то неладное…

Все вокруг уже видно даже и через кугу: можно стрелять. Но надо ли?.. И я опускаю ружье… Редкий охотник убьет селезня, покрывшего его утку, да еще с первой зари, с первого крику. Разве можно убить счастливого!

И тогда от моего легкого стука ладонью о борт челнока красавец срывается с воды и без облета, без прощального круга, уходит ввысь. Аленка кричит отчаянно, безнадежно, в великом горе и одиночестве.

На несколько минут она наконец замолкает. Потом кричит уже редко и основательно, прислушиваясь и склоняя головку набок. Крикнет раза три-четыре — и слушает. Крикнет — и слушает.

И снова свист крыльев. Снова крик нового селезня. Аленка дает «осадку» страстно, музыкально и почти беспрерывно. В переводе на человеческий язык это означает: «Ах-ах-ах-ах! Какой вы прелестный и молодой! Ах-ах-ах! Не проходите мимо! Ах-ах-ах! Как отлично вы одеты и какой исключительный галстук! Ах-ах-ах!» Разве не все равно ей — какой это селезень! Вот стерва, прости боже… Он отвечает ей жавкающим сиплым голосом: «Что ж-ж-ж, по-ж-жалуй, мож-жно».

Но этот оказался «битый». Он дал один круг, второй. Вот уже зашел и на третий, а на посадку, видно, и не собирается. Я встал в куге во весь рост, приложился и выстрелил. Селезень, как ошпаренный кипятком, упал метрах в тридцати от меня. Эхо взбудоражило утро. Дрожь внутри прошла.

Точный выстрел — и я счастливый. Охотника делает счастливым первый удачный выстрел. Удивительное существо — человек!

Слышу справа — Захар Макарыч ахнул!.. Прямо от меня — вдалеке ударил Алеша… Потом еще раз — моя удача. За полчаса зари каждый выстрелил несколько раз.

Заря кончилась. Солнце вышло из-за горизонта, брызнуло золотом по верхушкам леса. Золотым ковром оно пересекло озеро и заиграло на воде блестками. Становилось все теплее и уютнее.

Четыре селезня уже лежат у меня рядышком. Аленка, довольная, как оказалось, всем происшедшим, встряхивалась, сидя на лавочке, и обирала перышки. Селезни ее уже не интересовали: заря кончилась.

Было тихо и золотисто. И такой покой был вокруг и рядом со мной, что не хотелось двигаться. Так я и стоял посредине озера еще добрых полчаса, ни о чем не думая.

Слава тебе, грядущий весенний день!

Через двое суток на обратном пути, переправляясь через Дон, я узнал печальную весть.

Во время той бури баржу стукнуло о берег. Степан бросился на край палубы с бревном, чтобы подложить под автомобиль-молоковоз и тем спасти его — а иначе, по мокрому, он сполз бы юзом в воду. В этот момент баржу ударило еще раз. Автомобиль вместе с бревном скользнул, ударил храбреца бортом в голову…

Степана не нашли…

Рассказал мне об этом Кирюха.

— Пока не нашли, — закончил он с тоской и тяжко вздохнул.

Потом он сел, подвернул под себя одну ногу и грустно, задумчиво смотрел в воду.

Дон был спокоен, тих, невозмутим. Чайки плавно скользили над водой. Сверху чибис спросил у нас: «Чьи вы?» — но на него никто не обратил внимания. Солнце грело.

На обрывистом берегу молоденькая женщина дико выкрикивала только одно слово:

— Степа-ан!!! Степа-ан!!!

Этот жуткий крик терзал сердце.

Мне трудно было дышать.

3. ЗАРЯ БЕЗ ВЫСТРЕЛА

А весна разыгралась.

На солнцепеке невесть откуда появились красные пятна — это божьи коровки, смирные, доверчивые. Нежные сережки вербы крупными серебряными бусинами осыпали ветки. Щеточкой вылезла трава на лугу, и он заиграл неповторимой свежей, весенней зеленью. Вода начинает сбывать, с каждым днем все больше и больше, освобождая затопленную пойму. Все цвета чистые, точные, без мягких переходов одного к другому, но сами они удивительно мягки: серебряные сережки, красные божьи коровки, зеленая травка, голубое-голубое небо вверху, необъятное и величественное, и голубые-голубые подснежники внизу — капельки неба на земле! А утром и вечером — золотая вода, разукрашенная солнцем.

Прошло несколько дней, как я расстался с друзьями. Мы договорились: вновь ехать в Далекое на воскресенье. Алеша — на две зари, а мы с Захаром Макарычем — на четыре, то есть на два дня.

В субботу вечером мы уже сидели на берегу Далекого у костра, уже отохотившись вечернюю зорю. Алеша взял двух селезней, я — одного, Макарыч — нуль. Утки стали не так доверчивы, как в первые дни прилета (по выражению Захара Макарыча, «практикованные»).

— А и как им не быть практикованными, — подтвердил Алеша, подкладывая в огонь сучья. — На пять километров от Камышевца на каждой кочке охотник, а в каждом паршивеньком болотце кряковая утка. Это ведь сюда никто не заглядывает — большой воды, камышей боятся, — а та-ам, боже мой, что там творится! Так орут кряковые, так орут — кажется, с них шкуру снимают с пером и лапки прочь отдирают.

Захар Макарыч, соглашаясь с собеседником, спокойно поддерживает разговор:

— Он, селезень-то, за сто километров поймет такой ералаш у Камышевца. Летит пулей мимо них и — сюда, и — сюда… Так что не каждый подсядет теперь и к нашим.

Мы с Алешей не возражаем против того, что «селезень за сто километров поймет», — мы знаем склонность нашего друга к преувеличениям. Он, например, может сказать: «Я тебе говорил четыре с половиной миллиона раз!»

В тот вечер он сказал Алеше:

— Ты что: пять тыщ сучков хочешь сжечь? Хватит подкладывать — и так жарко.

Алеша посмеялся:

— Четыре тысячи двадцать пять с половиной… Еще полтысячи — и достаточно. — Он подложил все-таки еще пару крупных веток и спросил: — А чего же ты, Макарыч, на нуль сегодня сел? И не стрелял?

— Нет. Не стрелял.

— А чего?

— Нельзя было.

— Почему нельзя? — приставал Алеша.

— Как тебе сказать… Такая штука получилась… — Захар Макарыч замолчал, не договорив.

Я тоже пристал к нему.

Макарыч открыл нам секрет:

— Завтра свадьба будет. Сваты приходили.

— Э-э! Тогда понятно! — воскликнул Алеша.

Мне же ничего не было понятно: что за свадьба тут в камышах? Какие сваты? Почему нельзя было ему стрелять селезней? Все эти вопросы я высыпал перед Захаром Макарычем в одну кучу.

Они оба рассмеялись. Потом Алеша наконец-то ответил, протянув:

— Ца-апли-и. Это он про цапель.

Мне стало стыдно оттого, что не понимаю. Но я уже чувствовал, что мне предстоит сделать открытие. И, как всегда в таких случаях, заволновался.

А Захар Макарыч подсел ко мне и ворковал:

— Если вечером рядом с ними стрелять, то свадьбу не увидим — улетят в другое место… за пять тыщ километров… Поедем на утреннюю вместе? Чудно будет — дым из макушки! Из десяти тыщ охотников один только, может, и видал такое.

Алеша подправил:

— Из тысячи один — это точно. А я видал. Захар Макарыч показывал. Покажет и тебе, Тихон Иванович. Ты езжай с ним, езжай — не пожалеешь.

Хотя ночь была по-весеннему холодна, но ночевали мы на открытом воздухе, постелив остатки прошлогоднего сена на то место, где был костер, и предварительно очистив всю площадку веником из прутьев. Уснули быстро.

…Алеша толкнул меня в бок:

— Пора вставать. Скоро заря.

На двух челноках мы отправились с Захаром Макарычем на протоку. Это подобие узкой канавы в камышах, ведущей на край луга. Ехать надо было не меньше трех километров — мы спешили, отталкиваясь веслами, стоя во весь рост. Хотя челноки двигались довольно быстро, к месту мы прибыли, когда уже заря занялась, но все-таки еще не рассветало. Я следовал по пятам за челноком Захара Макарыча. Он с ходу воткнул челнок под ветви ветлы, боком склонившейся над сухими камышами. Я сделал то же самое, и мы оказались рядом, борт к борту. Мой спутник приложил ладонь к губам: дескать, надо тихо! За все время пути он не произнес ни единого слова. Мне казалось, что он наслаждался тишиной. Но тут надо было молчать, вероятно, по необходимости. К тому же мы попали в самое что ни на есть начало зари. Я указал на корзину с кряковыми, что означало вопрос: «Будем пускать или нет?»

Захар Макарыч притронулся к моему плечу: «Не будем».

Ладно. Сидим без единого шороха.

Нигде ни звука.

Потом упала с ветлы в воду капля — звонко и чисто так, как мне никогда не приходилось слышать за все сорок лет охоты. Это, конечно, от неимоверной тишины. Из всего мира звуков, которые мы всегда слышим, чистого, свободного «от помех» падения весенней крупнейшей капли мне, оказывается, не пришлось слышать. Они, капли, всегда окружены беспокойными шумами, а здесь — звонко-презвонко: блюк-к-к!

Я ждал второй капли, но она беззвучно ударилась о камышинку. Ждал третью…

Третьей капли для меня не было — я ее уже не мог слышать: ухнула выпь! Этот дисциплинированный горнист природы открывает зорю всегда точно: заиграл — значит, подъем для всего живого в камышах. И тогда крякнет утка, тогда спросонья защебечет камышевка, тогда шлепнет ногой о воду цапля и завозится в ветвях невесть какая птичка. Выпь-горнист и вечером «играет отбой» — закрывает зорю: если она ухнула вечером, то все — охота кончилась! Только, пожалуй, взлетит утка, уходя на кормежку уже в темноте. Но

взлетит с голосом, как бы приветствуя и благодаря горниста и предупреждая молодежь (если летом) о том, чтобы сидели тихо и ждали голоса горниста — тогда она прилетит вновь. Ухнет выпь летним утром, прислушаешься — запищат утята: сейчас мать прилетит.

Итак, заря началась.

Светало.

В нескольких шагах села утка, а за ней в ту же минуту шлепнулся селезень. Она прокричала дважды. Еще второй селезень упал рядом. И пошла катавасия! Оба красавца сцепились в жаркой схватке, с озлоблением шипя и клокоча. Тот, что явно посильнее, наконец впился в «шапку» противника и стал его топить, кружа на воде и ударяя крыльями. Оставив часть собственных перьев, побежденный вырвался и улепетнул прочь, рассекая воду и вытянув шею. Но он не улетел, а, пристроившись у края островка, притих в полной покорности. И только после того как победитель сделал все, что ему нужно сделать, тот неудачник поднялся от стыда в воздух. Делать ему тут больше нечего. Он и поднимался-то как-то тяжело, неуклюже, боком, в этаком безутешном унижении.

Начало всходить солнце.

В камышах кто-то тихонько шлепнул о воду. Потом еще, уже в другой стороне от нас. Потом звук: кр-рп… Знаю: цапля! Ответ последовал более нежно: р-рп-р-р. После этого — несколько голосов по очереди громко и призывно: кар-р! кар-р! Но это совсем не похоже на карканье грача, а чуть-чуть с гортанным клекотом, однако и не так, как цапля кричит перед дождем (тогда она орет на лету во все горло, предвещая ненастье).

И вот она вышла шагах в двадцати от нас на островок, около которого только что сидел несчастный селезень. Вышла чинно и даже чопорно. Остановилась, расправила огромные крылья, чуть присев, затем сложила их, чуть встряхивая, и огласила окрестности брачным призывом.

Где-то под ветлой, позади нас, зашумело. Мы теперь увидели, как самец выплыл на крыльях планером, чуть отлетел от невесты и, вернувшись, пошел над ней кругами, выкрикивая тихо и нежно: кар-р! кар-р! Следом за ним появился второй. Потом третий… Их было шесть женихов. И все полетели друг за другом по эллипсу, то заходя под

кроны огромных ветел, то появляясь на просторе. И все покрикивали свое «кар-р». Она же поворачивалась, то вытягивалась, то приседала, приоткрыв крылья.

Солнце взошло совсем. Позолотило ветлы. В его лучах сверкали серебряные крылья серых цапель. Они все ходили и ходили точно по эллипсу, явно соблюдая какой-то ритуал. То кто-то из них немного снизится и каркнет погромче, а она ответит на цапельном языке этаким ласковым коротким курлыканьем; то один самец догонит другого и обойдет его на невидимом для нас треке. Мне так и осталось непонятным, как она выбирает супруга на таких чудесных, таких чинных и до удивления красивых смотринах. Именно красивых!

Но один из них, кажется самый большой, сузив круг, неожиданно сел рядом с невестой. Она несколько раз переступила, изогнув шею и

опять же приоткрыв крылья. Он обошел вокруг нее. Потом еще раз обошел, но уже в обратную сторону. Снова повторил то же самое и в том же порядке. Было очень похоже на плавный танец.

Потом он направился к протоке. Там остановился у маленькой заводинки, замер и вдруг вытащил из воды рыбку… Как он с ней шел обратно! Как шел! Гордо, уверенно и в то же время удивительно вежливо. А она, уже полураскрыв крылья, приветствовала его голосом. Он подошел и подарил ей рыбку из клюва в клюв. Она присела! Проглотила подарок. И только тогда все случилось.

Я не заметил, куда делись побежденные женихи — их уже не было. Не заметил потому, что так захватывающе было зрелище с подарком.

Супруги ушли в старые камыши пешком. Впереди шел он, за ним — она. Шли медленно, тихо, степенно, как от церковного аналоя, освещенные уже ярким солнцем.

Кроншнеп прокричал свое «тоу-у! тоу-у!».

Захар Макарыч вздохнул и сказал первые слова за всю зорю:

— Диво! Чистое диво! Пятый раз смотрю, а все интересно… Ка-ак он к ней шел! Ты только подумай: откуда это у птицы такая ласка? Ведь цапля, если сравнить с другими птицами, урод, а, поди ж ты, какая нежность, какой обряд… И, главное дело, подарок от жениха обязательно.

Все это он говорил в каком-то раздумье, тихо, удивленно, а на его грубом лице сияли голубые глаза, ничуть не тронутые возрастом.

Когда же я рассказал ему, как толкунчики, насекомые, перед спариванием преподносят подарок самке, то он сложил руки на груди крест-накрест, закатил глаза, собираясь тут же умереть от удивления, и воскликнул:

— Помрачительно! Тыщу лет живи — всего не узнаешь!.. Удивленье! Ей-право, удивленье. Понимаешь, Тихон Иваныч: вот я уже, пожалуй, старик, а все это занятно. — Но почему-то он еще раз вздохнул все-таки.

Мы выехали из засады и наладились возвратиться на остров Далекое, так и не разрядив ружья за эту зорю.

И вдруг… выстрел! Где-то неподалеку от нас, по направлению к руслу, кто-то охотился. Прислушались. Отчетливо донесся

неосторожный, сильный всплеск весла: настоящий охотник не болтает веслом, как мешалкой в кадушке.

— Кто бы это мог быть? — спросил я вполголоса. — За всю зорю ни единого выстрела, а теперь вдруг…

— А ну-ка, поедем туда, — сказал Захар Макарыч.

Не дожидаясь согласия, он оттолкнул челнок.

Метрах в четырехстах от нас мы обнаружили торчащую из засидка корму челнока. Подъехали. Там сидел Петька Плакун.

— Ты чего стрелял? — спросил Захар Макарыч.

— Промазал, — ответил Плакун, казалось, безразлично.

— Почему не в зорю, без времени? В кого?

— Опоздал я на зорю.

— Стрелял в кого? — настаивал Захар Макарыч.

— Да в селезня же, в селезня. Чего пристал?

— Без зари он не сядет. Нет, постой! — Захар Макарыч подтянул свой челнок, перехватившись за камыши, и уже буквально зарычал, глянув под корму: — Да ты что же натворил, чертова рожа?! — Он перечислил в качестве приложения несколько не очень печатных слов и выхватил из челнока Плакуна убитую утку-самку. — Что ты делаешь, гад заморский?!

— Я, я… нечаянно, — пытался оправдаться Плакун.

— Ах ты нечисть! — ревел Захар Макарыч. — Миллион раз нам долбят: «Не тронь утку весной». Ты кого убил? Мать убил. Двадцать голов от нее было бы осенью, а ты, подлец, убил мать. Давай билет охотничий! Давай сюда, рыло!

— А кто ты такой, что я тебе билет выложу? Отвяжись. Присучился… Ну убил, ну нечаянно. С кем не бывает.

— Ни с кем не бывает! Ни с кем! Только с тобой! Ты хам в природе. Хуже зверя, сказать тебе прямо.

— Если ты еще раз скажешь такие гадостные слова, я тебе! — Плакун погрозился кулаком.

— А ну, подавай сюда билет, — потребовал и я, помогая Захару Макарычу и стараясь сохранить спокойный вид.

Плакун крикнул:

— Никакого билета не дам! — И схватился за ружье.

Мы прижали оба челнока к бортам Плакуна.

— Ружьецо положи, — теперь спокойно сказал Захар Макарыч. — Стрелять ты в нас не будешь. Вот так. Три челнока из камышей не спихнешь. Сиди аккуратненько и не топорщись. А я кликну сейчас Алешу.

При этом он отнял у своего ружья цевье, потом стволы. Провел языком по губам, приставил к ним ствол и издал такой сильный трубный звук, что похоже было на охотничий рог. Так повторил трижды: протяжно и требовательно. Это был наш условный сигнал опасности.

Плакун снова пытался угрожать ружьем, пробовал выехать из засидка, но Захар Макарыч, держа утку за лапки, замахивался на него и рыкал:

— Сиди!

— Сколько сидеть? — кричал тот.

— Цыц!

Вдруг Плакун шагнул в своей лодке, очутившись лицом к лицу с Захаром Макарычем, схватил его за грудки и, как хорек, накинулся, взвизгнув:

— Убью-у!

Я схватил его за руку, но он отмахнулся, отступив, а я чуть было не полетел в воду. Плакун оттолкнул наконец свой челнок, оторвавшись от нас.

Тогда я сказал:

— Плюнь, Захар Макарыч. Приедем домой, составим акт и передадим в суд.

— Суд на такую сумму не принимает, — зло усмехнулся Плакун, уже наладившись ускользнуть.

— Егерю передадим! — грозился я.

— С нашим удовольствием, — загадочно сказал Плакун и поехал.

Из протоки, широко взмахивая веслом, стоя в челноке, показался Алеша Русый. Он увидел всех нас троих, о чем-то, наверное, догадался и с ходу подошел к борту Захара Макарыча.

— Что за крик? — спросил он.

— Вот смотри. — Захар Макарыч показал утку и ткнул пальцем в сторону Плакуна.

Тот уже был метров за сто от нас. Но Алеша, взяв в руки утку, окликнул строго:

— Петька!

— А? — отозвался тот.

— Постой-ка.

Петька стал.

— Давай сюда, — позвал Алеша.

Петька, к моему удивлению, повернул назад и подъехал. Лицо его теперь уже было трусливое и жалкое.

— Ты? — спросил Алеша, протянув утку.

— Я ж… нечаянно, — съежился Плакун.

— Билет, — тем же спокойным тоном потребовал Алеша.

Плакун отдал охотничий билет без единого слова. Тогда Алеша взял Петьку за шиворот, как котенка, и, так придерживая, ударил его уткой по лицу. Потом еще раз. Плакун — ни слова, ни звука! Алеша — тоже. Так он огрел его раз пять-шесть и спросил:

— Будешь?

— Не буду…

— Не надо, Алеша… не бей! — просил Захар Макарыч. — Не надо.

Я взглянул в его сторону. Лицо его выражало жалость: он не мог смотреть, когда бьют человека. Впрочем, он так и дополнил:

— Человек же!

— Кто? Петька? Плакун чертов, вот он кто. — Алеша обратился наконец к Петьке: — Я бы тебе тут молотьбу устроил, если бы… не они. — Алеша указал в нашу сторону. — На билет, разнесчастный. — Алеша бросил ему в челнок билет и утку и добавил: — Брысь отсюда!

Плакун — ни слова. Он поехал и поехал себе, утираясь рукавом.

— А зачем же отдал билет и утку? — спросил я у Алеши.

— Длинное это дело: к егерю, потом акт, потом к областному инспектору, потом штраф… в один рубль. И — только. А так-то крепче и дельнее действует на Плакуна.

— Не надо бить, Алеша, — убеждал Захар Макарыч. — Да еще по лицу…

— А разве я его бил? Ничуть! Так просто: уточкой его, уточкой, похабника. Ни разу не прикоснулся кулаком, клянусь…

— А вдруг он да пожалуется на тебя в суд за побои? — спросил я.

— И не подумает. Я его характер знаю… Ведь совсем отучил от браконьерства, а вот опять… отрыжка образовалась. Теперь уж конец.

Все. Плакун не убьет утку. Может, будет человеком.

В глухих камышах свои законы — Алеша знает их лучше меня. Когда он, например, обнаружит браконьерскую сеть на реке, то поступает очень просто: поднимает ее в средине, берет свой охотничий нож и перерезает пополам; иногда же вынимает при этом и замаскированный кол-притычку, чтобы половину сети снесло течением. Попробуй поставь еще раз! Там, где охотится Алеша, браконьеры чувствуют себя неудобно.

Эти мысли утешали меня, и хорошее настроение вернулось вновь.

Мы ехали друг за другом: впереди Алеша, за ним я, а последним Захар Макарыч. Чуть замедлив ход челнока, я подождал Захара Макарыча и спросил:

— Как они, цапли-то? Хороши!

— Точно! — воодушевился он. — А ты знаешь, что они говорят вдвоем между собой?

— Что?

— А вот расскажу сейчас. — Он крикнул: — Алеша! Обожди, что-то отмочу!

Тот остановился, и мы стали в протоке вплотную борт к борту. Закурили.

— Чего «отмочишь»? — спросил Алеша.

— А вот слушайте… Когда он парит над ней, она кричит: «Кар-рпо! Кар-рпо!» То есть Карпо, по имени. Тогда он садится к ней, танцует вокруг и ласкает так тихонько: «Мар-рфа! Мар-рфа!» А она ему: «Карпо, р-рыб-ки! Карпо, р-рыбки!» Он идет в обратный круг около нее и отвечает: «Р-рад, Мар-рфа! Р-рад, Мар-рфа!» И за рыбой — то-оп… то-оп… А когда несет рыбу-то, она так: «Кар-рпо, р-родной! Кар-рпо, раскр-расивый!» Он отдает ей подарочек и с приплясом так, весело: «Мар-рфа, р-рад! До гр-роба, Мар-рфа!»

Захар Макарыч так удачно подражал цаплям, так имитировал их голоса, что на остров мы приехали уже в самом веселом настроении. Позавтракали плотно и легли отдохнуть прямо под солнцем. Весной оно мягкое и ласковое.

— Малость полежу и поеду домой, — сказал Алеша. — Завтра мне на работу как штык — к восьми… Не хочется уезжать.

Было тепло и тихо.

«Карпо» с «Марфой» и Плакун с убитой уткой расплывчато мерещились мне в полудреме… Муравейник заполз за воротник и больно укусил. Ни капельки обиды на него не было. Он исследовал, по обыкновению, а я его, наверно, прижал в дремоте и помешал работать.

Через час-полтора Алеша собрался, уложил все в челноке по порядку, выпотрошил своих четырех селезней (двух он убил в это утро). А мы проводили его с почестями: шутливо обнялись, дали салют из ружей в честь отплытия, а Захар Макарыч протрубил в ствол сигнал отправления.

И мы остались вдвоем. День будем на острове, а зорями охотиться. Моего вчерашнего селезня мы ощипали и приготовили сварить его к обеду.

Между тем солнце поднялось уже на полдень.

Только-только распустившиеся листочки деревьев, «язычки» молодого камыша, высунувшиеся свечками из воды, сине-голубые подснежники и золотые цветы мать-и-мачехи у кручки распространяли такой аромат вокруг, что порой кружилась голова. Ко всему этому примешивался запах весенней воды и влажной земли. А все вместе — аромат весны, торжественный в этой дикой тишине, могучий и в то же время какой-то нежный и так близко родной.

4. МУРАВЬИНАЯ ПОВЕСТЬ

Захар Макарыч взял котелок и сказал:

— Пойду в родник за водой. Из ключевой-то вкусней обед будет.

Я посмотрел ему вслед. Перекинув ружье через плечо, пошел он медленной, уверенной походкой, чуть вразвалку, широкий и костистый, погромыхивая котелком.

Вскоре Захар Макарыч скрылся в лесу острова. До родника тут всего с полкилометра: через пятнадцать — двадцать минут он вернется, и мы заварим обед.

Но прошло и полчаса, а Пушкаря все не было. Прошло еще минут пятнадцать. Есть хочется, а его нет и нет. Вот уж истинно пропал, как в воду упал.

Потом мною овладело беспокойство: что могло случиться? На острове, кроме семьи лосей, нет никаких крупных животных.

Недобрых людей тоже не должно быть. Где же Захар Макарыч?

Пошел я к роднику «искать козу с орехами».

Родник притаился в низинке, вокруг которой бережком возвышались края естественной чаши, без леса и кустарников. На этой большой поляне в свое время уйма земляники, а сейчас просто травка, только-только ожившая.

Вышел на край поляны, вижу место, где родник, а Захара Макарыча нет как нет. Остановился, прислушался. Слева до меня донесся ровный и тихий голос. Повернулся в ту сторону и увидел: на опушке сидел Захар Макарыч, а рядом с ним стоял человек и что-то говорил, изредка жестикулируя правой рукой. Мне нетрудно было узнать за сотню метров, хотя и в спину, безрукого — то был Петр Михайлович Чумак. Давненько уже не видно его здесь.

Подошел ближе.

Захар Макарыч сидел на коленях почти рядом с муравейником. Его ружье висело тут же, на сучке. Он смотрел снизу вверх на Чумака, не сводя глаз, слушал очень внимательно. Шутки ради я решил не обнаруживать себя до поры до времени и стал за кусты. «А посмотрим, когда принесешь воду, товарищ Пушкарь», — думаю себе. Слышу, говорит Чумак:

— Понимаешь, Захар Макарыч, насекомые воспринимают весь окружающий мир совсем не так, как мы.

Ясно: рассуждают о муравьях, иначе зачем же Макарыч уселся у муравьиной кучи. Он спросил:

— Вот я стучал тут палкой о палку: не слышат. Почему так?

— Недоступны им такие звуки, поэтому-то муравьи и кажутся нам совсем глухими. Но зато они издают ультразвуки и принимают их антеннами-усиками. А мы таких звуков никогда не услышим. Их мир звуков гораздо богаче нашего.

— А видят они хорошо? — спросил Захар Макарыч.

Конечно же, он забыл об обеде!

— Ничего не видят, — ответил Петр Михайлович. — Слепые совсем. Цвета для них нету. Они живут запахом: уходят на большие для крошки насекомого расстояния и без труда находят свой муравейник.

— Интересная живность. Диво дивное. И ты смотри: выроют себе гнездо — чем! — натаскают всякой всячины, накроют. Целый город

внутри нагородят. Подумать!

— А ты почем знаешь, что там внутри? — спросил Петр Михайлович.

— Давно еще было: интересу ради раскопал.

— Кусали?

— Отлично кусали, дружно… Там у ни-их! Не разберешь ничего.

— Э, не-ет! Все разберешь… Некоторые ученые всю свою жизнь посвятили муравьям… Жизнь на Земле, Захар Макарыч, сложнейшая штука. А человек все еще мало ее знает. Наука, она похожа на окружность: чем больше расширяется круг знаний, тем больше и больше неизвестного…

Разговор на некоторое время затих. Видимо, они уже разобрали по частям всю жизнь муравьев.

Заговорил теперь Захар Макарыч.

— Сколько же ты знаешь, Петр Михайлович! А ведь на фронте-то думалось: «Капитан — и только». Ну, конешно, деловой был… и все такое… И не полагал, чтобы ты так-то… все знаешь.

— Это тебе только кажется… Все мы так еще мало знаем, так еще много надо знать… А война… Давно это было, война-то… Кажется, сто лет прошло.

— Сколько тебе сейчас?

— Сорок два.

Так невольно я и услышал, что оба они воевали вместе. Безрукого Чумака знаю уже давно: он тоже работал агрономом, а в последнее время председателем колхоза совсем в другом районе. Как он появился здесь сейчас, весной, в первые дни сева — было непонятно. Однако мне не хотелось подслушивать того, чего, может быть, мне и не следует слушать.

Я крикнул:

— Пошел кувшин по воду!

Захар Макарыч встрепенулся, схватил котелок и второпях оправдывался:

— Забылся… Вот… Петр Михайлович пришел.

Чумак приветливо поздоровался, протянув единственную руку (охотился он, приспособив к прикладу ременную петлю). Захар Макарыч набрал в котелок воды, и мы втроем пошли к табору.

— Какими судьбами сюда? — спросил я у Чумака.

— Насовсем. Я ведь здешний — из Семеновки.

— А председательство?

— Сняли, — коротко ответил он. — Уже больше года не работаю.

Было неудобно расспрашивать. К тому же я заметил, что Захар Макарыч идет без ружья, неся воду на отлете, чтобы не расплескать.

— Где же ружье? — спросил я.

— Ой! Запамятовал. На суку висит. — Он сунул мне котелок и прытко побежал к муравейнику обратно.

Мы с Петром Михайловичем усмехнулись, глядя друг на друга: с Макарычем это может быть.

…Обед был отличный.

На разостланном плаще стоял котелок горячего супа, рядом с ним куски утятины и большие ломти черного хлеба. Закуской служили пара огурцов, коробка крабов да ветчина, нарезанная «пальчиками». Петр Михайлович поднес каждому по порции из неприкосновенного запаса.

— Эту проклятую всегда с собой приходится брать на охоту. Намокнешь — спасет, из сил выбьешься — поддержит, ноги промочишь — в каждый сапог по рюмке — и никакая простуда не подкопается.

— А зачем же расходовать зря? — спросил я.

— Ради встречи. Полагается… Да я вам обоим больше порции и не дам. К тому же погода стоит, как в раю… А не виделись мы… Потом подсчитаем, сколько лет не виделись.

Петр Михайлович был в добром расположении духа. «Порцию» отмерял пластмассовой крышечкой от термоса.

Конечно же, через полчаса спокойных хлопот котел оказался пуст, а от селезня остались бренные косточки. После такого божественного обеда Захар Макарыч, устроившись на том месте, где мы ночевали, вскоре уснул (полевая многолетняя привычка: пообедал — спать).

— Итак, сколько же лет мы не виделись? — начал Петр Михайлович, обращаясь ко мне. — Подсчитаем… Так…

Он сморщил высокий лоб, вспоминая, отчего карие большие и без того открытые глаза стали еще больше. В его облике есть что-то похожее на ученого. А в чуть грустных глазах было еще, как я и раньше заметил, что-то от больших переживаний.

— Вы когда уехали из Камышевца? — спросил я.

— В пятьдесят четвертом… Переметова-то знаете?

— Малость знаю. Но под началом у него не пришлось быть.

— Наверно, мы с вами и не виделись с пятьдесят четвертого года, — уточнил Петр Михайлович. Но, спохватившись, передумал. — Нет, позже виделись. Припомните-ка: в областном управлении сельского хозяйства, на совещании.

— Помню! — воскликнул я. — Болыначков, завоблзу, тогда проехал по вас. Это было… в пятьдесят пятом. Мы же после «бани» обедали вместе, вдвоем.

— Проехал Болыначков… Силен был, силен, как… коряга. Но ведь он-то говорил «по сказкам» Переметова… Было мне!

Вспомнилось, как кричал Болыначков Чумакову: «Вырублю корень сопротивления плану преобразования природы!» Но какой «корень сопротивления» он «вырубал» тогда, я уже запамятовал. И поэтому спросил:

— За что он тогда навалился? Из памяти выскочило.

— Дело длинное… Помните? Так и значилось: «В основе государственного плана преобразования природы лежит учение Мичурина — Вильямса — Лысенко». То-то вот и оно. Завяз я в конце, в Лысенко: мне лоб набили. Переметов тогда был у нас первым. Так вот он-то и сказал мне в то время: «Рушишь учение. Подрубаешь основу. Все правильно! А ты против установки». Я возьми да и скажи Переметову на полном серьезе: «А как думает народ?» Вытаращил глаза Переметов. «Ты — народ? Какой из тебя народ? Ты — агроном государственный! — кричит мне. — И обязан выполнять установку». — «Тогда дело плохо, товарищ Переметов». Так я ему и рубанул… Ой, что тут было! Обвинили меня в антипартийном поведении. Переметов лично нашел у меня на участке уйму недостатков и объяснил это внутренней гнилью. Чуть не исключили из партии. Да вот… — Он указал на пустой рукав. — И тут… — Петр Михайлович прочертил пальцем поперек груди два ряда воображаемых колодочек. — Иначе не то было бы…

Последние слова Петр Михайлович говорил все медленнее и медленнее, будто раздумывая. И вдруг прижал ладонь к темени. Так посидел некоторое время. Потом встряхнул головой и сказал:

— Отпустило… В последние годы это у меня бывает: сдавит что-то в башке, прижмет — нет терпенья…

— А вы постарайтесь не думать. В самом деле… А? — попытался я прекратить разговор на эту весьма тяжелую для него тему.

— Не могу же я, черт возьми, не думать! — вспыхнул он. — Не говорить об этом могу… Долго уже не говорю, но думать… думать — прошу прощения! — думать буду, потому что… не могу не думать… Будем же — будем! — будем снова сеять травы!.. Уничтожение трав — дикость… Как тут не думать… Впрочем, и контузия опять сказывается… Да и работа председателя колхоза, если по душам… тяжкая. Ни дня, ни ночи. Одно к одному… Устал я, Тихон Иванович… Колхозники требуют… начальство требует… Хвост вытащишь — нос завяз, нос вытащишь — хвост завяз. Так и дергаешься день при дне… Шесть лет я так-то… Придешь к ней, к тетке Марье, пожурить за невыход на работу, а ее дома нету. Глянешь: тащит она на себе вязанку хворосту из лесу на топку. На себе!.. Говоришь ей: «Подводу дам — за дровами. Ходи на работу». — «Спасибо, говорит, но только у меня трудодней мало. Заедят тебя, председатель, ежели дашь подводу». Я ей в ответ: «Ты меня не жалей, себя жалей». — «Мне, говорит, себя не жалко: у меня их трое, все школьники, мал мала меньше. В холодной хате не больно-то здорово писать: „Мама мыла раму“. Вот и хожу через день „на работу“: день в колхозе, а один день за вязанкой хворосту за четыре километра». Ну что ей скажешь? Повторяет одно и то же: «В колхозе мало дают за работу». Поговори с ней! Года два подряд выдавал и я на трудодни хорошо — по три кило хлеба и по два рубля деньгами, старыми, конечно. Тогда и тетка Марья работала за троих. А потом…

— Почему же потом стал меньше давать?

— Как это ни странно вам покажется, дело тут в Вильямсе, но только… все наоборот. В общем, я уже рассказал: попал в переплет — чуть не выгнали за охаивание «плана преобразования природы». Та-а-к… Ну, думаю, стаж председательский уже четыре года — кое-что смыслю, кое-чему научился, теперь мне и карты в руки. Но вот беда: у меня в колхозе было четыреста гектаров меловых и супесчаных земель — почва бросовая, десять — двенадцать сантиметров толщиной, и та бедная-пребедная. Разбил я там короткий севооборот с одним полем клевера: так что через каждые пять лет клевер приходил бы в поле. Что же вы думаете? Пошел урожай! На такой земле без клевера невозможно. И стал я ежегодно сеять по семьдесят — восемьдесят

гектаров клевера, не больше. А урожаи прыгнули! По двадцать центнеров с гектара пшеницы озимой — это на такой-то землице. И вот… Тут и начинается это самое… Тот же Переметов, который «убивал» меня за «сопротивление», теперь объявил меня… травопольщиком. Сбили меня с линии. Упал урожай. А свекла на таких землях совсем не идет. Плохо. Мне — выговор… Вот и все…

— Убеждали? — спрашиваю.

— Как же! Убеждал. Говорил, что, мол, клевера получаю сорок центнеров сухого сена с гектара. Все говорил. Убеждал: случай-то в нашем колхозе исключительный — участок почвы бедный… Куда-а там! Смотрит на меня Переметов с сожалением и цедит: «Плохо, брат, дело. Установку рушишь. Плохо. Не везешь. Постромки отпускаешь». Отвечаю ему: «Я не лошадь, а агроном». Обиделся: «Тебе, говорит, отдыхать надо. Пенсия у тебя хорошая — чего тебе здоровье подрывать. Пиши заявление». Так вот и «ушли меня» «по собственному желанию»… Вот… и вся моя муравьиная повесть. Я муравей. Всю жизнь работал… А Переметов не понимает того. Он наступил мне на лапки и приказал: «Назад!» А я не хочу назад… Мне хотелось кричать: «Верьте мне!..» Убийственная это вещь — оскорбление недоверием… Убийственная… — Последние слова Петр Михайлович произнес почти шепотом и снова обхватил голову, полузакрыв глаза.

Проснулся Захар Макарыч. Он зевнул, почесался обоими локтями, посмотрел вокруг и крякнул в полном удовольствии:

— Красота! — Потом глянул на Чумака и с участием спросил: — Опять голова?

— Отлегло уже, — ответил тот.

— Это от воздуху, — сказал Захар Макарыч, — Воздух тут весной пьяный. Так и тянет в сон. Это ничего: для здоровья полезно. Правда?

— Правда, — ответил Петр Михайлович. — Дня три-четыре побудешь тут — и всякие болезни пропадают. Какой бы камень ни был на душе, становится легче.

Ясно, что Петру Михайловичу надо было «свалить камень». Нигде не бывает так прост и искренен человек, как на открытой природе. Так и было с Чумаком в тот день.

Потом мы пили горячий чай. Приближался вечер. Вверху парил коршун, снижаясь над островом кругами. Захар Макарыч и Петр

Михайлович схватили ружья, чтобы встретить хищника, но тот не пошел на нас — заметил.

Заря была отменно удачной. Победителем оказался однорукий охотник: он привез пять штук крупных селезней, похожих друг на друга. Он знает здешние места. Я видел, как сияло на его лице охотничье счастье, и сам был счастлив от этого. Знаю, Петр Михайлович провел здесь, в Далеком, много дней своей жизни. Еще в детстве он проникал в эту глушь, в этот милый уголок мира.

У каждого человека есть свое Далекое.

Тот весенний вечер был в этом сезоне последним — срок охоты закрылся. Но вскоре пришлось встретиться со своими друзьями: меня вновь перевели в Камышевец, на старое, насиженное место. К тому же Алеша Русый и Захар Макарыч приглашали меня и Петра Михайловича к себе в гости. И я приехал как раз на первомайский праздник.

Хороши такие праздники в Камышевце! Демонстрация была короткой и веселой — с песнями и плясками.

Мы ходили вчетвером: Алеша, Захар Макарыч, Петр Михайлович и я. Захар Макарыч шел гордо, выпрямив грудь: на ней — два ордена и пять штук медалей. У Петра Михайловича два длинных ряда колодочек.

А вечером, за гостевым столом, Алеша шептал мне на ухо:

— Захар-то — лихой полковой разведчик был на войне. У Петра Михайловича под началом был. У-у! Такие дела делали!

Нет, не рассказал ни тот, ни другой о своих похождениях. И просил, но не рассказали. Петр Михайлович на это только и молвил:

— Не надо, — И почему-то посмотрел на Захара Макарыча.

А старик, подвыпивши, уж пел:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди…

И плакал.

Жена его погибла во время бомбежки, не дождавшись мужа.

Когда он надевал ордена и медали, то к вечеру пил и плакал.

Я же только и сказал:

— А помнишь, как в Далеком охотились? Помнишь, Макарыч? — и обнял его, как старого друга.

Он сразу оживился, повеселел, грубое его лицо стало милым, потому что засияли голубые глаза. И тогда пошла беседа об охотничьих зорях, как сказка. У каждого из четверых было что вспомнить. Мы уже мечтали и об осенней охоте. Захар Макарыч утверждал, не моргнув глазом, что в Далеком «миллион и две тыщи уток, не считая лысух и прочей дичи». Мы не отрицали.

Очень хорошо, что и у него тоже есть свое Далекое.

5. РЕКА ПЕЛА

Кажется, совсем недавно был на весенней охоте, а, поди ж ты, в полевых хлопотах и не заметил, как пришло лето.

Летом Тихая Ольха нежится на солнце, разукрашенная белыми кувшинками в заводях и затишках. Местами она сплошь покрыта сочными широкими листьями этого ласкового растения. А в затонах и в самих камышах — ковер ряски. С восходом солнца, когда еще все живое не разомлело от солнцепека, ряска серебрится; к средине дня она — зеленое кружево, а к вечеру или при тихом ветерке чуть-чуть краснеет. Иной раз увидишь, что на сплошном ее коврике обозначились извилистые полоски: то плавала дикая утка или лысуха; а если ряска изрезана замысловатыми виньетками, то здесь были и утята. Они, еще в пушке, с первого дня жизни умеют самостоятельно находить корм и спасаться от многочисленных врагов.

Случалось так: рано утром, неожиданно выезжая из-за поворота, ты видишь выводок. Одна секунда — и ничего нет: утка взлетела с тревожным криком, а утята… Где же утята?.. Подъедешь и смотришь. Вот тут они только-только что были и… провалились. Но опытный глаз охотника, осмотрев затончик или плес, начинает читать книгу Тихой Ольхи. Здесь всего лишь одна страничка, и ее надо проверить буква за буквой, строчка за строчкой, медленно, не шевелясь. Вот торчит из воды тонкая кужица… С чего бы это она чуточку, еле-еле вздрогнула? Может быть, на верхушке села муха или зацепил неосторожный комар? Взгляд скользит сверху вниз по этой нежной

густо-зеленой и стройной кужице: на верхушке никого нет, средина чистая, а у самой поверхности воды — маленькое темновато-зеленое пятнышко, и на нем две точки на манер блошек. Эге-е! Две «блошки» — это и есть ноздри утенка. Он прицепился носиком за кужицу, повис под водой, вытянув лапки, и преспокойно дышит. Их тут было штук десять, утят, но даже самый искусный чтец книги природы обнаружит всего лишь одного-двух.

А через полчаса ряска снова затянет дорожки утиных следов так, будто здесь никто и не был.

Камыши по краям реки, спокойные, стройные и могучие, наполнены звуками песен камышевок — веселых, непоседливых и таких доверчивых маленьких птичек. Иной раз она зацепится лапками за стебель, повиснет боком в метре от тебя и очень внимательно смотрит в глаза. Если не шевелиться, она будет долго-долго смотреть, наклоняя головку то вправо, то влево, удивляясь и будто раздумывая: «А нельзя ли все-таки клюнуть в эти самые шары, что больше моей головы?» Возможно, она интересуется тем, как двигаются ресницы, и наблюдает, что же из всего этого получится. Кто ж ее знает!

Летом в тихий день река спокойна и кажется ленивой. Вечером она торжественна, задумчива и кажется мудрой и такой же древней, как звезды, дрожащие в ней. Утром она чиста и нежна, как ребенок, спросонья обнимающий мать.

Большинство охотников в такую пору не может усидеть в четырех стенах, не может спокойно ходить по земле. Их тянет на воду, туда, где душа всегда становится на свое место. Но лето — запретный срок для охоты. И тогда некоторые охотники меняют квалификацию и становятся рыболовами, вливаясь на это время в ряды самоотверженных, чертовски терпеливых «бездельников», для которых весь мир сосредоточивается на тонком конце удилища, как у сазанятников, или на поплавке, как у прочих, более мелких членов этой огромной армии слегка помешанных, но неистребимых и преданных своему делу до самозабвения.

Если любому из этого племени туземцев, привязанному удочкой к одному только месту планеты и влюбленному в свой край, предложить удить из каменного бассейна, кишащего рыбой, то согласится на такой позор только безвозвратно погибший. Настоящему рыбаку нужно

много: река, цветы, камыши, утренние зори, таинственные ночи, голубые вечера и… тишина.

Разве ж можно и охотнику усидеть летом в субботу вечером и в воскресенье утром. Это немыслимо и даже непостижимо. А я не исключение. Именно поэтому в один из июньских дней я плелся по Тихой Ольхе на челноке.

Мне очень хотелось разыскать Василия Кузьмича Кнутикова. Он должен быть где-то недалеко. Его любимое сидало недалеко от Сорокомылки (место реки так называется), туда я и наладил лапти. Очень уж интересно с ним ловить рыбу. А вечерком он всегда что-то расскажет из своей жизни или о своем колхозе, а иной раз и о больших материях заведет речь.

Давно-давно я знаю Василия Кузьмича Кнутикова — лет этак тридцать с лишком. Как тогда, в молодые годы, так и теперь он отличается удивительным прямодушием и чистой совестью. Когда-то по праздникам малость любил выпить. По его словам, это самое называлось «потешить душу». И еще одна примечательность: его юмор всегда выражается в действии, без особо острых и сальных слов.

Одним словом, помню Василия Кузьмича еще с тех времен, когда он, имея одну тощую лошаденку, перебивался с хлеба на квас и слыл не очень-то охочим до работы в личном хозяйстве.

А после организации колхоза Василий Кузьмич неожиданно оказался таким старательным, что всю неделю с утра до ночи работал не покладая рук. Ни от какой работы не отказывался. Но в воскресенье — извините! — он на работу не пойдет. Ни за что. Даже если из города понаедут шефы убирать картошку — все равно не пойдет.

Он надевает синюю рубаху, новые суконные черные брюки, праздничную кепку и проводит праздник в полном отдыхе. С утра он идет степенно по улице, заложив руки за спину, высокий, сухой, жилистый и до удивления серьезный. А бывает, продефилирует так мимо шефов, толпящихся у сельсовета. Идет тихо по направлению к магазину сельпо. Встречным он кланяется первым, но от ребятишек категорически требует, чтобы они снимали перед ним картузы. В противном случае он не замедлит отпустить подзатыльник и при этом же добродушно заметит:

— Почитай старший, козявушка. — И пойдет дальше.

Вскоре он вернется обратно таким же манером — тихо, спокойно. Что и означает: у сельпо пока народу нет, а он просто гуляет. Примерно через полчаса он идет снова к магазину, теперь чуть быстрее, потому что там уже слышен говор.

— Здорово были, колхознички! — приветствует он сидящих на широких порожках магазина. — С праздником вас! Чего же это вы шефов-то одних бросили на произвол судьбы?.

Все улыбаются, а Василий Кузьмич и бровью не дрогнет.

— Здорово, трудяга! — скажут ему, будто и не обратив внимания на его вопрос.

— Ну! Так как же? — вновь спрашивает он.

— А что?

— Как так «что»? Праздник же!

— Знамо дело, воскресенье, — подтверждают прочие со вздохом, изображая нарочитую грусть.

— Ну-с… по троячку? — опять же вопрошает Василий Кузьмич.

От такого довольно четкого предложения лица отчасти просветляются. Конечно, складчина получается мелочная, пустяковая, рассказывать тут нечего, но во всяком случае завмаг выносит стакан и селедку. Происходит нечто вроде символической выпивки — по сто граммов на рот.

После этого Василий Кузьмич идет по улице уже быстрее, руки за спиной не держит и даже изредка пощелкивает пальцами. Однако не так уж много пролетит времени, как он скороходом спешит к сельпо снова. Здоровается со встречными отрывисто, но весело, с улыбкой, без той утренней степенности. Ребятишки снимают шапки, но он отвечает им так снисходительно:

— Один раз снимал мне — хватит, козявушка. Молодец. Хвалю.

На обратном пути по той же улице (ее не миновать!) он кричит мне в раскрытое окно:

— Тихону Иванычу! Алый привет!

До сих пор я так и не знаю, почему «алый». Но тогда, бывало, спрошу из окна:

— Пошел?

— Поше-ел! — ответит Василий Кузьмич и махнет длинной рукой вперед так, будто ему предстоит сегодня пересечь земной шар по экватору. — Варвара! — кричит он доярке, стоящей у калитки. —

Варварушка! — Помотает головой, крякнет и добавит: — Ух ты, Варвара! Ох и бабочка ты, Варвара! Золотая ты наша работяга. Ух! — И засмеется от души, без какой-либо задней мысли. Он-то лучше других знает цену этой труженице и красавице.

— Спасибо, Василий Кузьмич! Зашли бы, — приглашает она. — Папаша дома — он всегда вам рад.

— Не могу — Домаша теперь ждет дома. Я ведь уже три раза был «у обедни». Куда же кроме ткнуться? Некуда. А теперь домой надо. Не могу зайти, Варварушка.

— Ну, воля ваша. Тогда одну минутку! — Она скрывается в калитке и вскоре выносит сверточек. — Это тете Домне. Пирожки у меня нонче вышли на славу — пусть отведает. По ее рецепту — с содой. Мастерица у вас тетя Домна.

— Варвара! Без подхалимажу! — отсекает на полном серьезе Василий Кузьмич.

Во время такого разговора у калитки или где-либо в другом месте Василия Кузьмича окружат девчата, тоже нарядные по-праздничному. Кто-то из них начнет вроде бы издалека:

— Надоели старые песни, Василий Кузьмич.

— А ну вас! — отмахнется он. — Где я их вам возьму? Прошлое воскресенье дал две новых. Хватит.

Тогда они хором и вразнобой начнут канючить: «Василий Кузьмич, да Василий Кузьмич, да пожалуйста, да хоть одну»… И он, конечно же, сдается. Подзывает самую голосистую, говорит ей вроде бы по секрету, но так, что все окружающие слышат каждое слово:

— Вот тебе — про Аришку Гузыреву.

Мой милок опять свистить —
Кличет на свидания.
Ой, нельзя к нему пойтить —
Опять заседания.

Подобные частушки Василий Кузьмич сочинял молниеносно. В общем, ко всем качествам можно прибавить еще одно: он был признанным поэтом на селе и поставлял девчатам веселые песни. Те запоминали и пели, а Василий Кузьмич тут же забывал свое сочинение,

как, впрочем, и любую шутку. На каждый день у него были новые шутки — не запомнишь.

Перед собственной хатой Василий Кузьмич, изображая разгулявшегося, прямо-таки кричит:

— До-омна-а! Прише-ел!

— Вижу — пришел. — И она тоже соблюдает серьез с глубоко скрытым юморком. Она-то лучше других знает, что муженек никогда не напьется пьяным, а сейчас только шутит.

— Как ты понимаешь, Домна: кто я есть?

— Ты?

— Я. Кто я есть?

— Трудовик вечный, — отвечает она, зная, какой ответ ему по душе.

— Отвечаешь правильно. — Он сразу переходит на трезвый тон и говорит: — На-ка вот тебе от Варварушки — сними пробу.

Они садятся на завалинке, пробуют тот пирог. Иной раз Василий Кузьмич подставит ей спину:

— Почеши-ка маленько…

После обеда они хорошо поспят, попьют чайку, перечитают, в который раз, письма от двух сыновей. Домна Петровна скажет с сожалением:

— Ванятка домой не вернется. Все.

— Ну и пусть. Все уходят. А он у нас в науку ударился. По крайности за мукой в город не будет ездить. И то — здорово.

— Это ты к чему?

— А я уж забыл к чему. Ты-то о чем?

— Ванятка, говорю, не вернется… И в отпуск не едет. Два года не был дома… Пусть женатый, пусть дети пошли свои, пусть там и ученый он, а все равно дите родное… Сердце тоскует.

— «Отпуск, отпуск»… Заладила. Он студентов обучает. А они, знаешь, какой народ? О! Народ!.. Во! — Василий Кузьмич показывает большой палец, что означает: студенты — народ отличный и их надо учить хорошо. — Все ты зря, Домаша. Пишет же: приедет на два месяца.

— Может, и приедет. Только вряд ли, — вздыхает Домна. — Какой уж раз обещает.

— Обязательно приедет, — утешает муж. — Ванятка — охотник заядлый: в ноябре по уткам, северная пойдет; и по зайцам опять же открытие в ноябре… И по первой пороше в декабре. Как не приехать? Обязательно приедет.

Вечером они прослушают лекцию в клубе «О вреде алкоголя» или посмотрят кино «О передовом опыте возделывания технических сельскохозяйственных культур». Там они начинают помаленьку засыпать. А дома спят крепко, успокоенные, отдохнувшие для того, чтобы снова шесть дней от солнца и до солнца работать без разгибу.

В правлении очень уважали их за труд. Одна только и была запятая у Василия Кузьмича: иной раз нападала на него рыболовная одержимость. Тогда он уезжал на лодке еще на ночь, под воскресенье. А для этого волей-неволей надо было уходить с работы в субботу часа на два-три раньше. Удержать его невозможно никакими увещеваниями. Сам председатель пробовал уговорить, но Василий Кузьмич отвечал ему короткой речью, будто со сцены:

— Дорогие товарищи! Отдаю свой полный трудодень стоимостью в один килограмм хлеба за эти три часа субботнего вечера. Свою ошибку признаю, но выправить ее уже трудно. Горбатого исправит одна могила, а на меня и двух могил мало. Миру — мир, а я пошел на рыбалку. Алый привет!

Вот какой был Василий Кузьмич Кнутиков, к которому я пробирался на челноке в разомлелый июньский праздничный день. Да, именно был. Теперь он уже не такой. Совсем, совсем не такой.

Как говорят в газетах, многолетним и самоотверженным трудом в колхозе Василий Кузьмич заслужил всеобщий почет и уважение, и год от году его авторитет в массах повышался. И вот он уже на постоянной почетной работе — заведующий птицефермой! — и зачислен правлением в постоянный список актива, участвует на расширенных заседаниях, обсуждает выполнение и перевыполнение, утверждает планы, предварительно утвержденные райисполкомом. Его птицеферма выдала годовой план продажи яиц к первому июля. Небывалый случай в районе! Из полудохлого птичника — передовая ферма! Вот он какой стал, Василий Кузьмич. Попробуй теперь уйди на три часа раньше. Или выпей стопку на порожках магазина. Нельзя — массы осудят. Человек на постоянной — нельзя.

Теперь Василий Кузьмич появляется на речке только в воскресенье, чуть свет.

…В тот полуденный час река дремала. Я тихонько шевелил в воде веслом, еле-еле продвигаясь, прислушиваясь к тишине и боясь ее нарушить. Спешить мне некуда.

Где-то совсем близко, рядом со мной, кто-то запел частушку, тихонько-тихонько, для самого себя. Я замер. Не далее как в трех метрах торчали из камышей два удилища и краешек кормы челнока. А оттуда голос:

Гармонист, гармонист —
Рубаха горохом!
Не играй ты, гармонист,
Всяким там… пройдохам.

Голова высунулась из камышей, и песня оборвалась.

— Кого я вижу! — воскликнул Василий Кузьмич. — Алый привет!

Рыбак сидел на лавочке челнока без рубахи, в засученных по колено брюках. Мы пожали друг другу руки.

— Тоже не вытерпел? — спросил он. — Надолго?

— Два дня пробуду тут.

— Я на ночь. Больше не могу. Нельзя.

— Частушки у тебя здорово получаются! Талант! — сказал я.

— А-а… Это я сам себе. Забавляюсь. В поле две воли, а на воде вдвойне. Конечно, спел бы и дома, но… Когда был рядовым колхозником, тогда другое дело — и девчатам помогал, а сейчас… Только тут, на речке, человеком станешь: ни тебе начальства, ни тебе плана, и массы нету — осудить некому. И на душе просторно.

— Клюет? — спросил я.

— Как в могиле: ни печаль, ни воздыхание. Вишь, как печет, — где уж там ей клевать. Она что, рыба-то, дура, что ли, клевать в такую жарищу? Курица — дура: в любое время жрет, весь день жрет… А рыба срок знает… Ох, уж эти мне куры!..

— Подкормку бросил?

— А как же. Да еще и со жмыхом. Вечерней зарей да ночкой обязательно поймаем.

— Один тут?

— За поворотом в затончике Захарка Пушкарь сидит.

— Поймал он чего утром?

— Два ерша и ракушку.

— Поехать к нему, что ли?

— Сиди тут. Не мешай ему… Жука-плавунца и пиявку изловил он да в банку с водой посадил.

— Это для какой же цели?

— Уясняет: будут драться или нет… На ночь приедет сюда… Ну и печет же… Спасу нету, печет, — Василий Кузьмич лениво глянул на солнце, прищурившись, зевнул во весь рот, потянулся с хрустом и добавил еще раз: — Печет… Спать хочется. Выбирай место, бросай подкормку да давай-ка поспим в удовольствие. Ночевать будешь тут?

— Буду.

— Резон. Втроем, значит… Налаживай себе место, налаживай. Утром рыба играла — лучше не ищи.

Отъехав метров на двадцать, я загнал челнок в камыши, измерил глубину, бросил подкормку, искупался, бултыхнувшись с кормы челнока. Затем разровнял траву на дне лодки и вытянулся во весь рост.

Приятная тень от камышей защищала от палящего солнца, но спать мне не хотелось. Ловить сейчас нет смысла: не клюет… Василий Кузьмич малость поворочался в челноке и затих. Раз ему хочется поспать, то и не надо его тревожить. Ежедневно от рассвета и до темной ночи он ведь на ферме, поэтому, когда подходит срок отдохнуть днем, он засыпает обязательно… Пусть поспит… А если меня не клонит, то и нечего стараться — полежу так…

Когда лежишь вверх лицом, то пятиметровые камыши кажутся огромной высоты — уходят в небо, к самым облакам, реденьким и лениво плывущим невесть куда, но уж обязательно мимо моих, вот этих, камышей… Плывут облака… Если закрыть глаза, то кажется, и ты плывешь по небу вместе с челноком и облаками. Можно и не открывать: я знаю уже все окружающее меня, все до единого стебелька и листа… И я плыву спокойно и радостно… Плыву по небу…

Плеснула рыба. Чиркнула по воде крылом чайка. Вздрагивал надо мной паучок, уже соорудивший свою сеть.

— Тихон Иваны-ыч! — проснувшись, окликнул Василий Кузьмич.

— Гоп-го! — бодро отозвался я.

— Пора начинать. Рыба заиграла. Теперь будем жить тихо. Молчок: как куры на насесте.

И я стал разматывать удочки.

С первого же клева мне повезло: вывернул «лаптя» — твердого красавца окуня. Потом эта удочка «замолчала» — червя никто из рыб больше не пожелал; но оживела вторая, что насажена пшеничкой: гусиный поплавок вздрогнул, покачнулся и лег на воду плашмя… Подсечка! Леска упруго натянулась струной, конец удилища — дугой. Короткая борьба — и вполне порядочный лещ уже бился в подсаке. Зато в садке он вел себя тихо и мирно, абсолютно не представляя себе, что такое сковорода.

Ну и что же, на пшеничку — так на пшеничку. И бодро заправил удочки пшеничкой. Настроение было на взводе: путь к рыбе был найден!

…Но целый час удочки молчали. Тогда вновь подкралось сомнение: «Может быть, напрасно охаял червей?» Показалось, что именно так оно и есть. И я спешно выбрал наилучших по качеству, самых вертлявых червяков и исправил ошибку.

Конечно же, поплавок немедленно скрылся под водой: взяла огромная рыбина! Подсечка!.. Мне стало очень грустно: попался самый маленький в мире… ерш — зародыш сатаны, колючий, большеротый, лупоглазый антихрист. Он заглотнул весь крючок полностью…

Потом я решил вернуться к старому методу: одну удочку — на пшеничку, другую — на червя. Потом наоборот: ту — на червя, а эту — на пшеничку. Но и двойственный хитрый метод не вызывал ни малейшего восторга у рыбы.

Солнце уже зашло за горизонт — заря на исходе. А я анализировал свои ошибки: если бы ловил только на пшеничку, то, возможно… А если бы только на червя, то, можно полагать… И вообще: я наверху, рыба внизу, я ее понимаю, а она меня ни чуточки… Такая неблагодарность к моим стараниям возмущала.

И вдруг конец удилища потянуло в сторону. В раздумьях я не заметил, как и когда утонул поплавок. Схватил удилище, дернул слегка вверх, но рыба… Рыба ли это? Еще раз потянул — ни с места. Пробую

посильнее: что-то сдвинулось. Осторожно, чтобы не оборвать леску, тащу и тащу… Ботинок! Старый, с полуоторванной подошвой, растоптанный, непригодный для носки солдатский ботинок.

Сначала я настроился, с досады, на мрачный тон: «Вот жил солдат, вот он разбил ботинки, бросил их в реку и пошел босиком…»

К чему бы привело течение мысли, не знаю, но подъехал Захар Макарыч Пушкарь.

— Шабаш — заря кончилась. Жму! — Он зажал в тиски мою ладонь. — Ночуем?

— Обязательно.

— Как улов?

— Окунь, лещ и… вот, смотри.

— Да то же мой ботинок! — воскликнул Захар Макарыч и рассмеялся, — Вижу — разорился, взял — бросил. Им, ботинкам-то, лет двадцать — с войны принес. На рыбалку пока годились — брал, а теперь со святыми упокой. Утром бросил.

— Твой?

— Мой. Утром, говорю, закинул. Тут еще один должен быть: посиди — поймаешь… Тут яма. Их, должно, в ямку-то и снесло течением.

Ботинок полетел обратно в воду, но уже на середину реки. Полетел старый, рваный остаток войны.

Ясно: утром буду ловить только на пшеничку. И ерш и ботинок попали на червя. Все начнем снова. Лихо смотав удочки, я бодро поплыл вслед за Захаром Макарычем на кочу.

Коча — это кусок сухого берега, чистого от камышей. Кочей же здесь называют и крохотный островок среди болота, поросший сплошь камышом. В тот вечер мы расположились у самого края реки: рядом с одной стороны вода, а с трех сторон — стены камышей. Великолепный домик с украшенным звездами потолком и с открытыми воротами к звездам в воде. Вверху звезды, внизу звезды, а посередине мы втроем.

Июньская ночь коротка. Поэтому ни кашеварить, ни разводить огонь мы не стали. Улеглись рядом, настелив на землю слой камыша, а на него слой осоки.

— Постель царская, — определил Василий Кузьмич.

Захар Макарыч был молчалив, — видно, о чем-то думал. Он глядел в небо, подложив ладони под затылок.

— Какие новости в банке? — спросил я у него.

— Откуда ты знаешь про банку?

— Доложил лично, — опередил меня с ответом Василий Кузьмич.

— Дела непонятные: плавунец жив и пиявка жива — не трогают друг друга. Ведь оба хищники. Думалось: кто кого? А они плавают себе в банке, как ни в чем не бывало. Я же сам видал, как плавунец расправлялся с головастиком. Пробрался по протоке на болотце и смотрел часа два, как он воюет: раз-раз — молнией! — готов головастик. А тут тихоня.

— В неволе — вот и посмирнел, — сказал Василий Кузьмич. — А почему пиявка на него не лезет? Вот вопрос. Она же и из банки присасывается. Она же слепая — не понимает неволи.

И тогда я рассказал им, что у пиявки целый десяток глаз. Что она несет яйца и сама же роет дырки для коконов. И пожалуйста: гнездо. Через месяц потомство.

— Ты скажи, какие глупости на земле… Вот те и слепая! А она, вишь, гнездо. Как курица. Смехота! — заключил свое суждение Василий Кузьмич.

— Чудак ты, Кузьмич, — возразил Захар Макарыч. — Сколько тебя знаю — всегда чудак. Какая же тут смехота?

— И смех и чудо, — не уступал Василий Кузьмич и добавил вполне серьезно: — Посади рядом на гнездо курицу и… пиявку. Смехота! Может, у них заведующий пиявочной фермой есть?

Мы с Захаром Макарычем рассмеялись, а Василий Кузьмич и бровью не повел. Он так умел.

Наконец Захар Макарыч безнадежно махнул рукой, встал и полез в челнок смотреть банку.

— Живые оба, — сказал он, вновь укладываясь рядом со мной.

Некоторое время мы лежали молча. Меня начало клонить в сон. Но Захар Макарыч заговорил с Василием Кузьмичом:

— Комбайны-то отремонтировали в колхозе?

— Комбайны? Нет. Два стоят верблюдами.

— А что так?

— Почем я знаю? Говорят, запчастей нету. Вот и стоят.

— Вам что же: дядя будет убирать? Июль на носу.

— Может, и дядя… Мало ли какие «дяди» к нам приезжают убирать… Таких комбайнеров, как ты, Захар, теперь нету у нас. Нету.

Видно, это польстило Захару Макарычу. Он спросил:

— Аль вспоминают?

— А как же! Чудак ты, Захар, право. Тебе до всего было дело. Это, брат, редкая штука — до всего доходить. Я вот, к примеру, не могу, не способен. Мне птицеферма — главный вопрос.

— А как ты туда попал?

— Как? Очень даже просто… Дохнут и дохнут куры — яиц нету. Дохнуть перестанут — опять яиц нету. Тыщи цыплоков привезут с инкубаторов — подохнут, как мухи осенью. Опять везут… Кого ни поставят руководить — куры яиц не прибавляют. А план давай! И маслом выполняли за яйца, и мясом — покупали на стороне… Было дело… Да… И говорит мне Домаха моя: «Может, ты взялся бы за курей: смотреть тошно на всю эту гармонью». Подумали-подумали мы так, и пошел я в правленье. Говорю председателю: «Чего кур гробишь? Разума не хватает? Человек ты представительный, ученый, все умеешь, а курицу за вошь считаешь». Как он вскочит! Как он распалится! «Ты, говорит, критикан!» Это я-то «критикан». «Вы, говорит, только и умеете подсиживать да шептать за углом». Говорю ему: «Я тебе не за углом, а в лице членов правления». — «Указывать вас много, а делать некому. Возьмись сам да и подыми ферму на высоту». — «На высоту? — спрашиваю, — На высоту не могу, а на середину можно». Тут, конечно, все посмеялись, а председатель спрашивает с сердцем: «Ты, говорит, в цирк пришел или в правленье?» Отвечаю ему: «В цирке таких курей не держат». Опять смеются, которые посмелее. Та-ак. А сидел тут в уголке незнакомый парнишка в кепочке и в очках (сперва его не заметил). Встал он, подошел к председателю и вежливенько так поясняет: «А может, этот человек и есть тот самый, кого нам нужно». Уж потом я узнал, что парнишка тот вовсе не парнишка, а зоотехник из района новый. Да. Только, конечно, прогнал меня председатель: «Иди, иди своей дорогой». Я ему возьми да и скажи: «Так-то и я тебе, Григорь Палыч, могу сказать». Тут уж не до смеху всем: испугались. А зоотехник на меня смотрит и смотрит, так сурьезно смотрит… Ну, я и ушел домой. А утром они ко мне: сам председатель и тот парнишка-зоотехник — Сережей его теперь зову. Ух, молодчина! Ух, мозгун! Ну, пришли… Слово за слово. Рассказывать тут нечего: сами назначили мне чин. И оказался я на птицеферме, заведующий.

— Самозванцем! — удивился Захар Макарыч.

— Ага, самозванцем.

— Ну и что же?

— Вот и все. Работаю. В прошлом году выполнили годовой план по яйцам к первому июлю. За весь год дали два плана.

— А председатель как: сердится на тебя?

— Куда та-ам! Агнец! «Кузьмич да Кузьмич… Да не надо ли курям насчет витаминов — капуста есть лишняя… Может, хату тебе покрыть? Ведь худая». А мне, сказать по душам, не до хаты: хлопот полно. Когда был рядовым, все было просто, а теперь вот… — Василий Кузьмич вздохнул. — Как там убирают хлеб, чем убирают, кто убирает — ничего не знаю: птицеферма — главный вопрос на Земле.

— А отчего же тебе теперь плохо? — спросил Захар Макарыч. — Все налажено, перед начальством в почете, в активе ходишь.

— Хожу-то хожу, слов нет. Ну… с председателем райисполкома нелады у меня.

— Ого! — воскликнул Захар Макарыч. — Эка хватил.

— И доси косится, — продолжал Василий Кузьмич. — Был бы он, скажем, плохой человек — наплевать мне, пусть дуется, а то ведь… вроде бы он ничего себе… Ну да ладно — толкач муку покажет.

— А что случилось? — спросил я. — Может, расскажешь, Василий Кузьмич.

— Да оно как-то и рассказывать про это неудобно.

Захар Макарыч подбодрил:

— Почему неудобно? Сам говоришь: «В поле две воли, а на воде вдвойне». Валяй. Чего там «неудобно».

— Вопрос-то политический… Ну ладно, расскажу, так и быть. Но — между нами. — Теперь он снова лег на спину и стал рассказывать тихо, вполголоса: — Дело было в прошлом году. Добыл я хорошего-прехорошего кочета: красавец, могутной такой, кахетинской породы. Молодой петушок, а ростом с наших стариков. За двадцать пять километров ходил за ним, на руках принес, как дите малое. Это такой кочет, каких у нас не было с роду родов. Картинка! Хоть на иконостас вешай… Голубь мира, а не кочет — вот какая птица… Принес я его и посадил вечером на насест. А сам тем же оборотом на актив: объявили еще вчера — собраться по важному делу. По какому — не знаю.

Пришел. Сидим час, сидим два, а председателя нет и нет. И пришло мне в голову такое: «Зачем я кочетка своего посадил сразу к старикам! Утром заклюют!» Ну и, конечно, вскочил и — бежать. Пересажу, мол, пока под корзинку. Прибегаю. Цап-цап — нету кочета! Я — фонарь: нету кочета! Я к сторожихе: «Где кочет?» — «Какой такой кочет?» — «Я же посадил вот-вот, два часа назад». — «Меня не было, когда сажал. Знать не знаю». — «Где кочет?! Молодой, рыжеватый. Красавец!» — кричу ей. «Э-э! Тогда к председателю отнесли. Вот записку прислали — велел петушка дать: председатель райисполкома приехал голодный — покормить надо». Я бежать к председателю колхоза. Его дома нету — на актив ушел. Спрашиваю у его хозяйки: «Покажи, пожалуйста, перья». Показала в корыте: мой кочет! Мой красавец! Двадцать пять километров тащил, как дите малое… С них надо начинать, с кочетков, если хочешь много яиц добыть… Ай, мамушки, погиб производитель! Ладно. Пришел на актив. Сидят. Говорит, конечно, председатель райисполкома Фомушкин. Трудно мне, но все ж таки понял, о чем речь: один план продажи хлеба выполнили, надо теперь еще второй, а актив должен поддержать это самое на общем собрании. «Валяйте, — думаю себе, — я на все согласен, но только чего на трудодни дадим — вот вопрос». Одним словом, сказать по душам: злой я был по случаю смерти кочета, а через то и вредные мысли.

— А что ж ты думаешь: это ведь не пустяк — сбегать за двадцать пять километров, — сочувственно поддержал Захар Макарыч.

— Не в том дело. Петушина-то был царь-птица, а не кочет. — Василий Кузьмич чуть помолчал и продолжал дальше: — Пошли все на общее собрание. Начальство с виду, может, довольное, улыбаются — актив подготовили. Григорь Палыч подходит ко мне, председатель наш, и говорит: «Выступи — поддержи. Вопрос большой: область с планом садится — ничего не поделаешь. Как? Я, говорит, отвертеться не могу». — «Ладно, говорю, так и быть. Актив же. Не рядовой же я». А когда подошли вопросы после доклада, мне так-то стало тяжко через того самого кочета, так-то тошно!.. Осерчал еще больше, а виду не показываю. Слышу: «У кого вопросы есть?» — спрашивает Григорь Палыч. Я и задал: «А почему так: по хлебу — два плана, по мясу — четыре раза в год спускали план тот? Неужто нельзя одним разом? Так, пожалуй, и ума не приложишь, как за трудодни расплачиваться, как

самим планировать хозяйство, как дебет-кредит наводить». Ответил председатель райисполкома Фомушкин: «Этот план не от нас… Дополнительный… Надо поддержать… Работаете плохо — вот и мало на трудодни в этом году». Но вижу, замялся. Вопрос-то политический! Тогда я ему так, для утешения: «Конечно, слов нет: что потопаешь, то и полопаешь. Тыщу лет этой пословице. Что ж: будем топать. Я не против второго плана. Дело ваше». Тут звонок. Еще раз звонок. В президиуме заторопились, заторопились и объявили перерыв. Подходит ко мне Григорь Палыч: «Поди-ка за мной: товарищ Фомушкин кличет — поговорить желает с тобой». Иду. Знаю, будет воспитывать. А я — злой и к воспитанию не способен в таком разе. Фомушкин — из клуба, я — за ним. Фомушкин — за угол, я — за ним. Говорит мне с глазу на глаз, в полной темноте: «Товарищ Кнутиков! Василий Кузьмич! Как же так подводишь? Актив называется! Гнилой ты актив. Народник ты — вот ты кто». А сам (чую по словам и по голосу) улыбается. Ну, думаю, лаяться начал, ругательные слова всякие… И тут я ему отрубил: «Ладно, пускай я народник. А ты колхозного кочета слопал! Это похуже народника. — И стал его, со зла, воспитывать: — Ты знаешь, какой это был кочет? Царь-птица!» — «Стой! — говорит. — Какой кочет? Где он?» Я легонько ткнул ему в пуп: «Тут кочет». Он-то, конечно, не знал, о чем речь, а, чую, догадывается — растерялся. Тогда я ему: «Зови Григорь Палыча». Ушел. Смотрю — идут вдвоем. А когда дело выяснилось, они оба тише воды ниже травы. «Объявишь на собранье?» — спросил Григорь Палыч. «Не дурак я, чтобы на собранье. Но без заведующего фермой никто не имеет права вмешиваться в жизнь и воспитание курей. Если вам моя линия не подходит, снимайте. С меня хватит. Я бы сам дал петушка, какого полагается есть, — не помирать же начальству посередь колхоза! — а вы сожрали… царь-птицу».

— Так и сказал? — спросил Захар Макарыч.

— Так и сказал. Отнимись язык, так сказал.

— А они что же?

— Что? Григорь Палыч ударил себя по лбу и, прямо сказать, вскрикнул: «Ну какой же я остолоп!» А Фомушкин вежливо: «Тут, товарищ Кнутиков, надо нам извиниться… Я-то… но все-таки скверно. Плохо. Извиняюсь. Только зачем же вы так против плана?» Я ему отвечаю: «Не против плана. А это не план. Это переплан. Вы

только вникните, товарищ Фомушкин: мясо себе стоит рупь, а продай за семьдесят пять копеек: денег — пятнадцать копеек на трудодень, а хлеба…» — «Что предлагаешь?»— спрашивает Григорь Палыч и тихонько подталкивает меня в бок: дескать, предлагай. Я ему: «Думаю, что из второго плана и половины хватит. Вы только вникните!» На том дело и кончилось. И зло с меня соскочило. Раз они понимают, что натворили с кочетом, — за что на них и серчать. Осталась одна жалость: хорош был кочет. Ой, хорош!

— Ну, а на собранье что? — допытывался Захар Макарыч.

— Аль там ты не был? — удивился Василий Кузьмич.

— Не был, — как-то виновато ответил Захар Макарыч.

— А-а… Тебя, значит, это не касается — пенсионер… Что на собранье?

Я молчал.

— А второй план как?

— Григорь Палыч сказал им всем, что и половины второго плана достаточно.

— А сам райисполком?

— Не возражал. Мирно все обошлось. Там же прикинули: по полтора килограмма на трудодень осталось. Это вполне допустимо… Тут, Захар Макарыч, надо сурьезно думать: вопрос политический…. Большая это политика! На трудодни давать надо обязательно.

— А чего же он на тебя косится и теперь, Фомушкин-то? — спросил я.

— Кто же его знает. Так он человек неплохой, старательный, в сельском хозяйстве дотошный. Хоть и новый он, а уважают его колхозники. Не чета Переметову… Помнишь, был в райкоме?

— А чего его помнить, если он и сейчас живет в Камышевце в отставке.

— А мне, как бы сказать, интересу теперь нет — где он там живет. А Фомушкин с головой. Худа не скажешь… Но только вот встретится со мной, подаст, конечно, руку и отводит глаза. Значит, серчает, полагаю. Разве ж узнаешь, что у человека на душе?

Оба они некоторое время молчали. Потом Захар Макарыч сказал, будто обдумав:

— Не-ет, Василий Кузьмич! Ты не чудак. Нет… Не первый год тебя знаю, а вот, поди ж ты, и не угадал, что ты за человек.

Было совершенно ясно, что Захар Макарыч открыл нового, незнакомого ему Василия Кузьмича. Я тоже не знал его таким, каким он был сегодня, — задумчивым, спокойным. А все оттого, что звезды вверху, звезды внизу, а кругом камыши и тишина. Спать уже не хотелось.

Василий Кузьмич сказал:

— Я десять крючков поставил на соменка на ночь. Поеду проверю. — И неслышно поплыл на челноке.

Захар Макарыч вежливенько захрапел — тихо, без нажиму.

«Вот оно какое дело-то, — думалось мне. — Пока я анализировал свои ошибки, Василий Кузьмич расставил крючки на ночь без всяких сомнений. Пожалуй, и мне надо так поступать — спокойно, помаленьку, надежно. И всегда будет удача».

Он действительно приволок четырех сомят и в полном удовлетворении улегся «на царскую постель». Уже засыпая, он лениво и тихо-тихо замурлыкал под легонький храп Захара Макарыча.

— Разве ж это храп… у Захара-то?.. Одна срамота, а не храп… Себе под нос… Так-то и кошка храпит…

— Пусть, в свое удовольствие, — ответил я.

— Вот у покойницы, бабки Васены, была дудка-то!.. Вот это был храп… Двор-то ее у проулка был, а через тот проулок мужики с нашей улицы в поле ездили… Бывало, она в обедах заснет под сараем да ка-ак захрапи-ит!.. Ох!.. Плетни треском трещат… Храпит, как перед концом света… Пугливая лошадь никак не шла в проулок: жуть, а не храп — стон дьявола… Зайдет мужик во двор к ней, разбудит и молит: «Тетка Васена! Дай бога ради проехать!» — «Проезжай, говорит, скорей, пока опять не заснула, а то время мне подошло». А у Захара не храп, а приветственная речь… с трибуны… по записке… Ну пусть. Он человек хороший. Чудак, конечно, Захар-то… но человек хороший. Только вот чудак. Мухи ему разные, жуки нужны. Все глупости. Хороший человек Захар. Пусть себе храпит… помаленьку.

…Разбудила меня выпь-горнист. Ухнула где-то рядом.

Василий Кузьмич уже собрался домой: ему ведь надо поспеть на работу к пяти часам утра. Он о чем-то тихо беседовал с Захаром Макарычем. Я подошел к челноку, над которым они оба наклонились. Захар Макарыч повернул ко мне голову и с восторгом объявил:

— Сожрал плавунец пиявку! Одни хлопья остались.

— Сожрал, собака, — удовлетворенно подтвердил и Василий Кузьмич. — Смехота! Ночью сожрал… — Он оттолкнулся веслом от берега и скрылся за поворотом…

За утро я поймал еще одного окуня. И все. Захар Макарыч ничего не выудил: он сидел всю зорю метрах в пяти от меня и, казалось, не обращал внимания на удочки. Но сидел недвижимо.

Когда мы, чуть шевеля веслами, ехали домой вдвоем с Захаром Макарычем, солнце уже поднялось «выше завтрака».

У моста, причаливая челнок, он сказал:

— Завтра пойду в колхоз. Как это так: два комбайна негодные, а уборка вот-вот?

— А что сделаешь? Запчастей-то нет.

— Когда-то вовсе никаких запчастей не было, а работали. И убирали… Отремонтирую. Я могу. Двадцать пять лет ремонтировал — знаю.

Трещала в камышах птичка-барсучок. Вскрикивали чаечки. Заливались сотней голосов камышевки, шелестели камыши…

Река пела.

Пусть она поет. И пусть она течет. Берегите ее, люди.

6. ПЕРЛАМУТРОВОЕ ОБЛАКО

Главный праздник охотников — открытие летне-осеннего сезона. Этот день обычно назначается на первое или второе воскресенье августа. Самые завзятые верующие никогда так не ждут пасху, как охотники свой праздник. Любители легавых все чаще и чаще натаскивают собак, шатаясь без ружья по лугам и низинам и нащупывая дупелей или бекасов; с той же целью утятники ползают со своими спаниелями по болотам, возвращаясь к концу выходного грязные, пропитанные благодатным трудовым потом. Любители пострелять уток на перелете стоят зорями на взгорье истуканами (иногда с биноклем в руках), изучая утиные воздушные дороги на кормежку и обратно. «Лодочники», эти не раз совершат труднейшие путешествия в заросли камышей, изрежут челноками несколько километров непробойного резака, и все только для того, чтобы

определить точно, где выводки, где утренняя садка, куда иной раз собирается несколько десятков кряквы.

Жены охотников либо начинают вздыхать, либо пилить мужей (смотря по характеру), предчувствуя расставание с ними на все выходные, до конца сезона. Жены знают: сказавши однажды «Ни пуха ни пера», они будут повторять это каждую субботу вечером. В воскресный же вечер будут встречать мужей. А они — эти самые, с позволения сказать, мужья, — поевши, падают в постель и засыпают, как под наркозом. Режь такого — умрет, не проснется. Но умрет улыбаясь.

Однако не все таковы охотники. Они тоже разные. Многие, азартно готовясь к открытию, поохотятся разок-другой, придут с пустой сумкой и потом — ружье на гвоздь. Это уже не охотники, а так себе — неудачники или лентяи, распугивающие дичь в первые дни и оставляющие сотни подранков.

Но все равно, какого бы характера ни был охотник, он выезжает на открытие. В этот день можно встретить с ружьем и колхозника, и рабочего, и учителя, и агронома, и инженера, и председателя райисполкома, и секретаря райкома, и даже секретаря обкома, и юношу, впервые взявшего в руки ружье, и почтенного пенсионера с таким же дряхлым легашом, как и хозяин; впрочем, попадаются и пенсионеры, что хоть в бочку запрягай.

Вот там-то эти чудаки становятся (почти все!) хоть чуть-чуть, но не такими, какими они бывают всегда. Респектабельный на улице пенсионер отдерет вам в камышах частушку, а вечером с увлечением расскажет о гражданской войне, о своих походах и боях в те годы. Колхозник выложит всю подноготную своего колхоза председателю облисполкома да еще добавит: «Куда же вы-то смотрите».

Одним словом — все становятся не совсем такими, какими мы привыкли их видеть.

Для настоящих охотников день открытия — это вздох полной грудью, долгожданное наслаждение лесом и лугами, камышами и птичьими песнями, водой и землей, небом и тишиной — всем тем, без чего не может быть никакого счастья, не может быть свежей мысли и радостного труда.

Именно поэтому в один из августовских дней я снова оказался в Далеком. Приехал туда накануне открытия — не хватило терпенья.

Захар Макарыч Пушкарь прилип снова к комбайну, Алеша Русый «не вырвался от директора» раньше срока, поэтому мы договорились: они оба будут в Далеком тоже накануне открытия, но только вечером, в субботу.

Весь день мне предстояло провести одному.

Далекое в августе совсем не то, что весной в половодье. От русла Тихой Ольхи и до острова затон сплошь покрыт лилиями-кувшинками и пятнами резака. Снежно-белые с кремовым оттенком лилии на зеленом фоне своих широких и сочных листьев, отгороженные от горизонта зелеными камышами, кажутся какими-то сказочными. Здесь все так не похоже на ту природу, что вблизи селений и городов. Нежно-беленькие кувшиночки, зеленый-зеленый, чуть трепещущий от ветерка ковер ряски и голубые окна воды. Белое, зеленое, голубое — других цветов нет. Разве лишь по краям, у самых камышей, выпрыгнет полоска цветущей розовато-голубой речной мяты, пахучей и нежной, с темно-темно-зелеными пушистенькими листьями. И все это залито ослепительным солнцем, все слегка поблескивает.

Я остановился среди такой неописуемой красоты. В который-то раз в жизни! И снова был удивлен и поражен, как и ежегодно.

Вот передо мной, на расстоянии полутора метров, вода заиграла золотыми причудливыми узорами. Я долго любуюсь искусным плетением: кружево все время движется и изменяется, то сужаясь плотнее, то рассыпаясь вдребезги, то снова возникая будто ниоткуда. Это маленькие жучки-вертячки. Их тут, пожалуй, будет больше сотни — редкое собрание. Они кружатся на воде, вертятся каждый в отдельности, а солнце ткет живые золотые кружевца из их следов. Кажется, что здесь неимоверно хитроумный танец, но на самом деле это обычная работа безобидных, стального цвета жучков: они гуртом охотятся, вылавливая микроскопически малую добычу.

Можно подумать, что они настолько увлечены своим занятием на воде, что не замечают ничего вокруг. Не тут-то было! Попробуйте взмахнуть рукой или веслом — золотые брызги взметнутся в разные стороны. И — нет жучков, пропали узоры. Мало кто знает, что у вертячки удивительные глаза. Они разделены поперечной стенкой: нижняя часть видит на воде и под водой, а верхняя — с поразительным вниманием следит за всем, что над водой; одна половина глаза

охотится, другая стережет от врага сверху. Ведь это же чудо природы! А некоторые люди не замечают, проходят мимо.

Шагах в десяти от меня, по широким листьям кувшинок, у края камышей, прокатился серенький комочек и вдруг замер в центре листа… Снова прокатился и снова замер… Потом — назад той же дорогой, и так же быстро, и так же с остановками. Пушистый комочек меньше куриного яйца. То он скроется, то снова выкатится из камышей, но от них далеко не отбегает. Кто это?

А я знаю — кто. И вовсе это никакой не комочек, а цыпленок болотной курочки. Ему несколько дней от роду, а он уже сам умеет находить пищу и ночлег. Забавная птичка. В гнезде водяной курочки никто никогда не видел птенцов — даже Захар Макарыч Пушкарь не видел, хотя и пытался не раз. Оказывается, эти детишки, как только вылупятся и чуть обсохнут, убегают из гнезда и уже больше туда не возвращаются. Еще не оперившись, покрытые наполовину пушком, они бросают мать насовсем и разбегаются.

И вот он строчит себе и строчит по листьям, питается всякими дарами земли и воды. Но… неожиданно, где-то поблизости, лысуха тревожно крикнула об опасности; крачка, маленькая чаечка, надрывно вскрикнула, предупреждая о приближении коршуна. В камышах зашуршало. И затихло. Цыпленок укатился туда в одно мгновение. А коршун проплыл над затоном бесшумно и грозно: всех неспособных он, конечно, уничтожит, а те, что понимают язык птиц-сторожей, начхали на него. Цыпленок — тоже: когда миновала опасность, он выкатился снова, но бегал опять-таки только рядом с камышами. Этот не пропадет — ушлый цыплочок, дотошный. Меня он не замечал совсем: челнок был в камышах от кормы до носа, а сидел я неподвижно.

Стая нежно-расписных щурок, появившись неожиданно и невесть откуда, запорхала над водой с веселым щурканьем. Проворные и говорливые, они что-то старательно высматривали, то совсем низко опускаясь, то взмывая вверх.

Зимородок нырнул камешком с куста в воду, не раскрывая крылья, и… «утонул». Но он вытащил рыбку и, как ни в чем не бывало, полетел, ничуть не замочив перышки.

Иной раз мне хочется сидеть, отдыхая, наслаждаясь и восхищаясь миром, прислушиваясь, всматриваясь. Здесь ничего не стараешься

запомнить, но ничего и никогда не забываешь.

День прошел незаметно.

Только после того как ржаво проскрипел вдали коростель, я понял, что вечереет. Мысленно поблагодарил эту пешую птицу за предупреждение и направился на остров, на ночевку. А коростель ритмично скоблил и скоблил, будто ногтем по гребенке, будто звал меня: «Пора варить… Пора варить…» Тоже интересная птица: летает неохотно, большую часть жизни проводит «в бегах», — даже во время перелета на юг коростель значительную часть пути отшлепывает пешком… Ладно, живи так — бегай, как положено по чину, и скрипи свою зорю. Каждому свое.

У берега острова, в том месте, где обычно причаливают редкие здесь охотники, уже стоял чей-то челнок. Был он выкрашен не под зеленый цвет камыша, а в ярко-голубой; бортики обведены белилами, а на борту, ближе к носу, красовалась белая же надпись: «Только вперед!» Странное явление: в этакой глуши появился размалеванный челн, от которого вся дичь будет шарахаться за километр. Не надо быть следопытом, чтобы догадаться, что прибывший на разукрашенном судне не имеет никакого охотничьего опыта. Он, видимо, слишком еще молод, чтобы знать, что такое маскировка. Не было в лодке и суховилки, без которой в осеннюю охоту здесь не пробраться на плес по густому резаку и зарослям камыша, а лежало одно лишь короткое весельцо-игрушка, для легких прогулок.

Но где же сам охотник?

Расположившись на лужайке под дубком, я решил сварить кашу-сливуху (авось охотник и сам объявится).

Вскоре костер уже пылал под котелком.

За спиной зашуршало. Оглянувшись, я увидел, как человек тащил огромную вязанку сучьев и хвороста. Лица его пока не было видно — он согнулся под тяжестью ноши. Когда же поравнялся со мной, то сбросил вязанку наземь, вытер потный лоб рукавом и подошел ко мне.

Это был… Переметов!

Хотя я не был с ним коротко знаком, но знал точно, что он никогда не охотился. Больше того, он когда-то высмеивал охотников и рыболовов, называя их бездельниками.

— Никак ты? — спросил он.

— Здравствуйте, товарищ Переметов! Не знал, что охотой занимаетесь.

— Думаю заняться… Надо заняться. Вот видишь, лодку новую заказал.

Он присел у огонька. Лицо его — цвета розового древоточца, в меру упитанное и почти безбровое; сняв фуражку, он обнажил легкую лысину ото лба. Передо мной сидел бывший руководитель района (даже трех районов поочередно). Лет ему не больше сорока пяти.

— Стареешь, — сказал он мне.

— А вы ничуть, — ответил я, не солгав ни капельки.

Он слегка ухмыльнулся и спросил:

— Чего так рано приехал? Открытие-то завтра.

— В отпуске… Хотелось денек отдохнуть на воле.

— Отдохнуть — это неплохо. Неплохо… Да-а, неплохо. Вот так… — говорил он снисходительно и, пожалуй, покровительственно, как за письменным столом служебного кабинета. — Вот так… Неплохо отдохнуть. Отдохни. А я пойду работать.

— Чего ж тут работать?

— Эге, братец! Да ты в охоте, видно, не силен… А я вот по привычке: с народом советуюсь… Порасспросил, узнал.

— И что же узнали?

— А то: завтра понаедут тут… всякие, захватят самые хорошие места, а ты будешь болтаться. Из-за того и приехал на день раньше… Работать надо, работать. Вот так… Работать.

— Палки-то зачем нарубили? — спросил я уже с живым интересом.

— Палки? — Он опять ухмыльнулся. — Шалаш буду над лодкой городить.

— Здесь же кругом камыши! Не надо никаких шалашей. Вы же себя демаскируете. Ветки ваши и палки далеко будет видно. Надо так: въехать в камыши, завязать их над челноком аккуратненько, и все, — Мне казалось, что говорю убедительно.

Но Переметов подарил свою розовую и ласковую улыбку и возразил, вставая:

— Ой и хитрец ты, я вижу! Ты бы, значит, убил бы, а я — с пустой сумкой. Ишь ты!

Я сообразил наконец, что советовать Переметову бесполезно (он по привычке сам все знает), и перевел разговор в другую плоскость. Очень уж собеседник мой показался мне занятным здесь, среди природы.

— Вы садитесь-ка, — говорю, — да отдохните. А я расскажу, что сегодня видел. Интересно!

— А ну-ка, ну-ка? Послушаем. — И он снова сел.

Я рассказал ему про жучков-вертячек.

Он констатировал коротко:

— Ничего особенного. Обыкновенная тварь.

Рассказал ему про цыпленка.

Он отрезал:

— Мало их, цыплят разных. Всякие бывают цыплята.

Наконец, уже без волнения, без всяких там красок сказал ему:

— Дергач, коростель, пешком топает на юг.

— Птица так не может, — заключил он. Потом подумал и дополнил: — А если, допустим, и ходит на юг, то почему бы ей и не ходить, если от природы дана такая установка… Только вряд ли.

Он ничему здесь не удивлялся, ничему не верил. А встав с земли, заявил:

— Дите ты малое, в полном смысле… Поеду шалаш делать.

— Где думаете стать с шалашом-то?

— На реке. На реке… Думаю, на реке.

— Надо в глушь забиваться, на плеса. На русле вряд ли что получится. Утка любит крепи, дебри. Вот когда морозы ударят, тогда другое дело… тогда — на русло.

— В глушь пусть другие забираются. «Утка любит»! Почем ты знаешь, что утка любит? Карась тоже любит, чтобы его жарили в сметане. — Он рассмеялся над своей остротой и, легко подняв вязанку, пошел к челноку, довольный, уверенный, розовощекий.

Снова я остался один. Но уже не хотелось прислушиваться к тишине леса, уже не радовал огонек костра и запах свежей каши.

Понятно, я был немало обрадован, когда у берега кто-то весело крикнул:

— Эй, у костра! Пусти ночевать под небом.

— В нашей хате — каждый гость! — ответил я бодро и сам направился к берегу. — Кого бог принес?

— Я неверующий. И богу от меня мало проку, чтобы носить.

— Бог, он — не дурак, знает кого носить. Никак Валерий Гаврилович?..

— Он самый. Фомушкин по фамилии. Бывалый охотник и небывалый стрелок: из двенадцати уток выбиваю тринадцатую — остальные летят своей дорогой.

На охотнике был поношенный ватник-телогрейка, видавший виды картузик, коричневые брюки, заправленные в охотничьи, с ботфортами сапоги. Крепкого сложения, среднего роста, он легко выволок челнок наполовину из воды, подтащил свое охотхозяйство к огоньку и подал мне руку:

— Гора с горой… Год прошел, как я в районе, а не приходилось нам с вами вот так-то.

— Зато о вас мне кое-кто рассказывал, — загадочно сказал я.

— Например? — насторожился Фомушкин.

С притворным вздохом я ответил:

— Например, Василий Кузьмич Кнутиков.

Фомушкин схватился за голову:

— Неужели про петуха выложил?!

— Совершенно точно.

— Понимаете, какая история вышла? А? Не могу до сих пор смотреть ему в глаза. Хотите верьте, хотите нет — стыдно.

— Ну вы-то при чем же? — попробовал я утешить.

— Жрал же я петуха породистого. Как это так при чем? Скверно получилось. Но я замолю грех: я ему таких цыпляток подброшу с инкубатора! Он поймет.

— Конечно же, поймет, — согласился я.

Валерий Гаврилович уселся у огонька, закурил папиросу. Роговые очки не придавали ему никакой степенности — его широкобровое лицо с чуть-чуть выдающимися скулами было все равно открытым. Лет ему можно дать не более тридцати — тридцати пяти.

Без всяких там экивоков он принял мое приглашение и стал уплетать со мной кашу-сливуху, как дома. Ложки у него не было, поэтому он тут же выстрогал ножом лопаточку и орудовал ею.

Я спросил:

— А где сейчас работает Переметов?

— Нигде. Ждет место… Что это он вас заинтересовал?

— Он здесь. Поехал городить шалаш. Разговаривал с ним.

— Странно, — произнес неопределенно мой собеседник. — Что это он возгорел страстью к охоте? — Фомушкин вздохнул: — Беда мне с ним!

— Что-нибудь случилось?

— Ничего, конечно, не произошло, но в неделю два раза он посещает меня в райисполкоме и дает указания, советует, как надо работать. Бывает так, что…

Он не договорил, потому что от берега послышался сначала говор, а потом чуть хрипловатый голос Алеши Русого:

— Охотников принимаете?

— Ворота настежь — заезжайте прямо во двор! — ответил Фомушкин.

И мы направились с ним к берегу.

Приехали два моих друга, каждый на своем челноке: Алеша Русый и все тот же Захар Макарыч Пушкарь.

Не успели мы подойти вместе с приехавшими к своему табору обратно, как с острова подошел Петр Михайлович Чумак.

— Эй вы, сонные тетери, открывайте брату двери! — крикнул он еще шагов за двадцать.

Захар Макарыч прямо-таки сорвался с места и побежал к нему навстречу, а Фомушкин сказал, обращаясь ко мне:

— Ученый прибыл.

— Шутите? — спросил я.

— Вполне серьезно. Не шучу. Я же с ним в одном районе лет пять работал вместе: он — председателем колхоза, я — тоже. — И шепнул на ухо: — Думаю рекомендовать его своим заместителем. Чш-ш-ш! — Он обратился теперь к подошедшему Чумаку: — А кого, позволь-ка спросить, за сонных тетерь принимаешь?

— К слову пришлось, — ответил тот в самом добрейшем расположении. — А впрочем, может, ты и есть сонная тетеря. Чего забываешь друзей? Как стал председателем райисполкома, так уж и… Подумаешь! Чин! Небось как с дипломной работой — висел у меня на шее, а тут — ни гугу.

— Каюсь. Признаю! — воскликнул Фомушкин, потрясая руку Чумака.

А тот крикнул:

— Огня! Будем поджаривать председателя райисполкома!

— Огня! — заревел Захар Макарыч и первым ринулся в лес за сухими сучьями.

Мы тоже — за ним. Уже в сумерках всей компанией набрали ворох топлива. Вновь заполыхал костер. Теперь вокруг уже ничего не было видно: мир стал маленьким и уютным и уместился весь на этом пятачке, освещенном пламенем.

— Сказать вам всем новость? — спросил Алеша, подкладывая сучья в огонь.

— Всегда рады хорошей новости, — ответил Фомушкин, подвешивая чайник на козелки.

— Мы с Захаром Макарычем видели на русле чудо преестественное.

— А ну-ка? — встрепенулся Петр Михайлович Чумак. — Чего видели, кого видели?

— Пе-ре-ме-това!

— Шуршит хворостом, возится, как нечистый дух, — уточнил Захар Макарыч.

— Новость твоя, Алеша, уже с бородой. Знаем, — сказал Фомушкин и почему-то бросил взгляд на Чумака.

И тут я заметил, как Петр Михайлович, сидя на коленях у костра, сначала чуть помрачнел, а потом встряхнул головой, взмахнул единственной рукой, неожиданно рассмеялся, казалось, без всякой причины и произнес возвышенно:

— Отгремевшая гроза района!

Трещал костер, выхватывая из темноты то целое дерево, то куст, а то и всю поляну сразу. И тогда дерево дрожало, куст, казалось, шевелился, а поляна играла бликами. Но так — лишь на несколько секунд, при игре огня. Кругом же была темнота. Только звезды осыпали нас сверху и с боков. Очень яркий Юпитер висел прямо над еле различимым силуэтом леса, будто выглядывая и прислушиваясь к нам.

Потом мы пили чай. Захар Макарыч рассказывал, какой хороший хлеб в этом году («на полкруга — полный бункер!») и как его, Пушкаря, по-доброму встретили в колхозе. В заключение он подытожил:

— Этим летом я убежал маленько от старости.

— Тебе, Макарыч, осталось и жить-то каких-нибудь восемьдесят лет, — подсчитал Алеша и тут же начал было выкладывать Валерию Гавриловичу о своем совхозе: — Я вот вам сейчас — всю подноготную…

Но кто-то, идя от берега, кашлянул два раза, будто поперхнувшись.

— Кто? — спросил Алеша.

— А ты кто? — послышался ответный голос.

— Переметов идет! — тихо воскликнул Петр Михайлович.

— Пропал вечер, — вздохнул Валерий Гаврилович. А к Алеше обратился тихонько: — Потом расскажешь. Сейчас о делах — ни мур-мур.

— Соображаю, — согласился Алеша.

— Все тут? — спросил Переметов вместо приветствия.

— Вас не хватает, Яков Гордеевич, — ответил Захар Макарыч. — Остальное все в порядке.

— Раз, два, три… Пятеро, — сосчитал нас Переметов, как овец в отаре. — По десять штук — пятьдесят уток… Где же им наплодиться, уткам-то!

— По десять нельзя, — возразил Алеша. — Разрешается только по четыре на нос. Три дня поохотитесь — пожалуйста, можно и двенадцать.

— Кто это тебе сказал? — спросил Переметов, явно наметивший себе десять жертв на завтра.

— В газете написано.

— В газете… Мало ли что в газете… Возможно, и в газете, — неожиданно передумал Переметов. — Если в газете, то — установка… Вот так… По четыре? Ну, по четыре так по четыре, — примирился он.

Переметов все еще стоял у костра, пока Валерий Гаврилович не пригласил его:

— Садитесь, Яков Гордеевич, чайку выпейте. Помогает — поднимает настроение.

Тот сел. Петр Михайлович подал ему свою алюминиевую книжку и сахар:

— Помогает чай здорово — голова лучше работает.

— Это точно, — согласился Переметов. — По себе знаю. Точно — помогает. — И пил чай, шумно отхлебывая.

В первые минуты все мы почему-то прислушивались, как он пьет чай — с аппетитом, со вздохами, с большим удовольствием. Но он, еще не докончив чаепитие, стал поучать и наставлять:

— Ты думаешь, Фомушкин, руководить районом — раз плюнуть? Нет, брат, не так. Не так совсем… Надо с народом держать связь. С народом. Вот так…

— Держим связь, — попытался отбрыкнуться Валерий Гаврилович, но это только подлило масла в огонь.

— Ты — связь! Нету связи. Оторвался от народа. — Он, казалось, сердито отхлебнул последний глоток и, не глядя, возвратил кружку Чумаку.

— А это еще надо доказать, — бросился в защиту Алеша. — Нужны факты. Дайте фактики.

— Факты? — переспросил Переметов и окинул всех нас взглядом, — Я бы тебе тысячу фактов привел… да не место тут об этом балясы точить. Все идет к худшему и к худшему. С такими темпами отрыва от народа не скоро придем к коммунизму, а обратно пятиться будем.

— А может быть, вам это только кажется? — как-то вяло, нехотя спросил Валерий Гаврилович.

— Что мне кажется?

— Ну, что все хуже в районе, чем при вас.

— Нет, брат ты мой! Это тебе кажется все хорошо. Вот так…

— Мне не кажется. Есть и хорошо, есть и плохо. По-разному.

— Ничего я не вижу хорошего в районе. Ни шиша. Вот так… И вам, дорогие товарищи, придется потом расплачиваться за свою совесть. Придется выпить горькую чашу. Я не пророк, но так оно и будет.

— А мы ее уже выпили до дна, горькую чашу, — рубанул неожиданно и на полном серьезе Захар Макарыч.

Никто из нас не понял намека. Переметов спросил в недоумении:

— Как так — выпили до дна?

— А так: перед тем как ехать сюда, мы с Алешей целую поллитру раздавили, как головастика. Крэк! И — нету.

Мы рассмеялись. Однако Алеша даже и не улыбнулся. Он, казалось, приготовился слушать ответ Переметова на шутку. Но тот, покачивая головой, повторял с сожалением:

— И это — руководители! Руководители называются! Как же вы с народом будете разговаривать? Руководители… Дошли до ручки… Тоже мне, руководители… — Он напирал на это слово, поглядывая на Чумака и Фомушкина с участием, как на больных. — «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь», — сказал писатель Гоголь. И правильно сказал…

Захар Макарыч в данном случае представлял «народ», который тоже смеялся и любил смеяться. Меня же, конечно, Переметов не

причислял ни к тому, ни к другому слою общества, поэтому я хохотал от чистого сердца.

Когда же стали располагаться, чтобы вздремнуть перед зорькой часок-другой, Переметов заметил, что место мы выбрали не то, и что костер развели не там, и что варить чай не умеем, что варить его надо с умом, а «не раз плюнуть».

Алеша нарочито вежливо остановил его поучения:

— Вы ложитесь-ка, Яков Гордеевич. Ложитесь. Мы народ тугой — за один вечер не перевоспитаешь. Ложитесь — отдохните. Чего зря слова тратить. Если бы так с месячишко, то польза была бы. А за один вечер — не получится, говорю.

— Пожалуй, верно, — согласился Переметов, улыбнувшись наконец. И уже весело, ласково, будто поглаживая при этом по спине лошадь, убеждал Алешу: — Вот ты — рабочий человек: с тобой я — по душам. Возьмем лет десяток назад. Совсе-ем другой вид был у руководителей района: что осанка, что голос, что внушение умел дать! А сейчас? Вот они, смотри на них. Посмеиваются себе, как Аркадий Райкин. — И он ткнул пальцем в Фомушкина и Чумака. — Приди ты в райисполком сейчас: сидит за столом не председатель, а вроде бы школьный учитель — ни формы, ни стати, ни авторитета для посетителя…

— Коне-ечно, — согласился Алеша вполне серьезно и степенно (он так умел). — Вид должен быть. Вот при вас-то бывало… Э, да что та-ам!

— То-то вот и оно. Понимать надо.

— Надо, — опять же поддержал Алеша, — Когда бабка моя готовилась сказку сказывать, то начинала так: «Кто ума не занимает, тот и сказку понимает».

— Правильно бабка говорила. Умная бабка, — подтвердил Переметов и стал укладываться, покряхтывая и ворочаясь. — Тоже мне, охотники… не могли потолще настелить.

Алеша прямо-таки встрепенулся:

— Да если бы я знал, что вы тут, то тогда…

Взаимопонимание Алеши и Переметова было буквально трогательно. Только Переметов-то не знал, что в Алеше бес сидит глубоко.

Петр Михайлович из-под плаща, которым он накрылся с головой, спросил полусонным голосом:

— А чего это вас прорвало на охоту, товарищ Переметов? Думалось, звать вас на охоту — все равно что курицу звать в воду.

— Посмотрим завтра, кто из нас охотник, — лениво ответил Переметов.

— Я не к тому, — докучал из-под плаща Петр Михайлович. — Откуда неожиданно страсть?

— А может, она и была у меня, страсть… да положение не позволяло… «Предрика, а с ружьем шляется». Так может сказать народ? Может. А к народу надо прислушиваться… И кроме того: где ты сейчас купишь утку? Нигде в районе не купишь. С мясом засели… С такими руководителями, как вы, утятины не покушаешь…

Он что-то говорил еще и после, но слова проскакивали мимо моих ушей. Было уже неинтересно. Лишь одно я вынес: Переметов был глубоко убежден, что без его личного руководства Камышевецкий район гибнет безвозвратно и уже никогда не сможет подняться вновь.

Перед самой зарей чуть-чуть покрапал нежный дождичек и оброснил все вокруг. Легкий туман повис над камышами. С утра дождь — это не дождь, а туман с утра — к вёдру. Приметы верные — будет хороший день.

Перед рассветом мы расползлись по камышам на своих челноках, а Переметов заболтал весельцем к реке, в свое сооружение.

Мы с Валерием Гавриловичем решили стать в «голове» вдвоем. На таком озере можно и вчетвером.

Зашалашились мы довольно быстро, легко и просто. Нужен был только небольшой моток шпагата и — больше ничего.

Валерий Гаврилович устроился метрах в ста от меня, лицом к заре, так же, как и я.

Туман над озером курился теплым парком. Листья камышей, хотя я и отряхнул их веслом, то и дело беззвучно бросали капли в челнок и на траву, но на мой плащ — хлестко. Больше ни звука. Небо пока еще закрыто сплошными серыми облаками, пока еще все вокруг было в мутноватой серой пелене, свежей по-утреннему, сырой, но приятной, бодрящей. Пелена была живой: она двигалась над водой, то мутнея, то

просветляясь. Августовское предутро повисло над Далеким, задумчивое, напоминающее о том, что осень не за горами.

Но сколько прелести в самом утре в это время года!

Вот постепенно появляются красноватые просветы в облаках — это солнце подходит к горизонту. Оно близко, совсем близко. Облака становятся все жиже и жиже, редеют, отступают перед солнцем. И вдруг, как-то совсем неожиданно, образовалось в облаках окно, а мощные лучи прорвались в него и ударили по небу веером. Вокруг этого окна, по краям, — золото. Горы золота над землей. Из золотого окна — прямые дорожки лучей. Утро наступало торжественное, величественное и, наверно, опять и опять неповторимое в своей могучей красоте.

Сотни раз я встречал зорю, но не помню, чтобы одна была похожа на другую. Настолько щедра наша земля на подарки человеку, что вы можете получать их так часто, как захотите сами. Мне, например, в такие зори слышится какая-то, кажется, знакомая-знакомая симфония. Кажется мне, что слышу утро, слышу и эту неимоверную тишину, врывающуюся в самое сердце. Всегда в такие минуты чуть-чуть внутри дрожь.

И вот солнце уже растолкало облака, рассыпало их по куполу, как добрый пастух отару овец. Вскоре облака стали прозрачными и рассеялись поодиночке по всему небу, а между ними все больше и больше расширяются голубые-голубые просветы. Нет-нет да и пересечет луч в один из таких просветов все небо, розоватый, с синим отливом. И растает, уйдет никуда. Но вдруг я увидел необыкновенное и незабываемое, увидел впервые в жизни.

Три облака сошлись незаметно и образовали причудливое, с извилистыми золотыми краями огромное окно. Казалось, края его, изменяясь с каждой секундой, дрожат от лучей еще не взошедшего солнца. Оно изо всей силы бросилось в этот просвет и вскользь осветило одно из далеких расплывчатых облаков, которое было почти на противоположной стороне купола, самое высокое, где-то в верхнем слое. И то облако заиграло перламутровыми переливами. Из множества уже белых облаков это было единственное во всем небе с тончайшими и нежнейшими оттенками, без каких-либо резких переходов и границ цветов. Оно играло над землей мягко-радужными цветами, в каждом из которых было чуть-чуть голубого. Это было

чудное явление природы и редчайшее в наших местах. Перламутровое облако!

Не многим удается видеть такое.

— Смотрите! Смотрите! — крикнул Валерий Гаврилович.

Две стайки уток, испугавшись, сорвались со средины озера. Голова Валерия Гавриловича торчала над пригнутыми им камышами (он, видимо, стоял на скамейке челнока). А рукой показывал мне на перламутровое облако:

— Смотрите! Скорей смотрите!

— Вижу! — ответил я ему. И повторил еще раз, вложив весь свой восторг: — Ви-ижу-у!

Оно, это чудесное видение, исчезло так же неожиданно, как и появилось. Но зато осталась в сердце отметинка на всю жизнь: я видел перламутровое облако и был в те минуты счастлив; а неподалеку от меня стоял в челноке мой новый знакомый, — знаю, мой новый друг, — тоже счастливый в тот миг и восторженный.

…Мы просто прозевали зорю: стреляли уже часов в шесть, когда с кормежки шли последние утки. И всего-то мы взяли по парочке. Если к тому же добавить, что в моей парочке был один чирок, то можно сказать, возвращались мы «с пустым полем».

— Ну и пусть, — сказал Валерий Гаврилович, когда, проталкиваясь суховилками в резаке, мы направились к острову. — Зато какое утро! Какое облако! А?

Мне нечего было ответить, потому что мы уже понимали друг друга.

А на берегу Алеша задумчиво сказал:

— Говорят, чудес нет на свете. Да в таком чуде фанатик может вообразить что угодно: и икону какую-ни-будь, и даже самого бога Саваофа.

— Может. Факт, может, — согласился Захар Макарыч. — А все так просто. И все было душевно в том облаке.

После того как мы сошлись под дубком, Валерий Гаврилович спросил у всех сразу:

— Что-то Петра Михайловича до сих пор нет? Не застрял ли? С одной рукой ведь… А резак вон какой густой…

— Не застрянет, — уверенно ответил Захар Макарыч. — Он тут каждую камышинку знает. С детства знает.

Прошло еще с полчаса, как наконец появился Петр Михайлович. Он, не выходя из челнока, позвал нас взмахом руки. Мы подошли.

— Переметова надо спасать. Один пробовал — не получается: все-таки две руки — это руки, а одна рука — это просто рука.

— Что случилось? — спросили мы в один голос.

— Захряс в резаке и сидит чучелом.

А получилось все очень просто. Переметов, видимо услышав выстрелы и не обнаружив никакой дичи над своим сооружением, решил срочно переехать в другое место. Никаких угодий он здесь не знал и не представлял, что такое резак для челнока. Со своим веслом-мешалкой он протиснулся на сотню метров, пытаясь пройти в дебри Далекого, но из этого ничего не вышло. А назад — никак.

Мы подъехали всей компанией и остановились у края резака. Переметов сидел на дне челнока ссутулившись; фуражка сползла козырьком набок, пот струился по лицу, рубаха прилипла к телу; весь он выглядел измятым, раскисшим, в полной безнадежности.

Алеша перешел в челнок Захара Макарыча. Они вдвоем, в две суховилки, пробились к незадачливому охотнику, взяли его на буксир и с трудом выволокли на протоку. Он молчал, вытирая рукавом пот со лба. Когда же наконец оказался на чистой воде, то шумно вздохнул.

— Что, тяжко? — участливо спросил Захар Макарыч.

— Пропади она пропадом, ваша охота… — ответил Переметов угрюмо.

Петр Михайлович обратился к нему же, но не без иронии:

— Ты, Яков Гордеевич, облако видел?

— Какое такое облако? — уже в полном изнеможении пробурчал Переметов.

Ухайдакал резак «отгремевшую грозу района».

Алеша сказал ему с этаким нескрываемым сожалением:

— Поезжайте-ка вы, Яков Гордеевич, домой. Дружеский совет вам от всего сердца. Ей-правда, поезжайте.

Переметов поехал домой один, не оставшись на вечернюю зорю. Поехал угрюмый.

На борту его челнока красовались белые броские буквы: «Только вперед!»

А поехал он назад. В растерянности и удручении он сел в челнок задом наперед и булькал своей мешалочкой. Потом-то, в пути, он,

конечно, заметит, что сидит не так. Да толку-то!

7. ХУТОРОК НАД РЕЧКОЙ

В один из субботних дней августа вздумалось мне поехать вверх по Тихой Ольхе. Когда-то там были отличные места для охоты на бекасов и дупелей. Правда, берега реки и там заросли камышами, по зато в пойме есть чистые луга с мелкими болотцами и кочкарником, заросшим мелкой осокой, хвощом и мочажинником. Конечно же, в таком случае была со мной в челноке и моя Лада.

Хотя первые порывы радости и восторгов у нее уже прошли, но она, сидя в средине лодки, все еще изредка вздрагивала от волнения.

На моторе в это время года можно проехать вверх довольно далеко от Камышевца, километров за двадцать. Но дальше, перед бекасиными местами, речка заросла настолько, что пробраться по ней можно лишь на весле.

Итак, мы с Ладой были почти у цели и не спеша ехали к пойменным лугам, что в двадцати пяти километрах от Камышевца.

Небо было пасмурным. Облака закрыли солнце совсем, и казалось, нет им ни конца, ни края. В безмолвной тишине безветрия камыши стояли спокойно. Огромнейшие здесь листья кувшинок были тоже недвижимы. Река в этих местах течет тихо, лениво, а в августовском беззвучии кажется в каком-то полусне позднего лета. Разве нет-нет да прощебечет камышевка, из тех редких экземпляров, что поют даже и позднее конца августа. Но ближе к вечеру на лужайке, недалеко от берега, все еще свистит погоныш, одиноко и прощально. Свист его, отрывистый и звучный, очень похож на свист погонщика волов или пастуха коровьего стада. Недостает только того, чтобы погоныш еще крикнул что-то по-человечески, как настоящий заправский пастух. Но я мысленно дополняю это сам. Погоныш: фийт! фийт! А я: «Куда пошла, зараза!»

Еще при первом его свистке Лада встала передними лапами на лавочку, замерла. Потом оглянулась на меня: «Слышишь, свистит? Может быть, сходим за ним?» Я покачал отрицательно головой. Она, чуть послушав еще, снова села на средину челнока.

Так мы и едем — тихо, в полусонном окружении.

Даже лягушка и та проквакала ленивым смешком, без обычного упоения. «Ква-ке-ке — не все ли равно, лето кончается… Ква-ке-ке».

Потом, к концу нашего пути, где-то далеко-далеко монотонно и еле слышно заурчал комбайн — значит, уже убирают и просо. Эти звуки настолько ровны и беспрерывны, что тишина ничуть не нарушалась, и даже наоборот: казалось, сама тишина журчит. Так бывает неслышен в предосеннем лесу резвый ручеек в могучей тишине — он становится ее частью. Поэтому же и я слышал только всплески своего весла. Остальное было тишиной.

К берегу мы пристали против маленького хуторка с обидным названием Вонючка. Он на противоположной от нас стороне реки прилепился на взгорье кое-как, будто наспех, на несколько дней, без улицы и в полном беспорядке. Вокруг изб — ни деревца, ни кустика. Нет и надворных построек — одни избы, тоже съетаженные кое-как, впопыхах, из самана и соломы, серые, небеленые. Так и кажется, что люди здесь живут несколько недель, не больше одного лета, а потом они вот-вот уедут.

В каждом селе, где бы я ни побывал в последние годы, много новых домов, колхозники строятся. И это примета времени. Но хутора и крохотные деревеньки кончают жить, расползаются, тянутся в село, в город. Таков и этот хуторок. Знаю, было здесь сорок дворов, а теперь осталось… Сколько? Считаю: тринадцать. На местах бывших изб видны курганчики, заросшие бурьяном.

Облака были серыми, недвижными, казалось, они придавили заброшенный, доживающий последние годы хуторок, но он все еще пытается топорщиться верхушками соломенных крыш. Многих из его жителей я знал когда-то близко, еще с тех времен, когда здесь ели лебеду в голодный год. А кто теперь там остался? Этого не знаю, потому что не бывал там более пятнадцати лет, то есть с тех пор, когда Вонючка входила в мой агроучасток, а колхозик назывался «Светлый путь».

Старые, знакомые места!

— Лада! — окликнул я тихонько.

Она преданно смотрела мне в лицо.

— Ты собака хорошая, Лада… Ты молодчина… Начнем? — спросил я, погладив ей голову.

Лада прыгнула на берег и сразу же пошла челноком: влево-вправо-вперед, влево-вправо-вперед. На поворотах она каждый раз бросала на меня взгляд. Вначале горячилась, спешила, нервничала, но вскоре, чуть пропотев, пошла ровно и спокойно.

Вот она резко остановилась, будто наткнувшись на что-то, чуть пригнулась и, еле переступая, пошла на потяжку, бесшумно переставляя лапы: шаг ее становился все реже и реже, все осторожнее и осторожнее, и наконец она замерла на месте, приподняв переднюю лапу, замерла, как изваяние. Стойка!.. Та самая стойка, любоваться которой без страстного биения сердца не может ни один настоящий охотник.

Где-то близко от Лады, там, куда она направила взор, затаилась дичь. И я тоже дрожу, переступаю тоже осторожно, держа ружье на изготовку и не спуская глаз с Лады. Она недвижима.

Еще два шага… Стою позади Лады и тихо приказываю:

— Пиль!

Пружиной она прыгнула вперед и в ту же секунду легла, приподняв голову. Бекаса будто выбросило. Он мелькнул над травой в полроста человека. Секунда — и я накрыл его стволами. Выстрел! Промах! Дублет!.. Серый комочек клюнулся в траву.

Лада встала, смотрит на меня с укором: «Что же это ты, Тихон Иваныч, промазал первым-то? Ай-яй-яй!»

— Это ничего, Лада, ничего. Я тоже волнуюсь… Подай!

Лада несет бекаса по всем правилам и отдает мне «из рук в руки». И тогда мы с ней коротко объясняемся в любви.

…Небо в тот августовский вечер все гуще и гуще затягивалось свинцово-сизыми облаками. Мы с Ладой взяли еще одного бекаса. Дважды я промазал, как школьник, за что получил от Лады выговор: она с обидой отвернулась и лишь изредка поглядывала вполоборота в мою сторону. На собачьем языке это значило: «Уму непостижимо! Или ты мой труд ни за что не считаешь? Я работала. А ты пуделяешь в воздух. А ну тебя, мазила, к лешему!» Я перед ней извиняюсь, объясняю, что очень высоко ценю ее работу. Но кто же живет без ошибок! В конце концов мы находим общий язык и продолжаем охоту. Лада умеет прощать.

Однако больше мы уже ничего не взяли — начал накрапывать дождишко, теплый, тихий, мелкий, как через сито. Лада захлюсталась

до ушей и наконец совсем стала, поглядев на меня внимательно: ничего не чую, дескать, мокро.

Сбоку от нас оказалось пойменное озеро Почка, поросшее там и сям кугой, окруженное узкой полоской невысокого здесь камыша и действительно похожее по форме на почку. Эка, куда мы забрели. Я решил осмотреть озеро и направился вокруг него сначала к ольшанику, рассыпанному на противоположном берегу. Там, думалось мне, можно влезть на сук дерева и окинуть взором весь этот небольшой водоем — может быть, есть утки.

Но не успел пройти и сотни шагов, как совсем близко послышалась песня. Певца не видно — наверно, он сидел за камышами. Пел он как-то разухабисто, с выкриками и надрывом, по-блатному:

Темная ночь… И-эх… Только пули свистят… Мама!

Потом молчание. Но вдруг с этаким озлоблением и удалью пошло «переложение» известной лирической песни:

Ты меня ждешь,
А сама с капитаном живешь
И у детской кроватки
Сульфидин принимаешь.

— Мама! — дико выкрикнул он, завершив этим куплет.

Певец замолчал.

Через сотню шагов я увидел: на старом, полуистлевшем пеньке сидел человек, подперев руками подбородок, и смотрел в одну точку. На коленях у него лежало ружье. Заслышав мои шаги, он встал, пристально смотря в мою сторону. Даже и в те секунды, когда я подошел и поздоровался, он бесцеремонно продолжал смотреть мне в лицо, однако же ответил на мое приветствие с явной иронией к себе:

— Привет из Вонючки!

На нем была изодранная телогрейка с торчащей в двух местах ватой, множество раз латанные засаленные брюки и совсем новые резиновые сапоги; совершенно новенький картуз сидел козырьком

набок и чуть набекрень, обнажая густые русые кудри. По одежде сверху и снизу охотник был новый, а в средине старый. От угла глаза и ниже — большой шрам, наискось через всю щеку. Больше тридцати — тридцати пяти лет ему дать было нельзя.

Умные, остро простреливающие глаза, глубокие, но небольшие, шарили по мне: охотник будто изучал меня со всех сторон.

Как мне показалось, на лице у него блеснула чуть заметная улыбка, а шрам вздрогнул. Он спросил:

— А ты, случаем, не Тихон ли Иваныч?

— Он самый. А вот тебя не могу признать. Ты чей же будешь?

— Данилу Шмеля помнишь? Данилу Сергеевича?

— Как же! Рыбак известный.

Данилу я знал хорошо, даже несколько раз ночевал у него когда-то, вместе рыбачили. Помнил и то, что для Данилы главным средством существования была речка. Сразу же всплыло в памяти, что у него был сын, парень лет шестнадцати-семнадцати, шустрый и деловой — на все руки мастер. Были еще две дочери. Все дети Данилы хорошо работали в колхозе.

— Так вот я и есть его сын. Митькой звали, — подтвердил охотник.

Я не мог поверить своим глазам. Митька заметил мое недоумение и спросил:

— Что, не тот Митька? — И ответил, чуть прищурив глаз со стороны шрама: — Федот, да не тот.

Лицо его от этого резко изменилось: на нем стало два лица, две половины, причем одна из них мне смутно знакома, другая — чужая, неизвестная, жестокая.

— Неужели ты… Митька?

— Я — Митька Шмель. Он и есть… Самогоночки выпить не хотите, Тихон Иваныч? — И вынул из-за пазухи бутылку. — Граммов двести еще есть. За встречу… Думал леснику поднести, если наскочит… Да черт с ним! Его, видать, и в лесу нету. Или убег.

Мой отказ он понял по-своему:

— Думаете, воняет? Ничуть. Чистый спирт. Аромат! «Белой акации запаха нежного мне не забыть ни-ико-гда», — пропел он вполголоса с цыганским надрывом, ничуть не уродуя мотива. — Очень приятна. Это я про самогонку. Из ссылки привез рецепт. Аромат!

— Из какой ссылки? — изумился я еще больше.

Вместо ответа он сказал:

— Дождик… Лучше не может быть для сева… Вы, должно быть, в деревню пойдете ночевать? Приглашаю. Батя будет рад.

— Живой, значит?

— Живой. Да только дальше избы — ни шагу. Ноги… Ревматизм скрючил. От воды это у него. Вот и сидит теперь… Рад будет. — Говорил он все это уже задумчиво, присев снова на пень и поглаживая Ладу. — Новый человек в хуторе — для нас редкость.

Хотя я мог бы заночевать где угодно, натянув над челноком палатку, но мне самому захотелось побывать в хуторе. Я поблагодарил за приглашение.

— Ну, так и пошли. — Он вытер стволы ватой, выдернутой тут же из телогрейки, взял лежащий сбоку чехол и положил в него ружье.

Мы шли к лодке. Идти предстояло километра два по лугу и кочкарнику. Я волей-неволей часто смотрел под ноги, чтобы не споткнуться, а Митька Шмель шел хотя и не торопясь, но глядел прямо, будто каждая кочка была ему знакома: ноги привычны к этим местам.

Дождь перестал. Но в воздухе повисла и осталась на ночь мутная сырость: туман не туман, пар не пар; казалось, облака осели на землю, зацепились за нее, навалились всей тяжестью. В такую муть не ощущаешь неба, а есть только земля под ногами.

В этой предвечерней мокрети, когда мы вышли на тропинку, спина моего спутника потеряла точные очертания, чуть расплылась, а поэтому он казался шире, выше и мощнее, чем был на самом деле.

— Дмитрий Данилыч, — спросил я, — тебе нельзя, что ли, рассказывать? Или не хочется?

— О чем? — спросил он, не оборачиваясь.

— За что сидел-то?

— Почему нельзя? Можно. Только все это тошно… Восемь килограммов пшеницы взял на току и нес домой… Милиционер засек… Цап-царап! Акт… Суд… По закону «от седьмого августа» дали восемь лет… Где твоя лодка? — резко прервал он рассказ.

— Налево…

Мы пошли берегом над камышами.

— А потом что? — допытывался я через несколько минут.

— Потом? Так все и пошло… Для других несчастное число — тринадцать, а для меня сразу два — семь и восемь: восемь килограммов, «от седьмого августа», восемь лет в каменном карьере… Угнали восемнадцати лет, а пришел двадцати шести… Все науки превзошел — полный курс восьмилетки… Хочешь, покажу? — Не дожидаясь согласия, он остановился и резко повернулся ко мне. — Вот у тебя на плече ружье. Вот ты его снял и держишь в руках. Так. Правильно. Я беру тебя за плечи и поворачиваю кругом: р-раз!.. Где твой портсигар?

Я ощупал карман, а Митька выхватил уже из своего кармана… мой портсигар.

— Вот и все! — закончил он эту молниеносную операцию.

— Как же так возможно?! — воскликнул я.

— Наука и техника, — ответил он. И добавил не без гордости: — И искусство. Ты снимаешь ружье — руки заняты: считай — две точки. Я беру за плечи: считай — еще две точки. Для головы человека четыре точки хватит, через глаза достаточно. Поэтому и нельзя заметить, как мои пальцы скользнули в карман… Я ведь только опустил пальцы, а вытащил портсигар ты сам, когда поворачивался… Не смотри на меня так: сразу все равно научиться нельзя. Тут — школа! — Он рассмеялся, как мне показалось, грустно.

Именно в этом смехе мне отчетливо представился облик знакомого когда-то разбитного хуторского парнишки, кудрявого Митяя.

— Тогда тебя Митяем звали, а не Митькой, — сказал я.

— Точно, — ответил он, уже повернувшись спиной и продолжая путь. — А в ссылке был Сидор. Сидором звали. Сидор — мешок. Или все равно — колхозник.

Мы подошли к челноку, где уже сидела Лада и приветствовала нас хвостом.

— Старая, должно быть, собачка? — спросил Митяй.

— Старая.

— И работает?

— Помаленьку, но верно. Жалею ее.

— Собаку надо жалеть. Как же! Собака — животная ласковая, не то что человек.

— Не все же, — возразил я.

— Конечно, не все, но…

Как и каждый раз, когда надо было высказать что-то важное, он замолкал. Но меня не могла не интересовать его такая жестокая философия, непривычная для деревенского жителя. Поэтому, когда мы отъехали от берега, я возразил еще раз:

— Есть восточное изречение: «Кто равнодушен к страданиям людей, тот недостоин звания человека».

Митяй, не медля и ничуть не задумываясь, отпарировал:

— На земле много людей ходят без этого звания. — Он усмехнулся и добавил презрительно: — Звание! Выдумают же… — И выругался по-блатному.

Теперь со мной рядом был уже не Митяй, а Митька Шмель, Сидор, тот самый, что в тюрьме «превзошел все науки» и принес оттуда песни, подобные той, что я уже невольно слышал. Его философического настроения как не бывало: он повернулся ко мне боком, той стороной лица, где шрам, и костерил небо, землю, дождь и людей. Озлоблен он был до конца.

И тогда я решился.

— Ты перестань выплевывать пакостные слова! — заорал я. — За кого ты меня считаешь?!

Митяй посмотрел на меня снисходительно, шрам дважды дернулся и замер. Лицо его, казалось, застыло. Он ничего не ответил. Но когда челнок подходил к берегу, сказал угрюмо:

— Держи правее — на камень наскочишь, — Выпрыгнув на берег, подтащил челнок за причальную цепь, выволок его наполовину из воды и сказал, не меняя тона: — Теперь ты на нашей земле.

— Ругаться будешь?

— Не буду.

Вскинув рюкзак на плечо, я взял и корзинку, ожидая, что Митяй возьмет палатку, чтобы помочь. Но он проговорил:

— Оставляй все тут. Накрой палаткой.

— Как так? На ночь оставлять?

— Никто не тронет. Одно ружье возьми.

— А вдруг?

— Сказал: никто не тронет — значит, не тронет. Я сказал! — подчеркнуто произнес он последние слова.

Мы тронулись в гору, к хутору. По тому, как он произнес: «Теперь ты на нашей земле» и «Никто не тронет», я понял: с этой минуты Митяй считает меня своим гостем. И правда, он заговорил на ходу первым:

— Вот ты, Тихон Иваныч, обругал меня… «За кого ты меня считаешь», сказал… Верно: как зло спадет — не ругаюсь, найдет тоска — ругаюсь. Тут ничего не поделаешь… А считаю тебя за человека. Отчего так? Помню, как нам было тяжко тут в голодовку. И тебе тяжко было. А ты никуда не уходил — жил с нами… За твои слова другому бы морду расквасил… А вот шуганул ты меня — стало… не того. Человеком считаю.

— А себя не считаешь? Ругаешься, как сатана.

— Не считаю. Нет! И никто не считает.

— Ты сам себя убедил в этом — и только.

— Говорю тебе, никто не считает. Ссыльный! Как же!

— Брось ты глупости говорить, Митяй. К чему?

— Не глупости. Нет, Тихон Иваныч, это не глупости. Ты вот послушай. В ссылке я шофером работать научился.

— Там что: школа такая была?

— Не было школы. Окликнули: «Кто шофером может?» Кричу: «Я могу!» А сам ни бельмеса. «Иди в гараж». Пришел: «Выручайте, братва, засыпался». Из Одессы там был один, «вор по закону», Скопа по кличке, говорит: «Топай ко мне, Сидорок, сменным»… Дня четыре — с ним, а потом помаленьку привык — и пошел… Через месяц нас погнали сдавать на права — сдал: сам стал возить камень из карьера. Ну, конечно, пока-то — за колючкой. В последний год и на волю возил, к железной дороге… Да. Перебил ты меня… Пришел я из ссылки этой, предъявил права в колхозе. Сперва — никак, а потом дали молоковоз: «Вози молоко». Понимаю: дескать, тут ему «налево» не схватить — цистерна. Ладно, черт с вами, думаю, докажу… Два месяца работал. Глядь: в цистерне с молоком оказалась рыбка, песка-рик махонький. На молокозаводе засекли… Суд да дело — в молоке вода речная. Ах, туды-т твою… Не буду ругаться, не буду. Рыбу из коров надоили, гады! Опять сижу. Опять суд. Дали год — отсидел… Теперь, кроме вил и лопаты, ничего не доверяют — уже не человек… Да дай же ты мне хоть разок ругнуться!.. Вот чуть и отлегло… А как все случилось, не знаю. Цистерна оставалась всегда на ночь в Степном, рядом с фермой

— сбоку речка, ручей такой. Кто зацепил рыбешку тогда? Убей — не знаю. Финку в ладонь — не знаю! А там ведь как? «Судим?» — «Судим». — «Сколько?» — «Восемь». — «Ну, на́ тебе еще год!» За что? Да за то, что ты уж сидел. Ты не человек. Вот видишь: «без звания» хожу по земле. Только и утешения — ружье да лодка.

— Постой-ка. А где же твоя лодка? Не мог же ты на тот берег попасть пешком?

— Там и осталась. Пригонят ее вечером.

— Кто?

— Да наши двое. Ольху берут на топку… Меня попросили: «Посиди, мол, с ружьем на отшибе, чтобы случаем лесник не нарвался». Ну вот, сидел на том берегу…

— А он знаком тебе, лесник-то?

— Боится меня. Как же! Митька Шмель! Ссыльный! Это я для него и песенку рыдал: услышит — обойдет за версту… И в правлении боятся. Рассказывал мне конюх, будто говорил завхоз председателю: «Он, Шмель, в яблоко пулей попадает». А я никогда не стрелял в яблоко… И пули никакой нет у меня… Ну ладно — пусть…

Больше он не промолвил ни единого слова до тех пор, пока вошли в его избу. По хутору мы шли молча.

Я осматривался вокруг. Здесь, на горе, туман меньше — видно все шагов за двадцать — тридцать.

Грустная картина!

Вот стоит изба, а рядом два-три холмика, поросших лебедой (остатки бывших изб); потом еще изба, и опять холмики, как большие могилы. Некоторые курганчики совсем еще свежие, без травы, с разрушенным и еще не обветренным саманом. Ни одного живого существа, кроме кур, мы не встретили.

— Как мертвый ваш хутор, — сказал я Митяю.

Он объяснил:

— Кто на кукурузе, кто на ферме… Тут, в полкилометре, телячья ферма.

— В какой же вы бригаде?

— В четвертой. Теперь четыре хутора и село Степное — все в одной бригаде. Большая бригада — до начальства далеко.

Еще раз я окинул взором хутор, насколько позволял туман. Избы стояли на возвышенности, круто спускающейся к реке. В одну сторону

— степь, в другую — мутные в тот час луга и Тихая Ольха. Ольшаника не было видно совсем. Усадьбы засажены только картошкой и кукурузой — пополам, по своеобразному «двоеполью». Никаких овощей нигде нет и в помине.

Мы подошли к избе Митяя. Она ничем не отличалась от прочих. Разве только развешанная на кольях сеть свидетельствовала, что хозяин — рыбак.

Открыв дверь, Митяй бросил в избу:

— Папашка! Встречай гостя.

На кровати лежал старик. Он встал, опустив босые ноги. Данила Сергеевич был совершенно сед.

— Послал бог гостей — и хозяин будет сытей… Ты кто же будешь? Откуда?

— А угадай-ка, Данила Сергеевич! — крикнул я на всю избу.

— Ты не кричи — я хорошо слышу. Я востроух еще. И вижу — дай бог каждому. Ноги вот, правда, не того. — Он, говоря это, всматривался в меня, не узнавая.

— Тихона Иваныча, агронома, помнишь? — спросил Митяй.

— Аль и взаправду ты? Тихон Иваныч?.. Ей-богу, ты! Постарел здорово. Постарел. Тебе сколько годков-то?

— Шестой десяток добираю.

— Это ничего. Это еще ничего. Это ты еще молодой. Ничего. А я вот восьмой доживаю. Хе-хе! Все еще ничего себе, крепкай я, кре-епкай. Ничего. Ты садись-ка, садись, Тихон Иваныч. Садись. Гостем будешь. Митяй! Соображай угощение.

— Не надо никакого угощения, Данила Сергеевич.

— Э, не-ет! Дома ешь — как хочешь, а в гостях — как велят. От этой пословицы за всю жизнь не убежишь.

Митяй вышел из избы.

— Давно я тебя, Тихон Иваныч, не видал. Давно. Постарел ты, а так ничего, прочный, — продолжал старик, видимо обрадованный и тем, что ему есть с кем поговорить.

— Как живется, Данила Сергеевич? — спросил я, давая ему волю наговориться.

— Живется? Как тебе сказать? Живется ничего себе. Вот без бабы нам плохо с Митяем. А так — ничего. Это еще ничего. Хлеб есть.

Рыбы он наловит. Картошка своя. Топки он тоже вдоволь готовит. Это еще ничего. Только без бабы нам плохо.

— Жениться ему надо, — говорю.

— Не хочет.

— Почему же?

— «Девка за меня не пойдет никакая — ссыльный». Так он говорит… Дело его… А вдовушка тут… Не мое дело. Только без бабы плохо. Хутор весь разъехался, все уезжают. Кто — в город, кто — в Степное. Что мы без бабы будем делать?

— А как там сейчас, в Степном? Хорошо?

— Там-то? Там хорошо. Там электричество, клуб, говорят, двухэтажный, кино там всякое… Только нам-то с Митяем это все мало требуется. Молодежи, знамо, другое дело. У нас тут молодежи-то нету никакой. И в Степном мало. Уехали. Все уехали. Ходит, ходит в десятилетку, ходит, ходит, а потом — глядь! — нет его: уехал. Все уезжают. Дорогу ищут. Все ищут. А так — жизнь ничего. Это еще ничего. Хлеб есть, картошка своя.

— На трудодни, значит, дали хорошо?

— Хорошо дали. По килу хлеба и по пятнадцать копеек на трудодень. Это еще ничего. А то — помнишь? — плохо было. Триста граммчиков — это плохо было: чуть более полфунта — пустяк. А теперь хорошо. Это еще ничего себе. И вольнее стало. Далеко вольнее. Колхоз наш хороший.

— То есть как вольнее?

— Судить не стали. Никого не судють. А то Митяй-то через то и пропал: брали с поля все, а ему одному из всего хутора отвечать пришлось. Все брали… Теперь можно жить. Это еще ничего.

— Теперь не воруют хлеб?

— Хлеб не воруют. Нет, не воруют. Теперь, бывает, кукурузу берут.

— Это плохо, Данила Сергеевич.

— Иначе-то как же? Оно ведь иной раз как получается: кило — это мужику на день. Заработал и съел. Баба, знамо дело, не съест, а мужик съест кило. В три присеста — как раз. Это еще ничего — кило. Да. Притом же — ребятишки… Свинка небось тоже есть — всех кормить-поить надо… А кукуруза-то, она — что: и каша, и пышки, и блины, и суп. На все годится. И скусно. Почему ее раньше не сеяли —

диву даюсь. С ней — жить можно. Это еще ничего. И взять ее сподручно. Ведь зерно, скажем, — надо посуду какую ни на есть, а кукурузу — хорошо. Десяток початков в день — почитай, два кило. А то и так: корове на рога пару стеблин привяжут вечерком, вдоль спины — от мух вроде — да концы свяжут травкой. Приучили коров-то. Она идет, стало быть, домой. Конечно, домой! Их у нас восемь штук в хуторе, коров… А сейчас, скажем, какие-такие мухи? Никаких. Несет кукурузу домой, початков шесть-семь. Хе-хе! С кукурузой жить можно. Корова — она не дура: к хомуту легко приучается, а к этому делу — очень даже просто… Несет кукурузу домой. Вот она какая дела… Бабы — тоже. Мужики не берут: нельзя, не полагается. А бабы берут. С бабы какой спрос! Мужика-то, если поймают, може, и на суд на товарищеский: «Покайся, дескать». — «Каюсь — не бывать тому больше. Все!» Это мужика-то. А баба — что? Бабу — нельзя: это тебе не при царизме!.. Равноправие… Значит, берут кукурузу. Берут помаленьку.

— И по многу так-то?

— На что оно, лишнее-то? Лишнего не берут. Это хорошо. Теперь не судють. Зачем оно, лишнее-то? На продажу? Не полагается — довольно совестно… И самогонку на продажу — ни-ни! Для своего существования — пожалуйста, выгони, угости и соседа. А на продажу — не полагается. И кукурузу — тоже.

— И в Степном берут?

— Год я там не был. Сейчас — не знаю. Там не так сподручно, как у нас. Ну там вишь какое дело: козьми живут теперь.

— Как?

— Козьми… Козочками пуховыми… Держут по три-четыре штуки на двор и вяжут платки. Там давно так. За год по семь тыщ на платках добывают. У-у! В Степном бабы рукодельные. В колхозе — машины: чего ей, бабе, в колхозе работать? Она на платках всю семью содержит. У них это заведено. А у нас нет, не приучены, хлебом жили исстари.

— Не собираетесь переезжать в село? Скучно ведь здесь.

— Двора три еще собираются. Другие, кто не выдержал, уехали. А прочие не хотят подниматься.

— Почему же все-таки не хотят?

— Тут сподручнее: выпустил теленка — наелся, погнал мальчонка коров — наелись. По очереди пасут их у нас. Курица вышла — наелась. И посевы рядом. Тут сподручнее… И чего это Митяй запропал? Должно быть, за Нюркой пошел… Либо она в поле? — Он рассуждал уже сам с собой: — За водкой если? Своя есть. А-а! Это он, пожалуй, мясца взять хочет. Чапелькины овцу резали ноне — завтра на базар везут, а он, стало быть, Гриньку разыскивает. Принесе-ет… А ты сапоги-то сыми, Тихон Иваныч, пускай ноги отомлеют.

Вошел Митяй. А вслед за ним — молодая женщина, лет тридцати-тридцати двух, сильная, стройная, загорелая, черноволосая. Она поклонилась мне, поздоровалась. Митяй положил кусок мяса на край стола и сказал:

— Сделай, Нюра, получше.

Они, видимо, договорились обо всем еще по дороге сюда, потому что Нюра сразу же начала хлопотать. Я заметил, что она знает, где и что лежит, — ей не приходилось искать корзинку с яйцами, сковородку и другие необходимые предметы.

— А ведь я тебя, Нюра, что-то не припомню. Давно я тут не был.

— Я не здешняя. Из Лещева. Замуж сюда выходила. Десять лет тут живу.

Нетрудно было догадаться, что это и есть та самая вдовушка, о которой проболтался дед. Поэтому никаких вопросов я уже ей не задавал.

— Ну, папаша, небось душу отвел? — спросил Митяй и обратился ко мне: — Не заговорил он тебя?

— Отвел. Хе-хе! Отвел душу, — весело ответил отец.

— Давай, Тихон Иваныч, радио послушаем. — Митяй полез в сундук, вынул оттуда чемоданчик, похожий на футляр из-под баяна, но пониже, поставил его на стол, открыл боковую крышку. В этом самодельном, искусно сделанном чемоданчике оказался радиоприемник и батареи в разных отделениях. Тут только я заметил, что через всю избу под потолком протянута антенна.

— Не держу его на столе, — сказал Митяй. — Летом — мухи. Да и батареи дольше служат. — Он воткнул штепсельки антенны и заземления. — Сейчас музыка должна быть — самое время. Последние известия мы прозевали. Ночью послушаем.

— Известия — это хорошо, — вмешался отец, — Мы всегда слушаем… Аденавер — о! — хитроумный гусак. Мало им попало взашей, так еще хочет. Хе-хе! Говорят, мы с ним ровесники. Туда же! Сидел бы на печи. Нет, туда же!

— Погоди, папаша. Постой.

Данила Сергеевич замолчал.

Хата заполнилась звуками. Струнный оркестр народных инструментов исполнял «Лучинушку». Скворчала сковородка на загнетке, но она ничуть не мешала музыке, а как-то даже дополняла. Все мы слушали. Я заметил: Митяй бросил как бы нечаянный взгляд на Нюру, а она ответила ему тем же.

Данила Сергеевич пересел с кровати на лавку, причесал гребнем голову, застегнул пуговку рубахи и, чуть опустив белую голову, слушал. Митяй неотрывно смотрел на радиоприемник, будто видел там весь оркестр.

К сожалению, мы попали на последнюю вещь концерта. Диктор объявил: «Через минуту слушайте передачу для работников сельского хозяйства».

— Это не для нас, — сказал Митяй. — Долго, и скучно, и — не то. — Он выключил приемник, — Батареи беречь надо.

Затем он снова сложил футлярчик, снял его со стола, поставил на сундук.

Вскоре сковорода жареной баранины, сковородка яичницы и отдельно жареный картофель появились на столе. Митяй принес из погреба две небольшие копченые щуки и тоже положил на стол. Перед каждым из нас — деревянная ложка.

— Ну, я пойду, — сказала Нюра.

— Куда ты пойдешь? — возразил Данила Сергеевич. — Никуда не пойдешь. Довольно совестно от гостя уходить. Садись, садись. Нельзя так.

Митяй постучал по табуретке ладонью, молча приглашая Нюру. Она села.

Самогонку разливал сам Данила Сергеевич: всем поровну — по полстакана. Потом он взял свой стакан. Рука у него ничуть не дрожала.

— Ну, будемте здоровы! С божьей помощью, — начал он первым и вытянул все, совсем не по-стариковски. Крякнул. Вытер усы, — Хороша, нечистая!

Тут только мне вспомнилось, что первую здесь пить полагается не сразу всем, а поочередно. Митяй, взявши стакан, сначала сказал, глядя на меня:

— Спасибо, что не погнушался.

Я понял его и не мог не выпить, хотя никакого желания не было.

Может быть, и не стоило бы упоминать, что люди пьют самогонку. Но ведь я просто охотник-любитель и пишу только для себя. Не могу же я врать самому себе!

Выпил и я. Самогонка была чистой, без запаха и довольно крепкой.

Нюра перед выпивкой сказала свое, как и полагается в таких случаях:

— Не осудите, если невкусно сготовила. Как умею.

Но все было вкусно.

— Еще? — спросил отец.

— Не буду, — ответил я.

— Просить можно, неволить нельзя, — поддержала Нюра.

— Ладно — так и так. Тогда тебе, Митяй, еще порцию, а мы — в сторону. — Отец налил сыну и обратился ко мне: — Ему можно. Этого не споишь: как в прорву. Хе-хе! С поллитры не пьянеет. Силен!

— А ведь строго за нее сейчас, — показал я на бутылку.

— Конечно, строго, — подтвердил Митяй, усмехнувшись. — Но ведь ее без аппаратов готовят, в канистрах. В одном дворе сделают — в воскресенье попьем гуртом, в другом выгонят — попьем опять.

— И от ревматизьму помогает, — добавил старик.

— Все привыкли, — как-то несмело вставила и Нюра.

— Вот так и живем, как видишь, — подмигнул мне Митяй. — Красота! «Звание — человек!»

В его словах нетрудно было услышать иронию. Видимо, поэтому Нюра сказала:

— Человеки, прости господи! Уезжать надо отсюда. Говорю им, уезжать надо.

— Никуда я не поеду, — нахмурившись, перебил Митяй. — Некуда мне ехать — дороги нету, по какой мне ехать.

— Вот так всегда, — со вздохом произнесла Нюра и замолкла, явно не желая, чтобы я был свидетелем какого-то спора между нею и Митяем.

— Да и мне некуда ехать, — вмешался Данила Сергеевич. — Тут родился, тут и помру. Тут сподручнее. Это еще ничего. Жить можно. Хлеб есть, картошка своя, рыба своя. Жить можно. И ты, Нюрка, не езжай. Куда ты с мальчонкой двинешься, с Колькой-то? Живи тут. Хочешь, переходи к нам и… — Дед осекся, потому что Митяй пристукнул легонько по столу, чтобы отец не переходил границы.

Было совершенно очевидно, что отец беспрекословно подчинялся сыну.

— Я — што? Я — ништо, — оправдывался Данила Сергеевич, — Мое дело маленькое: куда волк — туда и хвост. Только если все уедут, то кто же на хверме тут останется, кто телят глядеть будет? Вот вопрос.

И дальше пошел у нас разговор о ферме, о колхозе, о добром урожае того года. Нюра рассказала, как трудно работать на отдаленной ферме и как трудно ходить мальчику в школу за девять километров.

— Мальчата есть, а лошади — ни одной. Зимой-то квартиру снимаем в Степном для ребятишек… А в пургу — тоска смертная.

Рассказывала она неторопливо и с грустью. Печальное ее лицо в те минуты было красивым. Митяй слушал ее и молчал. Весь вечер молчал. Только после того, как проводил Нюру в сени и она ушла домой, он, вернувшись, сказал, сжав челюсти:

— Не будь тебя, Тихон Иваныч, напился бы… Полный сидор накачал бы… Ну за что?! — тихо произнес он и сел на лавку, глядя в окно, в темь.

— Оно обойдется, Митяй. Помаленьку обойдется, — сочувственно, но просто сказал старик. — Все бывает. И все проходит.

Потом Митяй принес охапку сена, и мы с ним улеглись на полу рядом.

— Последние известия не будем слушать? — спросил отец.

— Нет, — ответил сын. — Пора спать.

Некоторое время мы лежали молча.

Митяй вздохнул. Я спросил тихо:

— Скажи по душам: воровал после «восьмилетки»?

— Нет. Устоял. Не свихнулся. В хутор потянуло, на родину… А ты говоришь «мертвый хутор»… Речка тут, луга, простор… Приснится, бывало: тоска… Спи, Тихон Иваныч. Хватит.

Луна через просветы в облаках прокралась в окошко избы и надолго уютно устроилась в ламповом стекле.

Данила Сергеевич спал посапывая.

— Погожий день будет, — сказал Митяй.

— Хорошо бы, если так… На охоту пойдешь?

— Нет. Завтра на работу: силосные ямы копать.

В окошко забарабанили. И сразу женский голос:

— Митяй! Митяй! Пожар! Пожа-ар!!!

Мы выскочили на улицу. Нюра, указывая за избу, повторяла с дрожью в голосе:

— Пожар… Пожар… Ферма загорелась! Пожар!

Забежав за угол, мы увидели язык пламени. Данила Сергеевич тоже выполз и загоревал:

— Беда, Митяй. Беда, сынок. Горит хверма. А там одни бабы. Что они сделают?.. Ай-ай-ай! Пропадут телятишки.

Несколько минут Митяй смотрел туда не шевелясь. Потом сорвался с места и — в сени. Там он что-то колотил молотком, будто по куску сухой глины. Потом выскочил с каким-то свертком из мешковины и скрылся в кукурузе. Слышно было, как он бежал к пожару. Нюра — за ним. А вслед за нею затрусил и я. Очень мешали высокие охотничьи сапоги — пришлось снять их и взять в руки. Теперь стало легче. Кто-то бежал из хутора за мною позади, кто-то обогнал и бежал уже спереди. Поднялся весь хутор.

Соломенная крыша деревянной, рубленой фермы горела сбоку, с короткой стороны. Женщины кричали, вопили. Их было здесь уже человек восемь-девять. Трое мужчин, в том числе и Митяй, выгоняли обезумевших телят. Их приходилось выталкивать силой, напирая на задних. Передних тащили волоком, чтобы за ними, шаг за шагом, следовали и остальные.

Митяй командовал:

— Бабы! Гоните телят подальше. Два человека — хватит. Давай лестницу! Бочку сюда! Раз-два, взяли! — И он сам впрягся первым в бочку.

Ее подкатили ближе к огню. Митяй подставил лестницу к ферме в том месте, где не было огня. Крыша, смоченная с вечера дождем, горела недружно, но огонь лизал ее все дальше и дальше. Вот уже

затрещали жерди решетника. Огонь прыгал по небу и играл на лицах растерянных людей, беспомощных, испуганных, бегающих туда-сюда без всякой пользы.

Митяй кошкой вскочил на крышу, подобрался близко к огню и что-то положил на крышу у самой застрехи. Ему было горячо. Он отскочил и крикнул:

— Воды! Мне воды!

Кто-то взобрался по лестнице, ему передали снизу ведро, а тот передал Митяю. Еще ведро пошло вверх: на лестнице стояли уже двое. Бочку перекатили к лестнице поближе. Митяй вылил два первых ведра на себя и снова подскочил к линии огня. Снова что-то положил у огня (теперь чуть выше), еще положил (еще выше)..

Так он со своим свертком обошел крышу снизу вверх. Казалось, он колдовал. Потом он бросил что-то в самое пламя, у края. Еще. Еще бросил. Белый дым прямо-таки волной отрезал огонь.

— Давай сюда, мужики! — кричал Митяй. — Ко мне-е! Бабы! Воды! Бабочки, воды! Даешь воды!

Те двое полезли на крышу. Вместо них на лестницу стали две женщины. Ведра пошли вверх. Митяй веером выливал их в белый дым, что возник на границе огня после его таинственных манипуляций. Я тоже подавал воду, стоя в цепи среди женщин.

Чудное дело происходило на глазах: огонь дальше не распространялся, доедал солому в той части крыши, что горела. Белый дым то чуть стихал, то вновь взвивался медленным облаком.

Но вот все услышали:

— Вода кончила-ась!!! — дико кричали от бочки.

Митяй скатился вниз:

— Багор! Где багор?!

— На той стороне, — ответила женщина.

Но кто-то уже тащил багор.

— Мужики, за мной! Бабы, за мной! — приказал Митяй.

Багром зацепили стропила среди огня и стали раскачивать.

— Ай, бабочки, еще раз! — Мне показалось, Митяй кричал это весело. — Еще, бабы, один рра-аз! Ой, раз! Еще раз! Еще разик, еще раз!

Стропило рухнуло. Его стащили наземь и отволокли в сторону. Потом стащили еще несколько бревен. Мужчины вилами стали

отковыривать крышу в двух местах от сгоревшей части. Митяй просто рубил топором плотную солому, а другие двое расковыривали и бросали вниз. Наверх взобралась Нюра, а за нею две женщины, тоже с вилами. Всем теперь было ясно: Митяй задумал отрезать путь огню. И пламя унималось. Потолок под сгоревшей частью крыши уже дымился, но огонь принялся за накатник и верхние бревна сруба. Митяй будто следил за этим — он снова крикнул:

— Бабочки, песку! Ведрами песку давай! Песку, бабочки!

Ферма стояла на песчаном пустыре, поэтому ведра с песком тотчас же поползли на крышу, а мужчины сыпали его на потолок. Горстка людей теперь самоотверженно билась с огнем — каждый знал, что ему делать, надо только не пропустить мимо ушей то, что крикнет Митяй.

Но вот с другой стороны вспыхнуло пламя: крышу вновь схватило, облизало, и огонь вгрызся в уже подсушенную им же старую, спрессованную временем солому. Митяй что-то хотел сделать: он рванулся с вилами к огню, но, будто оступившись, вскрикнул и пополз на четвереньках сначала вверх, к коньку, а потом вниз, к лестнице.

— Степан! Алеха! Песку на огонь! Скорей!

Сам он слез вниз и сел на землю, вытирая пот и тяжело дыша.

— Пожарка подъезжает, — сказал он. — С крыши видать.

Наконец из Степного прискакала «пожарка» — две бочки и насос. Опасное пламя сбили тут же. Загорающийся потолок засыпали песком и полили водой.

…Рассвет пришел незаметно и прополз мимо: на него никто не обратил внимания.

Среди черных от копоти и мокрых женщин стоял, как я понял из разговора, председатель колхоза. А с ним рядом молоденький милиционер. Ни того, ни другого я не знал. Я подошел к ним и стал позади женщин там, где сидел Митяй (приезжие его не замечали). Он тоже, казалось, их не замечал. Мне очень хотелось сказать председателю, что Митяю надо вынести благодарность за спасение телят и фермы, поэтому я приблизился. Но милиционер отвел председателя шага на три от женщин. Я тоже шагнул туда же и услышал, как говорил милиционер:

— Придется, наверно, взять Митьку Шмеля… Пока… Потом разберемся. Зарегистрированный он — на учете. Кроме некому.

— Шмель ни при чем, — сказал я категорически. — Ночевал я у него. Могу поручиться головой.

— Вы кто? — спросил милиционер.

Они оба не знали меня в лицо, оба были людьми новыми для здешних мест.

— Дело не в том, кто я есть. А дело в том, кто есть Шмель.

— Непонятно, — сказал милиционер. — Мы знаем, кто он есть.

И тогда подошел Митяй. Он ведь все слышал, все, кроме первых слов милиционера, сказанных тихо. Он все понял! Подходил он медленно. Стал перед милиционером. Лицо Митяя, почерневшее от дыма и копоти, теперь с черным шрамом, улыбалось угрожающе. Никогда в жизни я не мог бы поверить, что улыбка может быть именно угрожающей. Штанина у него была разорванной и обгоревшей по краям, рука кровоточила. В другой руке вилы, на которые он небрежно оперся. Митяй посмотрел-посмотрел так и ушел, не сказавши ни единого слова, ушел с угрожающей улыбкой.

— Ручаетесь? — спросил у меня милиционер.

— Ручаюсь. Перегудов моя фамилия. Когда-то агрономом здесь работал. Запишите, если надо: Перегудов.

Но он, кажется, понял свою оплошность и скоропалительность. Да и сами женщины, покричав, пошумев и слегка поругавшись между собой, вскоре установили, что загорелось от трубы кормокухни. Вечером не затушили огонь, а сторожиха вздумала печь кукурузные початки да и задремала.

— Винюсь, бабы. Винюсь, товарищ председатель. Никто не виноватый, я виноватая. Я! — всхлипывала старушка сторожиха.

Что с нее спросить?

— Молодцы хуторяне! — сказал председатель перед отъездом. — Вдесятером ферму отстояли. Молодцы! Уж что-что, а дружный народ.

— Куда там! — возразил милиционер. — Верблюда украдут — и то спрячут. Дружные!

— На что нам твои верблюды! — сверкнула глазами Нюра.

— Он пошутил, — попытался замять председатель. — Уж нельзя и пошутить. Пошутил он.

— Шутка шутке рознь, — отрезала Нюра. — Вы бы, товарищ председатель, лучше посмотрели бы, как у нас в телятнике. Грязи по колено. Осень подходит. Разве мы сами осилим — щебнем засыпать? Дали бы автомашину дня на три-четыре.

— Дам, — твердо сказал председатель. — И крышу будем теперь крыть шифером.

— И красного уголка нету. Вместо красного уголка — сарайчик для курей. Отдохнуть негде.

— Сделаем, — коротко согласился председатель. — Маленько мы тут у вас недоглядели. Признаюсь. Соглашаюсь.

Не знаю, как он выполнил обещания, но на меня он произвел тогда хорошее впечатление.

Митяя нигде не было. Куда он ушел, неизвестно. Я направился в хутор. Только по дороге вспомнил, что в избе осталась Лада. Верно, дед не выпустил ее, иначе она легко бы нашла меня.

В избе были двое: Данила Сергеевич стоял перед Митяем, опершись на рогач, а Митяй сидел на лавке и гладил голову Лады. Она рванулась ко мне, приласкалась и снова вернулась к Митяю, положила голову на его колено. Он был суров. На лице отразилась боль. Он даже чуть простонал, вытягивая ногу. Кажется, они о чем-то уже переговорили с отцом, потому что словоохотливый старик молчал. Я заметил через обгорелую штанину у Митяя ожог.

— А ну, снимай брюки, — распорядился тут же.

Он, сморщившись от боли, снял штанину. Большое пятно ожога охватило часть бедра и колено. Он и полз-то по крыше, чтобы сбить с себя огонь, ворочая ногой, пристукивая и оглядываясь — как бы не загорелось еще и от него.

Я было схватился бежать — нарыть картошки, но неожиданно остановился, глядя на Митяя.

Он сморщил лицо, помотал головой и простонал:

— Ну за что?.. — Слезы текли по глубокому шраму.

В избу вскочила Нюра. Она увидела Митяя таким, каким он был в ту минуту, — с обнаженной ногой, с черным лицом. Она бросилась к нему, обвила, его руками, прижалась щекой и повторяла:

— Не надо, Митенька… Не надо… Так не надо… Никуда я от тебя не поеду… Не надо.

Я вышел. Я не мог.

…Потом мы с Нюрой копали картошку, мыли, терли на терке и слоем укладывали на ногу Митяя.

А отец сидел с ним рядом и говорил:

— Чего сокрушаться? Это еще ничего… Все, Митяй, бывает и все проходит. Потерпи маленько. Отлегнет. Это еще ничего… Серу всю, должно, пожег на пожаре?

— Всю, — ответил Митяй.

— Почитай, ведро целое, — говорил уже мне Данила Сергеевич. — На волков и лисиц готовил — выкуривать. Надолго бы хватило. Всю пожег. Это еще ничего… А телятишки целы остались. Это хорошо, Митяй. Где ты узнал, что серу — на пожар?

— В «восьмилетке», — ответил Митяй.

Отец явно старался отвлечь сына от боли. И это ему, кажется, удавалось.

…Ушел я к челноку уже среди дня после обеда.

Митяй пожал мне руку и посмотрел в глаза. И я его понял. Слов было не надо.

Данила Сергеевич вышел-таки проводить меня и стоял у избы, пока я скрылся под горой. В ушах у меня звучало: «Это еще ничего… Так жить можно…»

У челнока сидел мальчик лет девяти.

— Ты зачем тут? — спросил я.

— Маманя послала покараулить лодку. Тут чужие проезжали — она и послала.

— А ты чей же будешь?

— Коровин я. Николай Коровин. Анна Ивановна моя мать.

— По отцу-то как?

— Николай Матвев Коровин.

Не надо было догадываться: он очень похож на мать.

— Ну что ж, Николай Матвев, пока до свиданья!

Мы подали друг другу руки.

— Приезжайте еще на охоту! — крикнул Коля, когда я уже отчалил от берега.

— Обязательно, — ответил я.

Солнце светило вовсю. Последнее тепло всегда радует.

Но в тот день я уже не охотился.

Ехал тихо.

Казалось, стою на месте, а камыши, задумчивые и почти по-осеннему печальные, проплывают мимо.

Река молчала.

8. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАДЕЖДЫ

От Захара Макарыча Пушкаря я получил записку: «Пошла северная валом. Несколько миллионов утки пролетело за ночь. Большие тыщи».

Его склонность к гиперболам достаточно известна, но врать он не будет: значит, утка действительно шла. Сколько уж там, «миллионы» или «тыщи», но дичь появилась с севера.

Кстати сказать, недавно прочитал в районной газете коротенькую заметку: «…старый комбайнер, пенсионер З. М. Пушкарь хорошо поработал — убрал за сезон пятьсот гектаров и сдал комбайн в полной исправности». Заметка была сухая, как корка хлеба, зато вкусная. Мне известно, что означает пятьсот гектаров, а Захару Макарычу — тем более.

И захотелось вновь побывать в Далеком вместе с моим другом, послушать камыши.

Ведь уже скоро зима. О ней несколько раз напоминали заморозки и первый ранний зазимок с предвестником белого поля — порхающим пушистым снежком. В тот день земля покрылась сединой, как голова пожилого человека. Пришел тот снежок с неделю тому назад неожиданно, полежал несколько часов, предупредил людей, улыбнулся и ушел. Старики говорят: вернется через сорок дней, ляжет в зиму насовсем. Зато после зазимка наступили необыкновенно ясные и теплые дни, с утренними туманами, чистым небом среди дня и крупными глазастыми звездами ночью. Что-то похожее на второе бабье лето, обманчивое и всегда короткое в средней полосе России. Разве можно пропустить такие дни? Не двести лет живет человек!

И вот передо мной вновь любимая Тихая Ольха.

День выдался на славу: солнечно, тихо, а для средины ноября тепло не по-осеннему. У Захара Макарыча, видимо, опять засорился карбюратор: мотор заглох где-то позади меня. Не доезжая Далекого, я остановился подождать своего спутника.

В ушах зашумело от тишины.

Ни звука, ни шороха, ни дыхания.

Вверху большое желтое солнце. Внизу, подо мной, прозрачная вода и чистое-чистое дно. Там, в глубине, тихо и спокойно, даже как-то лениво, прошла стайка небольших окуней.

Берега реки стали совсем другими, ничуть не похожими на летние. Да что там летние! Месяц назад все здесь было не так.

Осень… И в ясный день в это время немножко грустно.

Осока, что куртинами вкраплена в окрайки камышей, переломилась пополам, опустив концы листьев в воду, желто-серая, старая, измятая. Осень сердито потопталась по ней, перепутала, да так и бросила. И поникла осока в воду кончиками, будто не желая расставаться с родной матерью-рекой. Из воды вышла, в воду ушла. Осень…

Зато какой молодец чакан! Он стоит зеленый, сочный — и заморозки не взяли. Этого не скоро свалишь. Он лишь вместо светло-зеленого стал темно-темно-зеленым, чуть суровым. Его широкие листья-сабли будто приготовились к борьбе; пока что он гордый, пока выделяется на краю берега резкими пятачками. Ну что ж, держись, дружище!

У подножия камышей, прямо в воде, удивительно красивый, такой пахучий и осенью, темно-зеленый бордюр, но уже с темно-коричневыми пятнами. Это речная мята; ниже, к поверхности воды, зеленая, а чем выше вырос стебель, тем больше он прихвачен заморозком. В чистом, чуть-чуть стеклянном осеннем воздухе запах мяты напоминает лето. И становится от этого грустно. Что поделаешь — осень…

А камыши все так же могучи, даже и умирающие. Высоко вверх держат они свои серые, цвета заячьей спинки, метелки, бесшумно вздрагивающие и в безветрие. Верхние листья, захваченные врасплох сильным заморозком, так и держатся поперек, не обвисают, а нижние уже обмякли, подались вниз. Желтые огромные, но грустные камыши печально и задумчиво смотрятся в воду с теневой стороны реки, молча и безропотно. Лишь изредка, при незаметном и неощутимом движении воздуха, затрепещут мелкой дрожью верхние сухие листья, зашевелятся метелки. И тогда слышится тончайший, еле уловимый ухом шепот. Камыши вспоминают о прошлом. Осень…

По лицу скользнула паутинка. Я перехватил ее и попытался подтянуть к себе паучка, что сидел на конце нити, но тот не пожелал иметь дело с человеком. Паучок зацепился за камышинку и быстро-быстро пополз кверху. Бегом, бегом, бегом.

Паучки летели. И было вокруг тихо.

Неожиданно: свирк-свирк! Еще раз: свирк-свирк! Около меня, рядом, оказались две камышовые синички — маленькие, живые, веселые, жизнерадостные. Они юрко лазали по камышам вверх-вниз, что-то там аппетитно клевали, а играли, как дети. Жили и играли. Честное слово, мне стало весело.

В самом-то деле, ведь осенняя грусть в такой погожий денек — это вовсе не горе, а теплое, любовное сожаление о прошедшем лете, пожалуй, даже жалость к растениям, может быть, чуть-чуть сожаление о том, что и твоя юность уже не вернется. И вдруг синицы… Все идет как полагается: живут и играют. Жизнь идет. Рядом с вами, синички, и подожду Захара Макарыча.

Они и правда долго не улетали, не смущаясь моим присутствием. Камышовые синички очень доверчивы.

Наконец сначала издали, а потом все ближе и ближе стал слышен рокот мотора.

Подъезжая ко мне, Захар Макарыч махнул рукой вперед: дескать, не останавливаюсь, заводи мотор и давай за мной. А поравнявшись, ткнул пальцем в мотор и крикнул:

— Как проклятый! Не заведешь никак!

Я понял, что он боится застрять еще и в этом месте.

Вскоре мы были около Далекого и уже вооружились веслами, чтобы идти затоном к острову.

Захар Макарыч отфыркнулся губами:

— Паутина в рот лезет… И время для них вроде бы прошло, а они еще маленько полетели… Поздныши.

— Как это так — поздныши?

— Они ведь, паучки, выводятся из яиц сразу скопом. Самки-то несут яйца дружно, и молодь вылупляется дружно. Пригреет солнышко — и полезли. Нынче, значит, позднышки созрели.

— Ну? А потом? — спросил я, опустив весло.

— Вылупятся, значит, и вскорости ползут на какую ни на есть верхотурию. Там он, паучок, начнет отпускать паутинку и… полетел

себе, по-лете-ел.

— А ты-то сам видел? Своими глазами?

— А как же? Я с ними понянчился, с паучишками. Сперва никак не мог уяснить, за каким лешим они летят, чего они потеряли. А оказывается дело, им переселяться надо сразу после рождения: иначе пожрут друг дружку при таком-то скопище.

— Видал, как и выводятся?

— Видал. Миллионы миллионов!

Дальше, конечно, следовали неизбежные преувеличения, относящиеся только к чистым эмоциям моего друга. Всякие «миллионы», «миллиарды» и даже «тыщи» произносились им просто, как восклицания: «Ах, боже ты мой!», «Ай, как много!» На эту черту его характера я давно уже перестал обращать внимание.

Впрочем, было однажды и такое: заблудились мы с ним в лесу в неимоверно темную ночь и попали в заповедник, где среди других зверей жил хромой лось-убийца. Этот лось не мог выносить одного вида человека. Наверно, он когда-то был изувечен браконьером. А «убийцей» прозвали того лося потому, что он действительно убил женщину прямо на лесной дороге. Лишь после пяти заседаний совета заповедника решили застрелить непокорного мстителя. Но когда мы заблудились, свирепый лось был еще жив, и нам предстояло пройти — в этакую темнотищу! — где-то недалеко от его места обитания.

— Ну и попали мы с тобой, Макарыч! — сказал я тогда. — Пули у нас с тобой нет, а от картечи он еще страшнее станет… А ночь — черт голову сломит.

— Что ночь?! Что ночь? Темная ночь нипочем — для совы да для смелой головы! — произнес он гордо, бодро и даже кашлянул громко, будто хотел сказать: «А ну, выходи, лось, выходи!»

Зато уже на опушке, когда опасность миновала, он вздохнул и заключил:

— Семь потов от страху скатилось. Ух! — Немного погодя добавил совсем другое: — Лось — пустяк.

В общем, Захар Макарыч глядел на мир то в увеличительное стекло, то в уменьшительное, смотря по обстоятельствам и настроению. Так и в этот теплый ноябрьский день я пока не видел «миллионов северной утки». А в затоне мы не обнаружили ни одной.

— Ничего! Она, утка, вся на плесах и на озерах, — не падая духом, опередил мои сомнения Захар Макарыч.

— Конечно же, на плесах, — поддержал и я без особой уверенности.

— А раз так, то давай-ка мы, Тихон Иваныч, ехать прямо на озеро, в Голову. Пока скрадки сготовим, пока туда-сюда, она и — ночь. Заночуем в челноках…

— Натянем палатки, скипятим чаю вечерком, — развивал я его идею.

А он продолжал:

— Утром настреляем утишек, какую-нибудь там сотенку-другую, и — домой.

Мы прошли мимо острова прямо на Голову, бодрые, окрыленные надеждой, воодушевленные и жизнерадостные, как синицы. Главное — верить в удачу. С этого начинается настоящий охотник.

Однако же… Осторожно выглянув из протоки в Голову, мы увидели… чистую, казалось, мертвую остекленело-синевато-свинцовую воду. Уток не было.

— Тогда тут кто-то есть, — сказал убедительно Захар Макарыч и сразу гаркнул: — Гоп-го!

— Гоп! — откликнулся чей-то голос. Человек встал в лодке на лавочке и крикнул нам: — Заезжайте в гости!

— Эге, — сказал Захар Макарыч, — тут Ванятка.

К моему удивлению, это был действительно Иван Васильевич Кнутиков, сын Василия Кузьмича, доцент сельскохозяйственного института, биолог, а в недалеком прошлом Ванятка Кнут по-уличному. Лет пятнадцать назад уехал Ванятка в институт, а в тридцать пять лет он уже доцент. Не заметил я, как проскочили эти полтора десятка лет, жил скороходом и не обращал внимания — пять лет прошло или десять. А давно ли это было! В тысяча девятьсот тридцать третьем голодном году шести- или семилетний Ванятка набивал живот тыквой и вполне серьезно, по-взрослому, повторял каламбур отца: «Захочешь есть — тыква есть. А хлеб — потом, когда суп с котом». К лебедным пышкам-лепешкам прикладывалась у них особая говорушка:

Здравствуй, пышка-лебеда!
С молоком ты — не беда,

Лебедушка-пышка,
Здравствуй, пышка-лебеда!

В семье Кнутиковых унынию не было места даже в самые трудные годы бесплатной работы. Спасала своя усадьба, да корова, да руки всех членов небольшой семьи, взрослых и маленьких, да веселый характер папашки.

Ивана я не видел… Сколько же лет?.. Лет, наверно, десять, что ли, — не припомнишь.

Он вытолкал челнок из скрадка, оказавшись весь на виду, положил вновь весло и сел на лавочку, поджидая нас. Мы подъехали.

Протягивая руку, он заговорил первым:

— Хоть живые души за три дня увидел. Здравствуйте! Покурим ради встречи? — И угостил нас папиросами.

На нем был обыкновенный колхозный ватник не первой свежести (кажется, с плеч Василия Кузьмича), не очень поношенный треух. Лицом похожий на молодого отца, он и фигурой напоминал отдаленно его же: сухой, широкоплечий, высокий. Никакого ученого вида в нем здесь не было ничуть. Только очки в толстой роговой оправе не ложились в тон одежде. А в общем, он улыбался и был явно доволен Естречей с нами.

— У-у! Как-ой моторчик у вас, Захар Макарыч! Сразу видно — специалист… Хорошо тянет?

— Отлично тянет! Всю душу вытянул. Четыре часа тянул, — с досадой ответил Захар Макарыч и сплюнул в сторону.

— Ай, как здорово! И чего это я папашку не уговорил — ехать со мной. Совсем было сдался, а потом на попятную: «Главный вопрос — птицеферма». — Он рассмеялся. — А рад бы он был. Ей-ей! Я и всего-то десять дней как в отпуске, а уже дважды от него слышал: «Вот Захар Макарыч — да! Это работник, это комбайнер… Вот Тихон Иваныч — да! Это агроном по всем статьям». Если бы я знал, что вы тут, на веревке его притащил бы. Маху дал!

— Ну, а насчет утишек какие тут мотки? — осторожно спросил Захар Макарыч, хотя и не скрывая своего разочарования (мотор не тянет, дичи нет, а день на исходе).

— За три дня… четыре штуки.

— Куда же она делась, пес ее возьми? — спросил у самого себя Захар Макарыч, глядя через корму в воду, будто ища там утку. — Шла ведь валом.

— Должно быть, мимо прошла, — попробовал я утешить его. — Время позднее, ноябрь. Надо полагать, прошла вся.

— А бывало и так, — твердо заявил Иван Васильевич. — Сегодня нет, а завтра тьма-тьмущая. — Ему явно хотелось подбодрить чуть-чуть скисшего Захара Макарыча.

— Бывало, бывало, — встрепенувшись, подхватил тот. — Сколько раз так было: нету и нету, а назавтра миллион.

Надежда на удачу у всех закрепилась несмотря ни на что. Надо было готовиться.

Мы с Захаром Макарычем поползли каждый к своему скрадку. Пришлось подбавить камыша для маскировки, нарезав его подальше от места охоты. Потом желтые и тонкие снопики поставить над челноком дополнительно к той привязке, что сделана еще раньше, когда листья были зелены и густы. Теперь получился почти незаметный, в тон окружающему, желтый шалашик на всю длину челнока.

Пока туда-сюда, а солнце покатилось на покой. Слышу: Пушкарь мой запустил уже кряковую. Я тоже расставил в живописном беспорядке свои двенадцать чучел, а ближе к челноку пустил крякуху. В другом конце озера доцент покрикивал манком (видимо, он приехал без чучел и без утки).

Потом мимо меня неожиданно, торопливо упираясь веслом, проплыл Захар Макарыч, заломив треух на затылок.

— Куда? — спрашиваю.

— Ванятке утку подсажу. Я пока с одной буду.

Там, около Ванятки, произошел у них короткий спор, один кричал: «Не надо», а второй: «Нет, надо».

Через несколько минут Пушкарь проскочил обратно в свой скрадок. Теперь подсадные кричали в трех концах озера. Все было в порядке. Но… дикие утки не летели.

Завечерело. Медленные сумерки незаметно надвигались над озером. Крякухи замолчали. Тот берег камыша и лес на острове постепенно таяли, будто удаляясь все дальше и дальше, и наконец слились с небом и водой. Потом там все стало уже темным, без

очертаний, без теней и бликов. Взошла звезда. День кончился. Хороший субботний день.

Ночевали мы втроем. В густой камыш воткнули нос к носу челноки, закрепили их веслами и натянули палатки. И вот уже сидим на передних лавочках лицом друг к другу.

Горит подвешенный на камышах фонарик. Зашумел примус с чайником. Вокруг темно, а у нас уютно.

Никому, видимо, не хотелось перебивать шум примуса. Так лучше: все слушали его ровный, бодрый и настойчивый голос. Здесь, в нашем маленьком мире, все стало по-другому, не так, как днем. Свисающая метелка камыша кажется большой и очень важной. Другие метелки там, высоко, в самом небе, и их еле-еле видно. Все близкие к нам предметы приобрели необычные очертания: нос челнока кажется намного больше и представляется площадкой крыльца; камыш — толще, хоть избу руби из него; листья — шире и длиннее; а силуэты моих друзей в отсветах огня чуть-чуть дрожат.

Закипел чайник. Примус замолк. Тогда ворвалась тишина, в которой голос Захара Макарыча послышался как из репродуктора, установленного против сельсовета, — во всю мощь:

— Пожалуйте к столу!

Стол — это нос его лодки, куда он положил еще с борта на борт переносную скамеечку. А мы — с двух сторон: слева — я, справа — Иван Васильевич.

Наелись.

За чаем, как и водится, потянуло всех на разговор. Охотники же!

— А правда, что ты написал книгу про грибы? — начал Захар Макарыч.

— Правда.

— Во-от… Значит, написал книгу! — Эти слова он произнес с оттенком гордости, так, будто был соавтором. — Про грибы?

— Про грибы.

— Надо же! А чего ж про них писать так много? Про насекомых — другое дело. А гриб что ж: гриб он и гриб. Насекомых-то миллионы миллионов…

— Про грибы — очень важно, Захар Макарыч. Очень.

— Не может того быть, — не сдавался тот. — А ну, расскажи хоть малость.

Иван Васильевич прочел нам целую лекцию о микоризах — микроскопических грибах, сожителях растений, о том, что у большинства зерновых культур тоже открыты недавно свои микоризы. Мы узнали, что Иван Васильевич работает в институте над сложным вопросом: он изучает способы культуры этого замечательного гриба.

Закончил он так:

— Если мы научимся культивировать микоризу, то могут полететь вверх тормашками всякие системы земледелия. Мы еще не знаем той системы, какая должна быть… — При этом он так взволнованно говорил, что, казалось, речь шла о единственно важной мировой проблеме. В нем отпечатался весь характер отца. («Птицеферма — главный вопрос на Земле».) — Надо только найти способы культуры микоризы… Надо только найти… — Иван Васильевич перешел на тихий, спокойный тон. Последние слова он произнес, уставившись в одну точку, на метелку камыша, будто забыл о нашем присутствии: — Надо найти.

— Найдешь, пожалуй… Так я думаю, Иван Васильевич, — пробудил его Захар Макарыч.

— А? — встрепенулся ученый. — Полагаете, найду?.. Это очень трудно. Очень.

— Конечно, трудно. Еще бы… Вот тебе и на! Думалось: гриб он и гриб. А оно… Ну и ну! — Захар Макарыч явно не находил слов для выражения удивления. Может быть, поэтому и сказал: — Давайте-ка на боковую. Утром разберемся, чего к чему присоединяется… Мозговой ты, Иван Васильевич. Право, мозговой.

— А мне кажется, Захар Макарыч, что если бы у вас сложилась жизнь иначе, то вы были бы ученый настоящий, а не такой, как… мы.

— Нет. Я на это не способен… Так… просто… мне всякая живность интересна, а чтобы в науку — нет. Не способен. Да и горяч я для этого. С юности горяч. Все равно не годился бы.

Я знаю, что он был бы способен, но промолчал. Возражал ему Иван Васильевич:

— В том-то и дело, что интересно. В том-то и дело, что горячка есть.

— Эх-хе-хе! Чего же теперь… после драки кулаками махать. Прошла она, жизнь-то! И прошла, скажу вам, совсем не так уж плохо, если бы… Э! Не надо. — Он отмахнулся от какого-то воспоминания,

как от мухи. — Полжизни на комбайне, шесть лет на войне. Скажешь, плохо? Со стороны не очень, а по мне — дай бог каждому так-то.

Тогда вмешался и я:

— Вот вы говорите «был бы» про Захара Макарыча. Каждый мог бы «быть», но… надо было и хлеб делать, и воевать. Ваше поколение, Иван Васильевич, удачливее…

— Не возражаю. Не нам ныть. Да и совсем не обязательно всем быть профессорами. Пожалуй, тут важно другое: важно, чтобы человек, где бы он ни был, светился своим собственным светом, а не отражением другого источника. Для этого горячка нужна.

— Пока не понимаю, о чем ты! — воскликнул Захар Макарыч. — Ну-ка, ты по-простому-то.

— Дайте договорить, — спокойно возразил Иван Васильевич. — Бывает так: человек уберет комбайном за свою жизнь десятки тысяч гектаров, выдаст горы хлеба несмотря ни на что, ни на какие там «культы». Или потоком отправляет яйца, молоко… Целую жизнь! Такие люди светятся своим светом, горячим светом, они греют! Вместе они — солнце. А кое-кто часто светит их же светом, но только отраженным от себя. Да, да! Отраженным. Больше того, кое-кому кажется, что этот отраженный свет и есть их собственный, что они якобы освещают само горячее тело. Не-ет. Не может луна светить солнцу. Все наоборот.

— Ясно теперь: светит, а не греет. Все понятно, — удовлетворенно подытожил Захар Макарыч. — Орел к свету, а сыч во тьму. Та-ак. Ну, а у вас-то там, в науке, все светют, аль как?

— Тоже разно. Иной светит, иной… коптит. В науке, Захар Макарыч, «свет» распределен не всегда правильно. Слава человека подобна его тени: чаще она бывает длиннее роста. И в литературе. И в искусстве может так быть. Я уж не говорю о так называемых административных кадрах! Там бывает и так: тень дли-инная-предлии-ная и остается надолго. Даже если самого-то человека почти нет, а он «живет» этой длинной тенью.

— По поводу «административной тени» мне не очень ясно. Например? — спросил я.

— Далеко не будем ходить, — так же спокойно ответил Иван Васильевич (волновался и горел он только тогда, когда говорил о грибах). — Почему, скажем, Переметов месяц тому назад снова стал

руководить районом? В Камышевце «засыпался» — сняли; походил-походил, погрустил самую малость и — вновь назначили. Теперь уже в другой район. Да еще хотели первым… Председателем работает.

— Этого не может быть! — воскликнул я.

— Говорю — значит, знаю. Уже работает в соседнем Корневецком районе Что это значит? А то, что тень-то его осталась где-то и по ней кто-то судит о росте. Куда уж лучше вам пример.

— Да-а, — протянул Захар Макарыч. — Вот тебе и тень на плетень. Будет опять Яков Гордеич речи читать… Ох и любит он эту работу! Ажно взмокнет весь, бедняга. Но, думаю, сорвется он опять — не то времечко. А речи будет выдавать. О! Умеет.

— Не в этом дело… В Корневцах добрая половина колхозов сравнительно хороших. Переметов пока будет светиться их светом и воображать, что светит сам. И так до тех пор, пока не развалит дело и пока не пришлют нового «выправлять положение». А тень Переметова может и остаться — ему на пенсию не скоро. Достаточно вам этого примера? Или будем спорить?

— Долго спорили старик со старухой: как печку на зиму разделить. Да толку-то от того, — заключил Захар Макарыч. — Вот так-то и два охотника поспорили: кто искупается в ледяной воде в ноябре месяце и кто после этого не простудится. Один говорит: «Я не простужусь, я закаленный», а другой говорит: «Я не простужусь, я тоже закаленный». Побились об заклад. Бултыхнулись разом в речку: мало-мало поплавали даже, для форсу, и — назад. Вылезли. Один говорит: «Я тебе докажу — ты свалишься пластом, а я нет», а другой говорит: «Я тебе докажу — будет тебе воспаление легких с осложнением на нервной почве». И что вы думаете?.. Оба простудились! Свалились, к едрене бабке… Я это к чему? Да к тому же: не надо спорить, если и так ясно. Спорили мыши — кому кота казнить. Так и нам о Переметове. Ну его к лешему. Будем надеяться, что он последняя ошибка… А у тебя, Иван Васильевич, здоровенно получается: и «тень на плетень», и солнце — все здорово. Все правильно… Спать будем? — неожиданно спросил он и глянул на часы. — Без двадцати двенадцать накачало. — Затем полез в палатку, а оттуда добавил: — Ну что ж, будем думать.

Я тоже снял фонарик с камышей и лег в палатку, вытянувшись во весь рост. Спать не хотелось. И фонарик тушить не хотелось. Горит

огонек…

Долго лежал я, не шевелясь, прислушиваясь к дыханию охотников. Потом повторил про себя слова Захара Макарыча: «Ну что ж, будем думать». Но усталость взяла свое. Тело становилось все легче и легче. Ночь забрала и меня с собой, оборвав нить паутинки осеннего дня. Я не заметил, когда лопнула паутинка, но… только паучки все летели и летели… А малыш, Ванятка Кнут, гонялся за ними по селу, распугивая кур.

…Утро начал Захар Макарыч: постучал веслом о нос лодки и сказал:

— Подъе-ем… Вы гляньте-ка, что творится на белом свете.

Хотя уже начинало светать, но перед нами стояла сплошная пелена непробойного тумана. Захар Макарыч вытолкал челн на чистую воду и оттуда, невидимый, торопил:

— Поворачивайтесь-ка вы там, тени! Гляньте, что бог нам накуролесил.

Мы выбрались из камышей, стоя в челноках.

— Где ты, Макарыч? — окликнул я.

— Вот он, рядом. Смотри в оба. Видишь?

— Не вижу ни бельмеса.

— Подожди, чиркну спичкой.

Вспыхнул огонек спички, и я увидел… голову Захара Макарыча. Она стояла на тумане — одна голова. Густая-прегустая пелена закрыла озеро вровень с нашими плечами, а Иван Васильевич высунулся по грудь. В мутном рассвете еле заметные головы были сказочными.

— Смотрите сюда! — позвал доцент и тотчас же крикнул: — Ку-ку! — Голова его провалилась вниз. — А вот и дядька Черномор! — Он вылез снова.

Об охоте в таком туманище — и думать нечего. Все понимали это и решили обождать полного рассвета, еще с полчасика — может, рассосется. Мы прижались вновь к камышам все рядышком.

Через несколько минут одежда, весла, борта челноков стали влажными. Мы натянули плащи и съежились на лавочках в терпеливом ожидании.

— Не везет, — сказал Захар Макарыч.

— Не везет, — повторил Иван Васильевич.

— Обманули паучки. Они ведь всегда обещают вёдреную погоду, — попытался я свалить вину на насекомых, чтобы хоть чуть утешить друзей.

Утром спросонья, да еще в глубоком тумане, разговор шел лениво. Захар Макарыч позевывал во весь рот, потягиваясь и передергивая плечами от свежести и сырости.

— Похолодало здорово, — сказал он. — А паучкам как верить? Позднышки, последняя партия. Не будь в последние дни такого тепла — зазимовали бы они на месте…

Мы, оба его собеседника, отмолчались — не хотелось открывать рта: если не везет, то уж и нечего разговорами утешаться. Но Захар Макарыч вновь сердито забубнил:

— А туману вот теперь верь: раз низом стоит, то жди ненастья… Ишь ты! Даже руки зябнут… Ох, уж эти мне паучата… Последыши… Заморыши, нечистый вас возьми… Туда же!.. Пропала заря ни за понюх табаку.

Но время шло. Становилось все виднее и виднее. Теперь, если встать в челноке, открывалась удивительная картина: камыш, наполовину задернутый пеленой, казалось, рос из тумана — низкий, густой; лес на острове тоже был не на земле, а прямо на тумане, черный-черный и вдвое ниже обычного. Захар Макарыч ворочал головой из стороны в сторону, мы с Иваном Васильевичем тоже: три головы поплыли над туманом в разные стороны, каждая в свой скрадок. Сядь в челнок — ничего не видать. Встань — перед тобой чудо земли. Чудо из чудес! Осенняя сказка.

Я плыву. И пробую сочинить эту сказку: «Жил-был на земле Захар Макарыч, по прозвищу Пушкарь. Жил он тихо, но от него шел свет к добрым людям. Поехал однажды Пушкарь на охоту за жар-птицей и попал в такой-то густой туманище. Ни неба, ни земли не видать. Глядь-поглядь — в тумане голова плывет…» Чья голова?.. Может быть, Митьки Шмеля?.. Нет, чего не могу, того не могу: сказка у меня не получается — пусть напишет кто-то другой. Да и скрадок мой вот он — приехала голова, приплыла над туманом.

Вдруг крик Захара Макарыча:

— Иде-ет! Слуша-ай!

И в тот же миг просвистела крыльями стая уток. Шли они на юг… Минут через десять — пятнадцать — еще стая. Потом еще. Пошла

северная! Но на озеро пока не садится ни одна: туман.

Ветерок зашумел в камышах и затих. Через некоторое время камыши вновь заволновались, зашептали, забеспокоились, стряхивая туман. И озеро очистилось, стало обычным, но уже зябко вздрагивающим от набегающего ветра то там, то тут.

И вот рябь покрыла всю водную гладь. С севера полезли серые, по-волчьи косматые облака. Затем выползло и медно-желтое большущее солнце. Все предвещало резкое изменение погоды.

Маленькая стайка белопузых чернетей упала метрах в пятнадцати от меня… Две остались после выстрела.

Доцент ударил дублетом. Захар Макарыч после громового удара крикнул: «Есть!» И пошла потеха!

Ветер уже ходил мелкой волной, чучела трепались и играли, как натуральные утки; камыши оживели — зароптали, зашумели. А часа через два небо заволокло космами.

Часам к десяти утра лёт прекратился, и мы съехались на то же место, где ночевали. Как бы там ни было, а все трое прибыли с трофеями, несмотря «на срыв работы по причине тумана», как выразился Захар Макарыч. Всего оказалось у нас четырнадцать уток.

— Для такого утра — прилично за глаза! — восторгался Захар Макарыч после подсчета, — Пошла утка. Пошла родная!

— Пришла моя любимая! Пришла неоцененная! — в тон ему продекламировал доцент.

Завтрак был веселым.

Но не успели мы допить чай, как уже в яростном порыве ветра бросились на нас капли секущего дождя — холодного, звучного и настойчивого. От него вода покрылась стеклянными свечечками. Миллионы их: что ни удар капли, то свечечка, вскочит — и нет ее. До того обманчиво, что кажется, свечки живые и выпрыгивают из воды сами собой.

Наскоро натянув палатки, мы забились в них и немедленно уснули: слишком убаюкивающим был непокорный шум камышей, барабанная дробь дождя о палатку, покачивание челнока, такой теплый уют палатки и мягкий воротник шубейки под щекой. Только настоящий охотник поверит, что в такую погоду в камышах можно проспать сутки без отдыху. Право же, я дрыхнул до трех часов дня, пока Иван Васильевич кликнул:

— Тени охотников! Зима подбирается.

Мы с Захаром Макарычем высунули головы из палаток.

Дождь шел со снегом! Ветер неистово рвал камыши и шлепал водой о челноки. А на озере… качались на волне три стаи уток. На наших глазах опустилась еще одна! В такой чичер утку прижало к земле, она садится на отдых смело.

Не сговариваясь, мы напялили плащи, спустили палатки и выбрались из камышей. Волна подхватила меня и Захара Макарыча — нам по ветру плыть, — а Иван Васильевич довольно искусно пошел вдоль камышей против ветра, на свое место. Утки немедленно снялись, но Захар Макарыч успел-таки «схватить» одну на подъеме. Я, признаюсь, промазал — очень качало челнок.

При такой погоде, когда и днем сумерки, вечер наступил сразу. Но и в полутьме утка шла и шла, хотя стрелять уже было нельзя.

Зато в кромешной тьме против ветра мы с Захаром Макарычем попотели. Он то и дело окликал:

— Плывешь?

— Плыву!

Через некоторое время кричал ему я:

— Живой?

— Живой! — откликался он весело.

К Ивану Васильевичу мы подъехали «все в мыле». Но что это за трудности, если имеем за две зари двадцать три штуки уток на троих. Мы попали на последний вал пролета. Вполне удовлетворительно, если принять во внимание, как мы скисли утром.

— Вот что значит верить в удачу! Все начинается с надежды! — встретил нас Иван Васильевич, высунувшись из палатки.

Он уже успел натянуть ее как барабан, устроился по-хозяйски и в непогодь: с обеих сторон он закрепил челн суховилкой и веслом, воткнув их и связав сверху. Он положительно все умел делать: пахать, косить, молотить, работать на тракторе, учить студентов, писать книжки о грибах и охотиться.

— Надежда горы воротит, — поддержал Захар Макарыч, совсем забыв, как он ныл в тумане и проклинал паучков. — Не будь надежды — не было бы охотников на земле.

Устраивая челнок на ночь, надо было торопиться: дождь нахлестал в лодку — надо отчерпать, вновь положить на дно уже

сырой камыш и быстро натянуть палатку.

Но вот все сделано. И только тогда мы поняли, что «спокойной ночи» никто из нас уже не скажет. Рукава мокрые, плащи мокрые и стоят колом; снизу, у дна, холодно от сырости. В таком случае остается один выход: вниз, под себя, меховую шубейку, сверху, на себя, ватник, а дверь палатки — на все пуговки. Плащ уже ни к чему — он лежит колом сбоку, в ногах.

Из своего логова Захар Макарыч спросил, как из-под земли:

— Запечатались?

— Под сургуч, — ответил Иван Васильевич. — Что будем делать?

— Лежать будем, — откликнулся и я под шум ветра и дождя.

— А до каких пор?

— До утра, если дождь не перестанет.

— А потом? Останемся или — домой?

— Утро вечера мудренее, — ответил Захар Макарыч. — Что-то мне кажется, на мороз тянет.

— А дождь идет? — возразил я.

— Ну и что ж, что дождь? В снег перейдет да как рубанет на всю катушку — кости захрестят. Было же такое? Было.

Голоса их слышались будто издали.

Не прошло и получаса, как Иван Васильевич снова пробубнил:

— Ужинать-то будем? Я бы не против. Очень даже не против.

— Будем, — ответил Макарыч. — Маленько подождем: может, дождик перестанет.

— Успеем еще, — сказал я. — Ночь-то будет длинная-предлинная — больше шестнадцати часов.

Все вышло пока по-нашему: дробь дождя становилась все тише и тише, и наконец и совсем перестало барабанить.

Мы «распечатались». Холод ворвался в палатку. Дрожко.

Захар Макарыч уже шумел у себя примусом, тоже приоткрыв застежки — у него теперь жарко.

Закусили малость, но чай пили с напором, до второго пота, пока опустел чайник.

И снова «под сургуч».

Ночь была долгая. В такую ночь отчетливо чувствуешь дыхание зимы. Она где-то рядом и может появиться неожиданно, в любой час, как снег на голову. Точная пословица: более неожиданного, чем

первый снег, ничего не может быть в природе. Очень даже просто: встанем утром, а кругом белым-бело.

Но ветер помаленьку утихал.

Притеплившись и съежившись калачиком, я высчитал дни после первого зазимка и пришел к тому же выводу: зима у ворот.

Зима, зима… Постепенно мысли перешли в прошлое.

Осень сейчас в природе. Осень и в моей жизни. Весну свою я помню хорошо — трудная весна. Лето помню. Но… ладно, не надо никаких «но». Все ведь прошло…

А осень — вот она… Всю мою жизнь можно назвать просто: жизнь в поле…

…То были совсем не грустные мысли. Наоборот, в ту глубокую и черную осеннюю ночь радовался тому, что понял: я такой же, как Захар Макарыч, Василий Кузьмич, Петр Михайлович и многие колхозники. Пусть хуже их, но с ними на всю жизнь, а моя тень мало заметна для других и вполне соответствует росту.

Услышав, что доцент повернулся в лодке, я спросил:

— Не спится?

— Нет.

— Холодно?

— Нет, согрелся… О чем думаете, Тихон Иванович?

— О прошлом. А ты, Вань, о чем думаешь?

— О будущем.

— И что же там, светлая голова?

— Хорошо!.. А что у вас в прошлом получается?

— И очень и не очень. Все есть.

Захар Макарыч, доселе молчавший, видимо, прислушивался к разговору и внес свою лепту в разрешение этого вопроса:

— Культ-то умер. Да вот… как бы это сказать… культята есть. — Иван Васильевич рассмеялся, я — тоже. Но Захар Макарыч продолжал с напускной обидой: — Чего смеетесь? Не бричка мучает попа, а мучает попа чека. Думаете, культа нету, то и переметовых нету? Ведь это его зацепило боком, он и свалился спервоначалу. А другого, может, не зацепило. Куда его денешь?.. А вы: «Ха-ха!» Тоже мне комики… Куда ты его денешь? Должность-то ему надо давать? Надо. Он без должности захиреет. Он же ничего не умеет делать. А вы: «Ха-ха!»

— Да мы, может быть, с вами согласны, Захар Макарыч, — сказал сквозь смех Иван Васильевич.

— Если так, то это еще ничего, — пробурчал Макарыч. — А то: «Ха-ха!» А чего «ха-ха» — не сразу поймешь. Лет бы двадцать назад дал бы я тебе сгоряча подзатыльник, — только зубки бы щелкнули… А теперь тебя не ущипнешь, Ванятка.

Так за эти двое суток он называл его то Ваняткой, то Иваном Васильевичем, то снова Ваняткой. И все получалось просто.

…А ночь все тянулась и тянулась. Длинная осенняя ночь. И чего только в это время не передумаешь, чего не вспомнишь, о чем только не переговорят охотники, когда ночь не движется, а, кажется, висит черным пологом без конца и без края.

Но как бы там ни было, а в палатках мы надышали тепла, пригрелись и замолкли в ожидании далекого утра.

…С шумом пронеслись над камышами «белопузники». Снова — они же. Еще раз. Одна и та же стайка кружила в облете над озером, каждый раз прошумев над палатками. Я высунулся наружу.

Захар Макарыч уже стоял на передней лавочке. Видимо боясь разбудить доцента, он полушепотом сказал мне:

— Попали мы, Тихон Иваныч, башкой в развилку.

Не сразу я сообразил, в чем дело.

— Видишь, утка не может сесть?

— Вижу.

— Пощупай за бортом.

За бортом был лед — челноки вмерзли в камышах. Палатка покрылась коркой, и на ней белела изморозь. Под лучом фонаря мы увидели: лед блестел и на озере. Все сковало!

До утра оставалось еще часа два.

— Пожалуй, надо нам, Захар Макарыч, выбираться, пока лед не стал толще.

— Пусть поспит, — прошипел он, указав на челнок Ивана Васильевича. — Ночь-то почти не спали…

Так отец, собираясь в поле, жалел и меня — не будил пока. Он сам укладывал на телегу соху, борону, корм, подмазывал колеса дегтем, насыпал семена. И только после этого, когда совсем уже рассветет, расталкивал: «Вставай. Пора ехать. Ишь дрыхнет, как сурок…

Вставай, вставай». Помню, как спросонья садишься, бывало, на телегу и некоторое время еще клюешь носом, пока не проснешься совсем уже в пути и не поймешь, что ласка отца в его напускной строгости.

— Пусть поспит, — согласился я и перешагнул в челнок Захара Макарыча.

Там уселись мы бок к боку, засунули руки в рукава шубеек, опустили лопухи треухов и зашептались:

— Деловой, — говорю, — доцент, а?

— У-у! Этот даст им там… Этот знает, почем фунт лиха, — дыша мне в лицо, соглашался Захар Макарыч.

— Кому же это он дает?

— Коптильщикам.

— Неплохое слово.

— Факт, неплохое… А он не обманет. Кнутиковская закваска… Ишь, как похрапывает.

…….

— Камыш-то застыл, — говорю.

— Остекленел, бедняга.

…….

Каждый из нас знал, что мы обходим главное: как выбраться изо льда. Но каждый думал об этом. Это очень трудно! Вот попали!

С рассветом, когда заря вспыхнула и заиграла на льду, мы разбудили доцента. Он вынырнул из палатки заспанный, но бодрый.

— Ой ты! — воскликнул он, глядя на озеро, — Красотища какая! Сказка!

Все было волшебно. Казалось, все вокруг покрыто светлым лаком, отполировано до зеркального блеска и оставлено на долгое хранение до самой весны. Жизнь замерла, все недвижимо.

Осень кончилась.

— Сказка… Будет нам нынче сказка, — заворчал Захар Макарыч, осторожно свертывая палатку, чтобы не поломать мерзлый брезент. — Рыхлей складывайте, — посоветовал он и нам.

После короткого совещания мы наметили «план ледового похода». До русла надо было пробиваться километра два.

Капитаном единогласно назначен товарищ Пушкарь.

Обколоть челноки оказалось не так-то уж трудно: железные рогатки суховилки для этого вполне подходящи. Пробить перед челноком метр-другой уже труднее. Вытолкнуться из камышей еще труднее. Потом челнок уперся носом в лед — ни с места.

Немало хлопах доставило каждому из нас, чтобы стать друг за другом в одну линию. Труднее всего капитану. Он с размаху разбивал лед, стоя в носу; потом переходил на корму и проталкивался на метр

вперед. В двадцати метрах от места ночевки от Захара Макарыча уже валил пар.

Потом к нему из челнока в челнок перешел Иван Васильевич, привязав свой к моему. Теперь разбивал лед Иван Васильевич и перешагивал к корме, а Захар Макарыч проталкивал челн с приподнятым носом (ведь на корме двое). С размаху киль врубался в лед, обламывал его под собой и замирал. Затем все повторялось снова.

Прошло более часа, а мы отъехали какую-то сотню метров. Капитан перестал наезжать килем на необитый лед (лодка будет изодрана в клочья и угроблена окончательно). Поэтому продвигались мы еще медленнее. Мне досталось тащить на буксире челнок Ивана Васильевича с полной нагрузкой, но все-таки это было гораздо легче, чем бить лед.

Между тем небо вновь затянуло низкими, теперь плотными и спокойными облаками. Замелькали снежинки. Надежды на оттепель не было ничуть.

Не сговариваясь, остановились на отдых. Сели, покурили молча. Потом Захар Макарыч совершенно серьезно, видимо прекратив игру в ледовый поход, сказал:

— Вот что, мужики: надо беречь силы. Если заметелит, то нам тут хана.

Каждый из нас знал, как лет пятнадцать тому назад старик охотник вмерз с челноком в озере, выбился из сил и окоченел. Но никто ни разу не заговорил об этом. Положение наше было опасным.

А мороз нажимал все сильнее.

Мы решили меняться на колке льда через каждые полчаса и при этом отдыхать десять минут. Но прежде всего — обсохнуть от пота, для чего, пока не останавливаясь, продвигаться медленнее, спокойнее. Так и сделали.

Только к часу дня наша унылая эскадра с обессиленной командой стала против затончика, в конце которого была охотничья пристань. До нее было метров двести, а до русла Тихой Ольхи около километра. С ходу добраться до реки и думать нечего. Мы решили выйти на остров, чтобы отдохнуть, поесть.

Моя очередь пробивать лед. Ребро весла уже обтрепалось и стало мохнатым, руки в мокрых перчатках коченели. Как бы я ни старался спокойно работать, спина опять потная. Чем ближе к берегу, тем лед

становился толще. Но это не страшно. Ведь обратно, от берега до средины затона, мы будем ехать уже по пробитому следу, хотя кормой и вперед. Это не страшно. Надо отдохнуть. Обязательно отдохнуть. Силы иссякали с каждой минутой.

За десять метров до пристани сломалось мое весло.

Жаль. Отличное было весло — кленовое, пятиметровое, прочное. И как это меня угораздило!

— Ты что же, идол, плашмя ударил! — крикнул на меня с остервенением Захар Макарыч. — Теперь с окомелком будешь шлепать! Клади его в лодку. Бери мое. Если сломаешь — шкуру спущу!

Он отдал мне свое тяжелое весло, а легкое весло Ивана Васильевича взял себе.

Я продолжал долбить и долбить. За «шкуру» свою, конечно, не боялся — просто Захар Макарыч тоже выбился из сил и, как говорится, сорвался.

Наконец-то последний окраек льда сбит, и лодка ткнулась в берег. Самое главное в тот день сделано: мы на земле, и теперь все пойдет проще.

— Чего это вы так напустились на Тихона Ивановича? — спросил Иван Васильевич. — Суховилки-то есть у каждого да два весла. Еще можно ломать — теперь уж все равно выберемся.

— Ну… так… сгоряча, — не очень-то энергично оправдывался Захар Макарыч.

Здесь мы были, конечно, не равны. Захар Макарыч здесь важнее. И мы это понимали. Даже гораздо важнее.

Захватив с собой пищу и чайник с водой, мы ушли в землянку. Там кто-то из охотников оставил дрова, поэтому через десяток минут уже пылала печка с полуоткрытым челом, а мы разделись.

Блаженный отдых! Описать это не в моих силах. Никогда не забыть такого часа. Мы ни о чем не разговаривали — мы наслаждались. Тянуло в дрему. Иван Васильевич, откинувшись на спину и подложив, ладони под затылок, проговорил лениво:

— Эх, поспать бы…

— Все! — возразил Захар Макарыч. — Обсохли, пузо твердое — поехали.

Обратно до нашей главной магистрали протолкнуться не так уж трудно: развязали два челнока, последний стал передним. Так мы и стали вновь на курс.

Очередь была Захара Макарыча. Он размеренно, редко и точно орудовал уже не веслом, а тыкал в лед увесистой дубиной, срубленной в лесу. Дело пошло успешнее. Я проталкивал теперь челн. Иван Васильевич тащился позади с двумя челноками.

Во время передышки Иван Васильевич, явно обладавший более тонким слухом, чем мы, насторожился:

— Слышите?.. Кто-то бьет лед…

Мы пока не слышали, но затаили дыхание. Наконец и до нас донеслись удары. Человек пробивался от русла к острову. Было непонятно: кому вздумалось лезть сюда в такое время? По приближению звуков мы заметили, что охотник продвигался гораздо быстрее нас.

— Там, ближе к руслу, лед тоньше, — заметил Захар Макарыч.

— Но кто это может быть? — спросил Иван Васильевич.

— Леший его знает, — ответил Захар Макарыч. — Съедемся — узнаем. — Вдруг он вскрикнул: — О! Гляньте! Вот он, ползет!

По льду быстро бежал красный паучок, тот самый, какого можно встретить и на снегу среди зимы. Удивительное насекомое!

— Как называется? — спросил Захар Макарыч у доцента таким требовательным тоном, будто тот обязан знать все на свете.

— Не знаю, — лаконично ответил Иван Васильевич, ничуть не смущаясь. — Снежные паучки почти совсем не изучены.

— Вот задача, скажи на милость: бежит, и не знаешь, кто бежит. Вон еще, смотрите! Ух ты! Строчит, каналья, — и мороз нипочем. Все это занятно. — Захар Макарыч задумался. Потом добавил: — И почему только человек так мало живет? Все бы можно было узнать. А оно, видишь, как получается… Почему бы и мне, скажем, не быть профессором? А ведь мог бы!.. Нет, если бог, допустим, и делал человека, то без соображения.

Так и выдал себя Макарыч: он, видимо, всю долгую ночь думал об этом и решил: «Мог бы».

Уже в конце четвертого часа дня, почти в сумерках, выйдя на повороте из-за камышей, мы узрели к всеобщему удивлению… Петьку Плакуна! Он тараном лез в глубь затона. Обнаружив нас, остановился

и стоял в лодке, поджидая. Протолкал он, пожалуй, третью часть нашего пути от острова до русла. Конечно, для нас это большое облегчение, но зачем все-таки он сюда-то направляется?

— Ты чего в ад за яблоками прешь, горшешный художник? — спросил у него Захар Макарыч.

Плакун не ответил, а спросил у нас:

— Алешку Русого не видали?

— Нет, — ответили ему в три голоса.

— А зачем он тебе? — спросил я, вспомнив, как Алеша отхлестал его уткой по лицу.

— Понимаешь, какое дело: думал, он вмерз в Голове.

— Ну и что же? — допытывался Захар Макарыч.

— Вот я… и поехал к нему. Думаю, пропадет… Мне-то от русла пролезть — ничего: назад-то по пробитому… А ему, думаю, одному-то… Где же он есть?

— Когда он поехал? — спросил я с беспокойством.

— Вечером слыхал его мотор.

— Тогда он на русле, — уверенно сказал Захар Макарыч. — Выше затона обязательно.

Как бы в подтверждение его слов раздался далекий дублет.

— Он! — воскликнул Петька. — Как подморозило, он и сообразил: утка пойдет на русло. Он!

До Тихой Ольхи, по следу Петьки, мы добрались еще завидно.

— Слава богу! Бог, он не дурак: знает, кому помогать.

После такого заключения Захар Макарыч приложил ствол к губам и продудел условный сигнал. Через несколько минут мы услышали ответный гудок.

— Он и есть, — радостно сказал Захар Макарыч, глядя на нас. — Переку-ур! Ледовый поход закрыт. Объявляю благодарность всему составу… кислой команды.

Я бросил взгляд на Ивана Васильевича: он был «кислым» в полном смысле, даже почернел от усталости, пота и двухдневной непогоди. Таков, видимо, был и я (Захар Макарыч слов на ветер не бросает).

Не более как через двадцать минут мы услышали мотор, а вскоре подкатил, рассекая воду, и сам Алеша Русый, размахивая шапкой в знак приветствия.

— Здорово, несчастные! — крикнул он.

— Здорово, хитрец! — ответил я. — Обманул погоду?

— Ага. Вижу, вечером на мороз тянет — значит, дичь в камыши не пойдет.

— А какие дела? — спросил Иван Васильевич, хитровато улыбаясь.

— Девять штук… Постой, постой! Да ведь это Ванятка! Сукин ты сын! Как ты сюда?! Вот не ждал! — Он подъехал к Ивану Васильевичу борт к борту и протянул руку: — Дай пожму. Помнишь, как к девчатам топали вместе?

— Угу! Помню.

Встретились друзья юности — тракторист и доцент сельскохозяйственного института. Только ханжа заскулит оттого, что Алеша выхватил поллитровку из корзины и воскликнул:

— За встречу, Ваня!

И всем поднес по сто граммов точно. Впрочем, он-то уж знал, как полезно нам, измученным и обессилевшим, чуть взбодрить себя.

— За встречу, Алеша! — сказал Иван Васильевич, опрокинув охотничий стаканчик-раскладушку. — В воскресенье жду в гости.

Поднося порцию Петьке, Алеша спросил:

— А ты как сюда? Ты ж в эти места не ездишь — всегда один, бывало.

— Я-то?

— Ты-то.

— А чего мне?.. Спасибочки. Будем! — Он опорожнил стопку и блаженно улыбался.

Я увидел Петьку не совсем похожим на того, какого знал несколько лет подряд.

— Знаешь, Ванятка, как я его отучал от браконьерства? — спросил Алеша, ткнув пальцем в Петьку.

— Как? — заинтересовался доцент.

— Знаем, да не скажем, — уклонился-таки от ответа Алеша и подмигнул мне и Захару Макарычу. Однако добавил: — Мудрость — не в наказании за зло, а в предупреждении зла. Кто это сказал?.. Не знаете?.. Эх вы, ученые люди! А я вот… тоже не знаю, кто сказал. Объявить, что ли, Петро, нашу с тобой историю?

— Ну, ты уж, — обиделся Петька. — Ну, было… Ну, было…

— Ладно. Молчу. — И Алеша закрыл рот ладонью.

…Уже в темноте пять моторчиков рубили воду, ревели друг за другом, разрывая на клочья тишину глухого и такого дорогого мне уголка Земли.

У Камышевца челноки забелели от снега — их хорошо стало видно и ночью. Каждый из нас вез на плечах белый-белый снег.

Прощай, осень! Прощай, мое Далекое! До будущей весны!

9. ВЕТЕР

Снег, снег и снег.

Горизонта нет никакого. Затушеванный налетом инея на бурьянах, он растаял в легкой дымке утреннего морозца. Поле в такие дни бескрайнее, однотонное, сизовато-белое и кажется безжизненным. Только это, конечно, кажется: жизнь все равно идет, а поле и зимой привлекательно и интересно своей неповторимостью, как и каждый день жизни человека. Все равно завтра поле будет другим и никогда не повторится. Жизнь идет. Ее не остановить ни снегами, ни морозами, ни ураганами.

Вот пожалуйста! Метрах в двадцати обозначились ярко-красные пятна и тотчас же растаяли: то снялась стайка снегирей. Перед Иваном Васильевичем Крутиковым с жестким шумом вырвались из снега, как из ничего, куропатки. Он вскинул сгоряча ружье, но не выстрелил (запрещено!). Валерий Гаврилович Фомушкин наткнулся на пустую лежку зайца, остановился, чтобы обратить на себя наше внимание, указал пальцем под ноги. Понятно: «лежка есть». Захар Макарыч кашлянул и протянул вперед руку — гляньте: дескать, лисица улепетывает.

Жизнь в поле идет и зимой. Днем ее можно маленько расшевелить, если вот так, фронтом, идти по мягкой пороше, бесшумно и осторожно. Но по-настоящему поле оживает ночью. Видите, сколько наплясал заяц на жировке около кустиков — до самого утра топал на своих костылях косой.

А эти ровные строчки, как по струнке, написала огненно-рыжая днем и черная ночью лисица; она и утром, когда все вокруг уже светло, и вечером, еще завидно, мышкует с увлечением, то подпрыгивая

свечкой, то припадая и распушив хвост трубой. Ночью она и ворует, хитрючка, досаждает Василию Кузьмичу на птицеферме. Ведь залезла же через форточку на птичник! «Юристка», — обругал ее тогда Василий Кузьмич заочно и обиделся на сына за то, что тот за весь отпуск не убил ни одной лисы. В последние годы отец прямо-таки ненавидел их. Доцент обещал убить. Четыре ночи он сидел на засидке около фермы и убил-таки. Теперь шкурка «юристки» висит в хате на стене.

Нас пятеро: Фомушкин, все так же председательствующий в райисполкоме, его зам — Чумак Петр Михайлович, доцент Кнутиков Иван Васильевич, все тот же Пушкарь Захар Макарыч и я.

Ночных следов все-таки мало: «не весь заяц» вставал на кормежку в снегопад. Но наша задача состояла главным образом в том, чтобы ухлопать все воскресенье в свое удовольствие.

Морозец легкий. Снег рыхлый. Хорошо.

От жировки я взял след. Остальные четверо, увидев такое, приостановились: наблюдают за мной, приготовились, — а может, наскочит! Захар Макарыч припал на колено в западнике, откуда торчит только его шапка. По большому и свежему снегу сегодня заяц не должен бы уйти далеко. И правда, после первой же смётки на кипенно-белом поле я заметил чуть-чуть темноватое пятнышко. Лежка!

И все равно заяц вырвался как ниоткуда — большой, рыжевато-серый. В идеально чистой, в такой «пустой» белизне, в полном безмолвии он кажется огромным. Хорош! Положил я его отлично.

Что ж: моя удача! Все подошли ко мне.

— С полем! — поздравил Фомушкин.

— Завидую и ревную! — патетически простонал Петр Михайлович Чумак, вскинув единственную руку вверх.

— Один заяц — не заяц, — убежденно сказал Захар Макарыч. — Нам надо еще четыре: пять зайцев — это уже зайцы.

Но все-таки желание Пушкаря не сбылось — мы ничего больше не взяли: то выскочит далеко, то позади кого-то. В общем, топали долго, добросовестно и настойчиво, но безрезультатно.

Здорового зимнего воздуха мы наглотались так, что к концу дня еле-еле волочили ноги, а все мысли сосредоточили на одном: дойти до Камышевца. Только бы дойти. Захар Макарыч уступил и изрек:

— И один заяц — заяц. Ладно, не каждый день удача. Только вот боюсь я, что потеряю тут в поле «советскую власть на селе».

Это он о Фомушкине. Тот шел позади, не скрывая неимоверной усталости. Зато Макарыч пока тянул за собой всех: топал и топал редко, размеренно, так же, как начал и утром, — в один тон. Но в начале дня он был позади, теперь же впереди. Вот что значит ритм в ходьбе. Так он вытянул нас на главный тракт, на грейдер, — налево в Камышевец, направо в областной город, и заявил, выйдя на средину дороги:

— Направо пойдешь — крендель найдешь, налево пойдешь — пустая пекарня. Тут и сказке конец и повесили корец.

— Это ты про меня? — устало спросил Валерий Гаврилович.

— Нет, про райпекарню.

— А тебе думается: вот взял Фомушкин да испек, сколько захотел. Так, что ли? — нехотя отбивался председатель.

Они теперь шли рядом с Захаром Макарычем. Мы же втроем позади них. По дороге идти стало далеко лучше, легче. Петр Михайлович толкнул меня в бок легонько, кивнул на передних (дескать, что получится у них из такого разговора).

— Ох и шпилька! — воскликнул председатель, перекинув ружье на другое плечо. — Вас бы с Василием Кузьмичом вдвоем натравить на кого-нибудь — глаза на лоб вылезут.

— Ой, как здорово! — наконец-то подал голос и доцент. Он «отсочал» на гладкой дороге, к нему вернулся дар речи, а валенки уже не волочились, как у меня, грешного.

Захар Макарыч будто нарочно, будто пользуясь усталостью «советской власти на селе», докучал:

— Конечно, здорово! Вы пошлите нас с Кузьмичом на какой-нибудь областной пленум или к министру, допустим. Так мы…

Неожиданно Валерий Гаврилович стал как вкопанный. Мы тоже остановились. Он ударил себя по лбу и выпалил:

— Петр Михайлович! Я остолоп, — обратился он к Чумаку. — Ни единого пожилого колхозника не послали на областное совещание передовиков.

— А вы возьмите с собой Захара Макарыча и папашу, — предложил доцент. — Заслуживают ведь.

— Тоже, думаю, заслуживают. А сделать уже ничего нельзя. Список в райкоме утвердили — конец. Завтра с автобусом едут. А мы с Петром Михайловичем послезавтра утречком.

— А нельзя больше десяти мест для района отвоевать? — спросил Петр Михайлович.

— Поздно, черт возьми. Жаль. Прохлопали ушами, — сокрушался на ходу Фомушкин.

— Ну, мы с Кузьмичом в следующий раз поедем, — утешал его Захар Макарыч. — Чего волноваться! Тогда мы речи приготовим, отпечатаем на машинке — все честь по чести. А сейчас все равно не успеем. Шутка ли! «Давали, даем и будем давать! И да здравствует вопче!» Такого сразу не сообразишь сказать — надо долго думать.

— Да ты, Макарыч, или меня уложить хочешь тут вот, на дороге? — огрызнулся Фомушкин. — И без того сил нету — весь вышел.

— С шуткой легче топать, — мирно проговорил Захар Макарыч.

Он явно пожалел Фомушкина и не хотел его обижать, он уважал этого молодого по сравнению с ним председателя, простого в обхождении, совсем не похожего на своих предшественников, дотошного в сельском хозяйстве, да еще и охотника.

Чем ближе к Камышевцу, тем все труднее и труднее идти. Знаю: последние метры будут еще более тяжкими. Но идти надо. Зимняя охота, особенно тропление зайца, штука тяжелая.

Теперь впереди шли молодые — доцент, пред и зам, а мы, старики, плелись в хвосте, совсем не удручаясь таким положением на данный день. Они что-то там мурлыкали себе под нос, не разобрать, а мы же просто только дышали и заботились об одном: поднять чуть-чуть ногу вперед. А становилась она уже сама собой, как чугунная. Захар Макарыч тоже сдал, бедняга.

Все же я разобрал-таки отрывок их разговора: отпуск у доцента кончается, и он едет послезавтра с ними в область, в свой институт.

Мне тоже ведь надо ехать!

— Валерий Гаврилович! — окликнул я Фомушкина. — Постойте-ка. Дайте догоню. — А поравнявшись, спросил: — Меня возьмете в «козла»? Документ там один на пенсию надо оформить.

— Неужели на пенсию? — удивился Валерий Гаврилович. — Неужели шестьдесят? Никак нельзя поверить.

— Да… шестьдесят.

Когда я произнес это слово, то почувствовал, что устал до полусмерти. Как же так? Уже шестьдесят. Мне было грустно, несмотря на то, что за спиной висел заяц.

Но Захар Макарыч нарочито громко гаркнул:

— В нашем полку прибыло, товарищ председатель райисполкома!

Грусти моей как не бывало: я очень желал бы служить в том самом полку, где Захар Макарыч. «Мы еще повоюем», — думалось тогда. И главное — заяц за спиной!

— Возьмем, конечно, — сказал Петр Михайлович Фомушкину. — Ты, я, Иван Васильевич, Тихон Иванович — четверо. Сам Шмель — пятый. Как раз на «козла».

— Шмель! — воскликнул я. — Митяй Шмель?

— Да, — ответил Фомушкин. — Вот он подсунул. — И указал на Чумака. — Наш-то шофер ушел в ваш «полк», а этого взяли.

— Давно? — спросил я.

— С неделю назад. Временно пока. С начальником милиции советовались. «Попробуйте», говорит. Вот… пробуем.

— Ну и как он?

— Не верит. Работает. Молчит.

— Да он ни во что не верит… ни в кого, — вмешался в разговор Петр Михайлович. — А вас, Тихон Иванович, уважает. Знаю. Встречался с ним на охоте… Был в хуторе…

Да, я еще тогда, после пожара, понял, что Митяй мне теперь верит, он может верить. Мне не хотелось углублять этот разговор. Остальной путь, уже мимо безжизненных камышей под самым селом, мы прошли молча в сумерках. Каждый о чем-то думал сам по себе. Я тоже думал: «Зачем же советовались с начальником?» А в голове звучали слова Митяя: «За что? За что?»

Поднялся ветерок. Потянула легкая поземка. Камыши сухо зашелестели.

Мы расстались со словами «до послезавтра».

…В ночь ветер усилился. Дома, лежа на кровати, я слушал его довольно сердитую, скучную, однообразную и, казалось, бесконечную песню.

В трубе позвякивала вьюшка.

Ветер и ветер. Бесконечный ветер шарит по моему окну. Я прислушиваюсь к его нудному однообразию. Может быть, потому и мысли так отрывочны… Надо постараться не думать… Мне кажется, что уже не думаю… Но вновь я ткнулся, как слепой котенок в горячий чугунок: «Он ни во что и ни в кого уже не верит…» Мне стало больно.

Я не мог отбросить мысли куда-нибудь в дальний уголок.

Встал. Записал в тетрадку весь день зимней охоты с утра и до этой минуты.

А ветер уже настойчиво царапался в стекло.

Будет метель. Она уже начинается.

Декабрь снежный да холодный — год хлебородный.

Дуй, ветер! Больше снега — больше хлеба.

К утру нанесло сугробы.

Два снегоочистителя прошли на тракт, разваливая снег на обе стороны. Теперь от проезжающих машин виден только кузов.

К концу дня трактор поехал выручать автобус с передовиками сельского хозяйства, застрявший где-то на пути в область.

Но Валерий Гаврилович, когда я зашел к нему в кабинет, подтвердил:

— Едем обязательно. Собирайтесь к семи утра.

— Не застрянем?

— Не думаю. Ветер притих. Снегоочистители прошли дважды. А потом ведь — «козел»! Это тоже понимать надо.

В общем, он был в самом лучшем настроении. У него, впрочем, всегда хорошее настроение.

— Как ноги? После вчерашнего? — спросил он.

— Ноют. Но ведь я-то хоть зайчишку ухлопал.

— Я тоже убил: «Зайца и лису и ноги на весу».

Потом он говорил мне, что думает сменить ружье.

— Плохой бой? — недоумевал я.

— Хорошо бьет: с полки упало — семь горшков разбило. Приклад не по мне: бью по жене, а промахиваюсь. Если без шуток: низит оно у меня. С собой завтра прихвачу, сдам в комиссионный, а себе возьму штучную «ижевку». Хорошие ружья — никаких заграничных не надо.

…А утром следующего дня мы уже ехали в область.

Пока выбирались из камышей, было тихо и дорога была чистой.

Петр Михайлович сказал Митяю:

— А ты, Дмитрий Данилыч, сомневался. Видишь, дорога-то!

— Я что? Я хоть к черту на рога поеду, — спокойно ответил Митяй. — Только вот шофера говорят, под Боськином нанесло, а снегопахи отвалили две стены. Получился туннель выше грузовика. И узко — не разъехаться.

Мы выбрались в чистое поле. Здесь ветерок оказался порядочный. Тянула змейками поземка и курилась дымком над сугробами-стенками с обеих сторон дороги. То и дело начали попадаться переносы. Митяй в таких случаях сдавал автомобиль назад и с разгону пробивал сугробчик. Получалось у него ловко.

Километр за километром ехать становилось труднее. Поземка зализывала след «козла» тотчас же, заклеивала, как пластырем, затирала, заметала и разравнивала.

Снег течет и течет. И дымит. Течет и дымит.

Митяя вижу в спину: он будто прирос к баранке, волосы у него мокрые, шапка на затылке. Давно уже едем, часа полтора-два, а от него мы не слышали ничего, кроме того, что он сказал о «туннеле».

Встретился грузовик — нос к носу. Шоферы вышли друг другу навстречу. Поздоровались за руку.

— Далеко? — спросил Шмель.

— В Корневцы, — ответил встречный.

Они стояли по колено в поземке, как люди без ног.

— Как там дальше? — спросил опять Шмель.

— Табак. На «козлике»-то проскочишь, но… с парком. А ты куда?

— В область.

— Начальников везешь?

— Начальников.

— Ну, вези, — будто разрешил встречный. — Из Камышевца?

— Оттуда. А у тебя чего в кузове?

— Отходы. Свиньям.

— Это за сто пятьдесят километров?! — громко ужаснулся Шмель.

— И-и, не говори!.. За морем телушка — полушка, на рупь перевозу. Зерно вывезли, а за отходами… А ну их!.. Как будем разъезжаться? Кому ближе назад сдавать?

— Должно быть, мне, — оглянувшись, сказал Шмель.

— Давай. Крути «козлу» хвост.

— Ну, ты! — шутейно отозвался Митяй. — Ты лучше своей корове хвост подмажь — мухи докучать не будут.

Так шоферы, встретившись, за одну-две минуты узнают: куда, зачем, откуда, что и кого, да еще успеют обменяться шутками.

Митяй начинал жить по-человечески.

Он сдал «козла» назад, выбрал обочину с наименьшим отвалом снега и с разгону воткнулся в него передком. Встречный тихо, борт в борт прополз мимо нас. В десяти метрах позади он остановился. Наш автомобиль забуксовал — назад никак. Встречный подцепил его тросом и вытащил на дорогу. Было понятно, что оба шофера поездили свое в снегах.

— Ну, бывай! — сказал встречный.

— Добрый путь! — ответил Митяй.

Посмотрев назад, я увидел, как поземка принялась облизывать грузовик, и он, сразу посеревший, будто уплывал от нас, задернутый мутной живой пленкой.

Снег течет и течет. И дымит.

— Как это получается? — спросил Иван Васильевич у всех сразу. — Отвезти зерно, а за отходами — зимой, в такой холод, в такую дорогу? Ведь это же страшно дорого!

— Вот и получается, — заговорил Петр Михайлович. — В Корневецком районе выполнили полтора плана закупок, а скот «на бобах» остался. Падеж… Вот и возят. Весь автотранспорт гоняют. Люди мерзнут. Центнер отходов выходит им вдвое дороже центнера отборной пшеницы.

— Безобразие! — воскликнул доцент. — Чего же вы молчите? Вы, власть? — набросился он на Фомушкина и Чумака.

— А откуда вы знаете, что молчим? — отпарировал Фомушкин.

Доцент осекся: может, они и правда не молчат — почем знать, но все-таки задал вопрос:

— В самом деле, я серьезно: говорили вы лично где-нибудь об этом? Скажем, в областных верхах?

— Я тоже серьезно: говорили. Писали, — ответил за Фомушкина Чумак. — Мы-то выкладку дали в область точную. Потом ругались, спорили. А что сделаешь!.. В Корневцах заготовили кормов мало. Наш

район им теперь пятьсот тонн сена взаймы дал — тоже зимой возят, мучают людей, рвут тракторы и автомобили.

— Дикость! — заключил Иван Васильевич. — Так почему же в Корневцах молчали раньше?

— Вот послали теперь в район «выправлять положение». Переметова направили… для пробы: вытянет — так, не вытянет — спета его песенка.

Митяй оглянулся на Чумака, внимательно посмотрел, но не произнес ни слова.

— Почему они молчали? — переспросил Фомушкин. — Скажу почему. Очень уж мне это самое в душу запало — все помню… Когда я был еще комсомольцем, один товарищ мне однажды сказал в своем кабинете так: «Ты, Фомушкин, много лишнего говоришь. Горяч, молод. Человек чаще страдает оттого, что „лишки“ высказывает, но он никогда не жалеет и не страдает оттого, что молчит. Запомни на всю жизнь, чтобы тебе шею не сломали. Подумай». Вот они и молчали.

— К слову сказать, Валерий, с твоим характером тебе в свое время шею скрутили бы как пить дать, — сказал будто между прочим Петр Михайлович.

Теперь Митяй оглядел Фомушкина и снова врос в сиденье, приклеился к беспокойной баранке руля. Автомобиль бросало из стороны в сторону: ехать становилось все труднее и труднее.

И вот по обе стороны пошли стены снега — они были выше «козла». Здесь поземка юрилась вверху, над стенами, и ровным слоем садилась вниз. Автомобиль пошел лучше, спокойнее. Митяй вытер рукавом пот, поправил шапку и откинулся на спинку сиденья: он отдыхал, пользуясь ровной дорогой.

Но неожиданно перед нами вырос автомобиль, груженный мешками.

— В чем дело? — крикнул Митяй, приоткрыв дверцу.

Ему никто не ответил. Тогда он вышел и направился туда. Мы тоже вылезли поразмяться и пошли за ним.

Из-под грузовика торчали валенки: справа — одна пара, серая; слева — другая, черная. Валенки были живыми: то царапались, упираясь пятками, то чуть уползали под машину.

— Кукуем? — спросил Митяй, присев на корточки и заглядывая под кузов.

— Кукуем, лопни оно надвое, — ответил озлобленный голос.

— Что стряслось, братва?

— Кардан рассыпался, лап его разлап! Снимаем.

Другой голос спросил:

— Тебе встречался наш, с мешками?

— Встречался один.

— Далеко?

— За Лопыревкой.

— Значит, выбрался наш Аким.

— Чего же он бросил-то вас? — спросил Митяй.

— Сами послали. Может, доедет — пусть трактор гусеничный гонят навстречу. Он же головным шел в колонне — вот его и послали.

— В какой колонне?

— А ты глянь вперед хорошенько.

Мы все посмотрели туда. Метрах в двадцати пяти от этого грузовика в змейках поземки стоял второй, за ним третий… Дальше, за поземкой, ничего не видно.

— Сколько вас тут? — уточнял Митяй.

— За мной еще девять. Заштопорил я их: ни объехать, ни выехать.

— А что ж мы — бросим тебя тут, середь поля? — пробурчал второй голос. — Чего зря плетешь… — Потом громко, со злобой: — Да ударь ты ее молотком! Ударь ее! Чего качаешь, как дите на коленках?

Послышался удар молотка. Потом опять голос:

— Ну вот и снялась. Вылупилась!

— Рассыпалась крестовина! Что делать? — проговорил второй под кузовом, добавив крепкое прилагательное.

Первый утешал:

— Есть у меня крестовина старенькая. Только проваландаемся тут часа два, если не больше. Пойдем к Сове.

Они вылезли из-под кузова — широкоплечие, сильные, вымазанные нигролом. Один из них, молодой совсем, лет двадцати трех, не больше, с чубом навылет, окинул всех нас одним взглядом и заключил:

— Райком с потолком.

— Ошибся, — сказал Фомушкин, — Сначала надо говорить «здравствуйте».

— Извиняюсь. Мое почтение! — сдался шофер, — Невоспитанный я. Исправлюсь и учту.

— Это уже другое дело, — одобрил Фомушкин шутку и подал ему руку. — Здорово!

Второй сам протянул ладонь, предварительно вытерев ее тряпкой, отчего она не стала чище.

— Значит, райком с потолком? — спросил Фомушкин. — Впервые слышу. Как это понять? Тоже шутка?

— Ясно, шутка. А что: не райком вы?

— Райисполком.

— А не все равно! — возразил парень. — Тоже с потолком. Выше потолка и вы не прыгнете… Мне-то все едино. Работаю с энтузиазмом — и хватит. Вот машину с отходами промораживаю для борьбы с вредителями и полной очистки от амбарных насекомых.

Второй поправил, ухмыляясь:

— Но воспитывать нас, конечно, надо.

Оба они были явно хитрецы, себе на уме.

— Ну, что будем делать, соколы? — спросил у них Митяй. — Как нам-то через вас перепрыгнуть?

Ответил чубатый:

— Копай «козлику» хатку в стене — утюжком делай. Загоняй его туда хворостиной, дай сенца и ложись спать. Как мы починим рыдван, так и проедем мимо хлевушка твоего, а ты побредешь дальше. Если заметет тебя, за хвост вытянем на дорогу. Только и делов. — В его тоне слышалось этакое пренебрежение шофера большой машины к легковой, к мелюзге, что всегда мешает на дорогах, путается под ногами.

— А нельзя сдать назад всем девяти? А мы бы тебя обкопали сбоку.

— Куда та-ам! Это же три километра всей колонне пятиться раком. Шутишь — по такому снегу!.. Пойдем к Сове — он скажет. — Но тотчас же поправился: — К Совкину… Старший колонны.

Но они пошли вдвоем. Митяй в раздумье проговорил:

— Задача… Козу, капусту и волка переправить на другой берег. Кто придумает? — спросил он у всех разом.

Иван Васильевич немедленно вытянул блокнот и стал «думать» на бумаге. Петр Михайлович чертил на снегу и рассуждал вдвоем с

Фомушкиным. Митяй что-то прикидывал в уме около автомобиля, глядя на стену снега. Он воткнул в нее лопату раз-другой и заворчал себе под нос:

— Ну и утоптала поземка… Как прессом… За двое суток утолкла что твой каток.

Все пришли к заключению, что есть только два варианта: зарыться в хатку сбоку дороги и ждать, когда встречные отремонтируют головную машину; либо обкопать ее и просить колонну объехать «штопор», продвинуться вперед, а мы объедем по их следу.

Первый вариант отклонил Митяй:

— Сунуть автомобиль в снег и ждать, пока его заметет доверху? Не пойдет. Может, они до ночи будут ремонтировать.

Итак, требовалось обкопать грузовик, вырыть «в полутюжка» под «козлика», стронуть колонну. Легко сказать! Это же надо вынуть несколько кубометров снега. Если одной лопатой, то на целый день.

— Так, — сказал Митяй. — Идите, Валерий Гаврилович, к этой… Сове. Пусть дает людей с лопатами. Иначе нам тут загорать до ночи.

Мы пошли втроем: Петр Михайлович, Валерий Гаврилович и я. Митяй немедленно принялся копать снег.

— По очереди будем рыть, — говорил позади нас доцент Митяю.

Большинство кабин на нашем пути было пусто. В двух сидели шоферы и прогревали моторы, не давая застыть воде в радиаторах. Остальные подкопали себе затишек в снежной стенке, настелили соломы там и сидели на корточках, прислонившись спинами. В средине восседал, поджав под себя валенки, плотный широкий человек и держал в руках старую крестовину, задумавшись.

— Здравствуйте, механики! — приветствовал их Фомушкин. — Застряли?

— Здорово был, — нехотя ответил широкий и тут же, почти не обратив внимания на нас, сказал: — И эта не дойдет, Конек.

Конек — это, видимо, уже знакомый нам чубатый, потому что именно он возразил:

— Сколько пройдет, столько и пройдет — надо ставить.

— А потом? Опять опухать где-нибудь ночью? Видишь: ребята уж посинели. Ехать надо.

— Ну, Совкин… Не бросать же машину! — противился Конек.

— Совкин, Совкин… Что Совкин?

— А как же нам проехать, товарищ Совкин? — спросил Фомушкин. — Областное совещание у нас вечером начинается…

— Да погоди ты со своим совещанием! — огрызнулся тот. — Видишь — авария. А ты совеща-ание… Небось ничего не изменится, если и не будет совещания, — Совкин теперь поднял на нас глаза. Они у него широкие, почти круглые, напоминающие, и правда, совиные. Но тут же перевел взгляд на своих шоферов: — Амба! Разгружать машину Конька. Другую — отбавить наполовину, а к ней — Конька на буксир. Все. — И он встал: — Давай, братва. Серега! Мотор прогрей — чего пристыл?

Шоферы поднялись, казалось, нехотя, вполголоса поругиваясь. С машины Конька они взяли на плечи по мешку молотых отходов и унесли каждый на свою. В поземке они ходили синими тенями, не торопясь, медленно и вразвалку. Ясно: стоять нам тут придется долго.

— Не потеть! Не потеть! — прикрикнул Сова. — Запотеешь — загибнешь.

Сова был неприступен: он не желал слушать ни Фомушкина, ни Чумака. Наконец Валерий Гаврилович не выдержал и, чуть-чуть повысив голос, твердо сказал:

— Я председатель Камышевецкого райисполкома. Будем разговаривать или нет?

— Да по мне хоть облисполком, — ответил спокойно и невозмутимо Сова. — Вам ехать — и езжайте.

— Дай четырех ребят с лопатами. Обкопаем вашу головную сбоку, а ты протронь колонну.

Сова ничего не ответил. Он наблюдал, как разгружают автомашину.

— Ну так как же? — наседал Фомушкин.

— Никак. Ребят не дам… Строну колонну вперед — и поедете своей дорогой. Вам тридцать километров до города осталось, а мне больше сотни.

Делать нечего: мы ушли к своему «козлу». Нас встретил Митяй возгласом:

— Захрясли насовсем! Позади нас еще четыре грузовика.

Положение становилось критическим: две встречные колонны должны разъехаться в туннеле. Потом появился, как свалился с неба, в

самом хвосте, тоже позади нас, еще «козел» (из него никто не вышел и не поинтересовался происходящим). Четверо же шоферов пришли к нам. А узнав, в чем дело, потопали к Сове. Там поднялся невообразимый шум и гвалт. Громче всех кричал Сова:

— А ну пошли к такой матери! Зарывайтесь в стенку — пропускай колонну!

— Да ты знаешь, сколько мы будем копать? Вместе давайте, чудо-кит, чертова бляха!

Потом все утихло. Те четверо наших попутчиков вернулись, разводя руками. Они теперь наши союзники. Один из них сказал:

— Знает ведь, что волей-неволей нам копать, а не поймет: если каждый сам по себе, то мы тут и в ночь присохнем. Кричит: «Пропускай колонну!» Это ли тебе не дурак?

— Подождите, ребята, не кипятитесь, — успокаивал их Петр Михайлович. — Может быть, он и не дурак. Видишь, разгружают машину? Управится с одним делом, а там уж… будем смотреть. Кажется, он совсем даже не дурак…

— А что ж: стоять будем? Ждать? — спросил у него Фомушкин, видимо стараясь понять Петра Михайловича.

Тот уточнил:

— Не стоит вмешиваться, Валерий, там, где люди лучше нас знают, что делать. Не может он из-за упрямства замерзнуть. Значит, у него есть какой-то план. С нами же просто не желает разговаривать… почему-то… Видать, твердый орешек… на него и камушек надо прочный.

Шофер-союзник внимательно слушал это, стоя рядом с нами.

Митяй спросил у него:

— Вы откуда, братва?

— Из Непаловки.

— Чего тащите?

— Мокрую кукурузу, на областной элеватор. Сушить негде — пропадает.

— Дак это ж от Корневцов сорок километров! — воскликнул наш доцент.

— Ну а что? — недоумевал союзник.

— Как «что»? Как «что»? — загорячился Иван Васильевич. — Вы кукурузу в область, а они — отходы из области. А живете рядом.

— Постой-ка, — остановил его тот союзник (другие пошли к своим автомобилям). — Постой-ка! — Он подошел к Ивану Васильевичу, высокий, сухолицый, в дубленом полушубке, ростом под стать доценту. — Ты-то сам кто?

— Я?.. Я доцент.

— Какой ты несмышленый, доцент. По-научному — наивный. Сразу видно — городской.

— Нет. Я родился и вырос в деревне! Это — дико! — уже кричал Иван Васильевич.

— Мало что! Не хотела ворона сыр ронять, да каркать надо. Писателя Крылова читал? То-то вот и оно… По мне так: есть путевой лист — а остальное меня не касается. Скажут: свали кукурузу в яр — свалю, только документ дай, чтоб все законно.

— А совесть?! — почти выкрикнул Фомушкин так, что у меня пробежали по спине мурашки.

— Совесть, совесть… — растерялся шофер. И вдруг вспыхнул: — А это тебе совесть: борт о борт навстречу везем на копейку, а тратим тыщи? Это тебе совесть? Да? Ты вот, видно, начальник. Молодой ты начальник, по-научному — наивный. Чего молчишь?! — крикнул он. — Где твоя совесть? А я тоже человек, я тоже есть хочу. Машина — мой хлеб. Дай путевой лист — кукурузу в пруд свалю, а ты запишешь: рыбам на откорм. Совесть! Много вас, учить-то… Совесть!.. Думаешь, не тяжко? Туда же: совесть!

Возражений он выслушивать не пожелал: повернулся и ушел.

— Этого голыми ладошками не сцапаешь, — сказал Митяй Фомушкину, указывая в спину союзника, и крикнул: — Эй ты! Елкина мать — воронья совесть! (Тот обернулся.) Ехать-то надо или не надо? Вернись-ка, устроим потолкуй.

Длинный пришагал-таки обратно:

— Ну?

— Вот тебе и ну. Что ж вы: пошли, побрехали вороны с какой-то совой и — в кабину? Как тебя зовут?

— Егор.

— «По-научному, ты наивный», Егор… Как по отцу?

— Ефремыч.

— Значит, Егор Ефремыч. Это хорошо, что ты Егор Ефремыч. Ехать надо?

— Надо.

— Что думаешь делать?

— Копать буду.

— Сколько дней?.. Ну копай один. Документ подпишу: копал. Машину-то они разгрузили?

— Кончают.

— Что ж вы сказали этой Сове?

— А что ему скажешь? И слушать не хочет.

— Ты бы ему сказал: вас десять гавриков, а нас четыре, «козлы» не в счет. Нам, мол, не к спеху — замерзайте или копайте сами на десять машин. Не сказал так?

— И ты учить? Что-то, я посмотрю, как ни легковая, так учителей полна, как бочка с огурцами.

— Да не учу я тебя, «по-научному, наивный». Ведь если их десять да вас четверо — четырнадцать сидорков! — возьметесь, то надо зарыть в стену-то только ваши четыре машины! Понял? Через час и поедем.

— Оно так. Слов нет. Приблизительно я и говорил ему почти то же самое. Но он уперся: «Пропускай колонну!» — и конец. Я таких знаю… Пойду копать.

— Ну иди… Иди, наивный Егор Ефремыч… Нет, постой! — Митяй изменил тон и заговорил так, что было понятно — возражений не требуется: — Слушай, Егор Ефремыч. Выбирайте там место, где поменьше стенка. Туда сдайте свои машины. Понял? И начинайте помаленьку зарываться шириной в полмашины. Ну, понимаешь? Чтобы около каждого был проезд. Делай. От вашей колонны ты уполномоченный.

— А вы все?

— Мы? Придем помогать. Все придем. Только командуй. Будешь командовать — придем, не будешь — не придем.

Егор Ефремович затопал дальше, даже заспешил.

— С чем мы придем к нему? С одной лопатой пятеро? — спросил доцент из «козла».

Они с Петром Михайловичем уже сидели в автомобиле, постукивая ногами: одеты были легче нас и, видно, успели продрогнуть.

Валерий Гаврилович спросил у Митяя:

— Дмитрий Данилыч! В самом деле, как же быть? Надо торопиться, а с этим Совкиным… Черт знает, что он за человек. Тут, в снегу, он царь и бог.

— Ладно… пойду и я, — загадочно проговорил Митяй. — Узнаем хоть, что он за птица.

Фомушкин не возражал. Мы втроем отправились, как мне показалось, на поклон.

Там уже пылал костер. Шоферы облили автолом солому и сидели вокруг огня кружком, греясь и переговариваясь неторопливо. Совкин явно выжидал: пусть сами копают! Он даже не обкапывал пока объезд, чтобы взять на буксир Конька. Пусть другие сделают, а он проедет с колонной. Так мне казалось. И я решил: пойду сейчас и скажу ему, что «ты, Совкин, самодур» и что «четырнадцать человек для четырех машин…»

Но я ничего не успел сказать, потому что Митяй еще в десятке метров от них запел надрывным блатным голосом песню, какую когда-то я уже слышал:

Ты меня ждешь…

Глаза шоферов вонзились в Митяя с интересом. Сова поворочал желваками, встал и спросил:

— Откуда ты… мальчик?

— От «Макара», папочка. От «Макара». За телятами ходил — зэкачами кормил.

— Урка, — заключил Совкин.

До сих пор Митяй ни на кого не взглянул — он смотрел мимо лиц или на огонь, но последнее слово как бы подбросило его: он вскинул рывком подбородок, глянул на Совкина, потом подошел тихо, медленно, стал вплотную к нему, в упор, и улыбался той самой, знакомой мне, угрожающей улыбкой.

— Э, да тут и Сова! — мило сказал он.

— А ты, мальчик, откуда меня знаешь? — спросил со злобой Совкин.

Я и впрямь подумал, что они знакомы, но, оказалось, Митяй просто определил точно, кто из них Сова. А тот, видимо, так и решил,

что знает.

— Сову-то! — воскликнул Митяй, все так же улыбаясь.

Второй раз он назвал его по кличке. Это взбесило противника, и он неожиданно рявкнул:

— Пошел отсюда, каторжник, к… матери!

Митяй все так же мило спросил:

— Ка-атор-ж-жни-ик?!

И вдруг… ударил его кулаком, снизу вверх, под челюсть! Это был страшный удар! Совкин упал навзничь, как мешок, потом вскочил и замычал, кривясь от боли:

— Ты что? Ты что? Шутки не понимаешь? Ответишь! Ответишь!

В первые секунды все опешили, никто даже не стронулся с места — так внезапен был удар. Только уже после того как поднялся на ноги Совкин, мы с Фомушкиным рванулись к Митяю.

— Немедленно уходи! — крикнул ему вне себя Валерий Гаврилович.

— Митяй! Что ты делаешь? Что ты делаешь? — глупо спрашивал я.

А он повернулся к Фомушкину и сказал тихо и строго:

— Валерий Гаврилович, не вмешивайтесь в это дело. Вашей власти тут нету: видишь, метель начинается.

Первым вскочил Конек, — кажется, в ту же секунду, как рванулся Фомушкин. За ним все остальные шоферы. Они кричали наперебой:

— Нашего бить?

— А ну, братва! Дадим им всем на добрую память!

— Бери лопаты!

— Бей их, так их мать!

— Уходи, уходи! — настаивал Фомушкин, пятясь назад вместе со мной.

Что скрывать: не очень хотелось, чтобы кто-то огрел лопатой по голове, а такая возможность была. Однако наше замешательство было минутным. Мы увидели, как Конек, выпустив на лоб чуб, подскочил к Митяю петухом:

— Дать тебе?! Дать, гроб тебе?!

Митяй не стронулся с места. Он вынул из кармана кусок сала, отрезал финкой ломтик и спросил у Конька:

— Шамать хочешь, младенец? — И улыбался, увидев, как Конек сдал, а остальные присмирели. Затем он решительно шагнул к Совкину, что стоял у борта машины, зажав челюсть обеими руками.

Совкин попятился назад:

— Ты что? Ты что? — мычал он сквозь ладони.

Их было десять человек. А Митяй ходил среди них, подняв теперь голову. Совкину он сказал просто и даже снисходительно:

— Да ты не пяться раком. Значит, драться не будем?

— Пошел ты к черту! — И все-таки пятился.

— Не будем так не будем. — Митяй вплотную подошел к Совкину.

Тот перестал отступать и спросил с озлоблением:

— Ну, за что ударил?

— Это другой разговор! — воскликнул Митяй. — Это можно обсудить чин по чину. Блямбу я тебе прописал с точным адресом — за «каторжника».

— А сам как называл? — вспыхнул Совкин, чуть даже подскочив на месте.

— Э-э! Не-ет! Тут две вещи разные — «Сова» и «каторжник», — возражал ему Митяй уже мирным тоном.

Шоферы сгрудились у огня, и, как это ни странно, некоторые уже посмеивались.

— Не хочу быть каторжником, — сказал Митяй. — Ты это понимаешь? Восемь лет — понимаешь?

— Хватит! — заорал Совкин. — Сам пять лет проглотил. А ты, как сука… скорей бить!

— Да я и ударил-то в четверть силы. От такой блямбочки, если по-настоящему, челюсть расходится по компасу и салазки пополам. Не во всю же я силу… Значит, и ты зэк?.. Вот оно как. Сказать по правде, я догадался. Выходит, ты шкурку снял всю — чистый. Теперь выслуживаешься. «Пусть хоть подохни другой, а я колонну в обиду не дам». Служить служи, да на лапках не ходи… На Доску почета хочешь? Валяй на доску — не возражаю, я сам не против, но только не грызи соседа… я, кореш, за тем ведь и шел: поговорить как человек с человеком. А ты: «Ка-аторжник». Надулся барабаном: я — не я! Должен был я тебе резолюцию наложить или не должен? Как по-твоему?

— Да хватит тебе! Я сказал или не сказал?! — затопорщился Совкин.

— Ладно. Понял, — ответил Митяй и обратился уже к шоферам: — Вот что, мальчишки: лопатки в руки и — за мной. Нас тут четырнадцать. Та-ак… Четыре наших машины — вбок, отрыть объезд под буксир. Тут трех — хватит. Пятеро — к уполномоченному: спросите Егора Ефремыча. «Козла» своего мы почти спрятали. Так… Скоренько, скоренько! Шевелись, детский сад! За ручку и парочками! Чья аварийная? А! Твоя, чубатый петух? Ты и будешь за главного тут. С тобой буксирный. Кто? Ты? Вот вас и двое, а третьего выбирай сам. Остальные к уполномоченному. Так, Совкин?

— Пусть так.

— Марш-марш, браточки! Поддерживай порточки!

Мы пошли к своей машине.

Митяй еще некоторое время задержался после нас около Совкина. Мы не могли слышать, что там у них был за разговор. Через пять — десять минут прошли шоферы с лопатами, а Митяя все не было. Но вскоре он бегом нагнал их и пошел вместе.

Меня начал пробирать холод, поэтому я сначала потоптался, а потом, чтобы согреться, заплясал тоже к уполномоченному союзнику. Тут работа кипела вовсю. Митяй же стоял около них и приговаривал:

— Надуйся, братва! Метель заюрила. А вам еще до Лопыревки сорок верст хромать. Там и заночуете. Борща налупитесь!

Метель, правда, уже повалила и сверху: завихрила, заныла, зашлепала по лицу мокрыми горстями снега.

Вот тут-то, как заяц из лежки, буквально ниоткуда и появился Переметов. Оказывается, это его «козел» стоял позади нашей сборной колонны самым последним. Оказывается, Переметов тоже ехал на совещание передовиков сельского хозяйства.

— Сколько я буду стоять? — кричал он. — Копать! Быстро! Работать разучились!

Хотя дело подходило уже к концу без его участия, но он бегал, кричал, указывал, куда бросать снег, и, в общем-то, мешался под руками и раздражал ребят.

— Ты чего не работаешь? — спросил он у Митяя.

— Задница запотела сидеть в машине. Жду, когда остынет. Да и указаний сверху не было.

— Вам на каждую машину по няньке надо! Распустились! Куда снег бросаешь? Направо надо, а ты куда его? — Он теперь героически шел вдоль дороги, несмотря на метель, и кричал: — Сидел-сидел! Сидел-сидел! Терпенье лопнуло!

Я брел за ним, приплясывая и пристукивая рука об руку; в движении быстро разогрелся, а от уверенности в том, что скоро поедем, даже взбодрел малость после всего происшедшего.

Когда Переметов поравнялся с нашим автомобилем, он заметил-таки Фомушкина с лопатой в руках и буркнул:

— Эх, вы! — Остановился и пояснил: — За вас бы другие руководили, а вы бы… Э, да ну вас!.. Давай-давай! — крикнул он тем шоферам, что уже кончали отрывать объезд около автомашины Конька. — Давай-давай!

— На! — зло ответил Конек и воткнул лопату в снег ручкой вниз. — Ты что: других слов не знаешь, кроме «давай-давай»?

— С кем так разговариваешь? — вспыхнул Переметов.

— Как ты — так и я, в точности.

— Знаешь — я ваш предрика!

— Пока не видал. А слыхать — слыхал. Теперь и в лицо знаю. Мое почтение! Извиняюсь, если чем обидел. Спасибо за воспитание. — Конек вновь принялся бросать снег.

Переметов был убежден, что без него мы все здесь померзли бы, а колонны ни за что не разъехались бы. Обратно он пошел тихо, уверенно, как победитель. А вновь остановившись около Фомушкина, сказал:

— Видишь, как сразу пошло дело? Уметь надо.

— Яков Гордеевич! — окликнул его Петр Михайлович. — Вы бы со старшим колонны поговорили: не доберутся ведь ваши. Надо как-то помочь. Может, из города снегоочиститель направить?

— Дело! Где старший? Кто старший?

— Вон он, подошел к передней машине, — сказал я.

Совкин действительно стоял у автомобиля Конька и махал рукой, направляя, чтобы зацепить буксир.

Переметов подошел к нему и строго вопросил:

— Кто старший?

— Нету старшего, — ответил Совкин угрюмо. — Был, да нету.

— Как так нету? Почему беспорядок?!

— Чего кричишь? — казалось, спокойно спросил Совкин не глядя. — Чего ты взбеленился — завелся с пол-оборота? Ну, я старший… Правее руля! Еще. Еще чуть. Так. Крепи буксир.

— Фамилия? — все так же строго спросил Переметов.

— А что? — Совкин наконец глянул на Переметова.

— Фамилия, спрашиваю?

— Пошел ты к…! — выдавил Совкин сквозь зубы. — Отвяжись. (Он, наверно, тоже не видел еще своего председателя.)

— А ты знаешь, кто я есть? — взъершился Переметов.

Совкин не ответил.

— Ты знаешь, кто я есть?!

— Мне сейчас нету интереса знать, кто ты есть, — равнодушно произнес Совкин.

Переметов почти бегом заспешил к своему автомобилю и уже не остановился около Фомушкина.

— Гроза выдохлась, — многозначительно сказал Петр Михайлович.

Так закончился снежный аврал.

Сначала тихо проехал автомобиль с буксиром. За ним — второй… третий…

Совкин стоял против нашего «козла», провожая каждого своего шофера. Прошло девять автомашин. Он сказал Митяю:

— Подожди ехать — прогоню свою.

— А чего ты в хвосте?

— Потеряй я последнего — пропал шофер. (Подбородок у него уже был заклеен бумажкой.)

— Постой! — Митяй вылез из кабины и шагнул к Совкину. — В суд подавать будешь? — мрачно спросил он.

— Надо бы… да мне там делать нечего, — так же мрачно ответил тот.

— Ну… отквитай… что ли… Зачисть.

Совкин взял за грудки Митяя, подтянул к себе и ударил с размаху в грудь. Митяй упал, но тотчас же встал и опять шагнул к Совкину. Фомушкин выскочил из автомобиля:

— Стой!!!

Но… Митяй протянул руку Совкину и сказал коротко:

— На!

Они пожали друг другу руки. Совкин пошел.

Через несколько минут прополз мимо нас и его автомобиль. Совкин уезжал в метель, подпирая всю колонну.

И вот мы едем, едем и едем.

Уже проскочили снежные стенки.

Беспокойно ревет мотор на сугробах.

Мы все молчим.

Вокруг метель, метель и метель. Снежинки рвутся, кажется, со всех сторон на наши фары, но, не долетая до них и будто испугавшись, стремительно брызгают веером мимо автомобиля, в стороны.

Снег, снег и снег.

Митяй изредка передергивает плечом — ему, видимо, больно. Вести машину трудно. То она воткнется в перенос, то забуксует. И тогда Митяй вновь сдает назад, включает передний мост и снова пробивает.

Метель щекочет наш брезентовый кузов, как ведьма. Я слышу, как она скребет когтями и визжит неистово.

Снег. Метель. Снег и метель. Больше ничего нет на всем белом свете. Ничего.

…Огни города возникли неожиданно: справа, слева и впереди. Мы уже в пригороде.

Первым заговорил Валерий Гаврилович:

— Дмитрий Данилыч! А почему и он в ответ не ударил? Все отступал и пятился.

Митяй объяснил не сразу:

— Духу в нем, значит, меньше.

— А зачем же ты допустил напоследок, что он ударил?

— Да ведь… я тоже… виноват. Он ведь… не такой уж плохой, не хуже прочих, пожалуй… А что духом слабей оказался, то люди разные бывают… Он раньше нас все обмозговал, да только боялся — совещание в снегу устроим. Так и отрубил мне там, с глазу на глаз: «Сто советов — сто минут, а корова сдохла».

— На междугороднюю! — скомандовал Валерий Гаврилович. А когда подъехали к телефонной станции, он сказал нам: — Вылезайте — погрейтесь минут десяток.

Мы ввалились на переговорную сразу пятеро, внеся за собой пар и холод. Валерий Гаврилович, не закрывая двери кабины, как был в

тулупе, кричал в трубку:

— Дорожный участок?! Сил Степаныч! Один снегоочиститель надо — от Камышевца до Лопыревки. Во что бы то ни стало! Да нет же, нет: сейчас, немедленно. Колонна из Корневцов загибнет… И пусть проводят их прямо до твоего участка. Организуй ночлег, навари картошки. Понял? Ребята выбились из сил. Понял или не понял? Пропадут ведь. Ну вот. Это хорошо. Завтра позвоню утром. Не подведи меня, пожалуйста. Бывай!

Мы поехали в Дом колхозника, где для моих попутчиков были забронированы места. Мне же предстояло пойти на ночлег к Ивану Васильевичу.

Город жил обычной жизнью. Никто не знал, что там сейчас в поле, в снегах.

— Если еще раз повторится — не обижайся. Понял? — Это сказал Валерий Гаврилович Митяю. Сказал так строго, как я от него еще никогда не слышал.

— Ладно, — ответил тот. А после некоторого молчания спросил: — Мне-то куда?

— Отвезешь Ивана Васильевича и Тихона Ивановича. Машину — во двор, а сам — с нами. Стоп! Мы тут и сойдем. Вон он, Дом колхозника. Видишь?

Петр Михайлович все время молчал и думал. Теперь он вышел из автомобиля вместе с Валерием Гавриловичем и тоже молча пожал нам руки на прощанье.

Снег. Метель. У яркого света фонарей она кружилась на одном месте. В городе не разобрать — откуда дует ветер. А он дует, настойчивый и упорный, — там, в поле. В городе еще можно идти против ветра, в поле — очень трудно.

10. И ЗИМОЙ КАМЫШИ ШЕЛЕСТЯТ

Приехал в Камышевец несколько дней тому назад. И вот сижу. Луна влезла в искристое окно и расплылась там — большая, лупоглазая, холодная. А окошко мое стало каким-то задумчивым-задумчивым.

В этот серебряно-синий вечер я зажигаю лампу. И вечер провалился: как только засветила лампешка, сразу же наступила ночь.

Зачем прогонять луну из окна? Пусть оно искрится и переливается блестками. Тогда мне, кажется, совсем немного лет и я стою у новогодней елки.

Тушу лампу и жду последний, прощальный вздох такого короткого зимнего дня… И он улетел, зацепив за мое окошко. Иначе отчего же оно вдруг заблестело в уголке и тут же померкло, стало серым. Конечно же, зацепил!

Ночь пришла по пятам за днем. Зимой он уходит медленно и нехотя. Даже трудно различить, когда у них наступает час передачи дежурства. Кажется, оба, день и ночь, некоторое время живут в Камышевце вместе, без спора. Оттого так долги здесь зимние вечера. Оттого же и огни зажигаются у нас еще днем: пусть сами разбираются — кому и когда уходить и кому приходить на пост в Камышевец — дню или ночи.

А я знаю, когда совсем уходит день: он тихо-тихо взмахнет нежным крылом над снегами, а иной раз прошуршит в камышах, чуть встряхиваясь.

Тогда зажигаю огонек и у себя. И вспоминаю. И слышу.

Чу! Шепчут… Как музыка, шелестят в душе камыши и зимой. Лежит у меня к ним сердце.

То они тихие и покорные, нежные, как мизинчик ребенка, когда весной стрелочками только-только выходят из воды. То они могучие и спокойные, непробиваемой стеной охраняющие утиные топи, куда не каждый охотник отважится заглянуть даже и на челноке. То они буйные и непокорные в бурю, строптивые, бросающие вызов любому бурану, ливню, граду — чему угодно! И тогда они величественны в своем неповиновении: их можно только согнуть, но сломать — никогда.

То эти же самые камыши, пожелтевшие, с обвисшими, беспомощными листьями, высокие и тощие, раздетые первыми морозами почти догола, стоят над свинцово-синей водой и с сожалением смотрятся в зеркало окрайков ледяной корочки у берега; с грустью провожают они свои же опадающие листья, что лодочками беспокойно вертятся на воде и уплывают, будто оглядываясь, уплывают безвозвратно… Тогда камыши шумят о прошлом…

Когда же холодное и тоже желтое солнце кое-как еще растопит иней, то редкие капельки падают в воду с умирающих, уже полусухих стеблей… Падают капля за каплей… То плачут камыши, тихо и безропотно.

Зимой я всегда вспоминаю о них с грустью. И очень хочется, чтобы скорее пришла весна и я вновь и вновь почувствовал новое в людях и в самом себе, чтобы вновь пожал руку дорогим друзьям-охотникам, моим неизменным спутникам жизни. Встретиться с ними в камышах… А кое с кем… молча разъехаться челноками в стороны.

Разные бывают люди — разные про них и песни. Разные люди и в Камышевце: иного из них пронесешь в сердце через всю жизнь, как близкого и родного, а от иного и на старости лет кровоточат раны.

Ах, камыши, камыши! Чего только не вспомнишь, слушая вас в Далеком.

Шумят камыши, шумят…

Вижу, как уходит морозный день.

И знаю: сколько бы раз ни повторялась зимняя ночь, а весна будет. И солнце!

Много света будет и от людей на земле. Верю.

1963 г.

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО

Посвящается
Александру Трифоновичу
Твардовскому

Повесть

Глава первая

ДВОЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Жалобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь туда-сюда, — искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с молоком.

Да и что оставалось делать месячному щенку, если он ничего еще не понимал в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет, несмотря ни на какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока.

Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку.

Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что он — Бим.

В два месяца он с удивлением увидел вещи: высоченный для щенка письменный стол, а на стене — ружье, охотничью сумку и лицо человека с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен: раз не шевелится — интерес небольшой. Правда, несколько позже, потом, он нет-нет да и посмотрит: что бы это значило — лицо выглядывает из рамки, как из окошка?

Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных брусочков, каждый из которых хозяин мог вынуть и вставить обратно.

В возрасте четырех месяцев, когда Бим уже смог дотянуться на задних лапках, он сам вытащил брусочек и попытался его исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима листок. Очень забавно было раздирать на мелкие части тот листок.

— Это еще что?! — прикрикнул хозяин. — Нельзя! — И тыкал Бима носом в книжку. — Бим, нельзя. Нельзя!

После такого внушения даже человек откажется от чтения, но Бим — нет: он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то на один бок, то на другой. И, видимо, решил-таки: раз уж нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван; там отжевал сначала один угол переплета, потом второй, а забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать лапами играючи, да еще с припрыгом.

Вот тут-то он и узнал впервые, что такое «больно» и что такое «нельзя». Хозяин встал из-за стола и строго сказал:

— Нельзя! — И трепанул за ухо. — Ты же мне, глупая твоя голова, «Библию для верующих и неверующих» изорвал. — И опять: — Нельзя! Книги — нельзя! — Он еще раз дернул за ухо.

Бим взвизгнул да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на спине, он смотрел на хозяина и не мог понять, что же, собственно, происходит.

— Нельзя! Нельзя! — долбил тот нарочито и совал снова и снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки, гладил и говорил одно и то же: — Нельзя, мальчик, нельзя, глупыш, — И сел. И посадил на колени.

Так в раннем возрасте Бим получил от хозяина мораль через «Библию для верующих и неверующих». Бим лизнул ему руку и внимательно смотрел в лицо.

Он уже любил, когда хозяин с ним разговаривал, но понимал пока всего лишь два слова: «Бим» и «нельзя». И все же очень, очень интересно наблюдать, как свисают на лоб белые волосы, шевелятся добрые губы и как прикасаются к шерстке теплые ласковые пальцы. Зато Бим уже абсолютно точно умел определить — веселый сейчас хозяин или грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет. А он бывал и грустным. Тогда говорил сам с собой и обращался к Биму:

— Так-то вот и живем, дурачок. Ты чего смотришь на нее? — указывал он на портрет. — Она, брат, умерла. Нет ее. Нет… — Он

гладил Бима и в полной уверенности приговаривал: — Ах ты мой дурачок, Бимка. Ничего ты еще не понимаешь.

Но прав был он лишь отчасти, так как Бим понимал, что сейчас играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и «мальчик» — тоже. Так что когда его большой друг окликал дурачком или мальчиком, то Бим шел немедленно, как и на кличку. А раз уж он, в таком возрасте, осваивал интонацию голоса, то, конечно же, обещал быть умнейшей собакой.

Но только ли ум определяет положение собаки среди своих собратьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было в порядке.

Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельство. Хозяин мог бы по этим анкетам дойти не только до прадеда и прабабки Бима, но и знать, при желании, прадедова прадеда и прабабушкину прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно отразился на его судьбе: хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-гордон), но окрас оказался абсолютно нетипичным — вот в чем и соль. По стандартам охотничьих собак сеттер-гордон должен быть обязательно «черный, с блестящим синеватым отливом — цвета воронова крыла, и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами»; даже белые отметины на не предусмотренных стандартом местах считаются большим пороком у гордонов. Бим же выродился таким: туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом, только одно ухо и одна нога черные, действительно — как вороново крыло; второе ухо мягкого желтовато-рыженького цвета. Даже удивительно подобное явление: по всем статьям — сеттер-гордон, а окрас — ну ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял вот и выскочил в Биме: родители — гордоны, а он — альбинос.

В общем-то, с такой разноцветностью ушей и с подпалинками под большими умными темно-карими глазами морда Бима была даже симпатичней, приметней, может быть, даже умнее или, как бы сказать, философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя даже назвать мордой, а скорее — собачьим лицом. Но по

законам кинологии белый окрас, в конкретном случае, считается признаком вырождения. Во всем — красавец, а по стандартам шерстного покрова — явно сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима.

Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку и щенкам не дано природой до появления на свет выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об этом. Он жил себе и пока радовался.

Но хозяин-то беспокоился: дадут ли на Бима родословное свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничьих собак, или он останется пожизненным изгоем? Это будет известно лишь в шестимесячном возрасте, когда щенок (опять же по законам кинологии) определится и оформится в близкое к тому, что называется породной собакой.

Владелец матери Бима в общем-то уже решил было выбраковать белого из помета, то есть утопить, но нашелся чудак, которому стало жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним хозяином Бима: глаза ему понравились, видите ли, умные. Надо же! А теперь и стоит вопрос: дадут или не дадут родословную?

Тем временем хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть немного приблизиться к истине и доказать со временем, что Бим не виноват. Именно для этого он и начал выписывать из разных книг в толстую общую тетрадь все, что могло оправдать Бима, как действительного представителя породы сеттеров. Бим был уже его другом, а друзей всегда надо выручать. В противном случае — не ходить Биму победителем на выставках, не греметь золотым медалям на груди: какой бы он ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен.

Какая же все-таки несправедливость на белом свете!

Записки хозяина

В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным доверием и лаской — чувствами всегда неотразимыми, если между ними не втерлось подхалимство, каковое может потом, постепенно,

превратить все в ложное — и доброту, и доверие, и ласку. Жуткое это качество — подхалимаж. Не дай-то боже! Но Бим — пока малыш и милый собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина.

Странно, что и я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается беспокойство от вопроса: дадут или не дадут свидетельство?

Несколько дней назад был в музее на художественной выставке и сразу же обратил внимание на картину Д. Бассано (XVI век) «Моисей иссекает воду из скалы». Там на переднем плане изображена собака — явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом: туловище белое, морда же, рассеченная белой проточиной, черная, уши *тоже черные*, а нос белый, на левом плече черное пятно, задний кострец тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду из человеческой миски.

Вторая собака, длинношерстная, *тоже с черными ушами*. Обессилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и смиренно ожидает воду.

Рядом — кролик, петух, слева — два ягненка.

Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний план? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с глубокой древности, никогда их не покидали, даже в несчастье, даже на грани гибели народа, а собаки оставались преданными и верными, готовыми погибнуть вместе с человеком.

Ведь за минуту до этого все были в отчаянии, у них не было ни капли надежды. И они говорили в глаза спасшему их от рабства Моисею:

«О, если бы мы умерли от руки господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывел ты нас в эту пустыню, чтобы всех собравшихся уморить голодом».

Моисей с великой горестью понял, как глубоко овладел людьми дух рабский: хлеб в достатке и котлы с мясом им дороже свободы. И вот он высек воду из скалы. И было в тот час благо всем, идущим за ним, что и ощущается в картине Бассано.

А может быть, художник и поместил собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Все может быть. Это было давно.

Картине Д. Бассано более трехсот лет. Неужели же черное и белое в Биме идет от тех времен? Не может того быть. Впрочем, природа есть природа.

Однако вряд ли это поможет чем-то отстранить обвинение против Бима в его аномалиях расцветки тела и ушей. Ведь чем древнее будут примеры, тем крепче его обвинят в атавизме и неполноценности.

Нет, надо искать что-то другое. Если же кто-то из кинологов и напомнит мне о картине Д. Бассано, то можно, на крайний случай, сказать просто: а при чем тут черные уши у Бассано?

Поищем данные ближе к Биму по времени.

Выписка из стандартов охотничьих собак: «Сеттеры-гордоны выведены в Шотландии… Порода сложилась *к началу второй половины XIX столетия*… Современные шотландские сеттеры, сохранив свою мощь и массивность костяка, приобрели более быстрый ход. *Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и незлобные*, они рано и легче принимаются за работу, успешно используются и на болоте, и в лесу… Характерна отчетливая, спокойная, высокая стойка с головой не ниже уровня холки…»

Из двухтомника «Собаки» Л. П. Сабанеева, автора замечательных книг — «Охотничий календарь» и «Рыбы России»:

«Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, которая *в течение многих столетий* получала, так сказать, домашнее воспитание, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую культурную и *интеллигентную* породу».

Так! Бим, следовательно, собака интеллигентной породы. Это уже может пригодиться.

Из той же книги Л. П. Сабанеева:

«В 1847 году Пэрлендом из Англии были привезены, для подарка Великому Князю Михаилу Павловичу, два замечательных красивых сеттера очень редкой породы… Собаки были непродажныя и променены на лошадь, стоившую 2000 рублей…»

Вот. Вез для подарка, а содрал цену двадцати крепостных. Но виноваты ли собаки? И при чем тут Бим? Это непригодно.

Из письма известного в свое время природолюба, охотника и собаковода С. В. Пенского к Л. П. Сабанееву:

«Во время Крымской войны я видел очень хорошего красного сеттера у Сухово-Кобылина, автора „Свадьбы Кречинского“, и желто-пегих в Рязани у художника Петра Соколова».

Ага, это уже ближе к делу. Интересно: даже сатирик имел тогда сеттера. А у художника — желто-пегий. Не оттуда ли твоя кровь, Бим? Вот бы! Но зачем тогда… черное ухо? Непонятно.

Из того же письма:

«Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый доктор Берс. Одну из красных сук он поставил *с черным сеттером* покойного Императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и куда они девались — не знаю; *знаю только, что одного из них вырастил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой*».

Стоп! Не тут ли? Если твоя нога и ухо черны от собаки Льва Николаевича Толстого, ты счастливая собака, Бим, даже без личного листка породы, самая счастливая из всех собак на свете. Великий писатель любил собак.

Еще из того же письма:

«*Императорского черного кобеля* я видел в Ильинском после обеда, на который Государь пригласил членов правления Московского общества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная собака, с прекрасной головой, хорошо одетая, но сеттериного типа в ней было мало; к тому же ноги были слишком длинны, и одна из ног *совершенно белая*. Говорят, сеттер этот был подарен покойному Императору каким-то польским паном, и слух ходил, что кобель-то был не совсем кровный».

Выходит, польский пан облапошил императора? Могло быть. Могло это быть и на собачьем фронте. Ох уж этот мне черный императорский кобель! Впрочем, тут же рядом идет кровь желтой суки Берса, обладавшей «чутьем необыкновенным и замечательной сметкой». Значит, если даже нога твоя, Бим, от черного кобеля императора, то весь-то ты вполне можешь быть дальним потомком

собаки величайшего писателя… Но нет, Бим, дудки! Об императорском — ни слова. Не было — и все тут. Еще чего недоставало.

Что же остается на случай возможного спора в защиту Бима?

Моисей отпадает по понятным причинам. Сухово-Кобылин отпадает и по времени, и по окрасу. Остается Лев Николаевич Толстой: а) по времени ближе всех; б) отец его собаки был черным, а мать красная. Все подходяще. Но отец-то, черный-то, — императорский, вот загвоздка.

Как ни поверни, о поисках дальних кровей Бима приходится молчать. Следовательно, кинологи будут определять только по родословной отца и матери Бима, как у них и полагается: нет белого в родословной и — аминь. А Толстой им — ни при чем. И они правы. Да и в самом деле, этак каждый может происхождение своей собаки довести до собаки писателя, а там и самому недалеко до Л. Н. Толстого. И действительно: сколько их у нас, Толстых-то! Ужас как много, помрачительно много.

Как ни обидно, но разум мой готов уже смириться с тем, что Биму быть изгоем среди породистых собак. Плохо. Остается одно: Бим — собака интеллигентной породы. Но и это — не доказательство (на то и стандарты).

— Плохо, Бим, плохо, — вздохнул хозяин, отложив ручку и засунув в стол общую тетрадь.

Бим, услышав свою кличку, поднялся с лежака, сел, наклонил голову на сторону черного уха, будто слушал только желто-рыженьким. И это было очень симпатично. Всем своим видом он говорил: «Ты хороший, мой добрый друг. Я слушаю. Чего же ты хочешь?»

Хозяин сразу же повеселел от такого вопроса Бима и сказал:

— Ты молодец, Бим! Будем жить вместе, хотя бы и без родословной. Ты хороший пес. Хороших собак все любят. — Он взял Бима на колени и гладил его шерстку, приговаривая: — Хорошо. Все равно хорошо, мальчик.

Биму было тепло и уютно. Он тут же на всю жизнь понял: «Хорошо» — это ласка, благодарность и дружба.

И Бим уснул. Какое ему дело до того, кто он, его хозяин? Важно — он хороший и близкий.

— Эх ты, черное ухо, императорская нога, — тихо сказал тот и перенес Бима на лежак.

Он долго стоял перед окном, всматриваясь в темно-сиреневую ночь. Потом взглянул на портрет женщины и проговорил:

— Видишь, мне стало немножко легче. Я уже не одинок. — Он не заметил, как в одиночестве постепенно привык говорить вслух «ей» или даже самому себе, а теперь и Биму. — Вот я и не один, — повторил он портрету.

А Бим спал.

Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут «Иван Иваныч». Умный щенок, сообразительный. И мало-помалу он понял, что ничего нельзя трогать, можно только смотреть на вещи и людей. И вообще все нельзя, если не разрешит или не прикажет хозяин. Так слово «нельзя» стало главным законом жизни Бима. А глаза Ивана Иваныча, интонация, жесты, четкие слова-приказы и слова ласки были руководством в собачьей жизни. Более того, самостоятельные решения к какому-либо действию никоим образом не должны были противоречить желаниям хозяина. Зато Бим постепенно стал даже угадывать некоторые намерения друга. Вот, например, стоит он перед окном и смотрит, смотрит вдаль и думает, думает. Тогда Бим садится рядом и тоже смотрит и тоже думает. Человек не знает, о чем думает собака, а собака всем видом своим говорит: «Сейчас мой добрый друг сядет за стол, обязательно сядет. Походит немного из угла в угол и сядет и будет водить по белому листу палочкой, а та будет чуть-чуть шептать. Это будет долго, потому посижу-ка и я с ним рядом». Затем ткнется носом в теплую ладонь. А хозяин скажет:

— Ну, что ж, Бимка, будем работать, — И, правда, садится.

А Бим калачиком ложится в ногах или, если сказано «На место», уйдет на свой лежак в угол и будет ждать. Будет ждать взгляда, слова, жеста. Впрочем, через некоторое время можно и сойти с места, заниматься круглой костью, разгрызть которую невозможно, но зубы точить — пожалуйста, только не мешай.

Но когда Иван Иваныч закроет лицо ладонями, облокотившись на стол, тогда Бим подходит к нему и кладет разноухую мордашку на колени. И стоит. Знает, погладит. Знает, другу что-то не так. А Иван Иваныч поблагодарит:

— Спасибо, милый, спасибо, Бимка. — И будет снова шептать палочкой по белой бумаге.

Так было дома.

Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве — все было позволительно. Однако и здесь, после восьми месяцев жизни Бима, все пошло по командам хозяина: «Поди-поди!» — можешь играть, «Назад!» — очень понятно, «Лежать!» — абсолютно ясно, «Ап!» — перепрыгивай, «Ищи!» — разыскивай кусочки сыра, «Рядом!» — иди рядом, но только слева, «Ко мне!» — быстро к хозяину — будет кусочек сахара. И много других слов узнал Бим до года. Друзья все больше и больше понимали друг друга, любили и жили на равных — человек и собака.

Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он повзрослел за несколько дней. Произошло это только потому, что Бим вдруг открыл у хозяина большой, поразительный недостаток.

Дело было так. Тщательно и старательно шел Бим по лугу челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг среди разных запахов трав, цветов, самой земли и реки ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал Бим, — воробьев там разных, веселых синиц, трясогузок и всякой мелочи, догнать какую нечего и пытаться (пробовали). Пахло чем-то неизвестным, что будоражило кровь. Бим приостановился и оглянулся на Ивана Иваныча. А тот повернул в сторону, ничего не заметив. Бим был удивлен: друг-то не чует. Да ведь он же калека! И тогда Бим принял решение сам: тихо переступая в потяжке, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Ивана Иваныча. Шажки становились все реже и реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать, не зацепить будылинку. Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим, так и не опустив на землю правую переднюю лапу, замер на месте, застыл, будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным

скульптором. Вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения самого себя.

О нет, хозяин тихо подходит, гладит чуть-чуть вздрагивающего в трепете Бима:

— Хорошо, хорошо, мальчик. Хорошо. — И берет за ошейник.. — Вперед… Вперед…

А Бим не может — нет сил.

— Вперед… Вперед… — тянет его Иван Иваныч.

И Бим пошел! Тихо-тихо. Остается совсем чуть — кажется, неведомое рядом. Но вдруг приказ резко:

— Вперед!!!

Бим бросился. Шумно выпорхнул перепел. Бим рванулся за ним и-и-и… погнал, страстно, изо всех сил.

— Наза-ад! — крикнул хозяин.

Но Бим ничего не слышал, ушей будто и не было.

— Наза-ад! — И свисток. — Наза-ад! — И свисток.

Бим мчался до тех пор, пока не потерял из виду перепела, а затем, веселый и радостный, вернулся. Но что же это значит? Хозяин сумрачен, смотрит строго, не ласкает. Все было ясно: ничего не чует его друг! Несчастный друг… Бим как-то осторожненько лизнул руку, выражая этим трогательную жалость к выдающейся наследственной неполноценности самого близкого ему существа.

Хозяин сказал:

— Да ты вовсе не о том, дурачок. — И веселее: — А ну-ка, начнем, Бим, по-настоящему. — Он снял ошейник, надел другой (неудобный) и пристегнул к нему длинный ремень. — Ищи!

Теперь Бим разыскивал *запах* перепела — больше ничего. А Иван Иваныч направлял его туда, куда переместилась птица. Биму было невдомек, что его друг видел, где приблизительно сел перепел после позорной погони (чуять, конечно, не чуял, а видеть — видел).

И вот тот же запах! Бим, не замечая ремня, сужает челнок, тянет, тянет, поднял голову и тянет верхом… Снова стойка! На фоне заката солнца он поразителен в своей необычной красоте, понять которую дано не многим. Дрожа от волнения, Иван Иваныч взял конец ремня, крепко завернул на руку и тихо приказал:

— Вперед… Вперед…

Бим пошел на подводку. И еще раз приостановился.

— Вперед!!!

Бим так же бросился, как и в первый раз. Перепел теперь вспорхнул с жестким стрекотом крыльев. Бим опять ринулся было безрассудно догонять птицу, но… рывок ремня заставил его отскочить назад.

— Назад!!! — крикнул хозяин. — Нельзя!!!

Бим, опрокинувшись, упал.

Он не понял — за что так. И тянул ремень вновь в сторону перепела.

— Лежать!

Бим лег.

И еще раз все повторилось, уже по новому перепелу. Но теперь Бим почувствовал рывок ремня раньше, чем тогда, а по приказу лег и дрожал от волнения, страсти и в то же время от уныния и печали: все это было в его облике от носа до хвоста. Ведь так больно! И не только от жестокого, противного ремня, а еще и от колючек внутри ошейника.

— Вот так-то, Бимка. Ничего не поделаешь — так надо. — Иван Иваныч, лаская, поглаживал Бима.

С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же дня Бим понял, что только он, только он один может узнать, где птица, и что хозяин-то беспомощен, а нос у него пристроен только для виду. Началась настоящая служба, в основе ее лежали три слова: нельзя, назад, хорошо.

А потом — эх! — потом ружье! Выстрел. Перепел падал, как ошпаренный кипятком.

И догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти, поднять на крыло и лечь, а остальное сделает друг.

Игра на равных: хозяин без чутья, собака без ружья.

Так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы.

К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому: скажи Иван Иваныч «Подай» — будет сделано; скажи он «Подай тапки» — подаст, «Неси миску» — принесет, «На стул!» — сядет на стул. Да что там! По глазам уже понимал: хорошо смотрит хозяин на

человека, и Биму он — знакомый с той же минуты; недружелюбно глянет — и Бим иной раз даже и взрычит; даже лесть (ласковую лесть) он улавливал в голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил — хоть на хвост наступи. Лаем предупредить ночью, что к костру подходит чужой, пожалуйста, но укусить — ни в коем случае. Такая уж интеллигентная порода.

Что до интеллигентности, то Бим даже умел так: научился сам, дошел своим умом, царапаться в дверь, чтобы открыли. Бывало, заболеет Иван Иваныч и не идет с ним гулять, а выпускает одного. Бим побегает малость, управится как и полагается и спешит домой. Поцарапает в дверь, став на задние лапы, чуть поскулит просяще, и дверь открывается. Хозяин, тяжело шлепая по прихожей, встречает, ласкает и снова ложится в постель. Это когда он, пожилой человек, прихварывал (кстати, побаливал он все чаще, чего Бим не мог не заметить).

Бим твердо усвоил: поцарапай в дверь, тебе откроют обязательно; двери и существуют для того, чтобы каждый мог войти: попросись — тебя впустят. С собачьей точки зрения, это было уже твердое убеждение.

Только не знал Бим, не знал и не мог знать, сколько потом будет разочарований и бед от такой наивной доверчивости, не знал и не мог знать, что есть двери, которые не открываются, сколько в них ни царапайся.

Как оно там будет дальше, неизвестно, но пока остается сказать одно: Бим, пес с выдающимся чутьем, так-таки и остался сомнительным — свидетельство о родословной не выдали. Дважды Иван Иваныч выводил его на выставку: снимали с ринга без оценки. Значит — изгой.

И все же Бим — не наследственная бездарь, а замечательная, настоящая собака: он начал работать по птице с восьми месяцев. Да еще как! Хочется верить, что перед ним открывается хорошее будущее.

Глава вторая

ВЕСЕННИЙ ЛЕС

На втором сезоне, то есть на третьем году от рождения Бима, Иван Иваныч познакомил его и с лесом. Это было очень интересно и собаке, и хозяину.

В лугах и на поле, там все ясно: простор, трава, хлеба, хозяина всегда видно, ходи челноком в широком поиске, ищи, найди, делай стойку и жди приказа. Прелесть! А тут, в лесу, совсем-совсем иное дело.

Была ранняя весна.

Когда они пришли впервые, вечерняя заря только начиналась, а меж деревьями уже сумерки, хотя листья еще и не появились. Все внизу в темных тонах: стволы, прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые сухие стебли трав, даже плоды шиповника, густо-рубиновые осенью, теперь, выдержав зиму, казались кофейными зернами.

Ветви слегка шумели от легкого ветра, жидко и голо; они будто ощупывали друг друга, то притрагиваясь концами, то чуть прикасаясь серединой сучьев: жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались — деревья казались живыми даже и безлистые. Все было таинственно-шуршащим и густо-пахучим: и деревья, и листва под ногами, мягкая, с весенним запахом лесной земли, и шаги Ивана Иваныча, осторожные и тихие. Его ботинки тоже шуршали, а следы пахли куда сильнее, чем в поле. За каждым деревом что-то незнакомое, таинственное. Поэтому-то Бим и не отходил от Ивана Иваныча дальше двадцати шагов: пробежит вперед — влево, вправо — и катит назад и смотрит в лицо, спрашивая: «Мы зачем сюда попали?»

— Не поймешь, что к чему? — догадался Иван Иваныч. — Поймешь, Бимка, поймешь. Подожди малость.

Так и шли, присматривая друг за другом.

Но вот они остановились на широкой поляне, на пересечении двух просек: дороги на все четыре стороны. Иван Иваныч стал за куст орешника, лицом к заре, и смотрел вверх. Бим тоже поглядывал туда, изо всех сил стараясь сообразить, что же там надо высматривать.

Вверху было светло, а здесь, внизу, становилось все темнее и темнее. Кто-то прошуршал по лесу и притих. Еще прошуршал и опять притих. Бим прижался к ноге Ивана Иваныча — так он спрашивал: «Что там? Кто там? Может, пойдем посмотрим?»

— Заяц, — еле слышно сказал хозяин. — Все хорошо, Бим. Хорошо. Заяц. Пусть его бегает.

Ну, раз «хорошо», значит, все в порядке. «Заяц» — тоже понятно: не раз, когда Бим натыкался на след зверька, ему повторяли это слово. А однажды видел и самого зайца, пытался его догнать, но заработал строгое предупреждение и был наказан. Нельзя!

Итак, недалеко прошуршал заяц. А дальше что?

Вдруг вверху кто-то, невидимый и неведомый, захоркал: «Хор-хор!.. Хор-хор!.. Хор-хор!..» Бим услышал это первым и вздрогнул. Хозяин тоже. Оба смотрели вверх, только вверх… Неожиданно, на фоне багряно-синеватой зари, вдоль просеки показалась птица. Она летела прямо на них, изредка выкрикивала так, будто это не птица, а зверек, летит и хоркает. Но то была все-таки птица. Она казалась большой, крылья же совершенно были бесшумны (не то что перепел, куропатка или утка). Одним словом, незнакомое летело вверху. Иван Иваныч вскинул ружье. Бим, как по команде, лег, не спуская взора с птицы… В лесу выстрел был таким резким и сильным, какого раньше Бим не слышал никогда. Эхо прокатилось по лесу и замерло далеко-далеко.

Птица упала в кусты, но друзья быстренько ее отыскали. Иван Иваныч положил ее перед Бимом и сказал:

— Знакомься, брат: *вальдшнеп.* — И еще раз повторил: — Вальдшнеп.

Бим обнюхивал, трогал лапой за длинный нос, потом сел, подрагивая и перебирая передними лапами в удивлении. Конечно же, он этим и говорил про себя: «Таких носов еще не вида-ал. Вот это действительно но-ос!»

А лес слегка шумел, но все тише и тише. Потом и совсем затих как-то сразу, будто кто-то невидимый легонько взмахнул могучим крылом над деревьями в последний раз: хватит шороху. Ветви стали недвижны, деревья, казалось, засыпали, изредка вздрагивая в полутьме.

Пролетели еще три вальдшнепа, но Иван Иваныч не стрелял. Хотя последнего они уже и не видели в темноте, а только слышали голос, но Бим был удивлен: почему друг не стрелял даже и в тех, каких хорошо видно? От этого Бим волновался. А Иван Иваныч или просто смотрел вверх, или, потупившись, слушал тишину. Оба молчали.

Вот уж когда не надо никаких слов — ни человеку, ни тем более собаке! Только напоследок, перед уходом, Иван Иваныч проговорил:

— Хорошо, Бим! Жизнь начинается вновь. Весна.

По интонации Бим понял, что другу сейчас приятно.

И он ткнул его носом в колено, повиливая хвостом: хорошо, дескать, о чем речь!

…Второй раз они приходили сюда же поздним утром, но уже без ружья.

Ароматные набухшие почки березы, могучие запахи кореньев, тончайшие струйки от пробивающихся ростков трав — все это было поразительно ново и восхитительно.

Солнце пронизывало в лесу все насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом лучей. И было тихо. Главное — было тихо. До чего же хороша весенняя утренняя тишина в лесу!

На этот раз Бим стал смелее: все отлично просматривается (не то что тогда в сумерках). И он носился по лесу вволю, не упуская, однако, из виду хозяина. Все было великолепно.

Наконец Бим наткнулся на ниточку запаха вальдшнепа. И потянул. И сделал классическую стойку. Иван Иваныч послал «Вперед», а стрелять-то ему и нечем. Да еще приказал лежать, как полагается при взлете птицы. Абсолютно непонятно: видит хозяин или нет? Бим искоса поглядывал на него до тех пор, пока не убедился — видит.

По второму вальдшнепу все получилось так же. Что-то похожее на обиду Бим теперь все-таки выражал: настороженный взгляд, побежка сторонкой, даже попытки к неповиновению — одним словом, недовольство назревало и искало выхода. Именно поэтому-то Бим и погнался за взлетевшим, третьим уже, вальдшнепом, как обыкновенная дворняга. Но за вальдшнепом далеко не поскачешь: мелькнул в ветвях, и нет его. Бим вернулся недовольный, да к тому же еще был наказан. Что же, он лег в сторонке и глубоко вздохнул (собаки здорово умеют так делать).

Все это еще можно бы перенести, если бы не добавилась вторая обида. Бим на этот раз открыл новый недостаток у хозяина — извращенное чутье: и без того бесчутый, да еще… А дело было так.

Остановился Иван Иваныч и смотрит, смотрит по сторонам, и нюхает (туда же!). Потом шагнул к дереву, присел и тихонечко, одним пальцем, погладил цветок, малюсенький такой (для Ивана Иваныча он

почти без запаха, а для Бима вонючий до невозможности). И что ему — в том цветке? Но хозяин сидел, улыбался. Бим, конечно, сделал вид, что ему тоже вроде бы хорошо, но это только исключительно из уважения к личности, а на самом деле он был немало удивлен.

— Ты посмотри, посмотри-ка, Бим! — воскликнул Иван Иваныч и наклонил нос собаки к цветку.

Такого Бим уже не мог вынести — он отвернулся. Затем незамедлительно отошел и лег на полянке, всем видом выражая одно: «Ну и нюхай свой цветок!» Расхождения требовали срочного выяснения отношений, но хозяин смеялся в глаза Биму счастливым смехом. И это было обидно. «Тоже мне, хохочет!»

А тот опять к цветку:

— Здравствуй, первенький!

Бим понял точно: «здравствуй» сказано не ему.

Ревность закралась в собачью душу, если можно так выразиться, вот что случилось. Хотя дома отношения как будто и наладились, но день для Бима получился неудачный: была дичь — не стреляли, побежал сам за птицей — наказали, да еще — цветок тот. Нет, все-таки и у собаки жизнь бывает собачья, ибо она живет под гипнозом трех «китов»: «Нельзя», «Назад», «Хорошо».

Только не ведали они, ни Бим, ни Иван Иваныч, что когда-то этот день, если бы они вспомнили, показался бы им огромным счастьем.

Записки хозяина

В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали поросль, но уже плачут, когда мертвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви еще не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга, — неожиданно донесся запах подснежника! Еле-еле заметный, но это — запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя почти и неощутим. Смотрю вокруг — оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля голубого неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого, — и счастливого, и несчастного, — он сейчас — украшение жизни.

Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себе все лучшее, что есть и человечестве, — доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле.

А через несколько дней (вчера) мы были с Бимом на том же месте. Небо окропило лес уже тысячами голубых капель. Ищу, высматриваю: где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он. Он или не он? Не знаю. Их так много, что того уже не заметить, не найти — затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. А ведь он такой маленький, но героический, такой тихий, но до того напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки, сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке.

Жизнь идет.

…А Биму ничего из этого недоступно понять. Даже обиделся в первый раз, заревновал. Впрочем, когда было уже много цветов, он и тогда не обращал на них внимания. При натаске же вел себя — не ахти: расстроился без ружья. Мы с ним на разных ступенях развития, но очень и очень близки. Природа творит по устойчивому закону: необходимость одного в другом; начиная с простейших и кончая высокоразвитой жизнью, везде — этот закон…

Разве смог бы я вынести столь жуткое одиночество, если бы не было Бима?

…Как *она* была мне необходима! *Она* тоже любила подснежники. Прошлое как сон…

А не сон ли — настоящее? Не сон ли это — вчерашний весенний лес с голубизной на земле? Что ж: голубые сны — божественно-целительное лекарство, пусть и временное. Конечно, временное. Ибо если бы даже и писатели проповедовали только голубые сны, уходя от серого цвета, то человечество перестало бы беспокоиться о будущем, приняв настоящее как вечное и в будущем. Удел обреченности во времени и состоит в том, что настоящее должно стать только прошлым. Не во власти человека приказать: «Солнце, остановись!» Время неостановимо, неудержимо и неумолимо. Все — во времени и движении. А тот, кто ищет только устойчивого голубого покоя, тот весь уже в прошлом, будь он молодым радетелем о себе или престарелым — возраст не имеет значения. Голубое имеет свой звук, оно звучит как

покой, забвение, но только временное, всего лишь для отдыха; такие минуты никогда не надо пропускать.

Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так:

«О беспокойный Человек! Слава тебе вовеки, думающему, страдающему ради будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. Иди, отдохни. Подснежники — к счастью, говорят в народе».

…А Бим дрыхнет. И видит сон: подрыгивает ногами — бежит во сне. Этому подснежники «до лампочки»: голубое он видит только серым (так уж устроено зрение у собаки). Природа создала как бы очернителя действительности. Поди убеди его, милого друга, чтобы он видел с точки зрения человека. Хоть голову отруби, а видеть будет по-своему. Вполне самостоятельный пес.

Глава третья

ПЕРВЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ БИМА

Прошло лето, веселое для Бима, радостное, заполненное дружбой с Иваном Иванычем. Походы в луга и болота (без ружья), солнечные дни, купание, тихие вечера на берегу реки — что еще надо любой собаке? Ничего не надо — это точно.

При тренировке и натаске они встречались и с охотниками. С этими знакомство происходило незамедлительно, потому что с каждым таким человеком была собака. Еще до того, как сходились хозяева, обе собаки бежали друг к другу и коротко беседовали на собачьем языке жестов и взглядов:

«Ты кто: он или она?» — спрашивал Бим, обнюхивая соответствующие места (конечно, для проформы).

«Сам видишь, чего и спрашивать», — отвечала она.

«Как жизнь?» — весело спрашивал Бим.

«Работаем!» — взвизгнув, отвечала собеседница, кокетливо подпрыгнув на всех четырех ногах.

После этого они мчались к хозяевам и то одному, то другому докладывали о знакомстве. Когда же оба охотника усаживались для разговоров в тени куста или дерева, собаки резвились до того, что язык не умещался во рту. Тогда они ложились около хозяев и слушали тихую задушевную беседу.

Другие люди, кроме охотников, для Бима были малоинтересны люди, и все. Они хорошие. Но не охотники же!

А вот собаки, эти — разные.

Однажды на лугу встретился он с лохматенькой собачкой, вдвое меньше его, черненькая такая. Поздоровались сдержанно, без кокетства. Да и какое уж там кокетство, если новая знакомая на обычный для таких случаев перечень вопросов отвечала, лениво взмахивая хвостом:

«Я есть хочу».

У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, обнюхав ее губы:

«Ты съела мышь?»

«Съела мышь, — ответила та. — Я есть хочу». И принялась грызть белый узловатый корень камыша.

Бим хотел попробовать камышовый корешок, но она, протестуя, сказала все то же:

«Я есть хочу».

Бим подождал сидя, пока она догрызла все, и пригласил ее с собой. Та пошла беспрекословно, притрухивая за ним, взлохмаченная, но чистая (видимо, любила купаться, как и большинство собак, отчего летом они и не бывают грязными, даже бездомные). Бим привел ее к хозяину, издали следившему за знакомством своего друга. Но Лохматка не поверила сразу в чужого человека, а села поодаль, несмотря на то что Бим перебегал от хозяина к ней и обратно, зовя ее, убеждая. Иван Иваныч снял рюкзак, достал оттуда колбаску, отрезал маленький кусочек и бросил Лохматке:

— Ко мне, ко мне, Лохматка. Ко мне.

Кусочек упал метрах в трех от нее. Она, осторожно переступая, дотянулась, съела его и села тут же. Со следующим кусочком приблизилась еще. А потом ела уже у ног человека, даже позволила погладить себя, хотя и с опаской. Бим и Иван Иваныч отдали ей все колечко колбаски: хозяин бросал куски, а Бим не мешал Лохматке есть.

Все обыкновенно: брось кусочек — подойдет ближе, брось второй — еще ближе, с третьим, четвертым — уже у ног окажется и будет служить верой и правдой. Так думал Иван Иваныч. Он ощупал Лохматку, потрепал по холке и сказал:

— Нос холодный — здоровая. Это хорошо. — И дал команду обоим: — Поди, поди!

Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим взвился челноком по траве, то сообразила: надо бегать. И конечно, они взыграли по-собачьи так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится. Иван Иваныч не возражал, а шел себе и шел, посвистывая.

До города Лохматка сопровождала без никаких, но на окраине неожиданно села сбоку дороги и — ни с места. Звали, приглашали — не идет. Так и осталась сидеть, провожая их взглядом. Ошибся Иван Иваныч — не каждую собаку можно купить на приманку.

Бим не знал и знать не мог, что у Лохматки тоже были хозяева, что жили они в своем маленьком домике, что улицу ту, где был домик, всю снесли, а хозяевам Лохматки дали квартиру на пятом этаже со всеми удобствами.

Одним словом, Лохматку бросили на произвол судьбы. Но она нашла-таки и тот новый дом, и дверь хозяина, а там ее побили и прогнали. Вот она и живет одна. По городу ходит только ночью, как и большинство бездомных собак. Иван Иваныч обо всем догадался, но Биму-то рассказать невозможно. Бим просто не хотел ее оставлять: оглядывался назад, приостанавливался и обращал взор к Ивану Иванычу. Но тот шел себе и шел.

Если бы он знал, как горькая судьба сведет Бима и Лохматку, если бы знал, когда и где они встретятся, не шел бы он теперь так спокойно. Но будущее неизвестно и человеку.

…Третье лето прошло. Хорошее для Бима лето, неплохое и для Ивана Иваныча. Однажды ночью хозяин закрыл окно и сказал:

— Морозец, Бимка, первый морозец.

Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана Иваныча, чем и сказал: «Не понимаю».

Иван Иваныч знал собачий язык хорошо — язык глаз и движений. Он зажег свет и спросил:

— Не понимаешь, дурачок? — Затем разъяснил точно: — На вальдшнепов завтра. *Вальдшнеп!*

О, это слово Бим знал! Он подпрыгнул и лизнул-таки друга в подбородок.

— На охоту завтра, *на охоту*, Бим!

Куда там! Бим завертелся, заюлил волчком, хватая собственный хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо Ивана Иваныча, подрагивая очесами передних лап. Это обворожительное слово «охота» знакомо Биму, как сигнал к счастью. Но хозяин приказал:

— А пока — спать. — Выключил свет и лег.

Остаток ночи Бим пролежал у кровати друга. Какой уж тут сон! Он и сам, Иван Иваныч, то дремал, то просыпался в ожидании рассвета.

Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы ружья, легко позавтракали (на охоту идти — нельзя нажираться), проверили патронташ, перекладывая патроны из гнезда в гнездо. Работы было много за этот короткий час сборов: хозяин на кухню — Бим на кухню, хозяин в чулан — Бим туда же, хозяин вынимает консервную банку из рюкзака (неудобно легла) — Бим берет ее и сует обратно, хозяин проверяет патроны — Бим следит (не ошибся бы); и в чехол с ружьем надо ткнуться носом не раз (тут ли?); а к тому же в такие колготные минуты чешется за ухом от волнения — то и дело поднимай лапу и чеши, будь оно неладно, когда и без того хлопотно до последней степени.

Ну, собрались. Бим был в восторге. Как же! Хозяин, уже в охотничьей куртке, перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье.

— На охоту, Бим! На охотку, — повторил он.

«На охотку, на охотку!» — говорил глазами и Бим в восхищении. Он даже чуть привизгивал от переполнившего чувства благодарности и любви к своему единственному в мире другу.

В тот момент и вошел человек. Бим его знал — встречал во дворе, — но считал малоинтересным и не заслуживающим какого-либо особого внимания с его стороны. Коротконогий, толстый, широколицый, он сказал чуть скрипучим баском:

— Привет, значит! — И сел на стул, вытирая лицо платком. — Та-ак… На охоту, значит?

— На охоту, — недовольно буркнул Иван Иваныч, — но вальдшнепам. Да вы проходите — гостем будете.

— Вот та-ак… на охоту… Придется повременить, значит.

Бим переводил взгляд с хозяина на Гостя, удивленно и внимательно. Иван Иваныч сказал почти сердито:

— Не понимаю вас. Уточните.

И тут Бим, наш ласковый Бим, сначала слегка взрычал и вдруг гавкнул. Сроду такого не было, чтобы вот так дома и на гостя. Гость не испугался, он, казалось, был равнодушен.

— На место! — так же сердито приказал Иван Иваныч.

Бим повиновался: лег на лежак, положив голову на лапы, и смотрел в сторону чужого.

— Ишь ты! Слушается, значит. Та-ак… Значит, он и жильцов в подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц?

— Никогда. Никогда и никого. Это впервые. Честное слово! — тревожился Иван Иваныч и сердился. — Кстати, к лисицам он никакого отношения не имеет.

— Та-ак, — снова протянул Гость. — К делу давайте.

Иван Иваныч снял куртку и сумку:

— Я вас слушаю.

— У вас, значит, собака, — начал Гость. — А у меня, — он вынул бумагу из кармана, — жалоба на нее. Вот. — И подал бумагу хозяину.

Читая, Иван Иваныч волновался. Бим, заметив это, самовольно сошел с места и сел в ногах друга, как бы защищая его, но на Гостя уже не смотрел, хотя и был настороже.

— Глупости здесь, — сказал Иван Иваныч уже спокойнее. — Чепуха. Бим — собака ласковая, никого он не укусил и не укусит, никого не обидит. Собака интеллигентная.

— Хе-хе-хе! — потряс животом Гость. И чихнул некстати. — У-у, быдло! — обратился он беззлобно к Биму.

Бим отвернулся в сторону еще больше, но понял, что разговор идет о нем. И вздохнул.

— Как же это вы так рассматриваете жалобы? — спросил Иван Иваныч, теперь уже совсем спокойно и улыбаясь. — На кого жалоба, тому и даете ее читать. Я бы вам и так поверил, по пересказу.

Бим заметил в глазах Гостя смешинку. А тот проговорил:

— Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на собаку. А собаке мы не дадим читать. — И рассмеялся.

Хозяин тоже посмеялся малость. Бим даже и не улыбнулся: он знал, что речь о нем, а что к чему, не мог взять в толк — очень уж непонятный Гость оказался. Тот ткнул пальцем в сторону Бима и сказал:

— Собаку надо увольнять. — И отмахнул рукой к двери.

Бим понял, что от него требуют точно: уходи. Но от хозяина он не отступил ни на сантиметр.

— А вы позовите жалобщицу — поговорим, уладим, может быть, — вопросил Иван Иваныч.

Гость, сверх ожидания, вышел и вскоре же вернулся с женщиной:

— Вот, привел тебе тетку, значит.

Бим ее тоже знал: небольшого роста, визгливенькая и жирная, она, однако, днями сидела на скамейке во дворе с другими свободными женщинами. Однажды Бим даже лизнул ей руку (не от избытка чувств только к ней лично, а к человечеству вообще), отчего та взвизгнула и стала кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал в дверь домой. Больше вины за ним перед Теткой не было. И вот она вошла. Что с ним сделалось! Он сначала прижался к ногам хозяина, а когда тот погладил его, то, поджав хвост, ушел на лежак и смотрел на нее исподлобья. Он ничего не понимал из слов Тетки, а она стрекотала сорокой и все время показывала свою руку. Но по этим жестам, по сердитым ее взглядам Бим понял: это за то, что лизнул не тому, кому надо. Молод, молод был Бим, почему и не все еще соображал. Может быть, он думал и так: «Виноват, конечно, но что поделаешь теперь». По крайней мере, что-то подобное в его глазах было.

Только невдомек Биму, что обвиняли его ложно.

— Укусить хотел! Укуси-ить!!! Почти укуси-ил!

Иван Иваныч, перебив стрекот Тетки, обратился прямо к Биму:

— Бим! А принеси-ка мне тапки.

Бим исполнил охотно и лег перед хозяином. Тот снял охотничьи ботинки и сунул ноги в тапки.

— Теперь отнеси ботинки.

Бим и это проделал: поочередно отнес их под вешалку.

Тетка замолчала, вытаращив очи. Гость сказал похвально:

— Молоде-ец! Ты смотри, умеет, значит. — И как-то вроде бы недружелюбно посмотрел на Тетку. — А еще он умеет чего-нибудь?

— Вы садитесь, садитесь, — попросил Иван Иваныч и Тетку.

Она села, спрятав руки под фартук. Хозяин поставил стул Биму и скомандовал:

— Бим! На стул!

Биму повторять не требуется. Теперь все сидели на стульях. Тетка прикусила губу. Гость, удовлетворенно покачивая ногой, приговаривал:

— Ладно получается, ладно, ладно.

Хозяин же хитренько прищурил глаза в сторону Бима:

— А ну дай лапу. — И протянул ладонь.

Поздоровались.

— Теперь, дурачок, поздоровайся с гостем, — и указал на того пальцем.

Гость протянул руку:

— Здравствуй, братка, здравствуй, значит.

Бим все сделал элегантно, как и полагается.

— А не укусит? — осторожно спросила Тетка.

— Что вы! — изумился Иван Иваныч. — Протяните руку и скажите: «Лапку!»

Та действительно выволокла ладонь из-под фартука и протянула Биму:

— Только не укуси, — предупредила она.

Ну, тут уж описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся на лежак, занял немедленно оборонительную позицию, прижавшись задом в угол, и в упор смотрел на хозяина. Иван Иваныч подошел к нему, погладил, взял за ошейник и подвел к жалобщице:

— Дай лапку, дай…

Нет, не подал лапу Бим. Отвернулся и смотрел в пол. Впервые ослушался. И угрюмо поплелся опять в угол, медленно, виновато и удрученно.

Ой, что тут сотворилось! Тетка задребезжала рассохшейся трещоткой.

— Ты ж меня оскорбил! — кричала она на Ивана Иваныча. — Какая-то паршивая собака меня, советскую женщину, ни во что не

ставит! — И тыкала пальцем в сторону Бима. — Да я… да я… Подожди-и!

— Хватит! — неожиданно рявкнул на нее Гость. — Брешешь ты, значит. Не укусила она тебя и не собиралась. Она же тебя боится, как черт ладана.

— А ты не ори, — попробовала она отбиться.

Тогда Гость сказал однозначно:

— Цыть! — И обратился к хозяину: — С такими иначе нельзя. — И снова к Тетке: — Ишь ты! «Советская женщина», тоже мне… Иди отсюда! — рыкнул он. — Еще намутишь раз, опозорю. Иди! — Жалобу он порвал у нее на глазах.

Последнюю речь Гостя Бим понял отлично. А Тетка ушла молча, гордо вскинув голову и ни на кого не глядя, хотя Бим теперь не спускал с нее глаз и даже продолжал смотреть на дверь после того, как она ушла, а шаги ее затихли.

— Очень уж вы с ней… грубовато, — сказал Иван Иваныч.

— Иначе нельзя, говорю вам: весь двор перемутит, знаю. Раз говорю, значит, знаю. Вот они где мне, эти сплетницы да смутьяны, — он похлопал себя по загривку. — Делать-то ей нечего, вот она и норовит, кого бы ей укусить. Таких распусти — весь дом пойдет чертокопытом.

Бим все время следил за выражением лиц, за жестами, интонацией и понял отлично: Гость и хозяин — вовсе никакие не враги, а даже, по всей видимости, уважают друг друга.

Наблюдал он еще долго, пока они о чем-то потом беседовали. Но раз уж он установил главное, то остальное его интересовало мало. Он подошел к Гостю и улегся у его ног, как бы говоря этим: «Извиняюсь».

Записки хозяина

Сегодня был председатель домкома, разбирал жалобу на собаку. Победил Бим. Впрочем, гость мой судил как Соломон. Самородок!

Почему же Бим зарычал на него вначале? А, понял! Я ведь не подал руки, встретил вошедшего сурово (охоту же пришлось отложить), а Бим действовал согласно со своей собачьей натурой: недруг хозяина — мой недруг. И тут должно быть стыдно мне, но не

Биму. Удивительно, какое у него тончайшее восприятие интонации, выражения лица, жестов! Это обязательно надо всегда иметь в виду.

После у нас состоялся интересный разговор с преддомкома. Он окончательно перешел на «ты»:

— Ты, — говорит, — только подумай: сто пятьдесят квартир в моем доме! А четыре-пять смутьянок-бездельниц могут такое сотворить, что житья никому не будет. И все их знают, и нее боятся, а потихоньку клянут. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Ей-бо!.. Самый мой страшный враг кто? Да тот, кто не работает. У нас, брат, можно и не работать, а есть от пуза. Тут что-то не так, скажу я тебе по душам. Не так, значит… Можно, можно не работать. Ишь ты! Вот ты, например, чего делаешь?

— Пишу, — отвечаю, хотя я и не понял, шутит он или говорит серьезно (люди с юмором частенько выдают такое).

— Да разве ж это работа! Сидишь — ничего не делаешь, а деньги небось платят?

— Платят, — отвечаю. — Но ведь я мало получаю — староват стал, на пенсию живу.

— А до пенсии — кем?

— Журналист я. В газетах работал. А теперь вот помаленьку пишу кое-что дома.

— Пишешь? — снисходительно переспросил он.

— Пишу.

— Ну, валяй, раз уж такое дело… Конечно, ты человек, видать, неплохой, а вот видишь… То-то и оно. Я тоже пенсию получаю, сто рублей, а работаю же преддомкома, бесплатно работаю, учти. Я привык работать, всю жизнь на руководящей, и из номенклатуры не вышибали, и по второму кругу не ходил. Под конец уж затерли: ниже, ниже и ниже. Последнее место — маленький заводик. Там и пенсию назначили. А персональную не дали — закавыка маленькая есть… Работать обязан каждый. Так я думаю.

— Но ведь у меня работа тоже трудная, — пытался я оправдаться.

— Писать-то? Глупости. Был бы ты молодой — взялся бы я и за тебя. Ну, раз пенсия… А так, если молодые, да не работают, выживаю из дома: иль трудись, иль катись куда подальше.

Он и правда гроза бездельников в доме. Кажется, главная цель его жизни теперь — пилить лодырей, сплетников и тунеядцев, но зато

воспитывать — всех без исключения, что он и делает охотно. Доказать же ему, что писать — тоже работа, оказалось невозможным: тут он либо хитрил с подводным юморком, либо был просто снисходителен (пусть, дескать, пока пишет — есть бездельники и похлестче). Уходил он добрый, отбросив хитринку, погладил Бима и сказал:

— А ты живи, значит. Но с Теткой не связывайся. — И ко мне: — Ну, бывай. Пиши, видно, куда ж денешься.

Мы пожали друг другу руки. Бим проводил его до дверей, виляя хвостом и заглядывая в лицо. У Бима появился новый знакомый: Павел Титыч Рыдаев, в обыденности: «Палтитыч». Зато у Бима завелся и неприятель: Тетка, единственный человек из всех людей, которому он не верит. Собака опознала клеветника.

Но охота сегодня пропала. Так бывает: ждет человек доброго дня, а выходят одни неприятности. Бывает.

Глава четвертая

ЖЕЛТЫЙ ЛЕС

В один из следующих дней, рано утром, они вдвоем вышли из дому. Сначала ехали трамваем, стоя на площадке. Вагоновожатая оказалась знакомой Ивану Иванычу и Биму. Конечно же, Бим приветствовал ее, когда та выходила перевести стрелку. Вожатая потрепала его за ухо, но Бим руки не лизнул, а просто посеменил лапами сидя и отстучал хвостом соответственное случаю приветствие.

Потом, уже за городом, ехали в автобусе, в котором и было-то всего пять-шесть человек в такое раннее утро. При посадке водитель что-то заворчал, повторяя слово «собака» и «не положено». Бим легко во всем разобрался: шофер не желает их везти, и это плохо, — по лицам разобрался. Один из пассажиров вступился за них, второй, наоборот, поддержал шофера. Бим с большим интересом наблюдал за перепалкой. Наконец шофер вышел из автобуса. У порога хозяин дал ему желтенькую бумажку, поднялся по ступенькам вместе с Бимом, сел на сиденье и печально вздохнул: «Эх-хе-хе!»

Бим давно заметил, что люди обмениваются какими-то бумажками, пахнущими не разберешь чем. Однажды он почуял, что

одна из лежащих на столе пахнет кровью, потыкал в нее носом, стараясь обратить внимание хозяина, но тот и ухом не повел — бесчутый! — а твердит свое «Нельзя». Да еще и запер бумажки в стол. Иные, правда, — пока чистые — пахнут хлебом, колбасой, вообще магазином, но большинство — множеством рук. Люди их любят, эти бумажки, прячут в карман или в стол, как хозяин. Хотя в этих делах Бим ничего не понимал, однако же легко сообразил: как только хозяин дал шоферу бумажку, они стали друзьями. А почему вздохнул Иван Иваныч, Бим не понял, что было видно по его внимательному взгляду в глаза друга. В общем, о магической силе бумажек он даже и смутно не догадывался — недоступно это собачьему уму; не знал, что для него они сослужат когда-то роковую службу.

От шоссе до леса шли пешком.

Иван Иваныч остановился на опушке отдохнуть, а Бим поблизости обследовал местность. Такого леса он еще не видел никогда. Лес-то, собственно, тот же — они здесь бывали весной, приходили и летом (так, пошататься), но теперь здесь все-все вокруг было желтое и багряное, казалось, все горело и светило вместе с солнцем.

Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, и листья падали, покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. Было прохладно и легко, а потому и весело. Осенний запах леса — особенный, неповторимый, стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина. Лесную мышь он «прихватил» далеко, но не пошел за ней (знакомый пустяк!), а вот что-то живое так ударило издали в нос, что Бим приостановился. А подойдя вплотную, облаял колючий шар.

Иван Иваныч встал с пенечка и подошел к Биму:

— Нельзя, Бим! Нельзя, дурачок. Ежик называется. Назад! — И увел Бима с собой.

Выходит, ежик — зверюшка, и притом хорошая, а трогать его нельзя.

Теперь Иван Иваныч опять же сел на пенек, приказал Биму тоже сидеть, а сам снял кепку, положил ее рядом на землю и смотрел на листья. И слушал тишину леса. Ну конечно же, он улыбался! Ом был сейчас таким, как всегда перед началом охоты.

Бим тоже слушал.

Прилетела сорока, прострекотала нахально и улетела. Перепрыгивая с ветки на ветку, приблизилась сойка, прокричала с кошачьим надрывом и тоже упрыгала так же, по веткам. А вот королек-малютка, этот совсем-совсем рядом: «Свить, свить! Свить, свить!» Ну что ты с ним будешь делать! И размером-то с жука, а туда же: «Свить, свить!» Вроде бы приветствует.

Все остальное было тишиной.

И вот хозяин встал, расчехлил ружье, вложил патроны. Бим задрожал от волнения. Иван Иваныч потрепал его ласково по загривку, отчего Бим еще больше разволновался.

— Ну, мальчик… ищи!

Бим пошел! Малым челноком пошел, лавируя между деревьями, приземисто, пружинисто и почти бесшумно. Иван Иваныч потихоньку двинулся за ним, любуясь работой друга. Теперь лес со всеми красотами остался на втором плане: главное — Бим, изящный, страстный, легкий на ходу. Изредка подзывая его к себе, Иван Иваныч приказывал ему лежать, чтобы дать успокоиться, втянуться. А вскоре Бим уже пошел ровно, со знанием дела. Великое искусство — работа сеттера! Вот он идет легким галопом, подняв голову, ему не надо опускать ее и искать низом, он берет запахи верхом, при этом шелковистая шерсть облегает его точеную шею; оттого он так и красив, что держит голову высоко, с достоинством, уверенностью и страстью.

Такие часы для Ивана Иваныча были часами забвения. Он забывал войну, забывал невзгоды прошедшей жизни и свое одиночество. Даже сын Коля, его кровное дитя, отнятое жестокой войной, будто присутствовал с ним, будто он, отец, доставлял ему радость даже мертвому. Он ведь тоже был охотником! Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не стареют, оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли. Так и у Ивана Иваныча: рана зарубцевалась в душе, но болит всегда. На охоте же всякая боль души становится хоть немного, но легче. Благо тому, кто родился охотником!

И вот Бим замедлил ход, сужая челнок, чуть приостановился на секунду и пошел редким, крадущимся шагом. Что-то от кошачьего было в его движениях, мягких, осторожных, плавных. Теперь он уже вытянул голову вровень с туловищем. Каждой частицей тела, включая и вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен на струе запаха. Шаг… И поднимается только одна лапа. Шаг — и следующая лапа так же на долю секунды замирает в воздухе и неслышно опускается. Наконец передняя правая, как почти всегда, замерла, не коснувшись земли.

Позади, взяв ружье на изготовку, тихо подошел Иван Иваныч. Теперь две статуи: человек и собака.

Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь и блестках солнца. Притихли молодые дубки рядом с величавым исполином дубом, отцом и прародителем. Бесшумно трепетали оставшиеся на осине серебряно-серенькие листья. А на

палой желтой листве стояла собака — одно из лучших творений природы и терпеливого человека. Ни единый мускул не дрогнет! В такие минуты Бим кажется полумертвым, это похоже на транс от восхищения и страсти. Вот что такое классическая стойка в желтом лесу.

— Вперед, мальчик…

Бим поднял вальдшнепа на крыло.

Выстрел!

Лес встрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом. Казалось, береза, забравшаяся на границу дубняка и осинника, испугалась, вздрогнула. Дубы охнули как богатыри. Осина, что рядом, торопливо посыпала листьями.

Вальдшнеп упал комом. Бим подал его по всем правилам. Но хозяин, приласкав Бима и поблагодарив за красивую работу, подержал птицу на ладони, посмотрел на нее и сказал задумчиво:

— Эх, не надо бы…

Бим не понял, вглядывался в лицо Ивана Иваныча, а тот продолжал:

— Для тебя только, Бим, для тебя, глупыш. А так — не стоит.

И опять Бим не понял — недоступно ему такое понять. Но за всю охоту стрелок, как казалось Биму, «мазал», как слепой. Очень недоволен был пес, когда хозяин и вовсе не выстрелил в одного из вальдшнепов. Зато самого последнего он свалил чисто.

Домой они возвратились уже затемно, усталые и оба добрые, ласковые друг к другу. Бим, например, не пожелал ночевать на своем лежаке, а стащил оттуда подстилку, приволок ее к кровати Ивана Иваныча и улегся рядом с ним, на полу. В этом был смысл: его нельзя прогнать на место, потому что «место» он принес с собой. Иван Иваныч потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба, казалось, будет вечной.

Ночью же Иван Иваныч почему-то стонал тихонько, вставал, глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно прислушивался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую с кровати руку.

— Осколок… Осколок, Бимка… ползет. Плохо, мальчик, — сказал Иван Иваныч, держа руку у сердца.

Слово «плохо» Бим знал отлично и уже давно. И вот уже несколько раз он слышал слово «осколок», он его не понимал, но собачьим нутром догадывался, что оно тревожное, плохое слово, жуткое.

Но все обошлось: утром, после прогулки, Иван Иваныч сел за стол, как и обычно, положил перед собой белый лист и зашептал по нему палочкой.

Записки хозяина

Вчера был счастливый день. Все — как надо: осень, солнце, желтый лес, изящная работа Бима. А все-таки какой-то осадок на душе. Отчего бы?

В автобусе Бим явно заметил, как я вздохнул, и явно же не понял меня. Пес вовсе не может представить, что я дал взятку шоферу. Собаке — наплевать на это. А мне? Какая разница — рубль я дал за малое «дело», или двадцать — за большое, или тысячу — за крупное? Все равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Конечно, Бим стоит несравненно ниже человека, поэтому никогда и не догадается об этом.

Не понять того Биму, что бумажки эти и совесть иногда находятся в прямой зависимости. Но какой же я чудак! Нельзя же требовать от собаки больше того, что она может: очеловечивать собаку нельзя.

И еще: мне жаль стало убивать дичь. Это, наверное, старость. Так хорошо было вокруг, и вдруг мертвая птица… Я не вегетарианец и не ханжа, описывающий страдание убитых животных и уписывающий с удовольствием их мясо, но до конца дней ставлю себе условие: одного-двух вальдшнепов за охоту, не больше. Если ни одного — еще бы лучше, но тогда Бим загибнет как охотничья собака, а я вынужден буду купить птицу, которую для меня убьет кто-то другой. Нет уж, увольте от такого… А к кому, собственно, я обращаюсь? Впрочем, к самому себе: раздвоение личности в длительном одиночестве в какой-то степени неизбежно. Веками от этого спасала человека собака. Откуда же все-таки осадок от вчерашнего? И только ли от вчерашнего? Не пропустил ли я какую-то мысль?.. Итак, вчерашний день: стремление к

счастью — и желтый рубль; желтый лес — и убитая птица. Что это: уж не сделка ли со своей совестью?

Стоп! Вот какая мысль ускользнула вчера: не сделка, а укор совести и боль за всех, убивающих бесполезно, когда человек теряет человечность. Из прошлого, из воспоминаний о прошлом, идет и все более растет во мне жалость к птицам и животным.

Я вспоминаю.

Была установка руководства Общества охотников об уничтожении сорок как вредных птиц, и это обосновывалось якобы наблюдениями биологов. И все охотники убивали сорок со спокойной совестью. Была такая установка и о ястребиных птицах. Их тоже убивали. И о волках. Этих уничтожили почти начисто. За волка платили премию в триста рублей (старыми деньгами), а за лапки сороки или коршуна, представленные в Общество охотников, — то ли пять копеек, то ли пятьдесят — не помню.

Но вдруг, в новой установке, коршун и сорока объявлены полезными птицами, не врагами птиц: уничтожать их запрещено. Строжайший приказ к уничтожению сменился строжайшим наказом к запрещению.

Осталась теперь единственная птица, подлежащая уничтожению, объявленная вне закона, — серая ворона. Она якобы разоряет птичьи гнезда (в чем, впрочем, обвинялась безапелляционно и сорока). Зато никто не отвечает за отравление ядохимикатами птиц степных и лесостепных районов. Спасая леса и поля от вредителей, мы уничтожали птиц, а уничтожая их, губили… леса. Неужели виноватой оказалась серая ворона, извечный санитар и спутник человеческого общества?

Вали на серую ворону! — самое верное, элементарное оправдание виновных в смерти птиц.

Длительные эксперименты со смертью — ужасно. Уже восстают против этого честные ученые-биологи и охотники, уже борьба за охрану птиц и лесов идет в международном масштабе. Поднял ли я в свое время голос против экспериментов со смертью? Нет. И это — укор и моей совести. Как бледно и немощно прозвучал бы мой голос теперь, если бы я сказал задним числом так:

Спасите серую ворону — отличного санитара местожительства людей, спасите ее от истребления, ибо она помогает очищать от

нечистот местность вокруг нас так же, как сатирик очищает общество от духовных нечистот, спасите серую ворону за это самое; пусть она немножко воровка птичьих яиц, но на то и серая ворона, чтобы птицы умели строить гнезда; спасите эту колготную насмешницу, единственную птицу, обладающую наглостью наивности настолько, что она в глаза человеку может так и ляпнуть с дерева: «Ка-ар-р!» (Уходи, дурак!) А только вы отошли, слетит вниз и, насмешливо покрякивая, примется вновь уплетать тухлый кусок мяса, который ни одна собака в рот не возьмет; спасите серую ворону — сатирика птичьего мира! Не бойтесь ее. Посмотрите, как маленькие ласточки дружно клюют ее и прогоняют оттуда, где и без нее чистота, а она улетает от них, ехидненько покаркивая, туда, где пахнет тухлым. Спасите серую ворону!

Действительно, получилось бы и немощно и бездоказательно. Но так пусть и остается такое в этой тетрадке о Биме. Сейчас прямо и напишу на обложке: «Бим». Здесь все будет только для самого себя. Ведь записки я начал ради спасения чести Бима, виновного в своем рождении, но они разрастаются все больше, и уже обо всем том, что связано не только с Бимом, но и со мной. Никто их, видимо, не напечатает; да и кому интересно читать «о собаке, о себе»? Никому. Так и хочется написать словами Кольцова:

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

…А Бим лежит и днем — наработался, дружище, нахватался целительных запахов желтого леса.

Ах, желтый лес, желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище.

Глава пятая

НА ОБЛАВЕ В ВОЛЧЬЕМ ЯРУ

В один из осенних дней к Ивану Иванычу зашел человек, от которого пахло ружьем и собакой. Хотя он не был в охотничьих доспехах и одет обыкновенно, как все малоинтересные люди, но Бим уловил в нем и тонкий запах леса, и следы ружья на ладонях, и ароматный дух осеннего листа от ботинок. Конечно же, Бим обо всем этом сказал, обнюхивая гостя, бросая взгляды на хозяина и энергично работая хвостом. Видел он его впервые, а вот сразу же признал товарищем без никаких сомнений и колебаний.

Гость знал собачий язык, потому и сказал ласково:

— Признал, признал. Молодец, хорошо, хорошо. — Потрепал по голове и сказал уверенно и четко: — Сидеть!

Бим исполнил приказание — сел, в нетерпении перебирая лапами. И слушал, и смотрел неотрывно.

Хозяин и гость пожали руки, встретившись добрыми-добрыми глазами.

«Отлично!» — сказал Бим, взвизгнув.

— Умный пес, — сказал гость, бросив взгляд на Бима.

— Хороший Бим, лучше не надо! — подтвердил Иван Иваныч.

Вот так они поговорили втроем немного, и гость-охотник достал из кармана бумагу, разложил ее, стал водить по ней пальцем и говорить:

— *Вот тут… тут*, в самой гущине Волчьего яра. Сам подвывал. Пятеро откликнулись: три прибылых, два матерых. Одного перевидел. Ну и во-олк!

Бим знал слова хозяина на поиске: «тут-тут, тут-тут». И насторожился. Но когда было сказано «во-олк!», он расширил глаза: это тот жуткий запах лесной собаки, запах, которого испугался когда-то Бим, запах, о котором хозяин тогда устрашающе повторял, показывая след: «Волк! Это волк, Бим». Вот теперь и охотник сказал тоже так: «Ну и во-олк!»

Гость ушел, попрощавшись и с Бимом.

Иван Иваныч сел заряжать патроны, закладывая крупные горошины свинца и пересыпая их картофельной мукой.

Ночью Бим спал беспокойно.

А задолго до рассвета они вышли с ружьем на улицу и стали на углу. Вскоре подъехал большой автомобиль, загруженный охотниками. Они сидели в крытом кузове на скамейках, сидели тихо и торжественно. Иван Иваныч сначала подсадил Бима, потом и сам влез в шалаш. Вчерашний охотник сказал Ивану Иванычу:

— Э-э, нет! Зачем же Бима с собой!

— Собак не должно быть на облаве. Снять! — строго сказал кто-то. — Голос подаст — и пропала облава.

— Бим не подаст голоса, — будто оправдываясь, говорил Иван Иваныч. — Не гончак же он.

Ему возражали одновременно несколько человек, но кончилось тем, что вчерашний гость сказал:

— Ладно. С Бимом поставлю в запасную. Есть место, Иван Иваныч: было так, что волк прорывался там через флажки, по протоке.

Бим догадался, что его не хотят брать. Он тоже уговаривал соседей, но в темноте этого никто не понял. И все же автомобиль тронулся.

Уже солнце взошло, когда остановились у кордона знакомого лесника. Вышли все тихо, без единого слова, как и Бим. Потом долго шли гуськом вдоль опушки. Никто не курил, не кашлял, не стукнул даже сапогом о сапог, ступая по-собачьи: тут все знали — куда, кто и зачем. Не знал только один Бим, но он тоже шел тенью след в след за хозяином. Тот на ходу притронулся к уху Бима: хорошо, дескать, хорошо, Бим.

Впереди всех, главным, шел вчерашний гость-охотник. И вот он поднял руку — все остановились. Трое передних ушли в лес еще тише, по-кошачьи, и вскоре вернулись. Теперь Главный поднял вверх фуражку и отмахнул ею вперед. По этому знаку половина охотников пошла за ним, в том числе, позади прочих, Иван Иваныч и Бим. Так что Бим шел последним; тише его никто не мог передвигаться, но, несмотря на это, Иван Иваныч взял его на поводок.

По безмолвной команде Главного первый, идущий за ним, стал за куст и замер. Вскоре так же замер у дубняка второй, потом третий, и так поодиночке все заняли свои номера. Остались около Главного Иван Иваныч и Бим. Они шли еще осторожнее, чем раньше. Теперь Бим увидел, что сбоку их пути протянут шнур, а на нем не шевелясь висели

куски материи, похожей на огонь. Но наконец Главный поставил и их вдвоем, а сам ушел назад.

Бим чутким ухом все-таки слышал его шаги, хотя людям казалось, что их никто не слышит. Бим уловил, что Главный провел и остальных охотников, но так далеко, что, по мере удаления, даже Бим уже не различал шороха.

И наступила тишина. Настороженная, тревожная тишина леса. Бим это чувствовал и по тому, как хозяин замер, как у него дрогнуло колено, как он беззвучно открыл ружье, вложил патроны, закрыл и снова застыл в напряжении.

Они стояли под прикрытием куста орешника сбоку промоины, заросшей густым терником. А кругом был могучий дубовый лес, суровый сейчас, молчаливый. Каждое дерево — богатырь! А между ними густой подлесок еще сильнее подчеркивал необыкновенную мощь вековечного леса.

Бим превратился в сгусток внимания: он сидел недвижно и ловил запахи, но пока ничего особенного не примечал, так как воздух неподвижен. И от этого Биму было неспокойно. Когда есть хоть малый ветерок, он всегда знал, что там, впереди, он читал по струям, как по строкам, а в безветрие, да еще в таком лесу, — попробуй-ка быть спокойным, когда к тому же его добрый друг стоит рядом и волнуется.

И вдруг началось.

Сигнальный выстрел разорвал тишину на большие куски: эхо пророкотало то там, то тут, то где-то вдали. А вслед, как бы в тон лесному рокоту, далеко-далеко голос Главного:

— Поше-е-ел! О-го-го-го-го-го-о-о!

Иван Иваныч наклонился к уху Бима и еле слышно прошептал:

— Лежать!

Бим лег. И дрожал.

— О-го-го-го-о-о! — ревели там охотники-загонщики.

Тишина теперь рассыпалась на голоса, незнакомые, неистовые, дикие. Застучали палками о деревья, затрещала трещотка, как сто сорок перед погибелью. Цепь загонщиков приближалась с криком, гомоном и выстрелами вверх.

И вот… Бим зачуял знакомый с юности запах: волк! Он прижался к ноге хозяина, чуть-чуть — совсем чуть-чуть! — привстал на лапы и вытянул хвост. Иван Иваныч все понял.

Они увидели оба: вдоль флажков, вне выстрела, показался волк. Шел он широкими махами, голову опустил, хвост висел поленом. И тут же зверь скрылся. Сразу же, почти тотчас, раздался выстрел в цепи, за ним — второй.

Лес рокотал. Лес почти озлобленно встревожился.

Еще выстрел на номере. Это уже совсем близко. А крики все ближе, ближе и ближе.

Волк, огромный старый волк появился неожиданно. Он пришел промоиной, скрытый терником, а завидев флажки, резко остановился, будто на что-то напоролся. Но здесь, над промоиной, флажки висели выше, чем на всей линии, втрое выше роста зверя. А гомон людей настигал вплотную. Волк как-то не очень решительно и даже вяло прошел под флажками и оказался в пятнадцати метрах от Ивана Иваныча и Бима. Вот он сделал несколько махов, но за это время человек и собака успели рассмотреть, что он был ранен: пятно крови расплылось на боку, рот окаймлен пеной с красноватым налетом.

Иван Иваныч выстрелил.

Волк, подпрыгнув на всех четырех ногах, резко, всем корпусом, не поворачивая шеи, обернулся на выстрел и… стал. Широкий мощный лоб, налитые кровью глаза, оскаленные зубы, красноватая пена… И все-таки он не был жалок. Он был красив, этот вольный дикарь. О нет, он не был трусом, он не хотел падать и сейчас, гордый зверь, но… рухнул-таки плашмя, медленно перебирая лапами. Потом замер, присмирел, успокоился.

Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку. Но что это была за стойка! Шерсть на спине взъерошилась, на холке она почти стояла торчком, а хвост зажат между ног: озлобленно-трусливая, безобразная стойка на своего брата, на гордого царя собак, уже мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим и кровью своей страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не верил. Бим боялся брата, волк не боялся его даже смертельно раненный.

…А крики уже приблизились вплотную. Еще был один выстрел. И еще дублет. Видимо, какой-то опытный волк шел совсем близко от цепи и, возможно, прорвался через неё в самый последний момент, когда люди уже потеряли бдительность и уже сходились друг с другом.

Наконец появился из подлеска Главный, подошел к Ивану Иванычу и сказал, глядя на Бима:

— Ух ты! И на собаку не похож: зверь зверем. А два прорвались все-таки, ушли. Один раненый.

Иван Иваныч гладил Бима, ласкал, уговаривал, но тот хотя и уложил шерсть на спине, однако все еще крутился на месте, часто-часто дышал, высунув язык, и отворачивался от людей. Когда же оба охотника направились к трупу волка, Бим не пошел за ними, а, наоборот, нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на тридцать подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал как в лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иваныч заметил, что белки глаз у Бима кроваво-красные. Зверь!

— Ах, Бимка, Бимка. Плохо тебе? Конечно, плохо. Так надо, мальчик. Надо.

— Учти, Иван Иваныч, — сказал Главный, — легавую собаку можно и загубить волком — леса будет бояться. Собака раб, волк — зверь свободный.

— Так-то оно так, но Биму уже четыре года — собака взрослая, лесом не испугаешь. Зато в лесу, где волки, он уже не отойдет от тебя: наткнется на след и скажет: «Волки!»

— И правда ведь: волки берут легавых, как малых цыплят. А этого теперь вряд возьмет: от ноги твоей не отойдет, если зачует.

— Вот видишь! Только до года не надо пугать зверем. А так — что ж поделаешь! — пусть переживет.

Иван Иваныч увел Бима, а Главный остался у волка, поджидая загонщиков.

Когда собрались на кордоне все охотники, выпили по чарке и загомонили, веселые и возбужденные, Бим отчужденно и одиноко лежал под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, пораженный и зараженный волчьим духом. Ах, если бы Бим мог знать, что судьба еще раз забросит его в этот же самый лес!

К нему подошел лесник, хозяин кордона, присел на корточки, погладил по спине:

— Хороший пес, хороший. Умный пес. За всю облаву не гавкнул и не завыл.

Тут все любили собак.

Но когда охотники уселись в автомобиль и Иван Иваныч подсадил туда Бима, тот кошкой выпрыгнул на землю, ощетинившись и скуля: он не желал быть вместе с тремя мертвыми волками.

— Ого! — сказал Главный. — Этот теперь не пропадет.

Незнакомый тучный охотник недовольно вышел из кабины и грузно полез в кузов, а Иван Иваныч с Бимом сели в кабину.

После было не так уж много охот на вальдшнепа, но Бим работал отлично, как и всегда. Однако стоило ему причуять след волка — он прекращал охоту: прижимался к ноге хозяина и — ни шагу. Так он четко выражал слово «волк». И это было хорошо. А после облавы он еще больше стал любить Ивана Иваныча и верить в его силу. Верил Бим в доброту человека. Великое благо — верить. И любить. Собака без такой веры — уже не собака, а вольный волк или (что хуже) бродячий пес. Из этих двух возможностей выбирает каждая собака, если она перестала верить хозяину и ушла от него или если ее выгнали. Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга-человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть ни вольным волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой, преданной и верной потерянному другу, но одинокой до конца жизни.

Я не буду, дорогой читатель, рассказывать ни одной из множества достоверных историй о такой преданности в течение многих лет и до конца собачьей жизни. Я расскажу только об одном Биме с черным ухом.

Глава шестая

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Как-то после охоты Иван Иваныч пришел домой, накормил Бима и лег в постель, не поужинав и не выключив свет. В тот день Бим здорово наработался, потому быстро уснул и ничего не слышал. Но в последующие дни и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится и днем, о чем-то печалится, иногда внезапно охнет от боли. Больше недели Бим гулял один, неподолгу — по надобности. Потом Иван

Иваныч слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впустить Бима. Однажды он простонал в постели как-то особенно тоскливо. Бим подошел, сел у кровати, внимательно посмотрел в лицо друга, затем положил голову на вытянутую его руку. Он увидел, какое стало у хозяина лицо: бледное-бледное, под глазами темные каемки, небритый подбородок заострился. Иван Иваныч повернул голову к Биму и тихо, ослабевшим голосом сказал:

— Ну? Что будем делать, мальчик?.. Худо мне, Бим, плохо. Осколок… подполз под сердце. Плохо, Бим.

Голос его был таким необычным, что Бим заволновался. Он заходил по комнате, то и дело царапаясь в дверь, как бы зовя: «Вставай, дескать, пойдем, пойдем». А Иван Иваныч боялся пошевелиться. Бим снова сел около него и проскулил тихонько.

— Что же, Бимка, давай попробуем, — еле выговорил Иван Иваныч и осторожно привстал.

Он немного посидел на кровати, затем стал на ноги и, опираясь одной рукой о степу, другую держа у сердца, тихо переступал к двери. Бим шел рядом с ним, не спуская взгляда с друга, и ни разу, ни разу не вильнул хвостом. Он будто хотел сказать: ну, вот и хорошо. Пошли, пошли потихоньку, пошли.

На лестничной площадке Иван Иваныч позвонил в соседнюю дверь, а когда появилась девочка, Люся, он что-то ей сказал. Та убежала к себе в комнату и вернулась со старушкой, Степановной. Как только Иван Иваныч сказал ей то же самое слово «осколок», она засуетилась, взяла его под руку и повела обратно.

— Вам надо лежать, Иван Иваныч. Лежать. Вот так, — заключила она, когда тот вновь лег на спину. — Лежать. Только лежать. — Она взяла со стола ключи и быстро ушла, почти побежала, засеменив по-старушечьи.

Конечно, Бим воспринял слово «лежать», повторенное трижды, так, будто оно относится и к нему. Он лег рядом с кроватью, не спуская взора с двери: горестное состояние хозяина, волнение Степановны и то, что она взяла со стола ключи, — все это передалось Биму, и он находился в тревожном ожидании.

Вскоре он услышал: ключ вставили в скважину, замок щелкнул, дверь открылась, в прихожей заговорили. Затем вошла Степановна, а за нею трое чужих в белых халатах — две женщины и мужчина. От

них пахло не так, как от других людей, а скорее тем ящичком, что висит на стене, который хозяин открывал только тогда, когда говорил: «Худо мне, Бим, худо, плохо».

Мужчина решительно шагнул к кровати, но…

Бим бросился на него зверем, упер ему в грудь лапы и дважды гавкнул изо всей силы.

«Вон! Вон!» — прокричал Бим.

Мужчина отпрянул, оттолкнул Бима, женщины выскочили в прихожую, а Бим сел у кровати, дрожал всем телом и, видно, был готов скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую трудную для него минуту.

Врач, стоя в дверях, сказал:

— Ну и собака! Что же делать?

Тогда Иван Иваныч позвал Бима жестом поближе, погладил по голове, чуть повернувшись. А Бим прижался к другу лопаткой и лизал ему шею, лицо, руки…

— Подойдите, — тихо произнес Иван Иваныч, глядя на врача.

Тот подошел.

— Дайте мне руку.

Тот подал.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал врач.

Бим прикоснулся носом к руке врача, что и означало на собачьем языке: «Что ж поделаешь! Так тому быть: друг моего друга — мне друг».

Внесли носилки. Положили на них Ивана Иваныча. Он проговорил:

— Степановна… присмотрите за Бимом, дорогая. Выпускайте утром. Он сам приходит скоро… Бим будет меня ждать. — И к Биму: — Ждать… Ждать.

Бим знал слово «ждать»: у магазина — «Сидеть, ждать», у рюкзака на охоте — «Сидеть, ждать». Сейчас он привизгнул, повиляв хвостом, что означало: «О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется».

Только понял его один Иван Иваныч, остальные не поняли — это он увидел в глазах всех. Бим сел у носилок и положил на них лапу. Иван Иваныч пожал ее.

— Ждать, мальчик. Ждать.

Вот этого Бим никогда не видел у своего друга, чтобы вот так горошинами скатилась вода из глаз.

Когда унесли носилки и щелкнул замок, он лег у двери, вытянул передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону: так собаки ложатся, когда им больно или тоскливо; они и умирают чаще всего в такой позе.

Но Бим не умер от тоски, как та собака-поводырь, прожившая со слепым человеком много лет. Та легла около могилы хозяина, отказалась от пищи, приносимой кладбищенскими доброхотами, а на пятый день, когда взошло солнце, она умерла. И это быль, а не выдумка. Зная необыкновенную собачью преданность и любовь, редко какой охотник скажет о собаке: «Издохла», он всегда скажет: «Умерла».

Нет, Бим не умер. Биму сказано точно: «Ждать». Он верит — друг придет. Ведь сколько раз было так: скажет «Ждать» и обязательно придет.

Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима.

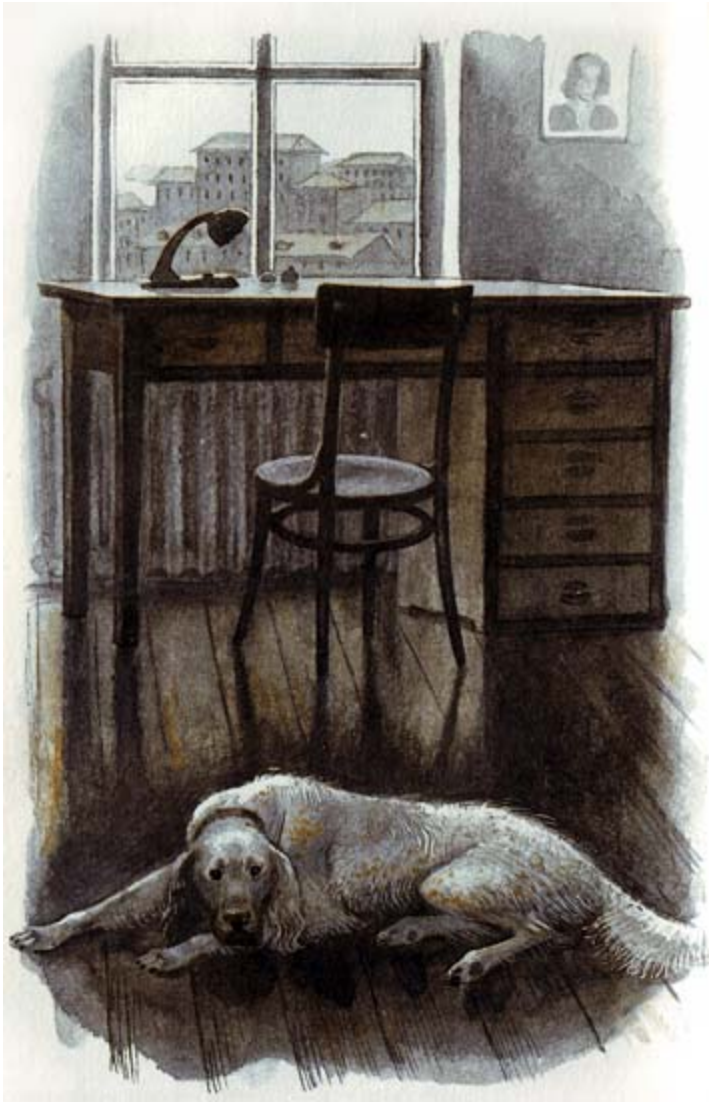
Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно! Что-то делается не так, как обычно… От халатов пахнет бедой. И Бим затосковал.

В полночь, когда взошла луна, стало невыносимо. Рядом с хозяином и то она всегда беспокоила Бима, эта луна: у нее глаза есть, она смотрит этими мертвыми глазами, светит мертвым холодным светом, и Бим уходил от нее в темный угол. А теперь — даже в дрожь бросает от ее взгляда, а хозяина нет. И вот глубокой ночью он завыл, протяжно, с подголоском, завыл как перед напастью. Он верил, что кто-то услышит, а может быть, и сам хозяин услышит.

Пришла Степановна.

— Ну, что ты, Бим? Что? Ивана Иваныча нету. Ай-ай-ай, плохо.

Бим не ответил ни взглядом, ни хвостом. Он только смотрел на дверь. Степановна включила свет и ушла. С огнем стало легче — луна отодвинулась дальше и стала меньше. Бим устроился под самой лампочкой, спиной к луне, но вскоре снова лег перед дверью: ждать.



Утром Степановна принесла кашу, положила ее в Бимову миску, но он даже и не встал. Так поступала и собака-поводырь — она не поднималась и тогда, когда приносили пищу.

— Ты смотри, сердешный какой, а? Это ж уму непостижимо. Ну, пойди погуляй, Бим. — Она распахнула дверь. — Пойди погуляй.

Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Слово «гулять» ему знакомо, оно означает — воля, а «Поди, поди гулять» — полная свобода. О, Бим знал, что такое свобода: делай все, что разрешает хозяин. Но вот его нет, а говорят: «Пойди погуляй». Какая же это свобода?

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, что такие, как Бим, понимают человека и без слов, а те слова, что они знают,

вмещают в себе многое и, соответственно случаю, разное. Она, по простоте душевной, сказала:

— Не хочешь кашу, пойди *поищи* чего-нибудь. Ты и травку любишь. Небось и на помойке что-то раскопаешь (не знала она по наивности, что Бим к помойкам не прикасался). Пойди *поищи*.

Бим встал, даже встрепенулся. Что такое? «Ищи»? Что искать? «Ищи» означает: ищи спрятанный кусочек сыра, ищи дичь, ищи потерянную или спрятанную вещь. «Ищи» — это приказ, а что искать — Бим определяет по обстоятельствам, по ходу дела. Что же сейчас искать?

Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным перебором передних лап, но она ничегошеньки не поняла, а повторила:

— Пойди гулять. *Ищи!*

И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки со второго этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина! Вот что искать — больше нечего: так он понял. Вот здесь стояли носилки. Да, стояли. Вот уже со слабым-слабым запахом следы людей в белых халатах. След автомобиля. Бим сделал круг, вошел в него (так поступила бы даже самая бездарная собака), но опять — тот же след. Он потянул по нему, вышел на улицу и сразу же потерял его около угла: там вся дорога пахла той же резиной. Человеческие следы есть разные и много, а автомобильные слились все вместе и все одинаковые. Но тот, нужный ему след пошел со двора туда, за угол, значит, и надо — туда.

Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал места, где они гуляли с Иваном Иванычем, — нет признаков, никаких и нигде. Однажды он издали увидел клетчатую фуражку, догнал того человека — нет, не он. Присмотревшись внимательнее, он установил: оказывается, в клетчатых фуражках идут многие-многие. Откуда ему было знать, что в эту осень продавали только клетчатые фуражки, и потому они нравились *всем*. Раньше он этого как-то не приметил, потому что собаки всегда обращают внимание (и запоминают), главным образом, на нижнюю часть одеяния человека. Это у них еще от волка, от природы, от многих столетий. Так, лиса, например, если охотник стал за густой куст, закрывающий только до пояса, не замечает человека, если он не шевелится и если ветер не доносит от него запаха. Так что Бим увидел неожиданно в этом какой-то

отдаленный смысл: по верху искать нечего, так как головы могут быть одинаковыми по цвету, подогнанными друг под друга.

День выдался ясный. На некоторых улицах листья пятнами покрыли тротуары, на некоторых лежали сплошь, так что, попадись хоть частичка следа хозяина, Бим ее уловил бы. Но — нигде и ничего.

К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из дворов он наткнулся на след носилок: тут они стояли. А потом струя того же запаха потекла со стороны. Бим пошел по ней, как по битой дорожке. Пороги отдавали людьми в белых халатах. Бим поцарапался в дверь. Ему открыла девушка, тоже в белом халате, и отпрянула с испуга. Но Бим приветствовал ее всеми способами, спрашивая: «Нет ли здесь Ивана Иваныча?»

— Уйди, уйди! — закричала она и закрыла дверь. Потом приоткрыла и крикнула кому-то: — Петров! Прогони кобеля, а то мне шеф намылит шею, начнет выпиваться: «Псарня, а не „скорая помощь“!» Гони!

От гаража подошел человек в черном халате, затопал ногами на Бима и вовсе незлобно прокричал, как бы по обязанности и даже с ленцой:

— Вот я тебе, тварь! Пошел! Пошел!

Никаких таких слов, как «шеф», «псарня», «гони», «мылить шею», «выпинаться» и уж тем более «скорая помощь», Бим не понимал и даже вовсе никогда не слышал, но слова «уходи» и «пошел», в сочетании с интонацией и настроением, он понял прекрасно. Тут Бима не обмануть. Он отбежал на некоторое расстояние и сел, и смотрел на ту дверь. Если бы люди знали, что ищет Бим, они ему помогли бы, хотя Ивана Иваныча сюда и не привозили, а доставили прямо в больницу. Но что поделаешь, если собаки понимают людей, а те не всегда понимают собак и даже друг друга. Кстати, Биму недоступны такие глубокие мысли; непонятно было и то, на каком таком основании его не пропускают в дверь, в которую он честно царапался, доверительно и прямодушно, и за которой, по всей вероятности, находится его друг.

Бим сидел у куста сирени с поблеклыми уже листьями до самого вечера. Приезжали машины, из них выходили люди в белых халатах и вели кого-то под руки или просто шли следом; изредка выносили из автомобиля человека на носилках, тогда Бим чуть приближался,

проверял запах: нет, не он. К вечеру на собаку обратили внимание и другие люди. Кто-то принес кусочек колбасы — Бим не притронулся; кто-то хотел взять его за ошейник — Бим отбежал; даже тот дядька в черном халате несколько раз проходил мимо и, остановившись, смотрел на Бима сочувственно и не топал ногами. Бим сидел статуей и никому ничего не говорил. Он ждал.

В сумерках он спохватился: вдруг хозяин-то дома? И побежал торопливо, легким наметом.

По городу бежала красивая, с блестящей шерстью, ухоженная собака — белая, с черным ухом. Любой добрый гражданин скажет: «Ах, какая милая охотничья собака!»

Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он лег у порожка, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить — ничего не хотелось. Тоска.

На площадку вышла Степановна:

— Пришел, горемышный?

Бим вильнул хвостом только один раз («Пришел»).

— Ну вот теперь и поужинай. — Она пододвинула ему миску с утренней кашей.

Бим не притронулся.

— Так и знала: накормился сам. Умница. Спи. — И закрыла за собой дверь.

В эту ночь Бим уже не ныл. Но и не отходил от двери: ждать!

А утром снова забеспокоился. Искать, искать друга! В этом весь смысл жизни. И когда Степановна выпустила его, он, во-первых, сбегал к людям в белых халатах. Но на этот раз какой-то тучный человек кричал на всех и часто повторял слово «собака». В Бима бросали камнями, хотя и нарочито мимо, махали на него палками и наконец больно-пребольно стегнули длинной хворостинкой. Бим отбежал, сел, посидел малость и, видимо, решил: тут его быть не может, иначе не гнали бы так жестоко. И ушел Бим, слегка опустив голову. По городу шел одинокий, грустный, ни за что обиженный пес.

Вышел он на кипучую улицу. Людей было видимо-невидимо, и все спешили, изредка торопливо перебрасываясь словами, текли куда-то и текли без конца. Наверняка Биму пришло в голову: «А не пройдет ли он здесь?» И без всякой логики сел в тени, на углу, неподалеку от

калитки, и стал следить, не пропуская своим вниманием почти ни одного человека.

Во-первых, Бим заметил, что все люди, оказывается, пахнут автомобильным дымом, а уж через него пробиваются другие запахи разной силы.

Вот идет человек, тощий, высокий, в больших, порядком стоптанных ботинках, и несет в сетке картошку, такую же, какую приносит домой хозяин. Тощий несет картошку, а пахнет табаком. Шагает быстренько, спешит, будто кого-то догоняет. Но это только показалось — догоняют кого-то все. И все что-то ищут, как на полевых испытаниях, иначе зачем и бежать по улице, забегать в двери и выбегать и снова бежать?

— Привет, Черное ухо! — бросил Тощий на ходу.

«Здравствуй», — угрюмо ответил Бим, двинув по земле хвостом, не растрачивая сосредоточенности и вглядываясь в людей.

А вот за ним идет человек в комбинезоне, пахнет он тик, как пахнет стена, когда ее лизнешь (мокрая стена). Он почти весь серо-белый. Несет длинную белую палку с бородкой на конце и тяжелую сумку.

— Ты чего тут? — спросил он у Бима, остановившись. — Уселся ждать хозяина или затерялся?

— «Да, *ждать*», — ответил Бим, посеменив передними лапами.

— Тогда на-ка вот тебе. — Он вынул из сумки кулек, положил перед Бимом конфету и потрепал пса за черное ушко. — Ешь, ешь! (Бим не прикоснулся.) Дрессированный. Интеллигент! Из чужой тарелки есть не будет, — И пошел дальше тихо, спокойненько, не так, как все.

Кому как, а для Бима этот человек — хороший: он знает, что такое «ждать», он сказал «ждать», он понял Бима.

Толстый-претолстый, с толстой палкой в руке, в толстых черных очках на носу, несет толстую папку: все-все у него толсто. Пахнет он явно бумагами, по каким Иван Иваныч шептал палочкой, и еще, кажется, теми желтыми бумажками, какие всегда кладут в карман. Он остановился около Бима и сказал:

— Фух! Ну и ну! Дошли: кобели на проспекте.

Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с Толстым. А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима:

— Видишь? На твоей небось территории?

— Факт, вижу, — И оперся на метлу, поставив ее вверх бородой.

— Видишь… Ничего ты не видишь, — сказал сердито. — Даже конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить?! — Он злился вовсю.

— А ты не живи, — сказал дворник и равнодушно добавил: — Ишь как ты исхудал, бедняга.

— Оскорбляешь! — рявкнул Толстый.

Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то на Толстого, то на Бима.

— Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю… собака! Тыща собак, по два-три кило мяса каждой — две-три тонны в день. Соображаете, сколько получится?

Один из ребят возразил:

— Три кило и верблюд не съест.

Дворник невозмутимо внес поправку:

— Верблюды мясо не едять. — Неожиданно он перехватил метлу поперек палки и так-то сильно замахал ею по асфальту перед ногами Толстого. — Посторонись, гражданин! Ну? Я чего сказал, дубова твоя голова!

Толстый ушел, отплевываясь. Те трое ребят тоже пошли своей дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил Бима по спине, постоял немного и сказал:

— Сиди, *жди*. Придет. И ушел в калитку.

Из всей этой перепалки Бим не только понял — «мясо», «собаки», возможно, «кобели», по слышал интонацию голосов и, главное, все видел, а этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться: Толстому — плохо жить, дворнику — хорошо; один — злой, другой — добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет ни заря на улицах живут только дворники и что они уважают собак. То, что дворник прогнал Толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то эта случайная пустяковая история только отвлекла Бима, хотя, может быть, оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться: люди все разные, они могут быть и хорошими, и плохими. Ну что ж: и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было совершенно неважно — не до того: он смотрел и смотрел на проходящих.

От некоторых женщин пахло остро и невыносимо, как от ландышей, пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх и возле которых Бим становился бесчутым; в таких случаях Бим отворачивался и несколько секунд не дышал — ему не нравилось. У большинства женщин губы были такого же цвета, как флажки на волчьей облаве; Биму такой цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в особенности. Почти все женщины что-нибудь несли в руках. Бим приметил, что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины — часто.

…А Ивана Иваныча все нет и нет. Друг ты мой! Где же ты?..

Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась, рассеялась среди людей, и он еще внимательней вглядывался вперед — не идет ли он. Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать!

Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами, крупноморщинистый, курносый, с глазами навыкате, и вскричал:

— Безобразие! (Люди стали останавливаться.) Кругом грипп, эпидемия, рак желудка, а тут что? — тыкал он всей ладонью в Бима. — Тут среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!

— Не каждая собака — зараза. Смотрите, какой он милый пес, — возразила девушка.

Курносый смерил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся, возмущаясь:

— Какая дикость! Какая в вас дикость, гражданочка.

И вот… Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая Тетка, «советская женщина» — та клеветница. Бим сначала испугался, но потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А Тетка затараторила, обращаясь ко всем, стоящим полукругом в некотором отдалении от Бима.

— Дикость и есть дикость! Она же меня укусила. У-ку-си-и-ла! — И показывала всем руку.

— Где укусила? — спросил юноша с портфельчиком. — Покажите.

— Ты мне еще, щенок! — Да и спрятала руку.

Все, кроме Курносого, рассмеялись.

— Воспитали тебя в институте, чертенка, вот уж воспитали, гаденыш, — набросилась она на студента. — Ты мне, советской

женщине, и не веришь? Да как же ты дальше-то будешь? Куда же мы идем, дорогие граждане? Или уж у нас Советской власти нету?

Юноша покраснел и вспылил:

— Если бы вы знали, как выглядите со стороны, то позавидовали бы этой собаке. — Он шагнул к Тетке и крикнул: — Кто дал вам право оскорблять?

Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог: он прыгнул в сторону Тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков (за последствия он уже не ручался). Интеллигент! Но все-таки — собака.

Тетка завопила истошно:

— Мили-ция! Мили-ция!

Где-то засвистел свисток, кто-то, подходя, крикнул:

— Пройдемте, гр-раждане! Пройдемте по своим делам! — Это был милиционер (Бим даже повилял чуть хвостом, несмотря на возбуждение). — Кто кричал?! Вы? — обратился милиционер к Тетке.

— Она, — подтвердил юноша-студент.

Вмешался Курносый:

— Куда вы смотрите? Чем занимаетесь? — запилил он милиционера. — Собаки, собаки — на проспекте областного города!

— Собаки! — кричала Тетка.

— И такие вот дикие питекантропусы! — кричал и студент.

— Он меня оскорбил! почти рыдала Тетка.

— Граждане, р-разойдись! А вы, вы, да и вы, пройдемте в милицию, — указал он Тетке, юноше и Курносому.

— А собака?! — взвизгнула Тетка. — Честных людей — в милицию, а собаку…

— Не пойду, — отрубил юноша.

Подошел второй милиционер:

— Что тут?

Человек в галстуке и шляпе резонно и с достоинством разъяснил:

— Да вон, энтот студентишка, не хочеть в милицию, не подчиняется. Энти вон, обоя, хотять, а энтот не хочеть. Неподчинение. А это не положено. Ведуть — должон иттить. Мало бы чего… — И он, отвернувшись от всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы расширяя слуховое отверстие. Явно это был жест убежденности, уверенности в прочности мыслей и безусловного

превосходства перед присутствующими — даже перед милиционерами.

Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой. Следом за ними потопали Курносый и Тетка. Люди разошлись, уже не обращая внимания на собаку, кроме той милой девушки. Она подошла к Биму, погладила его, но тоже пошла за милиционерами. Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком.

Человек и собака шли в милицию.

— Кого же ты ждал, Черное ухо? — спросила она, остановившись.

Бим уныло присел, опустив голову.

— И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю, Черное ухо.

Вот уже несколько раз называли Бима «Черное ухо». И хозяин когда-то говорил: «Эх ты, Черное ухо!» Давно-давно он так произнес, еще в детстве. «Где же мой друг?» — думал Бим. И пошел опять же с девушкой в печали и унынии.

В милицию они вошли вместе. Там кричала Тетка, рыкал Курносый дядька; понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер, незнакомый, и явно недружелюбно посматривал на всех троих.

Девушка сказала:

— Привела виновника. — И указала на Бима. — Милейшее животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень, — она кивнула на студента, — ни в чем не виноват.

Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал и Тетку, и Курносого. Он явно дружелюбно относился к девушке. В заключение она спросила шутя:

— Правильно я говорю, Черное ухо? — А обратившись к милиционеру, еще добавила: — Меня зовут Даша. — Потом к Биму: — Я Даша. Понял?

Бим всем существом показал, что он ее уважает.

— А ну, пойди *ко мне*, Черное ухо. *Ко мне*! — позвал милиционер.

О, Бим знал это слово: «ко мне». Точно знал. И подошел.

Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел номерок и записал что-то. А Биму приказал:

— Лежать!

Бим лег, как и полагается: задние ноги под себя, передние вытянуты вперед, голова — глаза в глаза с собеседником и чуть набочок.

Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку:

— Союз *охотников?*

«Охота!» — вздрогнул Бим. «Охота!» Что же это значит здесь-то?

— Союз охотников? Из милиции. Номер двадцать четыре посмотрите. Сеттер… Как так нету? Не может быть. *Собака хорошая*, дрессированная… В горсовет? Хорошо. — Положил трубку и еще раз взял, что-то спрашивал и стал записывать, повторяя вслух: — Сеттер… с внешними наследственными дефектами, свидетельства о родословной нет, владелец *Иван Иванович Иванов*, улица Проезжая, сорок один. Спасибо. — Теперь он обратился к девушке: — Вы, Даша, *молодец*. Хозяин нашелся.

Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку Даше и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так, как могут смотреть только умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про Ивана Иваныча, про его друга, про его брата, про его бога, как сказал бы человек в таком случае. И вздрагивал от волнения.

Милиционер строго буркнул Тетке и Курносому:

— Идите. До свидания.

Дядька начал пилить дежурного:

— И это — все? Какой же у нас будет порядок после такого? Распустили!

— Идите, идите, дед. До свидания. Отдыхайте.

— Какой я тебе «дед»? Я тебе — отец, папаша. Даже нежное обращение позабывали, с-сукины сыны. А хотите вот таких, — ткнул он в студента, — воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас — подождите! — гав! И скушает. — Гавкнул действительно по-собачьи, натурально.

Бим, конечно, ответил тем же. Дежурный рассмеялся:

— Смотрите-ка, папаша, собака-то понимает, сочувствует.

А Тетка, вздрогнув от двойного лая человека и собаки, пятилась от Бима к двери и кричала:

— Это он на меня, на меня! И в милиции — никакой защиты советской женщине!

Они ушли все-таки.

— А меня что — задержите? — угрюмо спросил студент.

— Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают — обязан идти. Так положено.

— Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезвого вести в милицию под руки, как вора. Тетке этой надо бы пятнадцать суток, а вы… Эх вы! — И ушел, пошевелив Биму ухо.

Теперь Бим уже совсем ничего не понимал: плохие люди ругают милиционера, хорошие тоже ругают, а милиционер терпит да еще посмеивается; тут, видимо, и умной собаке не разобраться.

— Сами отведете? — спросил дежурный у Даши.

— *Сама. Домой*, Черное ухо, *домой.*

Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая: он отлично знал слово «домой» и вел ее именно домой. Люди-то не сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру, им казалось, что он малоумный пес; только Даша все поняла, одна Даша — вот эта белокурая девушка с большими задумчивыми и теплыми глазами, которым Бим поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери.

Она позвонила — ответа не было. Еще раз позвонила, теперь к соседям. Вышла Степановна. Бим ее приветствовал: он явно был веселее, чем вчера, он говорил: «Пришла Даша. Я привел Дашу». (Иными словами нельзя объяснить взгляды Бима на Степановну и на Дашу попеременно.)

Женщины разговаривали тихо, при этом произносили «Иван Иваныч» и «осколок», затем Степановна открыла дверь. Бим приглашал Дашу: не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску, понюхала кашу и сказала:

— Прокисла. — Выбросила кашу в мусорное ведро, вымыла миску и поставила опять на пол. — Я сейчас приду. *Жди*, Черное ухо.

— Его зовут Бим, — поправила Степановна.

— Жди, Бим. — И Даша вышла.

Степановна села на стул. Бим сел против нее, однако поглядывая все время на дверь.

— А ты пес сообразительный, — заговорила Степановна. — Остался один, а видишь вот, понимаешь, кто к тебе с душой. Я вот,

Бимка, тоже… на старости лет с внучкой живу. Родители-то народили, да и подались аж в Сибирь, а я воспитала. И она, внучка-то, *хорошо* меня любит, всем сердцем ко *мне*.

Степановна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму. Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой лошади или кормилице-корове. Собаки же выдающегося ума очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А тут обоюдно: Степановна явно жалуется ему, а Бим горюет, страдает оттого, что люди в белых халатах унесли друга; ведь все неприятности дня всего лишь немного отвлекли боль Бима, сейчас же она вновь возникла с еще большей силой. Он отличил в речи Степановны два знакомых слова «хорошо» и «ко мне», сказанных с грустной теплотой. Конечно же Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени, а Степановна приложила платок к глазам.

Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на пол, положил одну лапу на ее туфлю, а голову — на другую лапу. Так он сказал: «Спасибо тебе».

Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила их в миску:

— Возьми.

Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи. Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила:

— Возьми, Бим, возьми.

Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и, казалось, спокойный; руки теплые и нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлета тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй. С картошкой — то же.

— Его надо кормить насильно, — сказала Даша Степановне. — Он тоскует о хозяине, потому и не ест.

— Да что ты! — удивилась Степановна. — Собака сама себе найдет. Сколько их бродит, а едят же.

— Что же делать? — спросила Даша у Бима. — Ты ведь так пропадешь.

— Не пропадет, — уверенно сказала Степановна. — Такая умная собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж поделаешь? Живность.

Даша о чем-то задумалась, потом сняла ошейник.

— Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам к десяти утра приду… А где же теперь *Иван Иваныч*? — спросила она у Степановны.

Бим встрепенулся: о нем!

— Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная. *Осколок-то* рядом.

Бим — весь внимание: «осколок», опять «осколок». Слово это звучит горем. Но раз они говорят про Ивана Иваныча, значит, он где-то должен быть. Надо искать. Искать!

Даша ушла. Степановна — тоже. Бим снова остался один коротать ночь. Теперь он нет-нет да и вздремнет, но только на несколько минут. И каждый раз он видел во сне Ивана Иваныча — дома или на охоте. И тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам, прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем и неизвестностью.

Ждать. Ждать. Стиснуть зубы и ждать.

Глава седьмая

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В это утро Бим чуть не плакал. Солнце уже выше окна, а никто не идет. Он прислушивался к шагам жильцов подъезда, проходивших мимо его двери с верхних этажей или поднимавшихся снизу. Все шаги знакомые, а его нет и нет. Наконец точно услышал туфельки Даши. Она! Бим голосом подал о себе знать. Его крик в переводе на человеческий язык означал: «Я тебя слышу, Даша!»

— Сейчас, сейчас, — откликнулась та и позвонила Степановне.

Обе они вошли к Биму. С каждой он поздоровался, затем бросился к двери, стал там, повернув голову к женщинам, и потребовал, просяще повиливая хвостом: «Открывайте. Надо искать».

Даша надела на него ошейник, на котором теперь во всю ширину был прочно закреплен латунный жетон-пластинка с выгравированной надписью: «Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Хорошо знает свой дом.

Живет в квартире один. Не обижайте его, люди». Даша прочитала надпись Степановне.

— Какая же ты добрая душа! — всплеснула руками Степановна. — Любишь, значит, собак?

Даша погладила Бима и ответила необычно:

— Муж бросил, мальчик умер… А мне тридцать лет. Жила на квартире. Уезжаю.

— Одинокая. Ой ты, моя желанная, — запричитала Степановна. — Да ведь это же…

Но Даша отрубила:

— Пойду. — А у двери добавила: — Пока не выпускайте Бима — не убежал бы за мной.

Бим попробовал протиснуться в дверь вместе с Дашей, но она оттеснила его и вышла со Степановной.

Не более как через час Бим заскулил, потом и завыл с тоски в голос, так завыл, как про это говорят люди: «Хочется завыть собакой».

Степановна выпустила его (Даша теперь далеко):

— Ну, иди, иди. Вечером кулеша наготовлю.

Бим даже и не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее глаза, а шемером скатился вниз и — во двор. Челноком просновал по двору, вышел на улицу, чуть постоял, будто подумал, а затем стал читать запахи строку за строкой, не обращая внимания даже на те деревья, где стояли росписи собратьев и читать которые обязана каждая уважающая себя собака.

За весь день Бим не обнаружил никаких признаков Ивана Иваныча. А перед вечером, как бы на всякий случай, забрел в молодой парк вновь отстроенного района города. Там четверо мальчишек гоняли мяч. Он посидел малость, проверил окружающее, насколько хватал нос, и хотел было уходить. Но мальчик лет двенадцати отделился от играющих, приблизился к Биму и с любопытством смотрел на него.

— Ты чей? — спросил он, будто Бим смог бы ответить на вопрос.

Бим, во-первых, поздоровался: повилял хвостом, но с грустинкой, склонив голову сначала на одну сторону, потом на другую. Это, кроме того, означало и вопрос: «А ты — что за человек?»

Мальчик понял, что собака ему пока не доверяет полностью, и смело подошел, протянул руку:

— Здравствуй, Черное ухо.

Когда Бим подал лапу, мальчик крикнул:

— Ребята! Сюда, сюда!

Те подбежали, но остановились все же на отшибе.

— Смотрите, какие умные глаза! — восхищался первый мальчик.

— А может, он ученый? — спросил резонно пухленький карапуз. — Толя, Толька, ты скажи ему чего-нибудь — поймет иль не поймет?

Третий, более взрослый, чем остальные, авторитетно заявил:

— Ученая. Видишь, табличка на шее.

— И вовсе не ученая, — возразил худенький мальчишка. — Она не была бы такая тощая и унылая.

Бим в самом деле страшно похудел без Ивана Иваныча и потерял уже былой вид: живот подтянуло, нечесаная шерсть свалялась на штанах и помутнела на лоснившейся когда-то спине. Тоска и голод не красят и собаку.

Толик прикоснулся ко лбу Бима, а он осмотрел всех и выразил теперь полное доверие. После этого все поочередно гладили Бима, и он не возражал. Отношения сразу же сложились добрые, а в атмосфере полного взаимопонимания всегда недалеко и до сердечной дружбы. Толик вслух прочитал написанное на латунной табличке и воскликнул:

— Он — Бим! Один живет в квартире! Ребята, он есть хочет. А ну по домам и — сюда: тащите, кто что может.

Бим остался с Толиком, а ребятишки разбежались. Теперь мальчик сел на скамейку, а Бим лег у его ног и глубоко вздохнул.

— Плохо тебе, наверно, Бим? — спросил Толик, поглаживая голову собаки. — Где же твой хозяин?

Бим уткнулся носом в ботинок и так лежал. Вскоре появились один за другим те ребятишки. Пухленький принес пирожок, Взрослый — кусок колбасы, Худенький — два блинчика. Все это они положили перед Бимом, но он даже и не понюхал.

— Он — больной, — сказал Худенький. — Может, даже и заразный. — И попятился от Бима.

Пухленький зачем-то вытер руки о штанишки и тоже отошел. Взрослый потер колбасой нос Бима и заключил уверенно:

— Не будет. Не хочет.

— Мама говорила — все собаки заразные, — все опасался Пухленький, — а эта и вовсе больная.

— Ну и уходи, — сердито буркнул Толик. — Чтоб я тебя тут не видел… «Заразная»… Заразных ловят собачатники, а эта — вон с какой табличкой.

Рассудительное доказательство подействовало: ребятишки вновь окружили Бима. Толик потянул за ошейник вверх. Бим сел. Толик завернул у него мягкую губу и увидел щелку в глубине челюсти, где кончаются зубы; отломил кусочек колбасы и засунул в эту щелку — Бим проглотил. Еще кусочек — и еще проглотил. Так покончили с колбасой под общее одобрение присутствующих. Все наблюдали сосредоточенно, а Пухленький с каждым глотком Бима тоже глотал, хотя во рту ничего не было: он как бы помогал Биму. Кусочки пирожка никак нельзя было втолкнуть — они рассыпались, тогда Бим наконец взял пирожок сам, лег на живот, положил пирожок на лапы, посмотрел-посмотрел на него и съел. Сделал он так явно из уважения к Толику. У него такие ласковые руки и такой мягкий, даже чуть грустный, взгляд, и так он жалеет Бима, что тот не устоял против теплоты душевной. Бим и раньше относился к детям особо, а теперь он окончательно уверился, что маленькие люди все хорошие, а большие бывают разные, бывают и плохие. Он, конечно, не мог знать, что маленькие люди потом становятся большими и тоже разными, но это — не собачье дело рассуждать, как и почему из маленьких хороших вырастают большие плохие люди, такие, как Тетка или Курносый. Он просто-напросто съел пирожок для Толика, и все. А от этого ему стало легче, потому он не отказался и от блинчиков. И кроме того, за неделю Бим ел всего лишь второй раз.

Первым после трапезы Бима заговорил Толик:

— Попробуем узнать, что он может делать.

Худенький сказал:

— В цирке, если прыгать, кричат «Ап!».

Бим привстал и внимательно посмотрел на мальчика, будто спрашивая: «Через что — ап?!»

Двое из них взялись за концы пояска, а Толик скомандовал:

— Бим! Ап!

Бим легко перепрыгнул через наивный барьер. Все были в восторге. Пухленький приказал четко:

— Лежать!

Бим лег (пожалуйста, для вас — с удовольствием!).

— Сидеть, — попросил Толик. (Бим сел.) — Подай! — и бросил фуражку.

Бим принес и фуражку. Толик обнял его от восхищения, а Бим со своей стороны в долгу не остался и лизнул его прямо в щеку.

Конечно же, Биму стало куда легче с этими маленькими человечками. Но тут-то и подошел дядька, поигрывая палочкой-тростью, подошел так тихо, что ребята и не заметили его, пока он не задал вопрос:

— Чья собака?

С виду он был важный, в серой узкополой шляпе, при сером бантике вместо галстука, в сером пиджаке, серо-белых брюках, с короткой серой бородой, в очках. Он, не спуская глаз с Бима, повторил:

— Так чья же собачка, дети?

В два голоса одновременно ответили Взрослый мальчик и Толик.

— Ничья, — сказал один наивно.

— Моя, — настороженно сказал Толик. — В эту минуту моя.

Толик не раз видел Серого дядьку: он важно прогуливался вокруг парка в одиночку. Как-то раз даже вел с собой собаку, которая упиралась и не хотела идти. А однажды подошел к ребятишкам и зудел им, что они и играть-то не умеют, как прежде, и вежливости у них нет, и воспитывают их неправильно, не так, как прежде, и что за них люди воевали даже еще в гражданскую, за вот этих, таких, а они не ценят и ничего не умеют, и что все это стыдно. В тот далекий день, когда Серый поучал их, Толику было девять лет. Теперь же двенадцатый. Но дядьку этого он помнил. Сейчас Толик сидел, обняв Бима, и сказал: «Моя».

— Ну, так как же: ничья или его? — спросил дядька, обращаясь ко всем и указывая на Толика.

— На ней вон табличка есть, — вмешался Пухленький не в добрый час.

Серый подошел к Биму, потрепал ухо и стал читать на ошейнике.

Бим точно почуял, совершенно точно: от Серого пахло собаками, пахнет как-то отдаленно, многодневно, но пахнет. Он посмотрел ему в глаза и немедленно, тут же, не поверил — ни в голос, ни во взгляд, даже и ни в запахи. Не может быть, чтобы человек просто так вобрал в

себя далекие запахи разных собак. Бим прижался к Толику, пытаясь отцепиться от Серого, но тот не отпускал.

— Нельзя лгать, мальчик, — укорил он Толика. — По табличке — не твоя собака. Стыдно, мальчик. Тебя что, родители так приучили говорить неправду? Какой же ты будешь, когда вырастешь? Эх-хе-хе! — Он вынул из кармана поводок и пристегнул к ошейнику.

Толик схватил за поводок и крикнул:

— Не троньте! Не дам!

Серый отвел его руку.

— Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может быть, придется протокол составить. (Он так и сказал «протокол».) Возможно, его хозяина алкоголь заел. (Так и произнес — «алкоголь».) Если так, тогда надо собаку изъять. Должность моя такая — делать все по-честному, по-человеческому. Так-то. Найду его квартиру, проверю — правильно ли.

— А табличке не доверяете? — укоризненно и почти плача спросил Толик.

— Доверяю, мальчики, доверяю полностью. Но… — Он поднял палец вверх и поучительно произнес, почти торжественно: — Доверяй, но проверяй! — И повел Бима.

Бим упирался, оглядывался на Толика, видел, как тот заплакал от обиды, но — что поделаешь! — потом пошел-таки за Серым, поджав хвост и глядя в землю, сам на себя непохожий. Всем видом своим он говорил: «Такая уж наша собачья жизнь, когда нигде нет хозяина». Тут бы и всего дела — укусить бы за ляжку и бежать, но Бим — собака интеллигентная: веди, куда ведешь.

Шли они по улице, на которой стояли новые дома. Все новые. Все серые и настолько одинаковые, что даже Бим мог бы в них заблудиться. В одном из домов-близнецов поднялись на третий этаж, при этом Бим заметил, что и двери все одинаковые.

Открыла им женщина в сером платье:

— Опять привел? Да господи боже мой!

— Не гундеть! — строго оборвал Серый. Он снял с Бима ошейник и показал: — На, смотри. — Женщина разбирала, надев очки, а он продолжал: — Понятия нет. Во всей республике я — единственный коллекционер собачьих знаков. А эта табличка — вещь! Пятисотый знак!

Ничего не было понятного для Бима, ровным счетом ничего, никаких знакомых слов, никаких понятных жестов — ничего. Вот Серый пошел из прихожей в комнату, с ошейником в руках. Оттуда позвал:

— Бим, ко мне!

Бим подумал-подумал и осторожно вошел. В комнате осмотрелся, не подходя к Серому, а так — сидя у двери. На чистой стене висели доски, обшитые бархатом, а на них рядами висели собачьи знаки: номерки, жетоны, медали серые и медали желтые, несколько красивых поводков и ошейников, несколько усовершенствованных намордников и другие доспехи собачьего обихода, даже — капроновая петля для удушения, смысла которой Бим, конечно, не понимал; где ее раздобыл владелец коллекции, понять невозможно даже и человеку, а для Бима она была обыкновенной веревкой, не больше.

Бим смотрел внимательно, как Серый повертел в руках его ошейник, плоскогубчиками снял табличку и прикрепил в середине одной из досок на бархат; так же поступил и с номерком, а затем надел ошейник на Бима и сказал:

— Ты — собака хорошая.

Точно так же говорил когда-то хозяин, по теперь Бим не поверил. Он вышел в прихожую и стал у двери, говоря: «Выпускай! Мне тут делать нечего».

— Уж выпусти, — сказала женщина. — Чего сюда-то припер его? Снял бы на улице.

— Нельзя было — пацаны привязались. И сейчас нельзя: увидят они — без таблички, могут довести до сведения… Так что пусть ночует до зари. Лежать! — приказал он Биму.

Бим лег у двери: ничего не поделаешь! И опять же: стоило ему завыть в голос, заметаться по квартире, наброситься на Серого, и все! Выпустил бы. Но Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилел так, что даже у чужой двери на некоторое время задремал, хотя и тревожным сном.

То была первая ночь, когда Бим не пришел домой, в свою квартиру. Он это почувствовал, когда очнулся от дремоты, и не сразу сообразил, где находится. А сообразивши, затосковал. Он же снова видел во сне Ивана Иваныча; каждый раз, как только засыпал, видел его, а проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с малого

щенячьего возраста. Где он, мой хороший и добрый друг? Где? Тоска невыносимая. Одиночество тяжкое, и никуда от него не денешься. А тут еще Серый человек храпит, как заяц под борзой. И пахнет от всех этих бархатных досок умершими собаками. Тоска. И Бим заскулил. Потом чуть взлаял дважды, тоже с легким подвывом, как гончая, когда она добирает след зайца по вчерашней жировке. И наконец не выдержал — взвыл протяжно.

«Ох-хо-хо-ой! Ой-ой, лю-юди-и, — плакал он. — Тяжко мне, ой тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его. Ой-ой-ой, лю-юди-и-и, ой!»

Серый вскочил, включил свет и стал молотить Бима палкой и шипеть:

— Молчи, молчи, выродок! Соседи слышат. Ня тебе! На тебе!

Бим уклонялся от ударов, инстинктивно оберегая голову, и стонал, как человек: «Ох… Ах-х… Ах-хр-р… Ох…»

Но злой человек изловчился-таки и саданул по голове. Бим на несколько секунд потерял сознание, задрыгав лапами, но быстро опомнился, отскочил от двери, уперся задом в угол и оскалил зубы. Впервые оскалил.

Серый попятился от Бима:

— Ишь ты! Укусит еще, черт… — И распахнул дверь.

Но Бим не верил даже и в то, что дверь действительно открыта, не верил и тогда, когда Серый говорил:

— Ступай, ступай. Поди, Бим, гуляй. Иди, собачка, иди.

Не верил он этому ласковому, вкрадчивому тону, этой лести и заискиванию после побоев. О, лесть после побоев — новое открытие Бима в его жизни. Тетка и Курносый — люди просто нехорошие. А вот этот… этого Бим уже ненавидел. Ненавидел! Бим начинал терять веру в человека. Да, именно так.

Бим вытянул шею, оскалил зубы и… пошел на Серого, тихо, но решительно, медленно, но уверенно. Серый прижался к стене:

— Ты что?! Ты что?!

Женщина в ночной рубахе орала на Серого:

— Допрыгался! Укуси-ит!

Бим увидел, что страшный дядька испугался его, что он его до страсти боится. От этого Бим укрепился в решимости: прыгнул, цапнул увернувшегося врага за мягкое место и выскочил в

распахнутую дверь. Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал себя несчастным и жалким, наоборот, сейчас он был храбрым, а храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного достоинства — даже у хорька.

В предрассветной мути бежал Бим по улице, хотя и в своем ошейнике, но уже без номерка «24». Сначала он впопыхах направился не туда, то есть не в город, а из города (дальше домов не было). Он вернулся обратно и попал в тот же лабиринт одинаковых домов. Кружил, кружил, петлял, петлял, да и попал к тому же дому, из которого выскочил. Тут уж он заспешил в нужном направлении, чему помогло совершенно закономерное обстоятельство, мало известное людям: вчера, когда его вели здесь, он уловил на одном углу роспись какого-то собрата, на другом углу — второго; теперь же, пробежав от знакомого по этому признаку угла до следующего, он и взял нужный ориентир. Поистине нужно отличное чутье, чтобы не только найти здесь дом, но и выбраться отсюда. Бим обладал отличным чутьем и замечательной сметкой.

Уже засветло он прибежал к своему дому, поднялся к своем родной двери, поцарапался. Ответа не было. Еще поцарапался то же самое: тишина. Главное, у двери не было следов Ивана Иваныча. И еще слишком рано, чтобы Степановна услышала в заревом сне позывные Бима. Он посидел у двери в задумчивости.

Болело все от побоев, стучало в голове и сильно тошнило, сил не было. Но он все же пошел. Искать пошел своего друга. Да и кто же, кроме Бима, будет его искать?

По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и смелая.

Глава восьмая

СЛУЧАЙ НА СТРЕЛКЕ

Дни шли за днями. Бим их уже не замечал. Он регулярно обследовал город и узнал его во всех подробностях. Теперь он ходил по заранее намеченному маршруту; если бы люди догадались, то они

могли бы проверять по Биму свои часы. Появись он у парка — пять утра, у вокзала — шесть, у завода — половина восьмого, на проспекте — двенадцать, на левобережье — четыре часа дня и так далее.

Завелись и новые знакомые среди людей. Бим установил, что большинство из них — добрые, но такие шли по улицам молча, а нехорошие всегда много болтали. Нашел и людей, пахнущих маслом и железом (раньше он встречал их поодиночке). Эти ежедневно, около восьми утра, текли сплошным потоком в ворота, потом в двери будки.

Здесь они были говорливы, как грачи, так что разобрать, пожалуй, ничего нельзя, да это, впрочем, и не интересовало Бима. Он садился в стороне от потока и смотрел и ждал.

— Эй, Черное ухо! Привет! — здоровался каждое утро паренек в синем комбинезоне и выкладывал перед Бимом припасенный сверток с едой. — Жив, курилка? Здравствуй. — И подавал Биму свою добрую человеческую лапу, грубую, но теплую.

Иные молча протягивали ему ладонь, здоровались и спешили дальше. Никто ни разу здесь не обидел Бима.

Теперь Бим мало-помалу научился различать людей по сортам. Вот, например, часто попадается ему на пути дебелая бабочка, ноги — бутылками, всегда такая довольная, бодрая, на лице счастье; но, встречаясь с Бимом, она фыркала кошкой, плевалась, поднимала сумку с продуктами на уровень пышной груди и каждый раз твердила одно и то же:

— Фу, какая гадость! Неужели нельзя подушить всех собак, чтоб не трепали нервы? Вот вам, пожалуйста: «Моя милиция меня бережет». Как же! Уберегут… А тут каждый кобель среди бела дня запросто может спустить с тебя юбку. А что милиция? Милиции мы — пятая нога собаке.

Ввиду того, что она часто повторяла одно и то же, Бим, по простоте собачьей, почел, что бабочку так и зовут — Пятая Нога. Но он знал точно: к этой подходить нельзя. Мало ли что он не понимал ее слов, кроме ее же клички, зато он слышал и видел, потому и взял за правило: к таким — ни шагу, не связываться. Потом он как-то стал (чутьем, что ли?) определять — кого надо обходить и сторониться. Добрых было огромное большинство, злых — единицы, но все добрые боялись злых. Бим же — нет, не боялся, но ему было тоже не до них. Познание человеков расширялось и углублялось, а с собачьей точки

зрения, он уже не казался каким-то вылощенным дилетантом и идеалистом, готовым вилять хвостом каждому прохожему. Бим за короткое время стал худущим, но серьезным псом, и у него была цель жизни — искать и ждать.

И вот однажды ранним утром, проверяя запахи одного из тротуаров, он опешил от радости. Он остановился, фыркнул и побежал, как бешеная собака, ничего не разбирая и не видя впереди. Но так могло показаться со стороны, а на самом деле он бежал по свежему следу: здесь прошла Даша! Она только-только что была тут.

След привел его к вокзалу. Пройти в помещение не было никакой возможности: люди, люди и люди без конца; даже на улице, у какого-то окошка, они мяли друг друга, кричали, пыхтели, вопили, будто гончие приспели до зайца и рвут его в клочья, не слушаясь ни арапника, ни рога. В такой обстановке оказалось невозможным уловить след Даши — след пропал. Тогда Бим дал круг по-над вокзалом и вышел на перрон. Здесь люди стояли группами около дверей длинных домиков на колесах, не рычали, не толкались, а, наоборот, обнимались, целовались и даже плясали в одном месте, у двери домика. Никому не было дела до Бима, потому он свободно сновал челноком под ногами и сосредоточенно вчитывался в перрон.

И вдруг у одной из дверей пахнуло Дашей. Бим потянул к порогам, но женщина с большим жетоном на груди отогнала его. Однако Бим не сдался: он стал пронюхивать окна и всматриваться в них. Потом заметил, что последними вошли в домик две женщины в белых халатах. Он бросился было к ним, но домики потихоньку поехали. Бим кинулся к окнам. В его собачьем уме возникли совершенно, казалось, правильные заключения: Даша там, люди в белых халатах там, значит, Иван Иваныч может быть там тоже. Может! Не увезли ли его люди в белых халатах?

И Бим, бедный Бим, теперь уже несчастный Бим, сначала легко бежал вровень с домиком, заглядывая в окна. Тут-то и увидела его Даша.

— Бим! Би-им!! — Закричала она. — Милый Бим! Пришел проводить! Мой добрый Бим! Би-и-м! Би-и…

Голос ее становился все тише и тише. Домик убегал. А Бим, как ни старался, как ни напрягался изо всех сил, все отставал и отставал.

Потом он бежал некоторое время за последним домиком до тех пор, пока тот не скрылся из виду, бежал и дальше, по той же дороге, потому что она никуда не сворачивала. Долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.

Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно — тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все тут. Как лебедь умирает после потери любимой, взмывая вверх и бросаясь оттуда камнем; как журавль, потеряв родную и единственную журавлиху, вытягивается плашмя, распластав крылья, и кричит, кричит, прося у луны смерти; так тогда и Бим: лежал, видел в бреду единственного и незаменимого друга и готов был ко всему, даже не сознавая этой готовности. Но он теперь молчал. Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, *как* умирает собака. Собаки умирают молча.

Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы…

Подошла женщина. Она была в ватном пиджаке и ватных же брюках, голова повязана платком. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв, — наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за поездом, — это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла:

— Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?

У этой грубоватой на вид женщины были теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине.

Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути — провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.

Она каялась Биму:

— Я вот — тоже… И отца, и мужа провожала на войну… Видишь, Черное ухо, старая стала… а все не забуду… Я тоже бежала за поездом… и тоже упала… и просила себе смерти… Пей, мой хороший, пей, горемыка…

Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз — горошинки хозяина, теперь вот — эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.

Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:

— Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду, — и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.

Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.

— Хозяин бросил? — спросила она. — Уехал?

Бим вздохнул. И она поняла.

Подошли они к той группе работающих. Все здесь были — женщины, одеты так же, как и Хороший человек, а сбоку стоял и мужчина, в треухе на затылке и с трубкой в зубах. Он спросил сердито:

— За собакой увязалась, Матрена? А кто будет работать? Эх ты, Матрена, Матрена… Одно слово — Матрена. — И тыкал пальцем в ее сторону.

Бим уловил: Хороший человек — это Матрена. Она приказала ему лежать у обочины, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепилась ими в шпалу вместе с другими женщинами.

— Раз-два, взяли! — рявкнул мужчина. — Еще разик! Еще раз! — орал он подбоченясь и даже гордо.

На каждый его крик женщины отвечали дружными рывками так, что бревно подчинялось и ползло за ними, зажатое со всех сторон клещами. При каждом таком рывке лица женщин напрягались до красноты, а у одной из них, худосочной и квелой, наоборот, лицо

бледнело и даже синело. Эту Матрена отстранила рукой и сказала ей так, как когда-то говорил хозяин Биму, отгоняя его:

— *Уйди*! Отдохни, а то богу душу отдашь. — И к мужчине: — Ну, кричи, что ль, антихрист!

— Раз-два, взяли! — гаркнул тот и, поправив треух, стал выводить как бы с огромным трудом: — Ой, бабочки, еще раз! Муж уехал на Кавказ! Не доехал до Кавказа! Оженился там, зараза! Стоп! Ложи струмент!

Слово «зараза» Бим уже слышал от Курносого дядьки: плохое слово. Других слов он не понял.

А женщины положили в сторону клещи, взяли железные клинья и стали забивать их тяжелыми и длинными молотками. Матрена легко, вроде бы играючи, вколачивала штырь тремя ударами, а Квелая при каждом ударе охала, стонала:

— Ах-ха! Ох-ха!

— Давай, давай! — покрикивал Зараза, набивая трубку. — Давай, давай, Анисья! — Он приблизился к женщине: — С потягом бей, с потягом на себя — легче пойдет.

Анисья — это квелая. Она дольше других возилась с каждым клином и в конце концов оказалась на отшибе. Странное для женщин произошло тут событие, и непонятное: Бим подошел к Анисье расслабленной походкой и тоже, как Матрене, полизал горькие брезентовые рукавицы. Все приостановили работу и с удивлением смотрели на Бима.

Потом они, по приказу Заразы, сели все под кустами и обедали, каждая из своего узелка. И покормили Бима. Он ел. Теперь он уже брал пищу из рук хороших людей. Это было его спасением.

К вечеру он забеспокоился: подходил к Матрене, садился, вяло семенил передними лапами, смотрел ей в лицо, снова отходил, ложился, но вскоре опять подходил и снова отдалялся.

— Уйти хочешь, Черное ухо, — догадалась Матрена. — Ну, иди, ступай, Черное ухо. Куда же я тебя дену? Некуда. Иди.

Бим попрощался и пошел, медленно, шагом, не по-собачьи. Пошел вдоль железной дороги обратно. Дорога есть дорога, она указывает, куда идти, — никогда не собьешься, если взял правильное направление. Только вот все тело мучительно ныло от вчерашних побоев Серого, трудно было дышать на ходу, но — что поделаешь! —

идти надо, благо он подкрепился у добрых женщин, да и тропинка по бровке была гладкой и ровной. Постепенно втянувшись, он легонько-легонько и затрусил. Как же живучи собаки и отходчивы!

Если посмотреть со стороны, ничего особенного в этом не было: по полотну железной дороги семенила хворая собака. И только.

Ближе к городу из одного пути стало два: еще пара железных непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Недалеко от будочки неожиданно заморгали поочередно два красных глаза: левый, правый, левый, правый — метались из стороны в сторону. Красное для всех зверей неприятно; волк, например, не в силах даже перепрыгнуть линию красных флажков, а лисица, обложенная ими, остается в кольце на двое-трое суток и больше. Так что Бим решил обойти громадные красные живые глаза. Он сошел на третью линию

рельсов, остановился, вглядываясь в моргающее красное, еще не решаясь идти дальше. И вдруг под ногами что-то скрежетнуло…

Бим взвыл от страшной боли, но никак не мог оторвать лапу от рельсов: на стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима и можно было понять только одно: «Ой, больно! Помоги-ите-е!»

Людей поблизости нет. Люди не виноваты. Отгрызть собственную лапу, как это делает иногда волк в капкане, собака не может, она *ждет* помощи, она *надеется* на помощь человека.

По что это? Два огромных ярких белых глаза осветили путь и самого Бима, они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим сжался в комок от боли и страха. И замолчал в предчувствии напасти. Но гремящее существо с такими глазами остановилось шагах в тридцати, а в зону света выпрыгнул из темноты человек и подбежал к Биму. Потом, сразу же, появился и второй.

— Как же ты попал, бедняга? — спросил первый.

— Что же делать? — спросил у первого второй.

От них пахло почти так же, как от шоферов, оба были в фуражках с большими медалями.

— За остановку нам влетит, хоть мы и рядом со станцией, — сказал первый.

— Теперь все равно, — отозвался второй и пошел в будочку.

Наш бедный Бим понял по интонации (не по словам): это его спасители. Он слышал, как пронзительно зазвонил в будочке звонок, а через минуту тиски отпустили лапу. Но Бим не двигался, он оцепенел. Тогда его взял человек и отнес за линию дороги. Там Бим закрутился волчком на месте, зализывая раздавленные пальцы. И, однако (до чего же собаки наблюдательны!), он слышал говор из окон и дверей поезда; теперь, не ослепленный светом, он видел поезд из темноты сбоку; разные голоса повторяли слова «собака» и «охотничья», слова очень понятные.

Бим был благодарен хорошим, добрым людям. Вот так. Где-то, кто-то перевел стрелку той дороги, по которой доверительно шел Бим. И никакому «кто-то» нет теперь дела до того, что какой-то собаке защемило ногу и она стала калекой. Как бы там ни было, но теперь он уже никогда не пойдет по железной дороге: это он понял так же, как понял еще в юности, что там, где бегут автомобили, ходить нельзя.

Бим попрыгал на трех ногах, измученный, изуродованный. Он часто останавливался и лизал онемелые и уже припухшие пальцы больной лапы, кровь постепенно утихла, а он все лизал и лизал до тех пор, пока каждый бесформенный палец не стал идеально чистым. Это было очень больно, но другого выхода не было; каждая собака это знает: больно, но терпи, больно, а ты лижи, больно, но молчи.

…К родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет! Опять нет следов Ивана Иваныча. Бим хотел поцарапаться в дверь, как и обычно, но, оказалось, нельзя: с больной ногой невозможно не только встать на задние лапы, но даже и сесть, — только стоять на трех ногах или лежать плашмя. Тогда он уткнулся носом в угол двери и проверил запахи внутри: хозяина не было. Значит, уехал совсем. Так он стоял долго, как бы поддерживая головой ослабевшее тело. Затем подошел к двери Степановны и громко, коротко, в отчаянии сказал:

«Гав!» (Я тут.)

Степановна ахнула:

— Ах, боже ж ты мой! Да где же тебя так-то? — Открыла дверь, впустила и вошла с ним в его квартиру. — Ой ты, собака, собака, несчастная собака, что же мне с тобой делать-то теперь? И что скажет *Иван Иванович*?

Бим только было лег посреди комнаты, вытянув ноги, но… Как так? «Иван Иваныч»? Бим поднял голову, повернул ее с усилием к Степановне и смотрел, смотрел на нее, не спуская глаз, он явно спрашивал: «Иван Иваныч? Где?»

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, как кормить и ухаживать, она, однако, умела жалеть. Может быть, чувство жалости и помогло ей теперь понять Бима, догадаться, что слова «Иван Иваныч» пробудили в больной собаке проблеск надежды.

— Да, да, Иван Иваныч, — подтвердила она. — Подожди-ка: я сейчас приду. — Торопливо выйдя, она сразу же и вернулась с письмом в руках, поднесла его к носу Бима: — Видишь вот? Письмо прислал Иван Иваныч.

Бим, бедный Бим, умиравший и воскресший, раздавленный и спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос в письмо, потом прошелся ноздрями по краям: да, да, да… вот он сильно провел пальцами по конверту туда-сюда… Когда Степановна подняла конверт с пола и вынула из него письмо, Бим с усилием встал

и потянулся к ней; теперь достала из того же конверта совершенно чистый лист бумаги и положила его перед Бимом. Он завилял хвостом: здесь написан запах пальцев Ивана Иваныча, да, это он нарочито тер пальцами.

— Тебе прислал-то, — сказала Степановна. — Так и пишет: дайте Биму этот чистый лист. Она близко указывала на бумагу, приговаривая: Иван Иваныч… Иван Иваныч…

Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив голову на лист. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз в жизни. Это были слезы надежды, счастливые слезы, скажу я вам, лучшие в мире слезы, не хуже, чем слезы радости встреч и счастья.

…Дай-то бог, дорогой читатель! Но верь мне: сеттер умеет смеяться и плакать.

…Степановна начинала понимать собаку, но она поняла и то, что ей не справиться, не осилить одной, не может. Долго она сидела около Бима и думала о своей жизни. И так ей захотелось в деревню, где она родилась и выросла, так стало тоскливо в этих каменных клетках, где люди годами не знают друг друга, живя в одном доме, даже — в одном подъезде. Но все же догадалась она дать Биму воды.

Ой как надо было ему воды!

Он, чуть привстав, пил жадно, теряя капли на пол, а потом снова лег в том же положении. Бим закрыл глаза, казалось, забылся.

Уже перед рассветом Степановна вышла, так тихо, будто боялась беспокоить тяжело больного человека.

А посреди комнаты лежала всего лишь одинокая собака.

Сколько Бим проспал, он не знал: может, несколько часов, может, и сутки. Проснулся от жгучей боли в ноге. Был день, потому что светило солнце. Несмотря на боль, он понюхал листок. Запах хозяина стал слабее и дальше, но это было уже не важно. Главное в том, что он есть, где-то есть, и его надо искать. Бим встал, напился из миски и заходил по квартире на трех ногах; было больно, но он ходил, ходил, ходил из комнаты в прихожую и обратно, кружил по комнате. Инстинкт ему подсказывал: если отлежал один бок, если больно, то надо ходить. Вскоре приспособился передвигаться, не причиняя боли раздавленной лапе: ее надо слегка поднимать вверх, а не волочить над полом — тогда боль меньше. Когда же Степановна принесла еду, он уже повилял ей хвостом, порадовал, а потом и поел.

И почему, собственно, не поесть, если появилась надежда и возникли в собачьей голове два магических слова — «искать» и «ждать».

Но сколько он ни просился, сколько ни требовал, Степановна не выпускала его. (Сиди дома, ты — больной.)

Но наконец и тут она уяснила, что Бим — существо живое, что ему тоже надо выйти по надобности. Она, безусловно, не знала, что были случаи, когда собаки умирали от разрыва кишечника или задыхались при запорах, если тех собак не выпускали более трех дней. А такие случаи были не раз.

Большая человеческая жалость и доброта души руководили Степановной в ее жизни. Только и всего. Она прицепила поводок к ошейнику и пошла. А Бим захромал рядом.

Во дворе, в дальнем углу, стояли двое: старая седая женщина и хромая худущая собака — вот такая получилась картина.

Ребятишки выскакивали из подъездов, спешили в школу, но многие из них подбегали и спрашивали:

— Бабушка, бабушка, почему Бим на трех ногах?

Или так:

— Бимка, больно тебе?

Но в школу бежать надо: это большая ответственность — ходить в школу, самая первая ответственность в жизни — перед семьей, перед учителем, перед друзьями. Потому они и не задерживались, убегали. Это обстоятельство оказалось очень важным и для Степановны, и для Бима, хотя они ничего не подозревали, а просто ушли домой, когда наступило к тому время.

У подъезда встретил их Палтитыч (Павел Титыч Рыдаев) и обратился к Степановне:

— Такое дело, значит. Кобель этот — собака стоящая, и ее надо беречь. Раз уж хозяин дал тебе поручение, то вот тебе совет: привяжи на цепь. Обязательно. Иначе убежит. Не укараулишь. Выскочит в дверь, и — каюк.

— Да разве ж можно такую умную собаку на цепь? — не очень уверенно возразила Степановна.

— Что: и тебя надо воспитывать? Учти: без хозяина и без цепи кобель почует волю. И — каюк.

— Да он же обозлеет, цепной сделается.

— Пойми ты, темный ты человек! Обозлеет — зато жив будет. На цепь, на цепь — вот тебе и вся моя инструкция. Добра желаючи говорю: на цепь!

Не подчиниться председателю домкома Степановна не могла, поэтому она купила цепочку за рубль десять и на ней выводила Бима во двор. По дома отцепляла ее от ошейника и бросала и уголок. Хитрая бабушка Степановна — и волки сыты, и овцы целы. Впрочем, ей самой пришлось выходить с Бимом всего лишь два-три раза, причиной чего оказались необыкновенные события, развернувшиеся вокруг имени Бима.

Глава девятая

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ, ЛОЖНЫЕ СЛУХИ,

ТАЙНЫЙ ДОНОС НА БИМА И ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене распространили слух: есть в их дворе собака — ходила на четырех ногах, а теперь на трех, и худущая-прехудущая, а была не худущая, и она была гладкая, а теперь взлохмаченная, была веселая, а теперь унылая, и зовут ее Бим; хозяина увезли в Москву на операцию, а водит ее теперь бабушка Степановна.

Слух дошел до одного из учителей-методистов, тот на очередном районном собрании работников просвещения осветил это на следующий день в интересном выступлении приблизительно так: растет молодое поколение отличное, оно «приобщается к идее доброты, включающей в себя жалость, как таковую, ко всему живущему на Земле». Все это он подтвердил глубоким, опять же, интересом одной школы даже к какой-то неизвестной собаке с черным ухом, хозяина которой надолго положили на операцию.

Три дня подряд во всех школах района города учителя говорили детям о жалости к животным и рассказывали, как хорошо и тепло отнеслись в школе номер такой-то к собаке. Но наиболее осторожные, однако, предупреждали, что собака, в таком случае, не должна быть

бешеной, чего и следует остерегаться. В школе, где учился Толик, учительница рассказывала об этом же, но просто и душевно.

— Ну, подумайте, дети, вы только подумайте! — говорила она. — Какой-то жестокий человек оторвал у собаки ногу. (Так несколько изменился слух уже среди учителей: слух есть слух!) Это недостойно советского человека! А несчастная собачка с черным ухом навеки калека. — Она нашла в тетради нужную страничку и продолжала: — Теперь, дети, напишем сочинение, маленькое и теплое, на свободную тему: «Я люблю животных». Для свободного изложения и для того, чтобы вы чего-нибудь не напутали, вот вам планчик-вопросник.

И она написала мелом на доске, глядя в тетрадку:

1. Как зовут вашу собаку?
2. Белая она, черная или какая?
3. Острые у нее уши или вислые?
4. С хвостом она или с коротышкой?
5. Какой она породы, если это известно дома?
6. Ласковая она или злая?
7. Играешь ли ты с ней, а если играешь, то как?
8. Кусается она или нет? Если кусается, то — кого?
9. Любят ли ее папа и мама?
10. За что ты любишь собаку?
11. Как ты относишься к другим животным (куры, гуси, овцы, олени, мыши и другие)?
12. Видел ли ты когда-нибудь лося?
13. Почему корову доят, а лося не доят (домашние животные и дикие)?
14. Надо ли любить животных?

Толик сидел как на иголках, он не мог ничего писать. В общей тишине он спросил, не выдержав:

— Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?

Учительница посмотрела в блокнот и ответила:

— Бем.

— Бим! — вскрикнул Толик, взбудоражив этим возгласом весь класс. — Отпустите меня, Анпална. Пожалуйста! Я пойду искать Бима, я его знаю — он очень добрый. Пожалуйста! — просил он жалобно, готовый в благодарности целовать руки Анпалне.

— Толя! — строго обратилась к нему Анна Павловна. — Ты мешаешь другим работать. Думай и пиши сочинение.

Толик сел. Он смотрел на чистый лист тетради, а видел Бима. Казалось, он сосредоточился на свободной теме вместе со всеми, но он написал только одно заглавие: «Я люблю животных». Лишь незадолго до звонка он начал быстро-быстро сочинять ответы. Даже и после звонка он на некоторое время задержался, а Анна Павловна, как обычно в таких случаях, сидела за столом и терпеливо ждала. Наконец Толик, мрачный, неизвестно чем недовольный, положил перед Анной Павловной свое сочинение. И вышел.

Его работа, таким образом, была сдана самой последней, поэтому, как и всегда, Анна Павловна прочитала ее самой первой (сверху лежит).

Толик точно, даже с превышением, ответил на все вопросы свободной темы. Его творение включало даже и поэтические опыты, хотя и с явным плагиатом из популярной песенки, знакомой каждому малышу. В общем же все выглядело так:

«Я ЛЮБЛЮ ЖИВОТНЫХ

Ее зовут Бим. Она белая с черным ухом. Уши вислые. Хвост настоящий. Порода охотничья, не овчарка. Ласковая. Играл один раз, но какой-то дядька-зуда увел, дурной старикан и неподобный ни на что. Не кусается. Мама и папа ее любить не могут, она чужая, с желтой табличкой на шее. За что люблю, не знаю, просто так. Кур, гусей, овцы, олени, мыши люблю, но мышей боюсь. Лося пока не видел, они в городе не живут. Корову доят, чтобы было молоко в магазинах и чтобы выполнялся план. („А ведь он дефективный!“ — подумала Анна Павловна.) Лося не доят потому, что в магазинах не бывает лосинового молока и оно никому не нужно. Животных любить надо, а собака лучший друг человека. Я сочинил песенку сейчас!

И лось хорошо,
И олень хорошо,
И мышь хорошо,

А собака лучше.

Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, они очень пахучие в квартире, нос зажимай, и отдала чужой девочке. А Бима я все равно найду, пусть даже вы меня и не отпустили. Все равно найду, сказал найду и найду. Хоть вы Анна Павловна, мне все равно».

У Анны Павловны глаза на лоб полезли: «Он же из рамок вон выскочил! Он же черт-те о чем думает. В тихом омуте…» Последнюю мысль она не стала додумывать дальше, так как была педагогом, а просто, с сознанием долга, поставила двойку.

Вот ведь как оно выходит. Анна Павловна была на хорошем счету, дети ее, похоже, любили и слушались, за исключением некоторых, без каковых, впрочем, не обходится ни в одном классе. Воспитание — штука сложная, сложнейшая, скажу я вам, потому, видимо, Толик и написал такое, одно из первых своих, сочинение: просто-напросто от необъяснимой обиды и, конечно, несознательно, если иметь в виду, что о морских свинках и Анне Павловне никаких вопросов в теме не было. Может быть, с возрастом он и поймет свою ошибку детства, но пока ему этого не сообразить. Он даже не пришел в класс после перемены. А это уже — ЧП!

Толик поехал из своего нового района в другой, старый, в ту школу №… и допытался-таки у ребят обо всем: когда они видели Бима и где он живет. К радости своей, он узнал также, что нога вовсе не оторвана, а только висит. И пошел с ребятами в тот дом, к Биму.

Он нажал кнопку звонка. Бим ответил вопросом: «Гав!» (Кто там?)

— Это я — Толик! — крикнул гость. Потом услышал, как Бим, прислонив нос к щели, фыркал и втягивал воздух. — Бим, это я — Толик.

Бим взвизгнул, залаял. Так он кричал: «Здравствуй, Толик!»

И мальчик его понял, впервые понял фразу из собачьего языка.

Степановна, услышав лай и разговор человека с собакой, вышла:

— Ты чего, мальчик?

— Я — к Биму.

Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем.

Толик не узнал Бима: поджарый, без живота, свалявшаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра — нет, это не Бим. Но глаза, умные и полные ласки, сказали: «Я — Бим». Толик присел на корточки и дал волю собаке. Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок, подбородок, руки и наконец положил мордаху на носок ботинка Толика. Казалось, он успокоился.

Все рассказала Степановна Толику, незнакомому мальчику, все, что знала о Биме и об Иване Иваныче, но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу.

— Судьба, — определила она. — И у каждой собаки — своя судьба.

Говорила она с мальчиком спокойно, хоть и с горечью, не кичась своей старостью и не подозревая своего большого жизненного опыта, на равных.

— А где табличка? — спросил Толик. — Была же. Я читал.

— Была. Тебя как звать-то?

— Толик.

— Толик — это хорошо… Была. Кто-то снял, стало быть. — Толик подумал: «Он снял, Серый дядька». Но все-таки вслух не произнес, поскольку не был еще уверен в этом. — И что я с ним буду делать, господи? — спросила Степановна, глядя на Бима. — И жалко-то, и что делать — не знаю. Витинара бы ему.

— Ветеринара, — поправил Толик, тоже не ощущая своего превосходства, и ответил на вопрос «что делать»: — Я буду приходить каждый день после школы, буду его водить. Можно?

Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно, после обеда, ехал через весь город к Биму, ходил с ним по двору, по улицам, по парку и, к удовольствию всех ребят, говорил гордо:

— Собака — лучший друг человека.

Смысл в этих словах был совсем иным, чем в сочинении, написанном от обиды.

Но твердо решил Толик: найти того Серого дядьку и поговорить начистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать. И так-таки встретил лицом к лицу.

— Дяденька, — спросил он, приподняв козырек фуражки и заложив руки за спину, — зачем вы сняли табличку с Бима?

— Ты что — очумел, мальчик? — ответил тот вопросом на вопрос.

— Вы же его увели с табличкой. Я видел не один.

— И отпустил с табличкой. Он же меня укусил! Небось отпустишь, если кусается как волк.

— Вы, дяденька, врете: Бим ласковый пес.

— Я? Я вру, щенок?.. Где твои родители? Где твои родители? Говори! — присучился он.

Отчасти Серый был прав. Именно отчасти: он не врал, что был укушен Бимом, и имел полное право возмущаться, но он врал, что будто бы не снимал табличку с ошейника. Первопричиной происшедшего он считал укус Бима, но не снятие таблички, а перестановка местами причины и следствия всегда очень выгодный прием доказательства. Он был глубоко убежден, что говорит правду, но то, что он говорил *не всю правду*, — это его уже не касалось. А кто знает, где она, причина, и где следствие: собака укусила сначала или табличка снята сперва? Это так и останется тайной для всех. Но Толик был глубоко убежден в том, что Бим укусить Серого не мог, потому что он — человек, а не заяц какой-нибудь или лисица. Потому он и повторил еще раз:

— Вы обманываете меня, дяденька. Это — стыдно.

— Бр-рысь! — гавкнул дядька. И ушел, прихрамывая и отставляя зад в сторону (видимо, здорово тяпнул его Бим).

Удивительно, как бывают правы обе стороны, когда один говорит полуправду, а другой не знает второй половины правды.

Серый же шел и думал: «Пойдет с теми сопляками в милицию, доложит, они придут, увидят коллекцию… Нет, юбилейный, пятисотый не отдам. За него можно дать двадцать знаков любых». И он решил: «Лучший вид обороны — нападение».

Дома он написал заявление, а затем отнес его в ветеринарный пункт. Там прочитали:

«…Бежала собака (беспородный сеттер с черным ухом), с разлету укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса и убежала дальше… Бежала она как бешеная, опустивши и хвост, и голову к земле, глаза были налитые кровью… Либо ее изловить и уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов бродячих собак,

либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в деятельности…» и т. д.

Ветврач заволновался:

— Куда укусила? Когда? Где? При каких обстоятельствах?

Серый врал, как заправский сочинитель, только без малейшего воображения. Для врача же все было ясно из личного документа укушенного, а именно: укушен бродячей собакой на улице! Он снял трубку телефона и вызвал дежурного пастеровского пункта.

Вскоре, буквально через несколько минут, приехала на автомобиле женщина-врач, спустила брюки Серого, глянула, спросила:

— Сколько дней прошло?

— Дней десять, — ответил невольный пациент.

— Через четыре дня сбеситесь, — категорически утвердила врач. Но так как пациент ничуть не заволновался от такого приговора, у нее возникли, видимо, какие-то сомнения, что ли, и она спросила: — А сколько месяцев вы не купались?

— С третьей субботы перед укушением. Боялся засорить, как бы антонов огонь не схватить… Место-то серьезное…

Вмешался ветврач:

— Место у вас действительно серьезное. Как телевизор. (Он был шутником, этот симпатичный ветврач.)

— Что же вы наделали! — воскликнула женщина-врач, еще раз присмотревшись к ране. — На пункт, на пункт, на пункт! Немедленно уколы против бешенства… в живот… в течение шести месяцев.

— Да вы что, очертенели! — взревел Серый дядька.

— Ничего не очертенели, — спокойно обрезал его ветврач. — Не подчинитесь — будем силой действовать, через милицию, дома вас возьмут, если вы такой темный человек.

— Я? Темный человек?! — вскричал Серый. — Да вы знаете, где я в свое время работал?!

— Меня это не касается, — ответила врач. — На пункт! — добавила она еще строже, чем прежде.

Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы в определенные дни и часы. Мало приятного, попал как кур во щи: кобель — за задницу, а доктора — в живот.

А дальше было так.

Как уж они сошлись с Теткой той — неизвестно, но как-то сошлись. Может быть, они были знакомы давно (пожалуй, так оно и было), но в тот день они встретились на улице. Такие чуют друг друга так же, как рыбак рыбака, дурак дурака, а клеветник клеветника. Сошлись, значит, и разговорились. Выяснилось, что он кособочится от укуса собаки с черным ухом.

— Да я же ее знаю! Ей-богу, знаю! — всхрапнула Тетка. — И меня кусала.

Серый-то знал, что она врет, однако же сказал так:

— Я лично написал заявление, чтобы ее изловили и уничтожили. Так подсказывает мне совесть.

— И правильно подсказывает! — с воодушевлением поддержала Тетка.

— А вы тоже напишите… если, конечно, вы честный человек.

— Я? Я не отступлю!

И она в тот же день отнесла заявление туда же, в ветеринарный пункт. В глубине души Серый думал (про себя думал): «Раз соврала, то пусть-ка тебя доктора — в животик». Он не любил, когда ему говорили неправду, и гордился этим. Ну, Тетка и попала тоже как кур во щи: вопила, ругалась, врала по мере надобности, в частности про то, что ранка была небольшая и уже зажила, тыкала пальцем в старый шрамчик на руке и еще кричала, что она, как честная советская женщина, написала для пользы дела, а ее за то наказывают в живот.

Странно, но почему-то ее отпустили, записав адрес, и сказали, мол, заедем завтра на дом для выяснения. Как бы там ни было, но Тетка возненавидела Бима лютой ненавистью, Серого — тоже, но несколько меньше, хотя он и подвел ее под монастырь.

В связи с такими двумя заявлениями через два дня в областной газете появилось объявление:

«Есть основание полагать: собака, беспородный сеттер, ухо черное, кусает прохожих. Знающих местопребывание таковой, а также укушенных просим сообщить по адресу… на предмет изловления для анализа и ликвидации возможных последствий. Граждане! Берегите свое здоровье и здоровье других — не молчите»… и т. п.

В ближайшие дни немедленно посыпались письма читателей. В одном из них сообщалось:

«…(такого-то числа и месяца сего года)… бежала собака в направлении к вокзалу (беспородный сеттер, ухо черное), она не разбирала ничего и перла напрямую; так здоровые духом собаки не бегают — напрямую или наискосок через площадь, а обходят препятствия или предметы, встречающиеся на пути следования. Хвост был опущен вниз, и морда была действительно опущена вниз. Вышеупомянутая собака (беспородный сеттер, черное ухо) вполне опасна, может укусить любого гражданина Советского Союза и даже иностранного туриста, каковые есть, а потому ее следует ловить и ликвидировать без никаких исследований, о каковых упомянуто в объявлении вашей уважаемой нами газете».

Под петицией стояло двенадцать подписей.

Были и другие письма (всех не упомянешь). Ну, например, такое: «…Точно такая же собака, но без черного уха, бежала тоже напрямую»… Или: «Город забит собаками, а которая из них бешеная, понять невозможно никак». Или: «И вовсе та собака не бешеная, сами вы бешеные, витинары». Или: «Если облисполком не может поставить на широкую ногу организацию планомерного, рассчитанного на года, уничтожения собак, то куда мы идем, товарищ редактор? Где план? Где действенная критика и почему вы к ней не прислушиваетесь? Хлебы-то мы умеем печь, а вот охранить здоровье трудящегося гражданина кишка тонка. Я — честный человек и говорю всегда в глаза одну матку-правду. И не боюсь я никого, кстати. А вы подумайте над теми моими словами. Мне уж терпеть нету мочи: пишешь, пишешь, а толку ноль».

В общем, писем было так много, что развернулась дискуссия, следствием чего явилась редакционная статья «Том в квартире», где приводились выдержки из письма доцента пединститута. Тот доцент был явным собаконенавистником. Почему это так, трудно догадаться, но воспитательное значение для детей и юношества его высказывание имело огромное: если они его поймут правильно, то с малых лет будут душить собак, заботясь о здоровье трудящихся, а на человека, содержащего дома собаку, будут коллективно и дружно кричать на улице: «Бездельник!» (таким словом доцент обозвал людей, любящих собак), «Грязнуля!» (тоже творчество того доцента).

Как уже сказано выше, всех писем перечислить не представляется возможным, но одно приведем все-таки, последнее. Оно было из двух

строк. Читатель просто задал вопрос: «А на обоих ухах по черному если — бить?» То был читатель-практик, далекий от абстрактного восприятия мира. Но тем не менее это письмо не попало ни в статью, ни вообще на страницы печати и даже осталось без ответа. Только подумать! Какое неуважение к запросам человека, предлагающего свои услуги.

Есть, есть еще читатель отзывчивый, не перевелся, слава богу. Такой читатель не пропустит возможности высказаться и заклеймить. Так вот и в нашей истории: Бима искали уже по всему городу, опорочили добрую собаку. А за что? Ладно: пусть он укусил, скажем, — это правда, а обстоятельства при укушении и то, что он бешеный, — это сущая неправда. Заботливый читатель смешал все это вместе не по своей вине: он не подозревал клеветы, а у нее хоть и короткие, но зато прочные ноги.

Но редактор вовремя заметил, что дискуссия эта — стихийная, вызванная, видимо, укушенным человеком, дискуссия вовсе не организованная, а самотечная. И он поступил мудро — дал объявление нонпарелью (тем шрифтом, какой никогда не пропустит устойчивый читатель): «Собака Черное ухо — поймана. Редакция прекращает дискуссию на эту тему. Рукописи не возвращаются».

Редактор тот был юморист, чего «читатель-борец» терпеть не может.

Но то была неправда: Бима никто не изловил. Просто-напросто Толик, узнав в школе про объявление, нашел перед вечером квартиру ветврача, позвонил, а когда ему открыли, сказал:

— Я — от Черного уха, от Бима.

Выяснился вопрос незамедлительно: на следующий день Толик поехал к Биму и отвел его, трехногого, на ветеринарный пункт к врачу. Тот осмотрел, сказал:

— Враки — вся эта дискуссия. Собака не бешеная, а больная. Избитая и изуродованная. Эх, люди! — как-то неопределенно вздохнул он.

Зато осмотрел больную лапу, ослушал внутренности, выписал мазь для ноги, дал микстуру для внутренностей и, провожая друзей — мальчика и собаку, спросил на прощание:

— Тебя как же зовут, герой?

— Толик.

— Ты хороший мужик, Толик. Молодец!

Бим, уходя, тоже поблагодарил врача. От него пахло лекарствами, но он вовсе не был больной, а, наоборот, высокий, мужественный человек с добрыми глазами.

«Хороший человек, — сказал ему Бим хвостом и взглядом. — Очень хороший вы человек!»

…Читатель-друг! Не тот читатель, что мнит, будто без его клеймящих писем собаки поедят всех граждан и гражданок, нет — не тот. Другой — мой читатель, к тебе обращаюсь. Прости, что в лирическо-оптимистической повести о собаке я иногда напишу одну-две сатирические картинки. Не обвиняй в нарушении законов творчества, ибо у каждого писателя свои «законы». Не обвиняй, дорогой, и в смешении жанров, ибо сама жизнь — смешение: добро и зло, счастье и несчастье, смех и горе, правда и ложь живут рядом, и так близко друг к другу, что иногда трудно отличить одно от другого. Хуже мне было бы, если б вдруг ты заметил у меня полуправду. Она похожа на полупустую бочку. А ведь разницу между полупустой и полуполной бочкой доказывать нет смысла.

Главное, я за то, чтобы писать обо всем, а не об одном и том же. Последнее вредно. Ты подумай! Если писать только о добре, то для зла — это находка, блеск; если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; если писать только о серьезно-прекрасном, то люди перестанут смеяться над безобразным.

Впрочем сказать, я ведь и пишу только о собаке. Б подтверждение чему следуют дальнейшие главы занимательных и, замечу кстати, не всегда веселых историй с нашим добрым Бимом.

Глава десятая

ЗА ДЕНЬГИ

Благодаря стараниям Толика и Степановны Бим поправлялся. А недели через две лапа стала заживать, хотя и осталась разлапистой, широкой по сравнению с остальными; Бим уже пробовал на нее наступать, но пока еще так, немножко — только пробовал. Расчесанная

Толиком шерсть придала Биму вполне пристойный вид. А вот голова стала болеть не переставая: от ударов Серого что-то в ней будто сместилось. Иной раз Бим испытывал головокружение; тогда он останавливался, ждал в удивлении, что же с ним будет, но потом, слава богу, прекращалось до следующего приступа. Так вот и у человека, травмированного или ошеломленного несправедливостью, неожиданно, не сразу, а через некоторое время, вдруг зашумит в ушах, закружится голова, заскочит не туда сердце, и он, покачиваясь, останавливается и ждет в горестном удивлении, что же с ним будет; потом действительно проходит, а иногда даже и не повторяется. Все бывает и все проходит. Человек — тоже животное, только более чувствительное.

…Лишь поздней осенью, уже по устойчивым заморозкам, Бим пошел на четырех ногах, но так-таки и прихрамывал — нога почему-то стала чуть короче. Да, Бим остался калекой, хотя с головой дело будто бы и уладилось. Истинно: все бывает и все проходит.

Это еще ничего бы, но хозяина-то нет и нет. И листок письма давно уже ничем не пахнет, а лежит в углу как обыкновенная, всегда бесполезная бумага. Бим уже мог бы снова искать друга, но Толик не спускал с поводка, когда с ним гулял. Толик все еще боялся и того объявления в газете, и Серого дядьку, да и прохожие иногда спрашивали: «А не та ли это собака, бешеная, с черным ухом?» Толик не отвечал и быстро уходил, оглядываясь. Он мог бы сказать: «Нет, не та собака» — и делу конец. Но он не умел лгать и скрывать свои чувства — страх, опасение, сомнение и прочее; даже наоборот, все это проявлялось открыто и прямо: ложь он называл ложью, правду — правдой. Более того, в нем зарождалось чувство юмора, как одного из способов выражения справедливости, настоящего юмора, при котором смешное говорится без тени улыбки, хотя обладатель этого чувства может внутренне почти плакать. Первым проявлением этого было то самое сочинение, сути которого он сам еще не понимал. Он еще ничего не понимал как следует, он только смутно начинал догадываться кое о чем.

Итак, мальчик в спортивных осенних брючках и желтых ботиночках, в светло-коричневом пиджачке и осенней ворсовой фуражечке каждый день, перед вечером, шел с хромой собакой по одному и тому же маршруту. Он всегда был такой чистенький и

опрятный, что любой встречный думал: «Сразу видно — из культурной семьи мальчишка». К нему уже стали привыкать ближайшие к его маршруту жители, а некоторые из них спрашивали друг друга: «Чей же это такой хороший и смирный мальчик?»

С внучкой Степановны, Люсей, беленькой ровесницей, тихой и скромной, Толик подружился крепко, хотя почему-то и стеснялся брать ее на прогулки. Зато в квартире Ивана Иваныча они, бывало, забавлялись с Бимом, а тот платил им преданно любовью и неотступным вниманием. Степановна тут же сидела с вязаньем и радовалась, глядя на детей.

Однажды они разравнивали Биму очесы на ногах и подвесок на хвосте, а Люся спросила:

— Твой папа тут, в городе?

— Тут. Только его утром увозят на работу, а вечером привозят обратно, совсем уж поздно. Страшно устает! Говорит, «нервы напружинились до отказа».

— А мама?

— Маме всегда некогда. Всегда. То прачка приходит, то полотеры, то портниха, то телефон звонит без конца — никогда ей нету покоя. Даже на родительское собрание вырваться не может.

— Трудно, — вздохнув, подтвердила Люся чистосердечно, с грустинкой в глазах. Она ведь и задала Толику вопрос лишь потому, что всегда думала о своих папе и маме. Потому-то и сказала: — А мои папа-мама далеко. Самолетом улетели. Мы с бабушкой вдвоем… — И совсем весело добавила: У нас два рубля в день, вот сколько!

Хватает, слава богу, — поддержала Степановна. — Десять буханок белого хлеба купить можно. Куда та-ам! А бывало-то, давно-то — вспомнишь… Да что та-ам! Аж муторно: сапоги мужнины, твоего дедушки, Люся, отдала за буханку…

— А когда это было? — спросил Толик, удивленно вздернув бровки.

— В гражданскую войну. Давно. Вас и на свете не было. Не дай бог вам такого.

Толик с удивлением смотрел на Люсю и на Степановну: для него было совсем непонятно, как это так, чтобы папы и мамы не жили с детьми и чтобы когда-то хлеб покупали за сапоги.

Степановна угадала его мысли по взгляду:

— Да и уехать нам нельзя: квартиру-то надо оберегать… а то отнимут… Теперь вот и эту тоже надо оберегать, пока приедет *Иван Иваныч*. А как же! Само собой: мы ж — соседы с *Иван Иванычем*.

Бим присмотрелся к Степановне и догадался: Иван Иваныч есть! Но где он? Искать, надо искать. И он стал просить, чтобы его выпустили. Желание оказалось несбыточным. Он улегся у двери и стал ждать. Казалось, никто из присутствующих ему не нужен. Ждать! — вот цель его существования. Искать и ждать.

Толик заметил, что бабушка Степановна говорит неправильно — «соседы», но теперь, в отличие от первой встречи, промолчал, потому что он уже уважал старушку, хотя и не мог бы сказать, за что, если бы его спросить об этом. Так просто — Люсина хорошая бабушка. Вот Бим, любит же он Степановну. Толик так и спросил:

— Бимка, ты любишь бабушку Степановну?

Бим не только знал всех по имени, не только знал, что без имени нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки, но он точно исполнял, когда дети приказывали, чьи надо принести тапки. Он и теперь, по взглядам Толика и Степановны, по ее улыбке, понял, что речь идет именно о ней, потому подошел и положил ей голову на колени.

Степановна раньше была равнодушна к собакам (собака и собака, делов-то!), а Бим заставил ее любить, заставил своей добротой, доверием и верностью своему другу-человеку.

Теплые и милые эти четыре существа в чужой квартире — три человека и одна собака. У Степановны на душе было тоже тепло и спокойно. Что еще надо на старости!

Потом, после, через много лет, Толик будет вспоминать эти предвечерние часы со светло-сиреневым окном. Будет. Конечно, будет, если его сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия не присосется к его сердцу… Но в тот раз он спохватился:

— Мне надо к девяти домой. В девять — спать, точно. Завтра я тебе, Люся, принесу альбом для рисования и чешские цветные карандаши — ни в одном магазине таких ни за деньги, ни за сапоги не купишь. Заграничные!

— Правда?! — обрадовалась Люся.

— А ты папе-то сказал, куда ходишь? — спросила Степановна.

— Не-ет. А что?

— Надо сказать. Как же, Толик? Обязательно.

— Он же не спрашивает. И мама не спрашивает. Я к девяти всегда дома.

Когда Толик уходил, Бим очень, очень просил, чтобы выпустили, но тщетна была мольба. Его берегли и жалели, не учитывая того, что он страдал и тосковал о друге, хотя и любил их.

На следующий день Толик не пришел. А Люся так ждала его с альбомом и карандашами, каких не бывает в магазинах и какие не купить за деньги. Так ждала! Она и Биму повторила несколько раз:

— А Толика нету. Толик не идет.

Бим, конечно же, понял ее беспокойство, да и время прихода Толика уже прошло, потому он вместе с Люсей заглядывал через окно на улицу и ждал его с нетерпением. Но Толик не появился.

«Сказал отцу», — подумала Степановна, а вслух произнесла:

— Вот тебе и собака… Плохо нам будет без Толика. Кто же будет водить Бима?

У Люси сжалось сердчишко, оно предсказывало что-то недоброе.

— Плохо, — согласилась она дрожащим голосом.

Бим подошел к ней, смотрел на ладошки, закрывавшие личико, и чуть проскулил (не надо, дескать, Люся, не надо). Он помнил, как Иван Иваныч, сидя за столом и опершись локтями, иногда так же закрывал ладонями лицо. Это было плохо — Бим знал. Бим всегда в таких случаях подходил к нему, а хозяин гладил ему голову и говорил: «Спасибо, Бим, спасибо». Вот и Люся тоже: отняла ладошку от лица и погладила Бима по голове.

— Ну, вот и все, Люсенька, вот и все. Зачем и плакать? Толик придет. Приде-ет, не тревожься, детка. Толик придет, — утешала бабушка.

Бим подхромал к двери, будто хотел сказать: «Толик придет. Пойдем поищем его».

— Просится, — сказала Степановна. — Я уж стала его понимать. И не водить нельзя — животность же…

Люся чуть вздернула подбородок и, как-то не похоже на себя, сказала твердо:

— Я поведу сама.

Степановна вдруг заметила: взрослеет девочка не по дням, а по часам. И ей тоже стало горько оттого, что не пришел Толик.

…Девочка с собакой шла по улице. Навстречу — три мальчишки.

— Девочка, девочка, — затараторил один из них, рыжий Конопатик, — твоя собачка — мужичок или бабочка?

— Дурак! — ответила коротко Люся.

Все трое окружили Люсю с Бимом, а она готова была заплакать от первого в ее жизни хамства. Но, увидев, что шерсть у Бима на холке встопорщилась и он пригнул голову, вдруг осмелела и крикнула резко:

— Пошли вон!

Бим так гавкнул, так рванулся, что все трое посыпались в разные стороны. А Конопатик, отбежав и обидевшись за свой собственный страх, закричал чибисиным голоском:

— Э! Э! Девчонка с кобелем! Э! Бессовестная! Э! Э!

Люся побежала что было силы домой. Бим, конечно, за нею. Впервые в жизни он встретил плохого маленького человека — Конопатика.

После такого случая вновь стали выпускать Бима одного, по-старому. Сначала Люся выходила за ним и, стоя за углом, следила, посвистывая по-мальчишески, чтобы далеко не отходил. Потом Степановна отпустила его ранним утром одного. С этого раза и вовсе он гулял один, а вечером возвращался и охотно ел.

Надо же тому случиться! Как-то на перекрестке, на переходе через трамвайную линию, его кто-то окликнул:

— Бим!

Он оглянулся. Из двери трамвая высунулась знакомая вагоновожатая:

— Бим, здравствуй!

Бим подбежал и подал лапу. Это та же самая добрая женщина, что возила Бима с хозяином на охоту, до автобусной остановки. Она!

— Что-то давно не видать хозяина? Или заболел *Иван Иваныч?*

Бим вздрогнул: она знает, она, может быть, к нему и едет!

Когда же вагон тронулся, он прыгнул туда через порожки. Женщина-пассажир вскрикнула дико, мужчина заорал («Поше-ел!»), некоторые смеялись, сочувствуя Биму. Вагоновожатая остановила трамвай, вышла из кабины, успокоила пассажиров (Бим определенно это заметил) и сказала Биму:

— Уйди, Бим, уйди. Нельзя. — Легонько подтолкнула его и добавила: — Без хозяина нельзя. Без *Ивана Иваныча* нельзя.

Что ж поделать: нельзя, значит, нельзя. Бим сел, посидел мало-мало и затрусил в ту сторону, куда поехал трамвай. Тут они ездили с хозяином, тут — это точно, вот поворот у башни, вот постовой милиционер, — тут!

Бим бежал по линии трамвая, не пересекая ее даже и на поворотах. Милиционер свистнул. Бим на ходу обернулся и побежал своей дорогой. Он уважал милиционеров: такие люди никогда его не обижали, ни разу; он помнил и свой первый привод в милицию, все помнил, умный пес; оттуда они пошли с Дашей домой, и все было хорошо. Больше того, он не раз видел милиционера с собакой — черная такая, сильно серьезная с первого взгляда; с нею он даже знакомился когда-то на тротуаре: Иван Иваныч и милиционер подпустили их друг к другу и дали возможность поговорить вдоволь.

«От него пахнет лесом», — сказала черная собака, глядя на милиционера.

— Были вчера на охоте, — подтвердил Иван Иваныч.

«Какая ты чистюля!» — сказал Бим черному, завершая законную процедуру обнюхивания.

«А как же иначе! Работа такая», — вилял обрубком хвоста черный.

В знак наметившейся дружбы они даже расписались на одном и том же дереве, внизу.

Нет, милиционер — человек хороший, он собак любит, тут Бима не провести и не обмануть.

И он бежал себе и бежал помаленьку вдоль трамвайной линии, но только сбоку, так как помнил, что наступать на железные полосы нельзя — прижмут ногу.

У конечного кольца он дал круг по ходу трамвая и застопорил у остановки. Посидел, посмотрел: люди кругом все добрые. Так. Это уже хорошо. Отсюда они переходили с Иваном Иванычем улицу — вон к тому месту с дощечкой на столбе. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с небольшой очередью, ожидающей автобуса. Присмотрелся: опять плохих людей не видать.

Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается всякой скромной собаке.

— Ты куда? — вскричал шофер. Вдруг он глянул еще раз на Бима и пропел: — Постой, постой. Да ты мне знакомый.

Бим точно понял, что это — тот друг, что взял бумажку из рук хозяина. И завилял хвостом.

— Помнит, собачья душа! — воскликнул шофер. Потом подумал и позвал Бима в кабину: — Ко мне!

Бим уселся там, прижавшись к стеночке, чтобы не мешать, уселся в волнении: ведь именно этот шофер и вез их когда-то до леса, на охоту.

Автобус рычал и рычал, ехал и ехал. Замолчал он у той остановки, где Бим всегда выходил с Иваном Иванычем в лес.

Тут-то Бим и загорелся! Он царапался в дверь, скулил, просил слезно: «Выпусти. Мне сюда и надо».

— Сидеть! — строго крикнул шофер.

Бим подчинился. Автобус снова зарычал. Один из пассажиров подошел к шоферу и спросил, указывая на Бима:

— Твоя собачка?

— Моя, — ответил тот.

— Ученая?

— Не очень… Но умная. Видишь? Смотри: лежать!

Бим лег.

— Может, продашь собачку? Моя померла, а я стадо овец пасу.

— Продам.

— Сколько?

— Четвертную.

— Ого! — произнес пассажир и отошел, предварительно потрепав Бима за ухо, приговаривая: — Хорошая собака, хорошая.

Очень знакомы эти добрые слова Биму, слова хозяина. И он вильнул хвостом чужому.

Бим теперь вовсе не знал, куда едет. Но, глядя в ветровое стекло из кабины, он примечал путь, как и всякая собака, едущая впервые по новому месту: так уж у собак заведено — никогда не забывать обратный путь. У людей этот инстинкт с веками пропал или почти пропал. А зря. Очень полезно не забывать обратный путь.

На одной из остановок тот Хороший человек, от которого пахло травой, вышел из автобуса. Шофер тоже вышел, оставив Бима в кабине. Бим следил за ними, не спуская взора. Вот шофер указал в сторону Бима, вот он взял за плечо Хорошего человека, а тот, улыбнувшись, достал бумажки и отдал их, затем, перекинув рюкзак

через плечо, вошел в кабину, снял с себя пояс, прицепил Бима за ошейник и сказал:

— Ну, пойдем. — А в нескольких шагах от автобуса, обернувшись, спросил: — Зовут-то его как?

Шофер вопросительно посмотрел на Бима, потом на покупателя и ответил уверенно:

— Черное ухо.

— А ведь не твоя собака? Признайся.

— Моя, моя. Черное ухо, точно. — И поехал.

Итак, Бим был продан за деньги.

Он понимал, что происходит не то, совсем не то. Но человек, пахнущий травой, был явно добрый, и Бим пошел с ним рядом, печальный и расстроенный.

Шли, шли они молча, и вдруг тот человек обратился непосредственно к Биму:

— Нет, ты не Черное ухо: так собак не зовут. А найдется твой хозяин — отдаст мне мои пятнадцать рублей. Что за вопрос?

Бим смотрел на него, склонив голову набок, будто хотел сказать: не понимаю тебя, человек.

— А ты, брат, видать, *собака* умная, *хорошая*.

Вот и еще раз он сказал слова, так часто повторяемые хозяином. Теперь Бим завилял хвостом в знак благодарности за ласку.

— Ну, раз такое дело, живи со мной, — заключил человек.

И пошли они дальше. Раза два Бим в пути все же пытался упираться, натягивал поводок и указывал взглядом назад (отпусти, дескать, мне — не туда).

Человек останавливался, гладил пса, говорил:

— Мало бы что… Мало бы что.

Тут бы — пустяк: хватить за поясок разок-другой и — пополам. Но Бим знал: поводок для того, чтобы за него водили, чтобы собака шла не дальше и не ближе положенного. И прекратил свои просьбы.

Шли они сначала лесом. Деревья были задумчивыми и молчаливыми — голые, холодные, успокоенные морозцем; трава в лесу пожухлая, немощная и перепутанная, скучная. Тоска Биму, да и только.

Потом потянулись озимые, ковром укрывшие землю, мягкие и веселые. Стало Биму тут немного легче: простор, неимоверно много

неба, веселое посвистывание человека рядом — это всегда было хорошо при Иване Иваныче. Но когда дорога пошла по зяби — опять веселого мало: земля черновато-серая с крапинами мела, а комков на ней никаких; казалась она мертвой, местами полумертвой — распыленная, изношенная земля.

Человек сошел с дороги, потоптал каблуком зябь и вздохнул.

— Плохо, брат, — сказал он Биму. — Еще одна-две *черных бури*, и конец землице. *Плохо, брат*…

Слова «плохо, брат» Биму очень хорошо знакомы от Ивана Иваныча, и он знал, что это означает уныние, печаль или «что-то не так», а слова «черная буря» он принял, как «черное ухо» в неизвестной ему интерпретации. Однако то, что это относится к земле, Биму понять недоступно. Человек явно догадался об этом:

— Конечно, ты — собака, и ты ничего не смыслишь. А кому скажешь? Вот я тебе, *черноух*, и жалуюсь… Погоди-ка!.. — Он посмотрел на Бима и добавил: — А пущай-ка ты будешь Черноух. Это по-собачьему — Черноух. Само вырвалось, так тому и быть.

Ну и что? Еще не доходя до деревни, Бим уже знал, что он теперь — Черноух: человек-то много раз ласково повторял:

— Черноух — это хорошо. — Или так: — Молодец, Черноух, идешь хорошо. — Или в том же роде, но обязательно «Черноух».

Так, за деньги, люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть, Бим не знал этого, как не знал и того, что за те бумажки иные люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!

Но Бим теперь обязан забыть свое имя. Что же поделаешь — тому, значит, быть. Только не забудет он своего друга, Ивана Иваныча. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, но его забыть он не мог.

Глава одиннадцатая

ЧЕРНОУХ В ДЕРЕВНЕ

Деревня, куда привезли Бима, прямо-таки удивила его. Здесь тоже жили люди, но все было не так, как там, где он родился и вырос. Домики маленькие — прямо на земле, без никаких лестничных

площадок, без многочисленных порогов, двери не щелкают замками. Ночью, правда, двери запирают на засов изнутри. Все домики покрыты ребристыми серовато-белыми листами. Утром, в одно и то же время, из каждого домика идет вверх дым, но, однако же, они не едут и не улетают никуда, а стоят себе ровненько рядами и дымят тихо и мирно, без скрежета.

Но самым поразительным для Бима (теперь Черноуха) оказалось то, что вместе с людьми здесь живут разные животные и птицы: коровы, куры, гуси, овцы, свиньи, знакомство с которыми состоялось не сразу. У животных, позади каждого людского домика, свои домики, покрытые иной раз соломой, а иной раз камышом и огороженные невысокой просвечивающей стеной из перекрученных палок и хворостин. И никто никого не трогает — ни люди животных и птиц, ни животные людей, и никто ни в кого не стреляет из ружья.

В первый день Биму постелили сена в углу сеней. Человек привязал его за веревку, хорошо накормил и куда-то ушел, надев плащ. Остаток дня Бим провел в одиночестве, при полной тишине и безмолвии. Перед вечером он услышал, как зашуршали копытцами по земле овцы, как они вошли во двор, как промычала корова внутри сарая (чего-то просила). А вскоре пришел и человек тот, но теперь с мальчиком в плаще, в сапогах, на голове шапка, в руках длинная палка. Лицо у него было такое же коричневое, как у доброго человека, а пахло от мальчика овцами.

— Ну, Алеша, смотри нового товарища, — сказал взрослый мальчику.

Они подошли к Биму вплотную.

— Папаня, а не укусит?

— Нет, Алеша, такие не кусаются… Ух ты, Черноух… Черноух — хорошая собака. — И легонько похлопывал его по боку.

Бим лежал и настороженно рассматривал мальчика. Тот тоже погладил:

— Черноух… Черноу-ух… — И обратился к взрослому: — Папаня, а если отвязать — не убежит?

— Подождем пока, — Он ушел в дверь, внутрь дома.

Бим встал, присел, подал мальчику лапу, чем и сказал: «Здравствуй. Ты — хороший».

— Папаня! — крикнул мальчик. — Папаня, иди-ка!

Тот вернулся.

— Здравствуй, Черноух! — протянул ладонь мальчик.

Бим еще раз поздоровался. Оба человека явно одобряли его вежливость. Эти первые минуты знакомства были важными для Бима: он узнал, что того, кто привел его сюда, зовут Папаня, а мальчика — Алеша. Даже обыкновенные, ничем не примечательные дворняги скоро узнают имена людей, а Бим… Да что там говорить! Мы уже знаем, что это за собака.

Потом, уже в сумерках, пришла и женщина. Эта была одета странно: голова укутана двумя платками, ватник на ней натянут барабаном, штаны такие же, как у той доброй женщины на железной дороге, что забивала костыли. Но от этой пахло землей и свеклой (сладкий такой корень, каким и Бим, бывало, не брезговал). Она вошла в дом, о чем-то там говорила с мужчинами, сразу же протопала через сени во двор с ведром в руках. Теперь Бим установил, не сходя с места: одна дверь из сеней — на улицу, другая — к животным, третья — в дом. Но до них не дотянуться — не пускает веревка. Вот пока и все, что узнал Бим.

Он снова лег.

Пахнет овцами, сильно пахнет, со двора. Что такое овцы — Бим знал давно. Они живут, как думалось раньше, стадом и ходят по полю и ничего не делают, только едят и кричат. А около них, бывало, всегда человек в брезентовом плаще, с длинной палкой с крючком на конце; один такой как-то подходил к Биму и Ивану Иванычу, когда они отдыхали у стога сена, жал руку хозяину; и еще с ним был большой лохматый пес. Бима он встретил воинственно. Сначала бежал на него с разлету и лаял жутко, но Бим тогда лег на спину, подняв лапы вверх, и сказал: «В чем дело? Разве я в чем-то виноват?»

Корректность, конечно, победила грубость, а Лохматый пес, обнюхав Бима, полизал живот, отошел немного и расписался на камне. Бим сделал то же самое. В общем, это означало: миру — мир. А пока хозяин Бима разговаривал с хозяином Лохматого, они поиграли в догонялки и пятнашки, при этом Бим оказался и быстрее, и увертливее настолько, что заслужил нескрываемое уважение нового знакомого. Когда они расставались (надо же было идти за хозяевами!), то понюхали камень и переглянулись так:

«Ты приходи когда-нибудь сюда», — сказал Бим и попрыгал дальше.

«Эх, работа…» — сказал Лохматый и поплелся к стаду, опустив голову.

Так было. Вот и теперь пахнет овцами. Бим не мог не вспомнить Ивана Иваныча при этом тревожащем память запахе: в чужих сенях, в чужом доме, в полутемноте сумерек, без людей, ему стало тоскливо-тоскливо.

Потом он услышал, как о железо ритмично жужжали какие-то струйки: жжих-жжих! жжих-жжих! Бим не знал, что это такое — жжих-жжих! жжих-жжих! Незнакомые звуки замолкли, и тотчас со двора, с тем же ведром, вошла женщина. А из ведра пахло молоком. Знаменито пахло! В городе такого запаха от молока Бим не чуял ни разу, а это — другое, но все же молоко — это точно. В городе молоко не пахнет человеческими руками, разными приятными травами и совсем не пахнет коровой — вот что удивительно. А здесь все это вместе смешалось в восхитительный аромат, поражающий своей обаятельной, какой-то розовой пахучестью. Не будем спорить: уж если человек иногда отличает молоко от «молока», то как же не заметить того нашему Биму, обладающему сверхдальним чутьем, как не поразиться запаху, в котором человеческие руки перемешаны с цветами и травами. Потому-то он и вскочил быстро да и повилял хвостом женщине. Но вряд ли она могла понять восторг Бима.

За долгие четыре года своей жизни он, к сожалению, так ни разу и не видел, как доят коров. А молоко пахнет все-таки коровой. Какая-то неясность так и оставалась у Бима: он кое-чего не знал. Впрочем, мало ли чего не знает любая собака? В этом ничего зазорного нет. А если какой пес и скажет, допустим, что он все знает, и уверен в том, что может поучать, как и что делать и куда бежать, то даже курица ему не поверит; мало ли что он сильнее курицы — не поверит. А такие собаки бывают, скажу я вам. Например, скочтерьер, возьмите вы его: он делает вид, что его голова-кирпич набита разными идеями (борода! длинные усы и брови! философ!), а на деле — бестолковый, командует, ругается на хозяина день при дне, как нервнобольной, финтит беспрестанно. А толку? Да никакого! Одна внешность. А внутри пух либо вовсе пустота.

Нет, Бим — другое дело: он искренен и прям сердцем. Если чего не знает, то такой и вид подаст: чего не знаю, того не знаю. Если кого не любит, так и скажет: «Ты — нехороший человек. Иди отсюда! Гав!» И взлает иной раз так, что — дай бог!

Женщину же, которая добывает где-то такое божественное молоко, он не мог не уважать. Потому-то он все смотрел и смотрел на ту дверь, в какую она ушла с ведром.

Но кто-то подошел с улицы и решительно распахнул дверь.

«Кто? — однозначно спросил Бим, — Гав!»

Вошедший шарахнулся из сеней обратно. Из дома выскочил Папаня, включил в сенях свет и спросил:

— Кто тут?

— Я, бригадир, — ответил незнакомец.

Затем он вошел в сени, они пожали друг другу руки (значит, друзья — лаять не положено) и подошли к Биму.

Папаня присел на корточки, гладил Бима и говорил:

— А ты молодец, Черноух. Молодец — службу знаешь. Хороший пес. — Отвязал его и впустил в комнату.

Самое важное: в комнате была хромая курица. Бим прицелился на нее, сделал стойку, приподняв переднюю лапу, но как-то неуверенно, а это означало, что он говорит присутствующим: «Что за птица? Что-то не приходилось…»

— Смотри, бригадир! — воскликнул Папаня. — Да он же золотой пес, Черноух, — на все руки!

Но поскольку курица — ноль внимания на Бима, то он сел, все же искоса посматривая на нее, что на собачьем языке означало короткие и много вмещающие слова: «Надо же… Туда же!.. Ты еще мне!» И обратился взором к присутствующим.

— И кур не тронет! — восторгался Алеша.

Бим внимательно наблюдал за ним, глядя в лицо.

— А глаза! Маманя, а глаза! Как человечьи, — радовался Алеша. — Черноух, иди *ко мне… ко мне*!

Разве Бим не отзывался на искреннюю радость! Он подошел к Алеше и сел около него.

За столом пошла беседа. Папаня распечатал бутылку, Маманя подала еду. Бригадир выпил из стакана все. Папаня — тоже. Маманя — тоже. Алеша почему-то не выпил, а ел ветчину и хлеб. Он бросил

кусочек хлеба на середину пола, но Бим не сдвинулся с места (надо же было сказать «Возьми!»).

— Интеллигент, должно быть, — заметил раскрасневшийся бригадир, — хлеб не кушает.

Курица прихромала и утащила тот кусочек, предназначенный Биму. Все смеялись, а Бим внимательно-внимательно смотрел на Алешу: не до смеха, если нет взаимопонимания даже и в атмосфере дружбы.

— Подожди-ка, Алеша, — сказал Папаня. Он положил кусочек хлебца на пол, отогнал курицу и обратился непосредственно к Биму: — Возьми, Черноух. Возьми!

Бим с удовольствием проглотил вкусный кусочек хлеба, хотя и был сыт.

Бригадир тоже положил так же кусочек ветчины.

— Нельзя! — предупредил он.

Бим сидел. Курица бочком-бочком подхрамывала к ветчине, но, только-только хотела схватить, Бим фыркнул на нее, чуть не толкнув носом. Та закостыляла под кровать. Одним словом, комедия, да и только.

— Черноух, *возьми!* — разрешил бригадир.

Бим вежливо скушал и этот кусочек.

— Все! — кричал Папаня. Он говорил громко, а покраснев, стал еще добрее. — Черноух — чудо преестественное! — И даже обнял его.

«Хорошие люди», — подумал Бим. Еще ему понравились усы у Папани, мягкие, шерстяные, что он ощутил, когда тот обнимал.

А дальше пошел такой разговор, из которого Бим понял только одно слово — «овцы», но зато точнехонько определил, что двое мужчин вначале стали спорить.

— Ну, Хрисан Андреевич, давай о деле. — Бригадир положил руку на плечо Папани. — Овцы хотят есть иль не хотят?

— Хотят, — ответил Папаня. — Только мой срок кончился, мне — до покрова, а покров прошел.

— Овцы частные, личные, а не колхозные, и они тоже желают кормиться. Мне уж колхозники уши прозудели: снега нету, корм под ногами есть, овца должна до снегу на подножном. И правильно говорят.

— «Овца — до снегу»… А я железный? А Алешка тебе — железный?

— До снегу, Хрисан Андреевич, — твердил бригадир. — Плату положим двойную. Понял?

— Не буду, — твердил Папаня. — Баба моя на свекле закисла — надо помогать, а ты — «до снегу».

Но все-таки они похлопали по рукам друг друга вполне согласно и кончили твердить «овцы до снегу». Затем бригадира проводили на крыльцо все втроем, забыв про Бима.

Что ж, он тоже вышел на крыльцо, обежал вокруг двора, постоял за плетнем, постоял, втянул запахи овец, с какими связано одно из воспоминаний о любимом и единственном человеке, и присел в нерешительности.

Ночь. Осенняя темная ночь в деревне, тихая, притаившаяся от зимы, хотя и готовая ее встретить. Все в этой ночи неизвестно Биму. Собаки вообще не любят путешествовать ночами (разве что бродячие, избегающие людей, потерявшие веру в человека), а Бим… Что и говорить!

Бим сомневался пока. Да и Алеша — такой хороший маленький человек.

Сомнения прервал голос Алеши. Он тревожно, во весь голос закричал:

— Черноу-ух!

Бим подбежал и вошел за ним в сени. Алеша уложил его на место, подоткнул сено с боков, поласкал и ушел спать.

Все затихло. Не слышно ни трамвая, ни троллейбуса, ни гудков — ничего привычного.

Новая жизнь началась.

Сегодня Бим узнал, что Папаня — еще и Хрисан Андреевич, еще он же — Отец, а Маманя — еще и Петровна, Алеша же — так Алеша и есть. Кроме того, курицу он не презирал, но и не уважал: птица, по собачьему разумению, должна обязательно летать, а эта только ходит, потому и недостойна уважения, как бескрылая и дефективная к тому же. Но вот овцы: они напоминают об Иване Иваныче; от Алеши пахнет овцами тоже… От Петровны — землей и свеклой… А такие запахи земли всегда волновали Бима. Может быть, и Иван Иваныч сюда придет…

Бим уснул, притеплившись в духовитом сене. В таком сене, дух которого вызывает невольную улыбку, даже человек засыпает немедленно, и от запаха свежего сена у него возникает в очах голубой цвет перед сном. Бим же был далеко чутьистее человека, поэтому каждый тончайший оттенок этого аромата успокаивал, ублажал его тоску.

Разбудил Бима крик петуха. Когда-то он его слышал не раз, но не так близко, а этот — прямо за стеной, громко, протяжно, гордо: «Ку-ка-ре-ку-у-у!» Ему откликнулись все петухи на селе. (Несколько позже Бим узнает, что этот петух — запевала и что такие петухи бывают сердитые.) Бим сидел и слушал удивительную музыку; дальше она перекатывалась волнами по селу — то ближе, то дальше, в зависимости от того, кому подходила очередь, что ли, а последним, в одиночку, прокричал какой-то немощный кукарешник, сипло, коротко и неподобно петуху, заслуживающему уважения. Потом, со временем, Бим разберется, что именно такие петухи — трусы, убегают даже от чужого петуха, врывающегося во дворовые владения, хотя по всем правилам куриного общежития этот трус обязан защищать покой подведомственных ему кур. А он убегает, идол. Зато именно такой петух безжалостен к чужим цыплятам — клюет, падаль такая, между тем как любой петух, если он не лишен чувства собственного достоинства, никогда не клюнет цыпленка, забредшего невесть откуда. Такой вот и пропел последним, и только тогда, когда убедился, видимо, что не ошибся во времени. Люди назвали бы такого петушишку конъюнктурщиком, но Биму было просто-напросто смешно. Кстати, Бим вовсе не представлял, ввиду отсутствия опыта, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время.

Бим прилег и задремал. Вдруг снова прокатилось по селу из конца в конец песнопение. И Бим снова сел и снова слушал с большим удовольствием. Потом — в третий раз, еще сильнее, голосистее и, право же, возвышеннее. Ах, здорово поют! Вот уж здорово! А что они вытворяли где-то вдали, представить невозможно! Бим пока не знал, что это раздеклешивали хором на колхозной птицеферме, по неписаным котам, белые как кипень, самоуверенные петухи-красавцы, а в тот раз, — не будь он запертым в сенях, — он обязательно сбегал бы посмотреть и послушать поближе такое чудо. Но сени были его клеткой.

В щель двери мало-помалу расслабленно вползал серенький осенний рассвет. Бим встал, обследовал сени: стоит кадушка с зерном, в одном углу — закромок с початками кукурузы, в другом — кочаны капусты. Вот и все.

Вышла с ведром Петровна. Бим ее приветствовал. Она — во двор, и Бим — во двор, следом. Она села под корову, Бим — неподалеку. Струйки зазвенели о ведро, а Бим засеменил передними лапами от удивления: молоко! Корова стояла смирно и жевала про себя, без ничего — будто шептала и булькала симпатичная живая цистерна с открытыми краниками.

Петровна окончила двойку, позвала Бима («Черноух»), налила ему в миску молоко, сказала: «Нельзя», чуть постояла, сказала: «Возьми», засмеялась добрым смехом и заторопилась в дом.

Ах, боже мой, какое же это было молоко! Тепленькое, духовитое, тут тебе и травами отдает, и цветами, полем — всем вместе, а еще (теперь уж точно!), еще — руками самой Петровны, а не просто человеческими руками вообще, как показалось Биму вчера на расстоянии. Бим вылакал все, вылизал, сделал утренний туалет и быстренько обследовал двор. Корова приняла его с полным доверием, даже лизнула в голову, за что Бим притронулся языком к ее шершавому, молочно-пахучему носу; овцы из-за перегородки потопали на него копытцами, вроде бы угрожая, но тут же и успокоились, поскольку уточнили, что Бим не имеет никаких агрессивных намерений; свинья и два поросенка в первый раз не удостоили Бима вниманием, а просто перехрюкнулись между собой иронически и даже не пошевелились, хотя и лежали головами к Биму, у решетки. Так приняли его четвероногие. Но вот куры — это да-а! Собственно, не сами куры, а красный петух. Он, как только слетел с насеста, захлопал крыльями и зло заворчал: «Ко-ко-ко-ко-ко!» Да и бросился на Бима коршуном. Красный петух, с красным гребнем ударил грудью и когтями собаку. (Вот какие петухи бывают!) Бим рыкнул на него в ответ и ударил лапой наотмашь. И тут, в ту же секунду, петух, повесив крылья и пригнувшись, побежал в угол двора к курам, собравшимся беспокойной стайкой участливых зрителей; бежал он от Бима в совершеннейшем унижении, а подскочил к ним уже героем. Да еще и закричал: «Вот как я его! Вот как, вот как!» Куры в один голос явно хвалили петуха изо всей куриной силы. И что же вы думаете? Бим

пристально посмотрел на петуха даже с уважением. Как ни говори, а Бим еще не видел, чтобы птица напала так смело на собаку. А это все-таки что-то значит.

— Что тут за переполох? — спросил Хрисан Андреевич, выходя из сеней во двор. И курам: — Цытьте, вы! Собаки испугались, оглашенные. — Взял Бима за ошейник, подвел к курам, постоял так с ним и отпустил.

Бим отошел и отвернулся: а ну их! С тех пор петух и куры не подходили к собаке, но и бояться особо не боялись, а так — прококочет иная и — в сторону с пути Бима. А ему что? Ходят куры, не летают, не плавают; опять же, никто в них не стреляет, — значит, не птица, а так себе — смехоподобное существо. Петух — это, конечно, да: и на крышу взлетит, и предупредит о приближении чужого чуть ли не раньше Бима, да и руководит достойно — сам червяка не съест, а скличет подчиненных и, бывает, поделит даже. Так что петух вполне заслуживает своего звания.

Ввиду того, что Бима пока не выпускали со двора еще с неделю, он, как-то само собой, стал тут за главного: ляжет посреди двора и следит глазами. Кур он уже знал в лицо всех на четвертый день, а когда залетела через плетень чужая курица, он ее так разогнал, так разогнал, что она долго еще тараторила, то убегая куда-то, то возвращаясь и топчась на одном месте, оглядываясь в страхе и любопытстве. Смех, да и только!

Поросенок, например, тот сам предложил знакомство на короткую ногу: подошел к Биму, хрюкнул, чуть-чуть толкнул его влажным пятачком в шею и смотрел глупенькими белобрысыми глазенками. Бим лизнул его в пятак. Тому неимоверно понравилось: он подпрыгнул от удовольствия и стал копаться около Бима, подковыривая под ним землю. Бим снисходительно перешел на другое место, а хрюшка опять к нему: поворчала что-то непонятное (свиньи и собаки не понимают друг друга так же, как иностранцы) да и улеглась, прижавшись к теплой шерстистой спине Бима. Поэтому когда в один из холодных дней Биму стало не по себе (дверь в сени закрыта на день), то никто во дворе не удивился тому, что Бим спал между поросятами на мягкой подстилке, подогреваемый с двух сторон. Против такой дружбы и мама поросят не возражала, даже наоборот, каждый раз, как Бим входил в их жилище, она энергично стонала от прилива дружелюбия, но вовсе не

от боли. Кстати, такую особенность свиного языка Бим отметил без труда, хотя дальше этого он в языкознании не продвинулся и потом. Пожалуй, это и не столь важно — знать язык. Собака и свинья — разные по всем статьям, но это не мешает им жить в мире и согласии.

Кормили Бима очень хорошо, а кроме того, и поросята, — уже росленькие, в полроста от Бима, — не возражали, если он у них иногда снимал пробу из корытца. Каждое утро он получал около литра молока, что здесь не считалось ни во что. Казалось бы, что еще нужно собаке? Но двор есть двор, клетка-лагерь, огороженный плетнем и всегда закрытыми воротами и калиткой. Не для охотничьей собаки это дело — лежать, караулить кур, воспитывать поросят, — нет и нет, да еще с таким выдающимся чутьем, каким, как мы уже давно знаем, обладал наш Бим.

Он уже привык ко двору, к его населению, не удивлялся сытой жизни. Но когда с луга тянул ветер, Бим беспокойно ходил, ходил от плетня к плетню или становился на задние лапы перед плетнем же, будто хотел, хоть немного, приблизиться к высоте, и смотрел вверх, в небо, где летали голуби — легкие, вольные. Что-то внутри сосало, а он смутно догадывался, что при такой сытости и хорошем обращении не было чего-то самого главного.

…Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе!

Бим почувствовал еще и то, что доверия к нему нет, раз не выпускают. Каждое утро Хрисан Андреевич с Алешей выгоняли своих овец со двора и уходили с ними на весь день, в плащах, с палками. А Бима, как он ни просился, оставляли во дворе.

И вот однажды Бим лежал, уткнувшись носом в плетень, а ветер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. Свобода рядом! Увидел в щелку — пробежала собака. Тогда-то ему и стало невмоготу. Он копнул лапой землю под плетнем раз, другой, копнул еще и пошел трудиться изо всех сил: передними копал и совал землю под себя, а задними выбрасывал дальше; даже разлапистой можно работать, хоть и не в полную мочь.

Неизвестно, что произошло бы потом, но когда Бим почти уже закончил подкоп, вошли во двор овцы. Они увидели, как земля брызжет из-под плетня, и шарахнулись обратно в калитку, где стоял

Алеша, пригнавший их с пастбища. Овцы сбили Алешу с ног и вдарились вдоль улицы как помешанные.

Алеша побежал за ними, а Бим не обращал внимания ни на что: копал и копал.

Но подошел Хрисан Андреевич, взял его за хвост. Бим замер в своей норе, будто неживой.

— Затосковал, Черноух? — спросил Хрисан Андреевич, легонько подергивая за хвост, тем и приглашая Бима обратно.

Бим вылез. Что поделаешь, если тебя тянут за хвост!

— Что с тобой, Черноух?! — удивился Хрисан Андреевич и отстранился, оторопев. — Уж не сбесился ли ты?

Глаза у Бима налились кровью, он нервно подергивался, водя носом из стороны в сторону, часто-часто дышал, будто только-только кончил напряженную охоту. Он беспокойно забегал по двору и наконец стал царапаться в калитку, оглядываясь на Хрисана Андреевича.

Тот, стоя посредине двора, глубоко задумался. Бим подошел к нему, сел и говорил глазами совершенно отчетливо: «Мне надо туда, на простор. Пусти меня, пусти!» Он просяще вытянулся на животе и заскулил так тихо и жалобно, что Хрисан Андреевич нагнулся и стал его ласкать:

— Эх, Черноух, Черноух… И собака хочет воли. Куда-а там! — Затем зазвал Бима в сени, уложил на сено, привязал на веревку и принес миску с мясом.

Вот и все. Грустно. Сытая жизнь без свободы опротивела Биму.

К мясу он не притронулся.

Глава двенадцатая

НА ПРОСТОРЕ ПОЛЕЙ.

НЕОБЫЧНАЯ ОХОТА. ПОБЕГ

Утром, как и ежедневно, в доме Хрисана Андреевича все повторилось по заведенному порядку: пружина трудового дня начала распускаться с последних, третьих петухов, потом промычала корова.

Петровна подоила ее и затопила печь; Алеша вышел поласкать своего, теперь уж любимого Черноуха, Папаня задал корм корове и свиньям, посыпал зерноотходы курам, после чего все сели за стол и позавтракали. Бим в то утро не прикоснулся даже к ароматному молоку, хотя Алеша и просил его, и уговаривал. Потом, пока родители хлопотали по дому, Алеша принес воды и вычистил котух коровы и еще раз просил Бима поесть, совал его нос в миску, но, увы, Черноух неожиданно стал почти совсем чужим. Под конец сборов на работу Хрисан Андреевич наточил огромный нож и засунул его над дверью.

С солнцем Петровна укуталась в свои толстые одежды и платки, взяла сумку и тот огромный нож, что точил Папаня, и ушла. За нею, надев плащи, вышли во двор Алеша с отцом и, слышно, выгнали овец на улицу.

Неужели оставили Бима одного да еще на привязи в полутемных сенях? Бим не выдержал — взвыл горько и безнадежно.

И вот открылась дверь с улицы, вошел Хрисан Андреевич, отвязал Бима и вывел на крыльцо, потом запер дверь снаружи, направился к стайке овец, около которых стоял Алеша, передал ему из рук в руки Бима на веревке, сам зашел впереди овец и крикнул:

— Пошли, пошли-и!

Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Впереди все так же шел Хрисан Андреевич, позади Алеша с собакой.

День выдался морозный, сухой, земля под ногами твердая, почти такая же, как асфальт в городе, но более корявая; даже запорхали густо снежинки, заслонив на короткое время и без того холодное солнце, но тут же и перестали. Это была уж не осень, но еще и не зима, а просто настороженное межвременье, когда вот-вот заявится белая зима, ожидаемая, но всегда приходящая неожиданно.

Овцы бодро постукивали копытцами и блеяли, переговариваясь на своем овечьем протяжном языке, понять который, ну, право же, совершенно невозможно. Присматриваясь, Бим заметил: впереди отары, пятка в пятку за Хрисаном Андреевичем, шел баран с кручеными рогами, а позади всех, прямо перед Алешей, хроменькая маленькая овечка. Алеша изредка легонько подталкивал ее крючком палки, чтобы не отставала, и тогда кричал:

— Папаня, осади малость! Хромушка не тянет!

Тот замедлял шаг не оборачиваясь, а вместе с ним сбавляло ход и все стадо.

Бим шел на веревке. Он видел, как важно выступал Папаня перед овцами, как они подчинялись малейшему его движению, как Алеша по-деловому, сосредоточенно, следил за овцами, сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Алеша побежал с Бимом и крикнул:

— Куда пошла-а?! — и бросил перед нею свою палку.

Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность и побрели себе к зеленоватому пятну, но Алеша так же побежал и так же поставил их на свое место. Бим очень быстро сообразил, что ни одна овца не должна отлучаться от сообщества, а в очередной пробежке с Алешей он уже гавкнул на ту овцу, что нарушала порядок и дисциплину. «Гав-гав-гав!» — так же беззлобно, как и Алеша, предупредил он нарушительницу, то есть: «Куда пошла-а?!»

— Папаня! Слышишь? — крикнул Алеша.

Хрисан Андреевич обернулся и прокричал одобрительно:

— Молодец, Черноух!

На склоне яра он поднял над головой палку и еще прокричал так же громко:

— Распуска-ай! — А замедлив шаг, двигался теперь поперек хода отары.

Алеша стал делать то же самое, как и отец, но здесь, позади, он шагал торопливо, иногда перебежкой, прижимая овец к Хрисану Андреевичу. И тогда отара мало-помалу расходилась все шире и шире и наконец, не переставая щипать травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Теперь Хрисан Андреевич остановился лицом к овцам, окинул взором строй, а рядом с ним пристроился и баран-вожак. Пастух достал из сумки буханку хлеба, отрезал корку и отдал ее почему-то тому барану. Бим не мог знать, что баран-вожак обязательно должен не только не бояться, а любить пастуха, поэтому, по своему неведению, он просто видел подтверждение того, что Папаня — человек добрый, и только. А Папаня, если по совести, был еще и человек хитрый — баран ходил за ним иногда собакой и всегда отзывался на голос. Не Биму, конечно, постичь всю премудрость

пастуха. А Хрисан Андреевич знал отлично, что глупый, отбившийся баран небольшой отары, да еще если без собаки, уведет стадо невесть куда — только проморгай, засни от усталости и от размора солнцепеком. Нет, тут баран-вожак был особый, дрессированный баран, потому и Бима он принял с дорогой душой.

Хрисан Андреевич закурил трубочку и сказал Алеше:

— Ты не нажимай, не нажимай — тут кормок хороший.

…А что ты думаешь, дорогой мой читатель? Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудро-хитрое: не умеючи если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму — затопчут его, и вся недолга; а с толком если, то и на посредственном выпасе овца будет сытая и жирная. Ухитряется же Хрисан Андреевич накормить стадо по пустырям да по окрайкам, да перед носом у тракторов, когда они пашут зябь, а для этого требуется определенный талант и призвание и любовь к животным. Огромный труд — пасти овец, а в общем-то и красивый труд, потому что человек-пастух, иногда даже и не задумываясь над тем, чувствует себя неотъемлемой частицей природы и ее хозяином и добродеем. Вот в чем соль. Читатель простит, что я на время забыл о нашем Биме и заговорил о человеке на просторе поздней осенью.

Итак, овцы с дружным перетреском щипали короткую травку и хрумтели так согласно, что все это сливалось в один сплошной звук, спокойный, ровный, умиротворяющий. Теперь Папаня и Алеша были близко друг от друга и говорили уже тихо, не крича, как раньше издали.

Алеша спросил:

— Папаня, спустить Черноуха?

— Давай пробовать. Не должон бы убечь сейчас: от воли не бегут. Спущай. Но сперва отстань, поиграй с ним — не колготи овцу.

Алеша подождал, пока отара отошла подальше, отвязал веревку и весело крикнул:

— Черноух! Побежали! — Тут он кинулся с горы в яр, топоча сапогами и подпрыгивая.

Бим обрадовался неимоверно. Он тоже подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть Алешу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой; потом схватил какую-то палку,

помчался к Алеше, сел перед ним. Алеша взял ту палку, бросил в сторону и сказал:

— Подай, Черноух!

Бим принес ее и отдал. Алеша еще раз бросил, но теперь не взял изо рта Бима, а пошел вверх из яра к отаре, приказав:

— Черноух, держи. Неси!

Бим пошел за ним с поноской. Когда поднялись вверх, вместо палки Алеша вложил в рот Бима свою шапку. Бим понес и ее с удовольствием. Алеша же бежал вприпрыжку и повторял:

— Неси, Черноух. Неси, мой молодец. Вот хорошо. Вот хорошо.

Но к отаре они подошли тихо («Не колготи овцу»). Алеша скомандовал:

— Отдай Папане.

Хрисан Андреевич протянул руку. Бим отдал. Новое его качество открылось для пастухов неожиданно. Все трое были в восторге.

А не больше как через неделю Бим сам, своим умом дошел, что у него появилась обязанность: поворачивать самовольных овец к стаду, следить за ними, когда они распущены в линию, но не возражать, когда, войдя перед вечером в село, они разбредались стайками по домам.

Бим познакомился с двумя собаками, охраняющими огромную колхозную отару, где было три пастуха, и все взрослые, и все тоже в плащах. Хотя отары колхоза и колхозников никогда не сближались и не смешивались, но при коротких осенних остановках на тырлище Алеша бегал к колхозным пастухам, а Бим, вместе с ним, к колхозным собакам. Хорошие собаки: палевые, шерстистые, большие, но смирные, спокойные; они даже и играли с Бимом спокойно и снисходительно, а вокруг стада ходили тихо, пешком, а не так, как Бим — вприпрыг или стелющимся галопом: с чувством собственного достоинства собаки. Нравились они Биму. И овцы тоже хорошие.

Началась вольная трудовая жизнь и для Бима. Хотя они, все втроем, возвращались усталые и оттого притихшие, но это была воля и доверие друг к другу. От такой жизни не бегают и собаки.

По однажды, как-то вдруг, посыпал снег, закрутил ветер, закружил, заметелил. Хрисан Андреевич, Алеша и Бим сбили овец в круг, постояли немного, да и повели стадо в село среди дня. На овцах был белый снег, на плечах людей снег, на земле снег. Белый снег всюду,

только один снег в поле больше ничего. Заявилась зима, свалилась с неба.

То ли Хрисан Андреевич решил, что такой собаке, как Бим, не положено спать с подсвинками или сидеть на веревке, то ли по чему-либо другому, но Бим перешел теперь ночевать в теплейшую будку, сколоченную в углу тех же сеней и набитую мягким сеном. А вечерами он входил в дом как член семьи и оставался там, пока не поужинают.

— Не может того быть, чтобы — зима. Рано, — сказал как-то Хрисан Андреевич Петровне.

Слово «зима» повторяли они в разговоре часто, о чем-то беспокоились; впрочем, Бим знал: зима — это белый холодный снег.

В тот вечер Петровна пришла вся запорошенная снежком, мокрая, с обветренным и опухшим лицом. Бим видел, как она, раздевшись, трясла руками и стонала. Руки у нее были в красноватых трещинах и землистых пятнах, как бы в подушечках, похожих на подушечки пальцев Бима. Потом она опускала руки в теплую воду, отмывала их, долго-долго втирала мазь и охала. А Хрисан Андреевич смотрел на Петровну и о чем-то вроде бы горевал (чего Бим не мог не заметить по его лицу).

А следующим утром он наточил ножи, и все вчетвером вышли из дому: Петровна, Хрисан Андреевич, Алеша и Бим. Сначала шли ровным белым полем, покрытым мелким снежком — в пол-лапы, не больше, так что идти было легко. Вокруг тихо, но холодно. Потом они оказались на поле, где рядами разбросаны кучи — буртики свеклы, сложенной листами наружу и прикрытой сверху листами же. У каждой кучки сидели женщины, одетые так же, как и Петровна, и что-то делали, молча и сосредоточенно.

Все четверо подошли к одному такому буртику, сели вокруг него, и Бим стал внимательно смотреть, что же тут происходит. Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернула ее корнем к себе и — чик! — ножом: листья отлетели. Еще чик-чик — по головке свеклы: головка чистая. И бросила в сторону, рядом с собой. Хрисан Андреевич повторил за нею все в точности. Алеша — тоже, даже ловчее, чем Папаня. И пошло! Чик-чик! — долой ботва. Чик-чик! — чистая головка. Трах! — свекла в стороне, уже в новой, очищенной, кучке.

Невдалеке, у такого же буртика свеклы, сидела женщина, одна, и делала то же самое. У следующего — тоже, но уже два-три человека вместе. И так на всем поле: свекла шалашиками, укутанные женщины с потрескавшимися ладонями и припухшими от холода лицами. Все работали или в легких брезентовых рукавицах, или голыми руками. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — человек бросает нож и дует ртом на ладони, трет их друг о друга, и снова: чик-чик! — чистая головка. Как часы!

И холодно. Следя за ножами, Бим начал зябнуть, а потому встряхнулся и стал обследовать местность поблизости, не отбиваясь далеко. Согрелся и вернулся обратно к своим, хотя по пути его приглашали и другие женщины (все на селе уже знали, что такое Черноух).

Потом к ним подошла та женщина, что сидела и работала одна-одинешенька — молодая, но тощая. Она на что-то жаловалась, сморкалась на землю, затем села рядом с Петровной и показывала ей руки. Петровна тоже протянула ей свои ладони. Женщина пригорюнилась, закашлялась, прижимая брезентовой рукавицей грудь, и затихла. А звали ее Наталья.

Петровна — чик-чик! Хрисан Андреевич — чик-чик! Алеша — чик-чик! И дуют на руки, и трут щеки. Петровна — чик-чик!.. И вдруг — блюк!.. У той женщины-горемыки из глаз упала на лист капля. Она закрылась рукавом и ушла к себе, к своей свекле.

— Избави, боже, еще и ты не застудись, — сказала Петровна Алеше, подошла, поправила ему теплый платок под шапкой, подоткнула на шее, сняла с себя холщовый кушак и опоясала Алешин меховой кожушок.

Бим тоже тыкался носом в Алешин кожух, помогал Петровне. Но Алеша, как установил Бим, вовсе не так уж и озяб, как казалось; наоборот, он был гораздо теплее Папани и Петровны (Бим-то уж чувствовал это лучше людей).

— Слышь, Алеша, — сказал Хрисан Андреевич, работая ножом за двоих. (Бим навострил уши.) — Поди-ка побегай с Черноухом, погрейтесь маленько.

И вот Бим уже бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Прошли они поле поперек, Алеше стало

жарко, и он снял шапку, развязал платок, сунул его за пазуху, шапку надел, приподняв у нее уши.

Рядом с лесной полосой, в густой желтой траве, Бим приостановился, потянул воздух, забегал челноком и неожиданно для Алеши замер в стойке.

Алеша подбежал к нему:

— Что тут, Черноух?

Бим стоял неподвижно и ждал приказа. Алеша сообразил-таки, в чем дело:

— Пужай! Пужай!

Бим ждал магического слова «Вперед». Но Алеша крикнул еще громче:

— Пужай!

Бим пошел на подводку и поднял на крыло стайку куропаток.

Не долго думая, Алеша побежал обратно вместе с Бимом. Бим понял, что снова у них нет взаимопонимания — Алеша не знает слов Ивана Иваныча, но все же бежал рядом. А тот, запыхавшись и раскрасневшись, рассказал родителям, как Черноух нашел куропаток и «спужнул» их.

— *Охотницкая* собака Черноух, ученая, — одобрил Хрисан Андреевич. — *Ружье* бы нам, Алешка! И на *охоту*. А?

Ружье? Охота? Какие знакомые и дорогие слова для Бима! Он знает, что это значит.

Бим завилял хвостом, заласкался к Алеше, к Хрисану Андреевичу, к Петровне, он говорил им на своем языке отчетливо и ясно. Но его никто здесь не понял: никто не пошел за ружьем и никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху, и задумался, — по крайней мере, такой у него был вид.

Уже в сумерках они вернулись домой, усталые и прозябшие. А через несколько дней и вовсе перестали ходить на свеклу — кончили свою делянку.

Теперь Петровна никуда не уходила и была явно тому рада. Она все дни что-нибудь делала: чистила корову, стирала белье, мыла полы, рубила капусту, сбивала масло, топила печь, варила, шила на машинке, чинила одежду, выносила корове лохань — всего не перечислишь. Бим следил за ее работой.

За Алешей приходила чистая женщина с книжками, журила Петровну (но не сердито, как отметил Бим), обе они повторяли слова: «Алеша», «овцы», «свекла». На следующий день, утром, Алеша ушел с книжками, и так пропадал теперь ежедневно. Хрисан Андреевич отправлялся к сроку куда-то с вилами, а по возвращении от него пахло навозом.

В один из обычных вечеров, когда собрались все и ужинали, вошел человек: высокий, широкий, костистый, крупнолицый, но с маленькими лисьими глазками и в лисьей шапке. Бим приметил, что Хрисан Андреевич глянул на вошедшего без улыбки, а из-за стола не поднялся навстречу, как всегда, и руки не подал.

— Здорово были, — равнодушно сказал гость, не снимая шапки.

— Здравствуй, Клим, — ответил Хрисан Андреевич. — Садись.

Тот сел на лавку, свернул громадную цигарку, рассматривая Бима, и спросил:

— Так это и есть *Черноух?* — (Бим навострился.) — Пропадет собака без *охоты*. Иль убегет. Продай: дам двадцать пять.

— Непродажная, — сказал Хрисан Андреевич и теперь вышел из-за стола, закончив ужин.

Бим на расстоянии в три шага легко понял: от гостя пахнет зайцем. Он подошел, обнюхал, вильнул хвостом и глянул в лицо лисьей шапки, что и означало на языке Бима: «Понимаю — охотник».

— Видишь? — спросил Клим. — Чует Черноух, с кем дело имеет. Продай, говорю.

— Не продам, Клим, не продам. Дело прошлое, — даже Алеша не знал сперва, — послал я три рубля в редакцию в областную и дал объявление: «Пристала собака охотницкая, белая, с черным ухом». Получил ответ: «Не объявляйте, пожалуйста. Пусть живет до срока». В чем дело — не знаю, но чую — собака эта важнецкая, беречь надо.

— А ты загубишь. Продай, — настаивал Клим, начиная сердиться.

— Дела не будет, — отрезал Хрисан Андреевич. — Так — бери на охоту, а приводи в тот же день. Пущай Черноух породу соблюдает, как ему по уставу положено.

— Так что непродажная, — вмешался и Алеша.

— Ну, так и так, — недовольно заключил Клим, потрепал Бима по холке и ушел.

После ужина, под фонарь, Хрисан Андреевич заколол валушка и, подвесив за задние ноги на распялке, снял с него шубу, выпотрошил, обмыл тушку и оставил ее в сарае до утра.

Петровна весь вечер то укладывала яйца в корзину, то набивала банки сливочным маслом или заливала топленым. Она потом аккуратно устанавливала их в базарные, из белых хворостинок, корзины.

Вот теперь-то Бим уловил, что от всего этого (барашек без шубы, яйца, масло, корзины) пахнет городским базаром. Ему ли не знать! Весь город от края и до края он изучил в поисках Ивана Иваныча. И Бим заволновался: базар, город, корзины, своя собственная квартира — все связалось в одно: Иван Иваныч там. Ночь он не сомкнул глаз.

Утром, рано-рано, Хрисан Андреевич завернул уже твердую тушку в чистую мешковину, обмотал шпагатом и вскинул на плечо. Петровна надела на коромысло две корзины, подняла и положила его на оба плеча. Как Бим просился с ними! Он ясно же говорил, втолковывал им настойчиво: «Мне надо с вами. Я — туда. Возьмите».

Никто не понял его переживаний. Больше того, Хрисан Андреевич сказал, поправляя и прилаживая к плечам тушку:

— Придержи-ка, Алеша, Черноуха — как бы не убег за нами.

Алеша взял его за ошейник и придержал на крыльце. А Папаня и Маманя, каждый с тяжелой ношей, медленно пошли к шоссе, к автобусной остановке. Бим провожал их взглядом, не обращая внимания на ласку и уговоры Алеши, провожал, пока они не скрылись из виду.

Вскоре пришел Клим с ружьем и рюкзаком. Охотничьей сумки и патронташа на нем нет (недостаток экипировки Бим отметил немедленно). Но все-таки — ружье! — вот в чем смысл. Бим доверчиво потянулся к охотнику и тут же установил, что патроны насыпаны в карман. Тоже непорядок большой. Главное же — ружье. За человеком с ружьем он пойдет куда угодно. Надолго или нет, а пойдет. Такая уж натура у легавых собак, и Бим не был исключением: у него на какой-то срок затихла тоска, возникшая в последний день, — даже так. В отношении к ружью Бим был обыкновенной охотничьей собакой. Не надо его обвинять в отсутствии логики, истину он постигал только практикой, хотя и был умнейшей собакой из собак.

Ему еще много предстоит пережить только от одного того, что он — собака. Не будем обвинять.

— Пошли-ка, Черноух, на охоту, — сказал Клим.

Бим запрыгал перед ним: «На охоту, на охоту!»

Клим же взял его на ременный поводок, а Алеша предупредил:

— Дядя Клим, когда Черноух станет, вытянется, замрет, то тут и куропатки. Ему надо крикнуть так: «Пужай!» А то с места не сойдет.

— Аль правда?

— Ну дык! Знаю же, — степенно ответил Алеша. — Мне вот уроки учить, а то бы показал сам.

— Мы тоже кой-чего понимаем. Не впервой, — заверил Клим.

Итак, после большого перерыва и многих переживаний Бим пошел на охоту. Сначала им ничего и не попадалось, кроме норы вонючего хоря.

— Рой, — сказал Клим.

Бим такого не понимал, отошел в сторону и сел в недоумении.

К середине дня сильно потеплело. Солнечно, тонкий слой снега раскис, под лапами уже хлюпала грязь, очесы на ногах Бима обмокли и вымазались, он стал поджарым и невзрачным, как и всякая мокрая легавая. Но Бим искал по всем правилам — челноком впереди Клима, поперек и с поверочным заходом. На опушке кустарникового колка Бим стал по куропаткам.

Клим крикнул:

— Пужай!

Бим даже вздрогнул от басового рыка и поднял куропаток рывком, без подводки (ай, какая ошибка!), но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовывал патрон в одностволку, а — никак. Потом стал его вынимать, тоже — никак. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток, и, не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. А Клим стал ругаться так, как ругаются вечером на тротуаре пьяные: качаются и ругаются друг на друга или просто в черную ночь. Этот же и не качался, а ругался.

Хотя Клим в конце концов вынул патрон, вставил другой и закрыл ружье, он был злой и чем-то напоминал Серого.

— Ну, ищи! — приказал он Биму. — Черноух, ищи!

Отвернувшись и выходя против ветра на челнок, Бим сделал вид: «Ну что ж, буду искать».

Но что-то такое апатичное появилось в прихрамывающей побежке, не та уж прыть, что до подъема куропаток. Клим принял это как физическую слабость собаки, не понимая того, что у Бима это самое означает начало сомнении в человеке: вот так, искоса, оглядываться на него, не останавливаясь и не приближаясь, держась на почтительном расстоянии. Он как бы и не искал, а только следил за охотником, но это только казалось. Страсть необоримая, страсть вечная, пока существуют охотничьи собаки, взяла свое. В сущности, — Бим шел за ружьем, а вовсе не за Климом.

Неожиданно он поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иваныч не охотился с Бимом, хотя раза два-три Бим и делал по ним стойку. Они ведь, эти зайцы, не держат стойку ничуть: только приостановись, а он — теку. Гонять за ним нельзя — хозяин не разрешал. Летом, правда, они кое-как еще лежат и под стойкой, но Иван Иваныч всегда отзывал Бима; а одного зайчонка величиной с ладонь даже отнял из-под лапы и пустил на волю. Так что заяц — не птица. Однако Бим настроил нос на струю, идущую от зайца, пошел точно и стал на стойку — мокрый, чуть кособокий на испорченную лапу. Нет, уже не та стойка у калеки. Не та художественная стать.

— Пужа-ай! — заорал Клим.

Заметим, в мягкую погоду, а тем более в раскисшей грязи, заяц лежит крепко, а Бим пока все еще не стронулся с места, будто хотел сказать: неправильно кричишь-то.

— Пужа-ай, черт хромой! — рыкнул Клим.

Поднял зайца Бим и прилег, как и полагается перед выстрелом.

Клим бабахнул, как пушка. Заяц бежал, но все мед леннее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз.

Клим кричал дико:

— Ату, ату его! Ала-ала-ла-ла! Ату! — и бежал по направлению, где спрятался заяц.

Бим, хотя и запрыгал рядом с Климом, знал точно, что все это происходит не по правилам: охотник не должен бежать собакой, Бим и сам найдет, если надо — даже зайца, если приказал бы Иван Иваныч.

Клим остановился, запыхавшись, и неистово орал:

— Ищи, балда! Калека чертова!

Пошел Бим как-то обиженно. И без того запах зайца не так-то уж его интересовал и раньше, а тут — позади топает ногами Балда. Но все

же следом, следом Бим дотянул, стал в стойке, дождался противного «Пужай» и размахнулся на подъем зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял как больной. Клим выстрелил, а заяц бежал. Еще выстрелил, а заяц тихо-тихо ковылял с приостановками. Бим лежал, как и полагается, несмотря на грязь, ждал приказа.

А Клим рычал:

— Ату, гад! Ату его, балда! — И указывал на зайца.

Бим вновь нашел затаившегося подранка и опять сделал стойку. Третью! И опять Балда промазал. И снова заяц побежал.

Так Клим и не смог понять в своем озлоблении, что Черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это ниже достоинства интеллигентного сеттера, что сеттер не терпит таких охотников, как он. Когда в последний раз заяц скрылся из виду (он пошел несколько бодрее — видимо, рана была открытой), Клим снова рассвирепел: он подошел вплотную к Биму и часто повторял слово «мать», зло, с ненавистью: явно проклинал Бима.

Бим отвернулся сидя, собираясь уходить от ружья. И тут Клим с размаху ударил его изо всей силы носком громадного сапога в грудь снизу…

Бим охнул. Как человек охнул.

«О-о-х! — вскрикнул протяжно Бим и упал. — Ой, ой… — говорил теперь Бим человеческим языком. — Ой… За что?!» И смотрел мучительным страдающим взглядом на человека, не понимая и ужасаясь.

Потом он с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь, шевеля лапами.

— Что ж я наделал! — схватился за голову Клим. — Теперь придется четвертную отдавать. Пропали деньги! — И затрусил скоро-скоро, будто убегая от взгляда Бима.

В тот день Клим не появился в селе, а где-то прошлялся до ночи. В полночь, крадучись огородами, заполз в свою хату, что на самом краю села.

Что же Бим? Где он?

Он остался один на сырой холодной земле, один-одинешенек на всем белом свете. Внутри что-то оборвалось от удара, и это «что-то» стало теплым, оно захватило дыхание, сперло грудь, оттого он и потерял сознание. Но вот он кашлянул, его стошнило, вздохнул — дышать больно. Еще раз схватил воздух открытым ртом и откашлялся. С усилием приподнял голову: поле качалось так, будто Бим плыл по волнам в половодье. Он натужился, сел: поле качалось, солнце качалось, как подвешенное на веревке.

Сегодня с Бима спросили больше того, что он может; от него потребовали: ты *должен, обязан* сделать то, чего не можешь сделать против своей собачьей чести и совести. За неисполнение жестоко и свирепо избили. А он, Бим, не позволит душить подранка.

«За что-о-о… За что-о-о… — скулил тихонько Бим. — Где ты, мой добрый друг… Где-е? Где?..» — все тише и тише жаловался Бим, а наконец и замолк.

Со стороны показалось бы, что лежит в открытом слякотном поле мертвая собака. Но это было не так.

Вот он приподнял зад, укрепился на ногах — не упал. Переступил раз — не упал. Постоял. Переступил второй раз. И заскоблил по пашне, волоча лапы, перечеркивая свой собственный след.

…О великое мужество и долготерпение собачье! Какие силы создали вас такими могучими и неистребимыми, что даже в предсмертный час вы движете тело вперед? Хоть помаленьку, но вперед. Вперед, туда, где, может быть, окажется доверие и доброта к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем.

И Бим шел. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступила кровь, а он шел. Кашлял кровью, а шел. Спотыкался, припадая на колени, и шел. Ложился от бессилия на холодную землю, вставал и вновь продвигался вперед еще.

У ручья жадно напился воды — стало чуть легче. Что-то ему подсказывало: от воды уходить не надо. Он действительно добрался до ближайшей скирды, через силу просунулся под нависшую до земли солому и затих. Так собаки отлеживаются от недуга, скрываясь от взора людей и зверья; этому научила их сама природа. Слава ее законному порядку и разумной целесообразности!

Сколько Бим пролежал в забытьи, он не знал, но, очнувшись, почувствовал острую боль в груди; голова закружилась, и он, ощутив нутром, что сейчас что-то произойдет с ним, выполз из соломы. Полежал на открытом воздухе. Ощутил, что шерсть стала сухой. Сел. Осенняя трава теперь не качалась, скирда не качалась, солнце — тоже, и оно теплое, немножко греет. Бим доплелся до ручья и вновь пил, пил, пил. Отдыхал немного и опять пил уже маленькими глотками. Он заметил недалеко от ручья степную осоку, мелкую и еще зеленую, похожую на пырей (морозы не скоро ее берут). Бим стал есть осоку. Что ему подсказывало об этой невзрачной травке, люди никогда так и

не узнают, но он-то знал: обязательно надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже присохшая запоздалая ромашка, а на ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку. Еще вернулся к ручью, напился и пошел к деревне. Шел вперед и вперед.

Так-таки и добрел, когда уже смеркалось. Нет, Бим не пошел в деревню. Как же! Туда побежал Клим… Нет, за ним он не пойдет. Клим может взять снова за ошейник, и тогда… Нет, такого не будет.

Бим устроился в остатках копны, отлежался немного. Почуял рядом стебель лопуха, попробовал его — сухой, отгрыз его вровень с землей и стал щипать корень, вгрызаясь в глубину. Это он тоже знал, что уж лопух-то надо есть обязательно.

Велики и многогранны лечебные познания собаки. Отпустите собаку в начале бешенства в лес: через две-три недели она придет истощенная до полного бессилия, но здоровая. Заболела собака желудком — ведите в лес или в степь и поживите с ней пару-тройку дней: она вылечит себя травами. Именно у собаки и надо учиться, как ее лечить. Природа закрепила настолько богатые «знания» у собаки, что чуду этому люди никогда не перестанут удивляться.

…Ночь прошла. Большая, осенняя, ноющая внутри ночь.

Прокричали первые петухи. Бим не стал дожидать вторых и третьих, последних, рассветных. Он поднялся, но никак не мог сдвинуться с места от боли в груди. Но все же с усилием размялся, дважды ложась и вставая вновь, да и побрел тихонько.

Он притащился к Хрисану Андреевичу, взобрался через два порожка на крыльцо и прилег. В доме было безмолвно.

Кто знает, может быть, он не ушел бы отсюда сегодня, но рядом, совсем рядом, прошел Клим, тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до последнего издыхания. В Биме проснулась гордость обреченного, когда тому больше нечего терять. Но Клим перегнулся через балясину и сказал полушепотом:

— Пришел, Черноух. — И торопливо, трусливо потопал обратно, будто повеселел.

У Бима не было сил, чтобы догнать и мстить за коварный жестокий удар сапогом, лаять он не мог, потому что кроме хрипа из этой попытки ничего не получилось в искалеченной груди. Но Бим не желал и того, чтобы Клим вдруг пришел и пытался взять его. И вот он встал, тихо обошел двор, принюхался к подсвинкам, к корове, овцам,

чуть посидел и пошел из села вон. А как хотелось прилечь у друзей-поросят!

…Пропели третьи петухи. Светало.

По направлению к шоссе шла собака. Голова опущена, хвост висел безжизненным, как у бешеной. Со стороны она и могла бы показаться бешеной, в последней стадии болезни: вот-вот рухнет, наткнувшись на первый попавшийся предмет, и умрет тут же. Это был наш Бим, наш добрый и верный Бим. Он шел искать своего хозяина, Ивана Иваныча. Шел точно старым путем, по которому его вели сюда.

От деревни до остановки автобуса было километров пять-шесть, но где-то на полпути. Бима снова оставили силы, он едва дотянул до стога сена. Кто-то, воруя ночами, продергал в стоге дыру — туда Бим и забрался. Лежал там долго, почти весь день, а перед заходом солнца вышел из своего ухорона. Хотелось пить, но воды не было. Боль сверлила грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, когда он тронулся в путь. Теперь ему попалась кулижка бессмертника, он съел и эти цветочки — желтенькие, сухие, не изменяющие цвета от начала цветения до созревания и дальше, на всю зиму, до весны. Общипал и кустик ромашки, но у этой головки оказались созревшими, во рту рассыпались и першили в горле, отчего еще сильнее захотелось пить. Когда он переходил одну из полевых дорог, попалась лужица от растаявшего снега в колее. Так дорога сберегла для Бима водички. Он напился и пошел помаленьку дальше.

Затемно он прибыл наконец на шоссе. Посидел малость, проводил глазами несколько автомобилей с ослепительным светом и уже знал: надо идти туда. Но — не ночью же! А вдруг — Клим? Или — Серый дядька? Или — волк?

Бим решил не отходить от автомобильной дороги и спрятаться на ночь неподалеку, где-нибудь рядом. Он дотащился до автобусной остановки, где был маленький домик без одной стены, но с широкими лавками внутри, там забился в угол, под лавку, и стал ждать.

За ночь он не сомкнул глаз, несмотря на неимоверную слабость. То один, то другой проскакивали мимо автомобили — дорога жила и ночью. Автобус замедлял ход перед остановкой, где лежал Бим, но из-за отсутствия пассажиров уезжал дальше.

Ночь была хотя и настороженная, и больная, но теплая, слава богу, — осень еще раз прогнала зиму.

Что же произошло в деревне за эти сутки в отсутствие Бима?

Хрисан Андреевич с Петровной вернулись с базара уже в сумерки. Алеши не было — дом на замке. Они вошли, пересчитали деньги, вырученные в городе, спрятали их пока в сундучок, чтобы завтра отнести в сберкассу. Тут и заявился Алеша.

— Куда ты запропал? — спросил отец.

— Ходил до Клима.

— Аль он не привел Черноуха?

— Еще не пришел с охоты.

— Придет. Приведет — никуда не денется, — успокоила Петровна, примеряя Алеше новенький свитерок.

— Так-то оно так, — неуверенно сказал Хрисан Андреевич, — да только Клим-то, вишь, ворюга… Хоть бы брал-то одно колхозное — оно там ничье, а то ведь у колхозников тащит. С с этим свяжись — рад не будешь. Любой-каждый его боится. Пущай уж берет Черноуха на охоту, леший с ним, с Климом.

— Как так — «ничье»? — спросил Алеша. — Наше же?

— Оно, конечно, так… Оговорка… Это ты правильно — наше… Но, как бы тебе потолковее сказать? Там — наше, а тут — свое. Ну, скажем так: школа, к примеру, наша и дети все наши, а ты — мой. Или так: поля — наши, а усадьба — своя… Стало быть, и скотина: есть — наша, а есть — своя. Понял?

— Ну дык! Как не понять… А ты — «ничье».

— Это ты правильно: совсем ничье — не может того быть.

Отец всегда разговаривал с Алешей как со взрослым. Алеша отвечал тем же:

— Стало быть, и Клим: брал бы из нашего, а не из моего.

— Фактически так, — заключил отец. — Мы же с тобой берем… сенца там иль свеколки для коровы? Берем. Потаенно от председателя, а берем чуть. Да и он, председатель, знает, и бригадир знает, все знают. И от этого никуда не денешься: из нашего берем. И берем по совести, из прошлогодних стогов иль добираем остатки свеклы. А как же? Скотину кормить-поить надо.

— Фактически так, — подтвердил тринадцатилетний мужичок, который уже может и пасти стадо, и ухаживать за «своей» скотиной, и

пахтать масло, помогая матери, если свободен, конечно, и чистить по морозу «нашу» свеклу, и копать «свою» картошку.

А Хрисан Андреевич разъяснял дальше:

— Как положено по уставу, так и действуем все: там — наше, а тут — мое. Я вот отнес барашка в город. А как же? Кормить-поить народ надо — мы к тому приставлены. И мать отнесла яйца. И масло. Все по уставу, все планово. Жизня, Алешка, наладилась хорошо, обуты, одеты не хуже учителя аль председателя, телевизор есть и все такое, деньжонки есть по потребности. А что работаем много, так, окромя крепости, от этого ничего не бывает. Только вот водку не надо пить, — наставлял Хрисан Андреевич.

— А сам пьешь, — резонно заметил Алеша. — Раз не надо — и не надо. Проку-то!

— Это ты правильно, — согласился отец. — Разве что бригадира уважить, так это ж не нами заведено… А Клим — что? Клим — ворюга. Как это так: пойти к соседу и украсть курицу? Это же надо потерять всякую совесть. Куда-а там! Пропал человек.

В ожидании Черноуха Алеша и Хрисан Андреевич проговорили так до одиннадцати вечера. Потом ходили вокруг двора, заглядывали к поросятам, под крыльцо (может быть, убежал от Клима да и спрятался). Наконец Хрисан Андреевич пошел сам. Наталья, жена Клима, тихая и забитая мужем, та самая, что уронила слезу на свекольный лист, сказала горестно:

— Не пришел еще, бродяга. Заночевал где-нибудь, идолище. Либо запил, окаянный. Ох, горе мое! Считай, теперь завтра придет, шатун. А собаку он никуда не денет, знаю ее. Приведет.

Хрисан Андреевич вернулся домой, рассказал, что слышал, и они с Алешей улеглись на покой, разговаривая шепотом, чтобы не будить мать. Они не слышали, как приходил Черноух на крыльцо, как подкрадывался и убежал Клим, как ушел их добрый новый друг от злого человека.

Утром отец разбудил Алешу:

— Вставай. На крыльце свежие следы: пришел Черноух.

Вдвоем они стали искать, звать, свистеть, но Черноух уже не мог их услышать. Хрисан Андреевич почти бегом затрусил до Клима, разбудил его.

— Привел же, привел, — басил тот хрипло и недовольно. — За полночь привел, не хотел тебя будить… Хочешь, следы свои покажу. А ты вот меня разбудил, растревожил. Как думаешь: по-человечески ты поступаешь или как? Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне — не буду его брать никогда.

Хрисан Андреевич не спорил: с этим только свяжись.

Они обошли с Алешей все село, огороды, были на колхозном дворе (не у собак ли Черноух в гостях). Нет, никто нигде не видел Черноуха. Пропал Черноух.

— Стало быть, Клим его побил, — догадался Хрисан Андреевич. — Убег Черноух.

А у Алеши щемило сердце от жалости и горя. Он стал рассматривать пол на крыльце: следы уже высохли, но место, где лежал Черноух, осталось заметным. Алеша наклонился и неожиданно кинулся в дом с криком:

— Папаня! Кровь!

Тот выбежал, присмотрелся: там, где лежала голова Черноуха, остались высохшие пятнышки от слюны, перемешанной с кровью.

— Зверь! — сказал Хрисан Андреевич. Подумал и предупредил Алешу: — Смотри не связывайся с этим человеком — беды наживешь. Вот что: пойдем-ка по путю Черноуха — кроме ему некуда.

Они добрались до автобусной остановки, по дороге зовя и выискивая Черноуха, долго там поджидали, да и ушли домой. Думалось, если шел сюда, то теперь он уже далеко-далеко. В этот день они проходили неподалеку от того стога, где отлеживался Бим, их Черноух.

Вечером Алеша несколько раз выходил на крыльцо, ждал, звал. А потом вернулся в сени, сел у собачьей будки, набитой сеном, и заплакал, откровенно, по-детски, всхлипывая и размазывая рукавом непослушные слезы.

Хрисан Андреевич услышал. Вышел в сени, включил свет.

— Э, да ты никак — того? — удивился он.

— Того, — ответил Алеша, вздрагивая.

Отец провел шершавой, деревянной ладонью по волосам сына и проговорил:

— Это хорошо, Алеша… Душа в тебе есть, мальчик…

Вышла и Петровна.

— Жалко Черноуха? — спросила она.

— Жалко, маманя!.. Жалко…

— Горе-то какое, отец, — всхлипнула она. — Что же теперь поделаешь, Алешенька… Так тому быть… Жалко…

…А в это самое время Бим уже лежал под лавкой павильончика автобусной остановки.

Лежал и ждал. Ждал он только одного — рассвета.

Глава тринадцатая

ЛЕСНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПАПА С МАМОЙ. ГРОЗА В ЛЕСУ

Как только забрезжил рассвет, Бим попробовал встать, но это было нелегко, почти невозможно. Главное, трудно разогнуться из калачика: что-то застыло теперь внутри и будто склеило там. Кое-как, не по-собачьи, он сначала вытянул одну заднюю ногу, как курица из-под крыла, потом — вторую, уперся ими о стенку и выполз из-под лавки. Чуть полежал и пополз из павильона. Сел.

Отекшие ноги стали отходить. Превозмогая боль и утишая ее слабым поскуливанием, про себя, он пошел — сначала с трудом, чиркая лапами о землю, потом все прочнее и прочнее.

Попробовал малость впритруску — так боль в груди меньше. И вот он легонько-легонько потрусил и потрусил вперед. Со стороны, конечно, показалось бы, что собака и не бежит и не идет, а сучит ногами, почти не сотрясая тела. Так Биму легче. Он почувствовал, что ему и вообще стало легче от трав и движения. И он семенил и семенил по бровке шоссе.

Шел по левой стороне дороги, против встречных автомобилей. Он, безусловно, не знал «Правил уличного движения по дорогам СССР» и никакой логики и целесообразности, как могло показаться встречным шоферам, в его законном движении не было — просто инстинкт подсказывал: этой стороной меня везли сюда, этой же стороной пойду и обратно. Люди, мелькающие в окошках

автомобилей, обязательно думали: «Умная собака какая — соблюдает правила движения. Но больная». На самом же деле тут никакого разума особого не требовалось, чтобы подтвердить, что соответствующая статья правил удовлетворяет требованиям безопасности.

Долго семенил Бим, — может, три, может, четыре часа (с остановками и отлежками — больше, конечно). Скорость его не превышала скорости пешехода, возможно, чуть-чуть даже и больше. И то уже хорошо!

Но вот он, неожиданно для самого себя, узнал ту самую автобусную остановку, где они всегда сходили с Иваном Иванычем перед началом охоты. Узнал!

Около павильона стояли люди в ожидании автобуса. Бим приостановился, не доходя до них, и свернул влево, на ту дорогу, по какой хаживал на охоту. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то заулюлюкал, кто-то крикнул: «Бешеная!» Бим не обращал внимания. Он даже пытался прибавить ходу, пробуя перейти в намет, но это ему не удалось, скорость не прибавилась, только стало еще труднее.

Главное — туда. Туда, где, возможно, был недавно или скоро будет Иван Иваныч. Туда, вперед.

Бим трусил к лесу. На опушке он остановился, осмотрелся и пошел в лес. Неподалеку сразу же отыскал знакомую полянку и стал у пенечка как вкопанный. Постоял, проверил носом вокруг, не сходя с места, обошел тот пенечек, принюхиваясь вплотную к земле. И вдруг, как-то решительно, лег у пенька на палую листву: здесь, вот здесь всегда сидел Иван Иваныч перед охотой. Бим вытянул голову и терся, терся ею о желтые листья на том месте, где стояли когда-то ноги его друга, хотя всякие запахи давно выветрились.

А день тот был теплый-теплый!..

Бывает поздней осенью, даже и после зазимка, вернется лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. И осень растает, разнежится и притихнет, словно ласковая собака, которую гладит женщина. И тогда лес запахнет прощальным ароматом палой листвы, рубиновыми плодами шиповника и янтарем барбариса, терпким и острым, как перец, копытнем, белым грибом, никем не тронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но все еще пахучим,

напоминающим о прошлых погодах; и потечет по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к березе, от березы к дубу, а тот ответит могучими запахами силы, крепости лесной и вечности. В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощутимое в теплые, мягкие и ласковые прощальные последние дни уходящей осени; она уже освободилась от нудных дождей, злючих наскоков зазимья и дотошных, все обволакивающих иголок инея: все ушло, все в прошлом. И будто осень, засыпая, видит сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во всем величии одухотворенной красоты и в животворящих ароматах земли. Благо тому, кто сумел впитать в себя все это с детства и пронес через жизнь, не расплескивая ни капли из дарованного природой сосуда спасения души!

В такие дни в лесу сердце становится всепрощающим, но и требовательным к себе. Умиротворенный, ты сливаешься с природой. В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть, и обо всем этом — слово. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми.

Может быть, поэтому я и пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности. О той самой собаке, которая лежала в тот теплый-теплый осенний день в лесу у пенечка. И тосковала.

Итак, в один из счастливых дней природы в лесу лежала несчастная собака Бим. А день был — боже мой! — теплый-теплый!

Но земля-то была холодная. Поэтому Бим свернулся у пенечка, будто в ногах у хозяина, отдохнул маленько да и пошел потихоньку лесом, что-то выискивая. Захотелось есть. У свежесваленного осокоря он стал грызть сочную его кору, вкусную, любимую пищу лосей. Подозревал ли Бим, что и эта кора — целебная для него?

Впрочем, людям, может быть, и невдомек, что тончайшее чутье собак, возможно, отличает полезные запахи от вредных. Ведь не стал же Бим есть ядовитый копытень, а у корня валерьяны остановился. Почему собаки и кошки любят ее запах? Тоже неизвестно. Но Бим кое-как копнул разок-другой мягкую, пухово-листовую землю, отгрыз

корешок и съел. И еще съел. Корень валерьяны почти сверху — достать его не трудно. Съел он столько, сколько надо, никак не больше, покрутился на месте, будто вытаптывая и готовя место для лежки, но место не понравилось (тоже неизвестно почему). Сделал небольшой круг, потом сузил его, напал на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями, спустился туда и вновь закружился на месте. Уже он обтоптал себе глубокую и мягкую постель, но, видимо, не хотел ложиться, как бы борясь со сном; однако же, как-то рывком, упал в постель и тут же, немедленно, уснул крепким сном.

Валерьяна взяла свое. Купырь называется в Тамбовской области. Но ни в какой области и губернии здоровые собаки не ели и не едят корень купыря, разве что потрется какая мордой о него, а вот больные едят. Бим в этом смысле был не хуже других собак, хотя и интеллигент. Вот он и съел. Так что, очень прошу вас: тише. Тише. В той ямке спит наш добрый Бим.

Уже третьи сутки ничего не ел Бим, кроме трав, и не спал от боли и настороженности, пожалуй, и давно так не спал крепко. В ямке было тепло и тихо. Лес, по-осеннему притихший, оберегал покой больного Бима, лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес!

Проснулся Бим уже перед вечером. Вышел наверх.

Идти хоть было и трудно, но уже легче, далеко легче, чем утром. Внутри отмякло. Только вот сил все еще не было. Он сходил к родному пенечку, посидел немного и вернулся к своему логовцу. Опять посидел. И опять проверил нюхом, осмотрелся: все было спокойно. И вновь улегся в теплую, уютную глубокую ямку. Наверно, Бим видел хороший сон. Даже обязательно видел, потому что слегка, чуточку, повиливал хвостом.

Так он проспал всю ночь. И не прозяб.

На рассвете его разбудил тихий шорох, он приподнял голову, прислушался: кто-то копается в листве. Вылез Бим, прочитал носом еле заметные в безветрие микроскопические струйки воздуха и установил точно: вальдшнеп!

Непреоборимая страсть охотника напружинила слабое тело и притушила давящую внутри боль. Вальдшнеп был шагах в пяти, не больше. Он разрывал лапками листву, просовывал нос в мягкую землю, абсолютно точно нацеливая его в отверстие хода червя-росовика, вытаскивал того червя и съедал охотно. Крыло птицы

волочилось по земле (так остаются подранки от горе-охотников, живут до зимы, а потом либо становятся добычей лисы, либо погибают, если ухитрятся уцелеть до больших морозов).

Бим переставил лапу — вальдшнеп не услышал, увлеченный работой. Переставил другую — не слышит, работает. Вальдшнепу тоже нельзя терять времени: с теплом червь подходит к поверхности или даже залегает прямо под плотной листвой. Бим подкрался вот так, из-за дерева, и замер в стойке. Никто не крикнул ему «Вперед!», он сам стронулся, хотел прыгнуть на птицу и прижать ее лапами, но прыжка не получилось: просто упал и схватил вальдшнепа зубами. Подержал, лежа на боку, повернулся на живот и… съел дичину. Всю. Остались одни перья. Даже клюв, совершенно мягкий, как установил Бим, тоже съел начисто.

Как же так получилось, что, дрессированный, натасканный опытной рукой охотника, Бим нарушил честь — съел дичь? То-то вот и оно, я и сам об этом думаю. Получилось так потому, что и собака хочет жить. Другое предположение вряд ли можно придумать.

Силы у него прибавилось, вот в чем суть. Захотелось пить. Бим нашел лужицу, каких в любом гостеприимном лесу сколько угодно, и утолил жажду. На обратном пути нащупал нюхом мышь: съел, в дополнение к первой порции. И стал искать травы. Первым делом сорвал уже полусухие стебельки дикого чеснока, выплюнул их, зато выковырнул его головку. Съел, поморщившись (как-никак чеснок). Брел по лесу и находил, что ему нужно. Бог его знает, откуда стало ему известно, что в чесноке — две или три десятых процента йода? Никто не ответит на этот вопрос. Можно только догадываться, что в тяжкие, почти предсмертные часы, два дня назад, ему как откровение пришел опыт его далеких предков, опыт, запрограммированный еще из прошлых многих веков, еще со времен Моисея. И это было тоже чудо природы!

Лечился Бим еще пять дней. Питался чем бог поможет, но лечился настойчиво. Спал в обжитой ямке, ставшей на время его домом. Однажды даже наткнулся на спящего зайчишку, но отпробовать его не удалось: тот вскочил и дал стрекача. Бим и не пытался гнаться за ним. Не догнать и здоровому сеттеру, а тут — нечего и думать. Он проводил взглядом, облизнулся, да и только. Однако лес не обижал Бима, он кое-как прокормился, — плохо, конечно, но прокормился. Хотя он исхудал,

отощал от болезни и недокорма, но травы сделали свое дело — Бим не только остался жив, но нашел возможным продолжать путь, искать человека-друга. И опять это произошло без особого разума, а только от сердца, от преданности и верности.

При очередной проверке полянки с пенечком Бим прилег, встал, еще прилег и еще встал. Наверно, он решил-таки, что Ивана Иваныча здесь не дождаться. Вернулся к ямке, от нее опять же — к пенечку; там и тут задерживался на минуту и вновь возвращался. Очень сильное нетерпение выражалось в такой пробежке туда-сюда; беспокойство все усиливалось. Наконец он пробежал все-таки мимо пенечка, не остановившись, и легкой трусцой направился к шоссе. Было это в предвечерний час, когда солнце собиралось уходить на покой.

В город Бим пришел поздним вечером. В городе было светло, не так, как в лесу ночью, но именно эта светлота и беспокоила Бима. Такого с ним не было никогда. И он шел осторожно и в то же время торопливо, насколько позволяло здоровье, направляясь, конечно, домой — к хозяину, к Степановне, к Люсе, к Толику: все они, наверно, там. Но неожиданно для самого себя, еще в окраинном новом районе, среди тех домов-близнецов, Бим решил обойти опасный участок, чтобы миновать дом Серого. Дал кружной ход, свернул в боковую улицу и уткнулся в забор. Начал было его обходить и вдруг замер у калитки: след Толика! Мальчик, какого так полюбил Бим, прошел здесь. Вот только-только прошел. Калитка была заперта, но Бим, не задумываясь, подлез под нее пластом и пошел по следу маленького друга. Ну вот же, вот сейчас прошел! Это был крохотный парк-сад, а в середине его стоял небольшой двухэтажный дом. Туда и повел след.

Бим подошел к двери, в какую вошел Толик совсем недавно. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, он поцарапался и в эту. Ответа не было. Биму было невдомек, что такое его поведение у данной двери можно было назвать нахальством наивности. Но он еще раз поцарапался, уже сильнее.

Из-за двери голос женщины:

— Кто тут?

«Я, — ответил Бим. — Гав!»

— Это еще что? Толик! Кто-то к тебе с собакой. Еще чего не хватало!

«Я, я! — сказал Бим. — Гав, гав!»

— Бим! Бим! — закричал Толик и открыл дверь, — Бим, милый Бим, Бимка! — И обнял его.

Бим лизал руки мальчика, курточку, тапки и непрерывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенесшей столько испытаний!

— Мама, мама, ты посмотри, какие у него глаза. Человеческие! Бимка, умный Бимка, нашел сам. Мама, сам нашел меня…

Но мама не проронила ни слова, пока друзья радовались встрече. Но когда восторги улеглись, она спросила:

— Это — та самая?

— Да, — ответил Толик. — Это Бим. Он хороший.

— Сейчас же прогони.

— Мама!

— Сейчас же!

Толик прижал Бима к себе:

— Не надо, мама. Пожалуйста! — И заплакал.

Прозвенел музыкальный звонок. Вошел человек. Он добрым, но усталым голосом спросил:

— Что у вас тут за крик? Ты плачешь, Толик? — Он снял пальто, разулся, надел тапки и, подойдя к мальчику с собакой, сказал: — Ну, что ты, дурачок? — И погладил Толика по голове, потрепал за ушко и Бима: — Ишь ты! Собачка. Смотри-ка, какая собачка… худая.

— Папа… папа, он — хороший, Бим. Не надо.

Мама теперь уже закричала:

— Вот так всегда! Я одно говорю ему, а ты — другое. Воспитание называется! Изуродуешь ребенка! — Она перешла на «вы»: — Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно.

— Подожди, подожди, не кричи. Спокойно. — И увел ее в дальнюю комнату, где она кричала еще больше, а он ее уговаривал.

Из всего этого Бим понял, что Мама против Бима, а Папа — «за» и что он пока останется у Толика. Слова понимать не потребовалось бы даже человеку, он все понял бы даже в том случае, если бы ему наглухо заткнули уши. А тут все-таки собака с открытыми ушами и умными глазами. Как не понять! И правда, Толик повел Бима в свою отдельную комнату (там пахло исключительно одним Толиком).

Ни Бим, ни Толик не слышали дальнейшего разговора Мамы и Папы.

А там происходило вот что:

— Зачем же ты при Толике такие слова говоришь: «Изуродуешь ребенка» и тому подобное? Это же для него пагубно.

— А это не пагубно: явно больная собака, бродячая — да в нашу образцовую чистоту! Ты что — с ума сошел? Да он завтра же заболеет от нее черт-те чем. Не позволю! Сейчас же выгони пса!

— Эх, мать, мать! — вздохнул Семен Петрович. — Ни капли ты не представляешь, что такое тактика.

— Провалитесь вы со своей тактикой, Семен Петрович!

— Ну вот, опять за свое… Надо же сделать с умом: и Толика не травмировать, и пса уволить. — Потом что-то пошептал ей и заключил: — Так и сделаем: уволим.

— Так бы и говорил сначала, — успокаивалась Мама.

— Не мог я сказать этого при Толике… А ты, дурочка, несешь: «провалитесь с тактикой». — Он потрепал ее по щеке (то есть помирились).

Они вошли к Толику, Мама сказала:

— Ну, пусть живет, что ли…

— Конечно, пусть, — поддержал Папа.

Толик возрадовался. Он смотрел благодарно на Маму и Папу, он рассказывал о Биме и показывал все, что тот умеет.

Это была счастливая семья, где все теперь были довольны жизнью.

— Но одно условие, Толик: Бим будет спать в прихожей и ни в коем случае не с тобой, — заключил Папа.

— Пусть, пусть, — согласился Толик. — Он ведь очень чистоплотный, Бим. Я хорошо знаю.

Бим приметил, конечно, что Папа — хороший, спокойный, уверенный и ровный. А когда, несколько позже, Толик провел Бима по комнатам, знакомя с квартирой, то и тут Бим заметил, что Папа ест один, с газетой в руках, и тоже — спокойно и уверенно. Хороший человек — Папа, он же и Семен Петрович.

Допоздна провозился Толик с Бимом: расчесал его, покормил немного (больше не велел Папа — «Голодной собаке много нельзя,

загубить можно»), выпросил у Мамы тюфячок (совсем новый!), постелил в углу прихожей и сказал:

— Вот твое *место*, Бим. На место!

Бим беспрекословно лег. Он все понял: здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка.

— Пора спать, Толик. Пора. Уже пол-одиннадцатого. Иди, ложись, — уговаривал Папа.

Толик лег в постель. Засыпая, он думал: «Завтра пойду к Степановне и скажу, пусть у меня живет Бим, пока вернется Иван Иваныч»… И еще вспомнил такое: когда он рассказал, что ходит к Степановне и там есть Люся, а он водит Бима, то мама раскричалась, а папа сказал Толику: «Больше туда не пойдешь»; когда же Толик плакал, то папа напоследок сказал маме: «Мы забыли с тобой, что такое тактика». И гладил Толика по голове, говоря: «Что теперь поделаешь? Надо тебе вырасти, большим человеком стать, но не собачником и не по бабкам разным там ходить. Ничего не поделаешь!» А теперь вот Бим будет жить у него, и «по бабкам» ходить не надо… Он только один разик сходит к Степановне, чтобы сказать ей обо всем… и к Люсе… Она милая девочка, Люся… А Бим небось спит. Хороший Бим.

На этой мысли Толик уснул спокойным, радостным, светлым сном.

…Глубокой ночью Бим услышал шаги. Он открыл глаза, не поднимая головы, и смотрел. Папа тихо подошел к телефону, постоял, прислушался, потом взял трубку и полушепотом сказал всего два слова:

— Машину… Сейчас.

Значения этих слов Бим, конечно, не понял. Но заметил, что Папа тревожно смотрел на дверь Толика, бросил неспокойный взгляд на Бима, ушел в кухню, вышел оттуда на цыпочках, с веревкой и каким-то узелком. Бим сообразил: что-то не так, что-то в Папе изменилось — он не похож сам на себя. Внутреннее чутье подсказывало — надо залаять, надо бежать к Толику! Бим, вне всяких сомнений, сделал бы именно так, но Папа подошел и стал гладить Бима (значит, все хорошо), потом привязал веревку к ошейнику, надел пальто, тихо-тихо открыл дверь и вывел Бима.

У подъезда стоял и журчал живой автомобиль.

И вот едет Бим на заднем сиденье. Впереди человек за рулем, рядом с ним Семен Петрович. Из узелка, что положен рядом с Бимом, пахнет мясом. На шее веревка. Люди молчат. Бим тоже. Ночь. Темная, темная ночь. Небо заволокло тучами — оно черное, как чугун в доме Хрисана Андреевича, непроглядное. В такую ночь невозможно собаке следить за дорогой из автомобиля и заприметить обратный путь. И куда везут, Бим тоже не знал. Собачье дело — что? Везут, и все. Только вот веревка зачем? Беспокойство окончательно овладело Бимом, когда подъехали к лесу и остановились.

Семен Петрович повел Бима на веревке в глубь леса, захватив с собой ружье. Шли вниз, в яр, освещая просеку фонариком. Дорожка уперлась в небольшую полянку, окруженную огромными дубами. Тут Семен Петрович привязал Бима к дереву за веревку, развернул узелок, вынул из него миску с мясом и поставил перед Бимом, не произнося ни единого слова. И пошел обратно. Но, отойдя на несколько шагов, обернулся, ослепил Бима фонарем и сказал:

— Ну, бывай. Вот так.

Бим провожал взглядом удаляющийся свет фонарика и молчал — в удивлении, в неведении и горькой обиде. Он ничего, ровным счетом ничего не понимал. И дрожал в волнении, хотя было тепло и даже душно, необычно для осени.

Автомобиль уехал. «Туда уехал» — определил Бим по удаляющемуся звуку, что становился все тише и тише, а потом и совсем заглох; звук тот как бы проложил Биму направление — куда идти, в случае чего.

Лес молчал.

Темной-темной осенней ночью сидела в лесу собака под могучими деревьями, привязанная на веревке.

И надо же случиться такому именно в эту ночь! Редко, очень редко так бывает, но случилось: в конце ноября, при таком необычном потеплении, где-то далеко-далеко прогремел гром.

Сначала Бим сидел и слушал лес, проверяя вокруг, насколько хватало чутья. Для собаки не трудно определить — какой это лес, если она хоть однажды побывала в нем. Бим вскоре понял, что он находится там, где когда-то был с хозяином на облаве. Тот самый лес. Но волком пока нигде поблизости не пахло. Бим прижался к дереву боком, прижук в непроглядной темноте, слился с нею, одинокий,

беззащитный, брошенный человеком, которому он не сделал никакого зла.

Внутренне, где-то в самых глубинах существа, инстинктом, Бим понял, что к Толику теперь идти не надо, что он теперь пойдет к своей родной двери, только туда и никуда больше. И так ему захотелось туда, что он, забыв о веревке, рванулся от дерева изо всех оставшихся сил и упал: боль в груди отдалась во всем теле и подкосила его. Теперь он лежал недвижимо, вытянув все четыре лапы. Но это продолжалось недолго, он вновь поднялся и вновь сел к дереву, казалось смирившись со своей судьбой.

В черной ночи еще раз пророкотал гром, теперь уже ближе, и прокатился по безлистому лесу грузно и широко. Подул ветер, ветви деревьев заныли, как от предчувствия беды, стволы, что послабее, закачались, и наконец все слилось в единый тревожный черный шум, в котором отчетливо выделялся стон полусухой осины; она ритмично скрипела и скрипела где-то у корня, уже надломившаяся и изношенная; ее глухой тоскливый стон пугал Бима больше, чем весь шум леса.

А лес шумел, шумел и шумел. А ветер все разыгрывался полным и единственным властелином в кромешной тьме, разыгрывался так, что застонали и дубы. Биму казалось, что кто-то черный-черный, огромный, распластался над могучими дубами, над безнадежной, умирающей старой осиной, над ним, затерявшимся в этой суровости псом; и этот черный бил полами черного плаща по верхушкам леса, обхватывал деревья и качал их в дикой пляске, шаманил, подергиваясь и извиваясь, крича и завывая в стоголосой дикости.

Биму стало так жутко, что боль в теле на время отошла, забылась. Он вдавился в ствол дерева, влип. Ветер начал бросать на лес холодом, отчего внизу яра потекла знобящая струя и сразу же пронизала Бима. Так всегда позднее потепление резко сменяется похолоданием. Бим передвинулся на другую сторону ствола, от ветра, и так, чтобы против ветра следить чутьем, а под ветер — глазами. Но впереди было непроглядно темно. Бим дрожал.

Вдруг, как огненным узким ножом, молния рассекла черноту, на секунду осветив строптиво воющий лес, а вслед за нею что-то грохнуло вверху, ударило, задребезжало чем-то разбитым, ухнуло вниз и покатилось по лесу в разные стороны. Молния и гром будто испугали

шамана, и он стал убегать, убегать, а потом и совсем затих; и тогда застучали сверху капли. Дождь был короткий, сильный, холодный. Потом и он перестал.

Лес теперь потихоньку ворчал, отряхиваясь и оправляясь, словно после боя. Но вдруг осина скрипнула, затрещала, цепляясь за другие деревья, прощаясь с соседями, жутко зашумела и повалилась на землю, ломая свои ветви, в горестной предсмертной безнадежности: выдержала последний бой и пала. Осина стояла близко от Бима, ему было тревожно слышать смерть дерева и страшно оттого, что она падала, как ему вначале казалось, прямо на него; он в ту минуту попятился от своего рокового дуба, натянув веревку, но… веревка есть веревка.

Бим сидел до рассвета, продрогший, больной, измученный. Перед ним стояла миска с мясом — к нему он так и не прикоснулся.

Перед рассветом далеко завыл волк. Один провыл: больше к очередной перекличке в лесу не оказалось. То был самый хитрый, спасшийся тогда от облавы волк. Бим приподнял шерсть на холке, застучал зубами и слушал, слушал, слушал, хватал чутьем воздух, глубоко втягивая. Он приготовился к встрече, ничуть не подозревая, что в нем есть храбрость самозащиты, которую можно назвать героизмом отчаяния (ведь укусил же он Серого дядьку, чуть не сбив его с ног!). Но волк на этот раз не пришел. Ветра уже не было, так что издали зверь не мог зачуять Бима, а время заброда по его участку, видимо, еще не наступило. Однако Бим в напряженном ожидании, незаметно для самого себя, уже натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим попятился к дереву, прижался задом к стволу, перехватил коренными зубами веревку и… перегрыз. Как ножом отхватил!

Свершилось!

Бим свободен, хотя и одинок в дремучем лесу.

Так любая собака в конце концов и поступает, хотя у разных пород это происходит по-разному: цепные сторожевые — те перегрызают веревку немедленно, так как они любят только прочные цепи; моська хотя и не перегрызает, но, будучи привязанной на веревочку, начинает биться, вертеться, вопить и может даже удушиться; гончие долго думают, но перегрызают; интеллигентная собака, что работает по красной дичи, просидит много дней в ожидании хозяина, но веревку

перегрызет только в минуты опасности или в отчаянии, когда станет ясно, что никто уже не придет на помощь. Вот так и Бим: пришел срок, и он сделал то, чему быть должно.

Бим отошел от дерева осторожно, оглядываясь, прислушиваясь к лесу. Неожиданно неподалеку застрекотала сорока. «Тут кто-то, кто-то, кто-то есть! Кто-то есть, кто-то, кто-то есть, кто-то есть!» И Бим немедленно, с первого же предупреждения сороки, остановился в чаще молодого дубняка, плотно окружившего старый толстенный дуб-вековик. Боли он уже почти не чувствовал, она ушла куда-то в глубину. Он прилег на листву, вытянув шею и прижав голову к земле. Сорока прокричала близко — Бим увидел ее на высоком дереве. Он, конечно, ушел бы, не теряя ни минуты, но сорока кричала об опасности с той стороны, куда надо было идти Биму. Ждал он в трепете, в то же время с решимостью и еще с благодарностью к сороке за своевременное сообщение о враге. Спасибо тебе, сорока! Только хищные животные ругают эту птицу, замечательную вестунью, урожденную с телеграфом на хвосте, добровольную службу мирных жителей леса. Не будь сороки, население, бегающее и летающее, было бы окончательно лишено информации о жизни леса.

Волчица вышла на край поляны и остановилась. Передняя нога у нее кривая (значит, она когда-то была ранена человеком). Прихрамывая, она переступила еще несколько шагов, повернула голову точно к Биму и с разлету… бросилась в его сторону. Но промахнулась — помешала неправая нога. Бим ускользнул от нее в самый последний момент, прыгнув в сторону. Зверь, повернувшись и как бы подпрыгнув на трех ногах, кинулся вновь на Бима. Однако тот юлой откатился за дуб и почувствовал спиной отверстие, дупло. И тут же, в момент второго промаха волчицы, в ту же секунду, протиснулся в дупло, выставил зубы, зарычал неистово и стал лаять так, как никогда в жизни не лаял, — как гончая на следу, как лайка у берлоги, без передыху. Голос Бима зазвенел по лесу одним-единственным словом, понятным каждому: «Беда-а! Беда-а!» А лес подхватил и помогал эхом: «Беда-а! Беда-а!!!»

Спасибо тебе, лес!

И понеслось от сороки к сороке, быстрее телеграфа, тревожное оповещение: «Кто-то кого-то ест, кто-то кого-то ест, кто-то кого-то, кто-то кого-то…» Лесник на кордоне определил, что и собачий

неистовый лай, и редкостное беспокойство сорок — не к добру. Он взял ружье, зарядил картечью и пошел в глубину леса. Человек шел смело, потому что лес был почти его домом, а обитатели лесные знали его в лицо. Да и он знал многих из них, знал в лицо и волчицу, но почему-то не убивал ее. «Не затесался ли кто из молодых охотников на законную собственную территорию волчицы, не испугался ли ее и не забрался ли на дерево, оставив собаку на растерзание?» — подумал он, поторапливаясь. Лай раздавался издалека, в самом конце Волчьего яра, но вдруг оборвался. «Готова!» — решил он и пошел теперь уже тише, хотя и в том же направлении. Эх, а надо бы было спешить. Спешить бы!

Что же там произошло, у дуба векового?

Волчица была «тертая»: она отошла от дупла, чтобы Бим замолк, знала, что вместе с собачьим лаем всегда появляется человек с ружьем. Бим потому и примолк, что волчица уже не бросалась на него. Через некоторое время она передвинулась ближе и села, не спуская с Бима глаз. Так две собаки смотрели друг на друга око в око: собака дикая, далекий родич Бима и враг человека, и собака интеллигентная, которая не может жить без доброты человека; волк ненавидит всех людей, а Бим любил бы всех их, если бы они все были добрыми к нему; собака — друг человека и собака — враг человека смотрели друг другу в глаза.

Волчица понимала, что в отверстие дупла ей не пролезть, но она подошла к нему, потянулась мордой. Бим попятился в глубину, оскалив зубы, но уже не лаял, он был в своей крепости недосягаем.

Сколько времени так продолжалось бы, неизвестно. Но вот волчица повела носом вокруг, резко повернулась от дупла и, пригнувшись, как перед опасностью, шаг за шагом стала продвигаться к полянке, к тому дубу, за который был привязан Бим. Шла она с каким-то ужасом, опустив хвост-полено.

В страсти охоты за Бимом она пропустила это место, потому что ночной дождь сильно смыл запахи, а теперь, как только немного обветрело, она их обнаружила: веревка на дереве, миска с мясом. О, она знала уже, что это означает: здесь был человек! Человеком пахнет веревка, железом пахнет круглый предмет, а следы тоже его; мясо же — обман, предательство, капкан. Она чуть приостановилась, прыгнула в сторону и побежала, как от великой напасти. Так волк убегает от

капкана, поставленного неумело — не замаскированного внешне, и по запаху.

Убежала от Бима последняя в лесу, храбрая и гордая волчица.

…Единственное существо на земле, какого ненавидит волк, — это человек. Ходят по земле последние волки, и ты, человек, убьешь их, этих вольнолюбивых санитаров леса и поля, очищающих землю от нечисти, падали, болезней и регулирующих жизнь так, чтобы оставалось только здоровое потомство. Ходят последние волки… Ходят для того, чтобы уничтожать чесоточных лисиц, оберегая от заразы других, ходят для того, чтобы ослабевшие от эхинококка зайцы не распространяли болезнь в лесах и полях и не производили потомства, хилого и порочного; ходят для того, чтобы в годы размножения мышей, несущих туляремию, уничтожать их в огромных количествах. Ходят последние волки по земле.

Когда они тоскливо и надрывно воют в ночи, твоя душа, человек, почему-то содрогается от этого откровенного и прямого оповещения на всю округу: «Я-а-а е-есть! Я есть!» И ведь ты знаешь, человек, что волчица не тронет маленького щенка-сосунка собаки, а примет его, как родное дитя; и не тронет маленького ребенка, а перетащит в логово и будет толкать его к сосцам. Сколько их, таких случаев, когда волк из человека-ребенка выкармливал человека-волка! Шакалы так не могут. Даже собаки не могут. А тронет ли волк овцу в своем родном районе, где он живет? Никогда. Но ты все равно боишься волка, человек. Так ненависть, затмевая разум (отличие от животных!), может иногда настолько овладеть существом, что полезное считается вредным, а вредное — полезным.

Но последние волки пока ходят по земле.

Один из них убежал от ненавистного и опасного запаха человека, но не от Бима. Мы не знаем, чем бы кончилась их встреча и сколько бы просидела волчица у дупла. Может быть, они и снюхались бы (ведь она была одинокой волчицей, а Бим — самец). Не будем говорить о том, чего не произошло, только напомним, что люди-то видывали собаку в стае волков не раз. Но Бима такая участь миновала.

Когда убежала волчица, возникла, сама собой, у Бима сильная боль в надорванной груди. Он стал задыхаться, а потом и выполз из дупла, да и упал тут же — будь что будет! И все-таки он не стал есть

мясо даже и после того, как вновь отлежался и смог подняться. Оставалось одно: идти вперед, насколько хватит сил.

И Бим пошел. Долго и трудно взбирался он по крутому, огромному, в километр, подъему. Где-то на половине этого склона он наткнулся на след волчицы, перейти его не решился (она ведь отсюда и шла!), поэтому свернул в густой непролазный терник и… увидел волка. Увидел прямо перед собой, мертвого. Это был тот, что ушел внутрь круга облавы, смертельно раненный, около которого все еще кружила волчица, время от времени оповещая округу своей страшной для человека тоской. Мертвый волк. Шерсть с него оползла клоками. Осталась лишь часть растаявшего и осевшего зверя. Только когти стали длинными, зловеще-чистыми и страшными. Бим увидел: даже у мертвого, истлевшего волка когти остаются. И они пугают.

Бим полукружьем поспешил, насколько было силы, обратно на ту же дорожку, обойдя столкнувший его след.

Наконец он поднялся наверх, остановился на том месте, где вчера был автомобиль, осмотрелся и пошел совершенно точно туда, куда надо, — домой. И снова силы покидали его, снова он отлеживался то в скирде, то в сосновой хвое, снова искал травы по пути и ел их.

По шоссе бежала тощая хромая собака. Вперед бежала, только вперед, медленно, тяжко, но вперед, к той двери, у которой есть доброта, около которой Биму хотелось лечь и ждать, ждать хозяина, ждать доверия и самой обыкновенной, простой человеческой ласки.

…А что же Толик? Как он там, после того как проснулся утром?

Он, еще не одевшись, в нижнем бельишке, побежал к Биму и вдруг закричал:

— Мама! Где Би-им?! Где!!!

Мама успокоила:

— Бим захотел попысать, папа выпустил его, а он не вернулся. Убежал. Папа его звал, звал, а он убежал.

— Папа! — заплакал Толик. — Неправда, неправда, неправда! — Он упал на кроватку, мальчик в нижнем бельишке, и кричал с укором, с мольбой, с надеждой на то, что это не так: — Неправда, неправда, неправда!

Теперь стал утешать Семен Петрович:

— Придет он, придет… А не придет, так сами разыщем и возьмем его к себе. Обязательно возьмем. Найдем — собака не иголка.

Толик перестал плакать и смотрел в одну точку. Потом он глянул на родителей, вытирая слезы, и сказал твердо:

— Все равно найду.

Он так уверенно произнес эти слова, что отец с матерью с опаской переглянулись, говоря друг другу глазами: «У мальчика собственное мнение».

С того дня Толик стал молчаливым дома и в школе, замкнутым, настороженным к близким.

Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик, из счастливой культурной семьи, останавливал прохожего, выбрав его только по лицу, и спрашивал:

— Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом?

Глава четырнадцатая

ПУТЬ К РОДНОЙ ДВЕРИ. ТРИ УЛОВКИ

Когда Бим подходил к городу, ноги почти уже его не слушались. Ведь он опять же был голоден. Да и что можно было съесть около шоссе? Ничего. Разве что выброшенную корочку арбуза, но это — не питание, а одна видимость. Такой собаке надо мясо, хороший кулеш, борщ с хлебом (если остается от стола), одним словом, все, что ест обыкновенный человек. А Бим питался почти две недели впроголодь. При его больной груди, разбитой сапогом, такое голодание — медленная погибель. Если же к тому добавить, что в борьбе с волчицей он сильно зашиб раздавленную стрелкой заднюю лапу и костылял на трех ногах, то можно себе представить, какой вид был у Бима, когда он входил в свой родной город.

Но свет не без добрых людей. На самой окраине он остановился у малюсенького домика с одной дверью и одним окошечком. Вокруг домика лежали горы кирпича, камней, каменных плит, досок, бревен, железа и всякой всячины, а рядом, с другой стороны, стояла половина нового огромного дома, но без окон и дверей и без крыши. Ветер путался в глазницах окон, шипел по ярусам булыжника и кирпича, пел в штабелях досок и завывал в верхотуре строительного крана — и везде у него разный голос. В такой картине ничего удивительного для

Бима не было (везде строили и строили без конца), а по совести говоря, он не раз обращался за время скитаний к строителям с просьбой: «Дайте, ребята, пожрать». Те понимали его язык — подкармливали. Однажды шутник из их компании в обеденном перерыве вылил в консервную банку ложку водки и предложил Биму:

— А ну, долбани-ка, песик, за здоровье тех, кто тут не ворует.

Бим обиделся и отвернулся.

— Точно! — воскликнул шутник. — Не за кого тебе пить, благоразумный. Это я знаю точнехонько.

Все присутствующие здорово смеялись и называли шутника-парня Шуриком. Зато тот же Шурик отхватил ножом кусок колбасы — настоящей, магазинной, а не из помойки! — и положил перед Бимом:

— За правду тебе, Черное ухо. Возьми, мудрец.

И опять смеялись люди в замазанных комбинезонах. А Шурик добавил, видимо, самое смешное:

— А то, брат, за эту ночь опять доски усохли на одну треть.

И еще смеялись, хотя парень тот и не улыбнулся.

Бим понял речь Шурика по-своему: во-первых, водка собаке — плохо, а если ты ее не пьешь, то тебе дадут колбасы; во-вторых, все эти ребята, пахнущие кирпичами, досками и цементом, — хорошие. Биму так и показалось, что Шурик говорил все время именно об этом.

Вспомнив такое, руководствуясь знакомыми из прошлого запахами, то есть по праву памяти, Бим, обессилевший до последней степени, прилег у двери маленького того домика, у сторожки.

Было раннее утро. Кроме ветра, вокруг никого не было. Через некоторое время в сторожке кто-то кашлянул и заговорил сам с собой. Бим привстал и, опять же по тому же праву, поцарапался в дверь. Она открылась, конечно, как и всегда. На пороге появился человек с бородой, одно ухо шапки опущено вниз, другое торчит вверх, плащ туго натянут на кожух: личность, вполне внушающая доверие Биму.

— Э, да тут гость, никак? Эка тебя подвело, бездомник несчастный, право слово. Ну, заходи, что ль.

Бим вошел в сторожку и молча лег, почти упал у порога. Сторож отрезал кусок хлеба, бросил в ведерце, размочил водицей и подставил Биму. Тот с благодарностью съел, после чего положил голову на лапы и смотрел на дедушку.

И пошел у них разговор о жизни.

Скучно сторожу, где бы он ни сторожил, а тут — живое существо смотрит на него изумленным, человеческим, измученным, откровенно страдающим и потому даже поражающим взором.

— Плохая твоя жизнь, Черное ухо, видать сразу… Оно — что же, — спросил он первым делом, — либо твоя очередь на ордер еще не пришла? Либо — что?.. Я, брат, тоже вот: очередь приходит и уходит, а Михей остается. Сколько их, домов-то, понастроили, а я все вот с этой будкой переезжаю с места на место. Ты вот убегешь, к примеру, и попробуй ты написать мне письмо: некуда. Без адреса пятый год: «СМУ-12, Михею». И вся тебе роспись. Не пакет, а одно унижение. Пить-есть — пожалуйста, под завязку; обуться-одеться — пожалуйста, хоть галсник навешивай и шляпу — на лоб; а вот жить пока негде, понимаешь. Куда же денешься! Временные трудности… А зовут меня — Михей. Михей я, — тыкал он себя пальцем в грудь и отпивал малость из горлышка бутылки (делал он это каждый раз, как только кончался заряд речи).

Бим твердо понял монолог Михея по-своему, по-собачьи, то есть по виду, по интонации, по доброте и простоте: хороший человек Михей. Впрочем, вовсе не важно понимать слова (оно даже и не нужно понимать собаке), а важно понять человека. Бим понял его и тут же задремал, пропуская мимо ушей дальнейшую беседу. Но все же из уважения к собеседнику он то закрывал, то открывал глаза, преодолевая сон.

А Михей продолжал тем же тоном:

— Ты вот уснул, и вся недолга. А мне нельзя. Нагрянет контроль: «Где Михей? Нету. Уволить Михея. Обязательно». То-то вот и оно. Не окажись на посту или засни — сейчас бы тебе в нос: «Где Михей? Нету. Уволить Михея!» И вся недолга.

Сквозь дремоту Бим только и разбирал слова: «Михей… Михей… Михей… И вся недолга».

А Михей отпил еще пару глотков, вытер усы, посолил хлебца, понюхал и стал его есть, одновременно обращаясь к Биму:

— А я и так скажу, Черноушко, собаке-то даже лучше выложить душу: тут тебе никаких прений — она никому не скажет, а самому полегчает… Вот я, Михей, — охрана. С ружьем. Теперь вопрос: а если ворует не один? Что Михей сделает? Ничего он не сделает. И вся недолга… Закон, говорят. Закон — хорошо: поймал — пять лет ему, с-

сукину сыну! А-а! Да только его надо поймать, вот в чем корень. Как поймать? То-то и оно. Вот ты — собака. Насажаю я в кошелку зайцев, двадцать штук, и выпущу их сразу всех, а тебя заставлю ловить. Они прыснут в разные стороны — и вся недолга. Ну, поймаешь ты одного. А другие? Убя-агу-уть! — Михей так заразительно рассмеялся, что Бим приподнял голову — впору хоть самому улыбнуться.

Дверь открылась. Вошел человек, тоже сторож, и сказал:

— Смена. Ложись, Михей, спать.

Тот добрался до лежака и тут же немедленно уснул. А Смена сел за стол на место Михея, посидел чуть и заметил Бима:

— Это еще что тут за филин? — спросил он у Бима, видимо обратив внимание на его большие глаза.

Бим сел, как того требует вежливость, устало вильнул хвостом («Больной я, дескать. Хозяина ищу»). Смена ничего не понял, как и многие люди не понимают собак, а вместо ответа открыл дверь и подтолкнул Бима ногой:

— Сматывайся, образина.

Бим вышел с убеждением: Смена — человек паршивый. Но идти дальше он не мог: наевшись тюри у Михея, он почему-то еще больше обессилел, а сон буквально валил его с ног. Борясь со сном, Бим забрел в новостроящийся дом, зарылся в ворошок стружек, от которых пахло сосной, и уснул крепко-крепко.

За день его никто не потревожил. Так он и пролежал до вечера. В сумерках обследовал нижний этаж, нашел на окне почти полбуханки хлеба, большую часть съел (досыта), меньшую вынес из дома и зарыл в мягкую землю около траншеи: все это он сделал основательно, как и полагается: хоть и не было силы, а собачье правило «Хорони кусок про черный день» соблюдать надо. Теперь он почувствовал, что может продолжать путь. И пошел к своей родной двери.

К родной двери, к той самой, знакомой с первых дней жизни, к двери, за которой доверие, наивная святая правда, жалость, дружба и сочувствие были настолько естественны, до абсолютной простоты, что сами эти понятия определять не имело смысла. Да и зачем Биму все это осмысливать? Он, во-первых, не смог бы это сделать как представитель собачьих, а во-вторых, если бы он и попытался подняться до недосягаемой для него высоты разума Гомо, он погиб бы уже оттого, что его наивность люди почли бы дерзостью

необыкновенной и даже преступной. В самом деле, Бим тогда кусал бы подлеца обязательно, труса — тоже, лжеца — не задумываясь, бюрократа он съедал бы по частям и т. д., и кусал бы сознательно, исполняя долг, а не так, как он укусил Серого, уже после того, как тот жестоко избил по голове. Нет, та дверь, куда шел Бим, была частью его существа, она — его жизнь. И — все. Так ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной основой самого существа, когда благородство души — само собой разумеющееся состояние.

Дверь, к которой шел Бим, — это дверь его друга, а следовательно, его, Бима, дверь. Он шел к двери доверия и жизни. Бим хотел бы достичь ее и либо дождаться друга, либо умереть: искать его в городе уже не было сил. Он мог только ждать. Только ждать.

Но что мы можем поделать, если и в эту ночь Бим так-таки и не дошел до своего дома?

Надо было прежде всего обойти район Серого, а для этого обязательно пройти мимо дома Толика. Так оно и получилось. Бим оказался у калитки маленького друга и не мог, просто не мог пройти ее, будто чужую. Он прилег у высокого кирпичного забора, свернувшись в полукалачик и вывернув голову в сторону; то ли раненая собака, то ли умирающая, то ли совсем мертвая — мог бы подумать любой прохожий.

Нет и нет, Бим не пойдет уже к двери этого дома. Он только отдохнет от боли и тоски у забора, а потом пойдет домой. А может быть… может быть, заявится сюда сам Толик… Разве мы имеем право обвинять Бима в отсутствии логики, если она ему недоступна? И он лежал в тоскливой собачьей позе безо всякой логики.

Был темный вечер.

Подъехал автомобиль. Он вырвал у темноты часть забора, потом пощупал весь забор и выпучил прямо на Бима два ослепительных глаза. Бим поднял голову и смотрел, почти сомкнув веки. Автомобиль поурчал, поурчал тихонько, и из него кто-то вышел. За запахом дыма нельзя было установить дух человека, шедшего к Биму, но когда тот оказался освещенным глазами автомобиля, Бим сел: к нему шел Семен

Петрович. Он приблизился, убедился в том, что это действительно Бим, и сказал:

— Выбрался. Ну и ну!..

Вышел из автомобиля и второй человек (тот, что вез Бима перед грозой к волчице), посмотрел на собаку и по-доброму сказал:

— Умный псина. Этот не пропадет.

Семен Петрович пошел на Бима, расстегивая пояс.

— Бимка, Бимка… Ты хороший, Бимка… Ко мне, ко мне…

О не-ет! Бим не верил, Бим потерял доверие, и он не пойдет к этому человеку, хотя бы он и захотел взять его с добрыми намерениями. Может быть, Семен Петрович и думал возвратить Бима Толику, поняв состояние сына, да не тут-то было: Бим побежал. Именно не пошел, а побежал от Семена Петровича вдоль забора по освещенному пути. И откуда силы взялись?!

Семен Петрович — за ним. Второй человек — наперехват. Бим соскользнул со света в темноту, спустился ползком в траншею и здесь уже пошел пешком, еле переставляя лапы. Но направился Бим не в ту сторону, куда под светом бежал до траншеи, а в обратную.

И опять в минуту опасности Биму пришло откровение предков: путай след! Так поступают зайцы, лисицы, волки и другие звери — обычная уловка номер один при преследовании. Лисица и волк в подобных случаях обратно могут идти след в след так искусно, что только опытный охотник, да и то после, сообразит по коготкам, что его надули; уловка номер два — это петля (пошел влево, пришел вправо) или сметка (со своего обратного следа — прыжок в сторону); уловка номер три — отлежка: запутав след, отлеживаться в глухом месте и слушать (если прошли, лежать, если идут напрямик, то все начать сначала, путать). Все эти три уловки зверей хорошо знают настоящие охотники, но Семен Петрович никогда не был охотником, хотя и держал ружье и даже выезжал на открытие сезона ежегодно.

В общем, так: Семен Петрович побежал в одну сторону, уже освещая свой путь фонариком, а Бим — в другую, да еще под прикрытием спасительной траншеи.

Но вот канава кончилась — Бим уперся в торцовую стенку, сбоку которой висел ковш экскаватора. Оказалось, ему не вылезти из западни: спуститься-то он смог, а взобраться наверх нет силы: с боков — стенки, впереди — стенка. Был бы он здоров, на четырех ногах,

тогда другое дело, а теперь он может только выйти — не выпрыгнуть, не выскочить, а только выйти.

Посидел, посидел наш Бим, посмотрел вверх на ковш, кое-как приподнялся на заднюю лапу, опираясь о стену передними, оглядел отвал земли и снова сел. Казалось, он думал, но он просто слушал: нет ли погони. Потом он так же приподнялся на противоположную стенку без отвала и заметил, что фонарик ерзал на одном месте, вихляясь из стороны в сторону, а затем и затух. Увидел он и то, как автомобиль поехал обратно и стал приближаться к нему, но стороной. Бим прижался в уголок канавы и слушал, вздрагивая. Автомобиль проехал мимо, где-то совсем рядом.

Поблизости все стало тихо. А дальше слышно: не очень сильно покрякивают коротко автомобили, скрежещет трамвай — все звуки знакомые, безвредные.

Темной осенней холодной ночью сидела в канаве собака. И никому на свете не помочь ей сейчас. А ей надо, очень надо, идти к своей двери. Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. Куда там! И пошел он обратно по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь и в то же время нет-нет да и ощупывая стены. В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, стал на нее, приподнялся на заднюю лапу — теперь передние достали до отвала. И Бим начал грести землю сверху вниз, под себя; чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. Бим отдыхал и принимался вновь. Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы, но зато землю с отвала достать уже не мог. Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал. Так хотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город! Но Бим обязан молчать — ведь он спутал след и притаился. Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы, в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю.

Как он смог превозмочь неимоверную боль и немощь? Кто ж его знает… Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемленную капканом? Никто не скажет, как это возможно — своими же зубами перегрызть свою же ногу. Можно ведь только предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе, а Бим забыл

самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия.

Как бы там ни было, а Бим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху.

Ночь была холодная. Город спал, каменно-железный, потихоньку скрежещущий и ночью, даже во сне. Бим долго еще слушал и слушал. Продрогнув, он все-таки пошел.

По пути он забрел в открытый подъезд одного из домов, и только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время — настолько он стал слаб. Ложиться прямо на улице нельзя, погибнешь (он видел не раз раздавленных автомобилем собак). Да и холодно на асфальте. А там, в подъезде, он прижался к теплому радиатору и уснул.

В чужом подъезде, глубокой ночью спала чужая собака.

Бывает.

Не обижайте такую собаку.

Глава пятнадцатая

У ПОСЛЕДНЕЙ ДВЕРИ.

ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОГО ФУРГОНА

Проснулся Бим еще до рассвета. Не хотелось уходить от теплого, такого гостеприимного места, где никто не потревожил его сон. Ему показалось, что у него прибавилось сил, — попробовал встать на ноги, но сразу это не получилось. Тогда он сел. Это удалось, однако закружилась голова (так же, как тогда в поле после удара в грудь): стены покачнулись в одну сторону, перила лестницы задрожали, а пороги ее слились в сплошную горку и заколебались гармошкой, лампочка закачалась вместе с потолком. Бим сидел и ждал, что же с ним будет дальше, сидел теперь, опустив голову.

Кружение остановилось так же внезапно, как и началось. И Бим пополз на животе по порогам вниз. Дверь подъезда оказалась открытой, Бим выполз, полежал немного на освежающем холоде и все-

таки поднялся на ноги. Находясь где-то на грани полной потери сознания и потому не чувствуя боли, он, повинуясь неведомой людям внутренней собачьей воле, пошел качаясь, как чумной.

Вряд ли дошел бы он до своего дома, если бы не наткнулся на помойку, где копалась маленькая собачонка. Бим подошел и сел. Собачонка, шерстистая и неряшливая, обнюхала его, помахала хвостом.

«Ты куда?» — спросила таким образом Лохматка.

Бим сразу узнал Лохматку — с нею он познакомился в лугах, в тот день, когда она грызла корешок камыша. Потому ответил доверительно и грустно, одними глазами: «Плохо мне, подружка».

Собачка вернулась к помойке, как бы приглашая гостя, там повернула голову в сторону Бима и завиляла хвостом, что и означало: «Тут кое-что есть. Иди-ка».

И что же вы думаете? Того-сего, по кусочку, по корочке, по селедочной головке — Бим наелся все-таки. Силы помаленьку возвращались, а вскоре, облизавшись и поблагодарив Лохматку, пошел дальше, пошел намного прочнее.

Нет, помойка в трудную минуту жизни — великое дело! С этого часа Бим стал бы относиться с уважением к таким местам, если бы…

Трудно об этом рассказать.

Серым предрассветным утром, когда остатки вчерашнего смога осели к земле легкой прозрачно-синей дымкой, Бим наконец добрался до своего дома… Вот он! Вот и окно, из которого, вместе с Иваном Иванычем, бывало, они смотрели на восходящее солнце. Не выйдет ли он к окну и сейчас? Бим сел с противоположной стороны улицы и смотрел, смотрел, смотрел теперь с радостью и надеждой. Ему стало хорошо. Пошел через улицу, хоть и не спеша, но уже подняв голову, будто улыбаясь, будто вот-вот встретит незабвенного друга. Это была минута ожидания счастья. Да и кто из живых существ не был более счастлив в минуты ожидания, чем в минуты самого счастья?

Так, на середине улицы, перед родным домом, уже недалеко от той самой двери, Бим был счастлив от возникшей вновь надежды.

Но вдруг он увидел страшное: из арки дома вышла Тетка! Бим сел, расширив глаза от ужаса и дрожа всем телом. Тетка бросила в него кирпичом. Бим спешно отошел обратно на противоположный тротуар.

Людей на улице в такую рань не было, даже дворники еще не выходили с метлами. Только одна Тетка да Бим смотрели друг на друга. Она явно решила — стоять и не пускать, она даже поставила ноги пошире, для прочности, и утвердилась изваянием в средине арки, упершись кулаками в бока; на Бима она смотрела надменно, презрительно, уничтожающе и гордо, с сознанием чувства собственного достоинства, превосходства и правоты. Бим же был беспомощен, но у него оставались вполне надежными только одни зубы, тоже страшные — если в предсмертной хватке. Он это знал, он этого не забыл, потому даже чуть пригнулся и приподнял верхнюю губу, обнажив передние зубы. Человек и собака смотрели друг на друга неотрывно. Минуты казались Биму долгими.

…Пока человек и животное, не спуская взора, следили за малейшим движением друг друга, обратимся к самой Тетке, хотя отчасти мы ее уже знаем из предыдущих историй с Бимом. Тетка была совершенно свободная женщина: свободна от эксплуатации капиталиста, от какого-либо отдаленного понятия о долге перед социализмом, свободна от труда. Но она все-таки оставалась рабой желудка, не замечая ярма этого рабства. Кроме того, у нее все же были обязанности. Она поднималась, например, раньше всех жителей многолюдного дома, еще до рассвета. Своей первейшей обязанностью она считала нижеследующее: проследить, кто из чужих вышел на заре из того или другого подъезда; у кого горит свет в окне в то время, когда все спят крепким заревым сном; кто поехал на рыбалку или на охоту и — с кем; кто первый, еще в темноте, пронесет что-то на помойку. Потом она посмотрит и определит, что произошло, судя по помойке: бутылки если, — значит, от жены прятал; старое пальто негодное, — значит, скупец хранил дома ненужную тряпку; тухлое мясо выброшено, — значит, хозяйка растяпа, и так далее. Если же девушка придет домой перед рассветом, то это для Тетки было уже верхом торжества. Собак и их владельцев она ненавидела, потому наблюдение за ними составляло, пожалуй, одно из самых важных мероприятий Тетки, при этом она посылала им вслед непотребные слова, запас которых был у нее неистощим, что свидетельствовало о большой памяти и эрудиции.

Все это было существенно необходимо для ежедневной информации, когда она вместе с несколькими, тоже свободными,

женщинами будет долго сидеть на заботливо выкрашенных скамейках и докладывать о том, кто есть кто: и тут уж никто не будет забыт и ничего не будет забыто. Талант! Подобный непечатный бюллетень она выпускала регулярно. И это она считала своей второй обязанностью перед обществом. Такая осведомленность касалась даже и международных событий (сама слыхала: война — вот-вот, крупы надо запасать, соли); слух шел дальше при участливом содействии подобных ей, но уже со ссылкой на «такого-то», а он — доцент, брехать не будет, сам «слухал».

При всем при том, как уже известно, Тетка называла себя не иначе как «советская женщина», гордилась этим в полной уверенности, что это так, что ее дремучая совесть есть не что иное, как образец для подражания. Будь у нее ребенок — какой бы вышел человечище!

Но два дня в неделю у нее были выходными: в воскресенье она что-то покупала на базаре у колхозников, а в понедельник продавала то же самое. Поэтому, не имея кур, огорода, сетей для рыбной ловли, она продавала яйца, самих кур, помидоры, свежую рыбу и все прочее, необходимое для жизни человека. Благодаря такой, третьей обязанности (в выходные дни!) Тетка имела сберегательную книжку и жила безбедно, отчего никогда и нигде не работала. Существовала же она в квартире с удобствами, соответствующими ее высокой культуре (два шифоньера, три зеркала, картина с базара «Девушка и лебедь», большой глиняный орел и вечные цветы из стружек, холодильник, телевизор). Все у нее было, что надо, и ничего не было, чего не надо…

Итак, Тетка стояла в центре арки, и миновать ее Бим не мог. Уходить бы ему надо, уходить, но он не в силах уйти от родного дома. Он теперь будет ждать с оскаленными зубами, пока не уйдет враг, ждать, сколько бы времени на это ни потребовалось. Кто — кого!

Но вот в сероватой холодной мгле появился одинокий автофургон и неожиданно остановился между Теткой и Бимом. Фургон был темно-серый, обитый жестью, без окон. Из него вышли двое и направились к Тетке. Бим внимательно наблюдал, не сходя с места.

— Чья собака? — спросил усатый, указывая на Бима.

— Моя, — надменно ответила Тетка, не задумываясь.

— А чего не уберешь? — спросил второй, молодой парень.

— Попробуй… убери. Видишь, конец веревки на шее — перегрызла. И кусает каждого. Сбесилась, сволочь. Обязательно

сбесилась.

— Привяжи, — сказал усатый, — заберем ведь.

— Я сама писала заявление. И ходила, и просила — заберите. Что та-ам! Бюрократ на бюрократе! — Она уже кричала: — Душу вымотали бюрократы.

— Давай, — обратился усатый к безусому.

Тот взял из автомобиля малокалиберку, а усатый вытащил из держателя, сбоку фургона, длинный шест с обручем на конце и сеткой, будто сачок для ловли бабочек величиной с овцу. Первым подошел тот, что с ружьем, а за ним второй, изготовив сачок.

Бим увидел ружье. Бим завилял хвостом, говоря этим жестом: «Ружье! Ружье! Знаю ружье!»

— Ласкается, — сказал парень. — Никакой он не бешеный. Заходи.

Усатый вышел вперед. Бим почуял, что от него пахнет собакой.

«Ну, конечно же, вы — хорошие люди!» — говорил он всем видом.

Но вдруг внутри фургона тоскливо проскулила собака, безнадежно и горестно. Бим все понял: обман! Даже ружье — обман. Все — обман! Он шарахнулся было в сторону, но… поздно: обруч сачка накрыл его. Бим прыгнул вверх и оказался в сетке, теперь перекинутой им самим через край обруча…

Бим грыз веревки, скрежетал зубами, неистово хрипел и бился, бился судорожно, будто в припадке. Он быстро истратил на это последние силы и вскоре затих. Собаколовы просунули сачок в дверь автофургона и вытряхнули Бима на пол.

Дверь захлопнулась.

Усатый обратился к неожиданно повеселевшей Тетке:

— Чего осклабилась? Не умеешь собак держать, так и не мучила бы. Сама наела лягушкино рыло, а собаку довела — жутко смотреть: на собаку не похожая.

(Он оказался наблюдательным: опущенные уголки больших губ, плоский нос и вытаращенные очи Тетки напоминали действительно «лягушкино рыло».)

— Меня, советскую женщину, ты, вонючий собашник, оскорбляешь, гад! — И пошла, и пошла, не стесняясь в выборе выражений, как и всегда. Слова, какие нельзя писать на бумаге,

выскакивали из нее легко и свободно, как-то даже плавно и широко, ибо они, по всей видимости, были запрограммированы: нажми кнопку, и вот они, тут как тут.

— Ты не безобразь! — крикнул ей парень. — А то вот накрою подсаком, да в железный ящик. Таких, как ты, надо бы, хоть на недельку в году, сажать в такой вот фургон. — Он и правда схватил шест с обручем и решительно зашагал к ней.

Тетка побежала писать жалобу за оскорбление. И написала ее на имя председателя горсовета, при этом обвиняла его ничуть не меньше, чем собаколовов. Она ни за что не несла ответственности, ни за что не отвечала перед обществом, но зато со всех требовала ответственности. Последнее тоже было частью ее обязанностей, как и любого паразита общества.

…Солнце всходило в то утро большое и желтое, по-предзимнему холодное и невеселое. Оно отмахнулось от утренней дымки так неохотно и так вяло, что местами сизоватый туманчик так и остался над городом рваной кисеей: на одной улице светло, на другой — мутно и серо.

Темно-серый, обшитый жестью автофургон выехал за город и завернул во двор одиноко стоящего дома, обнесенного высоким забором. Над воротами вывеска: «Вход посторонним воспрещен — опасно для здоровья». То был карантин, куда привозили бешеных собак и сжигали дотла, сюда же попадали и отловленные бродячие псы, как возможные разносчики эпидемий, — этих не сжигали, а отправляли для науки или снимали шкуры; других животных с инфекционными болезнями тут же и лечили, если они того заслуживали; лошади, например, давали лекарства до последнего часа жизни, а уничтожали ее только при одном-единственном условии — при заболевании сапом. Очень редкая теперь это болезнь, потому что лошадей остались единицы, болеть сапом некому.

Те два человека, изловившие Бима, были простыми разнорабочими этого двора. И вовсе они не плохие люди. Больше того, они всегда подвергали себя опасности заразиться тяжелым недугом или быть укушенными бешеной собакой. Они же время от времени очищали город от бродячих псов или забирали собаку по личному заявлению владельца. Эту обязанность они считали неприятной и

тяжелой, хотя за каждую отловленную собаку получали, кроме основного заработка, дополнительную плату.

Бим не слышал, как приехал железный фургон во двор, как вышли те двое из кабины и ушли куда-то: он был без сознания.

Очнулся наш Бим через два-три часа. Около него сидела та самая, давно знакомая, Лохматка, с какой он встретился на рассвете у помойки. Сейчас она лизала Биму нос и уши…

Удивительное существо — собака! Вот у матери умирает один из щенков, а она лижет ему носик, лижет ушки, лижет, лижет без конца, долго-долго, массирует животик. Бывает, щенок возвращается к жизни. А массаж-то и вообще считается у собак непременным условием ухода за новорожденными щенятами. Дивно все это и удивительно.

Лохматка облизывала Бима тоже по неведомому для нас наитию природы. Видимо, она была искушенной в своих скитаниях, а возможно, не впервые попала и сюда. Неизвестно.

Тонкий-тонкий лучик солнца прорвался в щелочку двери и упал на Бима. Он приподнял голову. В железной тюрьме их было только двое: он и Лохматка. Превозмогая боль в груди, Бим попробовал изменить положение тела, но с первой попытки не получилось. Однако во второй раз он подвернул под себя все четыре лапы, освободив бок от холодного железа, на котором лежал. Лохматка, тоже продрогшая, пристроилась вплотную к нему и свернулась калачиком. Вдвоем стало чуть теплее.

Две собаки, лежа в железной тюрьме, ждали своей участи.

Бим все время смотрел и смотрел на дверь, на тонюсенький лучик солнца, единственный вестник из светлого. Но вот где-то неподалеку раздался резкий выстрел. Бим встрепенулся. О, как знаком ему этот звук! Он напомнил о хозяине, Иване Иваныче, это — охота, это — лес, это — воля, это — и призыв, если собака заблудилась или чрезмерно увлеклась следом птицы или зайца. Где взялись силы у Бима после выстрела, когда он встал и, качаясь, подошел к двери, приложил нос к щелке и втягивал воздух свободы? Но он уже стоял на ногах, казалось, он воскрес. И начал медленно ходить маятником по фургону из угла в угол. Потом снова к двери, снова нюхал через щель и наконец установил по запахам: во дворе что-то тревожное. И вновь ходил, ходил, чиркая когтями по жести, разогреваясь и будто готовясь к чему-то, разминаясь.

Сколько так прошло времени, сказать трудно. Но Бим… начал царапаться в дверь.

Эта дверь никак не походила на другие, что знавал Бим: она обита жестью, местами уже с острыми рваными пятнами. Но это была дверь, теперь единственная, через которую можно было взывать о помощи и сочувствии.

Наступила ночь. Холодная, морозная.

Лохматка завыла.

А Бим царапался. Он грыз зубами клоки жести и вновь царапался, уже лежа. Звал. Просил.

К утру в фургоне стало тихо: Лохматка не выла, Бим тоже притих, разве что изредка нет-нет да и скребнет лапой по железу. Изнемог ли он до полного бессилия или смирился, потеряв надежду и ожидая своей участи безропотно, — мы не знаем. Пока это оставалось тайной железного фургона.

Глава шестнадцатая

ВСТРЕЧИ В ПОИСКЕ. СЛЕДЫ БИМА НА ЗЕМЛЕ.

ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛА

В воскресный день в городе оказывается гораздо больше людей, чем в обычные дни: идут, едут, бегут, покупают, продают, набиваются в поезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, как сельди в бочку, спешат из города как угорелые. В средине дня толчея несколько утихает, а вечером снова: одни возвращаются из сел и лесов в город, другие уезжают из города к себе, в села и леса.

Не удивительно поэтому, что в один из воскресных дней и Хрисан Андреевич приехал в город вместе с Алешей. Оба договорились, что Алеша попробует поискать Черноуха, пока отец распродаст на базаре продукты. Хрисан Андреевич и раньше брал с собой сына и отпускал погулять по городу без всякой опаски (номер трамвая знает, «свою» автобусную остановку знает, а чтобы набаловать чего — ни в жизнь). В таких случаях Алеша получал на руки три рубля и мог купить себе что

угодно и поехать в любое место города — хоть в кино, хоть в цирк. На этот раз Хрисан Андреевич засунул сам в «нутряной карман» Алеши пятнадцать рублей и сказал:

— Случаем, попадется Черноух, а отдавать не будут — давай десятку. Не отдают — давай двенадцать. Не отдают — ложи все пятнадцать. А если и тогда не желают, пиши себе адрес и — ко мне: сам поеду. Допоздна не ходи: к четырем часам к автобусу; день стал короткий — по-темному поедем. Да спрашивай про Черноуха культурно: «Вопрос можно, товарищ?» А уж потом докладывай: так, мол, и так — из деревни мы, пастухи, и без собаки нам невозможно, а пропала. Убег, мол, в город. Добрых людей много: ты спрашивай, знай, свое.

…По городу шел степенный мальчик-крепыш и изредка обращался к встречным, к тем, кто, по его мнению, заслуживает доверия:

— Вопрос можно, товарищ? Мы, стало быть, пастухи…

Жирных встречал неимоверно много, особенно женщин, но пропускал таких (должно, не работают, оттого и толсты без предела). Но именно жирный-то товарищ, услышав вопрос мальчика, не к нему — к другому, остановился и посоветовал пойти на вокзал (там, дескать, за день вся молодежь пройдет через ворота — уж кто-нибудь да знает). Мальчишек же Алеша не пропускал ни одного.

В то же самое время и Толик вышел из дому на очередные поиски Бима. Он искал настойчиво уже три дня, но — после уроков, а сегодня решил начать с утра: воскресенье — в школу не идти.

Шел по городу чистенький мальчик из культурной семьи, шел, вглядываясь в лица, как бы изучая прохожих, и спрашивал по выбору:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, не видели ли вы собаку с черным ухом?.. Белая, в желтом крапе?.. Нет, не видели. Жаль. Извините.

Толик уже однажды был у Степановны, несмотря на запрет родителей, уже отдал Люсе чешские карандаши, каких не бывает ни в одном магазине, и альбом для рисования, уже рассказал, что Бим был у него, ночевал, а потом пропал; узнал он от Степановны и то, что Иван Иваныч, которого он никогда в жизни не видел, прислал письмо — скоро приедет. Сегодня Толик к вечеру обязательно зайдет еще раз —

нет ли каких новостей о Биме, к тому же Люся обещала ему подарить свою картину «Наш Бим».

На одной из улиц, поблизости от вокзала, к Толику подошел мальчик лет тринадцати, загорелый, прочный, в новом костюмчике, сшитом по-взрослому, и спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Такое обращение, как к большому, Толику понравилось, и он охотно ответил:

— Можно. — В свою очередь спросил: — А что ты хотел?

— Пастухи мы. А собака пропала — в город ушла. Случаем, не видал? Белая, с желтыми крапинками, а ухо черное-черное. И нога…

— Как зовут собаку? — вскрикнул Толик.

— Черноух, — ответил Алеша.

— Бим, — сказал Толик. — Он!

Нетрудно понять, как мальчики объяснились: Толик установил, когда и где куплен Бим, когда он ушел из села; Алеша понял, что приходил к Толику именно Черноух, а не кто-либо другой. Все сходилось: Бим был где-то в городе. Оба они даже и не подумали о том, кому из них достанется Бим, если найдут. Главное, искать, скорее искать.

— Сперва станем-ка у вокзала, — предложил Алеша. — Человек мне посоветовал.

— Народу тут тьма, кто-то уж обязательно видел Бима, — согласился и Толик.

Наивность такого поиска была очевидна, но не Алеше и не Толику. Они просто почувствовали дух товарищества, объединились одним желанием, одной любовью к Биму, они верили — вот в чем и гвоздь их поведения. А воображение уже рисовало, что Бим и сам может попасться им на глаза.

— А потом зайдем к твоей Степановне, — уже на ходу решил Алеша. — Ее он не минует. Фактически, он туда и идет, обязательно туда. Ему иначе нельзя: дом.

— Зайдем, — согласился Толик.

Ему положительно нравился Алеша своей степенной речью и в то же время наивностью и простотой. Подобные знакомства остаются на всю жизнь. И хорошо тому мальчику, которому улица подарит доброго товарища, а не жулика.

Ребята уже расспросили не меньше сотни людей и все продолжали выбирать тех, кому следует задавать вопрос.

В то же утро в общую вокзальную толчею, опираясь на палочку, вышел из вагона скорого поезда седой человек в коричневом пальто. Пройдя вокзал, он приостановился и осмотрелся вокруг. Так человек, надолго разлучавшийся с родными местами и возвратившийся обратно, смотрит — все ли на месте, не изменилось ли что. В этот момент к нему и подошли два незнакомых мальчика. Один из них, явно сельский, спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Седой, чуть склонив голову на сторону и пряча улыбку, ответил:

— Конечно, можно, товарищ.

Второй, явно городской, продолжил вопрос:

— Скажите, пожалуйста, вы не видели собаку с черным ухом, белая, с кра…

Седой сжал плечо мальчика и с нескрываемым волнением воскликнул:

— Бим?!

— Да, Бим. Видели? Где?

Все трое сели на скамейку привокзального скверика. И все трое доверяли друг другу без каких-либо сомнений, хотя мальчики абсолютно не знали этого старого человека, не знали, что это и был Иван Иваныч, хозяин Бима, даже не сразу бы и догадались, если бы он сам не сказал о себе.

Пожалуй, и знакомые не вдруг узнали бы его. Он стал чуть сутулее, лицо худее, морщин прибавилось (операция близко от сердца — не курорт), но глаза остались такими же — внимательными, сосредоточенными, смотрящими как бы внутрь человека. Только по этим густо-карим глазам и можно было бы определить, что когда-то обладатель их был брюнетом. Теперь же он стал окончательно белым как снег.

Толик рассказал все, что знал о Биме, даже и то, что он хромой и больной. Алеша толково и коротко поведал о жизни Черноуха в селе. Ребятам все нравилось в Иване Иваныче: разговаривает он с ними как со взрослыми, иногда положив ладонь на плечо собеседника, нравилось и то, как он слушает не перебивая, и то, что он белый-белый, и имя, и отчество у него хорошее, а главное, он любит их,

незнакомых мальчиков, — это уж яснее ясного. Иначе к чему же он сказал в заключение:

— Хорошие вы ребята. Будем друзьями, по-настоящему… А теперь — ко мне. Судя по всему, Бим уже пришел домой.

Дорогой он осторожно расспрашивал мальчиков и без труда установил, кто они, откуда, из каких семей, кто чем занимается, кому и что нравится.

— Овец пасешь — это хорошо, Алеша. И учишься в школе? Трудно небось?

— Овцу, ее накормить — уметь надо, — отвечал, как и отец, Алеша. — Дело трудное. Распустить отару фронтом, не топтать корм под ногами — это не раз плюнуть, намотаешься так, что ноги гудуть. И обратно же: вставай чуть свет. Хлопотно. С собакой хорошо — помогает лучше человека, если он ни шиша не понимает в этом деле. А без собаки нам никак невозможно. Пастухи мы. Куда ж денешься?

— А ты, Толик, чем занимаешься? — спросил Иван Иваныч.

— Я? — удивился Толик. — Я учусь в школе.

— Скотина у вас есть какая, дома-то? — спросил Алеша у Толика.

— Скотины нет никакой, — ответил тот. — Морские свинки были — мама запретила… Пахнут.

— Ты приезжай ко мне — покажу: Милка у нас — золотая корова, под пузо лезь, и ногой не шевельнет. Шапку лижет тоже… и ладони. Петух у нас — всем петухам петух, заводила называется, первым кричит на заре, а другие уж — за ним. Таких петухов — редкость… А вот собаки нету. Была — померла. Черноух был — убег. — Алеша вздохнул: — Жалко. Такой ласковый…

Иван Иваныч позвонил к Степановне. Она вышла вместе с Люсей и запричитала:

— Ой, Иван Иваныч! И как я теперь отвечать буду? Нету Бима. Вот был у Толика три дня назад, а домой не пришел.

— Не пришел, — задумчиво повторил Иван Иваныч. Но, ободряя мальчиков, добавил: — Найдем, обязательно найдем.

Степановна отдала ключи хозяину, и все пятеро вошли к нему. В комнате было все так же, как оставил Иван Иваныч: та же стена книг, удивившая теперь Алешу, тот же письменный стол, даже стало чище (Степановны хлопоты), но пусто-пусто — не было Бима. На его лежаке чистый лист писчей бумаги — письмо Ивана Иваныча; Степановна

сохранила даже и это. Иван Иваныч стал спиной к гостям и смотрел в окно, потупившись. Степановне показалось, что он тихонько простонал.

— Полежал бы, Иван Иваныч, с дороги, — посоветовала она.

Тот прилег на постель, полежал при общем молчании, глядя в потолок, а Степановна пыталась заговорить ему боль:

— Выходит, благополучно операция-то? Раз уж сам приехал, то все будет хорошо.

— Все хорошо, Степановна, все хорошо. Спасибо вам, милая, за все. Дай-то бог, чтобы родные так относились друг к другу, как вы к чужим.

— Вона! Об чем завел! Глупости одни говоришь. Не велик труд — помочь соседу. Было бы только все по-доброму. (Степановна даже как-то стеснялась, когда ее хвалили.)

Через несколько минут Иван Иваныч встал, посмотрел на ребят и сказал:

— Такой план, ребятишки: вы ищите здесь, в нашем районе, спрашивайте смелее — Бим должен быть где-то недалеко. А я… — Он чуть подумал. — Я поеду в одно место… не пристал ли он к сторожевым собакам… где-нибудь.

При выходе Люся передала Толику картину «Наш Бим». Толик показал ее Алеше, а тот удивился:

— Сама?

— Сама, — ответила Люся.

— Ты художница?

— Не-ет, — рассмеялась Люся. — Я в пятый перешла.

На картинке Бим был очень похож: черное ухо, черная нога, желтенькие точки по белому и большие глаза; только одно ухо, пожалуй, подлиннее другого, но это вовсе не важно.

Итак, Алеша и Толик отправились вновь на поиски. Они так же выбирали по лицу прохожего (теперь уже советуясь основательно), так же задавали один и тот же вопрос и поясняли приметы Бима.

А Иван Иваныч, еще на постели, решил: скорее в карантинный участок! Предупредить собаколовов, рассказать приметы, дать денег, чтобы сообщили ему, если увидят. А может быть, Бим уже там. Ушел он от Толика в ночь на четверг… три дня. Скорее, скорее!

Он взял такси и вскоре был у ворот карантинного участка. Кроме сторожа, никого не оказалось (выходной). Но он на вопросы Ивана Иваныча охотно и многословно отвечал:

— В четверг и пятницу собак не ловили, а вчерашние есть — сидят в фургоне. Сколько их, нечистый их знает, не ведаю, но есть. Завтра придет врач и скажет: какую — в науку, какой — укол усыпительный и на шкуру, а бывает, зарывают со шкурой. На то и врачи. А как же! Бывает, и жгут начисто.

— А охотничьи попадают? — спросил Иван Иваныч.

— Редко. Этих не расходывают и в науку не отдают на растерзание, а сперва пождут хозяина или звонят в Союз охотников — так и так, мол, разберитесь. А как же! На то и врачи. Одна такая там есть, охотницкая, — Иван говорил, белая, запаршивленная, бесхозная, говорит, сама хозяйка сдала. А как же! Может, у нее муж помер.

«Он или не он?» — думал Иван Иваныч и стал просить:

— Пропустите к фургону, пожалуйста. Ищу свою собаку, замечательную. Может быть, она сидит там. Пустите.

Сторож был неумолим:

— Замечательных не сажают. Сажают вредных, чтобы не заражала, — безапелляционно утвердил он и убежденно. И тут же лицо его изменилось: он вздернул подбородок и отмахнул рукой, как бы отстраняя просителя от ворот, по другую сторону которых тот стоял, удрученный и бессильный что-либо предпринять. Даже сторож не мог избежать соблазна насладиться властью, потому он и сказал строго: — Видишь? «Вход запрещен». Читай и понимай, — указал он на рамку под стеклом, где золотыми буквами было написано: «Вход воспрещен — опасно для здоровья».

Иван Иваныч уже потерял надежду проникнуть во двор, но все же сказал:

— Эх ты! Человек, человек!.. Операция была. От войны осколок носил вот тут. Приехал, а Бим пропал.

— Как так? Боле двадцати годов носил осколок? Вот тут? — Сторож неожиданно стал самим собой, таким, как был в начале встречи. — Ты смотри-ка! Расскажи кому — не поверит. То-то ты… — Он не договорил фразу и примирительно пригласил, открывая засов: — Заходи. Да только никому не говори.

Иван Иваныч отпустил такси, в надежде на то, что он поведет Бима на поводке, и пошел к фургону. Шел он действительно с огромной надеждой: если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, если же Бима нет, то, значит, он тоже жив, найдется.

— Бим, мой милый Бимка… Мальчик… Дурачок мой, Бимка, — шептал он, идя по двору.

И вот сторож распахнул дверь фургона.

Иван Иваныч отшатнулся и окаменел…

Бим лежал носом к двери. Губы и десна изодраны о рваные края жести. Ногти передних лап налились кровью.

Он царапался в последнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил! Свободы и доверия — больше ничего.

Лохматка, забившись в угол, завыла.

Иван Иваныч положил руку на голову Бима — верного, преданного, любящего друга.

Запорхал редкий снежок. Две снежинки упали на нос Бима и… не растаяли.

…А тем временем Алеша и Толик, еще теснее сдружившись, шли по городу. Спрашивали они, спрашивали да и попали на тот ветеринарный участок, куда Толик когда-то водил Бима. Там они узнали у дежурного, что никаких собак тут нет и что если собака пропала, то ее надо искать прежде всего в карантинном участке, потому что там собаколовы.

Наши два мальчика были вовсе не теми, что могут написать адрес «На деревню дедушке». Потому они через час, не больше, спешили от автобусной остановки по пустырю на карантинный двор.

Навстречу им вышел из ворот Иван Иваныч. Увидев ребят, он заторопился, а подойдя, спросил:

— И вы сюда?

— Направили нас, — сказал Алеша.

— Здесь нет Бима? — спросил Толик.

— Не было его тут? — переспросил Алеша.

— Нет, мальчики… Бима тут нет… и не было. — Иван Иваныч старался скрыть тяжесть на душе и боль сердца; это в его состоянии оказалось очень и очень трудно.

И тогда Толик, приподняв густые черные бровки и собрав гармошку на лбу, сказал:

— Иван Иваныч… не обманывайте нас, пожалуйста.

— Бима здесь нет, мальчики, — повторил Иван Иваныч уже более твердо и уверенно. — Искать его надо. Искать.

Снег порошил.

Тихий снег.

Белый снег.

Холодный снег, прикрывающий землю до следующего, ежегодно повторяющегося начала жизни, до весны.

Седой как снег человек шел по белому пустырю. Рядом с ним, взявшись за руки, два мальчика шли искать своего общего друга. И у них была надежда.

И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь, говорит любимым: «Мне совсем стало хорошо». Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку и улыбается.

А жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь.

Весь день мальчики продолжали искать Бима. А вечером, уже в сумерках, Толик проводил Алешу на трамвае до «нашей» автобусной остановки.

— А это — мой папаня, — познакомил Толика Алеша.

Хрисан Андреевич подал Толику руку:

— Понятно: друга, стало быть, нашел. Ты что же, к Алеше в гости? Милости просим.

За Толика ответил Алеша:

— Он потом приедет. И я приеду… к Ивану Иванычу. Мы будем еще искать.

— Ну ладно. Добро. Дома расскажешь все чин чином, а сейчас — во-он он! — идет наш автобус.

Перед посадкой Алеша отдал папане пятнадцать рублей.

— Все целы. Не потребовались.

— Тоже понятно, — с грустинкой сказал отец.

Толик помахал вслед отъезжающему автобусу. Было и грустно расставаться с новым другом, и радостно оттого, что он есть. Теперь

Толик будет жить еще и ожиданием встреч с Алешей. А ведь это Бим оставил такой четкий след на земле.

Дома Толик сказал папе уверенно:

— Бим где-то в городе. Обязательно найдем. Мы найдем.

— Кто это — «мы»?

— Алеша, Иван Иваныч и я… Найдем, вот посмотришь.

— Кто — Алеша? Кто — Иван Иваныч? — спросила мама.

— Алеша — мальчик из деревни, отец у него — дядя Хрисан, а Иван Иваныч — не знаю кто… добрый он… хозяин Бима.

— А зачем же тебе Бим, если нашелся хозяин? — спросил папа.

Толик не мог ответить, он не понимал вопроса ввиду крайней его неожиданности и сложности.

— Не знаю, — тихо произнес он.

А поздно вечером, когда Толик спал и видел во сне, как Алешина корова лизала его шапку, папа и мама спорили в дальней комнате.

— Безнадзорный растет у тебя сын, — строго говорил папа.

— А ты где? — отпарировала мама.

— Я на службе.

— А я еще хуже, чем на службе. Ты ушел из дому, и все. А мне… мне одна чистота всю душу съела.

— Кто бы где бы ни служил — у него есть обязанности, которые он должен выполнять честно. Я говорю о другом: кто же будет воспитывать Толика? Ты или я? Или оба? Тогда нам надо найти общий язык.

— Наверно, не ты и не я.

— Кто же? — нажимал папа.

— Вся надежда на школу, — ответила мама уже более мирно.

— И улица? — давил папа.

— Хотя бы и улица. Чего в том? Все дети на улице.

— А честность, я спрашиваю, честность кто будет воспитывать? — повысил теперь голос папа.

— На вот, читай. Впрочем, я сама. Слушай. — Мама читала, вырывая отдельные фразы из газеты: — «Организованность, неусыпный надзор, строгий учет, взыскательность — вот чем воспитывается в людях честность»… «Честного человека надо поднимать на щит»… Слышишь: на щит! Да ну вас к лешему! — Мама упала на кушетку лицом вниз.

Папа уже не хотел углублять спор, он любил маму, и она его любила, а мирился он всегда первым. Да и долгие разногласия у них почти не бывали. И на этот раз он примирительно сказал:

— Что ж, придется разобраться. Попробую я найти Бима. Попробую. Хозяин нашелся, сюда Толик уже не притащит собаку, а если мы с тобой найдем ее, то наш авторитет возрастет в глазах Толика.

Нет, не те слова сказал он, что вертелись на уме, не те. В тот вечер Семен Петрович уже не был спокойным и уверенным: сын подрастал и шел мимо отца, а он, родной отец, не заметил этого в текучке. Семен Петрович думал. Семен Петрович вспомнил, как видел однажды у пивной на берегу реки юношу, еще безусого: тот стоял у стены, покачиваясь и путаясь ногами, и кричал, и плакал с надрывом… Жутко стало от такого воспоминания. Семен Петрович с ужасом представил у пивной своего Толика лет через пять, и от этого сдавило в груди. Он подошел к жене, сел около нее и спросил тихо, примирительно и для нее неожиданно:

— А может быть, купим Толику хорошую собачку?.. Или выпросим Бима у хозяина, а? Хорошо заплатим. Как думаешь ты?

— Ох, не знаю, Семен, не знаю. Давай купим, что ли.

Конечно, Семен Петрович не учел маленького обстоятельства, что дружба и доверие не покупаются и не продаются. Не знал он того, что Бима уже не найти, если бы он и захотел. Но Бим, наш добрый Бим, оставил след и в душе папы Толика. Может быть, это был укор совести. От нее никогда и никому не уйти, если она не похожа на идеально прямую хворостину: такую можно согнуть в дугу и, отпустивши по желанию, выпрямить, как вам угодно. Но Бим тревожил Семена Петровича и ночью.

А в ту ночь Бим лежал все еще там же, в фургоне, обитом жестью. Завтра же папа Толика организует поиски Бима. Найдет ли он, постигнет ли тайну железного фургона, поймет ли всю силу и непобедимость стремлений Бима к свету и свободе, к дружбе и доверию?

Нет, этого не произошло по самой простой причине. Утром следующего дня, в понедельник, Иван Иваныч взял ружье в чехле и поехал на карантинный участок. Там встретился с теми двумя собаколовами, с горечью и болью узнал от них, что изловили они Бима

около дома. Оба они возмущались той Теткой и ругали ее нещадно, обзывая всяческими словами. Тяжко было Ивану Иванычу оттого, что Бим пал жертвой предательства и наговора. Он не винил этих двух рабочих, исполняющих свою обязанность, хотя молодой парень, как видно, чувствовал себя виноватым, хотя бы уже потому, что поверил Тетке.

— Да если бы я знал… — Он не договорил и стукнул кулаком по капоту автофургона. — Вот и поверь такой гадюке.

Иван Иваныч попросил их отвезти Бима в лес и предложил за это пять рублей. Оба охотно согласились. Поехали втроем в кабине того же фургона.

На полянке, где перед каждой охотой Иван Иваныч садился на пенечек и слушал лес, на той полянке, где в тоскливом ожидании Бим терся мордой о палые листья, в нескольких метрах от того пенечка, зарыли Бима. А поверх засыпали легонько, тоненько, желтыми листьями, перемешанными со снежком.

Лес шумел ровно и негромко.

Иван Иваныч расчехлил ружье, вложил в него патроны и, как бы чуть подумав, выстрелил вверх.

Лес, из-за шума, глухо, без ропота, по-осеннему, отозвался печальным эхом. Вдали оно замерло коротким, оборвавшимся стоном.

И еще раз выстрелил хозяин. И еще ждал, когда простонет лес.

Оба его спутника недоуменно смотрели на Ивана Иваныча. Но он, не сходя с места, заложил еще два патрона и так же размеренно, с абсолютно равными промежутками, определяемыми по замиранию звука вдали, выстрелил еще дважды. Затем зачехлил ружье и пошел к пенечку.

Старший спросил:

— Это к чему же — четыре-то раза?

— Так полагается, — ответил Иван Иваныч. — Сколько лет было собаке, столько раз и стрелять. Биму было… четыре года. Любой охотник в такие минуты снимет шапку и постоит молча.

— Ты смотри-ка! — тихо удивился молодой парень. — Как при напасти… как в беде… — Он отошел к фургону, сел в кабину и закрыл за собой дверцу.

Иван Иваныч присел на свой пенечек.

Лес шумел, шуме-ел, шуме-ел, однотонно, почти по-зимнему, шумел холодно, голо и неуютно. Снега было — всего чуть-чуть. Давно уже пора бы ему, а запоздал надолго. Может быть, потому и шум леса стал теперь ворчливо-нудным, сонливым, казалось, настолько безнадежным, что вроде бы и зимы не будет, и весны не будет.

Но вдруг Иван Иваныч ощутил в себе, в той пустоте, что осталась после потери последнего друга, теплоту. Не сразу он догадался, что это такое. А это были два мальчика, их привел к нему, сам того не ведая, Бим. И они опять придут, придут не раз.

Странным, очень странным показался Иван Иваныч двум простецким собаколовам, когда, садясь в кабину, он сказал как бы самому себе:

— Неправда. И весна обязательно будет. И будут подснежники… В России бывают и зимы, и весны. Вот она какая, наша Россия, — и зимы, и весны обязательно.

На обратном пути молодой парень неожиданно остановил автомобиль против небольшой деревни, неподалеку от шоссе, открыл дверь фургона и выпустил Лохматку.

— Не желаю. Не хочу! — воскликнул он, — Беги, собака, в деревню, спасайся, — там цела будешь.

— Что ты? Что ты?! Знают же — было две собаки, — крикнул из кабины старший.

— Одна покончилась, другая убежала — и весь сказ. Не хочу. Ничего не хочу. Не желаю. И весь сказ!

Лохматка отбежала от шоссе, села, в удивлении проводила взглядом фургон, потом осмотрелась и побежала сама по себе, побежала в деревню, к людям. Смышленая собачка.

Еще в лесу Иван Иваныч узнал, что молодого парня зовут Иваном и старшего — тоже Иваном. Все трое — Иваны, редчайшее совпадение. Это их сблизило еще больше, и расставались они добрыми знакомыми. А и всего-то между ними было только одно: втроем зарыли собаку, которая не вынесла собачьей тюрьмы. Бывает, люди сходятся в больших делах и расходятся, а бывает, сходятся в малых делах и надолго, на всю жизнь.

Когда Иван Иваныч вышел из кабины и подал обещанные пять рублей молодому Ивану, тот отстранил его руку и сказал те же самые

слова:

— Не желаю. Не хочу. И весь сказ!

Стало окончательно ясно, что он считает себя тоже виноватым в гибели Бима; видимо, он испытывал укор мертвого. Что ж, укор мертвых — самый страшный укор, потому что от них не дождаться ни прощения, ни сожаления, ни жалости к сотворившему зло кающемуся грешнику. Но молодой Иван слишком уж близко принял к сердцу свою маленькую ошибку. И это делает ему честь. Вот и еще один след на земле доброй, преданной и верной собаки. Кстати, старший Иван не испытывал особых душевных неудобств — он взял пятерку из рук Ивана Иваныча и положил ее в боковой карман — с благодарностью. Обвинять его абсолютно не в чем: он получил договорную плату за труд, а ловя Бима, всего лишь исполнял свою обязанность.

…В тот же день Семен Петрович организовал поиски. Во-первых, в газете появилось объявление: «Пропала собака — сеттер, белый с черным ухом, кличка Бим, выдающегося ума ученая собака. Местонахождение просим сообщить за хорошее вознаграждение по адресу…»

Большой город заговорил о Биме. Трещали телефонные звонки, шли сочувственные письма читателей, сновали в поисках гонцы.

Так Бим прославился дважды: один раз при жизни — как бешеный, второй раз после смерти — как «выдающегося ума собака». В последней славе Бима заслуга Семена Петровича была несомненна.

Но следов Бима так-таки и не нашли, ни в течение всей зимы, ни после. Да и кто мог знать? Молодой Иван рассчитался с карантинного двора и, по понятным причинам, не откликнулся на объявление; Ивана старшего предупредил Иван Иваныч — чтобы ни гугу! А больше ни один человек не ведал, что Бим лежит в лесу, в свежей промерзшей земле, запорошенной снегом, и что его уже никто никогда не увидит.

Зима в тот год была суровой, с двумя черными бурями. После них белый снег в полях стал черным-черным. Но на той, знакомой нам полянке в лесу он оставался чистым и белым. Ее защитил лес.

Глава семнадцатая

ЛЕС ВЗДОХНУЛ

(Вместо послесловия)

И вновь пришла весна. Солнце выталкивало зиму вон. Она улепетывала, раскисшая, на полурастаявших и немощных ногах, а вслед за нею, помаленьку, но не отставая, прибавлялись и прибавлялись теплые дни, поджигали старуху пятнами, разрывали на грязно-белые клоки. Весна всегда безжалостна к умирающей зиме.

И вот ручьи уже успокоились, не торопятся, становятся все меньше и меньше, все тоньше и тоньше, а ночью почти совсем замирают. Весна пришла поздняя, ровная.

— Такая весна — к урожаю, — сказал Хрисан Андреевич на днях, когда ночевал с Алешей у Ивана Иваныча.

Скоро они выгонят овец на выпас, но Алеша теперь до самых каникул будет только «выпроваживать» с отцом стадо утром и «встревать» за селом вечером.

Алеша и один приезжал несколько раз. В такие дни они с Толиком неразлучны и вновь ищут Бима, милые мальчишки. Но однажды, когда все вместе пили чай у Ивана Иваныча, Хрисан Андреевич рассудил так:

— Раз уже в газетах пропечатали да не объявился, то стало быть, его кто да нибудь увез далеко. Россия велика, матушка, — пойди найди. Ежели бы он загиб, то обязательно кто-то заявил бы по объявлению: так, мол, и так — покончилась ваша собака, видал там-то и там-то. Главное дело — жив, вот в чем вопрос. Не каждый находит свою собаку. И тут, фактически, ничего не поделаешь. — Он понимающе переглянулся с Иваном Иванычем и добавил: — Так что искать его, ребята, бесполезно. Правильно я говорю, Иван Иваныч?

Тот согласился кивком головы.

С этого дня поиски прекратились. Осталась только память, и осталась она у мальчиков на всю жизнь, до конца дней. Может быть, через много-много лет они, наши мальчишки, расскажут своим детям про Бима. Ведь любой отец или дедушка, если у него был друг-собака, не преминет рассказать детям и внучатам о забавных или печальных историях, происшедших с нею. И тогда подростку захочется иметь свою собаку.

Уходя, Хрисан Андреевич положил за пазуху месячного щенка овчарки — подарок Ивана Иваныча. Алеша был в восторге.

…В комнате забавляется со старым ботинком новый щенок, тоже — Бим, породистый, типичного окраса английский сеттер. Этого Иван Иваныч приобрел «на двоих» — себе и Толику.

Но старого друга он уже никогда не забудет. Не забыть ему охотничьих зорь, подаренных Бимом, не забыть его доброты и всепрощающей дружбы. Память о верном друге, о его печальной судьбе тревожила старого человека. Именно поэтому он и оказался на той самой полянке и сел на тот же пенечек. Осмотрелся. Он пришел послушать лес.

Был неимоверно тихий весенний день.

Небо густо забрызгало поляну подснежниками (капельки неба на земле!). Много раз в жизни Ивана Иваныча повторялось такое чудо. И вот оно пришло вновь, тихое, но могучее в своей истинной простоте и каждый раз удивительное в неповторимой новизне рождения жизни — весна.

Лес молчал, только-только пробуждаясь ото сна, окропленный небом и уже тревожимый теплыми солнечными зайчиками на блестящих и таких томительно-нежных язычках еще не развернувшихся листочков. Ивану Иванычу показалось, что сидит он в величественном храме с голубым полом, голубым куполом, с колоннами из живых дубов. Это было похоже на сон.

Но вдруг… Что бы это значило? По лесу прокатился короткий шум — глубокий вздох. Было очень похоже на вздох облегчения от того, что после длительного ожидания жизнь деревьев пробуждается вновь, уже обозначившись язычками распустившихся почек. Иначе почему же ветви шевельнулись, и вслед за этим засвиркала синица, а дятел бодро застрочил барабанной музыкальной дробью, призывая подругу, оповещая лес о начале Любви? Он ведь одним из первых, как и вальдшнеп, подает сигнал к торжественной симфонии весны; но только вальдшнеп зовет тихо, в сумерках, осторожно, зовет сверху: «Хор-хор! Хор-хор!» — то есть хорошо-хорошо! А дятел, найдя свое сухое дуплецо на заветном суку, неистово, смело, решительно возвещает на первозданном инструменте радости: «Кр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-расота!»

Ясно: потому и вздохнул лес облегченно, что чудо началось и наступило время исполнения надежды. И птицы откликнулись ему,

могучему богатырю и спасителю. Иван Иваныч слышал это отчетливо. Ведь он и пришел сюда затем, чтобы послушать лес и его обитателей.

И он был бы счастлив, как и каждый год в такие часы, если бы на краю полянки не выделялось пятно — пустое, не заполненное голубым, обозначенное лишь свежей землей, смешанной с палыми прошлогодними листьями. Грустно смотреть на такое пятно весной, да еще в самом начале всеобщего ликования в природе.

Но зато снизу вверх добрыми, наивными, ласковыми и невинными глазенками смотрел на Ивана Иваныча новый Бим. Он уже успел покорить Толика, он так и начал жить — с доброты, маленький Бимка.

«Какова-то будет его судьба? — подумал Иван Иваныч. — Не надо, нет, не надо, чтобы у нового Бима, начинающего жизнь, повторилась судьба моего друга. Не хочу я этого. Не надо».

Иван Иваныч встал, выпрямился и почти вскрикнул:

— Не надо!

Лес коротким эхом повторил несколько раз: «Не надо… не надо… не надо…» И замолк.

А была весна.

И капли неба на земле.

И было тихо-тихо.

Так тихо, будто и нет нигде никакого зла.

Но… все-таки в лесу кто-то… выстрелил! Трижды выстрелил.

Кто? Зачем? В кого?

Может быть, злой человек ранил того красавца дятла и добивал его двумя зарядами… А может быть, кто-то из охотников зарыл собаку, и ей было три года…

«Нет, неспокойно и в этом голубом храме с колоннами из живых дубов» — так подумал Иван Иваныч, стоя с обнаженной белой головой и подняв взор к небу. И это было похоже на весеннюю молитву.

Лес молчал.

1971.

О РЕКАХ, ПОЧВАХ И ПРОЧЕМ

Очерк

Октябрь 1964 года. Еду на лодке по Тихой Сосне. По той самой реке, которую в повести «В камышах» назвал Тихой Ольхой. Такое изменение я сделал тогда только потому, что персонажи были или вымышлены полностью, или обобщены, отражали черты нескольких лиц. Не ведал я того, что вместо милых сердцу людей мне придется писать о губителях рек…

Итак, еду. Не радует звук моторчика «чайка». Река уже не та. Прошло только два года, и уже она не та. В низовье уровень ее упал на два с лишним метра… Обнаженные корни деревьев и камыша… Как мертвые спруты, лежат корневища белых лилий… За селом Рыбное на обнаженных кручах налимьи норы зияют, как раны, а на отвесных берегах жуткие космы погибшей осоки и прибрежного камыша. Рыба ушла… Потом — так называемый прокоп для спрямления русла: глубокий фиорд с отвесными стенами, на верху которых гигантские брустверы… Здесь воды на полметра, а тины — больше. Рыбы — тоже никакой… В прокопе у Байдака гудит бурун — это уничтожена естественная вековая плотина, устроенная самой природой. Тут нанесена реке смертельная рана… Кто это сделал? Зачем?

Со мной два моих друга — Владимир Антонович Семенов и Василий Михайлович Цымбалист: первый — токарь, второй — рабочий консервного завода. Едем в Дальнее (мое «Далекое»!). Что-то теперь там?

И вот мы в Дальнем, у Кладовской протоки. В прошлом году мы въезжали в протоку из реки, как и много лет назад, теперь же бьет ручей-водопадик с высоты двух с половиной метров… Мои друзья еще раньше устроили наверху ворот, при помощи которого мы подняли челноки, поставили их в протоку и… поехали в Дальнее, в озера. Поехали так же, как и раньше. Реку спустили, а болота остались! «Небольшая» ошибка: не река, выходя из берегов, образовала болота

— они питаются подземными водами… «Небольшая» ошибка, а река загублена!

Я сижу на берегу умирающей, израненной реки. Мне надо собраться с мыслями. Кажется, вот-вот разревусь. Но сдерживаюсь… Мне надо поймать какую-то все ускользающую мысль, что-то важное.

Слышу рядом Владимира Антоновича:

— Не надо, Гаврил Николаевич… Не надо… Ну же…

Разве я виноват, что не сдержался? И мне сейчас не стыдно той минутной слабости.

…Ночь. Белая луна над рекой, еще недавно такой красивой, чистой, прозрачной, как слеза. Ни рыбы, ни дичи — ничего! Не рябит месяц, не играет в реке. На весле вошел в прокоп: как в могиле — тихо, безжизненно-черные отвесы стен… Луна теперь провалилась в этот жуткий проем, поэтому теряешь ощущение неба вверху; весло глубоко вязнет в тине — дно постепенно заиливается; кажется, вот сейчас въеду под землю, но это — обман зрения: обвалился вертикальный «берег» прокопа и образовал зияющую рваную «дыру». Ночью она представляется черным гротом… Я люблю ночь на реке. Люблю эту реку, как близкого человека. Она еще жива!.. Неподалеку слегка ухнуло, как будто послышался протяжный стон со вздохом: то обвалился где-то берег. В глубокой ночи слышу немой укор, просьбу о пощаде. Река стонет!

А вот здесь была трехметровая глубина, теперь тут на моторке не проехать. Кто виноват? В ответ ухнул еще обвал или оползень — тоже со стоном.

Прокричала где-то цапля — в октябре это редкость. Наступает утро. Рассвет осторожно крадется по брустверам прокопов… Камыши лежат, свесив метелки на кручу, измятые, растоптанные, истерзанные. А ведь они-то и охраняли берега от размыва, как бессменные часовые, в веках.

Так и не заметил, как прошла октябрьская ночь. То ли от бессонницы, то ли от горя, мне стало казаться, что я в какой-то фантастической местности.

В ту ночь пришло убеждение в том, что я не имею права молчать, что я обязан рассказать, как все это произошло.

Казалось, я уже знал, как написать и что написать. И все же какая-то мысль, самая важная, ускользала, не давалась.

Ехал домой совсем больным и… злым. (Говорят, что это — тоже начало творчества.) Увидел на берегу колхозника — невысокого, одетого в новенький ватник. Он стоял и задумчиво смотрел вниз, на реку. Подъехал. Поздоровались. Он ткнул пальцем вниз, в прокоп:

— Ну? Как?

— Что — как?

— Речке-то — гроб? Аль еще можно поправить?

Отвечаю:

— Остановить надо сначала, а уж потом думать, как поправить.

— Не остановишь, — твердо сказал он. — Раз из области приказано — не остановишь. А ты — «останови-ить»! Вон из нашего колхоза, из Ильича, сам председатель писал в область: дескать, скотину поить нечем стало — воду возим в бочках на ферму… Это рядом-то с рекой! А! Накопали, туды их мать! Сперва луга позабросили, а потом речку сничтожили. Одно слово — силос кругом идет какой-то. — Он зло вскинул взгляд, явно обвиняя и меня. Плюнул.

Читатель догадывается, что я опустил много слов, произнесенных собеседником в качестве вводных и пояснительных. Все же я спросил:

— И что же ответили председателю?

— Не знаю, — угрюмо ответил он. — Комиссия была вроде. Кто составлял проект загубления реки, тот и приезжал проверять… Сам себя… Да что же это оно делается? А ведь мы выросли на этой реке. Без нее нам погибель, — Он опять ругнулся, еще раз плюнул и, не прощаясь, ушел.

Первый раз за все время работы агрономом я не знал, с кем разговаривал — ни имени, ни фамилии, разве что только кнутовище с коротким кнутом служит верным признаком: со мной разговаривал не пастух, а либо конюх, либо ездовой, то есть человек «отживающей» профессии. Очень уж он был сердит: ушел — и все.

Когда я рассказал все это моим спутникам Владимиру Антоновичу и Василию Михайловичу, поджидавшим меня невдалеке, то каждый из них резюмировал по-своему:

— Если бы тот колхозник знал, что у мелиораторов никто и ни за что не отвечает, да если бы автор проекта попался ему один на один, как с тобой, то, пожалуй, кнутовищем он не сам себя похлестал бы по заду, — сказал Владимир Антонович.

Василий Михайлович процедил угрюмо:

— Волнение в народе от всей этой мути…

Убеждать их в обратном бесполезно. Да и в чем убеждать? Я-то знаю, что проект осушения порочный, что от жалоб он защищен наглухо, что, в общем-то, результаты его исполнения вызвали небывалое недовольство жителей прибрежных сел и города Острогожска, что «жалобы» эти рассматривались канцелярско-бюрократическими методами. И теперь я вижу явное и массовое недовольство неразумными манипуляциями на реках… Наконец-то я поймал эту мысль! Надо раскрывать карты всех путаников и прожектеров в сельском хозяйстве, в том числе и губителей малых рек.

УМИРАЮЩИЕ РЕКИ

Сто сорок лет тому назад поэт-декабрист К. Ф. Рылеев написал:

Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились…

Нельзя этому не верить. Была, значит, быстрая река Острогоща. Но теперь ее уже нет. Совсем нет. Лет пятьдесят назад она еще упоминалась в некоторых трудах как «временно действующий приток Тихой Сосны». Сейчас там сухое дно, обыкновенный широкий овраг — мертвая река. А ведь в устье этой реки Петр Первый входил по Тихой Сосне на своих галерах, вмещавших до сотни человек каждая. Там-то, на Майдане, он и встречался с Мазепой.

Примерно за триста лет уровень реки Тихая Сосна упал не меньше, чем на метр (в противном случае галеры пройти не смогли бы). Он продолжает медленно и упорно падать и сейчас, это я установил по данным Воронежской гидрологической станции за последние двадцать лет. Кстати, эти обработанные данные, выраженные кривой меженного уровня по годам, доступны для обозрения любого желающего, даже неспециалиста.

С падением уровня самой реки притоки ее постепенно умирают.

Можно перечислить десятка полтора высохших маленьких рек только в одной Воронежской области. То же происходит и в других

областях Центрально-Черноземной полосы России.

Профессор А. А. Дубянский, ученый с мировой известностью, непререкаемый авторитет в области гидрогеологии, утверждает, что режим питания наших степных рек подземными водами изменяется в отрицательную сторону.

Совершенно очевидно, что общая площадь водного зеркала степных рек уменьшается катастрофически даже и не в геологическом представлении. Это отчетливо заметно за время одной человеческой жизни, а в ряде случаев за полтора-два десятилетия.

Но мы знаем также случаи гибели рек в результате глупого вмешательства прожектеров или рабов инструкции. Так в 1938 году «отрегулировано» русло реки Тавровки. И всего за три года речка умерла: ее полностью, начисто и навеки, заилило песком и выносами из балок, тоже сложенных песками (доклад инженера В. М. Лобачихина, Воронежского филиала «Росгипросельхозстроя», на научной конференции, 1962 год). Была река — нет реки. Ради чего ее уничтожили? Якобы для осушения трехсот — четырехсот гектаров поймы. Но пойма-то превратилась в пустыню! Кто утвердил такой проект? Спросили ли разрешения у народа?.. Впрочем, об этом речь будет ниже…

Второй случай. Река Осереда, приток Дона, до 1930 года была полноводной, а замечательные ее поймы давали по два укоса сена. Опять же в результате «мелиорации» и эта река выведена в разряд умирающих: резкое понижение уровня воды иссушило пойму настолько, что местами там уже ничего не растет; вследствие же увеличения расходов воды, а следовательно, увеличения быстроты течения, русло промыло так, что берега стали отвесными и глубокими, — из реки сделали ров. И все сработано одним кинжальным ударом в сердце реки: прокоп для спрямления русла в низовье. Для чего? Якобы для осушения… шестисот гектаров поймы.

В 1929–1930 годах начиналась такая же канитель и на реке Тихая Сосна (те же прокопы, то же спрямление), но жители спасли реку. Исполнение проекта было приостановлено. Уже тогда, после первого грандиозного прокопа, из урочища Дальнее на десяток километров распространялся запах тления — гнила рыба, гибли миллионы мальков сазана и леща. Однако через три года после прекращения работ прокоп все же заилился (вследствие малого уклона в низовье), уровень воды

поднялся вновь, река почти стала на свое место. Государственные деньги выброшены на дно.

Научили ли эти примеры нынешних мелиораторов области чему-нибудь? Некоторых, не утруждающих свой мозг умственными упражнениями, для которых инструкция — предел разумения, ничему не научили. Других же, умных людей с чистой совестью, — научили.

Так, В. М. Лобачихин в том же докладе в 1962 году совершенно точно и честно заявил: «Для проектирования осушения пойм в Центрально-Черноземной полосе нет разработанных норм и технических условий, совершенно не освещен этот вопрос в периодических изданиях и технической литературе… Осушение пойм и гарантия сохранности построенных каналов от заиления возможны только при условии предварительного проведения комплекса противоэрозионных мероприятий… В ряде пойм склоны речных долин и частично водосборная площадь сложены неукрепленными песками, на которых без противоэрозионных мероприятий нельзя начинать осушительные работы».

Это — высказывание думающего специалиста. Но его предупреждение и призыв к осторожности в обращении с реками степей не возымели никакого действия ни на некоторых проектировщиков, ни на начальство, ведающее водным хозяйством, ни на управление мелиорации Госземводхоза РСФСР. Впрочем, и рекомендации межобластной научно-технической конференции по вопросу мелиорации в центрально-черноземных областях (1962) не приняты во внимание при дальнейшей разработке и исполнении проектов. Поразительное пренебрежение к мнению ученых и специалистов, заслуживающих всяческого поощрения!

Для *доказательства* приведу лишь один пункт постановления конференции: «При проектировании осушения обязательно проводить топографическую съемку масштаба 1:10 000—1:5000 с сечением рельефа через 0,5 метра и полным комплексом гидрологических и почвенных обследований».

Ученые сказали: топографическая съемка обязательна. Ученые требовали полного гидрологического обследования. Они требовали это и раньше. Но… Опять это «но»!.. Но есть Госземводхоз РСФСР и есть Облводхоз при Воронежском облисполкоме. Облисполком не утверждает проектов, Госземводхоз дает лишь «консультативное

утверждение» — ответственность снимается, никто не отвечает за то, какие последствия вызовет отсутствие надлежащих топографических съемок и гидрологических обследований.

Облводхозу «нужны»… кубометры, план кубометров, а отсюда и премии (довольно крупные!), отсюда — каждый экскаватор должно было превратить, тоже во что бы то ни стало, в деньгочерпалку. Госземводхозу нужны… площади осушенных земель, а за судьбу рек он не отвечает, так как только консультирует проекты, не больше. В этой круговой безответственности кто-то когда-то предложил для «удешевления и ускорения» использовать топографические планы Картогеофонда СССР с сечением рельефа в 2,5 метра, то есть в *пять раз* реже, чем рекомендовано учеными, мелиоративной наукой.

Но как же не понять, что при таком сечении рельефа в проектировании нельзя уловить детали микрорельефа, микропонижения, тальвеги! Даже конусы выноса оврагов при этом скрадываются, сглаживаются; поймы малых рек в таком случае представляются на плане ровной плоскостью, все проектирование идет вслепую да еще без учета *действительных* гидрологических условий самой реки и ее поймы.

Именно поэтому «удешевление и ускорение» проектов и массовое увеличение количества кубометров «вала» превратилось в орудие уничтожения рек, иссушения пойм и в конечном счете (самое главное!) в несчастье для жителей прибрежных селений, удивленных тупостью и несуразностью ударов по степным рекам. Так составлены и исполнены проекты на реках Черная Калитва, Икорец, Тихая Сосна и других.

Но читатель спросит; неужели же не было возражений со стороны населения и ученых против такого безрассудства? Неужели не было никаких протестов? Были. Решение научно-технической конференции есть хотя и в мягкой форме, но уже протест. Более того, был напечатан фельетон на эту тему в «Известиях» под названием «Липа на Тихой Сосне» еще в то время, когда река эта не была изрублена тупым мечом Облводхоза с «консультативного» благословения Госземводхоза РСФСР. Было много писем — индивидуальных и коллективных — в разные учреждения вплоть до высоких, в газеты вообще и главным редакторам в частности. Все было. Но все ограничивалось либо возвращением жалоб тому, кто виноват, после чего следовали

бюрократические (иногда издевательские) отписки, либо глухой защитой от критики.

Слов нет, без покровительства какого-либо высокого лица такая канцелярско-бюрократическая защита не могла бы иметь успеха в этой «игре». Карты лежат лицевой стороной вниз, а туз не сразу приходит, если он… не крапленый. «Игра» шла на туза!

Немой укор умерших и умирающих рек не имел значения.

КРИК ДУШИ СНИЗУ И ОКРИК СВЕРХУ

Кажется, самый первый голос протеста подал всеми уважаемый страстный краевед, учитель из села Второе Никольское Лискинского района, Валентин Васильевич Иванов. Он написал статью в газету: это был крик души честного, преданного человека, знающего, как отнесся народ к «мелиорации» по порочным проектам. Статья не была напечатана, а попала в Госземводхоз РСФСР, в управление мелиорации. Это управление поручило составить ответ… Кому бы вы думали?.. Воронежскому Облводхозу, то есть тому, кто виноват!

И вот Валентин Васильевич получил такие ответы.

Первый ответ за подписью начальника управления мелиорации гласил: «Управление мелиорации Госводхоза РСФСР направляет при этом копию повторного объяснения Воронежского Облводхоза по вопросу осушения поймы р. Икорен.

Учитывая, что все проводимые Облводхозом работы санкционированы соответствующими райисполкомами и утверждаются облисполкомом (?! — *Г. Т.)*, Управление мелиорации Госводхоза РСФСР при наличии у Вас возражений по последнему письму Облводхоза рекомендует Вам обратиться в первую очередь в Лискинский райисполком.

Приложение: упомянутое.

Начальник управления (подпись)».

Второй ответ — это и есть «Приложение: упомянутое». В целях экономии времени у читателя мы ограничимся выдержками из этого весьма оригинального «упомянутого»:

«…Целесообразность проводимых работ не вызывает сомнения ни у одного заинтересованного хозяйства, учреждения или организации.

После проведенных работ по регулированию водоприемника (реки Икорец) расход в реке не уменьшился, а увеличился (утешил! — *Г. Т.).*

В результате углубления дна реки и спрямления русла понизился горизонт воды и уменьшилась глубина, а скорость в реке повысилась, так как увеличился уклон дна.

…Рыба, которая была в озерах, не представляла промышленной ценности. Облов рыбы из озер не проводился по причине незначительного количества рыбы и больших неудобств для облова, вызывающих большие затраты.

…Увеличить глубину воды в реке не представляется возможным и в этом нет никакой необходимости.

Если тов. Иванов хочет нас убедить в чем-то другом, то он должен поставить вопрос о рассмотрении его замечаний и предложений на совещании в производственном управлении или в Облводхозе, с участием представителей всех заинтересованных учреждений и организаций, а не писать в редакцию.

31 янв. 1963 г.

Гл. инженер отдела водного хозяйства

Воронежского облисполкома (подпись)».

Трудно выдумать более игривый текст! «Обратитесь в первую очередь в райисполком» (никак не выше!). Или «поставить вопрос о рассмотрении… с участием представителей заинтересованных учреждений и организаций, *а не писать в редакцию*». Не сметь! Вот смысл.

Нет, никто не выехал в село Второе Никольское, не «поставил вопрос о рассмотрении» на сельском сходе или хотя бы на сессии сельского Совета. К чему! Ведь есть великолепная бюрократическая формула «Приложение: упомянутое». Заинтересованы, оказывается, только «учреждения и организации» — а остальные ни при чем. Главный инженер не желает выехать, прочитать письмо В. В. Иванова на колхозном или совхозном собрании, выслушать все и хотя бы доложить по начальству, как положено, с приложением «упомянутого».

Но не только это удивительно и обидно. Обратите внимание: «Рыба, которая была… не представляла промышленной ценности»! Облводхоз с благословения управления мелиорации признает, что рыбы уже нет, ссылается на «большие неудобства облова», а посему, следовательно, и дан ей гроб.

Итак, во всех малых реках рыба «не представляет промышленной ценности», во всех реках ее можно уничтожить начисто и даже должно уничтожить, так как «целесообразность проводимых работ не вызывает сомнений у заинтересованных учреждений и организаций». Вот ведь до какой сверхмелиоративной прыти можно дойти…

Напомню еще об одном ответе, теперь уже за подписью самого начальника Воронежского Облводхоза тов. Дедина. Он писал «На жалобу от 21 марта 1963 года» в город Острогожск о Тихой Сосне так: «В результате регулирования река станет глубже, шире и многоводнее». Ой, как обманул! Река, наоборот, стала уже, мельче и воробью по колено. Теперь-то он уж обязательно поручит составлять ответы своему инженеру, каковой сочинит так же, как для В. В. Иванова: «Увеличить глубину воды в реке не представляется возможным и в этом нет необходимости». А есть ли вообще необходимость существования рек в степи? Кажется, по упомянутым ответам, нет такой необходимости: под спецтерминологией они спрятали понятие о природе, о благополучии человека, о будущем края, если он останется без воды.

Но вернемся в село Второе Никольское к Валентину Васильевичу Иванову. Познакомился я с ним очень просто: получив от него письмо (через «Известия»), поехал прямо в село. Обаятельная личность: простой, прямой и смелый человек лет сорока двух — сорока трех. Ходит с палочкой. Совсем недавно к нему съезжались учителя со всего района, чтобы научиться, как организовать краеведческий музей при школе. Я имел удовольствие быть в этом музее. Любая, самая лучшая школа России позавидует музею, созданному трудами Валентина Васильевича. Если бы все экспонаты расположить как следует, то потребовалось бы три — пять больших комнат, но музей ютится в двух крохотных комнатушках. К тому же никто ни одной копейки не дает на содержание и расширение, хотя значение этого музея уже вышло за рамки района. Диву даешься, как это директор школы ухитряется

доставать «копейки» на музей. Из своего кармана, наверно, да из кармана Валентина Васильевича…

Так вот мы и сидим со страстным любителем природы своего края. Знает ли Валентин Васильевич, что порочные проекты защищают некоторые высокие лица? Да, знает по ответам на его письма. Знает ли он, что доказать порочность проектов очень трудно, если тебя *не желают понять*? Да, знает. Уверен ли в своей правоте и убежден ли, что говорит с голоса народа? Да, уверен и убежден.

И по сей час звучат в моих ушах его слова:

— Но что, что можно сделать, если даже выступление «Известий» не помогло.

И еще я слышу голос его матери, Марии Васильевны Ивановой. Лицо ее, изрезанное морщинами, впитало так много солнца, что и зимой загар не сходит. Она говорит:

— За что же это нам такое несчастье принесли? Кто? Скажите, кто это сделал?.. Почему не спросили у жителей?..

Что я мог тогда ответить! Только и сказал:

— Не знаю пока — кто, но верю, что правда победит.

Тяжко ей, вижу. Она понимает лучше нас всех, она ведь первой прочитала строки о «заинтересованных учреждениях и организациях».

Если вы вечерней июньской зарей пройдете по берегу реки Икорец, то увидите обязательно старую женщину, сидящую на берегу… Она любит природу, она внушила эту любовь своему сыну, она любила свою реку, она любила посидеть с удочкой…

На берегу плачет старая женщина-мать… Этого не забыть никогда!

Понимаю после этого и Валентина Васильевича, когда он с волнением говорит самые важные слова, видимо, самые трудные для него:

— А что я скажу своим ученикам? Они ведь спрашивают тоже: «Зачем? Кто?»… Ведь это же убивает в них самое главное — веру! Они тоже видят всю несуразность этой «мелиорации». Даже дети видят… Что им сказать?

Так безответственные люди, не ведая того по скудости разумения, нанесли вред и воспитанию школьников. Это — тоже страшные следы на воде! Сто комиссий и сто их «справок» с приложением «упомянутого» не будут иметь никакого значения, если их выводы

будут сделаны только из интересов «заинтересованных учреждений», а не с голоса народа.

…Ехал я к Валентину Васильевичу затем, чтобы (не скрываю) проверить его письмо и побывать на Икорце. Мы читали письмо строка за строкой… Впрочем, вот оно почти все целиком:

«Дорогая редакция!

…Сам я на эту тему писал неоднократно, но безуспешно.

Как бы мне хотелось, чтобы… „Известия“ не ограничились лишь напечатанием… подобных статей… А если сделанного исправить уже нельзя, то хотя бы предотвратить дальнейшее уничтожение рек.

…Нельзя же в самом деле ради осушения нескольких сот гектаров уничтожать целые реки! Ведь это же преступление!

Наша река Икорец до мелиоративных работ — это глубокая, полноводная и рыбообильная река. В настоящее время она представляет из себя жалкое зрелище… уровень воды в реке падает до двух метров, и ее во многих местах можно перейти по щиколотки. И обмеление реки, из-за обваливания обнаженных берегов, катастрофически увеличивается с каждым годом. Через несколько лет, если не предпринять необходимых мер, река либо исчезнет, либо превратится в небольшой ручеек.

…Река оказывает влияние и на микроклимат (недаром же грозовые тучи обычно ходят вдоль рек). А у нас и климат оставляет желать лучшего. Суховеи нас отнюдь не минуют.

…Облводхоз считает, что рыба в Икорце „не представляет промышленной ценности“, но и тут деятели этого водного предприятия ошибаются. До проведения мелиоративных работ питались рыбой Икорца очень многие жители сел, расположенных вдоль реки (а ведь это играет не последнюю роль в деле повышения благосостояния трудящихся), кроме того, в Нижнем и Среднем Икорцах был организован и промышленный лов рыбы рыболовецкими артелями. А теперь в реке рыбы нет, и в этом виновата не река, а Облводхоз… Жаль, конечно, средств, которые были затрачены попусту на уничтожение реки, но еще более будет нам жаль тех потерь, которые мы понесем, если оставим „осушенные“ реки в таком состоянии.

С уважением В. Иванов.

P. S. К данному письму прилагаю письмо из управления мелиорации, которое было получено мной в ответ на мою статью. Прошу при ответе мне вернуть это письмо.

4 марта 1963 года».

Читатель теперь знает, каким образом мне удалось познакомиться с «вышеуказанными» документами Водхоза и каким образом пополнился мой запас добрых и честных людей еще несколькими.

Сухие люди опять же могут сказать: «Это все — эмоции. Дай факты». Что ж, можно и факты, можно и научные доказательства.

ПИСЬМО ДВУХСОТ,

ФАКТЫ И ПОЧВЕННАЯ КАРТА

В начале этой главки предлагаю читателю познакомиться с потрясающим письмом в одну из газет. Письмо это написали жители… трех сел, и в кем только факты.

«Уважаемые товарищи!

Обращаются к Вам жители сел: Второго Никольского, Хренища и Раздольного, Лискинского района, Воронежской области, кому дорога родная природа.

Обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в большой беде, которая нежданно-негаданно обрушилась на нас.

Дело наше заключается в следующем.

Рядом с нашими селами протекает река Икорец. Несколько лет тому назад эта река была глубокой, полноводной и богатой рыбой (слово „Икорец“ произошло от слова „икра“). Высокий уровень реки поддерживался шестью мельничными плотинами, которые были расположены на реке на протяжении 18–20 км. В реке водились большие сомы и щуки, а также: сазан, жерех, окунь, линь, язь, налим, лещ и много другой, более мелкой рыбы. В зарослях же, по берегам реки, гнездилось много уток, чирков, бекасов, куликов, чибисов, курочек и другой пернатой дичи. Размножалась выхухоль.

Возле реки буйно рос лиственный лес. Здесь были: дуб, ильм, вяз, береза, осина, ольха и другие породы деревьев и кустарников.

Пойменные луга были покрыты густой травой. В лесу росли грибы и ягоды.

На реку всегда ходила масса народу: одни — ловить рыбу, другие — купаться, третьи — просто отдыхать на свежем воздухе. Наша местность походила на курортный уголок (недаром же на реке Икорец расположен известный санаторий имени Цюрупы). Но вот к нам пришла беда, и все резко изменилось.

Сперва на нашей реке были ликвидированы почти все мельничные плотины, в результате чего уровень реки значительно понизился, меньше стало мелководий, где развивалась рыбья молодь, а в итоге — меньше стало рыбы.

Но это была еще не настоящая беда, настоящая беда пришла к нам несколько позже, а именно — в 1962 году. В этом злополучном году к нам вдруг нагрянули мелиораторы с самой современной техникой.

Сперва мы думали, что они собираются почистить нашу реку, и очень обрадовались этому: ведь река от этого стала бы глубже, полноводнее и чище. Но когда мы узнали истинные намерения мелиораторов, мы пришли в ужас. Оказывается, они приехали к нам „осушать заболоченные луга“, которых у нас нет. Вскоре они взялись за дело, да так, что у нас волосы встали на голове дыбом. Они прорыли несколько глубоких каналов и спрямили реку, в результате чего вода в реке упала местами до двух метров.

Такой спад воды привел в ужас не только нас, но и рыбу, которая кинулась вниз по течению и полностью ушла в Дон. В реке у нас остались в основном ерши да раки. Образовались крутые берега, которые обваливаются и засыпают и без того уже обмелевшую реку.

Мелководья совершенно исчезли, и рыбьей молоди негде стало развиваться, а рискнувшей остаться „крупной“ рыбе негде стало метать икру.

Таким образом, наша река оказалась обезрыбленной не только в настоящее время, но и на много лет вперед, если не навсегда.

А ведь наша партия сейчас остро ставит вопрос о том, что внутренние водоемы должны стать прочной базой обеспечения населения живой и свежей рыбой. А у нас вместо того, чтобы разводить рыбу, созданы ей такие условия, при которых она ни разводиться, ни жить не сможет.

Обеднела наша река и в другом отношении. Исчезли заросли камыша, чакана, рогоза и другой растительности на ее берегах. Улетела речная птица. Исчезла выхухоль. Лес, лишенный былой влаги, стал катастрофически высыхать и гибнуть. Купаться стало негде, так как невозможно из воды выйти чистым на крутой берег. Да и сама река потеряла былую привлекательность. Но это еще не все. Мелиораторы не только выпустили воду из нашей реки, они вдобавок к этому распахали все наши заливные луга.

И что же из всего этого вышло?

Действительно, незначительная часть распаханного луга дала нам в прошлом году неплохой урожай кукурузы в зеленой массе, но при этом другая, большая часть луга, где почва подверглась более сильному размыву со стороны вешних вод, эта часть луга ничего не дала. И поэтому несомненно, что когда весенние воды смоют полностью плодородный слой со всего распаханного луга, а он уже смывался два раза, тогда на лугу, кроме бурьянов, ничего расти не будет. Так произошло в селе, которое находится на противоположном берегу нашей реки. Там тоже три года тому назад распахали заливной луг. В первый год он дал хороший урожай, на второй год этот урожай был значительно меньшим, а на третий год здесь ничего не уродилось. И это не удивительно: полые воды смыли с распаханного луга верхний плодородный слой и обнажили пески и солонцы. Сейчас большая часть этой „целины“ заброшена.

Да разве можно вспахивать луг и лишать его травяного покрова там, где вода смывает в реку его верхний плодородный слой?!

Какой „мудрец“ мог додуматься до этого? Ведь сейчас наша река катастрофически мелеет из-за того, что в нее весной сносится масса земли с распаханного луга.

Какое количество земли сносится в реку, можно судить по такому примеру: там, где наша река достигала девятиметровой глубины, там теперь можно веслом достать дно, а там, где была глубина до четырех метров, там сейчас илу нанесло почти в уровень с водой, а местами он целыми косами выходит из воды. Мало того, лишенный растительности луг не будет являться препятствием для надвигающихся на него и на реку песков. А пески эти уже вплотную подошли к реке.

Но это еще не все. Уровень подпочвенных вод у нас сейчас заметно снизился. Это заметно по колодцам, которые обмелели до метра. А ведь наша местность подвержена частым засухам. Нам нужна вода как воздух, а у нас отбирают и ту, которая у нас была.

И еще: мелиораторы поставили перед собой задачу осушить заболоченные луга, но, спрямляя реку, они наделали множество стариц, которые вскоре превратятся в новые болота.

Но и это еще не все. В настоящее время наши распаханные луга не имеют на себе ни клочка растительности, а поэтому совхозные коровы гоняются пастухами в лес, где они по мере сил своих и возможностей губят его, съедая, вытаптывая и ломая молодую поросль. Теперь в нашем лесу не найти ни ежевики, ни смородины, ни калины, ни грибов — все это вытаптывается скотом, который раньше все лето пасся на лугу. (С другой части луга скашивалась трава на сено и скирды его стояли в ожидании зимы.)

Вот к каким печальным последствиям привела ретивая деятельность мелиораторов. Вот какую медвежью услугу они нам оказали.

Взявшись за порученное им дело, они рубили сплеча, не думая ни о тех людях, которые сейчас живут на берегах реки Икорец, ни о тех людях, которые будут жить на ней после нас.

Прочитав по книгам о том, какой была река Икорец ранее, и увидев, какой она стала, наши потомки помянут нас недобрым словом. Они с укоризной бросят нам упрек: „Эх, отцы, отцы, где же вы были, когда бездушные люди губили реку? Как же вы могли допустить до этого?“

И этот их упрек в наш адрес будет вполне справедлив, если мы не сумеем сейчас восстановить изувеченную реку и не ликвидируем тех печальных последствий, которые явились результатом деятельности мелиораторов. А сделать все это можно.

Для этого, мы думаем, нужно закопать несколько главных каналов, вырытых мелиораторами, прекратить распашку лугов, закрепить почву лугов многолетними травами, а в дальнейшем произвести чистку реки, построить на ней несколько плотин и пустить в реку мальков ценных пород рыбы.

Вот за эту деятельность наши потомки скажут нам свое сердечное спасибо.

Мы совершенно уверены в том, что даже первое мероприятие — перекрытие каналов — в значительной мере восстановит реку и ликвидирует те печальные последствия, которые произошли в результате деятельности мелиораторов. Конечно, для этого потребуются новые средства, но эти расходы будут неизмеримо меньшей бедой, чем та, которая пришла к нам в результате обмеления реки и которая навалится на нас в скором времени, когда наша река окончательно высохнет. А ждать этого недолго, если мы не приложим должных усилий для спасения реки и природных богатств нашего края.

Вот по какому вопросу мы и решили обратиться к вам за помощью.

Помогите нам в этом деле!

27 мая 1964 г.

Жители села Никольское: 105 подписей.

Жители села Раздольное: 27 подписей.

Жители села Хренище: 71 подпись».

Двести три человека из трех сел!

Как-то один из руководящих товарищей (правда, не очень высокого ранга) с самым серьезным видом заметил по поводу коллективного письма двадцати человек: если жалоба подписана более чем тремя лицами, она… «организована». Заметьте: жалоба!

Впрочем, мы уже знакомы с ответом Облводхоза «На жалобу от 21 марта», о чем упоминалось выше.

Да разве же письмо двухсот — это жалоба? Это крик о помощи. Если SOS означает «Спасите наши души», то это письмо нельзя именовать иначе как «Спасите наши реки». Авторы его вовсе не скрываются за неразборчивыми подписями без адреса, нет, они указывают фамилии и должности, среди них и коммунисты — учителя, лесники, председатель сельсовета, рабочие и колхозники. Если они «организовали» это письмо, то слава им и честь!

Но правда ли все то, что написано в письме двухсот? Тронет ли оно душу губителей рек? Все-таки надо попробовать доказать.

Начнем, пожалуй.

Передо мной почвенная карта Воронежской области. Документ неотразимый, в котором нет никаких эмоций, если не считать

любовное переложение сюда трудов многих специалистов-почвоведов, тоже энтузиастов своего дела.

Пойма левого берега реки Икорец в тех местах, где проведено спрямление (уничтожение!) реки, состоит из *слабо гумусированных песчаных почв* (индекс 22) и *песков бугристо-волнистых, развеваемых и слабо задернованных (*индекс 23); кроме того, в части поймы среднего течения реки (на левом и правом берегах) — почвы лугово-черноземные *с уровнем грунтовых вод в два — пять метров* (индекс 12). Я прошу прощения за столь специфическую терминологию, но без этого не обойтись, потому что есть еще люди среди губителей рек, которые всякое проявление любви к природе относят к презренным эмоциям и для которых «Закон об охране природы в РСФСР» не имеет значения. Впрочем, слова «песчаные почвы» понятны любому читателю. Каждому понятно: тронь песчаную почву в пойме — она окажется вся в реке; врежься при спрямлении в песок — реки не будет (вспомните мертвую Тавровку!); понизьте уровень воды в реке на два метра — на столько же понизится уровень грунтовой воды и на почвах лугово-черноземных, то есть он будет уже не на два — пять метров, а на четыре — семь метров! Это будет уже не пойменный уровень, а иссушенная пойма с повышенной концентрацией солей.

Однако же зачем я употребляю слова «тронь», «врежься», «понизьте»?.. Ведь уже тронули, врезались и понизили! Уже пойму в колхозе имени Кирова, Лискинского района, затягивает песком… Нет, раздумий над почвенной картой недостаточно для того, чтобы понять все. Я свертываю ее в рулон, откладываю в сторону и еду на реку Икорец взволнованный и потрясенный.

…Июнь 1964 года. Иду по берегу от села Хренище и выше. Грустно… Местами река почти перегорожена песчаными наносами. А вот песок наступает на реку слева, наступает неумолимо и безудержно. В голове вертится: «Тавровка. Тавровка… Развеваемые пески… Индекс двадцать три»… И вдруг врывается в мозг с болью, с неистовством: пре-сту-пле-ние!.. Вот обвалился берег, видимо, еще в прошлом году. Обхожу обвал, спускаюсь вниз, перехожу реку в коротких резиновых сапогах (не в охотничьих, а в обыкновенных) и возвращаюсь обратно. И это там, где несколько лет тому назад утонула лошадь.

Иду по пойме, вспаханной год тому назад. Дернина здесь уничтожена, за одно половодье почва пошла на смыв. Я агроном, знаю, что через три года здесь будет мертво, если вновь не залужить почву и не поднять уровень воды. Что же тут осушали! Иду, смотрю, шарю взглядом… Ага, вот оно! Болото есть, а из него ручеек: не река питала болото, а подземные воды… Так ради чего же изуродована в этих местах река? Здесь абсолютно нечего осушать. Ошибка? Не-ет! Напористость начальника «заинтересованного учреждения», заинтересованного в количестве кубометров. Где бы ни копать, лишь бы копать! В тот день я окончательно убедился в том, что Облводхоз «призван» не обводнять, а… копать и что его начальник тов. Дедин превратил это учреждение в облкопалку, а экскаваторы, как мы уже намекали отчасти, в деньгочерпалки.

Раз, два, три… семь… Восемь новых болот! Это оставшиеся после «регулирования реки» старицы. Неподалеку засыхающий лес. Немного надо времени, чтобы он окончательно погиб, если опять же не поднять вновь уровень воды…

И все оттого, что реке нанесена глубокая рана страшным прокопом.

Ни одной строки неправды нет в письме двухсот!

…Идут из школы ребятишки. От них я узнал, что Валентин Васильевич уехал в Лиски. Жаль — не повидались. Но что смог бы я ему сказать, если бы встретился? Ведь ничего утешительного. Ничего! Хотелось бы, конечно, чтобы он понял, что и мне тяжело «проверять» письмо своей болью. Вот добьюсь, чтобы это письмо оказало какое-либо действие, и тогда скажу: «Здравствуйте, Валентин Васильевич! Вам есть что сказать своим ученикам».

Надежда и еще раз надежда.

ВОЛНЫ С ТИХОЙ СОСНЫ,

ИЛИ ТУМАН НАД РЕКАМИ

А с Тихой Сосны жалобы шли непрерывно, волнами. Дело дошло до того, что сам начальник районного производственного управления подписал письмо с просьбой о том, чтобы кто-то приехал и разъяснил

проект. Прибыл уже знакомый нам тов. Дедин. Очень занятно было поведение этого товарища на заседании совета по осушению (есть даже и такая организация).

«Вы не тешьте себя надеждами, что вы будете нас контролировать!» Так он обратился к председателям колхозов, из которых и состоит такой совет. Председателя комитета партгосконтроля при парткоме производственного управления, выступившего с объективной речью, высокий начальник назвал коротким словом «критикан». Все это, конечно, вызвало бурю: председатели вежливенько и довольно-таки строго «поговорили» с ним и решили «сначала очистить реку», а потом уж и так далее, о чем районная газета и поместила статью. Правда, протокол впоследствии оказался «несколько» сглаженным, в нем появилось даже «требование о форсировании», но… газета-то осталась.

В конце этого примечательного совещания секретарь парткома М. М. Мамонов тоже вежливо обратился к областному руководителю с просьбой, чтобы тот хотя бы извинился перед некоторыми товарищами за грубость. И что же вы думаете? Промолчал! Не извинился.

Не было бы смысла приводить этот прямо-таки позорный эпизод, если бы он не наводил на размышления. Ведь есть еще товарищи, которые, приезжая в район, забывают, что перед ними сидят люди совсем уже не такие, как пятнадцать — двадцать лет назад, что добрая половина руководителей района и колхозов имеет высшее образование, хотя и не разбирается в «тайнах» мелиоративных упражнений на сухих местах. Этот случай убеждает также и в том, насколько отдельные руководящие товарищи отстали во внутренней культуре от тех, кого они считают «массой», что крики и постуки кулаком по столу отжили свой срок как приемы руководства.

Но на том же самом совещании выяснилось, что в осушение включены и площади, не требующие никакого осушения.

В общем, я пришел к выводу: надо анализировать проект и писать, обязательно писать, иначе погибнет и Тихая Сосна.

С первых же шагов мне дали понять, что я не специалист и что проект достать трудно. Но научили друзья: проект есть… в отделении Госбанка, в городе Острогожске. Там и пришлось заниматься ознакомлением. Читатель уже отчасти знает, что получилось в результате исполнения проектов, и мне нет уже смысла утруждать его

внимание воспоминаниями об изучении этого документа. Лишь замечу одно: после этого и появился фельетон «Липа на Тихой Сосне». Я не мог не написать, стыдно было не написать.

Итак, кроме писем жителей прибрежных селений появился еще и фельетон. Но… если бы я знал, какой канцелярско-бюрократический оборот примет все это дело!

В одно прекрасное утро приехала комиссия из Москвы. Отлично! Меня пригласили «для беседы»… в гостиницу.

И вот передо мной стоит подвижной, со снисходительной улыбкой, невысокого роста человек. Он представился:

— Главный инженер управления мелиорации Госводхоза РСФСР Водославский.

Затем он разъяснил, что он «представитель комиссии ЦК». Потом уж, после его отъезда, мне стало известно по материалам комиссии, что он «чуть ошибся», что он не был представителем ЦК, а прибыл «в соответствии с приказом Госводхоза». Милая шутка!

Правда, и я тогда пошутил:

— Трудновато мне будет беседовать.

— Почему? — ласково улыбаясь, спросил собеседник.

Опять шучу:

— Мелиоратор мелиоратору глаз не выклюет… Вы понимаете шутку, надеюсь, и прошу вас не принимать это за чистую монету.

Лицо его преобразилось, оно стало строгим, он даже как-то вырос в моих глазах за одно мгновение и сказал с явной обидой:

— Прежде всего я — коммунист!.. А вы… член партии?.. Нет. Та-ак…

Мне стало немножко холодно, потом немножко жарко. Но немножко, потому что впервые в жизни услышал такое противопоставление и таким тоном. Потом вдруг стало интересно: ведь передо мной совершенно новый для меня человек! Ведь человеки, они разные, и в каждом из них есть все — и плохое и хорошее; больше хорошего — мы говорим «хороший человек», несмотря на недостатки, а если больше плохого — «плохой человек», несмотря на некоторые достоинства. «Будем надеяться, что больше хорошего», — такой была моя мысль перед беседой, невзирая на резкое разграничение нас моим собеседником в самом начале.

Но он с удивительной настойчивостью внушал мне, что я «против целесообразности мелиорации». Дважды я повторял:

— Дело не в том, надо или не надо осушать, а в том, *как надо* осушать, чтобы сохранить степные реки.

И дважды он ставил вопрос:

— Итак, вы против целесообразности мелиорации?

Пытаюсь разъяснить ему, что мною внесено было предложение через печать о том, чтобы при осушении пойм степных рек использовать опыт старожилов, а не шаблонно переносить методы осушения, разработанные для районов избыточного увлажнения.

Тогда последовал обратный вопрос:

— Значит, вы согласны с целесообразностью проведения мелиоративных работ?

— Еще раз повторяю: я не против осушения, я против иссушения пойм и гибели рек.

— Та-ак… Я вас понимаю: вы *согласны* с необходимостью осушения. Так и запишем.

Хотя быть спокойным становится все труднее, я не схожу с «платформы» и тоже долблю:

— Я не согласен с порочным проектом.

— Формулирую: вы не возражаете против осушения, — твердо, с прищуром уже утверждает Водославский.

— Позвольте! — говорю. — Наша столь приятная беседа наталкивает меня на мысль, что вам нужен какой-то заранее намеченный вами ответ, без «но». А ведь в этом «но» и заключается порочность проекта.

Он постучал карандашиком по столу:

— Я вас понял. Та-ак…

Теперь уже мне становилось понятным тоже: товарищ будет только защищать проект и будет «отметать» любую критику. Потом пришел автор проекта Т. Г. Мухинин — человек средних лет, отменно скромный, удивительно мягкого характера и, в общем, симпатичный.

Беседа продолжалась.

Я попросил автора проекта рассчитать действительный уклон реки в низовье, где углубляется и расширяется главный прокоп.

Да, автор проекта согласен, что уклон технически недопустимо мал, но он постарается увеличить его… следующим прокопом.

Какой милый губитель рек!

Начинаю убеждать: река Тихая Сосна, образовав за века свои отдельные профили равновесия, завершает каждый из них либо перекатом, либо подобием естественной плотины, как, например, место Байдак; указываю эти отдельные профили; как мне казалось, доказательно говорю о том, что если уничтожить эти перекаты, перепады и естественные плотины, устроенные самой природой, то реки не будет… И вдруг обращаю внимание на лицо Водосяавского: он весь — снисходительность к моему неразумению, к моей наивности, некомпетентности и мелиоративной малограмотности. Какое чувство превосходства! Какая ласковая улыбка! Внутренне, где-то в глубине, начал я понимать, что «беседа» бесполезна.

И все же, не теряя надежды, обращаюсь с вопросом вновь к автору проекта:

— Вы не желаете меня понять или действительно не понимаете? Вы же отлично знаете, что такое профиль равновесия реки? Да?

Он отвечает:

— В инструкции об этом не сказано ничего.

Истинная непосредственность!

Оставалось взять книгу «Геология» и прочитать выдержку, подтверждающую мое доказательство. Товарищ Водославский, главный инженер управления мелиорации, спрашивает:

— Это еще откуда вы вычитали?

Я не верил своим ушам. Мне как-то стало даже стыдно ответить:

— «Общая геология»… профессор Чарыгин… большой авторитет…

Беседа уже не клеилась. Но мне пришла такая мысль: «Выскажу все возражения против проекта, когда соберется вся комиссия. В нее ведь включены и местные товарищи. Кроме того, думалось, поедут же они все вместе на реки, в колхозы, в совхозы — там-то им все и выложат начистоту». От такой мысли повеселел.

— А знаете, — обратился я к Водославскому, — на Тихой Сосне я прожил четверть века, мне знаком каждый куст на ее берегах. Кажется, смогу подробно все объяснить и по проекту на заседании комиссии. Как агроном, знаю хорошо и пойму. Вы меня поймете, надеюсь.

— Попробуйте… — многозначительно произнес он. — Мы — к вашим услугам. — Тон его был уже недовольным.

Представитель из Москвы сердился.

Хотя мы явно не понравились друг другу, однако за пределы вежливости не выходили. Нельзя же в самом деле в начале нашего знакомства сразу вот так.

Лишь поздно вечером, оставшись наедине с темнотой и собравшись с мыслями, затвердил: выслушают, запишут. Главное, чтобы записали, а в Москве разберутся. Разберутся. Сначала выступлю перед комиссией, потом ведь и облисполком будет рассматривать — там изложу. Разберутся… Но ночь была бессонной.

Иногда кладу под ухо карманные часы, если бессонница. Положил и в тот раз… Тик-так, тик-так, тик-так… «Время и люди. Время и реки. Люди и реки».

И вот теперь прошел год с того вечера, а идея «время, люди и реки» не выходит из головы. Я уже ничего не смогу написать, кроме как об этом. Ничего — пока не будет написано то, о чем пишу сейчас.

Но вернемся к тому времени, когда бурная деятельность Водославского перевернула во мне представление о некоторых вещах, делах и «заинтересованных учреждениях».

…Комиссия выезжает в город Острогожск. Все организовано: «будут собраны все председатели колхозов и директора совхозов, в которых проводится осушение». Еду и я. Оказалось: из одиннадцати землепользователей были «на встрече» с комиссией… три председателя колхоза и один директор совхоза. Члены комиссии вместе с автором проекта и начальником Облводхоза Дединым составляли подавляющее большинство по отношению к землепользователям. Более чем странно! Единственно правомочный орган — *совет по осушению*, — не был созван. Даже отсутствовал председатель совета. Водославского все, оказывается, устраивало, и он назвал это «беседой». А вел записи той беседы… сам начальник Облводхоза! Все было понятно. Взаимопонимание начальника и представителя с верхней ступеньки ведомства было исключительно теплым. Глухой заслон!

Читатель должен знать, что в папке «проверяющих» лежало еще письмо от группы жителей из Острогожского района. Правда, письмо это составлено в грубоватых тонах, бездоказательно с точки зрения специалиста, но в нем была явная и четкая просьба — разобраться в порочности проводимых работ по конкретному проекту. Таким

образом, предстояло проверить еще и письмо. И товарищ Водославский «проверил».

— Товарищи! — спокойно и мягко начал он. Обвел взглядом присутствующих и еще раз повторил: — Товарищи! Поступила жалоба некоторых граждан и напечатан фельетон… Вопрос стоит о целесообразности осушения поймы… (обратите внимание: о целесообразности! — *Г. Т.).* Надо разобраться. У меня в руках протокол технического совета. Ученые подтвердили правильность проекта. (Читает протокол.) Имеются ли у вас, товарищи, возражения против этого авторитетного решения?

Отменно бюрократический ход! Оказывается, немедленно после выступления газеты созван технический совет (уже однажды «утвердивший консультативно» тот же проект), написано решение, подтверждающее предыдущее решение… Что скажет председатель колхоза, если представитель из Москвы так ставит вопрос? Где уж тут возражать руководителям района?! Надеюсь, теперь, после того как окончательно изуродована река, они поняли, какую огромную ошибку допустили в тот день. Впрочем, они (так же, пожалуй, как и я) не представляли пока, какую форму может принять бюрократизм.

Водославский же двигался вперед в соответствии со своим планом. Недаром же потом (в вагоне, на обратном пути) он дважды самодовольно повторил со свойственной ему улыбкой:

— Важно — *как* поставить вопрос! В этом — все.

Он подчеркивал, видимо, большой опыт в таких делах.

Очень опытный товарищ! А попробуйте сказать подобному человеку, что это и есть бюрократическая тенденциозность, — обидится.

И все же, несмотря ни на что, председатель колхоза имени Энгельса Кошманов Николай Петрович осмелился:

— Зачем загубили речку Потудань в нашем колхозе? Речки-то в верховьях нет!

Водославский встрепенулся.

— Говорите по существу вопроса! — строго предупредил он.

— А я — по существу. Тоже ведь был «правильный» проект и тоже утверждался, наверно, там же, а беду-то какую сделали! Ни воды, ни поймы.

— Товарищи! — Теперь голос представителя резкий, сухой. — Это бездоказательно! Есть у кого еще замечания по поставленному вопросу?

— А я еще не окончил, дорогой товарищ, — спокойно возражает смельчак. — А пойма…

— Все ясно. Хватит и этого, — перебивает Водославский.

И тогда директор кожевенного завода Ф. Т. Сморчков не стерпел:

— Дорогой товарищ! Слишком уж вы тенденциозно ведете беседу. Может быть, вы считаете, что здесь все вислоухие, простите за выражение?

Только после этого Николай Петрович договорил-таки:

— А пойма перестала родить: выступила соль! При обезвоживании почвы оказалась очень сильная концентрация солей. Непоправимое дело… А решение что ж? Решение осталось решением. И проект был «правильный». Только очень уж грустно от всего этого. — И он сел на свое место, махнув безнадежно рукой.

Вы думаете, это выступление услышал Водославский? Ничуть. Он не желал слушать и не слышал.

Конечно, говорили два председателя и директор совхоза: да, осушать надо. Так поставлен вопрос, так на него и отвечали. Откуда они могли знать сущность проекта!

«Важно — *как* поставить вопрос»!

После такой беседы буквально поймали на дороге двух из той группы людей, которые писали «жалобу», усадили их за стол, а Водославский лично беседовал путем постановки вопросов и примерно по тому же методу, как со мной в гостинице.

Почему не пригласили всех, почему их не позвали «на беседу», со всеми вместе? Э, не-ет! «Важно — *как* поставить вопрос». Талант!

Было уже совершенно отчетливо понятно: главный инженер управления мелиорации ответствен за порочность методов мелиорации на степных реках — ему во что бы то ни стало надо только то, что надо. Он ехал с заранее намеченной целью. Так и после совещания в Обществе охраны природы — где, кстати, он «поставил вопрос» в той же плоскости, но получил серьезный отпор, — он сказал:

— Здесь мы потерпели фиаско!

Глухая защита была намечена даже во всех деталях. Именно по этому плану все письма трудящихся (кроме одного!) были запрятаны в Облводхозе и не рассматривались комиссией. Хотя говорили ученые, специалисты сельского хозяйства, старожилы и называли конкретные реки и испорченные поймы, хотя профессор Цыганов с убийственной точностью говорил о недопустимости увеличения расходов воды в степи. Но… в справке комиссии получается, что на всех реках все благополучно. «Важно — *как* поставить вопрос»!

Все же я готовился к выступлению перед комиссией. Это было моей обязанностью. Ведь комиссия не побывала ни на одной реке, ни в одном колхозе или совхозе. Но…

Вот вам и «но»… Комиссия срочно отбыла в Москву, оставив на утверждение облисполкома «Справку о целесообразности». Выбыл и деятель мелиорации Водославский в полной уверенности исполненного долга.

Сколько их еще на нашей многотрудной земле, этих знатоков, *как* поставить вопрос!

Читатель поймет, для чего привожу все эти детали. Мы очень часто говорим о бюрократизме, произносим длинные речи, но далеко не всегда обнажаем и наказываем конкретных носителей этого зла, в особенности в сельском хозяйстве, где опека сверху стала величайшим тормозом развития. Период безответственности и прожектерства кончился. Чтобы поправить дело, нужны конкретные факты, детали, конкретные лица. Пора! Пора это делать.

Итак, на объединенном заседании комиссии мне позволили быть. Тогда и вспомнил слова: «Попробуйте… Мы к вашим услугам». Не предоставили даже возможности «приобщить» письменное изложение. Оставалось одно: ознакомиться со «Справкой о целесообразности». Добыл. Ознакомился. Трудно мне вспоминать тот день, но еще труднее писать об этом…

Почитайте, пожалуйста, с нашими комментариями, наберитесь терпения.

«Справка о целесообразности проведения мелиоративных работ в пойме реки Тихая Сосна, Воронежской области (о других реках ни слова. — *Г. Т.)*.

…В соответствии с приказом Госземводхоза РСФСР и поручением Воронежского облисполкома рассмотрены и проверены

вопросы, поставленные…

…В результате бесед с автором указанного фельетона, двумя авторами письма (остальные, несмотря на приглашение, не явились), землепользователями (председателями колхозов, директорами совхозов), участвующими в осушении поймы, в присутствии секретаря парткома производственного управления, председателя райисполкома и начальника производственного управления и участия в заседании секции областного научно-технического общества охраны природы, — пришли к следующему…»

Итак, проверка проведена не путем обследования и исследования на месте, а «в результате бесед». И будто бы авторы письма были приглашены, но не явились, будто бы не три председателя участвовали в «беседе», а все, будто бы не единственный директор был, а много. Какой обман! Какое бесчестье!

Дальше:

…«проектный институт „Росгипроводхоз“ вторично произвел экспертизу этого проекта и решением технического совета от 11 марта сего года снова одобрил его… При составлении проектного задания осушения поймы реки Тихая Сосна для нижней части поймы были выполнены топографические изыскания в масштабе 1: 10 000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Для верхней части в проекте были использованы имеющиеся топографические планы в масштабе 1: 10 000 с сечением рельефа горизонталями через 2,5 метра и полугоризонталями через 1,25 метра…»

Как видите, «снова одобрил» тот, кто уже одобрял! И как быть с «поставленным вопросом» о недопустимости использования готовых карт с сечением в 2,5 метра? На это справка дает весьма оригинальный ответ:

«При двухстадийном проектировании на стадии разработки проектного задания выполненные и используемые планы *соответствуют техническим условиям и нормам проектирования*» (подчеркнуто мной. — *Г. Т.).*

Маленькое замечание: проект по Тихой Сосне составлен в 1961 году. Научно-техническая областная конференция состоялась в 1962 году, когда и было отмечено, что «для проектирования осушения пойм в Центрально-Черноземной полосе *нет разработанных норм и технических условий*». Каким же условиям соответствуют упомянутые

планы? Нет, тут положительно рассчитано «на вислоухих», по слову товарища Сморчкова. Надо было затуманить, запутать, закрыть. А ведь именно здесь, в этом пункте, судьба рек, судьба людей!

Почитаем еще:

«Целесообразность осушения реки Тихая Сосна сомнений не вызывает. Это также подтвердили землепользователи, участвующие в проведении этих работ, и с этим *согласились авторы письма и фельетона*» (подчеркнуто мной. — *Г. Т.).*

Так вот что нужно было Водославскому с первых минут беседы! Согласие без критики липового проекта. Не добился, так сам записал. А почему бы и не записать, если другие члены комиссии не слышали нашей милой беседы. Основа из основ бюрократического механизма — это знаменитая формула: «Докажи, что ты не верблюд». Оказывается, и землепользователи согласились (вспомните, сколько их было), оказывается, и авторы письма согласились, хотя и не явились, как сказано в выдающейся преамбуле…

Пункт пятый:

«Землепользователи не ставили вопроса о прекращении работ по осушению поймы. На заседании межколхозного совета от 6, февраля 1964 года они, подтверждая целесообразность осушения и согласившись на финансирование проводимых работ, предъявили претензии Облводхозу в медлительности и срыве обусловленных договорных сроков и требовали форсирования строительства (?!). *Это было подтверждено на совещании с землепользователями 18 марта 1964 года в присутствии комиссии*» (подчеркнуто мной. — *Г. Т.).*

Читатель уже знает о весьма теплой встрече тов. Дедина с землепользователями, когда, тоже в присутствии секретаря парткома, его просили извиниться. Это и было 6 февраля. Тогда и записали: «Очистить реку». Понимаете? Очистить, а не загубить. На том совещании, конечно же, члены комиссии не могли быть и, следовательно, не знали, что там было, а Водославский представил его как… «требование форсирования строительства». Обратите внимание: уничтожение реки называется «строительством»! Более того, «беседа» 18 марта 1964 года с тремя землепользователями здесь выступает уже как совещание. По странному стечению обстоятельств на этом «совещании» *не присутствовали* те председатели, которые были 6 февраля и которые противостояли агрессивному наступлению Дедина

(исключением является один лишь председатель колхоза «Красная звезда» — Иван Трофимович Партолин), а их подавляющее большинство. Вот такой прием и называется «подготовить» совещание. Его можно «подготовить» и после совещания через месяц-два, для чего надо вызвать секретаря того совещания с черновиками протокола. Так вот иногда и бывает: грязь, в которую втопчут правду, выдают за самую правду, лишь бы пуговицы мундира были чисты. Великое дело — честь мундира!

В заключение напомним, что на заседании 6 февраля был поставлен вопрос и о включении в проект земель, не требующих осушения. Справедливости ради и к чести Дедина мы обязаны сказать, что он обещал это учесть, исправить и даже сообщил, что подобный случай был в Ольховатке, где тысяча пятьсот гектаров также были включены в осушение, но потом якобы по требованию района исключены. Как же этот вопрос освещен «в результате бесед»? А вот как:

«Данные же, использованные автором фельетона о наличии земель, требующих осушения, не учитывают участки почв временно избыточного увлажнения, что дало повод для неправильных толкований».

Так пустить муть может только Водославский. Факир! Великий комбинатор из Водхоза! Ведь вся пойма Тихой Сосны (кроме болот) и есть «участок» временно избыточного увлажнения, все заливные луга, осушение которых — смерть лугам, суть «участки» временно избыточного увлажнения, потому что в этой пойме бывает ежегодно два половодья: разлив Тихой Сосны и разлив Дона, когда течение до самого Острогожска становится обратным, то есть, вопреки пословице, река течет вспять. Как мы убедились, оказывается, и честь специалиста тоже может плыть вспять.

…Мне трудно продолжать чтение этого документа. Трудно потому, что Тихая Сосна уже изранена и истерзана. Не помогли ни письма трудящихся, ни печать. Никто из высшего начальства области не мог помочь, *не* хотел помочь, никто не разглядел сущность губительного проекта, а в Москве тоже не смогли разглядеть это в тумане, напущенном над реками инженером от мелиорации. Тяжко вспоминать красивую реку!.. Но что поделаешь, надо докончить. Нельзя не упомянуть об одном весьма важном обстоятельстве,

касающемся как существования рек, так и развития всего сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы России.

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ И…

ЭРОЗИЯ РАЗУМА

В европейской части СССР водная эрозия (то есть поверхностные смывы и размывы почв) захватила пятьдесят миллионов гектаров, из них сильносмытых и среднесмытых — одиннадцать миллионов гектаров. В одной только Воронежской области смытых земель более пятисот сорока тысяч гектаров, или двенадцать процентов площади сельскохозяйственных угодий. Поразительная цифра!

Волга несет тридцать пять миллионов тонн взвешенных частиц, Дон — семь миллионов, Урал — три с половиной миллиона, Днепр — полтора миллиона. Только в эти четыре реки поступает ежегодно сорок семь миллионов тонн почвы. Плодородие почв падает, реки (в особенности малые) заиливаются.

Эрозия — бич сельского хозяйства. На борьбу с нею государство и колхозы тратят огромные средства. Процесс эрозии на смытых и среднесмытых почвах необратимый. Задача состоит в том, чтобы *приостановить эту беду любыми средствами, а не углублять ее, не способствовать развитию процесса гибели почв.*

В мою задачу не входит говорить здесь о мерах борьбы с эрозией — этим занимаются весьма серьезно несколько организаций, в их числе самая важная — «Агролеспроект». Кстати, в этой системе нет ни единого проекта, который не принес бы великую пользу. Какая разница по сравнению с управлением мелиорации! Одна организация стремится предотвратить беду, другая углубляет беду, нависшую над самыми плодородными землями Черноземья. Но это — к слову. Я лишь ставлю этот вопрос в связи с состоянием рек, в связи с порочными проектами осушения и диким использованием пойм.

С этой точки зрения нас интересует роль техсовета Росгипроводхоза РСФСР. Ведь в решении этого совета, которым открывались «беседы», черным по белому написано: «Эрозия оврагов не влияет… на русло реки Тихая Сосна» (?!). И даже «научное»

объяснение тому дано: «…в весенний паводковый период… устья оврагов находятся в подтоплении водами» и эрозия «предотвращается наличием полосы поймы от 0,5 до 1,0 км и более между оврагами и руслом».

Какая цена таким утверждениям? Кто автор «внесенного предложения»? Неужели в техсовете нет ни малейшего представления о размерах эрозии и о пагубном влиянии ее на состояние рек? Трудно поверить в это. Тут что-то очень и очень неладно. Неужели же и в этом случае только честь мундира? Не верю.

К счастью, члены комиссии (не московские!) — главный специалист Воронежской экспедиции «Агролеспроект» Т. Н. Василевский и заместитель начальника Воронежского облуправления лесного хозяйства В. В. Трушевский — не поверили лепету упомянутого техсовета, а внесли в заключение совершенно обратное тому, что решил техсовет мелиораторов. Эти два больших специалиста своего дела занимались в комиссии только вопросами своей специальности и сделали это самым честнейшим образом. Не их вина, что вопрос о порочности проекта осушения рассмотрен тенденциозно, сугубо односторонне, канцелярско-бюрократически. И как приятно, что не каждому ученому, не каждому специалисту можно навязать «авторитетное» решение. Такие люди не похожи на всеисполнительного автора проектов Мухинина. Хороших специалистов больше, чем плохих, везде и всегда. Однако один плохой может наворочать столько, что сто хороших не исправят за сто лет. Вспомните, как некий медведь убивал огромным камнем муху на голове пустынника. То же получается и в мелиорации степных рек при избыточно увлажненной сверхуслужливости по принципу «Рад стараться, ваше благородие!». Ведь товарищ Мухинин впервые повез проект с расчетами на использование пойм под травы. Там сказали: нельзя под травы. Что ж, можно под пропашные! Скажут — только под тыкву, будет составлять только под тыкву. «Не влияет эрозия» — значит, не влияет. Дуй до горы!

Дует до горы и Облводхоз, «усиливая» экономическую эффективность: на 1 января 1964 года из якобы осушенных двенадцати тысяч четырехсот гектаров распахано четыре тысячи гектаров, а засеяно… тысяча четыреста сорок пять гектаров. Десять лет ведется осушение, несколько рек загублено ради этого, а в результате пшик.

Освоение идет по принципу «Седьмая неделя — девятая верста». Впрочем, дело даже и не в этом.

Распахано под пропашные и овощные подавляющее большинство поймы Дона на территории области. Для этих же целей распахивались и осушаемые земли (к счастью, по вышеуказанному принципу). С берега Дона я наблюдал такую картину: земснаряд неустанно трудится над тем, чтобы как-то все же проходили баржи с хлебом из Задонска до Лисок, а рядом — буквально рядом! — в пойме два трактора пашут супесчаную почву, которая катастрофически, из года в год, смывается в Дои. Назовем вещи своими именами: дикость при высокой технике! Этими, с позволения сказать, мероприятиями мы способствуем развитию эрозии, уничтожаем плодороднейшие, прямо-таки золотые почвы, губим реки. Почвы пойм должны быть обязательно залужены и облесены в соответствующих местах, а не выброшены в воду. Берега должны быть сохранены, а не разрушены, как это делается по бездарным проектам комбинаторами планов в кубометрах.

Обо всем этом и о многом другом я и собирался сказать сначала перед комиссией. Не пришлось. Оставалось одно: изложить свои убеждения и предложения на заседании облисполкома. Думалось так: «Будут же рассматривать пресловутую справку и выносить решение, там все и изложу». Речь приготовил.

Шло заседание исполкома — весьма короткий разговор. В частности, автор проекта, отвечая на вопрос об уклонах в отдельных профилях реки, опять же заявил, что «река потеряла русло (?) и растекается по всей пойме». Как все заученно и ложно! Это он сказал о той реке, о которой совсем недавно защищена диссертация в Воронежском госуниверситете и которой автор проекта абсолютно не знает, так как проект-то составил за столом без надлежащих исследований. Это — о той реке, где сотни моторных лодок бороздили русло от Острогожска и до Дона. Признаюсь, я очень боялся, что на том заседании будет принята «за основу» скудость мысли Мухинина. Надо было — пришло наконец время! — выступить там, где меня выслушают. Попросил слова.

Тогда и сказал во всеуслышание председатель облисполкома знаменательные слова:

— Мы пришли сюда, товарищ Троепольский, не полемизировать.

И слова не дал.

И все же я попробовал предложить хотя бы рассмотреть одну-единственную таблицу. Даже подошел к столу исполкома, но… после слов председателя о том, что обсуждать — это не значит полемизировать, на таблицу смотреть не захотели.

Может быть, все это и означает слова «подготовить исполком»? Не знаю. «Важно — как поставить вопрос»! Председателю облисполкома почему-то не было интереса выслушать критику проекта и критику работы Облводхоза как отдела исполкома. Цель была достигнута. Но зато он не подозревал, что была раскрыта еще одна карта: а вдруг вот так и выяснится, что мы наворочали и накуролесили с реками! Нет, так нельзя.

Кто знает, всегда ли мы замечаем у себя эрозию мышления? Не захватила ли она площади гораздо большие, чем водная эрозия?

НЕПРОИЗНЕСЕННАЯ РЕЧЬ

Уважаемые члены исполкома облсовета депутатов трудящихся!

Уважаемый председатель!

Вопрос о воде и почвах чрезвычайно важный во всех смыслах для развития сельского хозяйства Черноземного края, а следовательно, и для благополучия его жителей в настоящее время и в будущее, близкое и далекое. Полагаю, что все члены исполкома полностью согласны с этим. Мне не хотелось бы сомневаться в том, что в своем решении исполком будет исходить именно из этой концепции. Ведь осушено тринадцать рек! Что сталось с ними? Загублены или не загублены они? Как такое «комплексное мероприятие» отразилось на благополучии населения? Надо или не надо так резко понижать уровень воды в реках степи и увеличивать расходы воды? Создается такое впечатление, будто бы эти вопросы не поднимались ни в печати, ни в письмах населения в разные организации. Таким образом, при рассмотрении этого вопроса комиссией оставлено в стороне, отброшено самое главное.

В мою задачу в данный час входит одно: доказать колоссальный вред, нанесенный сельскому хозяйству области неразумным, антинаучным вмешательством в природу края. Но поскольку комиссия касалась только проекта осушения на Тихой Сосне, и начну с этого,

так как не теряю надежды на спасение реки и на ее защиту от бездумного и бездарного проекта.

В основу проекта положен следующий принцип: «Заболачивание поймы произошло потому, что вода вышла из берегов» и, как заявил вновь здесь автор проекта товарищ Мухинин, «река потеряла русло и растекается по всей пойме».

Такая, с позволения сказать, «теория» абсолютно неприложима ни к Тихой Сосне, ни к другим степным рекам нашего края, что и постараюсь объяснить.

В прошлом вся пойма использовалась под сенокос и отчасти под огородничество. То же самое, кстати, было и на других реках — Икорец, Черная Калитва, Потудань и других. Прошу обратить внимание на то, что так использовалась пойма и тогда, когда уровень воды был выше, а не ниже: например, на Тихой Сосне, только на территории Острогожского района, было пять плотин, на Икорце — шесть и т. д. На каждой степной реке были такие плотины.

Предлагаю вашему вниманию диаграмму анализа меженного уровня реки Тихая Сосна за последние двадцать лет. Как видите, уровень воды в реке не повысился, а понизился, несмотря на продолжающееся заиление как следствие эрозионных процессов. Таким образом, совершенно очевидно, как аксиома, что причиной увеличения влажности лугов поймы и их частичного заболачивания послужило вовсе не повышение уровня в русле. Действительная причина заключается в следующем: *заболоченные места в пойме Тихой Сосны* (от Ольшана до урочища Дальнее) *в подавляющем большинстве находятся выше уровня реки.* Здесь река нигде не вышла из берегов.

Тогда возникает вопрос: каким образом значительная часть лугов области ушла из пользования? Ответ на это можно получить (конечно, при желании!) не только из того, что мы видим на практике, но и из самых элементарных основ гидрологии:

«В заболачивании лугов важную роль играет луговая растительность, которая на достаточно увлажненных участках создает плотную дернину, затрудняющую проникновение кислорода к почве. Это способствует накоплению перегнойных кислот, вызывающих гибель луговых растений. Замена луговой растительности осоками и мхами приводит к образованию болот» (В. Л. Булах, Н. А. Соломенцев,

В. А. Чекмарев, «Основы гидрологии и сельскохозяйственных мелиораций»).

Так повышенная увлажненность поймы *в большинстве случаев на большинстве степных рек* и появилась местами только потому, что пойменные луга были заброшены, одичали и наконец вышли из землепользования. Так, сначала забросив луга, мы объявили, что, спустив реки, мы все распашем под пропашные. А ведь любой колхозник знает: забрось пойменный луг, не коси его пять лет — и пойдет кочкарник, осока, то есть начнет образовываться болотистое место. Выдуманное повышение уровня воды в реке тут ни при чем. В большинстве мест наших пойм одно только окультуривание луга понизит влажность его до нормы (для трав). А если провести очистку русла (не зверские прокопы!), то не только можно полностью вернуть луга в их прежнее состояние, но и значительно увеличить их площади. Собственно, болот в Воронежской области немного. Чтобы убедиться в этом, просмотрите почвенную карту области — она перед вами. Посмотрите: ради какого кусочка болотной почвы зарезана река Икорец! Ради чего предполагается загубить Тихую Сосну! Где эти грандиозные болота? Ради чего вот уже много лет Облводхоз перестал делать пруды и водоемы, а спускает реки, обезвоживая край?

Как видите, я стараюсь довести доказательство до полной очевидности. И я не понимаю, как можно это не видеть и как можно не замечать всего, что творится на степных реках края. Тем не менее продолжу свои доказательства.

Выше я привел пример заболачивания вследствие одичания лугов. Второй характер заболачивания — это подземные воды. Примером можно взять пойму в районе урочища Дальнее. Здесь болота были с незапамятных времен. Теперь они захватили и часть поймы из-под заброшенных сенокосов (например, колхоз «Криниченский» из года в год не выкашивает своих пойм). Но когда-то землевладелец Кладов провел в Дальнем несколько каналов, после чего вся пойма использовалась полностью: даже близ острова Дальний росла капуста, не говоря уж о двух- и трехукосных лугах. Причем это было очень дешевое осушение даже при ручном труде. Потом каналы были заброшены, с годами заросли с краев, пойма вновь одичала, а луга колхоза «Криниченский» в большей части представляют теперь осоковый кочкарник.

В этих местах, о которых мы говорим, все озера и озерки (например, Головка и другие) связаны между собою протоками, чаще всего уже не проходимыми для челнока, и расположены по естественным понижениям, так называемым тальвегам. Вода из них течет в реку через Дальневский затон. Если бы вода выходила из берегов, то никакого постоянного течения здесь не могло бы быть. Но озера зарастают с краев камышами и резаком, постепенно заиливаясь и расширяя заболачивание вокруг. Помещик положил в основу именно это обстоятельство: *система озер и озерков с подземным питанием водой и есть причина заболачивания вокруг них.* Он соединил часть их между собою каналами, *часть воды* (бóльшую) *отвел в реку* (Кладовский канал), часть же соединил искусственной протокой-каналом с затоном реки (Крейда). При исследовании этой системы поражаешься точному знанию поймы и экономичности мелиоративных работ.

По проекту же теперь надо, оказывается, спустить реку, понизив уровень до катастрофического. Между тем в подобных местах степных рек единственно правильный и самый экономичный способ осушения — это *отвод воды по естественным понижениям*, связанным с питанием потоками подземных вод.

Я утверждаю, что в проекте (в проектах) решение вопросов осушения антинаучно и без надлежащих гидрологических исследований. В противном случае нельзя было не заметить того, что понятно и видно любому колхознику.

Как вы видите, оба характера заболачивания лугов не имеют никакого отношения к выдуманному повышению уровня в русле. Впрочем, это даже и не выдумано (чтобы выдумать, надо ведь думать), а взято шаблонно и перенесено, как «теория», с тех мест Советского Союза, где действительно большая часть площадей заболочена. Ни на одной реке Воронежской области уровень воды не повышается, а медленно понижается, колеблясь по годам, к чему есть причины, вытекающие из особых климато-метеорологических и других природных условий степи, о которых скажу несколько позже.

Итак, если в проекте положен в основу «выход реки из берегов» и если этого в действительности нет, то, следовательно, это явный брак, где все так же, как и в бракованной металлической детали: с одного

бока все гладко, а с другого сквозная трещина. Поразительно, почему мы смотрим только с одного бока!

Если этот проект будет исполнен, то (прошу запомнить мои слова) после «регулирования» русла, то есть уничтожения великолепной реки, вы сможете поднять лодку на высоту двух метров, поставить ее в Кладовскую канаву и поехать в озера Дальнего так же, как если бы не было никакого «регулирования».

Перехожу к следующему, одному из главных — если не самому главному, — пороку проектов. Этот порок заключается в скудости мысли отдельных проектировщиков в области знаний геологического формирования степных рек и их долин. Считаю обязанностью говорить об этом, так как комиссия начисто опустила и этот вопрос и, как выяснилось, некомпетентна в нем, а консультаций с видными учеными области, известными всему Советскому Союзу, не пожелала.

Позволю себе начать эту часть моего выступления с выдержки из «Обшей геологии»:

«Каждая река… стремится выработать продольный профиль равновесия. Особенность этого профиля речного ложа заключается в том, что *уклон речного дна* от верховьев постепенно и вполне закономерно *уменьшается по направлению к устью*…» (подчеркнуто мной. — *Г. Т.).* «Профиль равновесия формируется не только по всей длине реки, но и по отдельным участкам ее течения, например, от нижнего уровня одного уступа-водопада до нижнего уровня другого…» «*В одной и той же реке может образоваться ряд продольных профилей равновесия*» (проф. М. М. Чарыгин, «Общая геология»).

При рассмотрении профилей равновесия степных рек оказывается: каждая из них сформировала несколько таких профилей (от быстряка до быстряка, от переката до переката, от уступа до уступа). Так, например, Тихая Сосна имеет шесть профилей равновесия от Дона до границы Алексеевского района, Белгородской области. Река существует благодаря формированию их, она живет ими. Уничтожьте профили равновесия — и реки не станет.

Проект же именно это и предусматривает — уничтожить все продольные профили равновесия. Может ли быть что-либо страшнее этого, бездумнее и тупее? Не может!

Если будет исполнен этот проект, то большая часть прекрасных пойменных почв будет иссушена, в городе Острогожске негде будет искупаться; крупная железнодорожная станция Острогожск останется без воды; река станет непроходимой для моторной лодки, а местами и для челнока, то есть будет жалкий ручей; в колхозе имени Ильича трудно будет даже напоить скотину; а болота… останутся, останутся не только по причинам, уже указанным мной, но еще и потому, что каналы-то в пойме намечены так, будто уровень грунтовых вод есть плоскость, а не кривая.

Вспомните эти слова в том случае, если исполком не приостановит исполнение проекта!

Мне могут не простить того, что я называю вещи своими именами. Среди приглашенных я вижу тех, кто не приемлет доказательств от «наивных неспециалистов» и кто из мелиоративной посредственности старается делать тайну тайн, а ремесленнические поделки иной раз выдает за проекты. В целях доказательства безрассудства, творимого на степных реках, мне пришлось в течение двух лет заниматься гидрологией и мелиорацией не только по специальной литературе, но и по консультациям с видными учеными и специалистами. Я прошел пешком или проехал несколько рек по страшным следам Облводхоза, поэтому и не имею права не говорить о том, о чем говорю. Однако мне кажется в некотором роде странным отсутствие среди приглашенных на это заседание крупных ученых, живущих рядом с нами (гидрогеологов, гидрологов, почвоведов). Это обстоятельство, несмотря ни на что, обязывает меня сделать еще одно замечание гидрогеологического порядка.

Из трех периодов всего цикла речной эрозии (юность, зрелость, старость) степные реки в своем большинстве находятся в третьем из них. Это период старости, для которого характерно образование меандр (извилин русла). Почти все долины степных рек эрозионного происхождения. Естественно-геологическое образование профилей равновесия в таких долинах абсолютно не допускает переноса русла в легко размываемое ложе. Это элементарно, как дважды два. Но что поделаешь, если приходится доказывать уже доказанное не раз. Ведь пытаются опровергнуть закон природы! Ради чего? Ради одного: больше кубометров вынутой земли!

Таким образом, не только уничтожение уступов, перекатов и естественных плотин, но и спрямление меандр в условиях таких рек, как Тихая Сосна, Икорец, Черная Калитва, Осереда, Тавровка и другие, уничтожит эти реки или в лучшем случае поставит их в разряд умирающих. Из элементарной же гидрологии известно, что «извилистая (меандрическая) форма является наиболее устойчивой для рек, протекающих в сравнительно легкоразмываемых грунтах» («Основы гидрологии»). Да разве можно в долинах песчаного или илистого сложения спрямлять русло?! Надо простое: *чистить ложе рек*. А что делается? Десятки экскаваторов выполняют «лозунг»: больше кубометров — больше денег. Выполняют на прокопах при спрямлении. А начальник Облводхоза отвечает на протесты населения так: «Река будет… полноводной и глубокой». При всем желании это не может не показаться издевательством над законом об охране природы.

Теперь для меня остается непонятным не то, почему составители проекта пренебрегли основами гидрологии и наплевали на закон об охране природы в РСФСР, а то, каким образом утвердили проекты умерщвления рек и защищают его.

В самое последнее время мне стало известно, что облисполком якобы не утверждал проектов, Госводхоз РСФСР — тоже («консультативно»!). Следовательно, утверждает-то, оказывается, правление колхоза, то есть отвечает в конце концов якобы председатель колхоза и отчасти исполком райсовета (?!). А кто же там может разобраться в тайнах тайн мелиорации!.. Так вся система управления мелиорации и методы работы Облводхоза рассчитаны на полную безответственность: кто бы и что бы ни накуролесил, сколько бы степных рек ни загубили — никто не отвечает! Никто — хотя деньги получают многие и премии получают крупные.

В этом смысле, имея в виду работу Облводхоза и порочные проекты, исполком не должен быть близоруким. Хочется верить, что наступит просветление и руководство области найдет мужество признать допущенные ошибки. Хочется верить, что вопрос будет поставлен в другой плоскости: *как спасти испорченные реки?*

Третья часть моего выступления касается одного лишь вопроса: можно ли так резко понижать уровень воды на наших реках, как это делается?

Везде, где прикоснулась напористая длань Облводхоза, уровень рек понижен на один-полтора метра. Так по крайней мере утверждают все, кто причастен к этому злу, на самом же деле уровень понижен значительно больше. Помимо всего прочего, «специалисты», уничтожающие реки, превозносят как положительное достижение увеличение расходов воды в этих реках в полтора-два раза. Эта цифра повторяется у них везде как заслуга. Более того, кандидат технических наук, он же директор Курской зональной опытно-мелиоративной станции, товарищ А. Н. Корягин, включившись в общий хор защитников губителей степных рек, приводит в подтверждение данные этой станции фактически… за два года (?!) и далее утверждает следующее:

«Каждый мелиоратор знает, что осушение улучшает внутригодовое распределение стока, *увеличивая бытовые расходы отрегулированных рек-водоприемников* в 1,5–2,0 раза (подчеркнуто мной. — *Г. Т.)*. Так, например, бытовой расход реки Дубна, Московской области, увеличился в два раза по сравнению с тем, который был до регулирования. Для бассейна реки Припять коэффициент регулирования равен 1,5 *и так далее*» (подчеркнуто мной. — *Г. Т.)*.

Под словами «и так далее», видимо, следует понимать степные реки Черноземья.

Итак, утверждая, что иссушения пойм не происходит и что «опасения необоснованны», нам ставят в пример реки… Дубна и Припять. Очень жаль, что не приведен пример из Ленинградской области, где шестьдесят пять процентов площади сельскохозяйственных угодий заболочены. Но насколько надо быть далеким от практики, насколько надо «упростить» науку, сведя ее к шаблону, чтобы прибегать к такому доказательству. Диву даешься антинаучности довода ученого!

Попробуем доказать и это.

«Каждый мелиоратор» должен знать: если водные ресурсы края истощаются быстрее, чем пополняются за счет атмосферных осадков, то такое явление именуется отрицательным водным балансом; если же количество осадков больше, чем расход водных ресурсов края, то это определяется как положительный водный баланс. Мы согласны, что об этом «в инструкции ничего не сказано», но полагаем, однако, что для

ученого недостойно подобное отношение к главному условию, без учета которого нельзя подъезжать близко с экскаваторами-деньгочерпалками ни к одной реке, и что любой проект, составленный без учета водного баланса края, вреднейшее «рукомесло».

Нет такой области деятельности человека на Земле, нет ни одной отрасли науки, где бы *закон многообразия* не имел такого решающего значения, как в сельском хозяйстве. Здесь не может быть универсальных средств и приемов, к сожалению так часто внедряемых и «спускаемых». Всякое приведение к рецептам и однообразию методов и приемов подавляет инициативу умных и иногда выдвигает на первый план сильно неумных. Например, рецептурный подход в схемах агроправил, севооборотов, набора культур (в особенности обработки и использования почв) всегда был уделом агрономов без агрономической мысли. К сожалению, и отдельные из ученых (подчеркиваю: единицы!) склонны иногда шаблон выдавать за самую науку. Ярким примером тому может служить и «доказательство примерами» товарища А. Н. Корягина.

Ведь реки Дубна и Припять протекают в условиях положительного водного баланса в круговороте воды. Понизив уровень на Припяти (что далось весьма нелегко), никто не иссушил пойму, а вот понизив уровень на два метра на реке Икорец, Воронежской области (что далось очень легко!), пойму испортили, так как средняя и верхняя часть ее еще до так называемого «регулирования» имела глубину грунтовых вод в два — пять метров. И это — при наличии песчаных почв!

Увеличение расходов воды в степном крае — это иссушение края, это увеличение разрыва между поступлением и расходом волы, это — будем опять называть вещи своими именами — постепенное умерщвление природы края. Такой подход к мелиорации степных рек с благословения некоторых «ученых» нельзя назвать иначе как недомыслием, санкционированным руководством области.

В. В. Докучаев неопровержимо доказал, что степи наши неумолимо иссушаются. Это ведь в Воронежской области он основал опытную станцию близ Таловой. Именно здесь он провел целый ряд оригинальных исследований в целях разработки мер борьбы с иссушением степей. Может быть, данные В. В. Докучаева и его заключения устарели? Ничуть! Землечерпатели просто не принимают

их по внимание, у них есть установки и инструкции, они, наоборот, способствуют иссушению степей, увеличивая расход воды в два раза, уничтожая при этом рыбу начисто, катастрофически сокращая количество дичи, жестоко обедняя всю фауну края.

Вопрос этот — проблема из проблем. От того, как мы сумеем сохранить и увеличить водное зеркало водоемов степи, какое влияние будем оказывать на малый кругооборот воды, зависит будущее края, будущее сельского хозяйства. В этом смысле резкое понижение уровня воды в реках ради осушения небольшого количества болотных почв — операция дикая и жестокая по отношению к потомкам. Не понижать уровень рек, а строить плотины на малых реках — вот единственно правильное мероприятие, если думать о будущем, о благополучии населения в настоящем и о высоком урожае всегда. Всю степь мы никогда не сможем полить путем орошения, но сохранить влажность воздуха в пределах теперешних колебаний отчасти в наших силах.

Еще и еще раз: нельзя понижать уровень воды в наших реках степей, как это делается. Для трав, например, нормы осушения вполне достаточны в сорок — пятьдесят сантиметров в среднем за вегетационный период. Это рекомендуется и мелиоративной наукой. Следовательно, для осушения наших пойм достаточно только прочистить реки малыми земснарядами без каких-либо прокопов. Исполком облсовета должен прекратить безрассудство.

На основании всего сказанного вношу следующее предложение:

1. Созвать в самое ближайшее время в Воронеже совещание специалистов и ученых-гидрогеологов, гидрологов, мелиораторов, агрономов, председателей колхозов и председателей сельских Советов из прибрежных колхозов и сел, где закончены мелиоративные работы, и поставить на обсуждение один вопрос: «Результаты работ по регулированию русел и мелиорации пойм на реках области, экономический эффект от этого и состояние этих рек».

2. Просить Главсельводстрой СССР включить в план исследования (по методике Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации) проверку результатов всех мелиоративных работ на реках Воронежской и Белгородской областей.

3. На Тихой Сосне, в соответствии с решением совета по осушению от 6 февраля 1964 года, прочистить русло без каких-либо прокопов и сохранить на реке все плесы, затоны и озера в пойме, имея

в виду, что Тихая Сосна является одним из лучших мест для икромета и размножения рыбы во всем донском бассейне.

4. Признать, что Облводхоз за последние годы занимается не обводнением степей, а уменьшением воды в крае, катастрофически увеличивая расходы воды.

5. Просить ВНИИГиМ разработать вопрос о восстановлении рек области с расчетом сохранения естественных профилей равновесия, устройства плотин и ликвидации прокопов там, где они особо вредны.

6. Запретить распашку пойм Дона и его притоков, залужив эти поймы многолетними травами.

7. Впредь не допускать снижения уровня воды в реках более того, какое получится после прочистки русла той или другой реки.

Уважаемые члены исполкома! Уважаемые товарищи приглашенные на это важное обсуждение! Я сказал здесь *почти все*, что хотел сказать, но… не все, что хотел сказать. В частности, опустил вопрос о приписках площадей, которые не подлежат осушению, о тех приписках, которые вольно или невольно закрывают факт заброшенности и одичания многих лугов наших пойм. Кроме того, мы ведь распахиваем под пропашные не только поймы, но и эрозионные склоны. И все это делаем, окруженные богатейшим черноземом, еще не научившись как следует получать от него все, что он может дать. Так мы уподобляемся человеку, который из вороха золота выбирает только медяки.

Полагаю, что если даже часть пунктов моего предложения будет обсуждена здесь членами исполкома и присутствующими, то ответ на невысказанные вопросы придет сам собой, а я в данном случае смогу ограничиться представлением вот этой таблицы на ваше рассмотрение.

ВЕРЮ!

Читатель уже знает, что эта речь не произнесена и ничего этого сказать не было позволено: обсуждать — это значит не полемизировать. Такая установка. Оказалось, что формула Водославского «Важно — как поставить вопрос» даже не полностью соответствует «надлежащему» стилю руководства. Лучше другое:

«Важно не то, как поставить вопрос, а важно то, чтобы не допустить постановки вопроса».

Так, несмотря ни на что, практика не стала критерием оценки выполненных губительных проектов. Знаю, такой результат обиден и для настоящих ученых-мелиораторов. Среди них есть люди научного подвига, и этот подвиг свершается в преодолении мучительных раздумий и сомнений, а многие из них знают и то, что мелиоративные работы ведутся по единому шаблону в различных климатических условиях и без конкретного подхода к каждой отдельной реке. Есть такие люди! Они есть в Воронеже, в Ленинграде, в Москве. Везде! Но почему они молчат, почему не протестуют против профанации науки, против недомыслия, ремесленничества и той нечистоплотности, когда количество вынутых кубометров земли становится важнее самой реки, важнее интересов народа? Почему вы молчите, дорогие мои товарищи?!

И вдруг мне становится вновь больно… Я вспомнил, что Тихая Сосна умирает… Хотел спасти ее, но не сумел. Чувство какой-то тяжести, чувство вины не покидает меня… С этой тяжелой ношей в душе я несколько дней стоял на берегу этой реки. Трудно!

Да, негде уже искупаться жителям города Острогожска, а проектировщик, тот же Мухинин, «ставит вопрос» так: «Дайте еще сто тысяч рублей — выкопаю вам котлован для… купанья». Какое издевательство! Это на такой прелестной реке рыть теперь котлован!.. Да, главная приемная труба водопровода станции Острогожск уже на поверхности воды… Да, мы поднимали челноки на высоту в два метра из реки и ехали по Кладовской канаве в озера Дальнего… Впрочем, все мои предположения оправдались. Горько от этого.

В иные минуты мне кажется, что все это сон, что это невероятно, что ничего этого не было: не было ни заседания исполкома, не было ни Мухинина, ни Дедина, ни Водославского… Но бедная моя, израненная Тихая Сосна, с обезображенными, оголенными берегами, с ужасной черной наготой корневищ, пробуждает от сна… Она зовет. Все это было. Все это свершилось. И свершилось уже после… второй комиссии, после которой нанесен смертельный удар — прокоп у Байдака.

Нет, товарищи! Слишком серьезны и жутки следы на воде, чтобы их могли загладить *только* одни ведомственные комиссии. Сначала

надо было спросить народ! С безответственностью перед ним надо покончить решительно. Еще иной раз находятся горе-руководители, считающие, что только они якобы знают, что людям хорошо, а что плохо, и что сами люди того не знают. От таких надо избавляться. Именно такого пошиба люди прибегают к термину «заинтересованные организации» и боятся как огня собрания колхозников, сельских и городских сходов. Так единственно правомочные коллективы часто остаются в стороне при решении важнейших вопросов их жизни, даже таких, как судьба рек, на берегах которых они живут. А ведь было бы совсем не то, если бы вдруг да и произошел бы такой казус: представьте себе, что товарищи, написавшие «бумагу» В. В. Иванову (о которой мы упоминали), отчитались бы перед жителями сел Второе Никольское, Раздольное и Хренище о результатах «мелиорации»; представьте, что товарищ Дедин перед жителями Острогожска, села Мутник или перед собранием рабочих механического завода в Острогожске (куда он писал ответ на «жалобы», что река «будет полноводной») выступил бы с отчетом о проделанной «работе». Что бы тогда вышло? Вне всякого сомнения, можно ручаться за усиленную бледность лица того, другого и третьего.

Но… такие случаи, оказывается, исключены (по крайней мере были исключены). Ведь можно послать ведомственную или какую-либо другую комиссию, включить в нее областных товарищей, и та комиссия решит, что для народа хорошо и что плохо.

Была комиссия! Была. Это вторая комиссия, после которой и Тихая Сосна может быть зачислена в разряд умирающих рек. Так туман, напущенный некоторыми, надолго повис над реками степи, а под его прикрытием экскаваторы продолжают свою работу.

И все-таки…

Нет, дорогой читатель! Ни на каплю не потеряна вера в торжество правды. Если бы это было не так, не было бы этих строк.

Все сильнее растет жажда поисков милых сердцу людей — они на каждом шагу, а все хочется знать их больше. Но что поделаешь, если сейчас приходится писать не роман и не повесть о них, а статью… о реках. Так надо. Срочно надо.

Пришла пора, когда пересматриваются многие непродуманные, субъективные решения. Верю, что будут пересмотрены и губительные

для степных рек прожекты, а исполнение их будет немедленно приостановлено.

Май — ноябрь 1964 года.

ПОСТОЯЛЬЦЫ

Пьеса в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иванов Леонид Петрович, председатель колхоза, 35 лет.
Кузин Антон Кузьмич, кладовщик колхоза, 52 года.
Свищ Алексей Свиридович, бывший председатель колхоза, 50 лег.
Силков Тарас Павлович, колхозник, 60 лет.
Кострова Глафира Васильевна, заведующая домом приезжих, 45 лет.
Анюта, ее дочь, студентка сельскохозяйственного института.
Махоткин Иван, колхозник, 20 лет.
Миша, тракторист, 22 года.
Поля, подруга и ровесница Анюты.
Чекмарь Илья Данилыч, председатель комиссии, 55 лег.
Кислов Петр Андреевич, член комиссии, 30 лет.
Бояров Аким Карпович, член комиссии, 50 лет.
Лапкин Михей Харитонович, секретарь Боярова, 50 лет.
Милиционер.
Дед. Колхозники и колхозницы.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Лето. Вечереет. Колхозный дом для приезжих. Две комнаты, разделенные большой прихожей: направо — две койки, круглый стол, зеркало и пр., налево — отдельный небольшой номер, там кровать, стол, шифоньер, диванчик и пр. В прихожей телефон,

стул, бачок с водой и кружка. В больших окнах предвечерняя панорама села.

Кострова *(заканчивая уборку в прихожей, заглядывает в окно).* Приехали! Опять комиссия! Вот уж греха-то! И откуда они только и берутся, эти комиссии, прости господи?

Входят **Бояров, Чекмарь *и* Кислов.**

Бояров *(важно).* Приветствую вас.

Чекмарь. Здрас-с…

Кислов. Привет сему дому — не пойду к другому. Добрый вечер!

Кострова. Здравствуйте, здравствуйте. *(Смотрит документы приезжих, приглашает Боярова в одинарный номер.)* Вам — сюда… А вам двоим — сюда. *(Ведет их в общий номер.)*

Бояров. Для одного вполне удовлетворительно. *(Располагается в номере, переодевается в пижаму.)* А им — на двоих. Значит, авторитет не тот.

Чекмарь. Тесновато.

Кострова. Чем богаты… (*Меняет наволочку, смахивает со стола — задерживается, внимательно присматриваясь к приезжим.)*

Кислов. Нам не плясать. Дедушка, бывало, говаривал: лучший отдых мне — такой: хоть на соломе, но — покой. *(Открывает окно.)* А тут — тишина какая! И уж, конечно, покой.

Чекмарь. *(располагаясь).* Тут и будет наш штаб комиссии… Ну и председатель колхоза — вот бюрократ! По телефону объяснился: «Не могу-у! Хлопочите пока без меня! Зайду вечерко-ом». Ладно. Не можешь — научим, не хочешь — заставим, противишься — накажем, протестуешь — фьюить! *(Жест удаления.)*

Кислов. Вот это — формула! Но важно — факты: не подтвердятся, то и время тратить не надо.

Чекмарь. У вас еще опыта нет, дорогой, вы молоды. Важно, иной раз, не сами факты. Важно — *как* поставить вопрос. А я на этом двух собак съел…

Кислов. Вкусные?

Чекмарь. Люблю юмористов. Но придется и вам «собаку есть». Прислушивайтесь, присматривайтесь к жизни, изучайте ее. *(По-отечески.)* Если товарищ Скирда против председателя колхоза, Иванова, — одна постановка вопроса, если же «за» — другая постановка. Учли? Хе-хе!

Кислов. Здорово у вас выходит: в гнезде хоть бы пес, лишь бы яйца нес, но не кусался.

Чекмарь. Остро… остро. Но песенка Иванова спета. И нам останется только выполнить поручение… Да, да. Не удивляйтесь.

Кострова уходит.

Кислов. Ну-с! *(Поправляет галстук перед зеркалом.)* Кто — как, а я пошел людей посмотреть и себя показать. *(Уходит.)*

Чекмарь *(вслед).* Молод, горяч — не сидится. Этого еще воспитывать да воспитывать. Эх-хе-хе-хе! *(Ложится отдыхать.)*

В прихожую входят* Кострова *и* Лапкин *с чемоданчиком.

Кострова *(категорично).* Говорю вам, местов нету.

Лапкин. Глубокоуважаемая… Как — вас?

Кострова. Глафира Васильевна.

Лапкин. Глафира Васильевна! Я привез в колхоз, на испытание, новую машину. И мой начальник здесь — Бояров Аким Карпович. Куда я денусь? Ведь — машина!

Кострова. Что ж я вашего начальника выгоню?.. Машина… Их и так, машин-то, — всех курей передавили на улице. Остались самые умные. Не только у курей, а и у людей идет отбор по соображению. Греха-то! Кочет у меня старый совсем дрессированный стал: мотор заведут, аж на той улице, а он бежит и как оглашенный — ко-о-о! И петухи-то теперь с нервами… А чего ваша машина будет делать?

Лапкин. Уничтожать вредителей колхозных полей.

Кострова *(настороженно).* А может, и вы тоже приехали снимать председателя?

Лапкин. Ах, что вы, что вы! *(Заискивающе.)* Глафира Васильевна! Ну, как же? А?

Кострова. Человек-то вы обходительный. И для колхоза, похоже, не вредный. Так уж и быть, принесу свою раскладушку из дома.

Лапкин *(пожимая руку).* Глафира Васильевна!

Кострова. Для хорошего человека… и не знаю, что бы я сделала.

Лапкин приосанился.

…Никак вы чего-то подумали? Ну-ну! Я — женщина строгая. *(Сердито и громко.)* И не стыдно вам? Такие мысли!

Лапкин. Я — что? Я — ничего. Не может быть у меня таких мыслей.

Кострова. То-то! *(Уходит.)*

Бояров *(встал, и в двери).* Что тут за шум?

Чекмарь *(выходя со свертком).* А драки нету…

Лапкин. Аки-им Ка-арпович! И тут вы без отдыха. В колхозе только и отоспаться. Нельзя так относиться к своему здоровью. Обедали?

Бояров. Не успели. Столовая уже закрыта.

Чекмарь. Вот, колбасы две коляски купили и буханец хлебушка — не помрем.

Бояров *(входя в свой номер).* Мой секретарь и друг, Михей Харитоныч — изобретатель и рационализатор.

Лапкин. Дружба навеки! *(Представляется Чекмарю.)* Техник по образованию, секретарь — по судьбе, Лапкин. Прибыл на грузовой, для производственного испытания своей уникальной машины.

Чекмарь. Специалист по осушению. Председатель комиссии — Чекмарь. *(Боярову.)* А ваш филиал и техникой занимается?

Бояров. Машина — его хобби, но теперь она — гвоздь филиала. Идет по теме «Борьба с вредителями».

Лапкин *(Чекмарю).* Скромничает Аким Карпович. Получим здесь акт испытания — сразу же оформим соавторство.

Чекмарь. За него и держитесь. Сами понимаете… между нами говоря… вышестоящая рука дороже нижестоящей головы. Да, да! Что поделаешь? Жизнь. *(Режет колбасу на куски.)*

Лапкин *(глядя на колбасу).* Жизнь — штука сло-ожная…

Все едят.

Бояров *(Чекмарю).* Вообще-то, вышло неважно: мы — сюда машину на испытание, а меня вызывают и дают установку: «Попутно — материал на Иванова», совместно с вами, под ваше, так сказать, начало.

Лапкин *(Чекмарю).* Вот видите? С одной стороны, председатель нам нужен — вот как!..

Бояров. С другой стороны, я обязан оправдать доверие. И начнем мы именно «с другой стороны».

Лапкин. Конечно, конечно. По должности-то и в небо плюнешь. Там уж доплюнешь или нет, а плевать будешь. Но только… не вышло бы чего, Аким Карпыч.

Бояров *(поучительно).* Только человек малого ума всегда труслив, всего опасается и — ничего не видит. Но вы-то человек — не малого

ума!

Лапкин. И все-то вы видите, Аким Карпыч, и обо всем знаете, и все-то предвидите. Спасибо вам — что вы есть.

Бояров. А вы — вон что.

Лапкин. Молчу и не вмешиваюсь. И не спрашиваю — как это вы сделаете, чтобы и председателя… *(Жест удаления.)*… и нашей машине — путевку в жизнь!

Бояров. А это уж позвольте мне знать, лично… Баланс поведения!

Лапкин. О, мудрость, мудрость! Как редко она достается людям.

Чекмарь. Но «баланс поведения» — не очень ясно. Потом уточните.

Лапкин *(Чекмарю).* У Акима Карпыча всегда есть в запасе какой-нибудь ход.

Входят* Кострова *и* Свищ *в новом костюме, в шляпе, при галстуке.

Кострова. Куда ты ломишься? Люди — только с дороги, а ты… Вот позвоню председателю: каждого командировочного подкарауливаешь.

Свищ. Не твово ума. Не стращай — не из пужливых. *(Приоткрывает дверь к Боярову.)* Разрешите?

Кострова уходит.

Бояров. Приветствую вас. Присаживайтесь.

Свищ *(садится).* Зашел на пользу дела.

Бояров. С кем мы имеем честь?..

Свищ. Алексей Свиридыч Свищ. Работал председателем четыре года. Сняли меня тогда случайно, по ошибке районных организаций. Теперь затирают. А в данный момент идет сплошной обман вышестоящих организаций по линии председателя колхоза, Иванова. Приходится с ним бороться. Что та-ам! Такая моя краткая биография жизни. *(Встает и пожимает руку Лапкину.)* Болтун… *(Пожимает руку Боярову.)*… головотяп… *(Пожимает руку Чекмарю.)*… и самодур — вот кто такой Иванов, председатель.

Чекмарь. Интересная биография… жизни.

Лапкин *(садится в уголок, и скромненько).* Тут мне надо молчать. *(С интересом наблюдает за Свищом.)*

Чекмарь *(Боярову).* Слышите, каков гусь — Иванов?

Бояров *(Свищу).* Очень интересно. Мы слушаем.

Свищ. Всю борьбу с председателем приходится выносить одному… хотя и совместно с народом. *(Достает из карманов пачки бумаг и кладет перед Бояровым.)* Вот эта — последняя докладная, а эти — ответы инстанций на прочие мои предупреждения и сигналы горя. Вот — семь тыщ убытку от кукурузы! *(Кладет жалобу.)*

Бояров *(смотря на лист, Свищу).* Эта ваша жалоба…

Свищ. …Докладная об угроблении кукурузы…

Бояров. …здесь. (*Пристукнул по портфелю.)* Нам поручено разобраться и по вашему сигналу.

Чекмарь. Ваша бумага — бомба!

Свищ. Не впервой. Из газет вырезки собираю для примера. А как же!

Чекмарь. А по вопросу осушения Красавки вы не могли бы — положительное… странички на две?

Свищ. Смотря в каком разрезе и — какая личность.

Чекмарь. Иванов, через голову области, написал: речку якобы загубили. Вы в курсе?

Свищ. По политическим, идеологическим, а также сельскохозяйственным моментам — всегда в курсе.

Чекмарь *(пишет пальцем).* Противник мероприятий и тому подобное, речка стала лучше и… все такое. А?

Свищ. Могу. Об чем речь! Выходит, не зря пришел?

Чекмарь. Даже отличненько! И о жизни потолкуем.

Свищ. Тоже польза — поговорить за жизнь.

Лапкин. Люблю умные беседы. *(Всем.)* Вот вы о жизни собираетесь думать. *(Со вздохом Боярову.)* Не надо бы. Делали бы свое дело — добились бы акта испытания машины, а от комиссии этой отказались бы. А?

Чекмарь. Позвольте, позвольте! Извините, но это — вне вашей компетенции.

Лапкин. Совершенно точно. О ней, о жизни, если все время думать, рассудка можно лишиться. *(Свищу.)* Перенапряжение мозгов и… Вот у меня сосед, пенсионер: писал, писал жалобы во все концы да умом тронулся…

Бояров *(строго).* Михей Харитоныч! *(Указывая на Свища.)* Человек борется с недостатками, человек помогает нам выполнить

поручение, а вы — что говорите?

Чекмарь. Да. Что вы говорите? Что за философия такая?

Лапкин. Я — что? Я — ничего. Никакой философии у меня быть не может. *(Свищу.)* И вы на меня обиделись?

Свищ. Об чем речь! Я свое дело делаю. И я иду по путю — не свернуть меня философией. А кто же тут будет — за правду, акромя меня? Никто.

В прихожую входят Анюта с раскладушкой и* Махоткин. *Он сильно стукнул, закрывая дверь. В номере* Боярова *насторожились, прислушиваются.* Бояров *прячет жалобу в портфель. Анюта ставит раскладушку к стене.

Анюта. Иван, ну чего сейчас-то пристал? Не за тем пришли.

Махоткин. Анюта, до каких пор?! Третий год душу выматываешь: первый год — «я тебя люблю», второй год — «считай, твоя буду», третий год — «подожди, повремени, сомненье берет», а теперь и вовсе отшиваешь… Что? Председатель заигрывает? Зна-аю! Тогда уж руби сразу. За что мучаешь?

Анюта *(отступая от Махоткина).* А умеешь ты мучиться?

Махоткин *(пытаясь обнять).* Эх, Анюта!..

Чекмарь тихо открывает дверь, выходит в прихожую.

Анюта ***(****увильнув от Махоткина, сталкивается с Чекмарем).* Извиняюсь. *(Смущенно.)* Я — по делу, а он… *(Махоткину, деланно.)* У, зараза!

Чекмарь. Что тебе тут надо, девушка? Может, зайдешь к нам… поболтать о том, о сем?

Махоткин. Полегче, товарищ дорогой… Мы — не из таких…

Чекмарь *(Махоткину).* Шпионишь? Подслушиваешь?

Махоткин. За такие слова к девушке… и ко мне… *(Наступает на Чекмаря.)…*я, Иван Махоткин, могу набить тебе… лицо! Культурненько откомандирую на перевязочку.

Чекмарь, пятясь, идет к Боярову.

Анюта. Тебе сказано что? Легонько попугать — создать у них напряжение в труде. А ты — с кулаками. Ступай, ступай, Иван. *(Выпроваживает его, взяв за плечи.)*

Чекмарь *(раздраженно).* Какой-то Махоткин… Идиот.

Свищ. Знаю — баламошный. Вот и жди ее, смену. И нас затирают, и смены нету.

Чекмарь *(Боярову).* За нами следят — посмотрим-ка вокруг, осторожненько.

Бояров *(Свищу и Лапкину).* Будьте хозяевами. Мы — скоро.

Чекмарь и Бояров уходят.

Лапкин *(переходя в общий номер),* Как вы думаете: ваш Махоткин наших — не того?

Свищ. Этот — может. Огонь! Стукнет по кумполу — и вся тебе ситуация.

Лапкин. Зря наши пошли. Ой, зря. Темь-то какая…

Свищ. Наши мнения совпадают. И акромя всего: разве ж это председатель — девку отбивает у парня? Он должон дух поднимать на щит, а у самого — разложение. И во всех делах он такой. Вот и борюсь: я — на пользу, а он — во вред.

Лапкин. Э, не-ет. Это меня не касается. Да, да. Вы, хоть чуть, представляете, как надо относиться к начальству?

Свищ. А как?

Лапкин. Тогда слушайте. *(Садится против Свища.)* К начальству надо подходить, как к огню: не слишком близко, чтобы не обжечься, и не слишком далеко, чтобы не озябнуть. А вы лезете вплотную. Сгорите, как мотылек у костра: фук! — и нету. Понятно?

Свищ. Непонятно. А если он действует против установок?

Лапкин. Тоже молчать. Соль жизни подчиненного — молчать.

Свищ. Да-а… Вот и попробуй тут, смозгуй.

Входят* Кострова *и* Кислов, *мрачный и недовольный.

Кострова (*внося раскладушку из прихожей, Лапкину.)* Это вам — дочка моя принесла.

Лапкин. Спаси-ибо вам! Глафира Васильевна!

Кострова *(стелет простыню на раскладушку, Свищу).* Людям покой нужен. *(Строго.)* Ну-у!

Свищ. Возьми ее, такую… воспитай в моральном духе. Сил моих нету! *(Уходит.)*

***В прихожую входят* Чекмарь *и* Бояров.**

Бояров *(опасливо).* Только вышли, а он — за нами как тень.

Чекмарь. Да. Махоткина надо опасаться. Пришибить может. Учли? Спокойной ночи…

Бояров. Спокойной ночи. *(Идет в свой номер, раздевается, выключает свет, ложится спать.)*

Чекмарь *(входя, Кислову).* Ну, как: отдохнул на свежем воздухе?

Кислов. Наоборот, устал и расстроился. Побыл на речке, послушал и колхозников. Красавку спустили всю: ров остался и тина.

Чекмарь *(строго).* Что это значит: «спустили»? Речка стала лучше, о чем завтра будет письмо трудящихся. Учли? Я возглавляю комиссию, я и буду руководить. Работать только по плану, а не собирать по селу сплетни. *(Укладывается спать.)* Вы хотите, чтобы я плохо думал о вас?

Кислов. Думайте, как вам угодно. *(Ложится на койку.)*

Лапкин *(Кислову).* Председателю колхоза — крест. Это уж я точно знаю. *(Выключает свет, ложится.)* Ха! Крест. Мало ли их, крестов, на белом свете — каждому не накланяешься.

Кислов *(зло).* Заячья «философия» о крестах? Странно вы думаете.

Лапкин. Я — что? Я — ничего. За меня Аким Карпыч думает: смелый человек! Этот каждому кресту плакать не будет. *(Сладко зевает.)*

Бояров *(встает, включает свет, надежно запирает дверь на ключ, пробует на прочность окна).* А почему именно мне дали одинарный номер? Уж не подвох ли какой?.. *(Ставит перед дверью два стула друг на друга.)*

Затемнение.

Ощущение времени.

Картина вторая

Поздний вечер. Оба номера в полумраке. В прихожей свет. Бояров храпит. Подъехал автомобиль.

***Входят Иванов и* Кострова.**

Кострова. С вечера все поснули. Идите и вы, Леонид Петрович, отдыхайте, ну их к лешему.

Иванов. Что ж, оставим след. *(Пишет в блокнот, повторяя вслух.)* Был, как и обещал по телефону. Прошу извинить, но и завтра весь день у меня занят. С добрым утром. Председатель колхоза Иванов. *(Засовывает листок в щель двери Чекмаря.)*

Кострова. По вашу душу приехали. Плохо. Ой, плохо.

Иванов. Да. Не очень здорово. Даже совсем не очень… Глафира Васильевна, что-то я сегодня не вижу Анюту? Не заболела ли?

Кострова. Вроде бы нет… Она и сюда приходила.

Иванов. Приходила?

Кострова. Была. Не пойму, что с девкой творится: какая-то она не такая стала. А тут еще Ванятка Махоткин никак не отлипнет — не знаю, что и думать.

Иванов. Махоткин? Все еще волочится?.. Смешно. *(Идет к двери.)* Да! Вы и ночь будете здесь?

Кострова. А как же? Постояльцы новые — мало ли чего…

Иванов *(соображая).* Кто тут рядом?.. *(Костровой.)*Вот что: заскочу к Тарасу Палычу — пришлю, пусть подежурит, посторожит. А вы — спать. Спать.

Кострова. Спасибо, Леонид Петрович. Что же передать?

Иванов. Кому?

Кострова. Как это — «кому»? Анюте.

Иванов. Что ж… привет… и спокойной ночи. *(Уходит.)*

Кострова. Опять «привет». А девке двадцать один — институт скоро кончает… Да что же это делается? Человеку за тридцать, и все не женится. Надо же! Не дай бог, выскочит Анютка за Махоткина… С ума сойти. Греха-то! Тут еще эти — снимать приехали. ***(****Грозит в дверь постояльцев).* У-у-у!

Входит Кузин с базарной корзиной.

Кузин. Никак расстроилась?

Кострова. Ох, Кузьмич, все не ладно.

Кузин. А ты охолони, охолони.

Кострова. Чего это у тебя в корзинке-то?

Кузин *(передавая корзину).* Медку тут пара килограммчиков…

Кострова. Греха-то! Эдак ты и кладовую растранжиришь.

Кузин. Ну уж… Чем же мне тебя и порадовать?

Кострова. Давно мы с тобой, Кузьмич, не встречались… вот так-то.

Кузин. Живем как воры.

Кострова. И чем мы виноваты? Чем хуже других? А вот видишь…

Кузин. Выход искать надо. Решать надо, Глафира.

Кострова *(раздражаясь).* Чего решать-то? Чего решать? Он вот ушел и — привет Анюте. Что я, спятила? Дочь на выданье, а мать нового папу привела. Пока она не выйдет замуж — разговора никакого.

Кузин. Ну уж… и никакого?

Кострова. Иди, иди, чтоб глаза мои не видали.

Кузин. Опять не в срок. Ну, что с тобой делать, Глафира? *(Уходит.)*

Кострова *(одна).* Прогнала Кузьмича… *(Чуть не плачет.)*…А за что? Вот уж грех-то…

Входит Анюта.

…Ты чего?

Анюта. Побуду за вас. *(Гладит голову.)* Вы устали. А я тут и подумаю. Есть идея!

Кострова. Ох, Анюта, когда у тебя никаких идеев, ты золотая девушка, а как только…

Анюта *(перебивая).* Ничего страшного, пока только проблески мысли.

Кострова. Ох, уж эти мне проблески… Пойдем. Сейчас Тарас Палыч придет.

Анюта. Тарас Палыч?.. *(Чуть подумав.)* Вы идите спать, а я с ним посижу, ума наберусь.

Кострова. Ну, ты недолго. Поздно ведь. Ох-хо-хо! Малые дети — малые заботы, большие дети — большие заботы. *(Уходит.)*

Входит Силков.

Силков. Сторонних попрошу!

Анюта. Тарас Палыч, сам бог вас послал!

Силков. Не бог, а председатель. Топай, топай, ночь на дворе. Меня приставили сюда, я за все и отвечаю.

Анюта. Тарас Палыч, давайте вместе отвечать. И какая же я — «сторонняя», если я — дочь своей матери?

Силков. Ишь ты!.. За что это мне с тобой отвечать?

Анюта. За все на свете мы в ответе. Снимают ведь Леонида Петровича — спасать надо.

Силков. И снимут. Точно знаю. Проголосуем помаленьку. Было же? Было. Я, девка, за двенадцать председателей голосовал:

двенадцать раз «за», а двенадцать — «против». Чем поможешь? Ничем.

Анюта. От вас же слышала: и комар корову свалит, если волк поможет.

Силков. А где ты его возьмешь, волка? Вот она какая, дела. Любая корова языком слижет тебя, комарика… А чего ты хотела-то?

Анюта. Подумать с вами, посоветоваться.

Силков. В старину-то как делали? Видит народ — хорошего человека спасать надо, и подсунут на допрос его друзей заместо врагов…

Анюта. Тарас Палыч, вы — мудрец!

Силков. Ну, пойдешь, бывало, к следователю, ну, скажешь ненароком: мол, так и так — такие-то такому-то — неприятели, а назовешь друзей. И пошла писать! Бьется, бьется следователь, да и уедет.

Анюта. А не вспомнить ли былое?

Силков. То есть как?.. Не-ет, меня уволь — не те года.

Анюта. А если я сама?

Силков. У тебя не получится. Дело — не женское. Такое делалось, говорю, ненароком, вроде бы случайно. И людей называть — с умом… чтобы не влипнуть.

Анюта. Тряхну-ка и я стариной!.. Устроим так: я посижу за вас, а вы на крыльце побудьте. Вы — в стороне.

Силков. Ишь ты!.. Надумала?.. Коли так, посижу там. За Леонида Петровича можно. *(Уходит.)*

Анюта *(что-то быстро пишет на бумажке у телефона, тихо открывает дверь в общий номер, возвращается, берет трубку и громко).* Да-да, записала!.. Товарищ Скирда!.. Да… Да… Да… Так… Так…

Чекмарь и Лапкин вскочили, Кислов проснулся. Чекмарь включает свет, прислушивается. Бояров у себя волнуется в постели.

…Товарищ Скирда! А может, сейчас разбудить? Или передать утром?

Чекмарь *(выскакивает в прихожую).* Дай трубку! Анюта. Он уже положил. *(Кладет трубку.)*

Чекмарь. Почему не разбудила?

Анюта. Не велел. Сказал: забота о людях. Чекмарь. Что он передал?

Анюта. *Вот… (Передает листок.)*

Чекмарь *(читает).* Телефонограмма. Рекомендую при опросах побеседовать со следующими товарищами: Кузин Антон Кузьмич — кладовщик и Силков Тарас Палыч — колхозник-трудовик, весной был прицепщиком на сеялке. Положите их показания в основу материала. Скирда. Приняла Анна Кострова. *(Анюте.)* А ну, зайди. *(Входят в общий номер.)* Ты — кто?

Анюта. Как — «кто»? Анна Кострова. За мать дежурю. Жду охрану. Это я и прогнала Махоткина.

Чекмарь. А-а… А я-то думал… Ну-ка, расскажи все по порядку.

Анюта. Ну, спросил он: что они там делают? Говорю: все спят, устали. Ну, он, слышно, стукнул кулаком по столу: черт знает, что такое! Если они устали, черт возьми, то что же подумать обо мне? Я им что — железный?!

Лапкин. Так и сказал?!

Кислов. Стиль его.

Чекмарь. Эх, ты! Не могла сказать: «работают». И тут же толкнула бы меня…

Анюта. Как же это я, девушка, «толкнула бы» вас, сонного? Окосеть можно!

Лапкин. Конечно, конечно.

Кислов. А ты ему — чего?

Анюта. Спрашиваю: разбудить? Он отвечает: не такой я человек, чтобы подчиненный руксостав среднего звена поднимать ночью в подштанниках. Запиши-ка лучше телефонограммочку… Я и записала.

Чекмарь. Так-с… Все ясно.

Кислов. А как он сказал напоследок? Как попрощался?

Анюта. Дайте вспомнить… Ага! Говорит, толковая девка. Отмечу, отмечу.

Чекмарь. Эх ты, Анна Кострова! Жизненного опыта у тебя — с гулькин нос. Плоховато соображаешь.

Анюта. И меня поймите: малость испугалась. Я же — не мужчина. Вам, мужчинам, хорошо — вы храбрые.

Лапкин. Еще бы да не испугаться!

Анюта. Как могла… *(Выходит в прихожую.)*

Чекмарь *(ложась).* Итак, Силков Тарас и Кузин Антон…

Кислов. Святители Тарасий и Антоний, молите бога о нас.

Чекмарь. Не до шуток. Вызывать их. Опора.

Кислов. Даже колхозников в лицо знает. *(Встает, выключает свет, ложится.)*

Входит Силков.

Силков. Управилась? *(Садится на стул.)*

Анюта. Порядочек. Завтра расскажу. *(Уходит.)*

Короткая пауза. Тихо. Бояров храпит.

Лапкин. Пить хочу. *(Выходит в прихожую.)* Колбасы налупились — на воду тянет. *(Пьет воду, задумался с кружкой в руках, и с завистью.)* Кто же это они за такие, что Скирда их так ценит, — Кузин и Силков?

Силков подпрыгнул на стуле.

…*(Резко обернувшись.)* А вы что тут делаете?

Силков. Сижу. Охрана.

Лапкин. А почему вы, лично, подпрыгнули на стуле?

Силков. Клоп, должно быть. Кто бы ни кусал, мое дело — подпрыгивать.

Лапкин. Колхозник?

Силков. Так точно.

Лапкин. Небось — по базарам?

Силков. Так точно.

Лапкин. А кто будет работать?

Силков. Не знаю. В иные года шефы копали картошку. Может, и опять пришлют. Не знаю.

Лапкин. То-то и оно. *(Поучительно.)* Рабочий класс и крестьянство идут рядом — нельзя отставать, работать надо. Работать! *(Идет в номер и вновь укладывается спать.)* Работать…

Кислов *(встает, тихо идет в прихожую).* А где эта девушка?

Силков. Я сменил. До утра буду.

Кислов. Тоже будешь принимать телефонограмму?

Силков. Какую такую телефонограмму?

Кислов. Девушка приняла. И передала Чекмарю.

Силков. Да ну-у?! Ох, ты…

Кислов. Пугливый ты, папаша. Дедушка, бывало, скажет: доброму гостю — блин в горсть, а иному гостю — голую кость, да и то

жалко.

Силков. Лучше, чем в библии. Ваш дедушка — архиерей был или кто?

Кислов. Хватай выше: святые лапти носил, за райской сохой ходил, ковырял землю грешную, а ел лебеду пресную.

Силков. Умственный был дедушка, если внук такой. А мой папашка так жил: детей плодил, податей не платил, своя соха отдыхала, а чужая пахала.

Кислов. Батрачил… Так что мы — родня отчасти, через одно поколение.

Силков. Похоже так: двоюродные подпорки троюродному плетню.

Кислов. Как звать-то?

Силков. Тарас Палыч. А вас как кличут?

Кислов. Петр Андреич… Скажи ты этой девчурке, Тарас Палыч, что Скирда прощается всегда так: «Бывай. Бывай, дорогая! Вот так»… Ну, ночуй хорошо. *(Идет в номер, ложится спать.)*

Силков *(один).* Влипли!.. Ох-хо-хо! И молодежь пошла! Мы-то, бывало, по молодости-то, что? Ну, курей парочку, на вечерки, — обнаковенное дело, — и девчата помогут. А теперь культуура! Телефонограммочку — чик-чик! — и будь здоров… Высшее образование — куда та-ам! А получается одна грусть…

На улице баян — мотив «Осенние листья».

…Даже гармонья, тогда была ма-аленькая, тальяночка, а теперь — бая-ян! Во! *(Растягивает воображаемый баян и тихо поет.)*

Осенние листья шумят и шумят в саду,
Знакомой тропою я рядом с тобой иду…

Эх, укатила молодость. Жизнь иная — песни иные… Ведь это сейчас я такой степенный, а тогда бы-ыл… *(Спохватившись, строго.)* Но, Анютка! Ужо-тко я тебе, так насмехнусь! Я те покажу!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Часть площади центрального участка колхоза и небольшого парка — кусты сирени, несколько деревьев, садовая скамейка. Воскресенье. Утро. Тишина. Анюта сидит на скамейке.

Анюта. А какие облака! И небо — синее, синее… Ух ты, сколько неба! В городе его намно-ого меньше… Оно там закрыто кирпичами, там небо без горизонта… Небо, закрытое камнем… А тут…

Входит понуро Махоткин.

…Откуда ты, «прелестное дитё»?

Махоткин. Все шутишь? А у меня… *(Дергает ворот рубашки так, что отскочила пуговица.)*

Анюта. Ой, Ваня! Пуговка лопнула. Неси иголку, пришью.

Махоткин. Смеешься?.. *(Приближается к ней.)* Анюта… *(Рывком берет за плечи.)* Дай, хоть последний раз поцелую!

Анюта *(вырываясь).* Уйди! Очумел! Среди бела дня…

Махоткин. Нежная моя! *(Силой обнимает и целует.)*

***Входит* Иванов.**

Анюта *(вырвавшись, влепила пощечину).* На, тебе «нежную»! *(Убегает.)*

Махоткин *(не видя Иванова).* Пришила пуговку. Все! Махоткин напивается и уезжает из колхоза. *(Идет, опустив голову, натыкается на Иванова.)* Леонид Петрович?

Иванов. Что с тобой, бедовая головушка?

Махоткин. Видали?

Иванов. Ничего не видел, никому не скажу. Присядь-ка. *(Садится на скамейку.)* Зачем же напиваться хочешь?

Махоткин. С горя.

Иванов. С горя пить — горя не убить, с радости пить — радость загубить. Да ты меня слышишь?

Махоткин. Что надо, слышу, что не надо, не слышу.

Иванов. Не любят девчата — кто ничего не делает. Вот ведь какая петрушка получается.

Махоткин. Не слышу. *(Короткая пауза.)* А я, по-вашему, ничего не делаю?

Иванов. Конечно. Ты покажи себя — все будут любить.

Махоткин. Скушно все это слушать!

Иванов. Молодой парень, а жить — не живешь, существуешь, по спирали вниз. До чего дошел: трактор бросил, тра-актор!

Махоткин. Не слышу… Терпеть не могу, когда воспитывают. Вас же скоро снимут, а вы — мора-аль!

Иванов. Спасибо за откровенность… Но… не за ту вожжу тянешь, Иван, — вот и едешь кругалем, на одном месте. Потому у тебя и идет все чертокопытом. А так — малый вроде бы…

Махоткин *(иронически).* За человека считаете… *(Горячо.)* Вы бы лучше подумали, как у вас под носом Красавку загубили. Жизни нас лишили! Огороды высохли, на нижней улице воды в колодцах не стало. Почему молчали, когда речку корежили?

Иванов. А может, не молчал. Эка, ты какой…

Махоткин. Такой… А меня вы не агитируйте — мне не до того. *(Вскакивает.)* Анюту отбить хотите? Не отдам!

Иванов *(решительно встает).* Насильно мил не будешь.

Махоткин. Вам — игрушки. А я — либо с нею, либо — навечно холостой. Беды натворю, а не отдам! *(Уходит.)*

Иванов. Не грозись — не испугаешь. *(Один.)* И чего он к ней лезет? Чудак. Не по Сеньке шапка. *(Садится, задумался.)* Кажется, доживаю последние дни в колхозе. Что-то и я все-таки сделал… А сколько бы еще мог?..

Входит Миша с баяном через плечо.

Миша *(подсаживаясь).* Трудно, Леонид Петрович?

Иванов. Злой я сейчас. Главное: за что под зад коленом?

Миша. Через Скирду хотел перепрыгнуть. А товарищ Скирда, он… не знаю, как и сказать…

Иванов. Я знаю: обещает одно, делает другое. Огромной воли человек. Если уж он дал обещание, то никакая сила в мире не заставит его выполнить это обещание. Не человек — крепость!

Миша. А я думаю, главное тут — доморощенный Свищ.

Иванов. Не доморощенный, а выращенный. Всю душу вымотал жалобами. Так-таки достиг, ужак чертов! Пятая комиссия — теперь областная…

Миша. Леонид Петрович, а что, если мы… сами что-то придумаем, такое… этакое?..

Входит Кузин с папкой под мышкой.

Иванов *(Мише строго).* Ты смотри у меня! Я тебе — «придумаю», не рад будешь.

Кузин. Человеку дыхнуть некогда, а тут еще вас воспитывай. И в работе колхоза: ты — на гору, а черт — за ногу.

Недалеко поют девушки — лирический мотив.

Миша. Меня ищут: моя Поля и Анюта… чья — неизвестно, недоступная.

Кузин. И озорная.

Миша *(Иванову, подмигивая).* А девушка — во!

Входят Поля и Анюта.

Иванов ***(****иронически).* Что-то вы ноете, как старцы? Поглядеть-то, артисты!

Анюта. С издевочкой? Как бы тем же не обернулось.

Кузин. Куда им! Вот в наше время, бывало… Поля. Без подковырок, Антон Кузьмич. В ваше время — мякины беремя и то на базар.

Кузин *(махнул рукой).* Лучше не связываться. Миша. А почему бы и не артисты? *(Девушкам.)* А ну, оправдаем доверие! Еще одна репетиция. *(Иванову и Кузину тоном конферансье.)* «Чудеса»! Слова Ивана Махоткина, музыка… моя!

Под баян Миши поют:

Поля.

А-чи-чи! А-чи-чи!
Скопом едут толкачи.
Не поверят, не доверят.

Анюта.

С карандашиком проверят:
Как на ферме у Луки
Отелились гусаки;
Коровы пасутся,
Яйцами несутся;
Подоили индюка —

Двадцать литров молока!

Миша.

А потом статью в газету:
«Жизнь идет как в небесах —
На ветле растут котлеты,
А на просе — колбаса».

Все.

Просто, братцы, чудеса!
Пропадай моя телега,
Все четыре колеса!

Анюта.

Мы гостиницу построим
На двенадцать номеров.
Толкачей когда не будет,
Разместим туда коров.

Миша.

Просто, братцы, чудеса!
Пропадай моя телега,
Все четыре колеса!

Поля.

Как в колхозной кладовой
Мед, и сало, и пшено
Тают летом и зимой.

Так по плану решено:

Анюта.

На утечку, на усушку,
И на кошку, и на мышку.
Хоть ты пой, хоть не пой —
Все-коле-четыре-са!

Все.

Просто, братцы, чудеса!

Миша.

Про-теле-моя-подага
Все-коле-четыре-са!
Про-теле-моя-подага
Все-коле-четыре-са!

Кузин. Ну, ну, вы! У меня — инструкция: без ордера — ни грамма. Ишь ты! (*Раздраженно.)* Тоже мне — «Чудеса-а»! *(Иванову.)* Засяду дома на весь день — приход-расход по кладовой подобью. Не ровен час, и меня начнут проверять… комиссия-то.

Анюта. Вот вы уж и обиделись. Не про вас же — про инструкцию.

Входит Махоткин.

Кузин *(Махоткину).* Туда же… стихоплет. Мыслишь идеологически неправильно. *(Уходит.)*

Махоткин *(Мише мрачно).* Зачем вернул?

Миша. Девчата на луг зовут.

Иванов. Думалось, частушечки-глупышечки, а ты, Иван… ковырнул, дай боже!

Махоткин ***(****так же мрачно).* Отвечаю вам и Кузину, заодно:

От смеха дверь нельзя закрыть.
Ведь в положении таком
У смеха есть иная прыть —
Он в щель пролезет сквозняком.

Анюта. А за это тебе, Ванек, — держи! *(Подает руку.)*

Махоткин *(не выпуская руки).* А ты думала — как? *(Укоризненно.)* Эх, ты! Тоже мне — «прелестное дитё»… У меня три тетради такого…

Иванов *(помрачнев, тревожно смотрит на Махоткина и Анюту, потом на часы).* Через час к Чекмарю — вызывает письменно. *(Спохватившись.)* Портфелишко забыл на ферме. *(Встает, собираясь уходить.)* Кажется, мне тут больше нечего делать.

Миша. Сидите, Леонид Петрович. Я сбегаю. Сидите.

Поля *(посматривая то на Анюту, то на Иванова).* Пошли-ка, Мишутка, пошли.

Миша. Пошли, Иван?

Махоткин *(Анюте).* А на луг? *(Мише.)* Звали же, говоришь?

Миша. Позвали да забыли. Эх! Изменчиво женское сердце. *(Отводит Махоткина.)* Так что, считай, Анюта подалась на твою сторону совсем.

Махоткин. Ничего ты не знаешь.

Миша. А что?

Махоткин *(бьет себя по щеке).* Вот что.

Миша. Да ну? Тогда дело — табак. И как же теперь?

Махоткин. Смоюсь из колхоза. Больше ничего меня тут не держит.

Миша *(сердито, громко).* Брось ты, Ванька, выкаблучивать! Надоело. Бери-ка трактор обратно, а то я из-за тебя по две смены вкалываю. Друг, тоже! Лопнет терпение — гусеничным стащу ваш сараишко под кручу, будешь с дедом собирать по бревнышку.

Махоткин. Та-ащи. Ничего мне не надо. Ничего не хочу!..

Иванов подходит к Анюте.

(Иванову.) Хоть избу — под кручу, не возьму трактор!

Миша. Но-о, завелся с пол-оборота. Глуши пускач.

Иванов *(Махоткину).* Ты думаешь — что болтаешь?

Махоткин. Председатель пусть думает. А я и без думок оставлю вам отчий дом… под детясли имени Махоткина. Вам только крышу новую поставить да стены заменить. А я…

Поля *(Махоткину).* Понесло по кочкам — кузов развалится. Полюбуйтесь: человек кончил десятилетку! Образо-ованный какой!

Махоткин. А я ежегодно, к Первомаю, буду присылать вашим деткам приветик из Кировской области. Лес там глухой. На медвежьих шкурах спать буду и радоваться успехам родного и любимого колхоза с речкой без воды.

Миша. Прикрой пробку!

Махоткин. И буду я тосковать о доске почета, где ты, Мишка, висишь со своей любимой Полей второй год и никак не женишься.

Миша. Тормози, Иван! А то такую смазку сотворю — на неделю на ремонт станешь… *(Подносит кулак к лицу.)*

Поля *(отводит руку Миши).* Ну, ты мне еще!

Махоткин. Мишка, друг! Какой ты сознательный пахарь, культурный, как медведь, вежливый и нежный, как лемех. Да тут от одного того, что речку слопали, можно сбежать на Северный полюс! Только бы не видать беды этой… Ведь каждый, и стар и мал, думает про себя: за что нас так наказали? Соображаешь? Эх, Миша, Миша! *(Иванову и Анюте.)* Привет с медвежьих шкур!

Поля, Миша и Махоткин уходят.

Иванов. Ну, что с ним делать? Был парень как парень, и вдруг, за несколько месяцев… ни с того, ни с сего…

Анюта. И вы всегда были веселым, а теперь частенько… какой-то, ну… Вот и сейчас…

Иванов. Кислый? Бывает. Не железный. Тебя это тревожит?

Анюта. Все к вам — с таким уважением…

Иванов. Кое-кто уважает прямо в лоб!

Анюта. То — отдельные… единицы. Но Иван… просто он… *(Вздыхает.)* непонятный какой-то. Стихи ведь пишет, работал хорошо, а вот — расхулиганился, развинтился… В милицию водили…

Иванов. Непонятный?.. Интересно.

Пауза.

Анюта. Леонид Петрович, а что, если колхозники не дадут вас снять?

Иванов. Что это у тебя глаза стали — хитрючие и озорнючие?… «Не дадут снять…» А если кота в мешке привезут, куда его девать? И местный я, вот в чем еще закавыка. Да и с начальством…

Анюта. Колючий… Куда вам ехать? Мать старая. Один. Свой дом.

Иванов *(берет ее ладони).* Не хочется уезжать. Но скулить давай не будем. Лучше я тебе — сказку: а навстречу Красной Шапочке — волк! И говорит: я тебя съем! *(Пытается обнять.)*

Анюта *(оглядываясь по сторонам).* Не надо. На улице же! Не надо. *(Нечаянное неосторожное движение рукой назад.)*

Иванов *(отпрянув).* И мне хочешь, как Махоткину?

Анюта. Аль видели? Девчонку испугались. *(Сквозь смех.)* Вот бы — номер! Председателя колхоза — по щекам…

Иванов *(обнимает Анюту рукой за плечи).* Ну так — как же?

Анюта. План сева еще не составила.

Иванов. А мы без плана: на «Волгу» и — в загс.

Анюта. Ничего я не знаю.

Иванов *(решительно).* Ну, так я знаю. Не могу без тебя. *(Обнимает.)*

Анюта *(отстраняясь).* Сейчас придет Миша… Я пойду. *(Идет, обернулась.)* Вы, Леонид Петрович…

Входит **Миша.**

…я потом скажу. *(Уходит.)*

Миша *(передавая портфель и заметив воодушевление Иванова).* Хотите, я вам — стишок про жизнь? *(Декламирует.)*

Сидит мальчишка у пруда,
Девчонку обнимает.
Вот это — жизнь! Вот это — да!
Вот это я понимаю!

Иванов *(мрачнея).* Опять Махоткин?

Миша. Не-ет. Из города готовенькое привезли.

Иванов. Эх, не ко времени мне сейчас — к Чекмарю. На луг бы, Миша, на луг. Но… поле, люди, жалобы, комиссии, ревизии… стройматериалы… поле, фермы, люди, машины, машины и люди — и так день и ночь. Кто-то должен жить и так. *(Идет к выходу.)*

Миша. Леонид Петрович, ну, а если мы соберем человек двадцать, да коллективно — письмо о вас в область?

Иванов. Коллективку? Не поможет — ребячество. Мне же еще и добавят мыла. Я сделал все, что мог: сам все написал и сам все рассказал.

Миша. И так — нельзя, и так — нельзя. Значит, сложить нам ручки христосиками и помалкивать? А если я лично не такой уж идейный, чтобы стерпеть и смолчать?

Иванов. *(отмахнувшись).* Больше мне об этом ни слова. Сам знаю, что мне делать. *(Грозит пальцем.)* Ох, Мишка! *(Уходит.)*

Миша. А не сказать ли ему про Анютину телефонограмму?.. Нет, не надо. Но думать будем дружно. *(Смотрит за сцену, пятится.)* Еще номер! А ну-ка, я Анюту кликну — самый момент. *(Быстро уходит.)*

Входят Кузин и Кострова.

Кузин. А вдруг Анютка-то — на дыбы, — знаешь ведь, какая она. Сраму не оберешься: дочь выгнала жениха. Тебе с ней и говорить — потихоньку, исподволь.

Кострова. Ни за что! Хоть она и не помнит отца, но — не буду. Совестно.

Кузин. Тогда выхода нам нету… И Леониду Петровичу, до свадьбы ли ему, когда сам на волоске?.. Ты смотри, как все сложилось!

Кострова. То-то и оно… Горе ты мое, Кузьмич. *(Легонько гладит его щеку.)* Греха-то!

Кузин. Что придумать? Не знаю. *(Неловко целует в голову.)*

***Входит* Анюта.**

Анюта. Приход-расход не сошелся дома? Или чего забыли?

Кузин. Забыл. Счеты забыл — иду в кладовую.

Анюта. У вас же они и дома есть.

Кузин. Есть… У тех шашка одна западает, костка.

Кострова *(смущенно).* Пойдем, Анюта, завтракать.

Анюта. Идите, мама, я догоню…

Кострова уходит.

…*(Тепло.)* Антон Кузьмич…

Кузин. А?

Анюта. Или вы думаете, я вас не уважаю?

Кузин. Ты… к чему?

Анюта. Ведь все село знает!

Кузин *(растерянно).* Быть того не может…

Анюта *(решительно).* Поздравляю вас, папаша, с законным браком! *(Обнимает, целует.)*

Кузин ***(растроганно).*** Камень с души сняла… Я-то думал, дурак…

Анюта. Обожаю самокритику!.. И мне семафор открыт: так и загудит замуж ваша взрослая дочь! Две свадьбы: папа с мамой, а дочь… С кем?

Кузин *(довольно).* С председателем.

Анюта. Это ваше желание, папаша? Но пока об этом…

Кузин. Не до смеху нам, Анюта. С каким председателем расстаемся! Только-только колхоз стал на ноги и — на тебе.

Анюта. А вы приходите вечером к Тарасу Палычу — подумаем.

Кузин *(настороженно).* Что там еще за новости?

Анюта. Совещание отцов и детей на высоком уровне.

Кузин. А кто будет?

Анюта. Миша, Поля, Иван, я, ну и Тарас Палыч. Приходите. Я вам там про телефо-он расскажу, по секрету. Теперь мы — родня: все можно говорить.

Кузин. Тарас… Тарас-то, он и в юности был с куролесинкой. Бывало, сунет соседского гуся в мешок и — под кошелку его, в сарай. Баба все село обходит: «Гу-усенька, гу-усенька. Съели мово гусеньку, разворуй!» А он зайдет к ней и молвит, вроде бы ничего не знает: «А у нас чужой гу-усь живет под кошелкой». Так она ему еще и самогоночки — стаканчик, еще и почки поджарит. Любил почки Тарас.

Анюта. То было давно, но… интересно!.. Ну, так — как же: придете?

Кузин. Что ж теперь? Раз уж родня — приду.

Анюта. И будет наша жизнь протекать по закону: дочь за отца не отвечает, а отец за дочь — да. Сразу мне и облегчение.

Кузин *(ворчливо).* Ну, иди, иди. Мать ждет… Ох, и язычок у тебя!

Анюта. А вам — лишняя нагрузка. Чует мое сердце — прибавится вам от меня беспокойства. *(Уходит.)*

Кузин. Вот и у меня на душе поблажело. *(Спохватившись.)* Постой, постой… Про какой телефон — по секрету? Ой, они уж чего-то наворочали! А кому расхлебывать? Нам: нету воспитательной работы с молодежью. *(Расходился.)* Ужо-тко будет им, как куцему на

перелазе! Я пойду к ним, но только захвачу чересседельник! И без всякого партбюро, втихаря, вдоль говядины: нате вам, нате! — то по отцам, то по детям!.. *(Подумав.)* Нет. Чересседельником нельзя: подход неправильный, непартийный подход. Да ведь и девчата там… Эка, куда я свернул с линии. Но я им! Я им зада-ам! И на родство не посмотрю!

Занавес.

Картина четвертая

Дом для приезжих. Окно в общем номере открыто. За столом, заваленным бумагами, сидит хмурый Чекмарь. Торопливо укладывает в чемодане Кислов. Медленно и важно ходит взад-вперед Бояров. Перебирает свои жалобы **Свищ,** ***стоя. Все в напряжении.***

Свищ. А может, речка вовсе нам и не нужна? Бывало, в воскресенье выгоняешь на работу, а они — с удочками, полный берег, по окуням. Она дисциплине мешает, речка. Она влияет роль на производительность.

Кислов *(Свищу).* Если вам дадут указание вспахать все улицы села на метровую глубину и так оставить навечно, вы выполните «план»?

Свищ. Согласно указаний — все правильно: может, на той глубине вредность какая найдена.

Кислов *(Чекмарю).* Вот так вы и с речкой: понизили уровень воды на два с половиной метра, удушили Красавку, иссушили пойму. А теперь не желаете огласки, заметаете сор в темный угол, боитесь за свою шкуру.

Чекмарь. Прекратите!.. А еще мелиора-атор!

Кислов. Люблю свою профессию. Кстати, знаю и разницу между «осушить» и «иссушить».

Чекмарь. Ничего вы еще не знаете!

Свищ. Я считаю, это — недоразвитость.

Кислов. А вокруг сухая степь, где каждая капля воды дорога в почве и в воздухе, где черные бури уже иногда закрывают небо и над черноземным краем… Черные бури — зловещий гость грядущей пустыни. Черные бури — предвестник наказания за вековое бездумное

«наступление» на природу… Плотины тут ставить, а не спускать воду в море. И орошать!.. Я против «установки» защищать проект во что бы то ни стало. Нечестно так! Не буду. *(Что-то вспоминает.)* «Исчезают безвозвратно чудные пейзажи… Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее»…

Чекмарь. Какой статистикой докажете? Вредные слова. Стыдитесь!

Кислов. Слова Астрова. «Дядя Ваня» Чехова.

Свищ. А вашему дяде Ване, думаете, не влетит? Честные люди найдутся! Вот только вырезку найду и — приспособлю.

Бояров *(Кислову значительно).* Вы… с Ивановым разговаривали?

Кислов *(резко).* Ну и что? Разговаривал не раз. Иванов прав;—я буду его защищать. Вам-то что?

Бояров. Грубо и недостойно культурного человека. Эх, вы! *(Возвышенно.)* Человек должен быть лучше!.. Так-то. Зарубите на носу, молодой человек.

Кислов. Да, должен быть. А он? Разрушает природу всеми грозными средствами и кричит: «Человек должен быть лучше! Держи вора! У-лю-лю!» Не хочу так. То, что сварганили тут с речкой, это отрыжка того времени, когда корова была важнее человека. Впрочем, тут и коровам сделали плохо.

Чекмарь. Та-ак… На мне ответственность за ход дела — обязан в докладной изложить о вас все. Кума с воза, а кума «на ковер», свечкой! Можете быть свободны.

Кислов *(берет чемоданчик).* Но совести своей вам не отдам. *(Выходит в прихожую, задумался.)*

Бояров. Помолчим. Успокоимся. Подумаем.

Немая сцена: все втроем думают.

Входит Анюта.

Анюта *(Кислову).* Спасибо вам, Петр Андреич! Я все слышала из палисадника — никогда не забуду.

Кислов. Будем друзьями.

Анюта *(подает руку).* Будем друзьями… Вас ждет Леонид Петрович. Очень важно. Пошли. *(Берет его под руку. Уходят.)*

Бояров *(решительно).* Начнем. *(Свищу.)* Во-первых, удаляйтесь! Пока не позовем, не появляться. Вы — тень!

Свищ. Я — тень! Понятно! Раз уж я не должон знать, то я ничего не должон знать. Вот оно: дисциплина! *(Уходит.)*

Чекмарь. Во-вторых, исправим мою ошибку. Сначала вызывать Силкова и Кузина согласно телефонограммы, а потом уж Иванова.

Бояров. Но вы же его вызвали.

Чекмарь. Ну и что ж? О том, о сем и — привет. Припрем к стенке готовым материалом потом.

Бояров. Не возражаю. Вы — председатель комиссии, за вами и первое слово. Я — не Кислов.

Входит Иванов.

Иванов *(здороваясь).* Иванов.

Бояров *(подавая руку).* Бояров, специалист-кормовик, заведующий филиалом института.

Иванов. Очень приятно, очень.

Чекмарь. А кто — я, вы догадались: Чекмарь.

Иванов *(пожимая руку).* Чрезвычайно приятно познакомиться. *(Садится.)*

Пауза.

Бояров. М-мда-а… Ну, как жизнь?

Иванов. Идет.

Бояров. Прогрессируем?

Иванов. Обязательно.

Бояров. И в чем это выражается, конкретно?

Иванов *(тоном отчета на очередном совещании, не похоже на себя).* В колхозе нет уже ни одной хаты под соломой, кроме как у Махоткина. Фермы рентабельны, хотя в половине колхозов района убыточны. И кроме того, товарищи, за двадцать четыре рабочих дня этого месяца — тридцать совещаний и мероприятий: по сравнению с прошлым годом, за тот же месяц, на семь совещаний больше. Прибавьте три комиссии. Прогрессируем! Все председатели колхозов с высшим образованием, и потому на каждом совещании их убеждают неустанно: удобрения — хорошо для урожая, сеять надо вовремя, убирать без потерь, осушать и там, где сухо, и не трогать кукурузу, даже если всходы получились от будыля до будыля на четыре кобеля. Пропади земля, но сор из избы не вынесем! Таково положение за отчетный период.

Бояров. Это вы — через кра-ай… Как это — «кобеля»?

Чекмарь. Да-а… Лишнее на себя берете. Надломиться можете.

Иванов. Сколько унесу, столько и беру… Когда же созвать собрание колхозников?

Чекмарь. Позво-ольте! Вопросы комиссии не подлежат обсуждению на собраниях. Колхозники — не специалисты. А мы рассматриваем вопросы специальные, технические.

Бояров. В комплексе.

Чекмарь. Заседание правления — пожалуйста: информируем о выводах. А технические вопросы, извините, по материалам комиссии решат там… *(Пальцем вверх.)*

Бояров. Не можем мы по таким частностям, как речка и кукуруза, устраивать плебисциты, референдумы. Вы меня понимаете?

Иванов. Отли-ично! Но речка — не частность, а жизнь для колхозников. И для меня она — не частность, я на ней вырос… Собрания боитесь, а Свища слушаете. Моя бы воля, давил бы я таких, как вредных гусениц.

Бояров. Вы забываете о демократии, товарищ Иванов. О демократии!

Чекмарь *(Иванову).* Напрасно волнуетесь заранее. Что от меня лично — постараюсь. Но, к сожалению, мы не всегда в силах переступить законность. У нас — соответствующие, знаете ли, инструкции.

Иванов *(иронически).* Извини-ите. А если инструкция окажется среди лужи? Вы что: так и пойдете прямо? И втопчете ее в грязь? Конечно, нет. Надо обойти лужу, приблизиться осторожненько к краю, где посуше и поближе, взять инструкцию за уголок, вытащить ее, отряхнуть и — в карман! И законность соблюдена, и инструкция цела, и ноги сухие… Итак, я готов отвечать на ваши вопросы.

Чекмарь. Пока вопросов больше нет. Это мы — для выяснения вашей, так сказать, позиции. Ваша линия нам стала ясной. Для начала этого достаточно.

Иванов. И ваша «линия» для меня ясна. Благодарю вас… Очень приятно для начала, очень. Желаю успеха. *(Уходит.)*

Бояров. Игриво… игриво ведет беседу. Судя по тону, он что-то задумал против нас.

Чекмарь. Сейчас же, немедленно, вызвать Силкова и Кузина, пока он не принял к ним мер. Более срочного дела не знаю, дороги

минуты. *(Открывает дверь.)* Товарищ заведующая!..

Входит Кострова.

…Надо послать кого-нибудь за некоторыми товарищами.

Кострова. Найду… из ребят. *(Уходит.)*

Чекмарь. Из ребят даже лучше: без вопросов и рассуждений…

Короткая пауза.

…Попали мы с вами в колхозик. Да-а…

Бояров. Попали…

Чекмарь. Будем начеку, Аким Карпович: все должно быть в строжайшем секрете. Даже Свищ ничего не должен знать о телефонограмме.

Бояров. Насчет секрета вы правы: мудрый человек никогда не ест лишнего, не пьет лишнего, не спит лишнего и не говорит лишнего.

Входит Анюта.

Анюта *(по-строевому).* По вашему приказанию рассыльный явился!

Чекмарь. О! Анна Кострова. Это — уже надежно. Срочно вызови Силкова и Кузина… Постой. Ты никому — о телефонограмме?

Анюта. Р-рыба! Глухонемая! Кого — первым?

Чекмарь. Молоде-ец. Ну и молодец! Первым — Силкова.

Бояров. Счастье тебе свалилось. Так и сказал — «отмечу»?

Анюта. Сказал. Но последние слова так: «Бывай. Бывай, дорогая! Вот так».

Чекмарь. О! Исполняй.

Анюта уходит.

Бояров. То бывают дурочки в полоску, а эта — сплошь.

Чекмарь. Надо срочно подготовить вопросник. А вы — проектик заявления от них.

Роются в бумагах, спешат, пишут.

Входит в прихожую Силков.

Силков *(крестится, и шутейно).* Господи благослови!

Чекмарь. Работать будем по очереди, с глазу на глаз. Начинать с более легкого — с кукурузы. Я и начну, наверно?

Бояров. И опять не возражаю. Сделайте одолжение! А я пойду — чайку… Проектик заявления здесь. *(Выходит в прихожую и Силкову.)* Гм-м… Силков или Кузин?

Силков. Силков.

Бояров. Наверно, молчи и соглашайся — проще будет.

Силков. Ручного тормоза на языке нету — техника не достигла.

Бояров. Я, дорогой мой, мно-ого пинков получал за то, что говорил, но никогда еще не страдал от того, что молчал и не возражал.

Силков. Умно. Спасибо за совет. С нонешнего дня так и буду жить.

Бояров. Вот и отличненько. *(Уходит.)*

Чекмарь *(в дверь).* Заходите…

Силков входит в номер, мнется у дверей.

…Садитесь. (*Садится за стол.)*

Силков. Здравствуйте. Мы постоим.

Чекмарь. Фамилия?

Силков. Можно и сесть. Это вы, стало быть, про меня?

Чекмарь. Ваша фамилия?

Силков. Аль вы меня не знаете? Наша фамилия Тарас Палыч Силков.

Чекмарь. Та-ак. Вы были прицепщиком на тракторной сеялке?

Силков. На какой?

Чекмарь. На обыкновенной.

Силков. Их у нас двенадцать сеялок тракторных, обыкновенных. Какой номер?

Чекмарь *(нервничает).* Не знаю. Вы кукурузу сеяли?

Силков. Какую кукурузу?

Чекмарь *(вдалбливает).* Ту кукурузу, какую ты сеял, загубили?

Силков. Да какую, прости бог, кукурузу?

Чекмарь. Ту, какую ты сеял.

Силков. Еще раз извиняемся, в каком поле?

Чекмарь. В том, в каком ты сеял, — потравили?

Силков. Колхоз большой — пять бригад. А вы-то знаете, в каком поле?

Чекмарь *(на высокой ноте).* Не знаю, не знаю. И знать не хочу!

Силков. А разве ж так можно: не знаю, а потравили?.. Так вы, стало быть, насчет чего?

Чекмарь. Ку-ку-ру-зу! Потравили?!

Силков *(еще спокойнее).* Дак я ж — не пастух, извините за выражение. И не корова. И даже не овца. И я, извиняюсь, кукурузу на корню не ем.

Чекмарь *(вытирая пот).* Ты — либо хитрец, либо ду…

Силков. Ни то, ни другое. Я от природы боязливый. Бывало, бабка-покойница поведет к обедне, так я попа боялся. А как увидал еще — портки у него под юбкой мужичьи, так и вовсе перестал ходить в церкву. Страшно! *(Передернулся.)* Боязливый я, вот в чем корень зла.

Чекмарь. Ты… ты кукурузу сеял?

Силков. Какую?

Чекмарь. Боже мой!

Силков. А вы в бога верите?

Чекмарь. Ух! *(Ошалело смотрит на Силкова.)*

Силков *(устраивается на стуле поудобней).* А правда, бог, он, наверно, есть. Вот у нас колхозник был, — помер года три назад, по фамилии Убейбог. Ей-ей, не брешу. Хороший человек был. Пензию получал. Все равно помер. Закурить можно? *(Закуривает.)* Да. Заехала его кобыла в лужу, с возом, и стала. Стоит, стало быть, стерьва — ни с места. А Убейбог на сухом причитает: «Ну, рыжуха! Ну, что ты из себя воображаешь? Русского языка не понимаешь, что ли? Научаешь, научаешь тебя, а ты — ни в дуб копытом. Совесть-то у тебя человеческая есть?» Застыдил кобылу начисто. А она — ни ухом, стерьва. Да. Ка-ак закричит Убейбог на всю улицу: «Боже ж ты мой! Да помогай ты мне хучь за мою фамилию!» Что ж вы думаете? Поехала, жирафа несчастная. Выехала! Так что бог, он, вполне возможно, есть. Как вы на это скажете?

Чекмарь *(уже просительно).* Ох… Убей бог, не выдержу.

Силков. Фамилия у него, конечно, не соответствует. А скажите, пожалуйста, кто это выдумывает фамилии для народа?

Чекмарь. Не знаю… В каком поле? Кукурузу сеял?.. Давай… поговорим по душам.

Силков. Я и так — от всего сердца. *(Решительно.)* Давайте начнем сызнова!

Чекмарь *(вскакивает).* Проклятье! *(Вышел в прихожую, пьет воду, возвращается.)*

Силков. Уходить, что ли?

Чекмарь. Продолжим…

Силков. Опять по первому вопросу?

Чекмарь. С другого конца. Какие у вас взаимоотношения с председателем колхоза Ивановым?

Силков. Это как понимать?

Чекмарь. Ну, как — он вас… и как — вы его считаете?

Силков. А я его не считаю. В чужом кармане — не хозяин. А уж как он меня считает — у него надо спросить. До него-то как считали? *(Пальцем в воздухе, как на счетах.)* Трудодень — палочка, усадьба — выручалочка. Пуд посеешь, два возьмешь и до дому принесешь. Так меня считали. А этот — хи-итрый!

Чекмарь *(чуть веселее).* А что: не дает ходу?

Силков. Кто?

Чекмарь *(вновь раздражаясь).* Он. Иванов.

Силков. А чего — он?

Чекмарь. Не дает вам ходу. Не дает?

Силков. Не-ет, дал. Первейший ходок в районе. Мысль, а не ход. Еду, а тарелки у осей так и цокотят про меня: тара-тарас! Тара-тара-тарас! Все наперед знают — Тарас едет! А ежели ее — колесной мазью, чин-чинарем, то «Запорожец» и в подметки не потянет. Баян, а не ходок. Фисгармонья! Вот какая у меня телега! *(Неожиданно с сожалением.)* Только вот… эх!.. колесной мази в продаже — редко бывает. А скажите, пожалуйста, почему стало колесной мази так мало на белом свете?

Чекмарь *(в бессилии).* Друг он — вам… или враг?

Силков. Кто?

Чекмарь. Председатель!!!

Силков. Теперь понимаю. Отвечаю: враг!

Чекмарь. Вот что от вас и требовалось. Подпишите вот это… *(Сует бумагу.)*…и вашему врагу — каюк.

Силков. А что тут в бумаге?

Чекмарь. О той самой кукурузе!

Силков. О какой такой кукурузе? *(Будто догадавшись.)* А-а, тогда давайте, правда, сызнова, чтобы не спутаться. *(Снова передвигается на краешек стула.)* Наша фамилия, стало быть, Тарас Палыч Силков.

Чекмарь *(к публике).* Братцы! Что же это такое?! *(Бегает по сцене, кружит у стола и около Силкова.)* И это называется — союзник!

Силков *(невозмутимо и твердо).* Враг он мне, председатель…

Чекмарь останавливается как вкопанный.

…Но боязливый я, в чем и корень зла, говорю. Только и утешения — ни снять меня, ни уволить неоткуда: должность моя навечно — колхозник. Совсем было я собрался в город, хоть бы дворником. А его назначили — не поехал. Судьбу мою, стало быть, возвернул назад. Да. Вот у нас — Аришка Кривая. Бедность в те года перенесла такую — ни в сказке сказать. Тоже хотела, полубосая, в город — оказать честь областному центру. А куды ей, недотепе? Не понимает.

Чекмарь. Ох!

Силков. А при Иванове не поехала. И дом теперь — под железом, оцинкованным.

Чекмарь. Гибну!

Силков. Стало быть, мне иттить?

Чекмарь *(кричит).* Итти-ить!!!

Силков *(встает).* Затем до свиданья. Не обессудьте. Я все по-честному. *(Заметил, что Чекмарь облегченно вздохнул.)* Могу и еще поговорить. С хорошим человеком — почему не поговорить? Можно. *(Садится вновь).* Давайте и про речку обсудим, чтоб второй раз не приходить. Есть у нас Афонька Куцый. Так вот, у него коза была…

Чекмарь *(вне себя).* Что коза?! При чем коза?!

Силков. Сдохла коза.

Чекмарь. Почему сдохла коза?!

Силков. Пойма высохла, соль выступила — и коза сдохла. Афонька-то слезьми да соплями изошел: две беды сразу — речки нету, козы нету. А он староват, одинокий — только и жил рыбой да козой. Все ж таки он глуповат — человек: чего так убиваться? По моему разумению, помирал бы сразу — и делу конец. Не может сообразить: пензии нету, — в колхоз-то запоздал, — козы нету, речки нету — чего и сморкаться на каждый порог? Вы бы сходили к нему, ублаготворили словесно. Может, поймет, что для его же пользы вся эта география получается. А то — ишь ты! — ходит по дворам, агитирует, говорю, на каждый порог. *(Таинственно.)* Ежели вы хотите, я на него могу — жалобу, чтобы вы его вызвали. Ведь он чего говори-ит…

Чекмарь. Я… больше… У меня… Мозги-и!

Силков. Уморился, сердешный. Трудная ваша должность. Ну, отдохни маненько. А про Афоньку, я завтра приду, доскажу. *(Идет к двери, обернулся.)* Может, напутствие какое будет?

Чекмарь. Не могу!.. Желаю… Желаю поумнеть.

Силков *(кланяясь и как бы по рассеянности).* Того и вам желаем. *(Уходит.)*

***Чекмарь запрокинул голову на спинку стула, в бессилии опустив руки. Входит в прихожую* Кузин.**

Кузин *(указывая на двери).* В эту или в эту? *(Поет.)* Надо влево повернуть, повернул направо…

***Входит* Бояров.**

Бояров. Поем, значит? Забавно. Вы не из ансамбля песни и пляски?

Кузин. Нет, из кладовой — Кузин.

Бояров. А-а, понятно. Обожаю веселых людей. Подождите минутку. *(Идет к Чекмарю и в ужасе.)* Илья Данилыч!!! Что с вами?!

Чекмарь *(расстегивает ворот, разбито).* Не могу. Все. Ведь он же — дурень, дремучий дурень. «Фисгармо-онья»!..

Бояров. А что: неудача?

Чекмарь *(расслабленно).* А! Это даже и рассказать невозможно… Ваша очередь. Пойду — чаю. *(Уходит.)*

Бояров *(в дверь).* Прошу вас, товарищ Кузин… Присаживайтесь.

Кузин. Спасибо. *(Садится, энергично щелкает семечки.)*

Бояров *(наукообразно).* Имея в виду самодовлеющее значение среднего руководящего звена на данном конкретно-историческом отрезке, ***мы*** хотели бы знать ваше мнение по отдельным моментам кормопроизводства и качества руководства в колхозе данной наиважнейшей отраслью… Речь, следовательно, о кукурузе и о пойме Красавки. Мы — то есть я и вы, — находясь на разных концах цепи, являемся звеньями равнозначными. Каждый из нас обязан гордиться тем, что он — звено, за каковое можно тянуть, предварительно выбрав его в надлежащем месте. И вот… мы считаем, что для выяснения вопросов, упомянутых выше, именно вы могли бы помочь в большом и важном деле. Я очень краток. И полагаю, вы поняли намек с одного слова.

Кузин. Бесполезно.

Бояров *(недоуменно).* Не совсем понимаю.

Кузин. А я совсем не понимаю… С нашим председателем — бесполезно.

Бояров *(облегченно).* Откровенность делает вам честь. Почему же бесполезно? Не ладите?

Кузин. А если скажу — не ладим?

Бояров. Порекомендовал бы. Вы не могли бы быть председателем?

Кузин. Еще ка-ак! Я их, колхозников, прижал бы так, что они и в воскресенье работали бы. Я из недели девять ден состряпал бы! Я бы их: влево, вправо, вперед! Влево, вправо, вперед!

Бояров. Извините, не надо многословия. Ясно. Тогда, во-первых, действительно ли он, Иванов, приказал стравить скотом, а потом вспахать кукурузу и пересеять просом?

Кузин. Действительно. Всходы были плохие — весна холодная, а кукурузе, ей давай тепло.

Бояров. А если для вашего «друга» вы напишете кратенько-кратенько: «Всходы были нормальные»?

Кузин. А вы — никому об этом?

Бояров. Честное слово.

Кузин. Рискнем, пожалуй. *(Решительно начинает писать.)*

Бояров. Вот и отличненько. *(Довольный прошелся и у авансцены.)* Один козырь в руках. Уметь надо!

Кузин. Нет, раздумал. Иванов потом слопает с требухой. *(Идет к двери.)*

Бояров. Что вы? Куда вы?.. Напишите хотя бы ваше личное мнение.

Кузин. Личное мнение — лишнее сомнение. Раздумал. Боюсь. *(Выходит в прихожую.)*

Бояров ошеломлен.

Входит* Анюта. *Сцена в прихожей.

…Чтоб ты провалилась со своими семечками! Надоумила. Язык опух, как от ящура. Видишь?

Анюта. На благо народа, папаша, надо и языком поработать. Потомки не забудут ваш скромный подвиг.

Кузин *(легонько дает подзатыльник).* А еще студентка! Какой из тебя агроном выйдет? Никакой. *(Уходят.)*

***Входит разбито* Чекмарь.**

Чекмарь. Скоро вы его уломали. *(Садится на койку, обхватив голову.)* Болит жутко. Столовая на перерыве. Нельзя ли сюда — чаю?..

Бояров *(смотря в одну точку.)* Сюда — чаю…

Чекмарь *(поднимает взор на Боярова).* И у вас осечка? *(Встает.)*

Бояров. Дело осложняется. Шелухой заплевал.

Чекмарь. Вот и видишь, товарищ Скирда ошибся — на дураков опирается, а разве скажешь? Тут уж, видно, терпи, молчи. *(Решительно.)* По вопросу о речке — без опросов, без заявлений: только материалы комиссии с техническими выкладками. Хватит рассусоливать! Мы обязаны, это наш долг: так или иначе Иванову — панихида.

Бояров *(задумчиво).* Говорят, когда охотник добивает зайца и — каждый раз мимо, то он озлобляется… на зайца…

Чекмарь. Это вы — к чему?

Бояров. Ау меня против Иванова злобы нет. Но… поручение. *(Удивленному Чекмарю.)* Потом. Потом скажу. Подумаю…

Чекмарь *(недовольно).* Не буду мешать… А чаю я все-таки найду! *(Уходит. За дверью его голос: «Товарищ заведующая!».)*

Бояров *(один).* Самое главное: как теперь быть с машиной? *(Думает.)* Стоп!.. Великолепная идея!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина пятая

Прошла неделя. Тот же уголок площади и парка. Несколько рядов скамеек, на них сидят **Кузин, Силков,** ***колхозники и колхозницы. За столом, накрытым красным, сидит*** **Иванов,** ***сбоку секретарь заседания.*** **Миша, Анюта** ***и Поля стоят группой в стороне.*** **Бояров** ***отдельно от других: ему и Чекмарю поставлены особые стулья и маленький столик.*** **Свищ** ***стоит позади Боярова. Легкий гул от приглушенных разговоров. Заседание идет уже давно. Дед спит сидя. За небольшой трибуной Чекмарь продолжает доклад.***

Чекмарь. Поэтому я и обязан приглушить нездоровые тенденции, поэтому же я и огласил выдержки из заключения комиссии, хотя я имел право и не делать этого. Дорогие товарищи! Мы сейчас живем в период маловодья в нашем крае, но мы не знаем, что натворит вода, когда будет полноводье. Вот в чем соль! Пропускная способность всех

рек будет увеличена вдвое. И вас никто не спросит, поскольку вопрос этот — научно-специальный…

Недовольный гул голосов.

Миша. Аль всемирный потоп еще раз будет?

Свищ. Отсталость и малоразвитость.

Чекмарь. Вы поддались на нездоровую агитацию по своей… да… малоразвитости… Вот еще из акта комиссии, последнее. *(Читает.)* Пункт сто шестьдесят второй: «Комиссия считает, что главный идеолог нездоровых настроений в колхозе — сам председатель! Его нельзя оставлять у руководства, как бы он ни настраивал массы…» Народ этого требует! Нельзя оставлять. *(Секретарю.)* Записывайте мои слова точно: народ требует… нельзя оставлять. Это мы установили из многочисленных бесед. Записали?..

Свищ *(сорвался, тычет пальцем в Иванова).* Полное разложение! Была установка — распахать травы, а он — ни одного га! Была установка — «кукуруза — королева полей», а он — семь тыщ убытку! Была установка о речке, а он — письмо в Москву. Позор! Позор и нашему родному колхозу… А от кого начинает вонять?.. От головы. Чего смеетесь?! Брошу я вас, брошу! И тогда — смерть критике в колхозе: заскорузнете вы, задубеете. Критика — огонь нашей жизни, самокритика — струя: одно — горит-прожигает, другое — глушит нутре. Разве ж вы поймете? Эх, вы!

Входит Кислов с папкой под мышкой, спешит.

Анюта бросается к Кислову, тепло приветствует, жмет руку. Кислов что-то быстро говорит Иванову, садится рядом с Анютой.

Иванов *(Чекмарю).* Извините. Прошу.

Чекмарь *(раздраженно).* Не заседание правления, а конская ярмарка. Как вы развинтили народ, товарищ Иванов!.. Заканчиваю: я назвал вещи своими именами, я изложил суть заключения комиссии. Неопровержимость доводов и доказательств абсолютно ясна. Я кончил. *(Садится рядом с Бояровым.)*

Иванов. Слово имеет Петр Андреич Кислов. Назовем это содокладом товарища Чекмаря.

Чекмарь *(вскакивая).* Это еще что за партизанщина?!

Кислов *(за трибуной).* Я, товарищи, прямо из Москвы. Что там было — опустим: и я покричал, и мне попало…

Оживление.

…Москва слезам не верит, а верит документам. Вот мы и составили втроем свое заключение и отправили по назначению…

Чекмарь. Кто это — «мы»? Кто — «втроем»? Кто вас уполномочил?

Кислов *(всем).* «Мы» — это: я, Иванов и профессор Устинский. Вы знаете профессора — он тут бывал, да и Леонид Петрович учился на его кафедре, и Анюта учится у него же. Читаю наш главный вывод: «Проект — полный брак. Поправить Красавку и улучшить пойму можно только в том случае, если поставить две плотины и два шлюза для регулирования воды». *(Чекмарю.)* Так что, волей-неволей, придется там *(пальцем вверх)* рассматривать два заключения — ваше и наше: чье перетянет. *(Садится на свое место.)*

Силков. Ну-у, пошла заваруха! Кто перетянет: профессор иль Скирда? И тот соображает по сельскому хозяйству, и — этот. Кто тяжелей? Вот она какая дела-то…

Чекмарь *(Иванову).* Судить будем! Судить, если поставите плотины. А вам, Кислов, придется хлебнуть горюшка — похлопочу лично.

Кислов. Я в этом не сомневаюсь — на то иду.

Иванов. Какое же примем решение по информации докладчиков?

Силков. Вношу. Никому не будет обидно: принять к сведению — товарища Чекмаря на пятьдесят процентов, а товарища Кислова на сто пять процентов.

Кузин. У Тараса Палыча «нездоровые тенденции по малоразвитости». Поправляю Силкова: принять к сведению. И все.

Иванов. Кто за предложение Тараса Палыча с поправкой Ивана Кузьмича?.. Единогласно.

Силков *(с деланным возмущением).* Почему голосовал без процентов? Как это так? Даже ум у ребятишек в школе считают на проценты, по успеваемости. Возражаю.

Иванов *(строго).* Товарищ Силков, подчинитесь большинству.

Силков. Молчу. *(Садится и Чекмарю.)* Видите? Рот затыкает.

Иванов. Слово предоставляется товарищу Боярову — о кукурузе: по поводу моего вредительства.

Бояров *(за трибуной).* Товарищи!.. Нужен точный учет убытков. По предварительным данным, примерно, семь тысяч.

Поля. Да вы что: очертенели?

Бояров. То есть как? *(Иванову вежливо.)* Руководите, пожалуйста.

Иванов. Поля, покультурней. В прениях возьмешь слово.

Поля. Я в прениях не умею, а мысли есть. Не уносить же их обратно домой? Голова лопнет.

Иванов *(Боярову).* Четыре тысячи литров от каждой коровы. *(Указывает на Полю.)* Медаль «За трудовую доблесть»… Ценим!

Бояров *(уважительно).* Меда-аль?.. Медаль — отличненько! Но ей не придется выступать в прениях…

На сцене недовольство. Силков пальцем подзывает Мишу, указывает на спящего деда. Миша пробирается к старику, расталкивает его.

Миша *(на ухо деду).* Дедушка! Ваш вопрос. Давайте.

Дед *(обводит всех взглядом и Боярову).* Товарищ! А церкву нам нельзя открыть? А? Хуш бы для стариков. Вы бы там похлопотали. А?

Бояров *(деду громко).* Я — по науке, а не по церкви!.. *(Всем.)* Не волнуйтесь. Вопрос этот мы пока снимаем. О чем и сообщаю. А доклада не будет…

Собрание загалдело. Сообщение Боярова обескуражило всех.

Чекмарь *(вскакивая).* Что это означает, товарищ Бояров?

Бояров *(под гул голосов, Чекмарю одному).* Вы хотите, чтобы и мой вопрос они скомкали? Как же они после этого будут обсуждать нашу машину? Я не могу терять контакты, которые завязал здесь Лапкин. А мне нужен акт испытания. Поняли?

Чекмарь *(угрожающе).* Я все понял. Так вот оно что означает — «Баланс поведения»! Что ж, приму меры уже через высшие инстанции! Слышите, Иванов: через высшие инстанции!

Иванов *(вышел из терпения).* Да черт с вами! Доводите дело Свища до конца!

Чекмарь. До-ве-ду. *(Уходя, Иванову.)* До новых встреч. *(Боярову.)* До встречи… «на ковре» у товарища Скирды. *(Уходит.)*

Свищ *(кричит всем).* Эх, вы! Один только я тут и стою на платформе Советской власти! А у вас? Ни убеждениев, ни платформы, ни самокритики! *(Боярову.)* И у вас! Об чем и я приму меры.

Силков. Ты-то стоишь на платформе, да поезд-то ушел давно.

Свищ. Вот она, жгучая темнота! Все молодые года на них положил, а они… *(Иванову.)* Свихнул ты народ! В центр напишу!

Морально освистаю на весь Советский Союз! *(Боярову.)* И вас тоже! *(Демонстративно уходит.)*

Иванов *(устало).* Переходим к последнему вопросу. Где он, товарищ Лапкин?

Выходит из-за кустов* Лапкин*, в руках клетка и указка.

Лапкин. Здесь я, здесь. Машина готова к испытанию.

Иванов. Слово товарищу Лапкину. Прошу.

На сцене аплодисменты.

Миша *и Лапкин быстро вывозят машину на сцену. Это черное сооружение выглядит примерно так: высота чуть более метра, длина не менее двух метров, впереди раструб, над ним фотоглаз — нечто похожее на огромную фару; сверху и сбоку пять-шесть белых рычагов и рукояток; сбоку надпись: «Опасно для жизни» и череп с костями.*

Лапкин. Это изобретение — результат связи теории и практики. Задача машины — улавливать сусликов, вредителей наших богатейших полей. Колхозы несут огромные потери: ведь чистое зерно жрут! Но, однако, в наш век кибернетики нет ни одной сложной машины для улавливания сусликов. Оградить землю от вредных грызунов — неотложная задача всего народа. Наша машина, следовательно, необходимый спутник при рациональном использовании земель. *(Польщенный общим вниманием, научным тоном.)* Перед вами — ФАСУЛ-ТРИ, то есть Фото-Авто-Сусле-Уловитель. ФА-СУЛ. Если в поле зрения фотоглазка *(указкой).*.. вот здесь… попадает суслик, то автоматически включается мощный электровентилятор… там внутри… создавая таким образом вихревые обратно-поступательные движения воздуха. И, через соответствующее сопло… здесь… моментально втягивает вредителя в соответствующий резервуар… там, внутри… в этом месте… Суслик же, в свою очередь, обязан удариться о рифленую стенку резервуара, и — каюк!.. Я все покажу в действии. *(Ставит клетку перед Фасулом.)* Итак, вредитель находится в поле зрения фотоглаза. Освободите поле зрения — начинаю! *(Орудует рычагами…)*

Силков держит кисет, собираясь закурить. Слышен нарастающий гул, треск, потом рокот. На сцене ураганная струя ветра в сторону ФАСУЛА. Все отпрянули. Самые любознательные — Миша и Силков — героически выдерживают, оставаясь у

машины. Лапкин открывает дверцу клетки — суслик летит в раструб.

…(победно.) Хоп! Нет вредителя! Центнер зерна в закроме!

Кисет Силкова летит в раструб.

Силков. Кисе-ет!

Лапкин *(включает уловитель).* Там. Аминь. Упокой, господи!

Анюта. А кисет?

Лапкин. Думаю, он потерял форму предмета. *(Открывает сверху люк, достает кисет, дважды чихает.)* Табак… *(Еще раз чихает.)*

На каждый чох ему желают здоровья:

Силков. Будьте здоровы! Табаку-то целая пачка. Усманьский!

Миша. Здоровья и долгих лет!

Анюта. Успехов в труде и счастья в личной жизни! *(Чихает, рассмеялась.)*

Входит* Махоткин, *восторженно смотрит на смеющуюся Анюту. Она, увидев его, осеклась, затихла, отошла в сторону. Махоткин помрачнел, оседлал стул Чекмаря, рядом с Бояровым, подбородок на спинку, следит за Лапкиным.

Иванов. Вопросы будут?

Дед. Церкву бы нам… для стариков. А? А помрем — тогда и закрыть бы сызнова. А?

Иванов *(громко).* Данилы-ыч! Не к делу твой вопрос!

Дед. Ага. Спасибо. Хлопочи, Леонид Петрович, — ты человек хороший, хлопочи. А то — ни церквы, ни речки, а нечистую силу привезли.

Иванов. Вопросов нет. Что же мы тут можем?

Лапкин. Запишите коротко: Фасул-три уловила суслика в присутствии многих людей. И коротенький акт в пятнадцать строк. Можно? Текст — вот он. *(Передает Иванову.)*

Голоса. Уважим! Какой нам убыток?

Силков. Человек старался. И вреда никакого, акромя — кисет.

Лапкин *(всем).* Благодарю вас, дорогие товарищи.

Входит* Кострова, *идет к Боярову, что-то пытается ему сказать, но тот не обращает на нее внимания — идет к Лапкину.

Иванов *(Лапкину).* Насчет акта решим в рабочем порядке. Спасибо за удовольствие! *(Жмет ему руку, и оба чихают, как кажется*

зрителю, благодарным чохом.) Из тридцати мероприятий и совещаний самое веселое — ваше.

Бояров восторженно жмет руку Лапкину.

Кострова *(наконец-то передает записку Боярову).* От Чекмаря. Велел передать срочно.

Бояров *(то отдаляя, то приближая записку к глазам).* Курица лапой, и та — лучше. Михей Харитоныч, вы всегда выручали меня в таких случаях своими способностями. *(Передает записку Лапкину.)*

Лапкин *(читает).* Снятие доклада о вредительстве Иванова на кукурузе есть пособничество вредительству. Вы — соглашатель! Доложу по форме. И будете вы очень бледный, к чему приложу премного стараний. Считайте этот день концом вашей карьеры. Чекмарь.

Бояров. Стоп! Этого нельзя читать!

Лапкин. А больше и нечего читать, Аким Карпыч. «Концом вашей карьеры» — и все.

Бояров оцепенел.

Иванов *(смотря на Боярова).* Все! Заседание окончено.

Пауза. Уходят статисты. Остальные следят за Бояровым.

Бояров *(сорвался с места).* Не допущу! Я ему объясню. *(Уходя, Лапкину.)* Михей Харитоныч, ведь я же… ради машины… Не правда ли?.. *(Уходит.)*

Лапкин. Конечно, конечно.

Кострова. Зря он побёг. Чекмарь-то прыгнул в попутную, и был таков.

Лапкин *(уходя, раскланивается).* Благодарю вас за внимание! Благодарю вас!

Махоткин *(на поклон Лапкина, подражая голосу Анюты).* И счастья в личной жизни! *(Смеется, пародируя Анюту.)*

Лапкин, опасливо глядя на Махоткина, уходит.

Анюта *(решительно подходит к Махоткину).* Ты чего надо мной издеваешься? Забыл?

Махоткин. Что было, забыл, а что будет, узнаешь скоро. Даром это не пройдет — ни тебе, ни Иванову. *(Раздраженно.)* Чего ты ко мне пристала?! Хочешь, чтобы я тебе при всех ответную пощечину влепил? Хочешь? Хочешь?

Анюта пятится на него. Иванов решительно становится между ними лицом к Махоткину. Оба смерили друг друга взглядом, несколько отступив. Махоткин медленно приближается к Иванову, заложив руку за пазуху и не сводя глаз. Теперь Анюта становится между ними, спиной к Махоткину.

Анюта *(отталкивает Иванова, и резко).* Он ударит! Леонид Петрович, он ударит! *(Оборачивается к Махоткину.)* Что ты? Что ты? Ваня, не надо. Не смей!

Махоткин обмяк как ручной.

Иванов. А ударил бы — узнал бы, как и я бью. Теперь мне тоже можно.

Махоткин. Если бы я ударил, вы бы только и успели подумать: «А на кладбище все спокойненько».

Иванов. Плачет по тебе тюрьма, Иван. Сам в нее лезешь. *(Неожиданно кричит.)* Что у тебя за пазухой?! Давай сюда!

Махоткин. За пазухой у меня… сердце…

Иванов опускает руку.

…А что там рядом с ним — это мое дело. Ну, сажай. Сажай, Леонид Петрович. Сажай Ивана Махоткина, со дня рождения члена колхоза «Новая жизнь». Сажай за то, что он любит… *(Поник и отходит к Мише и Поле.)*

Анюта идет в сторону, не спуская глаз с Махоткина. Иванов идет к Анюте.

Кузин *(у авансцены).* Пойдем-ка, Глафира, посоветуемся. Махоткина надо отправлять в отходники, иначе он натворит делов. Пойдем.

Кострова. Да сердце разрывается — на нее глядеть-то! *(Уходят.)*

Пауза.

Силков *(глядя вверх).* Тучи сердитые — гроза вот-вот будет. *(Смотрит на Анюту и Иванова.)* По моему разумению, неженатых нельзя назначать председателями: вред хозяйству от этого, и природе убыток.

Иванов. Исправлюсь, Тарас Палыч, хотя бы и не буду председателем. *(Задумчиво и мечтательно.)* И повел бы я свою любимую на нашу Красавку. А там, по берегу — парк, цветы… Утро. Тихо. Вода — зеркало. Шелестят камыши. Кричит коростель. Бьет зорю перепел. Вновь летают речные чайки… А мы вдвоем. И вокруг

нас — Россия. Родина… Нет, не будет обезображенной моей несчастной Красавки, будет то, что я вижу сейчас, здесь. Чайки вернутся… *(Кислову.)* Спасибо, Петр Андреич, за надежду. *(Берет Анюту под руку.)*

Махоткин *(что-то решив, в отчаянии).* Мишка, друг! Иль у меня душа косолапая!

Миша. Ну, что ты, Иван, так духом упал? Сам не свой…

Махоткин *(Иванову).* Что на душу мне наступил — мне кровью харкать. *(Бросает финку к ногам Иванова.)* Иди, заявляй в милицию… иначе — не ручаюсь…

Силков *(схватил с пола нож).* Ванятка… Иван, Иван! Отродясь того не было у нас… *(Прячет нож.)*

Миша держит Махоткина за плечи.

Махоткин. Миша, брось… Я ему все скажу напоследок…

Иванов *(сдерживаясь).* Ну, давай, давай… Махоткин. Ты тут чуть ли не пел: «Бу-удет!» Я вот подожгу свою хорому, а потом и размечтаюсь — какая она «будет» с подзорами да с петухами. Какой дурак может надумать такое: разорить за день, чтобы выправлять годами?.. А мы позволили зарезать Красавку. А ты? В одиночку боролся? Писа-ал в Москву-у! А чего тай-ком-то? Выше народа стал: вот она где, твоя ошибка. А речки нету! *(Анюте.)* Помнишь, Анюта… Красавку?.. Молчишь?.. Молчи. Нету нашей с тобой Красавки. *(Иванову.)* И ты виноват не меньше Чекмаря — командир-одиночка! Э, да провалитесь вы все! Не согласен так жить. Ничего не хочу. Если завтра милиция не возьмет — только вы меня и видали в колхозе. *(Идет к выходу.)* Анют а. Ваня!.. Не уходи!..

Махоткин уходит.

…Еще один — долой… *(Горячо.)* Леонид Петрович, как же дальше-то?

Миша. Долго он будет скоблить себе душу. Пошли, Поля, догоним.

Поля *(Анюте).* И любит ведь. Любит-то как! *(Уходят.)*

Силков. А Иван потерялся совсем — нутром разорился человек… Стареет колхоз, стареет. Останутся бабы да старики — что будем делать, Леонид Петрович? Иванов *(неожиданно резко).* Работать!!!

Тягостная пауза.

…*(Анюте.)* Прости… сорвался на последнем дыхании. Ну? Пойдем и мы, Анюта? Пойдем… Слышишь?

Анюта. Не обижайтесь, Леонид Петрович. Я сейчас… не пойду.

Иванов *(у авансцены, задумчиво и горько).* А не у меня ли «косолапая» душа? Или уж председатель колхоза должен быть отрешенным от жизни, всегда только обязанным перед теми, кто вверху, и перед теми, кто внизу?.. Отрешенным от жизни?.. *(Решительно.)* Нет, черта с два! Вот так, просто, я не уступлю. Я его проучу. Э, будь что будет! *(Направляется в сторону Махоткина.)*

Силков *(что-то решив).* Стой! Эдак я за тобой не поспею.

Иванов. А вы — куда?

Силков. Как — «куда»? С тобой. Тебе сейчас, Леонид Петрович, одному-то… Поллитровочка у меня стоит вторую неделю безработная. Посидим, потолкуем об жизни. Выпьем дружненько. Може, попоем согласно. *(Тихо поет.)* Ой, да ты кали-и-ина…

Иванов. Пошли! Я — тоже человек!

Глухой раскат грома.

Иванов *и* Силков *уходят.*

Анюта *(задумчиво смотрит вдаль, и Кислову).* Вы грозы боитесь?

Кислов. И боюсь, и люблю… Смотри, туча на тучу идет… вот… сейчас молния и — гром…

Анюта. И небо бывает черным…

Гроза усиливается.

Кислов. Природа напоминает нам, Анюта, о своей мощи, о величии! Но уж если она наказывает, то жестоко и навечно. Мы в ответе перед нею за ошибки наших предков и за свои. Наши дети и внуки будут отвечать за нас… Неужели человечество останется без чистой воды, а счетчик Гейгера, в то же время, подскочит за черту, где уже начинается первый пункт смертного приговора всему живому? Неужели же люди на Земле так и не поймут, что наши потомки могут услышать, как по земному шару прокатится горестное и скорбное песнопение «Ныне отпущаеши раба твоего…»?

Эхо повторяет: «Ныне… отпущаеши раба… твоего».

…Нет! Пусть же для них зацветут пустыни, вырастут новые леса, потекут полноводные и чистые реки! Пусть журчат речушки и ручейки! Этому не жаль посвятить всю жизнь.

Короткий промежуток тишины, как это бывает в перерывах между Грозовыми разрядами, когда еще не пошел дождь. Душная тишина.

Затем молния, сильный гром.

Анюта. С вами… легко. И не страшно.

Кислов ***(****берет ее ладони).* А мне с вами — больше чем легко.

Анюта *(отстраняется).* Никогда так не говорите. Мы — просто друзья.

Резкое затемнение.

В темноте — впечатление ночной грозы в степи. Слышен шум приближающегося дождя.

Картина шестая

Дом для приезжих. Поздний вечер. За окном дождь. Гроза. Мрачно, жутко. **Бояров** ***сидит у чемодана, готовый к отъезду. У двери стоит*** **Кострова.** ***Общий номер пуст, там полумрак.***

Бояров. И уехать не на чем…

Кострова. Любая машина застрянет. Куда в ночь ехать? Хороший хозяин в такую погоду скотину со двора не выпускает. Ишь, какой хлещет!

Бояров *(садясь за стол). А* мне надо уехать обязательно. Я здесь не могу. Какое-то предчувствие чего-то неотвратимого.

Кострова. Это оно от погоды — тоска-то.

Бояров. Погода действительно… Дождь, гром, глушь… Гром, глушь, дождь…

Короткий сильный гром.

Кострова *(крестится).* Свят, свят…

Бояров *(машинально подражая ей, подносит пальцы ко лбу, но, спохватившись, отбрасывает руку в сторону, как чужую и лишнюю).* Одичал. Одичал за неделю.

Кострова *(мнется у двери, собираясь уходить).* Что я хотела спросить: Анюта сюда, в гостиницу, не заходила? Ушла из дому. А он — вон какой хлещет! Греха-то!

Бояров *(смотря в одну точку).* Анюта? Какая Анюта?

Кострова. Дочка моя, дочка.

Бояров. Дочка? А-а, дочка… Нет, никакая дочка не заходила…

Кострова. А Махоткин?

Бояров *(опасливо).* Не было. Что ему тут нужно?

Кострова. Рыскает по селу — ищет Анюту. Прямо домой вломился. Ой, боюсь беды, боюсь.

Бояров *(как бы самому себе).* Беда уже стряслась. Сказано: «Последний день карьеры»… И Свищ поможет… Какая жертва ради машины, на алтарь науки!.. *(Обхватив голову, облокотился на стол.)*

Кострова. Ну, я пойду. *(Безнадежный и презрительный жест в сторону Боярова.)* И что ему — до нашей жизни! *(Уходит.)*

Бояров, *в том же положении, зажав виски, то ли думает, то ли дремлет под звуки ливня, покачиваясь.*

***Входит в общий номер* Лапкин.**

Лапкин (*включает свет).* Вся хорома для одного. Все расползлись. И мой Бояров — в лепешку… А Лапкин с победой! Всегда мне не везло в понедельники, а сегодня — отличный понедельничек! Вот как надо жить. Только так. А пока, пока спать спокойненько. *(Разбирает койку Чекмаря и напевает.)* Любимый город может спать спокойно… *(Выключает свет.)*

***Пауза. Ощущение времени. Луч света падает на постель Лапкина: он спит, на лице счастливая улыбка. Луч медленно гаснет*.**

Бояров. В городе и я спал бы спокойно, как все люди… А тут — глушь, дождь, гром… Надо взвесить все наедине, оглянуться ретроспективно. *(Откидывает одеяло на кровати, раздевается.)* Да. Где-то я ошибся. Как это все случилось? Ведь я всегда шел в ногу со временем, и вдруг — «соглашатель»… «доложу по форме»… Это уже удар в лоб. *(Задумался.)* Почему именно сегодня так ярко вспомнился весь мой тяжкий путь в науке? Сколько пришлось в поле… перестроек! М-м-м… Спорил, защищал и отрицал. Отрицал и защищал. Менделя отрицал и Менделя защищал. Нога моя всегда была в струе течения времени. И было ясно — что защищать и что отрицать. *(Идет к авансцене. К публике доверительно и расстроенно, оглядываясь назад и по сторонам.)* И вот настало время: нет установки для сельскохозяйственной науки. Нету! Наука развивается в спорах — это верно. А о чем спорить, если нет установки? Так — впустую? Жить так нельзя… Можно ли решить такое одному?.. А я один. Уж не

схожу ли я с ума? *(Задумался.)* Нет, не один! Есть преданный единственный друг… *(Идет к Лапкину.)* Вы здесь? *(Громче.)* Михей Харитоныч! *(Горько.)* И этот бросил, уехал. *(В отчаянии, начальственно.)* Товарищ Лапкин!

Лапкин *(вскакивает, и спросонья).* Товарищ министр? А? Кто, кто тут? Я сейчас — брюки…

Бояров *(включает свет).* Дорогой мой, Михей Харитоныч! Я верил. *(Садится за стол.)*

Лапкин *(всклокоченный, облегченно).* Ах, это вы. *(Огорченно.)* А какой был со-он! Будто я сижу в министерстве… *(Осекся, садится против Боярова, и слегка недовольно.)* Ночь — а вы бродите…

Бояров. Остались только вы у меня — верный человек.

Лапкин *(более твердо).* Так. Дальше.

Бояров. Все неясно. Посидим, посоветуемся… Где истина? Нет ее.

Лапкин *(встает, причесывается, заложил руки в карманы, обходит стол, останавливается перед Бояровым, и свысока).* Что вы хотите от меня, товарищ Бояров?

Бояров *(оторопело встает).* Вы… Михей Харитоныч… я… Вся надежда у нас с нами — Фасул…

Лапкин *(наступая и строго).* Хотите присосаться к изобретению? Не выйдет! Я вам отдал все, что можно. Я терпел — срок кончился… Соавторства не будет!..

Бояров ***пятится назад, к двери.*** **Лапкин** ***медленно наступает, не вынимая рук из карманов.***

…Что вы хотите от меня, товарищ?

Бояров *(в ужасе пятится в свой номер, осматривается).* Неужели это — сон? Никого нет… Спящий должен лежать… не в этом ли истина? *(Ложится, завернувшись одеялом с головой, спрятавшись.)*

Лапкин *(прикрыл дверь за Бояровым, свысока плюнул в его сторону, постоял так, прошелся из угла в угол, и к публике, нагло).* Вы еще узнаете Лапкина!.. *(Ласково, как давно знакомый нам.)* Привет! До встречи! *(Хохочет.)*

Гром с треском заглушает хохот. Шумно врывается **Миша,** ***мокрый от дождя, неподдельно возбужденный и взволнованный. Бояров вскочил от грома, прислушивается.***

Миша *(кричит Лапкину).* Вашу машину — молния! В клочки! В щепки!

Лапкин ***вздрогнул.*** **Бояров** ***подскакивает к двери, приоткрывает ее и слушает.***

Пауза.

Лапкин *(хладнокровно и даже довольно).* Теперь мне нужен второй акт: «Фасул-три уничтожена при трагических обстоятельствах». Грозой!

Миша. Но беда-то какая! Труда-то сколько пропало!

Лапкин *(уверенно, холодно).* Не волнуйся. С такими двумя актами возьмут в любой научно-исследовательский институт. Буду строить новую — Фасул-четыре. Остатки сфотографируем — тоже документ. Второй акт не дать уже нельзя. Стихия!

Миша *(торжествующе).* Цела ваша Фасула!.. А Леонид Петрович акт не под-пи-шет! Так и велел сказать.

Лапкин *(замогильным голосом).* Опять… по-не-дель-ник. *(Остолбенел, замер.)*

Бояров *(злорадно).* И Лапкин лопнул!..

Миша ***выходит в прихожую.***

…(Бояров, увидев его, в страхе закрывает дверь на ключ и держит ее за ручку.) Сейчас ко мне!

Миша ***уходит.***

Бояров, настороженный, садится за стол, прислушивается, оглядывается на окно. Входит **Махоткин** ***с небольшой коробочкой в руках.***

Махоткин *(в прихожей).* Куда она делась? Скажу ей последнее прощальное слово и — на станцию. А коробочку отдам ей — пусть передаст Иванову. *(Идет к Лапкину, смотрит на «статую», обходит его вокруг.)* Столбняк, что ли? *(Потряс Лапкина.)* За ветеринарным врачом сходить?

Лапкин. Ох… Стоячий удар. *(В изнеможении садится.)*

Махоткин *(приоткрывает коробку).* Суслик твой. Видишь? Жив остался. Трояк дашь — отдам без последствий: деньги нужны на длинную дорогу. Не дашь — в газету заметку «Сообщения с мест»: суслика из норы водой выливали, а потом ловили кибернетикой.

Лапкин. Почести?

Махоткин. Без обмана.

Лапкин *(дает трешку).* Придуши.

Махоткин. Псих! *(Выпускает суслика за окно.)* Пусть живет на свободе. Значит, так: когда я вылил его из норы, ты мне дал полтинник, сейчас — трояк, итого — три пятьдесят. Вполне допустимо. *(Выходит в прихожую, и задумчиво, горько.)* А мне… мне вовсе не смешно. Эх, Анюта, Анюта! Что ты со мной сделала? Куда я теперь себя дену, если не посадят?.. *(Идет к Боярову, и тепло.)* Трудно?

Бояров *(в смятении).* Трудно.

Махоткин. Мне тоже. *(Садится на стул.)* Ты вот хотел, чтобы и волки сыты и овцы целы, а получилось — «соглашатель». Понятно. И за то тебя могут снять: вроде бы ты — двурушник образовался. Это они тебе там придумают… Конечно, горе. Вот ты и сидишь один, кукуешь. Понятно. А у меня хуже — девушку отняли! Эх! Несчастные мы с тобой, товарищ Боярин.

Бояров. Несчастные… Я — не Боярин, я — Бояров…

Махоткин. А Свищ — паскуда.

Бояров *(с опаской).* А Иванов?

Махоткин. Иванов… Не-ет, Иванов — человек. Ему можно сказать в глаза все. Расправился бы я с ним, — и хотел! — но не могу: он — человек! А я — слабак оказался, полчеловека. Ведь как она меня любила! А вот видишь: значит, не за что. Зачем такому жить на белом свете? Как ты думаешь?

Бояров. Я об этом… никогда не думал.

Махоткин. А кто же за тебя думает? Э, не надо про то… Хочешь, я тебе на прощанье добро сделаю: отвезу на станцию? Ты — постоялец лишний, — чего тебе зря тут и маяться? А мне по пути. Уезжаю.

Бояров. На чем?

Махоткин. На тракторе. У гаража Мишкин трактор стоит, ДТ-54, — через пять минут заведу.

Бояров. А где сядем?

Махоткин. На прицеп, в тележку. Хуже, конечно, чем на «Волге», но — можно. Двигаться будем медленно, но верно. Пятерку дашь через три часа на станции. Пусть потом председатель подает в суд — угнал трактор. *(Скрутил пятерней рубашку на груди.)* За Анюту…

Бояров *дает пятерку.*

Лапкин*, помаявшись, бредет уныло из своего номера к* Боярову.

Лапкин *(покаянно).* Аким Карпыч… обидел я вас спросонья… *(Падает на колени.)* Черт попутал… Простите!..

Бояров *(растроганно).* Встаньте, встаньте, мой добрый Михей Харитоныч. Пусть это был сон. Встаньте.

Лапкин *(вставая).* Не могу без вас жить…

Бояров *(обнимая).* Нельзя нам друг без друга. Такова жизнь. Начнем все снова…

Лапкин. Начнем. Вот так, рядом, и пойдем в коммунизм.

Бояров *(Махоткину бодро).* Заводи трактор. Ставь Фасул на прицеп!

Махоткин *(наблюдавший сцену прощения, решительно).* Не повезу я вас. *(Боярову.)* На твою пятерку! *(Лапкину.)* На и твой трояк!.. Четверть-человеки… *(Выходит в прихожую, нечаянно оставив дверь полуоткрытой, задумался.)*

Бояров *и* Лапкин *опешили: смотрят друг на друга, держа кредитки кончиками пальцев. Короткая пауза. Каждый прячет деньги в карман.*

Бояров. А?

Лапкин. Вы — о чем?

Бояров. Где же правда?

Лапкин. В дружбе, Аким Карпыч.

Бояров. А что дальше?

Лапкин *(пальцем вверх).* Надо пробиваться!

Махоткин *(все слышит).* Что бы мне с ними за это сотворить?

Бояров. Именно пробиваться.

Лапкин. Но вперед не забегать, сзади не отставать и в середке не толпиться. Не удивляйтесь мудрости жизни: сбоку, сбоку, Аким Карпыч, сбоку все видно — куда идти и куда поворачивать.

Махоткин, *резко повернувшись, идет в номер* Лапкина, *смотрит под стол, под койки.*

Бояров. Да вы… вы — гений! Да ведь это же — линия жизни! Не уходите. Будем вместе. Кто его знает, что он задумал, Махоткин. Вот диванчик свободный.

Лапкин. Пойду, возьму чемодан. *(Идет к себе.)*

Махоткин *(берет из-под кровати чемодан и указку).* На прощанье повешу на скворешню для обозрения. *(Встречается лицом к лицу с Лапкиным.)*

Лапкин *(растерянно).* Позвольте, позвольте…

Махоткин. Твой? А я откуда знал? Раз твой — возьми. *(Передает.)* Постой. Скажи председателю, что я — вор. Скажи, не бойся. Пусть — вор! Нет, погоди… *(Преграждает путь.)* Звони 0–34, милиционеру. *(Теснит Лапкина к телефону.)* Бери трубку и говори: Махоткин украл чемодан. А я тут еще кое-что прихвачу.

Лапкин. Замнем?

Махоткин. Ну! Уж!..

Лапкин *(набирает номер, и в трубку).* Товарищ милиционер?.. Махоткин украл чемодан… Лапкин… Да, да… Тут, тут… *(Кладет трубку, вскакивает к Боярову.)* Ложитесь! *(Запирает дверь ключом.)* Он грабит гостиницу!

Моментально ложатся:* Бояров *на кровать,* Лапкин *на диван.

Пауза. За окном дождь, сильный ветер.

Махоткин *(тоскливо).* Нет мне без тебя места на земле…

Входит* Анюта*, смотрит на Махоткина в спину.

…Все постыло. Теперь насовсем прописан в хулиганах. Конец. Загубила ты меня, Анютка — голубые глаза. *(Резко обернувшись.)* Ты?!

Анюта *(смущенно).* Мама послала… все ли тут в порядке…

Махоткин *(мрачно).* Теперь будет так: где Иван — там «порядок».

Анюта *(тепло).* Ты куда убежал-то? Зачем? Махоткин. Сама знаешь. Чего и спрашивать? Анюта. Я боялась. Ты ведь — вон какой… Еще и беды наделаешь. Я ведь тебя… Разбойник ты мой… Боль моя…

Махоткин. Анюта! *(Обнимает, целует.)*

Анюта. Ваня… Ты — хороший… Я знаю. Но только надо бы тебе…

***Быстро входит* милиционер.**

Милиционер. Чемодан брал?

Махоткин. Брал.

Милиционер. Теперь-то ты, братец мой, не увильнешь. Где чемодан?

Махоткин. Отдал обратно. Отняли…

Милиционер. Как так — обратно? Ты же мне нутро вытянул, а посадить не за что! Ну, что делать?

Махоткин. Работать надо, честно трудиться на посту, соблюдать дисциплину.

Милиционер. Следуй за мной, ненормальный.

Махоткин. Нет, погоди. Запишешь в акт, что буду рассказывать про постояльцев? Если нет — не пойду: волоки за ноги — отвечать будешь.

Милиционер. Никакого акта. Сигнал поступил, ущерба нет — обязан взять с тебя объяснение и с потерпевшего. Потом видно будет.

Махоткин. А Иванов на меня заявлял?

Милиционер. Ничего не заявлял.

Махоткин. А копию объяснения моего дашь?

Милиционер. Ладно. Дам.

Махоткин. Теперь можешь даже бить — не пикну. Я сам, лично, повезу объяснение на самого себя в Москву: как жил и до чего докатился. Повезу сам! И еще добавлю: дайте в морду разрушителям лесов и рек! Дайте нам культуру, а не поделки ее. И мы останемся тут навечно. Мы жить хотим, а не только работать! К чертям мне — большие заработки, если у меня душа пустеет!.. И про постояльцев в нашей жизни расскажу. Все расскажу!

Милиционер. Мне тоже от иных постояльцев — одна морока… Ну, ты вот что: ночь с тобой канителиться неохота, а завтра к девяти утра — в участок. И без никаких выкрутасов. Я — один на два села, а вас… Да нет — уж немного осталось. *(Вздыхает.)* Уезжают… и уезжают. За этот год и была только одна свадьба. Э! *(Уходит.)*

Анюта. А правда, он — хороший человек.

Махоткин. Ну, примерно, такой, как и я. *(Обнимает.)*

***Входит* Иванов.**

Иванов *(слегка выпивши, увидев Анюту и Махоткина, деланно весело.)* Ах-ах! Вечер добрый, дорогие товарищи! Не думал, что вы рядышком, как воробушки, — перышко к перышку. Чик-чирик вам! *(Резко сменив выражение, с тоской.)* Эх! М-м-м… *(Медленно идет на Махоткина, и зло.)* Так кто же кому наступил на душу: я — тебе, или ты — мне?

Махоткин. Леонид Петрович… беру трактор обратно. Могу обязательство подписать на двадцать пять лет.

Иванов. Не верю я тебе ни на грош.

Анюта. А я… верю.

Иванов. Веришь?.. А мне, значит, не веришь… Что ж, Иван, трактор бери. *(Идет к выходу.)* Подумай, Анюта, куда суешь свою голову.

Анюта. Леонид Петрович… Не уходите!..

Иванов, вздрогнув, резко останавливается, не оборачиваясь.

…Нет, нет. *(Обнимает Махоткина и тревожно, сквозь слезы.)* Я тебя, только тебя одного буду любить, погибель ты моя…

Махоткин *(глядя на Иванова, Анюте).* Не надо так. Чего ты? Твердо говорю: на всю жизнь!

Анюта *и* Махоткин *уходят.*

Иванов *(вслед, задумчиво).* Вот тебе и озорная, и недоступная: вся сникла, вся подалась… И страшная, и радостная, и тяжкая эта штука — любовь… «На всю жизнь»?.. *(Твердо и решительно.)* Это мы еще посмотрим!..

Пауза. Светает. Прокричали петухи. Вслед за ними трактор потревожил послегрозовую тишину. Приближается и удаляется звук автомобиля. Ритмично, как часы, и настойчиво застучал двигатель. Звонко заржал жеребенок, и ему ответила кобылица. Застучал в кузнице молот. Дневные звуки нарастают все требовательнее. Они зовут.

…Вот уже и утро. Новый день настает. Дни идут за днями — беспокойные дни. Годы уходят за годами — тревожные годы. Люди, маленькие и большие, приходят и уходят. А жизнь все равно идет.

***Входит* Силков.**

…Она стучится в сердце каждого. И только глухие сердца остаются глухими. *(Кладет руку на плечо Силкову.)* А сейчас… Сейчас мне снова некогда: я — в поле. И снова я буду требовать от всех. Мне нужны все!.. Но нужен ли я кому-нибудь?

Силков. Нужен, Леонид Петрович, нужен! Всем нужен.

Иванов. Спасибо, Тарас Палыч. За все спасибо. *(Уходит.)*

Силков *(один).* Вот те и на! Тарасу — Тарасу! — сказано «спасибо». Ведь это только подумать! *(К публике у авансцены.)* А при чем тут Тарас! Рассудите сами, добрые люди.

Занавес.

КОНЕЦ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Киносценарий

Поле в конце марта. Еще лежит снег, ослепительно отражая лучи солнца, но кое-где на гребнях пашни видны пятна земли. Под снегом, где-то внутри, журчит тонкий ручеек, выбившийся на поверхность у самой дороги.

Поле широкое-широкое. Уже почерневшая зимняя дорога уходит к горизонту. На дороге первые вестники весны — грачи. Вдали на белом фоне чернеют лесные полосы.

По дороге идет девушка. Зимнее пальто на ней распахнулось, шарф на плечах, в руках чемоданчик. Она остановилась, окинула взглядом поле, глубоко вздохнула, улыбнулась:

— Здравствуйте, грачи!

Ветерок слегка шевелит волосы девушки. Лицо у нее веселое и беззаботное. Увидев близ дороги малюсенький ручеек, присела на чемоданчик.

Показалась подвода. Девушка встала. Шустрая лошаденка, запряженная в сани, бежит мимо.

— Товарищ! — кричит девушка.

Ездовой останавливается. Он развалился в санях. Треух сдвинут набок, добротный полушубок расстегнут. Это Григорий Хватов — Гришка Хват.

— Ну, чего там? — высокомерно спрашивает он.

— Вы — не в колхоз «Новая жизнь»?

— Туда. А что?

— Подвезите, пожалуйста…

— А чего тебе там делать?

— Я из института. На практику.

— Хы! — ухмыляется Хват. — Практиканша. Тебя как зовут?

— Тося.

— Хы! Тося! Антиресно! Значит, если ты Тося, то я тебя вези за так? Хы! — Он стегает коня. — Четвертной гони — подвезу!

Тося опять одна. На глазах у нее слезы.

Вскоре снова показывается лошадь. В санках Евсеич и агроном Петр Кузьмич Шуров. У Шурова на коленях пухлая полевая сумка. Едут шагом.

— Смотри, Кузьмич, девушка вроде бы идет?

Петр Кузьмич смотрит, приподнявшись.

— А ну, догоним, Евсеич.

Тот помахал кнутом и натянул вожжи.

— Тпр-ру-у! Ишь ты, какой горячий… Здрасте вам! — кланяется Евсеич. — Садитесь, девушка, подвезем!

Тося в нерешительности мнется.

— Садитесь, — приглашает Шуров.

— А сколько вы с меня возьмете?

— Какие там деньги! — говорит Евсеич.

Шуров внимательно смотрит на Тосю. Она садится в сани.

— Вам далеко? — спрашивает Евсеич.

— В колхоз «Новая жизнь».

— Это по какому делу? Иль родичи есть? — допытывается он.

— Я на практику.

— На какую практику? — спрашивает Шуров.

— В колхоз. Я кончаю сельхозинститут. Меня прикрепили к агроному Шурову Петру Кузьмичу.

— Ага, понятно… Молодая агрономша, значит, — говорит Евсеич.

— Еду вот и не знаю, к кому еду, — говорит Тося. — Один колхозник спросил с меня двадцать пять рублей, чтобы подвезти.

— Не может того быть! — восклицает Евсеич. — Какой он из себя?

— Такой: треух на боку, губы — так, нос — так… — Тося очень похоже изображает Хвата.

— Гришка Хват! — говорит Евсеич, качая головой. — А ты не сокрушайся, девушка, — успокаивает он. — Как тебя зовут-то?

— Тося.

— Я тебе скажу, Тосенька, так: во всяком чину по сукину сыну. Есть и у нас в колхозе тихие хлюсты. Есть, девушка.

— Но таких единицы, — поправляет Шуров.

— Ясно дело, вроде чирья на неудобном месте: и прыщ-то небольшой, а беспокоит.

— Нам, агрономам, приходится заниматься и этими нарывами.

— Вы агроном? — удивленно спрашивает Тося.

— Агроном.

— Так вы небось знаете и Шурова Петра Кузьмича?

— Я и есть Шуров Петр Кузьмич.

Тося от неожиданности рывком привстает в санях. Евсеич кричит «тпру-ру-у» — и сани останавливаются.

— Что же мне делать? — растерянно спрашивает Тося.

— Продолжать практику. Мы уже ее начали, — говорит Петр Кузьмич.

— Ельникова Тося! — Она в смущении подает ему руку.

— Евсеич — сторож зернохранилища колхоза «Новая жизнь», — весьма официально представляется Евсеич и тоже протягивает руку. — Эй, ты, орел! — обращается он к Ершу. — А ну, давай рыси!

Сани въезжают в село. На обочине вывеска — «Колхоз „Новая жизнь“». Здесь на солнцепеке капает капель с крыши, кричат грачи, бежит ручеек, поет петух. Сани проезжают мимо школы, клуба, электростанции и въезжают в центр села. Здесь оживление. Уже прибыл тракторный отряд. Трактористы опробуют тракторы, хлопочут у тракторных сеялок и плугов. Около гаража ремонтируют автомашины. Колхозники везут сено в колхозный двор. Из двора вывозят навоз.

Около зернохранилища триеруют зерно. Приближение весны ощущается в озабоченности, хлопотах людей, в ручейках и проталинах. Слышится первая трель жаворонка.

— Тпр-ру-у! Слышь, Кузьмич, жаворонок! — говорит Евсеич.

Все трое смотрят вверх, остановившись почти рядом с тракторной сеялкой. Около сеялки стоят Терентий Петрович с гаечным ключом в руках и тракторист Костя Клюев. Они тоже подняли вверх головы в поисках первого жаворонка.

— Во-он! Видишь? — показал Терентий Петрович пальцем в небо.

— Во-он! — подтверждает Костя. — И птица же! Кроха, а не птица!

Небо. Просторное, глубокое, голубое-голубое, с белыми облачками-барашками. Много света, много солнца.

— Ни один человек не обидит такую птичку. Ласковая птичка, веселая! Точно, Костя! Такая птичка незаменимая в сельском хозяйстве. И поет-то она только днем, когда человек работает.

— Весна, — говорит Шуров.

Терентий Петрович поворачивается к нему.

— Петру Кузьмичу! Заждались. Где вы там запропали?

— Совещание было, Терентий Петрович. Три дня совещались.

— И это в самые горячие дни?

— Ничего не поделаешь.

— Да-а-а, — задумчиво произносит Терентий Петрович. — Разве ж мыслимо — три дня! Точно говорю, немыслимо.

— У вас что-то случилось?

Терентий Петрович достает из ящика шестеренку от сеялки.

— Вот, старую, бракованную поставили. А потом скажут: прицепщик Терентий Петрович виноват — плохо посеял.

— Безобразие! — возмущается Шуров.

— Вот и я говорю — безобразие! А Самоваров и в ус не дует.

— Надо сейчас же послать верхового в МТС и заменить деталь. — Шуров что-то записывает в книжку. К нему подходит Настя Бокова.

— Петр Кузьмич! Второй день мучаемся: триер много гонит во второй сорт.

— Чего же не остановите?

— Самоваров запретил: «все в одну точку», говорит. Вот и гоним все зерно «в одну точку».

— Пошли, — говорит Шуров и шагает с Настей через площадь.

— Петр Кузьмич! — кричит бригадир Катков.

Шуров остановился.

— Привет, Митрофан Андреевич! Что случилось?

— Да то случилось, что план сева, который мы с вами составили по бригаде, Самоваров переделал.

— Как переделал?

— Негоден, говорит.

— Тьфу! — плюет Шуров и идет дальше вместе с Катковым и Настей.

Около саней, на том же месте, где они остановились, стоят Тося и Евсеич. Тося загрустила: Шуров забыл о ней. Она смотрит ему вслед и говорит:

— А куда же мне?

— А ты за ним, девушка, — говорит добродушно Евсеич, — куда он, туда и ты. Вот и будешь присматриваться, прислушиваться, подучаться. Ей-бо! Он ведь теперь до ночи пошел. Три дня не побудет в колхозе, так они его окруженяют теперь: тому то, тому это, там не так, там не эдак.

— Он же сам пошел, — нерешительно возражает Тося.

— То-то вот и сам… Ни ухождать за ним некому, ни приголубить.

Тося смотрит на Евсеича.

— Он одинок? — спрашивает она.

— Один. Отца убили на фронте. Мать померла… Не дождалась сына с войны.

Тень грусти легла на лицо Тоси. Она неожиданно для Евсеича быстро пошла к Шурову, к группе колхозников и трактористов, собравшихся вокруг него у зернохранилища. Евсеич один остается у саней.

— Добрая, видать, девушка. Их дело молодое. Ну, пущай… Поедем, Ерш, на конюшню, поедем!

Тося идет к зернохранилищу. Ее обгоняет на коне Алеша Пшеничкин. Он оглядывается на нее и круто осаживает коня вплотную около Тоси.

— О! Чья же это такая?

— Чужая, — отвечает Тося и задерживает наезжающего на нее коня под уздцы.

— У нас чужих нет, все свои! — парирует Пшеничкин.

Тося недоверчиво смотрит на него, так же, как на Хвата в поле.

— Жаворонок! — вдруг произносит Алеша, подняв голову.

— Жаворонок! — подтверждает Тося. — Я второй раз слышу.

— Весна пришла! — пытается продолжить Алеша неудачно начавшийся разговор.

— Весна… — говорит Тося. — И хорошо… и…

— Что «и»?..

— Не знаю.

Они подходят к зернохранилищу рядом, беспечно разговаривая. Шуров видит их и приветливо говорит:

— Что, уже познакомились?

Слышится дружный смех и голос Насти:

— Игнат опять отказался!

При этом возгласе Пшеничкин бросается к двери, у которой стоит Игнат Ушкин, опершись на деревянную лопату.

— Ты что, Игнат? Или и эта работа не по нраву?

— А ты попробуй сам выгребать зерно из закрома.

— Знаю, пробовал не меньше тебя.

— Вот и хорошо.

— Что хорошо?

— Не буду выгребать зерно, — невозмутимо говорит Игнат, — пылища там, как в аду: дых сперло. И рука развилась. Давай другую работу.

— Тьфу! — плюет Пшеничкин. — Не дам никакой работы!

— Ну и ладно. Пойду домой.

Под общий смех Игнат медленно и лениво пошел домой, волоча за собой лопату.

— Дых сперло, — повторил он. — Я тоже человек, а не противогаз.

— Игнат Прокофьевич! — окликнул его Шуров.

— Ну? — обернулся тот.

— А кто же будет работать за тебя? Зерно-то надо выгребать?

— Надо.

— Весна дружная — через недельку-другую сеять будем. Семена для прогрева приготовить надо?

— Надо.

— Кто же будет работать? Ты не хочешь пыли. Другой не захочет…

— Да, да… Плохо, плохо…

Шуров спокойно убеждает:

— Может, сегодня поработаешь, а на завтра подумаем? Весна. Сев. Понимаешь?

Игнат медленно-медленно возвращается, глядя под ноги. Он нагнулся на проталине, внимательно посмотрел и вдруг торжественно заявил, показывая в двух пальцах сорванную зеленую травинку:

— Травинка! Снег еще не сошел, а травинка!

Все улыбаются: Игнат умеет «заговаривать зубы». Он принялся за работу, но работает «шаляй-валяй». Тося, указывая на Игната, спрашивает Пшеничкина:

— Он в вашей бригаде?

— Горе мне с ним! Ни на одной работе не удержишь.

Игнат прислушивается к их разговору, лениво шевеля лопатой. К нему подходит Никишка Болтушок:

— Товарищ Ушкин! Поскольку ты приступил к работе, постольку ты должон работать, а не шевелить лопатой, как вол хвостом. Что есть лопата? Лопата есть орудие для рук человеческих, которая может и должна оказать помощь в подготовке к нашей дорогой посевной кампании.

Игнат делает блаженное лицо, изображая, что он слушает знаменитого оратора. Он чуть приоткрыл рот, снял шапку, облокотился на лопату. Весь он — сплошная молчаливая ирония по отношению к Болтушку.

— Дорогой посевной кампании, — повторяет он за Болтушком.

— Товарищи женщины! — обращается Болтушок к работающим женщинам и развертывает блокнот, видимо, с намерением говорить «речь».

— Кто это? — спрашивает Тося.

— Никифор Пяткин, — отвечает Алеша.

— Никишка Болтушок, — поясняет Евсеич, появившийся снова невесть откуда. — Яйцо такое бывает бесполезное — болтушок.

— Товарищ Пяткин! — окликает Шуров, перебивая Болтушка.

— Некогда, — отвечает за Пяткина Игнат. — Сейчас «углублять» будет и «глянет внутрь».

Но Никишка услышал Шурова, оторвался от блокнота и произнес:

— Перервусь на несколько минут.

Никишка важно подходит к Шурову и другим:

— Агрономическому персоналу, борцам за семь-восемь миллиардов — пламенный привет! — говорит он серьезно, шмыгая конопатым, как перепелиное яичко, носом. — Какой вопрос будем дебатировать? — И бесцеремонно садится на штабель мешков, выше всех. Закуривает, сосредоточенно курит, сплевывая в сторону.

— Дело вот в чем, — говорит Шуров. — Забронированного к весне сена оказалось меньше, чем числится по сводкам. Вы были в комиссии по обмеру стогов. Не можете сказать мне данные обмера? Надо вновь подсчитать.

— Значит, дебатировать вопрос насчет сена. — Болтушок вздохнул, взялся двумя пальцами за подбородок, потупил взгляд в землю и продолжал: — Та-ак! Все эти вопросы мы с вами оследовать имеем полный цикл возможности, тем более, я, как член комиссии, имел присутствие при обмере и освещение вопроса могу произвести.

Тося и Пшеничкин, отвернувшись, фыркнули в ладони, глядя друг на друга. Евсеич, потряхивая кнутовищем, глядит то на кнут, то на Болтушка.

— Да не дебатировать нам надо, — говорит Шуров. — Есть ли у вас записи обмера?

— Как?..

— Записи обмера.

— Та-ак!.. Обмеры сдали в правление, а вопросительно качества — знаю, уточнить надо и согласовать надо… Надо на заседании правления — обсудить в корне…

— У меня дел много — некогда «дебатировать». Люди работают, а вы дебатировать собираетесь.

Болтушок обиделся. Морщинки на лбу прыгнули вниз. Игнат зашел позади штабеля, на котором сидит Болтушок.

— Не-ет! Пойдемте в правление, сядем честь по чести и продебатируем согласно формы. Что есть форма, товарищи!.. Не нами придумано — не нам и отдумывать назад. Мы должны со всей силой…

Но в этот момент Игнат вытащил мешок с противоположной стороны штабеля. Штабель развалился, и Болтушок, при последних словах, покатился вместе с мешками вниз.

— Да ты не падай! — «поддержал» его Игнат. — Разве ж можно на штабель садиться? Ай-яй-яй! Только начал «уточнять», и вот тебе раз: «всей силой» рюхнулся. Беда-то какая.

Он говорит невозмутимо, будто ничего не случилось, и начинает шевелить лопатой зерно.

Смеются в зернохранилище, смеются у триера, смеются Шуров и Пшеничкин. Тося смеется от души. Но Игнат не двинул и бровью. Болтушок отряхнулся, залез за шиворот пальцем, покрутил шеей.

— Ты что ржешь? — обратился он к Тосе. — Слыхал — агрономша. Ученый человек не должон уметь смеяться. А ты! За что мы вам и деньги платим?!

Тося смущена и обижена.

Болтушок важно уходит.

Шуров, Пшеничкин и Тося идут в правление. Тося в середине.

— Вы не обращайте внимания на Болтушка, — говорит Алеша.

— Нельзя не обращать внимания, — перебивает Шуров. — Надо проникнуть в самую суть человека.

Тося недоуменно смотрит на Шурова.

— А это что — входит в обязанности агронома?.. А Я думала так: главное — агротехника, урожай… Практика…

— Самая необходимая практика, Тося, — научиться узнавать людей. Будет вам и агротехника, и урожай. Все будет. А сейчас пока устроим вам квартиру, — говорит Шуров.

— Обратимся к Прохору семнадцатому, — загадочно говорит Алеша. Он пробует улыбнуться, но с досадой произносит: — Эх!

— А кто такой «Прохор семнадцатый»?

— Тс-с… — предупреждает Шуров Алешу и объясняет Тосе тихо: — Семнадцатый председатель, начиная с организации колхоза. Было даже так: два председателя за один год сменилось.

— А Самоваров давно в колхозе?

— С месяц всего-навсего, — отвечает Шуров.

— В артели жестянщиков его прозвали «королем», дополнил Алеша.

— Да-а, — многозначительно произнес Шуров. — Ну! — сразу весело заговорил он. — К Самоварову насчет квартиры.

Правление. Большая комната. Счетовод Херувимов приветствует вошедших и подает поочередно руку.

— Дома? — спрашивает Шуров, указывая кивком на дверь с табличкой «Председатель колхоза тов. Самоваров П. П.».

Шуров легонько стучит в дверь.

— Кто? — вопрошает зычный бас.

— Можно?

— Кто, спрашиваю?

— Шуров.

— Подождешь. Занят.

Все трое садятся на лавку.

— Что это значит? — спрашивает Тося.

— Обычное явление, — отвечает Шуров.

Входит Катков Митрофан Андреевич со свертком в руке. Знакомится с Тосей. Развертывает сверток на столе.

— Вот, Петр Кузьмич, — говорит он тихо. — В этом поле велит сеять свеклу по весновспашке, а вику переносит на зябь. И картофелище велит пахать на тридцать сантиметров — не мельче — под овес. А ваш план — фьюить!

— Интересно, — говорит Шуров.

Все присутствующие наклонились над планом. Алеша спрашивает:

— А как вы думаете, Петр Кузьмич?

— Думаю так, чтобы урожай был больше. Понятно?

— Воевать придется? — вопросительно говорит Катков, указывая на табличку на двери председательского кабинета.

— Да, — отвечает Шуров.

— Война так война! — горячо говорит Катков и стучит в дверь: — Можно?

— Кто? — тем же тоном спрашивает Самоваров.

— Катков.

— Подождешь. Занят.

Снова все сели.

— Сидеть нам некогда, товарищи, — говорит Шуров и встает. Он решительно открывает дверь в кабинет и приглашает жестом присутствующих.

Самоваров сидит за письменным столом в кресле. Сбоку от него, на стене, на трех гвоздиках навешаны бумаги, инструкции и распоряжения. На столе толстый справочник. Самоваров накалывает на гвоздь последнюю бумагу и говорит входящим:

— Занят, говорю. Ну и люди! Прутся безо всякого резону. Никак не приучишь к порядку.

— Некогда. Посевная на носу, Прохор Палыч, — возражает Шуров.

— А мне — не посевная? Голова раздулась от мышления — во! — И Самоваров показывает, как у него раздулась голова.

— Чем же вы сейчас были заняты, простите за нескромный вопрос? — спрашивает Шуров.

— Мозговал… Прикидывал, подсчитывал, ну и… плановал. Я, брат, если сказал — дам по двадцать пять центнеров с гектара, — так и будет. Я полагаю — будет.

— Это хорошо! Очень хорошо, — с оттенком иронии говорит Шуров.

— Во-от… Так и будет. Все в одну точку! Ну, давайте — что у вас там… так и быть, приму без очереди, как руксостав колхоза… Это кто? — указывает он на Тосю.

Тося подает руку.

— Тося.

— Ишь ты! Тося. Здорово! Это не ты звонила со станции вчера насчет подводы?

— Я.

— Не мог, не мог. Лошадям дела — по глотку, людей не хватает. Некого, некого послать, дорогая. Автомашины нельзя — дорога вот-вот ухнет. Я полагал, дойдешь пешком. Вот и дошла. Если я сказал — дойдешь, значит, дойдешь!

— Мне квартиру надо.

— Квартир нету — гостиницу еще не построил. Вот построю — милости просим! Коечку, душ и тому подобное. Здорово, а?

— По договору с институтом колхоз обеспечивает квартирой, — говорит Шуров, обращаясь к Самоварову.

— А где тот договор?

— Вы же его читали и наложили резолюцию «утвердить».

— Писал резолюцию?

— Писал.

— Ишь ты! Забыл. А может, не писал?

— Нет, писал.

— А может, и писал. Тут голова идет кругом… — Херувимов подкладывает Самоварову на подпись бумажки. — Тому подпиши, тому дай, этому резолюцию… М-да-а… Раз писал, то… (думает), то пущай к Григорию Егорычу Хватову станет. Хозяин хороший, хозяйка — во! Граммофон есть. Патреты разные висят.

— Это тот, что сегодня ехал со станции? — спрашивает Тося.

Шуров утвердительно кивает головой.

— Я к нему не пойду, — решительно говорит Тося.

— По какой такой причине? — спрашивает Самоваров.

— Не хочу.

— Та-ак… — Самоваров продолжает подписывать бумажки. — Ну, ночуй пока в правлении, на столе. Разрешаю.

— Ка-ак? — недоуменно спрашивает Тося.

— В правлении, — отвечает Самоваров. — Солдат в окопах ночует, и то ничего.

Шуров возмущенно:

— Прохор Палыч!

— Я сказал. Давай следующий. У тебя что? — тычет он в Каткова.

— У нас у всех одно дело: насчет плана сева. Не согласны с вашим изменением, — говорит Шуров.

— Что-о?! Это не я изменил, а ты… Ты и яровую пшеницу хочешь сократить — против районного плана идешь. И бригадиров подстроил! Ну, смотри, Шуров! Я не таким рога скручивал. Я полагаю, ты на вредный путь тянешь колхоз.

— Рога крутить — дело нехитрое, — говорит Шуров. — А «вредный путь» надо еще доказать.

— Я не буду сеять свеклу по весновспашке! — крикнул Алеша.

— Да и я, наверно, картофелище пахать не буду под овес, — спокойно говорит Катков. — Там уже была глубокая пахота.

— Ух ты! Раскричались! — Самоваров в упор смотрит на Шурова.

Тот спокойно выдерживает его взгляд и говорит:

— Весна предполагается сухая: глубокой весновспашкой мы высушим почву и можем погубить урожай.

Самоваров резко встает, сдергивает бумажку с гвоздика и бросает ее Шурову на край стола:

— А это что? Инструкция о весеннем севе. — Сдергивает бумажку с другого гвоздика. — А это что? Директива райисполкома о глубокой весновспашке. А это что? — сует книжку Шурову. — Спра-авош-ни-ик?! Та же инструкция… Эх ты! Агроном! — иронически продолжает он. — Ни черта ты не смыслишь в руководящем деле. Да и насчет агротехники — того… — он крутит пальцем перед своим лбом и смеется.

Шуров подошел вплотную к Самоварову:

— Вы понимаете, что значит — жить только по инструкции?

— Пятнадцать лет живу — понимаю. Ишь ты!

— Вы понимаете, что мы имеем дело с живыми растениями, а не с кирпичами?

— А ты понимаешь, что мы имеем дело с… начальством? — И указывает на стену с гвоздиками, увешанными бумажками.

Катков во время этого разговора внимательно следит за Самоваровым и Шуровым, как бы оценивая противников.

Шуров что-то сообразил, о чем-то догадался: он раскусил, с кем имеет дело, и это выразилось в том, как он покачал головой, как безнадежно махнул рукой и многозначительно заключил, отвечая на вопрос Самоварова:

— Теперь понимаю… Говорить нам не о чем.

Самоваров стучит ладонью по столу:

— И не надо! Работать надо, а не говорить!

— Да, — отрывисто сказал Шуров и тоже, пристукнув ладонью о край стола, решительно вышел.

Алеша, посмотрев на Самоварова и на спину уходящего Шурова, толкнул Тосю, и они вышли за Шуровым.

Катков смотрит на Самоварова. Самоваров сухо:

— Интеллигенция! Нервы-маневры! Подумаешь!

Катков Самоварову:

— Так нельзя. Шуров — опытный агроном. И он отвечает за агротехнику в колхозе.

— И ты на меня, секретарь парторганизации? Валяй, валяй! Это называется — поддержал авторитет… Знаешь что, Катков?

— Что?

— Пошел бы ты к такой бабушке! У меня инструкции точные.

— Ну что ж, — спокойно говорит Катков, — посмотрим, как жизнь покажет.

По селу идут Шуров и Тося. Заходит солнце. Небо чистое.

— Завтра день будет хороший, — заботливо говорит Шуров. — Сгонит снег. Спешить надо, спешить…

Тося задумчиво:

— Трудно вам, Петр Кузьмич, мешают… Да и со мной приходится возиться…

— Где трудно, там жить горячо.

— А мне пока жить негде, — говорит Тося улыбаясь.

— Ничего, между небом и землей не будете. Хороших людей-то больше.

Хата Евсеича. На пороге Евсеич с собакой Найдой. Шуров и Тося подходят к хате.

— Э, знакомые люди! — приветливо встречает Евсеич. — А ну, Найда, здоровайся с гостями.

Собака поочередно подает лапу пришедшим.

— К вам, Евсеич. Квартирантку возьмете?

— Да батюшки мои! А почему и не взять? Возьмем.

— Ну, я пойду, Тося, — говорит Шуров. — Мне надо еще к Каткову в бригаду попасть.

Шуров подает Тосе руку. Она задерживает его руку в своей и говорит:

— Правда, хороших людей здесь больше.

Шуров уходит. Тося смотрит ему вслед.

Евсеич уходит в хату. Тося одна. Багровый закат. Тишина.

Шуров идет по улице. Ему встречается Алеша.

— Бегаешь? — спрашивает Шуров.

— Бегаю: на завтра наряд даю.

— Дал?

— Дал.

— Куда же теперь?

— Тосю не видели?

— А что?

— Квартиру ей нашел. Катков не возражает — к себе.

— У Евсеича устроилась.

— А-а… Ну, побегу, узнаю, как устроилась. Может, чего надо помочь.

Алеша быстро уходит. Шуров смотрит ему вслед и говорит:

— Ну и хорошо…

А весна входила в свои права…

Снег сошел. Река разлилась. Ребятишки устанавливают скворешню. Воскресный день. По улице идут девушки и парни. Поют

песни. На крыльце у Евсеича — Тося, Алеша, Петя. Евсеич выходит на крыльцо и говорит:

— Денька через два начнем сеять. Кажись, все готово: семена, трактора, кони…

Мимо крыльца идет Терентий Петрович. Он остановился перед крыльцом. Он чуть-чуть подвыпивши.

— Мое вам почтение, хорошие люди! — обратился он к стоящим на крыльце. — С последним воскресеньем перед севом! Желаю вам добро отдохнуть!

— А ведь он чуть выпивши. Обязательно «в обход» пойдет! — восклицает Петя тихо, но весело.

Терентий Петрович удаляется.

— В какой «обход»? — спрашивает Тося.

— Бывает у него это раз в год, — отвечает за Петю Евсеич. — Так-то — человек не пьющий, но если выпьет, то держись! Тогда в «обход».

— Но! Будет дело! — кричит Петя и бежит в сторону Терентия Петровича.

— Пошли, Тося! — увлекает ее Алеша.

— Пошли! — весело говорит она.

Кто-то из молодежи крикнул:

— Терентий Петрович в обход пошел!

Молодежь бежит. Спешат и пожилые, и поодиночке.

Хата Гришки Хвата. Крепкие ворота на засове. По двору, на рыскале, бегает рыжий пес. Забор. Окна с наличниками. Видимо, хозяин живет богато. Терентий Петрович стоит против хаты. На отшибе от него группа колхозников, молодежи, ребятишек. Среди них Тося, Алеша Пшеничкин, Петя, Евсеич, Костя Клюев.

— Товарищи! — начал Терентий Петрович, обратившись к собравшимся. — Не такой уж я хороший человек и не такой уж вовсе плохой. Точно. Смелости не хватает у меня. Но когда выпью, то тогда… — он поднял палец вверх, покрутил им над головой. — Только тогда, товарищи, у меня ясность мысли и трезвость ума. Точно говорю! — Он снова повернулся лицом к хате и продолжает: — Здесь живет Григорий Егорович Хватов. Слухай, Гришка!

Двор Хвата. К забору прижался Хват. Лицо у него злобное. Слышится голос Терентия Петровича:

— Слухай, что скажу! Тебе поручили резать корову на общественное питание к посевной.

Гришка вздрогнул.

Терентий Петрович продолжает:

— А куда ты дел голову и ноги? Унес. Украл! Ты думаешь, голова и ноги пустяк? Три котла студня можно наварить для бригады, а ты слопал сам.

Все слушают с улыбкой. Только Евсеич и Шуров, стоящие в сторонке, серьезны и сосредоточены.

— Нет в тебе правды ни на грош. Точно говорю! Если ты понимаешь жизнь, ненасытная твоя утроба, то ты не должен тронуть ни единой колхозной соломинки, потому;— там общее достояние. А ты весь студень спер, рыжий леший. Бессовестный!

В группе молодежи смех. Шуров и Евсеич серьезны.

— Подлец Хват, — произносит Евсеич.

— Да… Одно слово — «хват», — говорит Шуров.

— Давно я хотел до тебя дойти, Гришка, да все недосуг. Слухай, что буду говорить дальше, — продолжает Терентий Петрович.

При этих словах Гришка выходит из калитки.

— Здорово, веселые люди! — говорит он угрюмо. — Что это Терентий стал тут?

— А кто его знает, — отвечает сразу несколько голосов.

— Выпил человек — спросу нет, — подтверждает Костя.

Терентий Петрович даже не оборачивается к Гришке, а продолжает стоять против хаты и говорить в ораторском тоне:

— У тебя, Гришка, корова-симменталка дает двенадцать кувшинов молока. Хоть и говоришь «пером не мажу, а лью под блин масло из чайника», но, промежду прочим, на твои двенадцать кувшинов плевать я хотел «с высоты востока, господи, слава тебе!», как поется у попа, — Терентий Петрович передохнул маленько. — Та-ак! А где ты такую породу схапал?

Гришка решительно шагает к Терентию Петровичу и, останавливаясь перед ним, говорит зло:

— Уйди! Плохо будет!

Из группы молодежи выходят Костя Клюев и Петя. Костя стал спиной к Терентию Петровичу, а лицом к Гришке. Он повел могучим плечом и говорит басовито:

— Не замай, Григорий Егорович. Выпил человек — спросу нет.

Гришка меряет взглядом Костю, оглядывается на Петю, пристально и зло смотрит на Шурова и Евсеича и, убедившись в своем бессилии, плюет и уходит, хлопнув калиткой.

— Правильно, Костя, — обращается Терентий Петрович к Косте. — Действуем, Петя, дальше!.. Нет, Гришка, ты будешь слухать. Так. Ты взял из колхоза корову, а отдал в обмен свою. Это точно: в колхоз — дохлятину, а себе — породу. Ты за что поишь Прохора Палыча Самоварова коньячком «три свеклочки»? За корову! Нет, Гришка, не пройдет! Этим самым мы колхозную породу переведем. У нас и так недодой молока, а ты махинируешь. Мошенник ты, Гришка, после этого. Точно говорю, товарищи! — заканчивает он и идет дальше.

Терентий Петрович стоит возле дома фельдшера; на крыльце — сам фельдшер Семен Васильевич.

— Здравствуйте, Семен Васильевич, — кланяется Терентий Петрович.

— Здорово, Терентий Петрович.

— Живем-то как?

— Помаленьку… Ничего себе.

— Ну как? Мухам теперь — гроб?

— Гибель. Смерть мухам! — серьезно отвечает Семен Васильевич, а сам нетерпеливо то закладывает пальцы за пояс, то вынимает их.

— Вот я и говорю, если ты есть врач-муходав, то это очень хорошо. Муха — она враг народного здоровья: где муха, там бескультурье. Точно. Муходав — это хорошо, но только зачем же ты кота отравил, Семен Васильевич? А? Кот — животное полезное для домашнего хозяйства. Вы ж сами читали лекцию, что кот — враг мышей, а мышь несет в себе… ту-ля-ре-мию. Так я сказал? Так. А сам кота отравил мышиным порошком. Нет, так нельзя.

— Так то ж случайно. Есть, конечно, вина и наша, неосторожность… На кошкину пищу попала повышенная дозировка.

— А кота-то у меня теперь нет! — восклицает Терентий Петрович. — Сам-то я ловить мышей не способен!

Семен Васильевич, видимо, обрадовался, что дальше кота дело не пошло. Он даже облегченно вздохнул и делает шаг по направлению к Терентию Петровичу.

— Не обижайтесь, Семен Васильевич! Человек выпивший, словам удержу нет. А что касается того, что вы лично с Матрены Щетинкиной взяли петуха, а с Акулины Степановны — окорок, а с Васильевны — гуся, жирного-прежирного, а Матрена Егоровна принесла вам за женские болезни миску сливочного масла, то об этом говорить не будем. В писании у попа так и записано два лозунга: «Дающая рука не оскудеет» и «Отруби себе ту руку, которая себе не прочит». Бабы действуют по первому лозунгу, а вы, значит, по второму. Прошу извинения, Семен Васильевич!.. Не будем об этом говорить. Бывайте здоровеньки!

Семен Васильевич пятится задом к двери, шевелит усами. А Терентий Петрович идет дальше.

Тося и Шуров идут по улице. Позади Алеша и Петя.

— Что за странный человек Терентий Петрович? — недоумевает Тося.

— Честнейший из всех, — говорит Шуров. — Трудолюбив до бесконечности. Он теперь обойдет те дворы, которые заслуживают общественного порицания. Но вот беда: как бы сделать, чтобы смелость приходила к нему трезвому? Я давно об этом думаю.

— И вы обязательно придумаете. Все придумаете! Вы всех насквозь видите.

— Нет, Тося. Я вот и самого себя, кажется, еще не вижу.

Петя толкает Алешу в бок:

— Давай уйдем. Видишь, разговорились.

Алеша стоит потупясь. Петя отходит, по Алеша смотрит вслед Тосе и не двигается с места.

— Ты что, окаменел? Пойдем! — зовет Петя. Он снова возвращается к Алеше. Смотрит на его лицо, сдвигает фуражку на глаза, смотрит вслед Шурову и Тосе.

Маленький, крытый железом, уютный домик Шурова. Палисадничек. Небольшая клумба разбита для посадки цветов.

Шуров и Тося подошли к палисадничку.

— Так. Завтра начинаются напряженные дни — сев. Давайте отдыхать, — Он подает руку Тосе.

Тося опускает глаза. Ей не хочется уходить. Но Шуров не замечает этого. Он пожимает ее руку и говорит:

— До завтра… Думаю закрепить вас на посевную в первую бригаду Пшеничкина. Он самый молодой из бригадиров — ему нужна постоянная агрономическая помощь.

— Вы так заботитесь о нем.

— Алеша вырос на моих глазах… Был в моей роте на фронте… Алеша хороший. Вам с ним будет хорошо.

— А я думала… — Тося запнулась. — Да… Алеша хороший.

Тося смотрит на домик Шурова и спрашивает:

— Может быть, вам моя помощь потребуется? Я бы…

— Не стоит, Тося… Я привык… До свиданья!

Тося уходит. Уже вечереет. Шуров один на том же месте.

У телеграфного столба стоит Терентий Петрович. Он прицеливается на следующий столб, мотает головой, еще раз прицеливается и говорит:

— Дойду. Точно дойду. Ну, Терентий Петрович, смелее! И-их! — И он, выписывая кривую, идет к следующему столбу.

У следующего столба повторяется то же самое. Против Шурова он останавливается. Тот все стоит у палисадника. Терентий Петрович пристально смотрит на него и поворачивает к нему от столба приговаривая:

— Прямо, прямо, на Петра Кузьмича! — Но «прямо» у него не выходит, и он той же кривой подходит к Шурову. — Петр Кузьмич! Дорогой мой! Сказать тебе правду?

— Скажите, Терентий Петрович.

— Любим мы тебя все. Ты человек справедливый. За то и любим. Точно. Трезвый я не позволил бы так сказать, а пьяный сказал. Смелый я сейчас до бесконца. Во! Что в душе есть, то и скажу. Все скажу! Точно говорю.

— Выходит, смелая-то водка, а не вы!

— Но?! — вопросительно восклицает Терентий Петрович.

— Пьяный человек — всегда… по-лу-ум-ный, — говорит отчетливо Шуров.

Терентий Петрович поправляет картуз, сдвигая козырек с уха в надлежащее положение, и уже в полном удивлении ужасается:

— Полоу-у-умн-а-ай! — Он даже чуть протрезвел, отдаленно понял, что Шуров прочел ему своеобразную нотацию так же, как «на обходе» делал Терентий Петрович другим.

— Вам помочь дойти, Терентий Петрович? — с оттенком теплой иронии спрашивает Шуров.

— Не-не-не! Я сам! С помощью-то и полоумный дойдет… Пошел!

Он несколько шагов делает прямо, стараясь не казаться пьяным, но не выдерживает и кривляет снова, выбравшись, однако, на самую надежную «дорогу» — линию столбов.

Вечер. Тени от деревьев и хат. Слышна гармошка. Издали — частушки. Где-то пляшут. Настя среди девушек и парней поет частушку:

Я любила, ты отбила,
Я не суперечила
Ты Алешу захватила
Только на два вечера.

Эту частушку слышит Тося. Слышит Алеша. Шуров прислушивается к частушке Насти.

Шуров один. Он идет за село, в поле. Останавливается, щупает пашню. Смотрит на горизонт. Небо чистое. Появилась вечерняя звезда. Он идет дальше… Вдали тракторный отряд. Около будки копошатся трактористы.

Бригадир тракторного отряда Федулов Василий Васильевич встречает Шурова.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! — отвечает Шуров.

— Не вытерпели всего выходного? — спрашивает Костя.

— Как и ты, — отвечает Шуров.

Костя улыбается. Он уже в комбинезоне; вместо праздничной фуражки на нем треух.

— Давай еще раз посоветуемся, Василий Васильевич, — говорит Шуров.

В тракторной будке стоит рация, плакаты, койки в два яруса. За столом Шуров, Костя, Федулов.

— Завтра сев, — говорит Шуров. — У тебя два маршрута: тот, что мы вместе с бригадирами составляли, и второй — самоваровский.

Трещит мотоцикл и останавливается около будки. Входит Катков.

— Так и знал: Петр Кузьмич здесь! Вот хорошо.

— Обсуждаем «варианты», — говорит Федулов.

Все думают. Шуров говорит решительно:

— Отменяю сумасбродный план Самоварова. Свеклу сей по зяби, вику оставь в том же поле, где указано в нашем плане. О картофелище скажу завтра — посмотрю, подумаю.

— Надо думать, — говорит Катков и вдруг неожиданно спрашивает: — Петр Кузьмич! А ты уверен в своей правоте?

И Шуров, глядя удивленно на Каткова, медленно встает. Взоры присутствующих сосредоточены на Шурове. Это он должен ответить на вопрос, волнующий всех каждую весну: «Будет хлеб или нет?» Шуров отвел глаза от Каткова, Он смотрит в окошко будки и говорит:

— Хлеб. Нам нужен хлеб. Много хлеба.

И окошко будки раздвигается. Мы видим бескрайние поля, ожидающие посева.

— Для этого нам — нужна вода. Самая богатая почва без воды не даст урожая. Воды очень много на земном шаре, но у нас, в степи, дорога каждая ее капля. Вспомните прошлое лето. Но где вода? Только в почве. Экономить воду — вот в чем задача агротехники в степной зоне. Можем ли мы, имеем ли мы право — на двадцать пять сантиметров иссушить почву весновспашкой на картофелище?! Это… это… растрата!

Костя встал. А Шуров продолжает:

— Если кто-нибудь растратит тысячу рублей — его будут судить по закону. А растрата миллионов центнеров зерна «узаконена» «агроправилами», действующими, как устаревший шаблон, как «надежда» на дождь. За такую агротехнику держатся самоваровы!

Костя стукнул кулаком о стол.

— Факт!

— Если кто-нибудь вздумает на каком-либо заводе вдвое уменьшить выход продукции, его будут судить, — уже вне себя говорит Шуров. — Но нам дают в посев яровую пшеницу, которая никогда у нас не родит. Можем ли мы обо всем этом молчать?.. Можем ли мы допустить посев свеклы по весновспашке, где она при сухой весне даже и не прорастет?

Катков воодушевлен. Он смотрит в лицо Шурова. Шуров говорит настолько горячо, что начинает сбиваться:

— Хлеб! Он не только нужен нам, колхозникам. Хлеб — это рабочие заводов, хлеб — это армия, хлеб — это… это… — он чуть смутился того, что будто бы говорит прописные истины. — Это… жизнь страны… И каждый из нас отвечает за то, чтобы хлеба было много.

— Это значит? — спрашивает Катков.

— Это значит — нужна новая агротехника, применительно к условиям каждого сельскохозяйственного района.

— Значит, замахнулись?

— Да… А ты еще сомневаешься, — с сожалением говорит Шуров.

И Катков тепло кладет руку на плечо Шурову, говоря:

— Да разве ж я поэтому задал вопрос-то?.. Хотел знать: крепок ли ты сам, Петр Кузьмич!..

— Веришь? — спрашивает Шуров у Каткова.

— Я иду по вашему маршруту! — твердо говорит Федулов.

— Факт, — поддерживает Костя и после паузы продолжает: — Только вот такое дело: шел я сюда по улице, а в хате сидят Самоваров с Хватом и еще кто-то.

— Ну и что же? — спрашивает Шуров.

— Съест он вас, Петр Кузьмич, — качает головой Костя.

— Подавиться может, — спокойно говорит Шуров.

Ночь. Квартира Самоварова. Он держит блокнот в руке. Хват сидит перед ним. Рядом с Хватом Болтушок. Самоваров думает и будто про себя говорит:

— Та-ак… Свеклу надо — около села: полоть женщинам ближе.

— Обязательно, — подтверждает Хват. — И полоть ближе, и убирать ближе.

— Все сплановали: план до тех пор план, пока он план; как только он перестает быть планом, он уже не план, — рассуждает Самоваров.

— Бригадиры у нас плохие, — говорит Хват. — Никудышные. Все только Петьку Шурова и слушают. А он под вас подкапывается.

— Подожди. Дай срок — поснимаю обоих бригадиров. А ты и ты, — тычет он поочередно, — вы будете бригадирами. Даю установку: ты, — указывает на Хвата, — на охрану зерна и наблюдение за ходом, ты, — указывает на Болтушка, — агитировать будешь и сообщать мне о ходе, чтобы я мог руководить. Вы — мои два глаза. Понятно?

Болтушок на вопрос Самоварова забалабонил:

— Поскольку я получаю установку от высшего начальства, каковое призвано руководить нами, постольку я приложу всю мощь… Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день антаганизму бригадиров Каткова и Пшеничкина против вас. Мы имеем на сегодняшний день хитрую стюденку, агрономшу Таисию Ельникову, каковая высмеивает нас при лице людей в публичном порядке и вслух: ха-ха-ха! Вот что мы имеем на сегодняшний день.

— Весь высказался? — спрашивает Самоваров.

— Пока весь.

— Отвечаю: установка дадена. Выполнять. А этих я сумею скрутить. Председателю райисполкома товарищу Недошлепкину доложено в письменном порядке о всех вредных разложениях масс Шуровым и бригадирами. А эта, как ее, Тоська — тьфу! В институт напишем: разложение морали, бездельница, кляузница…

— И тому подобно, — добавляет Болтушок.

Все трое смеются.

— Ох-хо-хо! Ну и работа! Голова — во! Ну, нам не привыкать: семнадцать лет на руководящей. — Он достает фотографию из бокового кармана. На фотографии — Самоваров рядом с колхозным быком. — Здорово! Здорово! Сняли хорошо! Натурально! — Он достает из ящика стола альбом, смотрит на фотографии в альбоме и говорит: — И где, где я не руководил!..

Перелистываются страницы альбома.

Самоваров задумчиво смотрит на альбом и говорит:

— И везде снимали. Вот штука!..

— И тут сняли хорошо! — вмешивается Хват.

— Здорово! — гладит фотографию. — Вот сижу и руковожу… Ох! И работенка! Голова-то! Во!.. Выпить с устатку. — Наливает водку в стаканы. Все трое пьют.

Утро. Еще не сошел с неба на западе серовато-мутноватый налет, но зарево на востоке уже извещает о близком восходе солнца. Все живое молчит. Все ждет солнца, не нарушая тишины. И только фельдшер Семен Васильевич, таясь от людей, идет по улице к дому Терентия Петровича. Под мышкой у фельдшера шевелящийся сверток. Неожиданно пропел петух, возвещающий о рассвете. Семен Васильевич ускоряет шаг.

Терентий Петрович уже умывается. Семен Васильевич разворачивает сверток и подает Терентию Петровичу пушистого котенка:

— Вам, Терентий Петрович, за кота… Зря, Терентий Петрович, вчера говорили. Ой, зря! — Он присел на лавку.

Терентий Петрович держит котенка в руках, поглаживает и говорит:

— Это о чем я говорил? О мухах — помню, а больше — убей, не догадываюсь.

— То-то, забыл! А народ будет болтать.

— Ну, так то ж народ, ему на роток не накинешь платок… Ишь ты, мяконький какой… Кс… кс… кс!.. Это кто же — кот?

— Кот.

— Ко-о-от! Смотри, какой ласковый… Кот?

— Кот, — в сердцах отвечает фельдшер.

— Кот, значит… Да-а…

На улице рассвело.

Загруженная мешками автомашина зашевелила тишину и выползла из-за угла зернохранилища, выправилась на дорогу и засигналила теленку. Тот не уступает дороги. Машина остановилась.

Терентий Петрович бежит к автомашине и кричит:

— Довези до отряда. Чуть не опоздал с этим котом!

Голос его в утренней тишине звонок и чист, хотя он кричит негромко, а скромненько, как обычно. Он взбирается на автомашину, садится на мешки. Автомашина объезжает теленка и скрывается в переулке.

И снова тихо.

Зарево на востоке краснее и ярче. Жизнь становится оживленнее: с ведром прошла Домна — жена Игната. Конюх вывел на проводку жеребца-производителя; тот заржал голосисто и призывно, и ему ответил голос молодой кобылицы. Тихой развалистой походкой прошел во двор колхозник. Петя Федотов уже запрягает своих лошадей.

Но вот… лопнула тишина! Раскололась вдребезги на мелкие звуки. Застрекотал пронзительной пулеметной очередью пускач трактора ДТ-54, и звук его, забарабанив по селу, несколько минут тормошит хаты.

Позвякивает стекло в хате Евсеича. Тося стоит одетая у зеркала. Входит Евсеич с ружьем на плече.

— А я хотел побудить вас. С праздником, с первым днем сева!

— Спасибо. Я, наверное, проспала?

— Торопитесь, торопитесь. Теперь до зимы будем торопиться. День год кормит.

Тося выходит на крыльцо. Звуком тракторов заполнено все село, поле; кажется, и вверху, в небе, этот звук стал хозяином.

— День год кормит, — повторяет Тося. — Как же надо прожить этот день, если он так важен для человека! Как же надо его любить!

Катков и Шуров промчались на мотоцикле. Пшеничкин рысцой едет в поле. Едут подводы с боронами, с людьми. Тося в автомашине на мешках семян, машет платком Пшеничкину и кричит:

— Я к вам в бригаду!

Пшеничкин снимает фуражку и приветствует ею Тосю, не останавливая коня.

Все спешат: в этом беспокойном звуке тракторов не усидишь, не улежишь в постели. Этот звук торопит, зовет, ободряет и торопит село. И радостью и счастьем дышат лица людей, едущих на подводах и автомашинах.

Хват подъехал к колодцу поить лошадей. На возу у него мешки. Один мешок заткнут пучком соломы. К колодцу подходит жена Хвата — Матильда — с двумя ведрами на коромысле. Хват, оглядываясь, вынимает солому из худого мешка.

Течет крупная сортовая пшеница в ведро.

Матильда уносит зерно на коромысле домой. Она тоже спешит, как и все.

Промчалась машина к зернохранилищу. За ней другая. Евсеич с палочкой спешит в поле.

— Пойду-ка и я. Пригожусь! Я еще не старый человек: шестьдесят пять — это не годы… Пустяк, а не годы. Подумаешь!

Поле. Едут тракторы с сеялками к месту сева, один — с агрегатом борон. Из-под плуга выворачиваются пласты чернозема. Звуки тракторов то удаляются, то приближаются, дрожат в чистоте утра. Где-то поют песню: «Эх, летят утки».

Хата Игната Ушкина. Крыша осела горбом. Рядом с домом — куча навоза. Шерстистая коровенка жует жвачку. Лопата с переломанной ручкой валяется у двери.

Игнат сидит на завалинке, играет на балалайке и поет медленно, лениво и уныло:

Эх-ы, летят утыки, летят утыки
И-и-и два гуся…
Эх-ы, чего жду я, чего жду я,
Ни-и-и дажду-уся-а-а-а…

Алеша Пшеничкин подъезжает на коне к Игнату.

— Дождешься! — кричит он Игнату.

— А чего? — спокойно спрашивает Игнат.

— Я тебе наряд куда дал?!

— На погрузку зерна.

— А ты где?

— Тут.

— Да ты что, хочешь, чтобы я — черным словом…

— А это твое дело. Я, например, никогда не выражаюсь.

— Ведь уже две машины отвезли без тебя! — горячится Алеша.

— А чего же они не сказали? Сказали бы, я и пошел бы…

— Ну, Игнат! Ну, что с тобой делать?!

Из хаты вышла Домна.

— Совесть-то у тебя где? В балалайке? За тобой бригадир из поля приехал, а ты… А ну, вставай! — Она легонько вздернула его за шиворот с завалинки. — Собирайся! Пошел, пошел!

— Да пойду. Пойду. Вот, видишь, встал. Вот, пошел.

Игнат вдруг поворачивается к Алеше.

— Подожди, балалайку-то оставлю. — Он возвращается, сует балалайку в окно и снова направляется к зернохранилищу. А на ходу говорит, обернувшись к Алеше: — Приехал бы раньше — я давно бы уже грузил.

— Не можешь ты без чужого пинка жить! — воскликнул Алеша и помчался из села.

Игнат помялся нерешительно: идти или подождать.

— Ну! — кричит на него Домна и берет в руки переломанную ручку от лопаты.

— Иду, иду, иду. — Он и вправду спешит к зернохранилищу.

Поле. Трактор ДТ-54 с двумя сеялками. Около сеялки хлопочут Шуров, Терентий Петрович и Костя. Лицо Шурова уже вымазано, руки в черноземе и автоле.

— Все готово, — говорит Шуров.

— Ну? Тронулись? — спрашивает у него Терентий Петрович.

— Чуть подождем.

— Почему? — недоумевает Терентий Петрович.

— Дождемся Самоварова. Приедет — слушаться меня с одного слова, уедет — слушаться с полслова.

Подходит Тося. Она слышит последнюю фразу и недоуменно смотрит на Шурова.

— Вы же говорили, что начнем сеять в первом поле?

— Там Самоваров запретил. Вы не знаете.

— Но вы же говорили…

— Едет! — объявил Костя, глядя из-под ладони.

— Едет! — подтвердил Терентий Петрович.

Подъезжает Самоваров. Болтушок за кучера. Самоваров, не слезая с тарантаса и не здороваясь:

— Во-от… Правильно. Тут и будете сеять. Сперва допашите весновспашку, а по ней — свеклу, значит. Все по плану.

— Как же так? — спрашивает Тося, — Свеклу по весновспашке? Это же — преступление!

— Что-о?! Я — преступление?

Подъезжает Пшеничкин Алеша на коне и с ходу горячо обращается к Самоварову:

— Не буду тут сеять свеклу: не взойдет она.

— Что-о? — спокойно спрашивает Самоваров. — Тебя убеждать надо или не надо?

— Не надо! — так же горячо отвечает Алеша.

— Настроил! — ехидно говорит Самоваров молчавшему Шурову. — Все настроил. Всех настроил… — Вдруг он вспылил: — Я из тебя дух вон!

— У вас, Прохор Палыч, есть человеческие слова или нет? — вспылила и Тося. — Вы обращаетесь, как… как… помещик! — почти выкрикнула она последнее слово.

— Ах ты!.. — Самоваров хотел сказать крепкое слово, но все-таки сдержался и произнес: — Практиканша! Алешку закрутила, под Шурова подкатываешь?! Валяй, валяй! Мы таких знаем немало, которые… того-этого.

— Не смейте оскорблять! — топнула ногой Тося, и у нее покатились слезы.

Шуров стал между Тосей и Самоваровым. Он весь подобран, но необычайное внутреннее волнение и ненависть выражаются у него в дрожании пальца руки, которую он заложил за спину и крепко прижал; лицо же спокойно, сосредоточенно.

— Характер у вас сильный! — обращается он к Самоварову. — Сказал — крышка!

Тося порывается возражать, но Терентий Петрович, внимательно следящий за каждым движением присутствующих, дернул ее вежливо за руку и глазами не одобрил порыва, будто говоря: дескать, разберись сначала.

— Я так: надумал — аминь! — говорит Самоваров и уже улыбается. — Я нутром отходчив, если не возражают.

— Давай, Костя. Будем сеять свеклу здесь, — говорит Шуров.

Тося почти с ненавистью смотрит на Шурова. Алеша всем видом протестует. Терентий Петрович хитренько говорит:

— Вот и слава богу! Помирились. Раз председатель сказал — все! Так и будет. — Но в голосе его звучит тончайшая ирония.

Прохор Палыч довольный отъезжает и скрывается из виду.

— Ну, теперь так, — обращается Шуров к Косте, — Возможно быстрее на пятое поле. Семена сложены там заранее. Горючее перевезет Петя Федотов.

Тося широко открытыми глазами смотрит на Шурова и произносит:

— Как же вы так?

— Иначе нельзя. Возражений он не принимает, а за урожай я отвечаю. Я не имею права ошибаться. — Последние слова он произносит твердо: он весь в этих словах.

— Перед народом отвечаем, — говорит Терентий Петрович. — Он сюда приедет через неделю, а мы уж к тому времени и отсеемся. Вот он план-то какой хороший… По-ехали-и! — Он было собрался дать сигнал рукой Косте, но встрепенулся и спросил у Шурова: — А не сыровато там будет, Петр Кузьмич?

— Если сыро — подождите.

Агрегат тронулся. Шуров говорит Тосе:

— Вам поручаю, Тося, до конца сева всю агротехнику в бригаде. Главное, выждать спелость почвы — не лезть в грязь. Агротехнике учитесь у ученых, а спокойствию — у Терентия Петровича.

— И у вас! — восхищенно говорит Тося.

— Нет. У меня — не надо. Вы меня не знаете. Алеша! Не теряйте времени — езжайте. Мне надо к Каткову в бригаду — там будет, видимо, похлеще.

Шуров пошел быстро через пашню, но сразу повернулся и остановился. Посмотрел на них, будто что-то забыл сказать.

— Вы… что-то хотите сказать? — спросила тихо Тося.

— Помните еще одно: следите за нормой высева.

Пшеничкин ведет коня за повод. Рядом идет Тося.

— Какой же он человек! — говорит Тося восхищенно.

— Кто?

— Петр Кузьмич.

— Я его давно люблю, Тося. А вы? — в упор спрашивает Алеша.

— Я… не знаю.

— Все ясно, — отвернувшись в сторону, сказал тихо Алеша и безнадежно махнул рукой.

Шуров стоит на кургане. Далеко-далеко раскинулось поле. Там и сям ползут тракторы, едут автомашины. Людей немного: машины, машины, машины. Шуров задумался.

По той же дороге, навстречу Шурову, мчится мотоцикл. Это — Катков. Он подъезжает к Шурову, глушит мотоцикл. Шуров обращается к Каткову, не отрывая глаз от поля:

— И это все наше, нами сделанное… — Катков тоже смотрит в поле. — А помнишь, Митрофан, здесь соху? И ведь это было совсем недавно — лет двадцать с небольшим тому назад… — Вдруг Шуров увидел Тосю и Алешу вдали. — Все ясно, — сказал он уже с грустью и махнул рукой.

Катков, выведенный этой фразой из оцепенения, спохватывается:

— Ой! Петр Кузьмич! Я ж вас заждался. Скорей! Едет Самоваров в мою бригаду.

Шуров садится за руль. Катков — на заднее сиденье. Мотоцикл мчится вдоль поля.

Поле бригады Каткова. Трактор боронит поле, вышедшее в прошлом году из-под картофеля. Бороны очень хорошо рыхлят почву. Шуров сходит с мотоцикла и вместе с Катковым пробует ногами и руками почву.

— Абсолютно хороша! — говорит он.

— Никакой пахоты не надо, — утвердительно поддерживает Катков.

— Пахотой только пересушишь почву.

— И папаша мой говорит — «весна будет сухая»…

— Тем более не надо трогать почву.

— Итак, начинаем «нарушение» агроправил?

— Правило одно: делай для растения так, как ему лучше.

Подъезжает Самоваров.

— Ты уж тут? — спрашивает он Шурова.

— Мое дело агрономическое: везде надо поспеть.

— Ты, брат, вроде лучше стал — в понятие входишь, значит.

— Нет, хуже стал — тупею.

— Это — как? Все-таки по непаханой хочешь посеять овес?

— Да, — уверенно говорит Шуров. Он знает, что дважды в один день обмануть Самоварова все же невозможно.

— Позови тракториста! — решительно говорит Самоваров Каткову.

Катков машет фуражкой. Трактор останавливается, и из кабины выходит сам бригадир тракторного отряда Федулов. Самоваров, не здороваясь, говорит ему:

— Зацепи плуг и паши: пр-риказываю!

Федулов смотрит на Шурова. Шуров многозначительно кивает ему.

— Есть! — отвечает по-военному Федулов.

— Видишь! — обращается Самоваров к Шурову. — Чья сила? Не подменишь. Не возьмешь!.. Химики вы, агрономы… Вот вы где у меня! — И он стучит по загривку.

— А вы не подумали, Самоваров, что я — член Коммунистической партии? Нельзя ли повежливее?

У Шурова еле заметная дрожь.

— Я всех делю на четыре группы: беспартийные, кандидаты в партию, члены партии и… кандидаты из партии. Так вот ты — кандидат из партии. Учти!

Самоваров хохочет и отъезжает чуть ли не галопом.

Шуров смотрит в землю. Федулов и Катков — на Шурова. Шуров изменяется в лице, бледнеет.

— Вы бы отдохнули, — участливо говорит Катков Шурову.

— И ночь не спали, и весь день на ногах, — подтверждает Федулов.

— А вы оба? — спрашивает Шуров. — Тоже, как и я, — не спали и целый день на ногах. Чем это я хуже вас?

— Без нас обойдутся, а без вас нельзя, — настаивает Катков.

— Не надо… Не надо так… Давайте делать.

— Что делать? — спрашивают оба.

— Сеять овес.

— А может, не возражать? — спрашивает Федулов. — Плюньте на него. Давайте спашем. Тут тридцать гектаров, дня за два спашем.

Вдруг лицо Шурова изменилось. Краска бросилась в лицо. Он повысил голос.

— Малодушничать! — почти крикнул он на Федулова. — Променять новое на покойненькое житьишко! Это, знаешь, как называется на русском языке?

— Как? — в замешательстве спрашивает Федулов.

— Подхалимство плюс трусость. Ты коммунист. И тебе не стыдно? — уже наступает на него Шуров.

— Вот видишь, Вася, каков он бывает? — говорит сочувственно Катков.

— Я хотел… для вас… лучше, — пробует безуспешно возражать Федулов.

— А ты делай лучше не для меня, а для колхоза, для партии! — сорвался с голоса Шуров.

Все молчат. После паузы Шуров говорит, извиняясь:

— Ну, погорячился я, Василь Василич… Извини, видно…

— Да уж… что там, — неловко говорит Федулов. — Бывает. Со всяким бывает.

Трактор тянет три сеялки. Сеют овес. Шуров на подножке сеялки. Катков стоит на подножке второй сеялки. В кабине трактора Федулов.

— Замечательно! — восклицает Шуров.

— Отлично! — восхищается Катков.

— Ни одна засуха теперь не повредит! — весело отзывается под шум трактора Шуров.

Оба они веселы. Федулов улыбается из кабины.

Поле бригады Алеши Пшеничкина. Трактор Кости Клюева с двумя сеялками. Костя ладит что-то у трактора. Терентий Петрович возится у сеялки. Костя обращается к Терентию Петровичу:

— Терентий Петрович! Разрешите «девять на двенадцать»!

Терентий Петрович подает гаечный ключик и говорит:

— Утеряешь — не обижайся.

— Ну, что вы, Терентий Петрович! Как можно!

Терентий Петрович пробует почву ногами и руками.

— Не годится — сырая… Да когда же ты, матушка, поспеешь? — разговаривает он с землей. — Свой срок любишь. Ну, ладно…

— Может, попробуем? — нерешительно спрашивает Костя.

— Здорóво был! Не видишь, что ли? У самого нутро дрожит — сеять скорее, а раз нельзя, значит, нельзя.

Подходят Тося и Пшеничкин.

— Сыровато? — спрашивает Алеша у Терентия Петровича.

Тося смотрит то на того, то на другого: видимо, она старается все понять, научиться.

— Нельзя, — отвечает Терентий Петрович. При этом он берет горсть земли, сжимает ее и с силой бросает на пашню, — Видишь, не рассыпается? Посей так — заклекнет пашня черепком, как недельный блин.

— Тогда я отлучусь: у меня народ на лесополосе, — говорит Алеша и садится верхом на коня.

Костя продолжает возиться около трактора. Терентий Петрович и Тося стоят около пашни. Терентий Петрович вновь пробует почву.

— А как вы определяете спелость почвы? — спрашивает у него Тося.

— Привычка, — отвечает Терентий Петрович. — Сызмальства на земле. У меня, попервоначалу, и сам Петр Кузьмич когда-то спрашивал, чтобы не ошибиться. Во-от… значит, почва наша — обыкновенный чернозем суглинистого механического состава. (Терентий Петрович явно подчеркивает свою осведомленность в вопросах агротехники.) Такая почва требует осторожности. Точно говорю! Не сей в грязь, жди, когда комок об землю рассыпается. Видала, как я бросал?

Тося кивает головой.

Костя утерял все-таки ключик и ищет его в земле.

— Вот тебе и определение спелости, — заключает Терентий Петрович.

— Ну, а температуру как определяете?

— О! Это очень просто. Значит, сядешь… вот этим местом… на пашню и чуть посидишь.

— Зачем?

— Если, значит, терпит посредственно, то сеять вполне допустимо. Точно говорю.

— Но ведь есть же термометр. Лучше термометром?

— Э-э! Тогда каждому колхознику надо по термометру. А это самое всегда при тебе. Ты не обижайся, Тося, я точно говорю.

Костя рявкает басом:

— Или черт нечистый ключами стал питаться? Как провалился в землю! Сейчас вот в руках держал — и нет… Тьфу! — И он ковыряет огромным ключом землю.

Терентий Петрович подскочил к Косте:

— Я тебя предупреждал?

— Ну вот, честное слово, сейчас держал в руках! Как в тартарары!

Оба присели на корточки. Тося тоже подошла и копается с ними вместе.

— Вот тут ты стоял, — говорит Терентий Петрович, — а тут он и должен упасть.

— Тут, конечно. Не было у него крыльев — не улетел! — восклицает Костя, разводя руками.

Неслышно подъехала легковая машина «Победа». Из кабины смотрит Недошлепкин. Он наблюдает за тремя сеяльщиками. Терентий Петрович первый увидел машину и тихо говорит:

— Э-э! Сам председатель райисполкома Недошлепкин.

Они встают.

Дверца рывком открывается. Из автомашины выходит Недошлепкин. Он решительно, как в боевое наступление, двигается к сеялкам. Но, зайдя на пашню, прилипает калошами к влажной почве, и одна калоша соскакивает с ноги. Он кое-как вдевает ногу в калошу и, шлепая, приближается к Терентию Петровичу, стоящему впереди. Костя, оглядываясь, скрывается в кабине.

— По какой такой причине агрегат находится в преступном простое? — говорит Недошлепкин.

— Сыро, товарищ Недошлепкин. Заметьте, калошки-то липнут, — мирно разъясняет Терентий Петрович, — а сеялка, она не калошка, а машина. Наша почва…

— Что за сырые настроения? Я полагаю, немедленно сеять! — приказывает Недошлепкин. — Соседний район имеет пятнадцать процентов плана, а мы четыре. Срыв! Полный срыв! Заводи трактор! — кричит он Косте.

Костя рванул ремень пускача, и тот затарахтел, заглушая крик Недошлепкина. Недошлепкин, открывая рот, что-то говорит, но звук пускача задавил все.

Костя у пускача говорит в сторону:

— Вот тебе и инструкция! Говори теперь хоть два часа — все равно не слыхать.

Недошлепкин кричит в ухо Косте:

— Когда ты рычать перестанешь?!

— Прогре-еть надо-о!!! — орет, как иерихонская труба, Костя, перекрывая звук пускача.

Но вот пускач замолк, и двигатель заработал спокойно и ровно.

— Товарищ Недошлепкин! — говорит Тося. — Нарушение агротехники ради плана, это же… формализм!

Недошлепкин вытаращил глаза на Тосю.

— Почва не готова, — подтверждает Терентий Петрович. — Будьте спокойны — часу одного не упустим. Случаем чего, за товарищем Шуровым пошлем. Мы…

Но Недошлепкин даже не слышит слов Терентия Петровича.

— Что-о-о! Девчонка — против районного руководства. — Он рванулся к Косте еще раз, надменно оставив Тосю. Но снова потерял калошу, поднимает ее обеими руками и грозно вопрошает: — Как фамилия?!

Костя, стушевавшись:

— Клю… Клюев, — выдавливает он.

— Запишем! Примем судебные меры! Как фамилия? — поворачивается Недошлепкин к Терентию Петровичу.

— Климцов, — очень спокойно отвечает тот.

— А с тобой поговорим в другом месте, — поворачивается он к Тосе.

Тося молчит. Она вся — волнение. Ветерок треплет у нее волосы, шарф падает на пашню, и она наступает на него, не заметив этого.

— Пожалеете! — кричит Недошлепкин. — Срыв плана не допущу. Немедленно вперед! — Он поднял калошу, как флажок, указывая путь вперед.

И вдруг Костя включает сцепление, и трактор трогается. Терентий Петрович машет Косте рукой и вскакивает на подножку сеялки, не решаясь остановить агрегат при Недошлепкине.

Тося растерялась: она еще и еще раз наступает на шарф.

Сеялки ползут по сырой почве, оставляя позади незаделанные семена.

Недошлепкин удовлетворенно смотрит вслед агрегату, садится в машину и отправляется дальше.

Тося смотрит на почву, видит семена на поверхности и вдруг срывается с места, бежит за трактором. На земле остается шарф, втоптанный в грязь.

Тося бежит.

Костя в кабине со злом рвет направляющие (рулевые) рычаги. Смотрит в сторону уезжающего Недошлепкина и произносит яростно:

— На тебе в грязь! На! На тебе план!

И вдруг он видит перед пробкой радиатора лицо Тоси: кажется, сейчас трактор раздавит ее.

Костя рывком выключает сцепление. Зажмурился, лицо побледнело, осунулось, пот выступает крупными каплями. Пучок волос прилип ко лбу.

Лицо Тоси перед радиатором. Крупная слеза на щеке. К ней подходит Терентий Петрович и ласково говорит:

— Да как же это ты так, Тосенька! Да разве ж можно под трактор! Вишь, ты какая желанная к земле-то… Иди, иди… Не бойся, не поедем до сроку…

Тося смотрит вдаль, в поле. Простор. Могучий простор русской равнины, бескрайней, поражающей своим величием и красотой, — равнина и небо. Много земли!

— Ну, Костя, давай заделывать ногами. Все равно стоять…

Терентий Петрович и Костя принимаются заделывать ногами семена. Оба они скучные-скучные. Попеременно вздыхают. Тося позади них тоже заделывает семена ботинками. Она как-то повзрослела, посерьезнела и стала от этого красивее, сосредоточеннее.

— Ты зачем завел трактор? — вдруг злобно зашипел Терентий Петрович на Костю.

— А ты зачем махнул рукой? — кричит во весь голос Костя.

Тося смотрит на них, останавливается.

— Если бы ты не завел, я бы не махнул!

— А если бы ты не махнул, я бы не поехал!

— Ты главная фигура — тракторист. Сказал бы: «Не поеду!» — и все тут, — наступает Терентий Петрович.

— Я тебя везу, а ты качество делаешь. Сам так говорил. Кто же главная фигура?

— Ты.

— Нет, ты, — упорствует Костя.

— Ну и сей один, если я главная фигура. Сей!

— Буду и один сеять.

— Ну и сей! Пожалуйста, сей! Сделай одолжение…

— А что же ты думаешь, не буду? Вот возьму и поеду по сырой. Скажу — Недошлепкин приказал.

— Я тебе поеду по сырой. Во вредители колхозного строя хочешь идти? Иди, иди! Сей по сырой, маломысленный человек! Я тебе!.. — и Терентий Петрович подскочил к Косте вплотную.

Костя от неожиданности дергает головой, шапка соскакивает, и вдруг… Терентий Петрович просветлел!

Из-за отворота треуха, лежащего на земле, выпадает ключик «девять на двенадцать». Костя поднимает его, отряхивает, дует, вытирает о комбинезон и, уже улыбаясь, говорит:

— Примите, Терентий Петрович. Сунул по рассеянности за шапку и забыл.

— Да тут отца родного забудешь, — смущенно поддерживает Терентий Петрович.

Тося смотрит на них, улыбается и спрашивает:

— Помирились?

— А мы не ругались, — говорит Костя.

— Милые бранятся — только тешатся, — говорит стоящий позади Шуров. (В горячем споре друзей никто и не заметил, как он подошел.)

Тося вздрогнула, смутилась. Шуров видит шарф на Земле. Шарф видят Терентий Петрович и Костя. Все трое идут к шарфу. Шуров несет его Тосе. Он подает ей шарф и говорит:

— Я все понимаю. Спасибо вам!

Скачет на коне Алеша.

Тося говорит весело:

— Алеша едет.

Шуров медленно отворачивается от Тоси, чтобы скрыть грустное выражение своего лица. Тося изменилась — веселости как не бывало: ей кажется, что Шуров о ней уже забыл.

— Не раньше как с обеда начнете здесь сев, — говорит Шуров Терентию Петровичу, который подходит к ним.

— Я и сам так думаю, с обеда, — поддерживает Терентий Петрович.

— Советуйтесь с Тосей.

— У-у! Молодчина! Точно говорю — молодчина! — тихо, но убежденно произносит Терентий Петрович, украдкой указывая на Тосю.

Костя один около трактора. Смотрит на Тосю и говорит:

— Вот какие девки-то бывают! Эх!

А во второй половине дня…

Солнце высоко. Агрегат Кости работает на полном ходу. На подножке одной сеялки — Терентий Петрович. На подножке другой — Тося и Евсеич.

На все это смотрит Шуров: он стоит среди поля. Лицо его сосредоточенно-радостно.

Кабинет Самоварова. Самоваров сидит в кресле и говорит, барабаня пальцами по стеклу:

— Ох уж этот Шуров! Вот он где мне! — и постучал по загривку. — По непаханой сеять! Ведь это же надо совсем дураком быть…

Он выходит в переднюю комнату, где сидит счетовод Херувимов. Тот работает сосредоточенно, не обращая внимания на Самоварова.

— Так, — говорит Самоваров. — Ты выписал мне все? Коров, лошадей, свиней, птицы разной, телят и тому подобно?

— Исполнил в точности! — восклицает Херувимов, не переставая, однако, улыбаться.

Самоваров берет из рук Херувимова бумажку и спрашивает подозрительно:

— Ты чего ухмыляешься? Тоже, наверно, жук!

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, Херувимов… Мм-да-а… Фамилия у тебя того… Ты не архиереем был, Архангелов?

— Херувимов, — поправляет тот.

— Один черт — все одно… Если кто спросит, пошел проверять в натуре эту сводку.

Херувимов остается один:

— Такого еще не было… Не будь Петра Кузьмича — пропали бы. А впрочем, этот долго не продержится — я-то уж знаю.

Кладовая. Самоваров входит и говорит кладовщику:

— Отпустишь Хватову продукцию… для меня.

— Чего отпустить?

— Ко-ко — двадцать.

Кладовщик понимающе откладывает яйца.

— Бе-бе — четыре кило, — добавляет Самоваров.

Кладовщик берет в руки баранину.

— Жж-жж… — жужжит Самоваров, — кило!

Кладовщик вырезает сотовый мед.

— Пока хватит, — заключает Самоваров. — Григорий Егорыч зайдет.

Улица перед правлением. Сигнал автомашины. Автомашина «Победа». Дверца открывается, в кабине Недошлепкин.

Самоваров выбегает из кладовой. Недошлепкин кричит ему:

— Сколько времени ждать?! — После этих слов Самоваров трусцой подбегает к машине. — Я двенадцать колхозов уже проверил за день. Оперативно надо! — наставляет Недошлепкин, не выходя из автомашины.

— Виноват, Маркел Карпыч! План животноводства продумывал.

— Вник?

— Вглубь.

— Хорошо. Сеешь?

— Сею.

— Плохо сеешь. Я у тебя тоже форсировал: там, где эта… девчонка.

— Спасибо за помощь, Маркел Карпыч.

— То-то же. Дисциплина как?

— Во! — показывает Самоваров большой палец.

— Процент людей в поле?

— Сто двадцать два и семь восьмых!

— Значит, порядок?

— Порядок.

— Значит, везешь?

— Везу.

— Сопротивление есть?

— Есть.

— Побеждаешь?

— Побеждаю.

— Та-ак. Ты того, нагнись-ка! — Самоваров наклоняет ухо, и Недошлепкин ему говорит: — Накинь-ка выполнение плана сева этим числом процентиков на пятнадцать лишнего. Район садится. Соображаешь?

— Все! И на двадцать можно. Потом досеем помаленьку, после окончания плана.

— Значит, прыгнем в областной сводке?

— Прыгнем.

— Всё?

— Всё!

— Поехал форсировать на полную высоту!

Недошлепкин тянет дверцу к себе, Самоваров — к себе.

— Нет, Маркел Карпыч, есть еще вопрос, — убедительно говорит Самоваров.

— Что еще?

— Это дело надо решать… — оглядывается, видит Домну, идущую мимо… — при закрытых дверях.

— Ну-у? Тогда пойдем.

Правление. Самоваров и Недошлепкин входят. Самоваров Херувимову:

— Ты поди-ка погуляй… Дела секретные.

— Да у меня дел по горло, Прохор Палыч! Петр Кузьмич дал задание проверить минимум трудодней колхозников.

— Кто-о?

— Петр Кузьмич. Как будто вы не знаете его?

— Знаю я вас, мошенники! И сюда он нос сует. Гулять! — приказывает он Херувимову.

Херувимов выходит, забрав с собой папку и счеты.

Кабинет Самоварова. Недошлепкин в кресле Самоварова. Самоваров — на стуле для посетителей. Самоваров говорит:

— Этот самый Шуров тянет колхоз на вредный путь. Массу настроил против меня. Всех членов партии настроил против меня. Не агроном, а разлагатель. И в поле он…

Стук в дверь.

— Кого-то принесла нелегкая! — тихо говорит Самоваров. — Кто? — спрашивает он громко.

Всовывается голова Хвата.

— Ага! Зайди-ка! — обращается к нему Самоваров. — Ты мне нужен.

— Здравствуйте, товарищ Недошлепкин! — подхалимским тоном говорит Хват. — Нужен я вам или нет, — обращается он к Самоварову, — а вы мне нужны — во! — режет ладонью горло.

— Аль что случилось?

— Вы мне поручили догляд за семенами. Беда!

— Украли?! — тревожится Самоваров.

— Хуже. Вика лежит буртом в поле, накрытая брезентом, и никто ее не сеет. Ваше распоряжение не выполнено. Так что свеклу, почитай, кончают: по зяби посеяли, а не по весновспашке.

Самоваров стукнул кулаком по столу:

— Или он, или я!

— Не кипятись — разберемся. Наряд дал ты?

— Я!

— Спроси и прижми. А я поддержу.

Болтушок вскочил как угорелый в кабинет без спросу и предупреждения и с ходу забалабонил:

— Поскольку ваше приказание — пахать картофелище под овес — дано… Пламенный привет председателю райисполкома товарищу Маркелу Карпычу Недошлепкину! Тем не менее, однако, постольку-поскольку обязан доложить для исправления недоработки. Что есть вспашка? Вспашка есть, по-научному, шевеление земли изнутри наружу для ликвидации бактериев и всякой гадости. Не нами придумано, не нам и отдумывать назад!

— Да в чем дело-то? — не выдержал даже и Недошлепкин.

— Все ясно, — говорит Самоваров. — Это мои люди, — указывает на Болтушка и Хвата, — мои наблюдатели для точности руководства. Этот — Никифор Пяткин.

— Знаю, — подтверждает Недошлепкин.

— Так вот он докладывает: Шуров сеет по непаханой. Он, Шуров, говорит, будто в прошлом году там пахали под картошку на сорок сантиметров, а теперь не надо пахать до будущего года — прямо сеять.

— По непахано-ой! И ты допустил? Да я за такое нарушение под суд этого агронома!..

— Я по справочнику правлюсь, Маркел Карпыч, а он из своей головы.

— Грубейшее нарушение агротехники карается законом! — воскликнул Недошлепкин. — Кроме того, я в первый день сева заметил «сырые настроения».

— Это все — дела Шурова, — говорит Самоваров. — За такое — под суд!

— Вот что, напиши-ка докладную от себя, — обращается Недошлепкин к Самоварову. — Приложи заявление колхозников с требованием наказать срывщиков.

— Сколько подписей от колхозников? — спрашивает Самоваров.

— Да человек… человек пяток хватит. Завтра пришлешь материал — передам прокурору.

Катков и Шуров. Они около гнездовой сеялки. Перед ними вехи и шнур — поле разбито для гнездового сева. Рядом, на дороге, мотоцикл. Катков сматывает землемерную ленту.

— Последняя наша операция, — указывает Шуров на вехи. — Завтра гнездовой посев подсолнечника и — посевная окончена. Поехали отдыхать!

— Поехали!

Они у мотоцикла.

— Да! — воскликнул Шуров. — А ведь надо Василию Васильевичу сказать, чтобы завтра сюда У-2 прислал.

— Я съезжу. Подождите меня здесь, я скоро.

— Жду.

Катков отъезжает. Шуров сел на сеялку. Тишина.

Поле. Бригадный стан. Заходит солнце. Петя Федотов отпрягает лошадей. Игнат Ушкин любуется заходящим солнцем.

Подходит автомашина. Петя кричит:

— Машина пришла! Шабаш работе!

Из лесной полосы выбегают девушки и парни и усаживаются в кузов; только после того, как машина, отъезжая, дала газ, Игнат встрепенулся, пробежал несколько шагов за машиной, махнул рукой и сказал:

— Опять прозевал! Ну, пущай…

Петя улыбнулся и говорит:

— Залюбовался, Игнат Прокофьич?

— Ага.

— Ну, поедем со мной, — приглашает Петя.

Игнат садится в уже запряженную бричку.

— И баян с собой возишь, Петруха? — он постучал по футляру баяна. — Сыграем?

— Сыграем.

Они едут вдоль лесополосы.

Тося прислонилась к дереву спиной. Она стоит лицом к закату. Лицо грустное. Она молчит еще некоторое время, любуясь закатом, и поет.

Песня Тоси.

Шуров слышит в вечерней тишине эту песню. Он встает с сеялки, опускает глаза и слушает, не шевелясь. Затем невольно идет в направлении, откуда доносится песня. Идет, не думая, не глядя под ноги. Вот он слегка споткнулся, но идет и идет, глядя вперед, высоко подняв голову так, как ходят слепые. А песня все ближе и ближе. Человек большого сердца, еще никому не отданного и никем не тронутого, Шуров уже не волен в своем чувстве.

Шуров у лесной полосы. Песня кончилась. Шуров видит: у лесной полосы стоит подвода. На подводе сидят Петя Федотов и Игнат Ушкин. Оба понурили головы. Они тоже остановились, слушая песню. Шуров подходит к ним.

— Петр Кузьмич! Как же она хорошо поет! — восхищается Игнат.

— Кто?

— Тося, — отвечает Петя.

— Слушать-то мы мастера, — вдруг встрепенулся Игнат, — а пригласить подвезти ее не догадались. Вот лодыри! — Он медленно слезает с брички, идет в лесную полосу, и мы слышим его голос,

зовущий Тосю: — Таисия-а! Не знаю, как вас по отцу-у! Подвода вас ожидает! — Тося на том же месте, в лесной полосе. Она слышит зов Игната. Тот продолжает: — И Петр Кузьмич вас проси-ит!

Тося вся вспыхнула, бежит по лесу.

Петр Кузьмич рванулся к Игнату.

— Да ты что — с ума сошел?

— А что? — невозмутимо спрашивает тот.

— Разве я прошу?

— А чего тут особенного? Не пригласили, так пригласите при нас — она и поедет с большим нашим удовольствием.

— Игнат!

— Вона! Фокусы тут какие-то. Не идти же девке пешком!

Шуров машет рукой. Игнат пожимает плечами. Петя пристально смотрит на Шурова — он догадывается о его чувстве.

Все трое ожидают Тосю. Игнат говорит:

— Я бы на вашем месте, Петр Кузьмич, взял бы и женился на Тосе. А чего тут особенного? Девица — на все сто.

— Игнат!

— А что? — невозмутимо отбивается тот вопросом.

— Не смей об этом говорить!

— А чего мне «сметь»? Я по своему разумению думаю, что она подходящая по всем статьям. Вот и высказался по порядку дня.

— Игнат!

— Ну раз она вам не подходяща — это уж не наше дело. А только зря. Тося сочинена по всем правилам.

Тося слышит голос Игната. Ей стало вдруг холодно: озноб забил ее. Но она все-таки кашлянула, чтобы прекратить разговор.

— Сюда вот, на соломку! — приглашает ее Петр Кузьмич.

Тося влезает в бричку. Она сжала руками грудь, спрятав ладони под мышками. Петр Кузьмич видит, что она дрожит. Он снимает пиджак и накидывает ей на плечи. Тося молчит. Подвода едет. Игнат, про себя, не обращая внимания на присутствующих:

— А зря, ей-право, зря.

— Ты о чем? — спрашивает у него Петя.

Игнат смотрит на Петра Кузьмича и отвечает Пете:

— Это я про свою… Домну. Хорошая баба у меня!

Во время паузы Петя достает баян. Вечер опускается тихо, тихо. Воздух замер. Ни малейшего дуновения ветерка! Край неба еще горит, где зашло солнце, а уже месяц висит серпом над горизонтом и вечерняя звезда уже мигает из темнеющей синевы — мигнет и скроется. Пашня вдали, в вечернем полусвете, сливается с озимью, а озимь тает, уходя в небо. Небо натягивает над землей завесу: все меняет свои очертания, линии сглаживаются, тают и мало-помалу исчезают. Тракторы осторожно шевелят тишину приглушенной и плавной нотой.

Петя нашел аккорд в тон звучанию трактора, чуть протянул его, прибавляя другие басы, и перешел на лирический мотив.

В сумерках мы видим грустное лицо Тоси. Задумчивое лицо Шурова. Игнат тоже опустил голову: ему, видно, взгрустнулось. Он покачал головой и произнес, вздохнув:

— Эх-хе-хе! Ёлки тебе зеленые…

— Игнат Прокофьич! — обращается Шуров. — Поешь ведь, знаю, спел бы.

— Не! Я так не спою…

— Спойте, Игнат Прокофьич! — тихо говорит Тося. — Я так люблю песни.

— Ну, раз так… Давай, Петя… «Ямщика».

Петя берет нужные аккорды.

Игнат кашлянул, поправил картуз, расстегнул пиджак и запел:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку.
И крепко же, братцы, в селенье одном
Любил я в ту пору девчонку…

Певец грустит. Голос его жалуется и заунывно дрожит так, что последние слова каждого куплета он поет совсем тихо. Певец преобразился: он уже не медлительный, как мы его знаем, не шутник, умеющий шутить без единой тени улыбки. Перед нами поет само сердце Игната, не знающего еще своего места в жизни. И вот он закончил последний куплет:

Под снегом-то, братцы, лежала она.
Закрылися карие очи…

Поле далеко-далеко повторило последние печальные звуки, и они, дрожа, растаяли в полусумерках.

Игнат, кряхтя, сполз с брички на землю.

— Я тоже пойду, — говорит Тося, — Петя на конюшню еще поедет. Ужинать тебя подождем… — Она легко спрыгивает с брички, и скрывается в темноте.

— Пойду и я, — говорит Шуров. — Езжай.

Тося стоит на крыльце, прижавшись щекой к столбу. Она смотрит на дорогу, видимую уже при луне. По дороге идет Шуров, тихо, понурив голову.

Тося шепчет:

— Петр!

Шуров у калитки своего палисадника. Он прислушивается к звуку тракторов. Постоял чуть и произнес:

— Спокойной ночи, добрые люди!

Спит Евсеич.

Спит Терентий Петрович.

Катков засыпает с газетой в руках.

Спит Петя Федотов.

Спит уже вся деревня. После трудового дня все засыпают рано.

Только Тося все стоит так же, прижавшись щекой к столбу крыльца.

Кабинет Самоварова ночью. Он на обычном месте. Хват сидит на корточках, прислонившись к стене. Болтушок — на стуле, закинув ногу за ногу. Все трое курят. Дым. Самоваров говорит строго:

— Сказано вам — пять подписей против Шурова. А вы только две поставили: ты и ты.

— Никто не хочет, — говорит Хват. — Его все боятся…

— Поскольку он имеет силу, постольку… — начал было Болтушок.

— Да погоди ты! «Поскольку, постольку!»… — перебивает его Самоваров. — Какая там у него сила! Не сумели поднять массу на него. А он на меня поднял…

— Ну, кого? Давайте подумаем, — говорит Хват.

— Ввиду возможности стечения, логически думаю, — Игнат Ушкин подпишет жалобу на Шурова, поскольку ему безразлично, на кого подписать.

— Во! Правильно! Игната Ушкина сагитировать. Тебе поручаю, — говорит Самоваров Хвату.

— Возможно. Должон подписать, — соглашается Хват.

— Действуй, Григорий Егорович, — одобрительно говорит Самоваров. — Та-ак… Кажись, все обсудили.

— У меня еще вопрос, — говорит Болтушок.

— Давай.

— Целую неделю заседания не было. Дебатировать надо и массу будировать постоянным действием рассуждениев. Я считаю: надо раза два-три в неделю… Заслушивать надо…

— Пожалуй, верно! Значит, так: вторник, четверг и суббота. Докладывает весь руксостав.

— Во-от, — протянул Болтушок. — Тогда все вожжи руководства будут в вашей руке.

— Все! — кончает Самоваров.

— Все! — говорят Хват и Болтушок вместе.

Утро. Петя Федотов первый идет на колхозный двор. Репродуктор на площади: «Доброе утро, товарищи!..» Шуров вскакивает с постели, умывается.

Репродуктор в доме Терентия Петровича: «Доброе утро, товарищи!»

Постель Терентия Петровича пуста. Его жена, Матвеевна, отвечает репродуктору:

— Доброе утро! Только Терентий Петрович давно в поле. У него смена в пять. — Она возится у печки.

Репродуктор в хате Игната: «Доброе утро, товарищи!..»

— А? — спрашивает у репродуктора Игнат.

— Бэ, — говорит Домна. — Иду на ферму. Посмотри за мальчонком да отнеси в ясли. — Качнув люльку, она выходит.

— Бэ! — говорит безразлично Игнат, выключает динамик и немедленно засыпает.

Евсеич идет с поста. Встречает Шурова.

— С добрым утром, Петр Кузьмич!

— Доброе утро!

— Бежишь? — спрашивает Евсеич.

— Бегу. Сегодня надо пораньше: культиватор на прополке будет работать. — И он торопится уйти.

— Слышь, Петр Кузьмич!

— А? — оборачивается тот.

Евсеич подходит к нему и говорит тихо:

— Слух нехороший есть, будто Самоваров на тебя докладную подал.

Подходит Петя и останавливается около них.

— Плюньте и не обращайте внимания, — утешает Петр Кузьмич.

— Нельзя, нельзя, Кузьмич. Ты противодействуй. Напиши свой пакет. Мы все подтвердим: мол, возможности нету.

— Прополка, Евсеич, прополка. Не до того сейчас. Прополем — разберемся. — И он идет дальше.

Евсеич смотрит ему вслед. Петя спрашивает:

— Дедушка, а чего это написал Самоваров?

— Ох, Петя, Петя! Заклюет Самоваров Кузьмича. Этот работает и не замечает, а они втроем всю ночь сидели — Хват, Болтушок и «сам» — все придумывали.

— А ты сам слыхал?

— Ясно дело, сам. Мне доверено охранять — и я должон все слышать ночью. Ясно дело, где Хват ночью — там сторож держи ухо востро. Слыхал. Все слыхал: Игнатку хотят подговаривать.

Дом Игната. Он спит. Мальчик раскачался, сидя в люльке, и кричит, ухватившись за ремни. Кто-то стучит в окно. Голос Хвата:

— Игнат Прокофьевич!.. Игнат!.. Эй, Игнат!..

Игнат поворачивается на другой бок и говорит, не открывая глаз:

— Не кричи. Сейчас пойду на работу.

— Да не на работу, пень-колода чертова! Выйди — дело есть сурьезное.

Игнат выходит заспанный, с всклокоченными волосами:

— Чего тебе?

— Видишь? — показывает бумагу Хват.

— Ничего не вижу.

— Тут, брат, дела написаны.

— А мне какое дело!

— Ты слыхал, что Шуров про тебя говорил?

— А мне какое дело. Ну и пущай…

— Он говорит, что ты лодырь, лентяй, что тебя переделывать надо, перевоспитывать… Ха-ха-ха! Как дите!

— Ну и пущай перевоспитывает… Может, ему нравится…

— Так вот, мы написали про Шурова в район: дескать, житья нету… По непаши сеет… Подрывает авторитет председателя… Подпишешься?

— Под чем?

— Под бумагой.

— А ну, дай посмотрю. — Он берет бумагу, смотрит на нее, держа на отшибе, переворачивает тыльной стороной, немного думает и заключает равнодушно: — Бумага плохая — нелощеная. Не годится.

— А подпишешь? Надо же пять свидетелей…

— Кто ее знает… Приди завтра. Тольку бумагу неси хорошую. Такую — не подпишу. Что я, дите, что ли?

Хват разводит руками, взяв бумагу.

— Завтра приди, тогда…

Вдруг Игнат пятится к двери задом. Он видит скачущего Алешу Пшеничкина. Игнат останавливается, прибирает руками волосы, поправляет рубаху, но лицо его остается равнодушным.

— Куда пятишься? — спрашивает Алеша.

— На работу.

— На какую?

— Да вот — сперва подумаю, на какую.

— А мальчонку кто понесет в ясли?

— Я.

— Ну, теперь к обеду придешь! — восклицает Алеша.

— Почему к обеду? Могу и раньше.

— Тьфу! — плюет Алеша. — Ну что с тобой делать?! Душу ты у меня вымотал! — и неожиданно обращается к Хвату: — И ты тут? Чего это тебе Игнат понадобился?

— Шел — зашел, — независимо отвечает тот.

— Может, нес — занес?

— Возможно, — отвечает нахально Хват и уходит.

— Ну, Игнат Прокофьич! Пожалуйста, пораньше приходи!

— Так бы и сказал с первого слова. Я люблю вежливое обращение.

Алеша махнул рукой и едет обратно.

Поле. Женщины полют тяпками. Среди них и жена Евсеича, и жена Терентия Петровича, и Настя Бокова. Рядом — трактор У-2 рыхлит подсолнечник. Уже и рожь поспевает. Позади идущего культиватора Шуров и Тося, Они измеряют глубину рыхления металлической рулеткой. Шуров машет трактористу. Тот останавливается. Шуров и Тося подходят к культиватору.

— В каких междурядьях лапы идут неправильно? — спрашивает Шуров.

— Эта и эта, — указывает Тося.

— Отрегулируйте сами. Агроном обязан уметь делать, иначе он не имеет права учить, как делать.

Тося берет ключ и вместе с трактористом регулирует лапы.

Подъезжает Алеша. Он сразу спрыгивает с лошади к Тосе:

— Дайте я.

Девушка-пололыцица говорит Насте:

— Ишь ты, твой-то не хочет, чтобы и руки марала.

— Какой он мой! — говорит Настя и с ожесточением полет тяпкой.

— А я что — буду белоручкой? Фу! Сделал одолжение! — возмущается Тося.

— Отшила! — произносит девушка-пололыцица, заметив, что Настя в удручении. — Смотри!

Настя просветлела. Алеша в недоумении. Он отходит к Шурову и, как бы про себя, говорит:

— Ну что мне делать? Что делать?

— Что случилось? — спрашивает Шуров.

— Ну что делать с Игнатом? Замучил!

— А я все-таки надумал.

— Что?

— Ответственностью ему в лоб. Заставь его отвечать за что-нибудь. Вот, например, на пожарку его: сдай ему имущество тысяч на шесть-семь. И увидишь, что произойдет.

— Но согласится ли Самоваров?

— А это я на себя возьму — согласую с ним, — говорит загадочно Шуров.

Тося все слышит. Она поворачивается и говорит в тот момент, когда трактор отъезжает:

— Петр Кузьмич, не надо — не ходите к Самоварову. Он же вас снова оскорбит… Не надо, — почти просит она. — Мне… мне…

Шуров вопросительно смотрит на Тосю.

— Вам покой надо. Вы и так… — нерешительно говорит Тося.

— Что? — спрашивает ласково Шуров.

— Похудели, — совсем тихо отвечает Тося.

Алеша смотрит то на Тосю, то на Шурова и отходит к пололольщицам скучный, удрученный, записывает выработку, отсчитывая рядки. Настя любовно следит за ним глазами, не прекращая работы. Во время дальнейшего разговора он еще раз смотрит в сторону Тоси и Шурова, которые остались вдвоем, и отъезжает галопом.

— Ради Игната надо, Тося. Я много о нем думал. Человек никогда ни за что не отвечал.

— Вы с этого и хотите начать?

— Да. Я, пожалуй, сейчас и поеду к Самоварову. Здесь вы будете наблюдать. Вы уже… агроном.

Кабинет Самоварова. Он один. Разговаривает по телефону.

— Товарищ прокурор! А трех свидетелей достаточно?.. Как? Если явное, то хватит и троих? Явное, явное. У всех на глазах… По непаханой посеял: вредительство чистое. А? Хорошо, хорошо. Оформлю, как и полагается.

Самоваров кладет трубку и говорит сам с собой:

— Так-то вот, товарищ Самоваров. Побеждаешь, значит. Ну, побеждай, побеждай. Давай на высоту. Глядишь, и в райисполком выберут. А там, глядишь, и отдел доверят… Хе-хе-хе! Ей-боженьки, хорошо!

Стук в дверь.

— Давай, заходи, кто угодно! Всех приму.

Входит Шуров. Самоваров сразу меняется в лице: он напустил чванливый вид, стучит пальцем по стеклу, откидывается на спинку кресла и произносит:

— Гм… Да-а…

— Во-от, — протянул и Шуров садясь.

— Значит, пришел? Гм…

— Да, пришел.

— Вопрос?

— Вопрос.

— Существо вопроса?

— Обыкновенное: хотел просить вас…

— Ну-у? — удивляется Самоваров, не меняя позы.

— Хотел просить, чтобы Пшеничкин не разбазаривал людей.

— Это как?

— Хочет Игната Ушкина из бригады переводить на пожарку. А люди в поле нужны.

— Гм… О чем просит! Я тебя просил подчиняться мне? Просил. Не подчинился? Нет. Не могу и я твою просьбу уважить. Все! Я говорю: Игнат Ушкин будет на пожарке. Сказал — крышка!

— Ну, как хотите… Ошибку допускаете, — говорит, улыбаясь, Шуров, вполне удовлетворенный исходом дела.

А на следующий день…

В доме Игната.

Босые ноги свисают с кровати и чешут одна другую. Ворот рубахи у Игната расстегнут. Он только что проснулся. Домна Васильевна стоит у печки, уже готовая идти на работу. В хате все прибрано. Мальчик сидит на скамейке, играет, гремя коробкой.

— Ты что ж ни за что не берешься? — говорит Домна. — Крыша течет, печь надо переложить, полы перемостить, а ты…

— А я гармонью новую куплю, — отговаривается незлобиво Игнат, — кордион куплю.

Входит Шуров.

— О чем спор?

Игнат отвечает:

— Обвиняет меня супружница в неправильном подходе к личному хозяйству. Я ей говорю: личное теперь — тьфу! При коммунизме не надо будет ни дома, ни коровы: надо молока — на, бери! — Он сложил пальцы так, будто держит банку и кому-то подает ее. — Надо тебе квартиру — на, бери! Надо, скажем, тебе гитару тальянскую о двенадцати струнах — на гитару, бери, только играй, пожалуйста! — Игнат делает вид, что уже играет на гитаре о «двенадцати струнах».

— Хочет с раскрытой крышей до коммунизма дожить! — восклицает Домна. — Кто тебя туда пустит! Горе ты мое!

— Пуговку вынь! — спокойно говорит Игнат.

— Что?

— Пуговку Ленька заглотнул — вынь!

— Да что ж ты сидишь-то, вынул бы раньше! — кинулась Домна к ребенку и вытаскивает у него изо рта пуговицу.

— Твое дело за ребенком смотреть.

— А если проглотил бы?

— Ничего ему не подеется. Телок на ферме целый пояс заглонул, ничего не сотворилось — жив и по сей день! — Игнат не изменил позы, но во всех его словах что-то тонкое, насмешливое.

Шуров во время этого разговора внимательно смотрит на Игната. Он будто хочет заглянуть ему в душу. И Игнат чувствует этот взгляд: он как-то не находит места своему взгляду, изредка смотрит на Шурова и, покачивая головой, вновь отворачивается.

— Ты и меня-то срамишь! — говорит возбужденно Домна. — У меня, у женщины, триста трудодней, а у тебя — сто сорок… А ну! Одевайся на работу! — Она легко сдергивает его с кровати.

— От, чертова баба! — говорит Игнат, обращаясь к Шурову и будто желая показать, что он и без этого давно бы встал.

— Постойте, Домна Васильевна! — останавливает ее Шуров. — Тут у нас с ним другое дело. На работу ему вряд ли придется ходить.

— Аль исключили из колхоза? — всплескивает Домна руками.

— Ну, что вы! Такого человека… А что бы и вправду вам, Игнат Прокофьич, на пожарку стать? Семьдесят пять соток ежедневно. Сиди да следи, чтобы не горело. А?

— Семьдесят пять соток?

— Да.

— Это сколько в месяц? — Он считает в уме. — Двадцать два и пятьдесят соток. — Думает.

— Пойдет! — заключает Домна.

— Я что? У меня семейство. Баба не возражает. Оно и верно, — вспыхнул он радостно, — семьдесят пять соток, и никакая гайка. Что Игнату больше надо? Ничего не надо.

Вечереет. Игнат сидит верхом на пожарной бочке в пожарном сарае. В руках у него балалайка. Изредка отмахивается от мух. Лицо грустное-грустное. Он, тихонько потренькивая струнами, склонил голову набок и запел:

Ах, где вы сокрылись,
Ах, кари глазы-ыки…

— Нет, не так! — Оборвал и запел снова, встряхивая головой при ударе по струнам:

Ах, где вы сокрылись…

— Нет, не так! — Он ловко почесал спину углом балалайки, схватил горстью муху, посмотрел на нее в двух пальцах, бросил в бочку и наблюдает за рябью. Потом неожиданно еще раз пробует тот же куплет и замолкает. Ставит балалайку между коленями, опирается подбородком о гриф и задумчиво говорит: — Вот это попал! Шесть тысяч имущества на мне… Зато Игнату доверили! Игнат не украдет, Игнат будет беречь… Да. И пожары тушить будем.

Подходит Хват:

— Здорово!

— А-а! Здорово! Садись на бочку, пока пожару нету.

Однако Игнат соскочил с бочки и, украдкой оглядываясь на Хвата, спрятал под себя сбрую и сел на нее, прислонившись спиной к бочке.

— Ну и заловили тебя, Игнат Прокофьич. Куда попал! Шесть тысяч имущества. И все Шуров. Он ведь и Самоварова обманул: напротив ему сказал о тебе. Прохор Палыч как узнал, так — ой! — и

стучал кулаком! Тебе весь резон на Шурова подписать. Вот, принес теперь линованную бумагу.

Игнат бренчит на балалайке.

— Ну, что ж ты меня гоняешь целый месяц? — уже озлобился Хват. — Завтра да послезавтра, да бумага не та, да не линованная. Вот скажу Прохор Палычу — «не подписывает», — он тебе пропишет!

Вдруг лицо Игната преобразилось. Он будто испугался и говорит:

— Не говори, пожалуйста! Христом-богом прошу! Он меня тогда… Ух! Давай бумагу-то! — Берет бумагу из рук Хвата и читает бормоча. После прочтения лицо изменяется на обычное, равнодушное. — Ну, давай подпишу.

— Подписывай, подписывай.

— А ручку принес?

— Что-о?

— Ручку, говорю, и… чернила.

— Да что я, писатель — с собой ручку носить!

— А я тебе кто, счетовод — при себе ручку иметь? Вона! Выдумает тоже! Иль у тебя рассужденья нету?

— Тьфу! — плюет Хват и бежит за ручкой. — Сейчас принесу.

Пауза.

— Принес? — спрашивает Игнат.

— На, подписывайся тут, — тычет пальцем Хват.

— Сюда? — спрашивает Игнат.

— Сюда.

— Нет, не сюда, а вот сюда! — и Игнат комкает бумагу, бросает в бочку и быстро садится на горловину бочки, — Тут она! — постучал он ладонью по бочке.

Хват вытаращил глаза. А Игнат достал блокнотик, вечную ручку, отряхнул ее заправски и говорит:

— Тут у меня записаны все, у кого трубы не чищены; есть еще и чистые листки. Ты не волнуйся, Григорий Егорович, я свое напишу, как и полагается.

Хват недоумевает. Игнат пишет и подает Хвату листок.

«Порочить честного человека Игнат Прокофьевич Ушкин не будет. К сему — Ушкин».

Хват читает. Злобно смотрит на Игната и цедит сквозь зубы:

— В ихней шайке! Ну, смотри, разболтаешь — будешь тушить пожар на своей хате.

— А мне какое дело, — невозмутимо говорит Игнат. — Где ни тушить — все равно тушить… Иди-ка ты, Гришка, домой! Ты мне наблюдать мешаешь.

Гришка удаляется, рубя рукой воздух. Скрывается за углом.

Из-за угла пожарного сарая выглядывает Петя, затем Терентий Петрович.

— Ушел? — спрашивает Петя.

— Ушел, — отвечает Игнат улыбаясь.

— Бумага-то у тебя?

— Тут. — Игнат достает ком мокрой бумаги, разворачивает и заключает: — Сам черт не разберет — расплылось все. Не туда сунул.

— А случаем пожар у тебя, то мы свидетели. Все слыхали… Ладно. Теперь давай, Петруха, манифест, — говорит Терентий Петрович.

Петя достает цветной лист бумаги. Они все втроем читают.

— Не! Тут не так, — говорит Терентий Петрович. — Цари так не писали заглавие.

— А как? — спрашивает Игнат. — Мы же тогда не родились?

— Я и сам не помню. Неграмотный был. Откуда же мне знать? Ты, Петруха, заочно на агронома учишься — должон знать.

— Пойду, у дедушки спрошу! — вскакивает Петя и бежит.

Евсеич в хате набивает патроны. Над столом портреты двух сыновей Евсеича, погибших на фронте. На одного из них, как копия, похож Петя. Тося сидит за столиком и пишет.

Евсеич говорит:

— А Петр Кузьмич, скажу я тебе, Тося, такой человек, что весь колхоз за него станет. Оно, конечно, и твоя жалоба в райком пользительна будет.

— Новый секретарь райкома — умный человек, — говорит Тося.

— Да к, как он тебе сказал-то, когда ты была в райкоме?

— Говорит — разберусь.

— То-то вот и оно: ясно дело, разберется. На то он и поставлен к своему посту, чтобы разбираться. Не может же колхоз быть без председателя… А ты уж сочинила жалобу-то?

Вбегает Петя. Тося к нему:

— Петя! Твою контрольную проверила. Что-то она хуже предыдущей.

— Тут дело посерьезней, Таисия Михайловна… Контрольную переделаю… А тут… Дедушка! Как цари писали манифесты?

— А на кой ляд они тебе сдались — цари?

— Для истории, дедушка…

— Ну, для истории — валяй… Значит, так… Погоди, вспомню… Значит, так. «Богом данной мне властью… Мы». Не я, а мы… Чуешь — «мы».

— Чую.

— «Мы, царь польскай и князь финляндскай и проча, и проча, и проча».

— А не писали: «И тому подобно?»

— Нет, не писали. Писали — «и проча».

Петя уже выбегает из хаты, но за ним выбегает и Тося:

— Петя, скажи, что затеял?.. Я о чем-то догадываюсь!

Петя шепчет Тосе на ухо, оглядываясь по сторонам. Тося сначала серьезна, потом смеется все больше и больше, до слез. Петя убегает и на бегу кричит Тосе:

— Заседание правления и сегодня будет!

Комната Шурова. Шуров один. На листе бумаги:

«Секретарю райкома партии товарищу Попову И. И.
От члена партии Шурова П. К.
Заявление…»

Входит Катков. Он стал у притолоки и смотрит на Шурова. Шуров пишет, не замечая вошедшего. Катков тихо говорит:

— Петр Кузьмич! Опять заседание правления.

— Опять? — спрашивает Шуров.

— Пропали не спавши! Кружится голова… Одному сторожу Евсеичу только и покой ночью, не трогает пока.

— Что ж, надо идти… Там глаз да глаз нужен…

— Ну, пойдем.

Шуров собирает бумаги со стола и спрашивает:

— Решение парторганизации не отсылал в райком?

— Нет еще.

— Тогда возьми и мое заявление и вместе отошли. Дальше мы терпеть Самоварова не можем.

Катков запечатывает конверт, куда предварительно положил и заявление Шурова.

— С надежным человеком надо послать, — говорит он.

— Евсеичу отдай сегодня, а утречком отвезет с попутной машиной… Ну, пошли на ночное бденье…

Улица вечером. Шуров и Катков идут молча: каждый думает. Так идут люди, у которых многое переговорено, которые понимают друг друга с полуслова.

У палисадника стоят Тося и Алеша. Алеша, волнуясь, говорит:

— Тося! — В его дальнейшей прерывающейся речи слышится и горячая любовь, и грусть, и в одно и то же время чувство достоинства человека большой души. — Для меня Петр Кузьмич — больше чем родной брат… Даже помог мне заочно кончить техникум… И я знаю, вы его любите. Как Же мне быть?! Я — уеду отсюда. — И Алеша смотрит на Тосю вопросительно, поняла ли она? Те ли слова он сказал? И вдруг безнадежно говорит: — Не поймете…

— Алешенька! Какой же вы…

— Тося! — благодарно восклицает Алеша, не отрывая от нее глаз.

Последние слова Тоси слышат Шуров и Катков.

— Обойдем их, Петр Кузьмич, — говорит Катков.

— Обойдем, — как эхо, отзывается тот.

Тося видит отходящих Петра Кузьмича и Каткова. Дальнейшего разговора Тоси и Алеши Шуров и Катков не слышат.

— Алеша! Не быть мне с Петром Кузьмичом — не любит он меня, — говорит Тося.

Идут Шуров и Катков.

— Э-э, Петр Кузьмич! — говорит Катков.

Шуров идет молча. Он смотрит вперед. Катков положил ему руку на плечо и продолжает:

— А ну, постой. — Они остановились. — Любишь?

Шуров не отвечает.

— Любишь? — повторяет Катков..

Шуров смотрит вперед неподвижно и отвечает Каткову:

— Нет.

— Не верю. Промолчал — не верю.

— Слушай, Митрофан. — Шуров волнуется внутренне, но говорит тихо, сдержанно, душевно. Он взял Каткова за пуговицу, теребит ее. — Как быть? Они любят друг друга… И я… Мне… Ведь Алешу я воспитал: он мне как родной.

— Понимаю: Алеша… Трудно, Петр?

— Трудно, — почти неслышно отвечает Петр Кузьмич.

Слышен звонок в правлении.

— Пойдем, Митрофан, уже начинается…

Звук звонка продолжается. Комната правления колхоза. Самоваров звонит. Стоят скамейки в несколько рядов. Стол накрыт красным. Графин с водой. Самоваров выкладывает заявления из карманов и даже из фуражки и говорит:

— Заявлений накопилось… Тому дай, того отвези, того привези. Вот еще… одно…

Херувимов сидит сбоку стола, принимает от Самоварова заявления и, разглаживая их, складывает в стопку. Люди входят, но избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на корточки, на окна. Здесь уже Терентий Петрович, Петя, Домна, Игнат Ушкин, пожилые люди и старики…

— Кажись, все целы, — говорит Самоваров. Обводит взглядом присутствующих, берет колокольчик и оглушительно звонит, хотя разговор совсем тихий.

Игнат, сидя на окне, говорит тихо:

— Поехали-и!

Самоваров объявляет:

— Расширенное заседание правления совместно с руксоставом колхоза считаю открытым…

Херувимов во время речи Самоварова встает, открывает форточку, а Петя, облокотившись на стол, незаметно для других поднял верхний лист заявлений и подложил под него свою цветную бумагу. Затем Петя спокойно сел рядом с Терентием Петровичем в уголке. Они переглянулись.

— По первому вопросу, — продолжает Самоваров, — слово предоставляется мне, то есть по вопросу ведения…

Входят Шуров и Катков.

— Запиши этим двум за дисциплину по выговору, — обращается Самоваров к Херувимову. — Та-ак… Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые.

Первым разберем заявление от Матрены Чуркиной. Женщина просит подводу — подвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обращается он к Херувимову.

— Чего там читать! — говорит Алеша. — Телушка месяц как скончалась!

— Как так? — спросил Самоваров.

— Да так — подохла, — отвечает Терентий Петрович вежливо, — покончилась — и все! Не дождалась указания.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла… То есть того…

— Не Матрена, а телушка, — вмешался ленивым голосом Игнат.

На лице Самоварова мелькнула догадка: надо поправиться. И он заговорил:

— Ясно, телушка, товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка. Как только она перестанет быть телушкой, она уже не телушка…

Тося засмеялась и толкнула Алешу. Но при последующих словах Самоварова лицо ее меняется: она серьезнеет, сдвигает брови и, наконец, вся в негодовании.

— Поскольку телушка скончалась без намерения скоропостижной смертью, — продолжает Самоваров, — предлагаю выразить Матрене Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так, сочувствуем.

— Как вам не стыдно! — кричит Тося. — Черствый вы человек!

— К чертям, — кричит Алеша. — Матрене надо телку дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

Самоваров строго и зло, глядя на Тосю:

— Без санкции тов. Недошлепкина не могу дать телки…

— Жаловаться в райком будем, — кричит Алеша.

— Жаловаться в райком! — кричат все.

— Жаловаться в райком! — вопит Игнат.

Самоваров тоже кричит:

— Жалуйтесь! Скажу товарищу Недошлепкину: «Вашей санкции не имел на телушку». Все! Этим меня не возьмешь… Читай заявление! — скомандовал он Херувимову.

Тот взял цветной лист, что подложил Петя, и встал.

Петя толкает Терентия Петровича локтем, и оба они делают вид, что засыпают. Херувимов приспособился читать, но вдруг прыснул смехом, как мальчишка:

— Извиняюсь! Нельзя читать. Невозможно. Сначала сами прочитайте.

— Приказываю, чи-итай! — Самоваров откинулся в своем кресле и досадливо проговорил в публику тихо: — И слушать не буду: пусть сами разбираются. Еще и передерутся без руководства. — Он ухмыльнулся и не стал вслушиваться нарочито. Херувимов читает возвышенным тоном:

— «Ко всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий и тому подобно, подобно, подобно, богом данной нам властью и проча, и проча, и проча, растранжирили кладовую в следующем количестве: ко-ко — две тысячи, бе-бе — десять голово-дней, и при всем прочем четыре свинорыла недочета. И призываем всех помогать мне на рукработе в руксоставе. Кто перечит, из того дух вон! И проча, и проча, и проча…»

— Сто-о-ой!!! — кричит Самоваров.

Колокол звонит. Все встают в недоумении. Шум, гвалт.

— Что случилось? — спросил Терентий Петрович.

— Где горит? — кричит Игнат.

Самоваров рванул послание из рук Херувимова.

— Кто подписал?! Дайте мне этого врага!!!

— Вы, вы… сами подписали! Ваша подпись, — с наигранным испугом говорит Херувимов, — Я же вас предупреждал, но вы приказали. У вас так: сказал — крышка.

Самоваров остолбенел, глядя на послание.

— Кто подсунул на подпись? — орет он на Херувимова.

Херувимов пожимает плечами. Самоваров махнул рукой, чтобы все уходили. Все дружно и охотно выходят. Только Терентий Петрович и Петя сидят, якобы спят, посматривая одним оком друг на друга.

— Ну! Вы! — кричит на них Самоваров.

Оба вскакивают, будто спросонья, вытирают глаза и медленно выходят. На улице они громко рассмеялись.

Утро. Евсеич у зернохранилища с ружьем. Он собирается, уходить с поста, ощупывает замки, и‘разговаривает сам с собой:

— Вот и ночь кончилась. Соснуть, что ли, малость? Или прямо в райком пакет везти? — Достает из-за пазухи пакет, гладит ладонью. Чуть подумал и решил: — Сейчас и повезу в район.

Все слова Евсеича слышит Гришка Хват. Он стоит за углом зернохранилища с коромыслом на плечах — подслушивает, ожидая ухода сторожа, чтобы что-нибудь стащить. При последних словах Евсеича Хват быстро удаляется, предварительно обойдя зернохранилище, чтобы не попасться на глаза Евсеичу. В руках у Хвата колесо от плуга с номерком.

Шум мотора. Подъезжает «Победа». В автомашине Иван Иванович Попов. Он издали видит Евсеича. Но Евсеич не видит машины. Попов выходит из машины, говорит шоферу:

— Стань где-нибудь в укромном местечке. К правлению не подъезжай. Я похожу по колхозу. — Он идет к Евсеичу.

Тот увидел Попова, приложил ладонь к козырьку, вглядываясь, и говорит про себя:

— Что за человек в такую рань! Чужой, видать.

— Здравствуйте, — приветствует Попов подходя.

— Здоровеньки были! — Евсеич оглядывает Попова и снимает с плеча ружье — на всякий случай. — Из района или из области?

— Из района.

— А-а… А какая же у вас должность будет?

Попов подумал и сказал:

— Есть и должность…

— Видать, небольшая должностишка… Пешком ходишь… — сказал Евсеич, осматривая Попова.

— Ну, как у вас дела в колхозе?

— Дела? Плохо.

— А что так?

— Председатель — дрянь… И-и-х! Что ворочает, что ворочает! Беда! Прямо скажу — беда! — Иван Иванович достает записную книжку и ручку. — Записывать будешь — не буду говорить.

— Почему?

— А почем я знаю — правильно ли ты запишешь или нет. У меня тут пакет лежит: в нем все правильно. Больше ничего добавлять не надо. И мне доверили везти пакет к самому секретарю райкома Попову Ивану Ивановичу.

— Что же ты рассказываешь такое, о чем, может быть, не велено говорить?!

— Э! Батенька мой! Мы не в прятки играем. Да я самому Прохору скажу — хоть меня в морду бей. Я тоже за колхоз несу ответственность. — Он с грустью опустил глаза. — У меня… Два сына погибли на войне… Лучшие были колхозники. Ясно дело, отвечаю тоже.

— А с кем же вы живете?

— Старуха у меня, Марковна, значит. Петя, внучек, комсомол, на заочном учится. Так вот и живем, не гневим бога. Тося у меня на квартире, агрономша молодая.

— Ельникова?

— Она.

— Так это она о вас мне рассказывала? Вы — Евсеич?

— Ясно дело, — Евсеич. Я самый.

— Ну, вот и хорошо. Давайте мне ваш пакет.

— Э-э, нет! Как это так я отдам пакет? Кому велели, тому и отдам в руки.

— Так я же и есть секретарь райкома Попов… Пошли к вам в хату — побеседуем, поговорим.

Евсеич насторожился:

— Куда?

— В хату.

— Не секретарь ты райкома, — говорит он уверенно. — Чтобы секретарь райкома да пошел по хатам! Не бывает. Ишь ты, жук какой!

Пауза. Попов улыбается. Он поднимает лицо к Евсеичу и говорит душевно:

— Мне очень хочется побывать у вас. Пойдемте.

— Голос у тебя душевный… Если секретарь, то…

Иван Иванович подает документ. Евсеич достает очки, надевает их, читает шепотком и вдруг растерялся:

— Да как же это я, старый хрен?! А? Ты ж меня прости, Иван Иванович. Не знают еще тебя колхозники — новый ты человек.

— Не ваша вина — моя. Уже два месяца в районе.

— Вона-а! У нас был секретарь райкома три года, а видел его я один-единственный раз. А тебя, вишь, за два месяца увидал. Этак вполне выносимо… Ах я, старый хрыч!.. Милости прошу, гостем будешь!

Они пошли рядом, как заправские друзья, оба жестикулируя руками при разговоре.

Квартира Самоварова. Он спит в пуховиках. На столе пустая бутылка из-под водки, стакан и луковица. Быстро входит Хват. Он трясет Самоварова.

— Вставай!

Самоваров мычит. Хват трясет еще сильнее.

— Прохор Палыч! Беда!

— Кто? Что?

— Пакет! Евсеич пакет повез в райком: про вас написано.

— К телефону-у! — гаркнул Самоваров, вскочив с постели.

В хате Евсеича. Тося сидит перед планом поля и помечает карандашом. Она встает и говорит Марковне:

— Я поехала в поле. Завтракать приеду.

Входят Евсеич и Иван Иванович. Тося радостно:

— Иван Иванович! Как я рада! А я сегодня еще раз хотела к вам ехать. Невозможно больше так: Самоваров — это чья-то большая ошибка. Смотрите, он даже севооборот хочет уродовать. — Она подходит к карте. — Ну, хорошо. Шуров не даст ему портить в поле, но… но… сколько это стоит Шурову! Я не могу смотреть равнодушно… Петр Кузьмич… — Она замялась, смутилась.

Попов смотрит то на карту, то на Тосю, догадываясь о чем-то.

Евсеич Марковне тихо у двери:

— Секретарь райкома Иван Иванович Попов. Сам пришел. Чуешь?

— Партейный?

— Иль уж ты совсем без понятия? — разводит руками Евсеич. — Э, вот нету у тебя развития настоящего, старуха. Нет, да и только.

Марковна пытается возразить.

— Тсс… Видишь? Думает. — Он тихо подходит, кладет пакет перед Иваном Ивановичем, тихо, на цыпочках, уходит, маня за собой Марковну: — Не мешать… Видишь, в рассуждение входит.

Иван Иванович и Тося остались вдвоем. Он говорит:

— Шурова я знаю немного. Но… много о нем слышал: новатор.

— Он весь принадлежит полю… колхозу…

Попов думает. Потом говорит:

— Я пойду, товарищ Ельникова, по колхозу. Прошу вас пока не говорить о том, что секретарь райкома в колхозе! Вы идите на свое дело. Мы еще потолкуем сегодня.

Игнат в пожарном сарае чистит лошадь. Лошадь пытается брыкнуть ногой.

— Ну? Что еще выдумываешь? Моя обязанность такая, чтобы ты была в готовности. Вроде и умная животная, а без рассудка.

Подходит Попов:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — приветствует Игнат, не бросая работы.

— Хорошая у вас пожарка, хорошая.

— А кто пожарник? — спрашивает Игнат и сам отвечает: — Игнат Ушкин. Он навел порядок. Тпр-ру-у!

— А кто это — Ушкин?

— Здорово был! Я и есть Ушкин, — отвлекается от работы Игнат.

— А-а… Интересно. Здорово!

— Факт, здорово. Я, брат, каждую трубу проверил. Тушить-то и дурак потушит, а вот не допустить пожара — дело посложнее.

— Да-а, это поважнее…

Игнат доволен похвалой. Он говорит с оттенком бахвальства:

— Мне сам секретарь райкома товарищ Попов Иван Иванович сказал: «А ну-ка, Ушкин, проверь комбайны в поле насчет огнетушителей».

— Ну-у! И как же вы?

— Собираюсь с этого дня взять под контроль всех комбайнеров. Я им пропишу! Игнат если взялся, то… извини, подвинься!

— А вы, значит, с секретарем беседовали?

— У-у! Сила. Душевный человек.

— Да ну-у!

— Раз народ говорит — хороший, значит, хороший секретарь. Ты и сам должон понимать — народ не ошибается.

— А насчет председателя Самоварова как народ говорит?

Игнат смотрит на Попова. И отвечает:

— Дым густой, а борщ пустой. Я вот, если увижу еще секретаря Ивана Ивановича Попова, я ему все выложу: и как меня подбивали на Петра Кузьмича подписать кляузу, и как он с Гришкой Хватом баранов режет. Я все выложу… И пьет водку без просыпу. Я, брат, с секретарем райкома — душа в душу… Постой! А ты кто есть?

— Вот и выкладывайте мне, товарищ Ушкин. Я Попов, — улыбнулся Иван Иванович.

Игнат не растерялся, он всегда спокоен.

— Значит, я засыпался? Влип?

— Ничего не засыпался. Я так и говорю: противопожарные меры на комбайнах надо взять под контроль. Я так и думал. Только жалею, что не сказал вам этого раньше.

— Значит, у меня понятие правильное?

— Абсолютно. Ну, рассказывайте о председателе.

Они садятся на оглобле пожарного насоса.

— Значит, так… — говорит Игнат.

Кабинет Самоварова. Он у телефона. Хват стоит рядом. Самоваров вызывает:

— Райком. Райком. Райком?.. Попов у себя? Не-ету? А где? В район уехал? — кладет трубку, — За Пяткиным ходил? — спрашивает он у Хвата.

— Ходил.

— Ну что?

— Сказал «не пойду»… Мне, говорит, от народа глаза деть некуда.

— Что-о?

— Так и сказал.

— Предал. Вот черт! — берет трубку. — Прокурора!.. Товарищ прокурор! Как со следствием по делу Шурова? Извиняюсь… На днях следователь выедет? Так, так. — Кладет трубку и снова берет ее: — Председателя райисполкома! Что? Нету? А где он? В область, говоришь, вызвали? Фу, ччеррт!! — кладет трубку и говорит: — Ну, куда? — и разводит руками, глядя в упор на Хвата.

Хват молчит. Стук в дверь.

Комната правления, где сидит Херувимов. Попов стучит в дверь кабинета Самоварова. Херувимов хитро посматривает на Попова.

— Кто? — зло спрашивает Самоваров. — Кого там черти носят безо времени?

— Тракторист, — отвечает Попов.

— Подождешь — занят!

Иван Иванович садится на скамейку, осматривает комнату и спрашивает у Херувимова тихо:

— Правда ли, что у вас десяти овец недосчитывается и трех тысяч яиц?

— Правда.

— Как это могло случиться?

— Вот, — выкладывает папку Херувимов, — тут все записки Самоварова. По ним можно установить, кому растранжирено. Я все вам писал по документам. Одному Хватову — три овцы и три тысячи яиц. Он у Хвата и гуляет: туда и баранинку, туда и яички…

— Пьет?

Херувимов утвердительно кивает. Попов снова стучит к Самоварову.

— Кого там носит? — вопрошает Самоваров.

— Колхозник, — отвечает Попов, изменив голос.

— Время не знаешь? Придешь завтра, после пяти.

Попов тихо выходит, кланяясь Херувимову. После ухода Попова к Херувимову входит следователь, — юркий, узколицый молодой блондин, — с весьма толстым портфелем, и скороговоркой обращается к Херувимову:

— Здрс-с!.. Следователь. — Здороваются. — По делу Шурова. Где председатель?

Херувимов молча указывает пальцем на дверь.

В кабинете Самоварова. Самоваров трясет ладонь следователя:

— Ну вот! Во-от… Наконец-то!

— Прямо и — за дело. — Следователь разгружает портфель на стол, на стулья и с очень важным видом, не идущим к его комплекции, начинает следствие: — Итак, ваш материал подходит под действие статьи сто девятой, глава третья. Преступление по должности.

— Именно! — восклицает Самоваров. — Я и сам так думаю. Даже и крупнее бы ему статью надо: двести девятую ему!

— Нет такой статьи. На двести пятой кончается кодекс.

— А жалко. Ей-богу, жалко! Ну, валяй по сто девятой!

— Первым вызвать Хватова Григория Егоровича.

— Я! — отвечает молчавший до сих пор Хват.

— Прошу освободить комнату, — обращается следователь к Самоварову.

— Понимаю: закон! — улыбается Самоваров и выходит.

— Та-ак… Фамилия?

— Хватов!

— Имя и отчество?

— Григорий Егорович!

— Вы лично видели и можете подтвердить, что: а) по приказанию Шурова посеяли по непаханой; б) Шуров сам присутствовал при выполнении данного преступления другими лицами, подчиненными ему по должности?

Херувимов из соседней комнаты прислушивается к разговору. Качает головой. Ухмыляется.

Поле. Буйный овес. Попов, Шуров и Тося у овса.

— Хорош! — восхищается Попов. — Он самый?

— Тот, что по непаханой, — отвечает Шуров.

— Значит, ты вспахал глубоко под картофель в прошлом году?

— В позапрошлом — под зябь.

— А в этом году уже не пахал?

— Да.

— Ой, как это здорово! И засуха не повредила.

— Очень хорошо! — восхищается и Тося.

— Поклонница твоего метода? — спрашивает Попов, указывая на Тосю.

— Поклонница — это не то… — отвечает Шуров.

Тося смущена. Она вопросительно смотрит на Шурова.

— Ты, Шуров, сделай-ка докладик на партактиве о своем методе. А? — обращается Попов.

— С удовольствием, — соглашается Шуров.

Они идут по полю овса. Потом — среди пшеницы. Попов говорит:

— Мне еще надо увидеться с Пшеничкиным.

— А что у вас к нему?

— Заявление его у меня: просит отпустить учиться в институт. Он заочно окончил первый курс, а теперь хочет на очном. Что он за человек?

— Замечательный, — отвечают оба сразу.

И вдруг Шуров мрачнеет. Тося грустнеет. Оба молчат.

— Что с вами стряслось сразу? — удивляется Попов. — Или что с Пшеничкиным не так?

— Я… расскажу все. Потом. Его, кажется, надо оставить здесь. Кончит заочно.

— Ну, я что-то ничего не пойму, — говорит Попов.

Тося посмотрела на Петра Кузьмича и сказала:

— Я пойду… — и ушла.

Попов смотрит ей вслед удивленно. Шуров отвернулся.

Поле. У лесной полосы. Попов садится на траву и говорит:

— Садись, Петр Кузьмич, рассказывай.

Шуров садится рядом с Поповым и говорит:

— Алеша любит Тосю всем сердцем. Но хочет убежать от нее… Он жертвует собой ради одного человека.

— Кого? — настойчиво спрашивает Попов.

Шуров молчит, глядя перед собой.

— Ну, выкладывай. Тут судьба молодого коммуниста Пшеничкина.

— Он… — медленно говорит Шуров, — делает это ради меня.

— Ты любишь?

— Да.

— И оба хотите стать жертвой друг для друга?

— Я не имею права…

— Любить?

— Нет, разрушать чужую любовь.

— Да. Если они любят друг друга, то… — Попов задумывается. — Как должен поступить коммунист?. — спрашивает он не то у самого себя, не то у Шурова.

В хате Евсеича. Тося укладывает в чемодан вещи.

— Что же ты до сроку едешь? — спрашивает Марковна. — Говорила — до сентября, а сама целого месяца не дожила.

— Надо ехать, — говорит Тося. — Буду писать дипломную. Отзыв о практике попрошу выслать письмом. Я… обязана ехать.

— Да что ж такое стряслось-то, детка моя?

Входит Шуров. Тося не обернулась, но она почувствовала вошедшего и замерла с каким-то платьем в руке. Она рада приходу Шурова и не понимает цели его прихода, но какая-то затаенная надежда искрится и ее глазах.

Марковна выходит.

— Тося! — произносит Шуров.

— А? — вздрогнула та и обернулась к Шурову.

— Почему вы уезжаете?

— Дипломную буду писать… И…

— Неужели вы не знаете, что одному человеку будет тяжело?

— Кому? — спрашивает, волнуясь, Тося.

— Ему.

Тося, не глядя, опускает в чемодан платье, поджимает его коленом и накрывает крышку, что-то похожее на жест безнадежности в этом ее движении.

— Неправильно вы поступаете, Тося…

— А вы уверены в этом?

— Да.

— Ничего-то вы не понимаете!

Входит Алеша говоря:

— Подвода подана.

Попов садится в автомашину на том же месте, где он утром вышел из нее. К автомашине подбегает следователь:

— Здр-с-с! Имею просьбу, товарищ секретарь райкома: не подвезете? Дело срочное — к прокурору.

— А что за срочность?

— По делу агронома Шурова: преступление по должности — сто девятая.

— А-а!.. Ну и как?

— Во! — постучал следователь по портфелю. — Явное.

— Так-так. А ну-ка, поедемте вместе прямо в ваше учреждение: допросите по этому делу еще… меня.

— Вас?! — И он растерянно делает шаг назад от машины.

— Ну, чего вы так смотрите? Разве секретари райкомов не могут быть свидетелями?

— Да. Конечно. То есть как так? Вас?!

— Меня. Да садитесь же! Дело-то у вас «срочное»…

— Ну!

Следователь ныряет в дверцу машины.

В автомашине. Попов, повернувшись к следователю и будто заканчивая какой-то разговор, говорит:

— Вот видите, как оно получается?.. То-то и оно! Молоды вы еще! Молоды… Поможем.

Следователь вздыхает.

Вечер. Комната Шурова. Та же обстановка. Но на тумбочке, кроме портрета матери, портрет Тоси. Шуров смотрит на портреты и говорит:

— Не так все, не так это… Все не так.

Он берет гитару и поет песню Тоси.

Он кончил песню. Сидит, глядя в пол. Входят Алеша и Катков.

— Добрый вечер! — приветствуют оба.

Шуров приветливо улыбается:

— Здравствуйте, пятый раз сегодня!

— Зашли посоветоваться, — говорит Катков, — Завтра совещание передовиков сельского хозяйства.

— Знаю, — говорит Шуров.

— Получил отношение: от колхоза должен выступить передовик. Подписано Недошлепкиным. Велено того человека прислать к нему.

Шуров думает. Вдруг его осеняет какая-то мысль, и он восклицает:

— Терентия Петровича! Он пропишет!

— Идет! — поддерживают оба собеседника.

Районный городок. Здание райисполкома. Съезжаются автомашины, тачанки, дрожки. Среди приехавших передовиков и руководителей колхозов стоит Попов. Его окружили колхозники. Он весел и о чем-то горячо беседует. Подъезжает автомашина колхоза

«Новая жизнь». Петр Кузьмич машет рукой Попову. Тот отвечает таким же приветствием и говорит:

— И Терентий Петрович приехал! Вот хорошо! — Он подходит к автомашине колхоза «Новая жизнь», оставив окружающих его.

Все оставшиеся удивлены и следят за Поповым: какой же это большой начальник приехал, если сам секретарь райкома встречает.

Самоваров вышел из кабины. Он видит идущего к нему Попова и приготовился поздороваться. Он важно оглядел присутствующих, — дескать, сам секретарь приметил его, — но Попов проходит мимо него. Подходит к кузову машины и жмет руку первому Терентию Петровичу.

— Здравствуйте, здравствуйте, Терентий Петрович! Я качеством вашего сева прямо-таки восхищен. Замена тельно!

— Не я один — нас много, — обводит рукой Терентий Петрович собравшихся.

Кабинет Недошлепкина. Недошлепкин в кресле, Стол завален отпечатанными на машинке листами. Терентий Петрович подошел к столу.

— Гм… Ты?! — удивился Недошлепкин.

— Ну, давай, делай. Вот тебе речь. Тут все написано, только фамилии проставишь там, где точки. Никакой отсебятины.

— Да я сам-то, может, лучше надумал!

— Но-но! — пристукнул легонько Недошлепкин ладонью. — Чтоб без запинки! Все написано. Активность совещания тоже надо организовать по плану. Соображаешь?

Терентий Петрович свернул речь вчетверо, сунул в боковой карман и только после этого ответил:

— Нет, не соображаю. Речь читать не буду. Как это так — и в публику смотри и читай? Не способен.

— А ты не лупи сразу глаза на народ. Настоящий оратор сперва должен прочитать все, а потом уж глянуть в публику. Все! Установку получил — выполняй.

Терентий Петрович выходит, в недоумении разводя руками.

Фойе. Дверь в зал открыта. Слышен легкий гул собравшихся. Около двери делегация колхоза «Новая жизнь»: оба бригадира, Шуров,

Костя, Петя, Домна Ушкина. Они ждут Терентия Петровича. Тот подходит угрюмый, вздыхает.

— Ну? — спрашивает Шуров.

— Вот, — подает он речь. — Велел читать.

Шуров читает и улыбается. Все наклонились над бумагой, кроме Терентия Петровича.

— Не буду читать, — говорит он так же угрюмо.

Шуров что-то шепчет ему на ухо. Лицо Терентия Петровича светлеет и веселеет по мере того, как Шуров все энергичнее шепчет ему. И вот Терентий Петрович уже совсем весело говорит:

— Э, мать честная! Буду речь читать!

Костя отвел Терентия Петровича к буфету и говорит:

— Иди-ка, чего скажу.

У буфета.

— По сто? — спросил Костя.

— Можно, — подтвердил Терентий Петрович, но сразу почему-то стал скучным. Он угрюмо взял стопку, чокнулся с Костей, но вдруг задумался и не стал пить.

Костя опрокинул свою стопку, воткнул вилку в сардельку и недоуменно спросил:

— Ты что ж, Терентий Петрович?

Терентий Петрович ничего не ответил. Он стоит в раздумье и слушает духовой оркестр.

— Что с тобой? — участливо спрашивает Костя и тихо шепчет на ухо: — Ты ж хотел, как на «обходе»… Пей!

— Нет, Костя, пить не буду.

— Для смелости долбани чуть…

— Не буду. Чую в себе силу и без водки…

Зал. Совещание передовиков. Над сценой призыв: «Привет передовикам сельского хозяйства»; на сцене президиум: Попов, Недошлепкин, Шуров, Катков и другие. Председательствует Попов. Он нажал звонок. Стало тихо. Попов объявляет:

— Продолжаем совещание. Слово предоставляется лучшему прицепщику района товарищу Климцову Терентию Петровичу.

Аплодисменты.

Терентий Петрович стал сбоку трибуны, держа перед собой «речь». Он начал читать унылым голосом, совсем на него не похоже.

— Товарищи передовики района! Товарищи руководители района! Исходя из соответствующих установок высших организаций и на основе развернутого во всю ширь соревнования, а также под руководством районных организаций и председателя колхоза… Тут точки… Мы одержали громадный успех в деле выполнения и перевыполнения весеннего сева на высоком уровне развития полевых работ и образовали фундамент будущею урожая как основу нашей настоящей жизни в стремлении вперед на преодоление трудностей и… Ох! — вздохнул он и посмотрел в публику. Он потерял строчку, но не смутился, а честно объявил: — Потерял, товарищи. Ну, пущай, ладно… Я с другой строчки пойду… Мы, передовики колхоза… точки!.. под напором энтузиазма закончили сев в пять дней… Ага! Вот она — нашел! Та-ак… В пять дней… И мы, передовики колхоза, многоточие, обязуемся вывести все прополочные мероприятия в передовые ряды нашей славной агротехники и на этом не останавливаться, а идти дальше к уборочной кампании в том же разрезе высших темпов. И мы, передовики колхоза, опять точки, призываем вас последовать нашим стопам в упорном труде. — Он неожиданно прервал чтение, посмотрел в публику и сказал: — И тому подобное, товарищи. А теперь я скажу от себя.

Самоваров зашипел. Терентий Петрович посмотрел на него. Попов нажал звонок и говорит:

— Продолжайте.

— Товарищи! — начал снова Терентий Петрович. — У нас совещание лучших людей. Мы приехали поделиться опытом и отметить недостатки. Я сперва дам наводные вопросы и буду на них отвечать. Я спрашиваю, зачем нам понаписали вот эти шпаргалки? — Он потряс «речью». — Ведь все читаем готовое, всем понаписали. Или мы маломысленные люди? Это ж обидно, товарищи! (Зал гудит одобрительно.) Мне надо говорить о качестве сева, а меня заставляют читать «последовать нашим стопам». Да на что они мне сдались, эти «стопы», прости господи?! Отставить такую моду, товарищи. Это раз. Еще наводной вопрос к самому товарищу Недошлепкину: может ли председатель райисполкома нарушать агротехнику и заставлять сеять по грязи?

Зал гудит, волнуется. Недошлепкин потянулся к звонку, но Попов придвинул звонок к себе.

— …Отвечаю, — продолжает Терентий Петрович. — Не может! А вы, товарищ Недошлепкин, лезли к агрегату по грязи, даже калошку свою утеряли и вынесли ее, несчастную, на руках. Вы что ж думаете, мы сеяли после вас? Да нет же, не сеяли. И вы думаете, меня накажете? Нет, точно вам говорю. С работы меня снять невозможно: я с поля не пойду. А я спрашиваю, когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно вам говорю, товарищи, без со-обра-же-ния!

Бурные аплодисменты. Терентий Петрович поднял руку. В зале тихо.

— …Каждый из нас, товарищи, — хозяин своего дела. Я, прицепщик, хозяин, а почему Недошлепкин не хозяин своего дела, а всю нашу жизнь хочет превратить в сводку? Почему он болтается по колхозам, как пустая сумка? Нельзя так, товарищи, нельзя! Партия от нас требует, народ требует отдать все силы на строительство коммунизма.

Гром аплодисментов то затихает, то усиливается вновь. Попов восторженно аплодирует. Недошлепкин отодвинулся со стулом назад и в сторону и таким манером скрылся от взглядов публики. С него пот ручьями. Он тоже аплодирует, но ладони не соприкасаются.

Терентий Петрович спустился по ступенькам. Зал притих. Попов говорит:

— На вопросы, поставленные товарищем Климцовым, постараюсь ответить в конце совещания. Его выступление — свидетельство глубокого понимания и поддержки народом решений нашей партии. Терентий Петрович поставил чрезвычайно важные вопросы. Но сейчас скажу от имени райкома партии одно: спасибо вам, Терентий Петрович! За правду спасибо! Райком партии вас поддержит. Мы решительно будем освобождаться от бюрократов в агротехнике.

Кабинет Попова. Попов за столом. Перед ним, съежившись, Недошлепкин. Попов говорит:

— Вы потеряли чувство ответственности. Изображали из себя районного бога, безгрешного и всемогущего… Да-а… Да что теперь

говорить! Вот ваши документы. Решение бюро состоялось, новый председатель исполкома избран на сессии. Прощайте! — Он встал.

— Разгоните настоящие кадры, товарищ секретарь! — проговорил Недошлепкин вставая.

— Настоящие не разгоним.

Вдруг Недошлепкин изменился и гордо пошел к двери. Там, остановившись, он оборачивается к Попову и говорит:

— Я этого дела так не оставлю. Напишу в Москву — как вы подрываете авторитет руководящего состава.

Попов покачал головой.

— Эх-хе-хе! Ничему-то вы не научились.

В кабинет Попова входит Самоваров.

— А-а! — произносит Попов.

Не понимает этого восклицания Самоваров. Смущается. Достает «послание», кладет перед Иваном Ивановичем и говорит:

— Вот он… «манифест»!

Иван Иванович все время внимательно смотрит на Самоварова. Но когда начинает читать «послание», неожиданно хохочет до слез.

Самоваров в сторону, тихо:

— Либо умом рехнулся, либо тронулся мозгами. Чего смешного?

— И подпись-то, подпись-то ваша! — в изнеможении хохочет Иван Иванович. Наконец он успокаивается. Отходит к окну. Помрачнел. Спрашивает: — С этим и пришли?

— Да. Один подрыв. Мошенники и жулики оба бригадира. А подлей всех Шуров. Этот и под землей обманет. Снимать надо. Всех снимать! Согласовать пришел, поскольку товарища Недошлепкина… того…

Иван Иванович сел в кресло. Смотрит в середину стола и говорит, перебивая Самоварова:

— Нам колхозники доверяют всей душой. А мы? И как это вас рекомендовали, Самоваров, в председатели? Я здесь новый человек. Как? Кто?

— Недошлепкин… Признаю! — заныл Самоваров, почувствовав момент для признания. — Тяжело сознавать вину. Допустил ошибку! Каюсь!

— В который раз?

Самоваров жует губами. Попов продолжает:

— Видимо, столько было покаяний, сколько раз снимали?

— Гм… — произносит Самоваров.

— На вас насчитала ревизия три тысячи рублей. Растрата. Такие-то дела, Самоваров… Собрание завтра будем проводить… Будем рекомендовать… Шурова…

— Ка-ак? Агроном — председатель?! — встрепенулся Самоваров.

— Да, — отвечает Попов. — О вас же будем решать вопрос на бюро. Хорошего не предвижу. Видимо, будет суд.

Поле. Лесная полоса. Шуров и Евсеич идут вдоль полос. Шуров смотрит на буйные хлеба. Евсеич весело говорит:

— Хлеба-то, хлеба-то какие! И сушь нипочем!

Шуров восхищенно смотрит в поле, на лесную полосу и говорит:

— Семнадцать лет полосе-то. Хороша!

— С самого начала помню. Вот такусенькая была! — показывает ладонью от земли Евсеич.

Оба входят в лес.

— И лес Не тот, и люди не те стали, — говорит Шуров. Осматривает деревья. — Растут и растут все выше.

Вдруг лицо Евсеича резко меняется. Он остановился как вкопанный, снял кепку, мнет ее в руках и восклицает в тоске:

— Петр Кузьмич!

Мы видим два пня от свежесрубленных деревьев. Евсеич как-то сразу постарел, морщинки обозначились четко. Два пня сиротливо белеют среди полосы. Потянул легкий ветерок, ветви слегка зашуршали, будто жалуясь… И мы видим: капли сока, как слезы, текут из пня.

— Сук-кин сын! — произносит Евсеич в негодовании.

— Его работа, — мрачно говорит Шуров, — Больше некому.

Шуров стучит в калитку Хвата. Алеша рядом с ним. Залаяла собака, захлебываясь и надрываясь. Кто-то цыкнул на нее во дворе. Калитка открылась, и перед пришедшими стоит Гришка Хват. Он в недоумении переводит взгляд с одного на другого.

— Милости просим! — наконец говорит он, пропуская их во двор.

Огромный пес, такой же рыжий, как и хозяин, оскалив пасть, бегает вдоль протянутой через двор проволоки, на рыскале цепи.

— Уйми ты его, Хватов! — просит Шуров.

На крыльцо выходит Матильда и говорит:

— Здравствуйте! — но это звучит, как «уходите». — Чего же в хату не зовешь начальников? — Голос ее стал чуть приветливее: — Небось в хате и поговорить лучше. Заходите!

Во дворе колесо плужка с номерком и свежее сено люцерны. Шуров и Алеша обмениваются взглядами и всходят на крыльцо.

В хате Хват говорит жене:

— Собери закусить.

Та выходит в сени, а Хват за ней.

— Ну? — спрашивает тихонько Алеша.

— Подождем, что дальше будет, — шепчет Шуров. — Не бойся! По стопам Прохора Палыча в бутылку не полезу. У меня план.

Входит Хват. Он уже улыбается. Тяжело ступая и сотрясая телесами, вошла Матильда и засуетилась:

— Заведи пока патефон, Григорий Егорович! Выбери, какую покультурней.

Гришка заводит патефон, который сначала зашипел, а потом мы слышим романс в исполнении Леонида Утесова:

Луч луны упал на ваш портрет,
Милый друг давно забытых лет,
И во мгле… гле… гле… гле… гле… гле…

Игла запала в одной строке. Матильда стукнула по мембране деревянной ложкой, и игла проскочила дальше.

На столе — колбаса, огурцы и крупные ломти хлеба. Хват достает из-под кровати литровую посудину, заткнутую кукурузным початком, ставит ее на стол и садится сам, пододвинув стакан к себе.

— Самогон. Купил? — говорит Шуров, нюхая бутылку.

— Эти дела, как бы сказать, не покупаются, — почти равнодушно отвечает Хват.

— Своего изделия? — спрашивает Алеша.

Хват кивает головой.

— Крепкий? — спрашивает Шуров.

— Хорош! — улыбается деревянной улыбкой Хват.

— С выпивкой — потом. Сейчас давай, Григорий Егорович, поговорим о деле и… поставим точку. — Он ставит точку ручкой вилки на столе.

— Дак мы ж еще ни о каком деле не говорили, — возражает Хват.

— И стоит вам о пустяках разговаривать! — вмешивается Матильда, — Мы вечные труженики, а на него всякую мараль наводят. Пустяк какой-нибудь — бутылку рассыпанной пшеницы подберешь на дороге, а шуму на весь район. Да что это такое за мараль на нас такая! И всем колхозом, всем колхозом донимают! При старом председателе, при Прохоре Палыче, еще туда-сюда, а вас обвели всякие подхалимы, наклеветали на нас, и получается гольный прынцип друг на дружку. — Матильда входит в азарт и уже частит без передыху: — Мы только одни тут и культурные, а то все — темнота. Машка, кладовщица, со старым председателем путалась, Федорка за второго мужа вышла, Аниська сама сумасшедшая и дочь сумасшедшая, Акулька Культяпкина молоко с фермы таскала, а на нас мараль да прынцип, мараль да прынцип. Я ему сколько раз говорила, — указывает она на мужа, — сколько раз говорила: законы знаешь? Чего ты пугаешь статьями зря, без толку? Напиши в суд. В милиции у тебя знакомые есть, чего терпишь?

Шуров не выдерживает и перебивает ее:

— Послушайте, хозяйка! Дайте нам о деле поговорить!

Матильда в недоумении смотрит на него, но не сбавляет прыти:

— Вот вы все такие, все так: «Женщине — свободу, женщине — свободу», а как женщина в дело, так вы и слова не даете сказать. Извиняюсь! Женщина может сказать, что захочет и где захочет. Что? Только одной Домне и говорить можно? Скажи пожалуйста! — разводит она руками. — Член правления, акти-ив!

— Ну, нельзя же вам одной только и говорить, — не вытерпел и Алеша. — Вы вот высказались, а теперь наша очередь: так и будем по порядку, по-культурному.

Скрестив руки, Матильда прислонилась к припечку и замолчала.

— Итак, о деле, Григорий Егорович, — заторопился Шуров, — о деле…

— О каком таком деле? — недоверчиво спрашивает Хват.

Как из ушата холодной водой, Шуров окатил Хвата.

— Вот о каком: первое — люцерну, что накосил незаконно, привези в колхозный двор!

Гришка встает.

— Ай! — взвизгнула Матильда.

— Цыц! — обернулся к ней муж и задал вопрос Шурову: — Еще что?

— Колеса с плужков и ясепьки принеси в мастерскую.

— Еще что? — с озлоблением прохрипел Хват.

— А бутылку возьмем с собой, — заключает Шуров. — Придется ответить!

Гришка вышел из-за стола. Лицо приняло прежнее, внешне спокойное выражение, и только бровь чуть-чуть вздрагивает.

— Ну так как же? — говорит с усмешкой Шуров.

— Ничего такого не будет: не повезу. А бутылку возьмете — грабеж… Вас угощают, а вы… Эх вы! — он машет рукой и прислоняется к рекламе ТЭЖЭ. Люцерну — не докажете, ясеньки — не докажете, не пойманный — не вор. Купил — и все. Докажите!

— Хорошо, — вмешивается Алеша. Люцерну докажем очень просто. Только в одном нашем колхозе — желтая люцерна «степная». Как агроном, он может точно подтвердить, а как председатель — составит акт.

Гришка вздрагивает. Тень страха пробегает во взгляде.

— Понятно? — поддержал Шуров. — А колесико с плуга — номерок имеет. Видишь, оно какое дело, Григорий Егорович.

Гришка опускает голову, не возражая, и рассматривает носки своих сапог. А Шуров добавляет:

— Ты пойми, Хватов! За самогонку — не меньше года. За люцерну — тоже… А? Жалко мне тебя, Григорий Егорович! Ей-право, жалко, а то не пришел бы. — Шуров методично добивает Гришку. — Привык ты, Григорий Егорович, не тем заниматься, чем следует, а остановить было некому… Оторвался от народа, ушел в сторону и стал единоличником внутри колхоза… Может быть, хочешь остаться единоличником по-настоящему? Так мы можем это сделать, и есть к тому все основания. Как, а?

Хватов уже беспомощно и жалобно, хрипло говорит:

— Исключить, значит… Ну… убивайте! — Он неуверенно делает несколько шагов и садится на лавку.

— Позора боишься? — спрашивает Шуров. — Не надо до этого допускать.

— Вы… меня теперь все равно… — Он не договорил и махнул безнадежно рукой.

Шуров подходит и садится с ним рядом. Закуривает. Примирительно говорит, пуская дымок вверх:

— Ну, хватит нам ругаться… Пиши заявление!

— Куда? — спрашивает Хватов не глядя.

— В правление, куда ж больше?

— Тюрьму, что ли, себе написать? — угрюмо бросает Хватов.

— Зачем тюрьму? Колхозную честь соблюсти. Напиши, что просишь принять излишки сена. Ну и… — Он подумал. — Ну и напиши, что хочешь в кузницу молотобойцем. По ремонту инвентаря будешь работать: руки у тебя золотые, силенка есть… А плужки пусть на твоей совести останутся.

— Через все село везти сено! У всех на глазах! — неожиданно закричал Хватов. — Не повезу!

— Тогда… обижайся сам на себя. Я сказал все. — Шуров заткнул литровку тем же початком, поставил ее на окно и встал. — Значит, не напишешь?

— Подумаю, — произносит Хватов после паузы.

— Подумай хорошенько, Григорий Егорович. Мы к тебе с добром приходили… Хорошенько подумай! — повторяет Шуров и обращается к Матильде: — До свиданья, Матильда Сидоровна!

Алеша элегантно протягивает руку Матильде и говорит с нарочито подчеркнутой вежливостью:

— До свиданья, Матильда Сидоровна!

Воскресный день. Где-то поют, где-то пляшут. На бревнах сидят группой колхозники Терентий Петрович, Евсеич, Катков, Настя и другие. Среди них Игнат играет на балалайке, Евсеич следит за калиткой Хвата. Шуров и Алеша вышли из калитки. Евсеич зовет их, помахивая рукой. Они подходят и садятся на бревна. Колхозники сразу же окружают Шурова.

— Никишка-то Болтушок против Самоварова поднял руку на собрании! — сообщает Евсеич.

— Все за вас подняли! — восхищается Терентий Петрович.

А Игнат задумался и говорит:

— Эх-хе-хе! Тося-то уехала… Зря. Ей-бо, зря…

Все притихли. Евсеич толкает Игната с одной стороны, Домна — с другой. Игнат смотрит на того и другого и говорит:

— Ну? Что? Ну, вспомнил. Жалко же такого агронома.

— А правда, кто же у нас теперь агрономом будет? — спрашивает Петя. — Вот Тосю бы…

Шуров мрачен. Алеша отходит в сторону. Настя поднимается и подходит к нему.

Ночь. В хате Терентия Петровича. Петя пишет письмо. Терентий Петрович диктует:

— Так и пиши: «Дорогая, значит, Тося! Шлю нам поклон от себя и от Терентия Петровича, и…»

— Поклоны после. Сначала письмо пишется.

— Чудак ты! Сроду так: сперва поклоны.

— Ну ладно; пусть по-вашему.

— Да не по-моему, а как полагается… «И от Алеши, и…»

Ночь. Игнат на пожарке. Выражение лица у него тоскливое. Он оперся подбородком о кулак и смотрит в темноту говоря:

— Вот, сиди — жди пожару… Уйду! Пусть Алешка другую работу дает — по нраву. Мне Петр Кузьмич какую хошь работу теперь даст. А это что? — осматривает он сарай.

Снова в хате Терентия Петровича. Петя продолжает писать и повторяет написанное вслух:

— «А Игнат Прокофьевич Ушкин о вас часто вспоминает. Он — все на пожарке. И уже не летает с одной работы на другую. — Терентий Петрович слушает Петю молча, — А председателем у нас теперь Петр Кузьмич… А кто будет агрономом — еще ничего неизвестно».

— Как так неизвестно? Пропиши: пущай едет в колхоз.

— Нельзя.

— Нельзя, — подтверждает и Терентий Петрович, покачивая головой. — Ну пропиши, что сушь у нас стоит страшная. Но хлеба

хорошие. Тут и ваше, мол, радение есть… Эх-хе-хе! Когда же дожди-то будут!

— «Бабушка моя Марковна посылает вам поклон. А Петр Кузьмич все по ночам сидит в правлении и пишет, а днем в поле. Только плохо ему: один он».

— Пропиши: жениться бы надо, — вставляет Терентий Петрович.

— Нельзя, — возражает Петя.

— Нельзя, — соглашается Терентий Петрович, так же покачивая головой. — Вот, бывало, мы женились — просто. Точно говорю — просто. Матвеевна! — обращается он к жене, которая вяжет чулок. — Как мы с тобой женились-то, помнишь?

— А как же, ты сперва подрался с моим батькой, а на другой день я к тебе и ушла.

— Ну, ну! — осаживает ее Терентий Петрович.

— А венчались-то уже недели через три.

— Да хватит! — перебивает Терентий Петрович.

— Чего хватит? Какой ты был, таким и остался. Чего хватит? — ворчит она. — Не перебивай Петю.

Утро. Почтовый ящик. Петя опускает письмо.

Город. Тося сидит на скамеечке в парке и читает письмо, быстро пробегая глазами.

«Только плохо ему: один он». Тося подпирает ладонями лицо и задумывается. Потом говорит:

— Какие там хорошие люди!.. А ехать нельзя… — Читает снова, но уже вслух: — «Гришку Хвата Петр Кузьмич прижал здорово, а чем это кончится, еще не знаем»… — Тося мрачнеет и снова задумывается.

Гришка Хват выглядывает из калитки своего дома. На улице пустынно. Он отворяет ворота и выводит под уздцы лошадь, запряженную в воз люцерны. У калитки всхлипывает Матильда. Гришка идет сбоку воза, оглядываясь по сторонам. Из куста сирени выглядывают Терентий Петрович и Петя. Терентий Петрович говорит восторженно:

— Дошел Кузьмич Хвата!

Из калитки вышла Настя Бокова. Она смотрит в упор на Хвата. Он не выдерживает ее взгляда и переходит на другую сторону воза. Но из-за углов хат смотрят на него несколько человек молодежи. Гришка пытается перейти на другую сторону воза, но частушка Насти хлестнула его.

Хват понял, что ему не уйти от этих презрительных взглядов. И он, опустив голову и понукая лошадь, даже не ударяет кнутом.

А поле торжествует! Хлеб шумит, шумит…

Комбайн убирает пшеницу. В кабине трактора Костя. За штурвалом комбайна молодой комбайнер, покрытый половой и пылью, в засаленном комбинезоне.

Игнат идет с палочкой вдоль покоса, навстречу комбайну. Он останавливается, поджидая комбайн. Подходит комбайн. Игнат входит на трап, постучал пальцами по огнетушителю, сходит с трапа вниз, забегает вперед комбайна, останавливается и поднимает руку. Комбайнер машет ему рукой и кричит:

— Сойди, говорю!

Костя грозит Игнату кулаком из дверцы и показывает жестом, как он раздавит его в лепешку.

Игнат стоит невозмутимо. Стал и весь агрегат. Комбайнер и Костя подбегают к Игнату, оба рослые, сильные. Комбайнер сует огромный гаечный ключ к носу Игната и кричит:

— Остановить агрегат — преступление! Ты понимаешь — хлеб!

Игнат садится на землю, опасаясь, что его столкнут с дороги. Он говорит:

— Садитесь!

Те оба дружно плюнули. Костя лезет в кабину и включает скорость. Трактор едет прямо на Игната.

Игнат лежит, опершись на локоть, и ковыряет соломинкой в зубах. Гусеницы едут на Игната и замирают в метре от него: агрегат стал. Игнат манит пальцем комбайнера.

— Все равно пойдешь. Через человека не поедешь.

Комбайнер и Костя подходят. Игнат говорит:

— Огнетушитель для чего? Для безопасности от огня. Видишь: сушь. Заряди!

— Да вечером. Вечером, говорю! Не могу допустить простой!

— Вода есть, заряды есть — заряди!

— В райком пожалуемся!

— Что-о-о? Да мне сам Иван Иванович Попов сказал: «Прижми комбайнеров! Распустились!» Как инструкция гласит? Без огнетушителя не смей косить! Вот как гласит инструкция. А ты? — Игнат встал, отряхиваясь. — Давай заряды. Умеешь?

— Учили… Знаю, — буркнул комбайнер.

Комбайнер и Костя спеша заряжают огнетушитель.

Игнат машет им фуражкой, уходя от комбайна.

Где-то вдали тревожный сигнал комбайна. Этот сигнал все беспокойнее и беспокойнее. Он тревожит, зовет на помощь. В этот жуткий звук вмешивается голос:

— Пожа-а-ар! Пожа-а-ар!!

Этот крик доносится до двора колхоза, где Гришка Хват складывает последний навильник люцерны. Над селом навис набат, и двор мгновенно опустел. Гришка стоит один. Лицо его вначале растерянно, затем он неожиданно для нас распрягает лошадь, хватает попавшуюся под руку косу и верхом скачет в поле.

Крики вдалеке. Дым. Горит хлеб! Бегут женщины. Одна из них вопит:

— И хлебушек наш ми-ила-ай!

Тревожно гудят все комбайны. Костя остановил комбайн и вместе с комбайнером смотрит на пожар. Дальний угол поля горит, мчатся машины, бегут люди. Едут Шуров и Катков на грузовой машине. Шуров стоит в кузове. Они обгоняют бегущих людей. Шуров кричит:

— Сто-ой! Куда! Назад! Косы, косы с собой! Косы-ы!!

А по полю слышится передача этого слова: косы! косы! Люди хватают косы, вскакивают в машину и едут к пожару.

Игнат на дороге. Машина наезжает почти на него, но он ни с места. Это не тот Игнат, которого мы знаем! Это волевой человек. И шофер, вначале злобно останавливающий машину, уже подчиняется взгляду Игната. Игнат говорит:

— Из какого колхоза?

— Маленкова.

— Мобилизую! Пожар. По комбайнам! Собрать огнетушители! — командует Игнат и садится в кабину.

Бешено мчится машина по стерне, по высокому хлебу, по полевой дороге. Подъезжает к комбайну. Игнат выскакивает из кабины, хватает огнетушитель и приказывает комбайнеру:

— Отогнать комбайн от хлеба на километр! Стоять! — и уезжает.

Пожар. Дым. Огонь. Крики. Косари впереди огня обкашивают косами горящий участок. Катков и Шуров почти у огня. Катков командует:

— Шире прокос! Шире!

Но пламя обжигает лица косарей. Язык огня вклинился в пшеницу: вот-вот он прорвется — и пропало все поле! Кажется, что спасти хлеб уже невозможно.

Шуров бросается к косарям:

— За мной! — Он выхватывает у женщины косу к забегает к клину огня. Он почти в огне косит, сваливая пшеницу в огонь. За ним ряд косарей, и среди них Гришка Хват. Женщины руками бросают скошенный хлеб ближе к огню. Катков косит, косит. Люди выбиваются из сил. И вдруг… Подъезжает автомашина. Игнат выскакивает из кузова, показывая огнетушитель, держит его высоко, кричит истошно:

— Огнетушители-и-и!

Катков хватает огнетушитель. Игнат хватает огнетушитель. Костя хватает огнетушитель. Игнат приказывает Каткову:

— Сбивай внизу. Клин сбивай! Какого черта! Вот так! Дава-ай! — Он оглядывается, видит — стоят косари и вне себя кричит: — Коси-ить! Коси-ить! Лентяи!

Фельдшер Семен Васильевич тоже косит, но у него получается плохо — хлеб не ложится в ряд, а путается, коса застревает. Терентий Петрович косит рядом с фельдшером, он видит неудачные старания фельдшера и показывает ему, как надо косить:

— Локоть за спину заноси! Локоть! И сбрасывай крюком! Вот так!.. Ага! Так, так!

У фельдшера уже немножко получается, и он благодарно оглянулся на Терентия Петровича.

Шуров косит, ведя за собой строй косарей. Огонь близко. Но… Порыв пламени! Шурова с двумя другими косарями окружает огонь. Те двое успевают выскочить, но Шуров еще и еще раз размахнул косой, поперхнулся, оглянулся, и… мы его не видим.

— Пропал!

— Пропа-ал!

— Петр Кузьмич!

— Петр Кузьмич пропал!

Все в растерянности. Ужас охватил людей: погиб человек — надежда колхоза!

Игнат добивает огнетушителем опасный клин огня. Он слышит возгласы — крики и вопли. Он бросил огнетушитель. Секунду соображает, бросается к брезенту, моментально набрасывает его на себя, закутавшись с головы до ног, и… исчезает в огне, там, где остался Шуров.

Наступила гробовая тишина. Все стоят как завороженные, освещенные пламенем. Только и слышен зловещий треск огня. И в этой жуткой тишине — вопль Домны:

— Игнатушка-а!

— Пропал Игнат! — схватился за голову Терентий Петрович, выпустив косу из рук.

Все снова кричат. Косари перехватили язык пламени: дальше хлеб уже не будет гореть.

— Пе-етр Кузьми-ич! — зовет Алеша.

Нет отклика. Дым застлал все. Женщины плачут.

В полосе догорающего пламени, в клубе дыма, возникает что-то бесформенное, но живое, завернутое брезентом: оно идет к нам. Брезент развертывается — это Игнат вышел из огня, прижав к себе Шурова. Все бросились к нему.

Одежда Шурова тлеет в нескольких местах. Он кашляет и ложится на солому навзничь. Семен Васильевич окатил Шурова водой из ведра. Шуров, тяжело дыша, поднимает голову и смотрит в сторону. С его точки зрения видно: «язык» пожара сбит. Огонь обкошен. Хлеб спасен!

Около Шурова — Алеша, Катков, Игнат и другие. Семен Васильевич слушает сердце Шурова. Игнат щиплет обгоревший край брови и говорит:

— Ишь ты! Прихватило бровку-то маненько.

Шуров вновь открывает глаза и обращается к Игнату:

— Игнат Прокофьевич!

— А?

— Спасибо…

И Катков говорит Игнату:

— Спасибо! От всего колхоза спасибо!

— Может, я и виноват-то: недоглядел, — отвечает Игнат скромно и в то же время с глубоким огорчением.

Шуров в больнице на койке, забинтован.

У входа в коридор больницы — Катков, Алеша, Евсеич, Терентий Петрович. Перед ними врач. Катков спрашивает у врача:

— Как?

— Не скрою, ожоги серьезные, — отвечает врач, — Посетить может только кто-то один — всех не пущу.

Все трое, кроме Алеши, переглядываются: кому идти? Алеша смотрит в пол. Катков обводит всех взглядом и говорит:

— Иди, Алеша. Мы подождем здесь.

Алеша тихо идет по коридору.

— Ну, проживет? — спрашивает Евсеич.

Врач разводит руками и отворачивается.

Палата. Шуров лежит в том же положении, закрыв глаза. Входит Алеша. Он остановился в дверях и не решается беспокоить. Но вот он уже у кровати. Шуров открыл глаза. Мы видим его лицо. Они смотрят друг на друга. Алеша осторожно присаживается на край кровати, не сводя глаз с Шурова. Шуров будто говорит глазами: «Вот, брат, дело-то какое получилось…» И Алеша с ободряющей улыбкой смотрит на Шурова и будто хочет сказать: «Ничего, брат, ничего»… Он положил руку на плечо Шурова, и тот ласково и благодарно положил свою ладонь на Алешину руку.

Коридор больницы. Евсеич говорит врачу:

— Да нельзя, нельзя ему помирать! Невозможно!

— Это дело немыслимое, — подтверждает Терентий Петрович, — Такой человек не должен умереть.

— Все просим! — говорит Катков.

Врач задумался и, не ответив ничего, пошел. Но, обернувшись, спросил:

— У него есть близкие?

Терентий Петрович недоуменно посмотрел на собеседников и ответил врачу:

— Все близкие.

Палата. Алеша сидит все так же на краю постели. Шуров тихо говорит:

— Она тебя полюбит сильно… Полюбит, Алеша. — И он ласково проводит по руке Алеши.

Задумчивое лицо Алеши.

Телеграф районного городка. Алеша держит телеграмму, стоя у окошка в очереди: перед ним еще два незнакомых нам человека собираются давать телеграммы. Мы читаем телеграмму в руке Алеши:

«Таисии Ельниковой
Шуров больнице ему плохо выезжайте. Алеша».

Тося среди подруг и товарищей-студентов, окончивших институт. Все веселы. Только Тося грустна. Девушка обращается к ней:

— Тоська! Почему ты в Сибирь едешь? Практика на черноземах, а работать…

— Сибирь — хорошо! — отвечает за Тосю крепкий парень. — Я там и родился. Вместе поедем.

Швейцар к Тосе:

— Ельникова! Вам телеграмма!

Тося хватает телеграмму. Плачет. Подруги читают телеграмму. Парень-сибиряк говорит:

— Самолетом, Тося!

Тося вынимает деньги, пробует их считать и говорит:

— Не хватит на самолет.

— А ну, ребята, девчата! Давай, у кого сколько!

К Тосе тянутся руки с деньгами. В одной руке — три рубля, в другой — рубль.

Областной аэропорт. Тося выходит из самолета.

Тося в правлении колхоза. На двери табличка: «Председатель колхоза Шуров П. К.». В кабинете председателя за столом Катков. Он встает навстречу Тосе. Она останавливается среди кабинета и спрашивает:

— Жив?

— Врач уверяет, что все… это… обойдется, — уклончиво говорит Катков.

— Я еду сейчас же.

— Нельзя! Смотрите!

За окном страшная буря.

— …Такого и деды не помнят. Вода идет стеной. Десять телят унесло с луга… Только — завтра, Тося. И ни машиной, ни подводой — только пешком.

— Я сейчас…

— Через реку — нельзя. Река бурлит.

Волны. Река. Буря.

Кабинет Каткова. Катков продолжает:

— Я все приготовлю на завтра. Сейчас узнаем о состоянии по телефону.

— Я должна там быть! — упрямо повторяет Тося.

— Не пущу! — решительно говорит Катков. — Идемте ко мне!

Тося садится на стул.

Слышен ритмичный стук часов, глухое завывание ветра. Дождь хлещет в окно.

Тося поднимается и подходит к Каткову. Тот встал.

— Митрофан Андреевич… Я пойду, — говорит Тося тихо.

Катков секунду молчит. Он острожно положил руку на плечо Тоси и тихо произнес:

— Иди…

И Тося вышла.

Тося идет по улице. Дождь сечет косыми ливнями.

По улице бежит вода, сплошь залив землю. Ветер клонит ветви деревьев. Гром. Но лицо Тоси воодушевлено и освещено внутренним светом большой любви.

Тося идет.

Палата. Шуров смотрит в окно. За окном дождь. Крупные капли, как слезы, стекают по стеклу.

Игнат на пожарке. Он видит идущую Тосю. Он догоняет ее, снимает с себя плащ и набрасывает его на плечи Тоси. Она благодарно смотрит на улыбающегося Игната и идет дальше. А Игнат пошлепал ладонями по животу, а локтями — по бокам и на бегу весело говорит, глядя в небо:

— Давай, давай. Игнат не простудится!

Тося в поле. Она идет, завернувшись в плащ. Дождь. Молния. Гром.

Бурлящая река. Волны, волны. Тося на берегу реки.

Тося в лодке. Волны захлестывают за борт.

Палата. Шуров лежит, отвернувшись к стене. Мы видим, у, него под мышкой термометр. Но Шуров не спит.

Тихо открывается дверь. Неслышно входит Тося. Она замерла. Кто-то из коридора так же тихо закрыл за нею дверь. Тося смотрит на Шурова, не решаясь его беспокоить и, видимо, думая, что он спит.

Шуров лежит в том же положении, глядя в сторону. Мы видим, как чья-то рука осторожно и нежно прикасается к термометру. Шуров смотрит на эту руку, и в глазах его появляется радость — он переполнен счастьем. И вот он кладет свою ладонь на ту руку и, нежно сжав ее, гладит. Потом поворачивается, встречается взглядом с Тосей, сидящей на его кровати, и, не выпуская ее руки, говорит:

— Пришла?

— Пришла, — отвечает Тося просто и душевно, погладив Шурова по щеке.

А дни шли и шли…

Вокзал. Поезд Новороссийск — Москва. Проводник проверяет у пассажиров билеты. Среди пассажиров и Алеша. Он ищет глазами среди публики кого-то. Идут Шуров, Тося, Костя и Игнат. В сторонке стоит Настя с узелком в руках, но Алеша ее не видит. Настя смотрит на

Алешу. Все, кроме Насти, группой подходят к Алеше. Он улыбается им. Все молчат.

Гудок отправления поезда. Шуров берет Алешу за плечи, смотрит в глаза и крепко, по-мужски, целует и отходит. Алеша смотрит на Тосю, потом тихо, с улыбкой, говорит ей, пожимая руку:

— Спасибо вам, Тося!

Второй звонок. Игнат говорит:

— Вот… Значит… уезжаешь… — вдруг рывком прижимает Алешу и, всхлипывая, плачет, как-то по-детски, просто, искрение, не стыдясь слез.

— Бывай здоров, Алеша! — прощается Костя и жмет Алеше руку.

— Пишите мне про поле, — говорит Алеша Шурову и становится на подножку вагона.

Настя порывисто бросается к Алеше, но, подойдя, смущается, опустив глаза. Игнат помог: он взял из ее рук узелок и передал Алеше уже на ходу поезда.

Поезд отходит. Алеша смотрит на нас с подножки и машет рукой. И каждому из провожающих кажется, что он прощально машет именно ему, в том числе и Насте.

Шуров и Тося смотрят вслед уходящему поезду.

А поле колхоза «Новая жизнь» было таким же хорошим, как и всегда.

Утро в поле. Шуров с Тосей. Тося прижалась к нему, смотрит вдаль. Они стоят на возвышенности, и перед ними расстилается поле.

— Дорогой наш Алеша!.. Как опишу ему поле — спрашивает Шуров не то у себя, не то у Тоси.

На экране поле. Звучит голос Шурова:

— Поле, поле!.. Чем определить твою красоту? Не ты ли пробуждаешься утром, умытое росой, когда в каждой капле отражается мир?

Картина утреннего июньского поля. Роса играет блестками. Большая капля росы приближается к нам, и мы видим отражение неба в капле.

— …Не ты ли волнуешься буйной пшеницей и шепчешь ласковыми овсами?

На экране волнующаяся буйная пшеница: море хлебов!

— …Не ты ли улыбаешься приветливо золотистыми цветами подсолнечника, который целый день поворачивает свои головки, следя за могучим солнцем?

На экране крупные цветущие шляпки подсолнечника.

— …Не твои ли это цветы льна, как голубые глаза дитяти?

На экране поле цветущего льна. Голубое море цветов, сливающееся на горизонте с небом. И не отличите, где кончается лен, где начинается небо. Ласковая русская голубизна!

— …И не на тебе ли, поле, в зимние стужи лежит серебряное покрывало от края и до края, куда достанет глаз?

На экране тихое зимнее поле. Дорога уходит далеко-далеко!

— …Не на твоих ли могучих просторах бушуют вихри метелей, когда в ураганных звуках слышится то плач младенца, то надрывный вой сирены, то завывание волка?

На экране зимний ураган. Не видно ни зги!

— …Да, это ты! Ты и тихое, если не тронет ветер, ты и буйное, если ворвется буран, ты и нежное в ласковых всходах, ты и суровое в зимнем раздумье. О, поле! Россия моя советская, моя земля, всегда красивая и любимая!

Та же картина утреннего июньского поля.

— …Нет силы, чтобы описать твою красоту и мощь! И я преклоняю пред тобою обнаженную голову в благодарности и восхищении! Преклоняю голову и перед людьми, преображающими твой лик, строящими новую жизнь!

Шуров стоит с обнаженной головой рядом с Тосей на том же месте. При последних словах подходит к ним Попов Иван Иванович. Они не заметили его прихода. Он положил руку на плечо Шурова и говорит:

— Кто не умеет ценить новой жизни, кто не желает бороться за новую жизнь, тот ее недостоин.

Проезжает автомашина с транспарантом «Новая жизнь».

Комбайн, школа, детские ясли с надписями «Новая жизнь».

Шуров обнимает Тосю и говорит:

— В новую жизнь!

— В новую жизнь! — повторяет Тося.

1955 г.

Примечания

В третий том Собрания сочинений Г. Н. Троепольского вошли произведения разных жанров, написанные в 1962–1971 годах, а также киносценарий «Земля и люди» (1955).

В КАМЫШАХ

Впервые — «Новый мир», 1963, № 4, 10.

Книга «В камышах» — это «раздумья вслух немало повидавшего человека, пришедшего в литературу действительно от земли» (Гр. Анисимов. «Юность», 1965, № 7). Сразу же была замечена и новизна этого жанра для писателя. «Мы узнали нового Троепольского, на этот раз сатирически заостренного, но лирического (хотя и с искорками юмора), раздумчивого, от души радующегося прекрасному в природе и людях. Этот Троепольский мягче и задушевнее того, которого мы знали раньше… Но он по-прежнему нетерпим к злу, его мягкость не оборачивается обывательским добродушием, всеядностью» (Нат. Соколова. «Литературная газета», 1963, 13 июля).

Одно из важнейших достоинств повести в том, что писатель открывает в каждом из персонажей «яркого, самобытного человека, индивидуально своеобразного и в то же время несущего частицу того, что называется характером нации, тем историческим опытом, который народ накопил на своем пути, сохранил в нелегких испытаниях времени» (А. Хватов. «Звезда», 1965, № 10). Троепольским изображены люди, которые «всегда, во всех обстоятельствах сознавали себя и были хозяевами земли, хозяевами жизни…» (Л. Якименко).

К наиболее сильным, драматическим страницам повествования критика относила рассказ о судьбах Митьки Шмеля (глава «Хуторок над речкой») и агронома Петра Чумака (глава «Муравьиная повесть»). Отмечалось значительное социальное содержание повести, направленное против «косной силы бюрократизма и

администрирования — методов работы и системы мышления, порожденных практикой культа личности» (А. Хватов, там же).

Особое обаяние новой книги Троепольского виделось в «сокровенном чувстве природы, в умении показать деревенского человека в отношении к природе…» (Л. Якименко). Эти «тетради охотника» — «песнь во славу русской природы, которую видит художник острого глаза и чуткой души» (Гр. Анисимов). О своеобразии и глубине поэтического восприятия природы Троепольским писала и О. Чайковская в статье «Природа и время» («Новый мир», 1965, № 10).

Повесть переведена на польский и чешский языки.

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО

Впервые — «Наш современник», 1971, № 1–2; «Наука и жизнь» (по тексту «Нашего современника»), 1972, № 1–2–3; «Роман-газета», 1973, № 2. Повесть неоднократно издавалась отдельной книгой и в сборниках.

Повесть посвящена А. Т. Твардовскому, человеку, от которого во многом зависела литературная судьба Г. Троепольского. Твардовский успел прочесть рукопись повести и дал согласие на посвящение…

История Белого Бима вызвала прочувствованные отклики профессиональной критики, читателей. В печати появились даже песни и стихи, посвященные Белому Биму. Известно, что критика *вырастает* от соприкосновения с настоящей литературой. Критические суждения о новой повести Троепольского выделялись искренностью, тонкостью эстетической и нравственной оценки. Было понятно, что «Белый Бим» — особенно дорогая писателю книга, «книга судьбы», в ней звучит «личная нота», находят выход «выстраданные мысли о человеке, добре, зле» (Л. Якименко. «Долг человеческий». «Литературная газета», 1971, 5 мая). Потому-то так заметен был в повести «еще один „персонаж“ — это голос: то ли автора, то ли еще какой-то чистого тона голос», «мудрый голос» (Л. Фоменко).

«„Белым Бим“ продолжал традиционную для русской литературы тему „Каштанки“ и „Белого пуделя“ как глубоко человековедческую, а не какую-нибудь кинологическую» (Л. Саенко, С. Ялмар. «Бим, его друзья и враги». «Звезда», 1971, № 8). Эта книга — «о верности, о преданности, бескорыстии, о высоких чувствах, которые не только не ослабляют живое существо, но делают его сильнее, могущественнее» (Л. Фоменко.).

«Когда всех маленьких героев этого замечательного произведения советской литературы пытаешься представить себе по отдельности, в воображении возникает почему-то один образ — образ трогательного, чистого, такого верного и такого беззащитного до поры существа… Ему противостоит, образ злобного, жадного, ограниченного человека, — почему-то очень уверенного в своей безнаказанности… И если не покарать, то хотя бы выбить его из состояния безмятежности хотелось, видимо, писателю» (Б. Панкин. «Комсомольская правда», 1973, 5 октября).

Критика находила в повести философский подтекст, значительно расширяющий «смысл сказанного по конкретному поводу» (Д. Дычко. «…Чтобы не было неправды и зла на земле». «Литературная Россия», 1971, 30 апреля) и выводящий чаще всего к мысли «о нерасторжимости жизни… о взаимосвязанности и обусловленности всего живого» (Л. Якименко), об ответственности человека за естественное и гуманное развитие жизни.

Как достоинство повести отмечалось, что писатель нигде «не впадает в антропоморфизм», никогда не приписывает Биму человеческих мыслей (Л. Саенко, С. Ялмар). Троепольскому, «чтобы возбудить наш интерес, внимание к животному… нет нужды „возвышать“ его до человека. Он выбирает другое — точно описывая поведение Бима, волчицы, сороки, он просто открывает вам глаза на то, как много в этом поведении, а стало быть, и в мотивах его общего с нашим…» (Б. Панкин). «Чтобы понять живое существо, надо суметь взглянуть на мир его глазами. И Г. Троепольский заставляет читателей совершить такое превращение: мы словно „в облике“ Бима начинаем скитаться в поисках хозяина…» (Н. Бронецкая. «Дружба народов», 1973, № 9).

Исследователь творчества Г. Троепольского В. Скобелев в статье «Требовательная человечность» хорошо определил идейную,

нравственную суть «Белого Бима»: «Повесть утверждает добро» как трудную, но «реально выполнимую норму человечности» (Сб. «Голоса времени». Воронеж, 1974).

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР Г. Н. Троепольскому за повесть «Белый Бим Черное ухо» присуждена Государственная премия СССР 1975 года.

Режиссером С. И. Ростоцким (он же автор сценария) по повести поставлен художественный фильм в двух сериях с одноименным названием (1977 г., студия им. М. Горького).

Повесть издана в большинстве союзных республик на языках народов СССР. Переведена в социалистических странах — на болгарский, чешский, словацкий, польский, венгерский, немецкий (ГДР) языки, а также в капиталистических странах (Швеция, Голландия, Финляндия, Турция, Греция, ФРГ и др.) — всего на двадцати языках.

О РЕКАХ, ПОЧВАХ И ПРОЧЕМ

Впервые — «Новый мир», 1965, № 1.

Первоначальное название (в рукописи) — «Следы на воде».

Очерки «Дорога идет в гору» (см. т. 2) и «О реках, почвах и прочем» представляют в настоящем Собрании сочинений лишь часть публицистического творчества Г. Троепольского.

Известно мнение Валентина Овечкина о рукописи, которую он читал как член редколлегии журнала «Новый мир»: «После прочтения отличной статьи Троепольского, написанной убедительно, страстно, с большой душевной болью, с таким публицистическим накалом, что и мертвого взволнует, главная мысль — о судьбе других малых рек в стране… Желаю статье Троепольского не литературного, главным образом, успеха, а делового, — чтоб она была прочитана всеми людьми, близко заинтересованными в поднятых им вопросах…» (В. Овечкин. Статьи, дневники, письма. М., «Советский писатель», 1972).

Очерк вызвал большое количество писем читателей, в том числе ученых и специалистов.

В 1966 году решением Пленума ЦК КПСС, созванного специально по вопросу мелиорации, образовано Министерство мелиорации СССР, а осушение и орошение поставлены, на строго научную основу и в соответствии с природно-климатическими условиями районов СССР.

После Пленума ЦК КПСС Г. Троепольский еще опубликовал большую статью в двух разделах о проблемах мелиорации пойм малых рек: 1. «Сколько воды человеку нужно?» 2. «Об осушении и „осушении“». — «Правда», 1966, 4 и 5 сентября.

Теперь, в частности на Черноземье, главное в мелиорации, по словам Троепольского, — борьба с эрозией почвы и загрязнением рек, охрана берегов и пойм от нерациональной губительной распашки, орошение и обводнение. Уже добрый десяток лет Облводхозы края занимаются иными проектами, а не теми, печальной памяти «правильными». Кстати, загубленная когда-то «осушением» речка Тавровка (см. очерк) в значительной части находится… на дне водохранилища «Воронежское море».

Хотя очерк «О реках, почвах и прочем» стоил автору нескольких лет труда и волнений, само произведение, выполнив практическую задачу, в настоящее время представляет лишь значение литературное. Поэтому автор счел возможным изменить некоторые фамилии на вымышленные. По его словам, со спасением и сохранением малых рек (и больших!), с обводнением на черноземах пойм (!) для полива немало предстоит сделать нам и потомкам; сами фамилии из прошлого уже не будут иметь конкретного значения, а обладатели их просто-напросто перешли из жизни в литературу и могут быть безличными — «знакомыми незнакомцами», по В. Г. Белинскому.

ПОСТОЯЛЬЦЫ — единственная пьеса Г. Троепольского (литературный вариант). Впервые — «Подъем», 1971, № 5.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Впервые — «Литературный Воронеж», 1955, № 36.

Киносценарий написан на основе рассказов из цикла «Записки агронома». Фильм «Земля и люди» поставлен режиссером С. И. Ростоцким на киностудии им. М. Горького (1956 г.).

Стремление Г. Троепольского к участию в искусстве театра и кино не случайно. Отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы» о проблемах творческого взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусств, Г. Троепольский писал: «Художник подобен губке: он впитывает жизнь всю, целиком, везде и всегда, не задумываясь над вопросом: „А что бы мне из этого написать такое-этакое?“ Потом уж, когда жизнь потребует, оно приходит само, и именно то, чего нельзя не написать… Все, что взял у жизни, отдай ей же. Художник не хочет умирать должником. Во всем этом различные виды искусства — родные братья и близнецы. Они помогают друг другу, того не замечая» («Вопросы литературы», 1964, № 3).

В этих словах Г. Троепольского много заветного, выношенного, они хорошо объясняют природу всего творчества писателя, вызванного к бытию волей жизни и волей таланта.